

РП

Григорий Померанц

**Дороги духа
и зигзаги
истории**

Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2013

УДК 008 (082.1)
ББК 71 П 55

Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи»
С.Я.Левит

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), В.В. Бычков, Г.Э. Великовская,
И.Л. Галинская, П.С. Гуревич, В.К. Кантор, И.А. Осиновская,
Ю.С. Пивоваров, Г.С. Померанц, М.М. Скибицкий, А.К. Сорокин,
П.В. Соснов.

Редактор: Г.Э. Великовская
Серийное оформление: П.П. Ефремов

Померанц Г.С.

П 55 **Дороги духа и зигзаги истории** / Г.С. Померанц. — 2-е изд. — М.;
СПб. «Центр гуманитарных инициатив», 2013. — 464 с. — (Серия
«Российские Пропилеи»).

В книге Г.С.Померанца собраны его работы последних лет. Автором вводится понятие *субглобальной* цивилизации как исторической остановки на пути к глобальному диалогу культур. Исследуются методологические трудности, созданные полисемичностью слова «цивилизация». Возникновение субглобальных цивилизаций связывается со становлением суперэтнических религий, покоряющих этносы.

В книге рассматриваются также следующие проблемы: власть технологии и технология власти, трагизм глобального террора; нераздельность национального и вселенского; нравственные аспекты этнических конфликтов; история России в свете теории цивилизаций; Россия на перекрестке культур; «концерт национальных культур» как будущее мировой цивилизации. В книгу включен раздел «1п тетопат».

УДК 008 (082.1)
ББК 71

© С.Я. Левит, составление серии, 2013 ©
Г.С. Померанц, 2013 © З.А. Миркина, правообладатель, 2013 18ВМ 978-5-
98712-118-4 © Центр гуманитарных инициатив, 2013

Часть 1. В поисках глобального покрова

Дом начинался с крыши

Дом начинался с крыши. Что такое шалаш, вигвам, юрта? Крыша, поставленная прямо на землю. Стены придумали позже. Наверно, подтолкнула необходимость крепких стен, чтобы хранить запасы зерна. У жителей вигвамов и юрт этой нужды не было. А фундамент — совсем новое изобретение. Идея фундамента — победа интеллекта над непосредственной нуждой в крыше и стенах. Пол оставался земляным. Даже прекрасные каменные сооружения Ангкор-Вата ставились прямо на землю и за несколько веков перекошились. Фундамента потребовали дворцы и храмы. Это уже начало цивилизации, вместе с письменностью и плавкой металлов.

Культура тоже начиналась с крыши, с мифа, с образа целого. Потом уже шла разработка частных и всякое прикладное знание. Первобытные мифы очень наивны, но у них есть преимущество перед научной теорией: ни одна теория не дает целостного образа бытия, а миф дает. В 30-е годы нам сказали, что коллективизация сельского хозяйства и тяжелая промышленность — фундамент социализма. Возникло интеллектуальное удовлетворение, но нельзя было ожидать от фундамента гармонии, справедливости и других удобств. На фундаменте без крыши, без стен, жить трудно. Дождик на голову падает. Это чувство дождика над головой нельзя было выносить год за годом, терпения могло не хватить. И очень быстро, уже к 1936 г. стали говорить, что социализм построен, и надо радоваться, что мы живем при социализме. А если мы не рады, то оторвались от народа, и нам же будет хуже. «Или 1е припеваючи, или 1а каторга», — писал когда-то Щедрин. Третьего не дано.

Сейчас идет строительство глобального фундамента, но никому от этого не стало теплее на сердце. Идет строительство дома без крыши, где никакой крыши и не будет. Пустое небо, каменная земля и сжавшийся человек, сказал Беккет. Развоявшийся интеллект отодвигает в сторону мифы, дававшие смысл и радость жизни предкам, — а замены их праздников нет. А может быть, все-таки есть? Может быть, на некоторой глубине разнотой в мифах (иудейских, христианских, мусульманских,

индуистских, буддийских) становится только различием в образах одной великой целостности, и «одну и ту же птицу мудрецы называли разными именами»? Может быть, отжили только мифы-идолы, смешивавшие образы непостижимой тайны целого с физической реальностью? А миф-икона, в строгом понимании Максима-исповедника, — только символ, воплощенный в букве или в лике на деревянной доске? За которыми мы прозреваем непостижимый дух? И проверяем себя, вглядываясь в пустоту мифа-молчания, знаковой паузы, оставшейся вне слова, вне образа — и все-таки постижимой сердцем? Как сказано было в Чхандогье-упанишаде: «То — это ты!»

Три мифа

В 60-е годы я стал думать, как отделить религиозное мышление от мифологического. Есть ведь ранний буддизм, очень строго демифологизированный. На вопросы, ответ на которые дает миф, Будда отвечал благородным молчанием. Однако позднее буддизм вернулся к зримым символам, к своего рода иконам. Зримая фигура бодисатвы помогала вчувствоваться в «великую пустоту». Что же такое мышление иконами? Не икона сама по себе (о ней все необходимое сказал Максим-исповедник в связи с иконоборчеством в Византии VIII в.), а *иконологическое* (или *ипостасное*) мышление? Я придумал тогда эти термины.

Ипостась, гипостазис — это подстановка, символ текучести, многоликости божественной силы, обнимающей мир любовью. У нее бесконечно много ликов, а богословы выделили три лика как символ круга переходов, переливов. Если эти три лика становятся отдельными богами, круг ипостасей разваливается по части, и икона может стать идолом. А в африканском хороводе масок по-своему выражается божественный круг, хотя отдельная маска, рассмотренная сама по себе, а не как фигура единого танца, — довольно безобразный идол. Первое впечатление от иконы не решает, решает сознание — иконологическое или мифологическое. Иконология не путает знак с реальностью, стоящей за знаком.

Остается, однако, не выраженной еще одна проблема. Знак — не единственное средство передать тайну, прикоснувшуюся к сердцу. В культуре Индии и Дальнего Востока эту тайну часто передают отрицанием всех знаков. Место иконы занимает пустота. Она как бы становится в центр круга, и мы мысленно ведем хоровод, глядя в колодец, где таинственно мерцает что-то самое главное. Христианство знает подобную возможность. Она называется негативным (или апофатическим) богословием. Но большая часть христиан эту возможность не использует, побаивается ее, — как бы не потерять главную мысленную икону — образ Бога, незримого, но слышимого в глубине сердца, вызывающего движения совести и другие душевные сдвиги.

Это неотъемлемая часть религии как веры в Бога. Каждое сердце

слышит Бога по-своему, и часто слова, родившиеся в одном сердце, вызывают спор с людьми, расслышавшими в сердце другие слова. Дух любви не всегда побеждает букву. И я не могу представить себе все-ленского единства без переноса нашего внимания на дух, веющий в пустоте. Хотя бы частичного переноса, хотя бы альтернативы духа без буквы, без знаков веры.

Чтобы понять значение Великой Пустоты, я придал ей равноправие с иконой (вернувшись к слову «миф» как образу вселенской тайны, постижимой только сердцем) и тем самым возможность различать миф-идол, миф-икону и миф-молчание. Альтернативой мифу-идолу была не только икона. Не менее важно было молчание, знаковая пауза. В Средиземноморье идола победил миф-икона, а на Южном и Дальнем Востоке — миф-молчание. По крайней мере, в духовной жизни элиты. Народные массы приходится выносить за скобки. В духовном развитии цивилизации они все меньше и меньше участвуют и по-старому тяготеют к идолам.

Толчок к расставанию с идолами дала философия. Она родилась примерно две с половиной тысячи лет тому назад. Почему это случилось одновременно в трех разных местах, оторванных друг от друга горами и пустынями, никто не может объяснить. И непонятно, почему это нигде не повторялось. Нации начинали философствовать только одним способом: примкнув к одной из старых философий — греческой, индийской или китайской. Словно две с половиной тысячи лет тому назад чье-то дыхание коснулось земли, оставило свой след, а других волшебных прикосновений уже не было.

Однако в каждой великой культуре импульс, полученный неведомо откуда, развивался по-своему. Греческие философы отбросили старые мифы и стали строить системы, основанные на отвлеченном принципе (единое Парменида, атомы и пустота Левкиппа и Демокрита и т.п.). Кончилось это глубоким кризисом. Философия утонула в сомнениях. Успехи отвлеченной мысли не могли заменить привычных нравственных установок. И философия была брошена под ноги Откровению, пришедшему с Востока и принявшему философию как служанку в свою свиту. Греческий ум перестал философствовать и стал богословствовать.

Такого всевластия философии и такого крушения философии (связанного с крушением самого общества, вымершего или покорившегося варварам) не было в Индии и Китае. Само философствование было здесь другим, не порывавшим полностью с архаической традицией. И еще одно важно: философия создана была не новым народом, а тем же самым, который начинал цивилизацию. Греки пришли на почву, уже подготовленную первыми очагами городской культуры и первыми империями. В Китае и Индии философствовать стали в самом первоначальном очаге цивилизации — как бы в своем, восточном Шумере или Египте. Доклассическая традиция мудрости была своей, и ведущие мыслители ее продолжали. Даже при формальном разрыве с авторитетами

сохранялся их дух. Будда демифологизировал предание, но его благородное молчание очень близко к Брихадараньяке—упанишаде и может быть понято как эквивалент повторных отрицаний (не это! не это!) на все попытки определения верховной истины.

Возникали второстепенные направления индийской и китайской мысли, близкие к грекам. Но характерно, что на Востоке не понадобилось разделить мудрость на философскую и богословскую. Сдвиги от мифологии к философии и от философии к богословию приходится описывать в европейских терминах. Связь с мифом в Индии, с исторической легендой в Китае была ослаблена, но не разорвана. Развитие шло в рамках единой традиции, без катастроф, без погружения в варварство.

Религия Востока — не многобожие. Но и не единобожие. Восточная мысль не укладывается в закон исключенного третьего и восточная религия — в монологи пророков, сталкивающихся друг с другом. Это разговор мудрецов, чувствующих единство по ту сторону слов, единство единого и единичного, единого и множества.

Они знают, что неименованное Дао объемлет Дао, имеющее имя, и одну и ту же птицу можно называть разными именами. В Средиземноморье эту способность подавила логика Аристотеля.

Я думаю, что христианство может войти в XXI век только с сознанием необходимости диалога двух мифов: мифа-иконы и мифа-молчания. Глобальная цивилизация может быть завершена только при открытости Другому: Востоку на Западе, Западу на Востоке. Это не просто. Вкапываясь в глубину, кажется необходимым выкладывать стенки колодца бревнышками, иначе песок обрушится тебе на голову. Так, по-видимому, чувствовал Сергей Аверинцев, решительно отказавшись вникать в восточную мистику. Я назвал его средиземноморским почвенником, и он с этим согласился. Его экуменизм ограничивался наследниками Авраама. Вспоминаю Антония Сурожского, Александра Меня. Каждый из них решал задачу по-своему, сочетал глубину и широту на свой лад. Никакого шаблона, годного для тиражирования средствами массовой информации, я не знаю. Впрочем, массы и не стремятся парить в бесконечности. Это дело для тех, у кого в бездне раскрываются крылья.

Сумеет ли элита удержать народы, захваченные раздражением и ненавистью в Другому? Какой народ подымет мораль Библии: будь милостив к Другому, ибо сам ты был Другим, чужаком в земле Египетской?

Рассыпающаяся корзина культуры

После лекции в клубе Билингва (роШ.ги) меня спросили, нельзя ли строить глобальную цивилизацию на основе Декларации прав человека и других подобных документов. Я решительно ответил, что нет. Никакие декларации не насытят духовного голода, не дадут целостного образа

вселенной и целостного образа личности, не дадут гармонии макрокосмоса с микрокосмосом, как это называлось в Средние века. Вечные эти образы становятся живыми только на уровне глубины, от которой мы оторваны всей практикой современной жизни. Тот, кто идет, находит путь в глубину, вдумываясь в тексты, созданные старыми поэтами и подвижниками, приглядываясь к немногим современникам, научившимся доглядывать лес или небо до их незримой глубины, научившимся созерцать дерево, а не только видеть его.

Об этом говорил князь Мышкин: разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Он понимал, что в дереве выражена Божья любовь к миру и через свежую зелень к нам приходит Божья любовь.

Современные церкви мало помогают мышкинским поискам, не подводят к мышкинским находкам. Говорится о святых, но нет присутствия святых. Живой опыт — редкость в проповедях. Чаще всего его заменяют ссылками на веру отцов и полемикой с модными пороками. Но это легко вырождается в проповедь ненависти. Душа, захваченная повседневной суетой, раздраженная бытовыми неудачами и завистью к удачливым пролазам, легче подхватывает от отцов предания ненависти, чем любви. За борьбой с Западом легко прячутся наши собственные пороки. Хотя не устарел список, составленный Хомяковым, — скорее можно прибавить к нему несколько стихов:

В судах черна неправдой черной И
игом рабства клеймена,
Постыдной лести, лжи тлетворной И
лени мертвой и позорной И всякой
мерзости полна...

Каким образом, при всех этих пороках, Россия XIX в. создала свою великую литературу? Видимо, была творческая воля, уравновешивающая темный груз. Сохранилось какое-то равновесие, и у страны оставалось великое будущее.

Абсолютно здоровых народов нет. Но если сохраняется равновесие порочных и светлых сил, если сохраняется целостность культуры, то иногда и пороки идут на пользу. Об этом писал английский писатель XVIII в. МанDEVиль — «частные пороки, общее благоденствие». Сребролюбие создает банки, честолюбие развивает политические таланты. А если краеугольный камень культуры выпал и в здании ее разбегаются трещины, — в народе, потерявшем равновесие, и добродетели становятся пороками. Справедливость — демон Великой Французской революции, жизнеспособность нации — у нацистов, борьба с хаосом национальных распрей — у большевиков. Пока развитие шло медленно и трещины удавалось замазывать, вожди, дуче и фюреры не могли развернуться. Без мировой войны идеи тоталитаризма оставались

бы фантазией, «Железной пятой» в забытом романе Джека Лондона.

Больше всех отдельных пороков — и западных, и русских — меня беспокоит упадок воли к жизни, неохота заводить потомство, которому передадутся наши ценности, наши святыни, и от этого — перевес смертности над рождаемостью. Так идет дело и в Америке, и в России — во всей христианской цивилизации. Нечего гордиться друг перед другом своими достоинствами, даже действительными, а заодно и мнимыми. Все виды национального тщеславия поглотит одна пучина смерти.

А отдельные пороки... Тот порок, за который был сожжен Содом, спокойно жил в Спарте. Я с удивлением прочел об этом в статье <^Ю дошБе КпаЪепИеЪе> (дорическая педофилия). Оказалось, что герои — спартанцы, павшие в Фермопильском ущелье, были педофилы. Этот обычай входил в жизнь воинов, надолго оторванных от своих семей. Он сплетался с другими обычаями и в этом сплетении не разрушал целого. А то, что мы сегодня наблюдаем, — распад целого. Распад плетеной корзины культуры, из которой вырываются отдельные прутики. И нет «волшебного узла», чтобы заново все связать и остановить процессы распада.

Образ, созданный Сент-Экзюпери, сразу схватывает суть болезни, напоминающей рак. Локальный очаг распространяется, захватывает своим влиянием остальные узлы жизни, и безудержный рост одной какой-то группы клеток становится общим бедствием. Говорят о гипертрофии свободы. Но губительна всякая гипертрофия, в том числе гипертрофия дисциплины, цензуры, ограничения произвола. Плохо хаотическое, неуправляемое и непредсказуемое развитие, но еще хуже прокрустово ложе, в которое запикивают социальный организм, чтобы все росло по плану. Прокрустовы системы рухнули быстрее, чем стихийно растущие общества с их анархией производства. И если удастся установить в каком-то углу подобие халифата времен первых четырех халифов — оно так же рухнет.

А с отдельным пороком, даже чудовищным, живут веками. С пьянством, с воровством. В демократической Америке с рабством черных мирились два века и возвели в принцип, что негры не люди, и даже потомки негров, внешне белые, европейски образованные — не люди. Вот случай с дочерьми экс-президента Джефферсона. Он жил с рабыней-мулаткой, родившей ему двух дочерей. Джефферсон любил девочек, воспитал их как барышень и в завещании своем просил законодательное собрание штата Джорджия утвердить его волю; по ней, дочери получили свободу и стали наследницами. Законодательное собрание увидело в этом нарушение своих принципов. Имение досталось дальним родственникам. Дочерей Джефферсона они продали в публичный дом. Одна из девушек утопилась в пруду, другой не хватило мужества. Так американская демократия глумилась над волей одного из своих создателей.

Я прочел о дочерях Джефферсона у французского автора, если не

ошибаюсь, — у аббата Дюверже. Американцы не любят вспоминать бедных девушек. А надо бы помнить! Так же как Честертон помнил все мерзости, которые англичане творили ирландцам. Так же как Герцен помнил мерзости, которые русские в XIX в. творили полякам. Как Лев Толстой — мерзости наших войск на Кавказе.

Здоровое чувство принадлежности к нации, народу, религии — единство гордости и стыда. В истории христианства, изданной современными католиками, — все мерзости средневекового католичества, признание ответственности за геноцид и т.п. В русском религиозном сознании этого очень не хватает. Только Константин Леонтьев вспомнил византийскую царицу Ирину. Апологету насилия она нравилась. Я прочел у Шарля Диля, как святая Ирина захватила престол, выколол глаза собственному сыну и приказав перебить иконоборцев — около ста тысяч человек. Титул святой она получила за восстановление иконопочитания. Не принято вспоминать, что Церковь совершила подлог, назвав убийцей Бориса и Глеба Святополка «окаянного». В саге, сохранившейся в Исландии, скандинавские киллеры откровенно написали, как Ярослав заказал им Борислейва и как был выполнен заказ. Сага переведена и опубликована Сенковским в XIX в., но ее не принято помнить.

Даниил Андреев в «Русском размахе» принимает в список русских преступлений «гайдамацкую степную мглу». Обычно только украинские националисты вспоминают, как есаул Гонта, перейдя на сторону Железняка, *свяченным ножом* зарезал свою жену-польку и двух сыновей, рожденных полькой. Программой гайдамаков было истребление всего неправославного населения. И нашелся священник, освятивший его нож! Я прочел об этом у Короленко, в «Истории моего современника». Владимир Галактионович, сын украинца и польки, как и дети Гонты, был потрясен гайдамаками и отказался от их наследства. «Моим отечеством, — заканчивает он этот эпизод, — стала русская литература». От имени русской литературы он писал о кишиневском погроме, о деле Бейлиса. Сохранит ли русская литература традиции Короленко?

Надо помнить о подвигах прошлого, чтобы не терять мужества. И надо помнить о низостях и жестокостях прошлого, чтобы не удивляться, откуда взялись пороки, вывалившиеся на нас из распавшейся корзины культуры. Они прятались и раньше в наших собственных темных углах. Не надо валить все на индурцев, как это назвал Фазиль Искандер.

Ненависть к Другому в конце концов разрушает и самого тебя. Прутики внутреннего мира личности и прутики культуры сплетает вместе только любовь. Пока не перечеркнуты все личные, национальные, религиозные счеты — не сплетается воедино, рвется на части волшебный узел.

Итог цивилизации: фундамент, лезущий в небо

Что такое Вавилонская башня? Фундамент, лезущий вверх, до облаков, но

никогда не достигающий крыши. Так растет постмодернистская, постхристианская цивилизация, замахнувшаяся на весь глобус, — и вдруг, на взлете науки и техники, — стали иссякать силы. Видимо, цивилизация, в которой наука и техника вылезли на первое место и загнали в угол все остальное, сама себя душит и вымирает.

Это началось с хаоса темных веков. Из этого хаоса, как звезды, стали рождаться вольные города. Иногда они достигали статуса независимых государств. Потом, с их помощью, короли укоротили феодалов и возникли государственные системы, опирающиеся на слуг единого закона, с единым национальным языком и культурой. В этих городах и нациях гуманисты открыли заново наследие античной философии, не зависимой от религиозной традиции; развитие наук разрушило картину мира, связанную с религиозным преданием, и незримо колебало «ценностей незыблемую скалу», ось нравственного порядка.

Этот сдвиг почувствовала трагедия Шекспира, Кальдерона, Корнеля и Расина. И до сих пор я слышу Гамлета: мир вывернулся из своих суставов; зачем же я рожден выпрямить его? И чувствую, как Паскаль, что бесконечность вселенной нельзя вынести без духовной бесконечности в человеческом сердце, без переключки бездны с бездной. А внутренняя бездна раскрывается мучительно тяжело.

Массовое сознание никогда до Гамлета и Паскаля не доходило. Но для масс величайшим потрясением было открытие Гутенберга, отдавшее Библию мирянам. Возник выбор между буквой церковной традиции и буквой Книги книг. Одним из предметов спора стала икона.

Средиземноморские народы, привыкшие молиться перед зримой святыей, не могли отказаться от «кумиров», но север Европы откололся от Вселенской Церкви. А после нескольких войн католиков с протестантами произошел другой раскол: нравственное сознание порвало с безусловной преданностью вере. Толерантность, победившая в XVIII веке, все больше и больше становилась равнодушием. Возникла амальгама разумного эгоизма с инерцией христианской морали. Она кое-как пережила кризис, вызванный Французской революцией. В тайнике, прячась от гильотины, Кондорсе создал новый миф — о прогрессе, постепенно смягчающем нравы. Этот миф чувствуется еще у Чехова, но в мировых войнах XX века он рухнул. Демон истории оскалил свои зубы.

Альтернативой взрывного развития показалось прокрустово ложе. Тоталитарные системы стремительно побеждали и так же стремительно рухнули. Продолжается вновь движение, похожее на модель первоначального взрыва, созданного астрофизикой. Зигзаги истории делаются все круче, угроза катастрофы — все явственнее. Современный Запад внутренне расшатан, и он это знает. В 1968 г., по случаю пятидесятилетия «Заката Европы» Шпенглера, Норберт Фрай писал в журнале «Дедалус»: «Старость Европы стала таким же достоянием современной образованности, как динозавр и электрон». Европа, как царь Дадон, теряет агрессивность, отступает перед кучками фанатиков.

Как пройти между хаосом и смирительной рубашкой? Запад перестал быть идеалом и потерял свое чувство идеала. Нас не утешает больше ответ Тургенева Герцену: Запад мог бы быть лучше, но лучше его ничего нет. И не радуется шутка Черчилля: демократия — худший вид правления, не считая всех остальных. Демократия один раз уже оказалась мостом, по которому прошел Гитлер. И Александр Мень предупредил нас о возможности сплава клерикализма с фашизмом. В Румынии, накануне Второй мировой войны, такой сплав уже был создан.

Возникают мифы о добрых нравах, к которым надо вернуться. Вместо светлого будущего рисуется светлое прошлое. В публицистике уже мелькнуло сочетание слов «русская цивилизация». Для массы, которую формируют средства массовой информации, этот лозунг сойдет. Слово «цивилизация» за последние десятилетия совершенно потеряло определенность и допускает любые сочетания. Но хочется вернуть ему научный смысл.

Говоря по-старому, — это общество, достигшее уровня письменности, строительства городов и известной утонченности элиты. Предполагалось, что факел цивилизации передавался от культуры к культуре и в Новое время его держит Европа. Об этой цивилизации думал Бокль, когда писал «Историю цивилизации в Англии», историю мирового процесса, нашедшего в Англии свое продолжение. Он не считал Англию самостоятельной цивилизацией. Самостоятельными были только первые очаги будущих коалиций (Египет, Шумер, Аккад, Мо-хенджо-даро¹). Постепенно между этими очагами (в Средиземноморье) или вокруг очага (в Индии и Китае) возникли воинственные царства и мечом пытались сколотить империи (можно назвать их цивилизациями второго поколения). Затем в Средиземноморье появились коалиции городов-государств (финикийских, греческих — часто демократических городов, — цивилизации третьего поколения), и, наконец, после кризиса административных единств без общих святынь — сложились имперско-конфессиональные коалиции (цивилизации четвертого поколения, дожившие до Нового времени, субглобальные цивилизации). Сдвиг в сторону демократических городов-государств был совершен только в Средиземноморье, в Индии и Китае имперско-конфессиональное единство было создано без этого зигзага.

В XIX в. подчеркивалась преемственность развития и европейский путь казался завершением. Этот взгляд доживает свой век в Америке. В Европе сознание кризиса полемически выразил Шпенглер. Он разрубил единый мировой процесс на «культурные круги», неповторимые по своему духовному облику. Друг другу они передают только технические навыки «цивилизации».

Принижение «цивилизации» (во главе которой шествовали Англия и Франция) перед культурой (фаустовской культурой, немецкой романтической культурой) вызвало резкую оппозицию у держав-победительниц, их возмущало, что победа цивилизации оценивалась как

торжество техники над культурой. Однако кризис «европоцентризма» невозможно было отрицать. Тойнби нашел простой выход из положения: он признал деление истории на отдельные круги, но с некоторыми поправками, с примером передачи христианства от Рима к варварам, а сами круги переименовал в «цивилизации» — *во множественном числе* и без ясного определения, что такое цивилизация в постшпенглеровском смысле слова, как синоним культурного круга. То, что Тойнби предлагает как определение, хромает на обе ноги: это «минимальная группа стран, с которой имеет дело историк, занятый проблемами собственной страны». Бросается в глаза, что историк Испании не может не вспоминать мавров, историк Австрии — турок, историк Тибета — Индии и Китая. Да и Ричард Львиное Сердце воевал вне границ своей цивилизации.

Можно было бы избежать путаницы, приняв простое определение Леви-Стросса: «коалиция культур» (и рассматривать цивилизацию как устойчивую коалицию культур, способную выдерживать кризисы развития). Но его статья появилась тогда, когда терминология Тойнби уже утвердилась, а терминология Шпенглера была отброшена как попытка немецкого духовного реванша за проигранную войну. И мы все сейчас рассуждаем о цивилизациях по-английски, по Тойнби, преодолевая уникально английские трудности.

Теория Тойнби строится как история Англии. Это конституционная монархия, в которой никогда не было конституции. Это страна закона и порядка, но без кодекса законов. В Англии так можно было жить, но научная теория без «конституции», без ясной терминологии — это путаная теория. Практически все теоретики цивилизации после Шпенглера имеют в виду его культурный круг, *группу* стран; но это не всегда четко оговаривается и не запрещено употреблять слово «цивилизация», как кому удобно. Я считаю необходимым внести в постшпенглеровскую теорию цивилизаций старое определение, данное Эмилем Дюркгеймом, имея в виду Европу, но подходящее и другим субглобальным коалициям культур: «группа стран, объединенных единым шШеи (трудно переводимый французский термин), который каждая из них по-своему выражает». Хочется только подставить, вместо попыток перевода шШеи, единый свод священных текстов, единый язык священных текстов и единый алфавит (или систему иероглифов), облегчивший развитие местных языков в рамках общего пространства информации.

Только у Льва Николаевича Гумилева в центре истории не группа (коалиция, круг) стран, и не святая книга, а этнос; но Гумилев и не говорит о цивилизациях; все суперэтнические единства для него — нечто рыхлое, неустойчивое и обречено на распад. Гумилев довел рассечение мировой истории до конца, до истории племен, которые он хорошо знал как тюрколог. Любопытно, что при печатании моей статьи в журнале «Диожен» редактор его, г-н Кейюа, попросил опустить критику теории этносов, поелику идеи Гумилева никому в Европе не интересны. Я думаю, Кейюа был не совсем прав; в Ирландии, в Каталонии, в Басконии, не

говоря уже о Югославии, — Гумилева читали бы с восторгом. У нас в Прибалтике это было именно так: и печатали, и читали. Советский Союз был тем самым рыхлым суперэтносом, распад которого теория этносов заранее описала и отчасти прямо вдохновила.

Можно взглянуть на Гумилева как на первого теоретика антиглобализма. Что такое советский интернационализм? Тот же глобализм, но с негодными техническими средствами и поэтому не удавшийся. Как всякий глобализм, он разрушал этническую иерархию ценностей, вошедшую в плоть и кровь, давая взамен абстракции без глубокого эмоционального контекста. К тому времени, когда Гумилева стали широко печатать, от первоначального советского интернационализма мало что осталось, но советский патриотизм, заменивший его, был неискренней канцелярской стряпней. И яростные нападки на полумертвый интернационализм 20-х годов вызвали бурный отклик. Одного только не понимали Гумилев и его читатели: всякая империя, в том числе Российская, тоже была глобализмом, одной из прошлых ступеней его развития². Рост русского этнического сознания разрушал традиции российского имперского субглобализма.

Говоря о русском этносе, Гумилев зачеркивал «всемирную отзывчивость» Достоевского, вселенское сознание Соловьева и многое другое. Но какая-то реальность за его словами стояла. А вот «русская цивилизация» — это фантом. Если не возвращаться к временам Ура и Урука, то цивилизация есть группа стран. Группа из одной персоны не бывает. Хотя под пером Хантингтона возникла японская цивилизация, и если так, то почему не быть российской?

Мысль Хантингтона влечет интуиция политолога. Он не замечает, что в оценке Японии как самостоятельной цивилизации и России как одной из стран православной цивилизации он исходит из оснований, опровергающих друг друга. В Японии он не хочет видеть примет дальневосточной цивилизации, в которой Страна восходящего солнца — только одна из многих: это единая группа святынь, амальгама конфуцианства и северного буддизма; единая в своих основах иероглифическая письменность; глубокое сходство в изобразительном искусстве (пейзаж Сэсю продолжает стиль Ма Юаня). Подчеркивается своеобразие (но Англия и Испания тоже своеобразны. Это не мешает им обеим входить в европейскую цивилизацию). Хантингтону надо отделить Японию, на которую можно положиться, от сомнительного Китая, и Японию отделяется, игнорируя органическое единство культуры Дальнего Востока.

С другой стороны, традиции холодной войны заставляют как-то отделить от Европы Россию и Сербию, и для этого вызывается из небытия православная цивилизация Византии. Кончилась холодная война с коммунизмом, но в рамках борьбы цивилизаций можно продолжать бороться с цивилизацией России и ее союзником как с западной и антизападной. Неважно, что бывшие маргиналы византийского

культурного круга (и прежде всего Россия) поодиночке вошли в Европу. Для принадлежности к православной цивилизации нужен только один признак — вероисповедание. Хотя в случае с Японией вероисповедание полностью игнорируется. Хотя православие не мешает ставить вопрос о принятии Румынии и даже Украины в НАТО, покровительствовать Грузии и т.п.

Посчитавши спокойно и строго, как советовал Окуджава, мы обнаружим, что в православной цивилизации остались только Россия плюс Сербия, с которой русских связывают общие воспоминания. Таким образом, мы возвращаемся к примеру цивилизации из одной страны, роты из одного поручика, шагающего в ногу (по оценке русских патриотов) или не в ногу (по оценке американских патриотов); во всяком случае, не в ногу со всей остальной колонной. Более серьезный разбор положения России на стыке цивилизаций Евразии — в главе «Россия на перекрестке культур». Здесь я ограничусь несколькими замечаниями.

Икона XIУ—XУ вв. показывает, что Россия могла бы стать достойным продолжателем византийской цивилизации. Но история распорядилась иначе. Роман XIX в. показывает, что Россия оставила неизгладимый след на Западе. Невозможно представить себе читающего европейца без Достоевского, так же как без Сервантеса и Шекспира. То, что Англия после Шекспира процветала, а Испания после Сервантеса хирела, в этом рассуждении неважно. Возродится ли Россия как живая культура — проблематично. В пользу этого говорит русская музыка, русская поэзия духовного опыта, против этого — русская политика. Однако проблематична и судьба Запада, переставшего читать и переставшего рожать. В последней дошедшей до меня статье Хантингтона он отказывается от мировой миссии Америки. Название статьи — «Уникальность — не универсальность».

Так обстоит дело сегодня. Но для культуролога, мыслящего веками, остается вопрос: почему Византия рухнула «с концами», почему обломки византийской коалиции культур не остались ей верны? Почему византийский центр потерял свою притягательную силу? Военное поражение не все объясняет. Иран, трижды завоеванный арабами, монголами и тюрками, создал такую блистательную культуру на новоперсидском языке, фарси, что арабский язык был отодвинут в богословие. Фарси стал языком мусульманских элит от Дели до Стамбула. Почему византийская духовность не вдохновила греков, оставшихся в городах Малой Азии, на что-то подобное? Почему византийская иконопись как-то сразу сникла вслед за падением Константинополя? Я не могу объяснить этого факта. Кое-что разъяснила интересная статья о. Георгия Чистякова (см. с. 263) о недостатках древнегреческой политической культуры, унаследованных византийцами, но многое до сих пор остается темным. Ясно только одно, что сегодня цивилизационного единства между Грецией, Болгарией, Румынией, Сербией, Грузией и Россией нет. Мы не воспринимаем грузин более близким к России

народом, чем армян, предки которых отказались когда-то принять решения Халкидонского собора.

Сегодня православная цивилизация — фантом. Негативный фантом, понадобившийся Хантингтону, чтобы оправдать традиции американской внешней политики; положительный фантом, нужный для заполнения идейного вакуума в современной России; для оправдания консерватизма некоторых церковных кругов — и для полемики с Декларацией прав человека. Что этот фантом может дать? Если византийская духовность не сумела вдохновить греков, потерявших Константинополь, создать свой невидимый град Китеж, то почему мы можем надеяться, что традиции Симеона Нового Богослова и Григория Паламы победят влияния постмодернистского и постхристианского Запада? Или современное состояние РПЦ само по себе так прекрасно, что можно без боязни глядеть вперед, в надежде славы и добра?

Ответ даст будущее. Антония Сурожского это будущее тревожило. Меня тоже тревожит. Россия не может отсидеться от кризиса христианской цивилизации в целом, от мирового духовного кризиса. Христианство может и должно участвовать в поисках выхода. Но надо признать, что готовых ответов на вопросы XXI века ни у кого нет. И плодотворнее всего искать ответы в переключке, в диалоге с другими великими духовными традициями. Не грызться друг с другом, а объединить свои силы в борьбе с духовным и нравственным распадом.

История человечества — это история очеловечивания. Она далеко не окончена. Всего около тысячи лет до Р.Х. начался переход от власти генов, ограниченных властью племенных табу, к власти души, созревшей и испытывавшей себя, власти и над генами, и над обычаем предков. На языке христианства это переход от ветхого Адама к новому Адаму. На языке северного буддизма — переход от изначального просветления, с которым человек рождается, к осознанному просветлению. Есть еще сутра, по которой человеку при рождении дан только *зародыш* просветленного и надо помочь ему вырасти. Великие религии говорят разными языками, но об одном и том же. Народы их мало слушают. За две с половиной тысячи лет только очень немногие почувствовали, что они не могут, как все, поддаваться поверхностным волнам агрессии и полового голода. Только немногие открывают в себе власть глубины. «Христианских народов нет», — говорил Антоний Сурожский; и буддийских тоже.

Народы внешне изменились (не во всем к лучшему), но рост образованности не предохранил Германию от срыва к зверству; так же как вера в Бога любви не предотвратила Варфоломеевской ночи. Бог смешал языки строителей Вавилонской башни, и волны ненависти сотрясают ее стены.

Я не знаю, как продолжать историю; как помешать ей обрушиться. Я знаю только то, что отдельный человек может много сделать. И один человек иногда в поле воин.

Завещание Антония Сурожского

Есть такой анекдот: еврей — это состав преступления, грузин — профессия, а русский — судьба. Один из фактов русской судьбы — РПЦ. У Русской Православной Церкви есть соперники. Некоторые малые общины обрусели и быстро растут. Но за ними не стоят ни Рублев, ни Достоевский, ни философы Серебряного века. Отмыслить их от православия невозможно. Остается путь реформ. Но каких?

Самую смелую программу выдвинул митрополит Антоний Блум, скончавшийся 4 августа 2003 г.

Чувствуя приближение смерти, он выступил на конференции своей Сурожской епархии 8 июня 2000 г. с речью, опубликованной «Русской мыслью» в № 4327, 20—26 июля 2000 г., с. 21. Вот несколько выдержек:

«Не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации — Церковью... Мне кажется, надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно. Это очень хорошо и важно — думать *свободно*, не стараясь приспособливаться; нужно, чтобы люди мыслящие и с широкой восприимчивостью думали и писали. нам нужны люди *верующие*, люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом — но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю!..

Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов пятьдесят лет назад мне сказал: «Вся трагедия Церкви началась со Вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было составлять еще гибкими». Я думаю, что он был прав — теперь думаю, тогда я был в ужасе.»

В эти же дни, в разговоре с психологом Федором Василюком, Антоний выразился еще резче: «И как я рад, что Церковь и попы не испортили мне чувства Бога!». Чем больше Антоний жил, тем проще и естественнее становился его язык, тем больше он опирался на незримое присутствие Христа, пережитое им в 15 лет, при чтении Евангелия, и это «чувство Бога» пронизывает его беседы и проповеди. Он передавал Предание по-своему, по-новому. И я был очень удивлен, что Сергей Аверинцев, с которым мы время от времени перекликались, назвал позицию Антония «мистическим анархизмом».

Я отшатнулся от этих слов. Сережа (прошу прощения, что буду называть его так, как звал в жизни) стал рассказывать, как он любит Антония, как всегда его любил, — но истина ему дороже, и склонность к мистическому анархизму, идущая от ранних славянофилов, ему чужда. Я решил не торопиться с оценкой и вспомнить правило Бора: глубокой истине противостоит другая, также глубокая. Надо было поискать за словами Сережи эту истину. Он не был противником реформ. За несколько лет до того — кажется, еще при советской власти, — Сережа говорил мне: «Православие переменится или погибнет». Говорил, конечно, с верой, что переменится, но все же достаточно резко. И когда начались реформы, пытался сдвинуть и Церковь, выступая с проповедями.

В чем же различие двух программ?

Когда разгадка пришла в голову, она показалась мне почти очевидной. «Мистический анархизм» — плохие, неудачные слова. Но попробуем представить себе условия, при которых программа Антония может быть выполнена. Где взять по Антонию на каждую епархию? Вот он умер — и ни одного не вижу. Епархия в Англии — случай особый, исключительный. Антоний начал с пары сот стариков, постепенно вымиравших. Новые прихожане приходили из англичан, захваченных огромным обаянием Блума, его непосредственного чувства Бога в обезбоженном мире. Да и это — только приближение к цели, поставленной Антонием, только узнавание «встречи», а не «встреча». Полностью цель может быть достигнута, как сейчас говорят, виртуально, — с тысячью праведников после Второго пришествия. Вот они все встретят Бога, «познают истину» (в евангельском смысле слова), и «истина сделает их свободными». Точка зрения Антония — эсхатологическая. Можно назвать ее также точкой зрения «незримой церкви». Аверинцев исходил из другого: из церкви исторической, зримой.

Противопоставление зримой и незримой церкви принадлежит Августину: не всякий, принадлежащий к церкви зримой, принадлежит к церкви незримой; и не всякий, принадлежащий к незримой церкви, входит в церковь зримую. Зримую церковь начал строить Павел *после Христа* и сразу огородил ее правилами, канонами, чтобы слабые люди не потерялись. А сам Христос никакого христианства не создавал: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами». Ему довольно было старой еврейской Библии, но при свободе толковать ее и обходить закон, если закон противоречит сердцу. Но могут ли существовать церковь зримая и незримая, Церковь Павла и Христа, друг без друга?

Потеряв незримую встречу (которая у Павла была), Церковь превращается в омертвевшую «церковную организацию», того гляди — и в царство Великого инквизитора. А незримая церковь, без опоры на традиции, на тексты — рассыплется на группы, где каждый раз надо будет доходить до глубины заново. Иначе говоря, зримая и незримая церковь не могут жить в оторванности друг от друга. Они нуждаются в перекличке, в диалоге, при постоянном господстве духа над буквой.

Что же, однако, делать, если диалог упирается в тупик? Антоний отвечает на это своим учением о *Божьем следе*. Оно было сформулировано еще в 1974 г., на конференции в Париже (Русский перевод Е.Л.Майданович в «Континенте» № 89, 1996 г.)

«Действия Христа рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина (и всякой духовно зрелой личности. — Г.П.). Иначе это будет деятельность, основанная на принципах нравственных, богословских или иных принципах; но сколь бы они ни были истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие

Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью — не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам вглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог».

Не стоит разъяснять, что Антоний вовсе не против всех принципов и правил. Во многих случаях они целесообразны. Транспорт движется по сигналу «зеленый свет» и останавливается по сигналу «красный свет». Но жизнь в целом не так проста. На войне не вступают в переговоры с врагом, с ним воюют. Но с политическим руководством вражеской армии переговоры возможны, и многие принципы, провозглашенные в ходе войны, отбрасываются ради мира. Английское правительство вступило в переговоры с политическим руководством ирландского террора и достигло соглашения с ним. Два бывших террориста, Менахем Бегин и Ясир Арафат, получили Нобелевские премии мира за то, что вступили в соглашение друг с другом. Правда, это соглашение плохо выполнялось, но отсюда не следует, что оно не способно в будущем стать шагом к подлинному миру. В сложном и противоречивом мире любой принцип, последовательно и беспощадно проведенный до конца, где-то становится абсурдным. Божий след не проходил через трупы 350 детей. В Беслане русское правительство вело себя как Нина Андреева³, не способная отказаться от принципов. В данном случае — «не вступать в переговоры с террористами», — и дети погибли. История чеченской войны полна таких кровавых нелепостей. Беслан — только бьющий в глаза, режущий сердце пример. Церковь должна была оценить его так, как митрополит Филипп оценил причину. Она не сделала этого.

Паралич Церкви, претендующей на ведущую роль, должен быть чем-то восполнен. Может быть, собором всех существующих в России религиозных общин. Может быть, религиозно-философским обществом вроде того, которое существовало в дореволюционной России. Я встречал творчески мыслящих людей среди православных (включая староверов), протестантов, католиков, буддистов, я разговаривал с ними, я убежден в плодотворности такого разговора. Я думаю, что он подтолкнул бы процессы размежевания и в Православной Церкви. В последнем своем

интервью Александр Мень предупреждал об угрозе союза клерикалов с фашистами. Произошло опасное сближение с примером, уже бывшим в европейской истории — православным фашизмом румынской «железной гвардии». Когда убийство совершилось, Антоний оценил его без всяких скидок: «Это убийство не уголовное и не политическое, а изуверское и наш общий позор». Реплика была передана по БиБиСи и записана моей покойной знакомой Мариной Венецкой, я получил информацию из первых рук.

Сегодня достаточно подойти к киоску с церковной литературой и спросить, нет ли книг Меня, — вы услышите: «недаром топор падал»; «недаром его убили» и т.п. Процессы, идущие в православии, страшнее, чем неоязычество. Пора открыто заговорить о том, что соль перестала быть соленой и нечем посолить тесто.

Пора вспомнить слова одного из мучеников веры в коммунистических застенках, Рихарда Вурмбрандта: «Мы поняли, что число наших конфессий можно было сократить до двух: первой из них стала бы ненависть, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других. Другая — любовь, которая позволяет очень разным людям опознать их единство и братство перед Богом»⁴.

Я готов повторить, вместе с Георгием Петровичем Федотовым: «Мы не спрашиваем, какой вы веры, но какого вы духа».

Россия на перекрестке культур⁵

Я обратил внимание на то, что в дискуссии о России почти не учитывается теория цивилизаций; либо ее вовсе не вспоминают, либо приводят отдельные оценки, звучащие как похвала, не вникая в смысл слов. Например, разгорается спор, Европа ли Россия или Азия, не задавая себе вопроса, — какая Азия? К какой именно из цивилизаций, разместившихся в Азии, Россию можно отнести? Не замечают, что Азия — понятие физической географии, в географии культур такой единицы нет.

До наших дней дожили две субглобальные цивилизации, примыкающие к Средиземноморью: Северо-Западная и Юго-Восточная, с примыкающим к ней Ближним Востоком, и две Индийско-Тихоокеанские, слабо связанные присутствием буддизма.

Когда средиземноморский Восток был представлен Византией, до 1054 г., это были две части единого христианского мира (за границей которого осталась персидская держава, соперник Византии). После истощения Византии и Ирана борьбой за первенство, наступил час ислама. Иран был завоеван, Византия медленно рушилась еще тысячу лет и рухнула. Но ислам остался в родстве с Западом (хотя и враждебном родстве). Его корни — как и корни Запада — в Иерусалиме и Афинах. Другое дело Индия (с примыкающими к ней маргиналами) и Дальний Восток. Там непривычная структура сознания, другая логика, там не

имеют смысла слова «монотеизм» и «политеизм», там нет закона исключенного третьего. Шпенглер был почти прав, — «араб никогда не поймет китайца» (во всяком случае, поймет только с огромным трудом). Водораздел религий и культур — не между Европой и Азией, а между средиземноморскими цивилизациями и индийскотихоокеанскими.

Я заговорил о субглобальных цивилизациях. Сразу же поясню термины. Примем за рабочее определение цивилизации слова Эмиля Дюркгейма: группа стран, объединенных единым духом (милье), который каждая из них по-своему выражает. Формирование таких групп шло долго. Их исторические предшественники — рыхлые круги, возникшие вокруг Шумера, Аккада и других очагов письменности. В этих кругах начались попытки империй «четырёх сторон света», сбитых мечом и лишённых духовной связи. Только после тысячи лет бесплодных войн начали складываться так называемые мировые религии и возникли имперско-конфессиональные единства.

Это, собственно, и есть начало субглобальной цивилизации. Снова перечислю ее основные параметры: единая группа священных текстов; единый язык священных текстов, довольно долго остающийся международным языком науки и поэзии. И третье: единый шрифт, который заимствуют и все новые языки. Цивилизация не сводится к трем признакам, но это ее паспорт. Латиница — обложка паспорта Запада, куда бы он ни дошел, хоть до Австралии. Арабская вязь — обложка паспорта ислама. Шрифт деванагари (вместе со шрифтом священных книг буддизма) — граница южноазиатской цивилизации. Употребление иероглифов, китайских по своему происхождению, — граница Дальнего Востока. Тибет культурологически в него не входит.

Россия — страна, развивавшаяся на перекрестке субглобальных цивилизаций и испытывавшая глубокое влияние по крайней мере трех и скорее даже четырех из пяти возможных. Одно влияние ломало другие, но не могло совсем сломать его, и возник своего рода слоеный пирог из разных сортов теста. Что это дало в психологии русского человека? Что это дало в истории страны?

Я приведу три отрывка из сочинений писателей, обладавших исторической интуицией. Первые два отрывка — из «Игрока» и «Подрустка» Достоевского, третий — цитата из размышлений Синявского в лагере, собранных в «Голосе из хора».

«Я, пожалуй, и достойный человек, — говорит Алексей Иванович, — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, а знаете почему: потому что русские слишком богаты и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богаты одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с

чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит». И далее: «Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша». Это из гл. V «Игрока». Слово «форма» повторяется шесть раз.

Одна из причин несобранности русского ума — сплетение нескольких культур, участвующих в формировании России. Это противоречивое богатство трудно уложить в прочно сбитую форму. В Европе или в офранцузенном высшем свете герой Достоевского чувствует себя «не таким, как надо». Не только как разночинец, но как человеческий тип, слишком много в себя впустивший, слишком открытый Другому. Граф Толстой тоже чувствовал себя сотте И пе Гаи! раз. Я это уловил еще студентом, потому что сам был близок к переживанию сотте И пе Гаи! раз в советском обществе, и первым человеком сотте И пе Гаи! раз признал Гамлета. В переломные эпохи «не такие, как надо» становятся расхожим типом. Но наиболее одаренные из них действительно несут в себе какую-то незрелую, ломкую, но подлинную широту, превосходящую штатных фортинбрасов. И Версиллов, попав в Европу, чувствует себя единственным общевропейцем, подлинным европейцем, превосходящим французов, немцев и других носителей частностей Европы, осколков Европы, которую он воспринимает как единую империю духа.

Я цитирую отрывки, разбросанные по трем страницам: «У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский». Об этой многосторонней русскости Достоевский писал, вернее говорил, и в своей Пушкинской речи.

Синявский подхватывает и сплетает оба мотива: чувство неловкости среднего человека, не такого, как надо, и чувство гения, взлетающего над ограниченностью штатного европейца, француза, немца, англичанина. Русскую широту Синявский выводит из Святого Духа, который веет, где хочет, но особенно свободно — в России, именно потому, что она так и не сложилась в устойчивую, замкнутую форму, потому что в ней полно метафизических щелей. Картина, которую он рисует, выводит нас из области индивидуальной психологии и дает целостный образ народа, создает нечто вроде «идеального типа» русской истории, как сказал бы Макс Вебер, образ русского клубка противоречий — и делает это легко, играя, наслаждаясь радостью игры в духе постмодерна, не

поколебленного и за колючей проволокой.

«Религия Св. Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и во- лодейте нами), нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что- то вполне серьезное... В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазии художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Слово для нас настолько весомо (духовно), что включает материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы — консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хочет, и чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно». Я думаю, что Синявский имел в виду недостаток внутренней, духовной структуры, формы. Именно от этого он выводит избыток внешней бюрократической регламентации.

Эта блестящая характеристика может быть обоснована, не упоминая всуе имя Царя Небесного, утешителя, духа истины. Восточнославянские племена обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Я обязан Д.А.Мачинскому замечанием, что финны жили в лесах, скифы — в степи и только восточные славяне освоили территорию от Белого до Черного моря. Но подобные достоинства можно признать и у племен банту. Подгоняемые высыханием Сахары, они прошли сквозь влажные леса до степей Южной Африки. Великую культуру банту при этом не создали и не создали бы ее древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого; форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции и Англии, прежде чем попала в Россию. Так же как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имеет долгую историю до возникновения России. Синявский прав: русский гений способен влиться в любую форму (и усовершенствовать ее — добавлю от себя), но теряет силу, когда нужно создание форм.

Культура, развивающаяся на перекрестке мощных духовных влияний, в некоторых случаях способна к созданию новой самостоятельной

цивилизации. Но этому мешали периодические ломки, не дававшие устояться в тишине, как устоялся Тибет. Русские показали себя учениками, способными превзойти своих учителей, но в формах, созданных учителями. Это и сегодня хочется напомнить, в связи с попытками воскресить мертворожденную Евразию. Русскую национальную культуру хочется продолжать с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаясь упразднить многослойность России, но только превратить глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.

Россия восприняла открытость Богу от византийской иконы, доходившей до сердца и без знания греческого языка; и восприняла западную — с эпохи Ренессанса — открытость миру и человеку, ставшую родной для русского интеллигента. Но еще до этого Россия восприняла из Китая — через монгольское посредство — систему подушной подати и круговой поруки, созданную самой антикультурной из китайских династий, сжигавшей книги и топившей в нужниках конфуцианских ученых. Это наследие Цинь Шихуанди и его вельможи Шан Яна стало мощным рычагом в руках князей Москвы — «самого отатаренного из русских княжеств», по характеристике Г.П.Федотова. Фискальная система, по которой община платила подать и за тех, кто бежали от фиска, заставляла посадских людей самих просить о запрете им менять место жительства. В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской, росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Эту характеристику Федотова впоследствии повторил Гроссман, не зная Федотова. Однако те, кто не мирился с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Аляски и даже до Сан-Франциско. Или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится.

Так сложился русский слоеный пирог, сдавленный самодержавием, но не спеченный и периодически грозивший распадом и смутой. Казачья воля сотрясала рабство, византийский чин не ладился с европейскими правами человека. Сравнительно с этим пирогом Франция, Марокко или Корея кажутся булками, выпеченными из одного куска теста, сотни и тысячи лет развиваясь в рамках одной субглобальной цивилизации, одной иерархии святых.

Можно возразить, что Древняя Русь по основам своей веры входила в византийский культурный круг, а остальные влияния были внешние, не вторгаясь в святая святых. Но святая святых была представлена только иконой. Византийцы не потрудились распространить свой язык, как это сделала Римская Церковь. Город Рим завоевывали варвары, но латынь твердой рукой держала западный мир. Византийский культурный круг не был достроен до законченной субглобальной цивилизации с единым языком церкви и вершин культуры. Как и эллины в споре с Римом, он не сдал экзамен на аттестат политической зрелости.

Субглобальная цивилизация — это единое пространство информации,

сохраняющееся и без империи. Возникали новые нации и новые языки, но понимание их было облегчено стандартным шрифтом, а на Дальнем Востоке — единой системой иероглифов. Таким образом, сохранялась единая система ценностей. Между тем, византийцы перевели на древнеславянский язык лишь Библию и Псалтырь, то есть общехристианские тексты. Добролюбие, собрание святоотеческой литературы, собственно и составляющее основы православия, в отличие от католичества, стало доступным русским читателям только в XVIII в. В это время при дворе уже читали Вольтера. Без единого языка церкви единство православного мира не могло сохраниться, когда пал Константинополь. Как я уже говорил, никакой православной цивилизации сегодня нет. Что общего между Грузией и Румынией? Какой общий дух они выражают? Единство конфессии само по себе не создает единства цивилизации. Хантингтон говорит о православной цивилизации от нечистой совести. Если признать, что маргиналы византийского культурного круга стали маргиналами Западной цивилизации, то американская авиация бомбила христианскую Сербию. Гораздо приличнее бомбить православную Сербию, которая не ближе христианской Америке, чем Ирак.

Византийское влияние никогда не было всецелым, Россия развивалась в пространстве между субглобальными цивилизациями. Попытка выстроить и утвердить уникальную культуру Третьего Рима уперлась в недостаток культурных ресурсов. После духовной трагедии XV в., о которой писал Г.П.Федотов, после разгрома заволжских скитов, где прививалась культура молчаливого созерцания, исихии, духовный уровень русского православия резко упал. Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана ГУ, по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I прежде всего добивался военнотехнических знаний, но оказалось невозможным отделить платонов от ньютонов. Я имею в виду стихи Ломоносова, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать». Через 100 лет после Петра родился Пушкин.

Поворот к Западу еще более усложнил многослойность России. Европейское часто воспринималось поверхностно и неполно, но в глубоких умах оно рождало глубокие сдвиги. Я не знаю литературы, в которой паскалевское чувство одиночества человека во Вселенной было воспринято с такой остротой, как у Тютчева, Толстого и Достоевского. Вызов космической бездны, по-видимому, поддерживался чувством социальной неустойчивости, страхом социального и нравственного распада. Николай Федорович Федоров, конечно, крайность, но все-таки в России эта крайность была возможна, ею интересовались великие писатели. В Англии, Франции, даже в Германии «Философия общего дела» Федорова просто немыслима. Способ, предложенный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не

смешна. Во всяком случае не больше, чем подвиги Дон Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснулись бессмертия — настолько, насколько это удалось и на тот миг, когда это удалось. И в стихах Тютчева, на некоторых страницах Толстого и Достоевского тоска по бессмертию меня захватывает и в мои двадцать лет оттеснила на второй план Стендаля, с которым вместе я четыре года боролся с духом коллектива и постигал любовь. И вся западная литература немного потускнела. Она была слишком человечна. Не редела она от сознания бессилия, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья, как тварь скользкая в стихах Гумилева.

Рильке писал, что могучая жизненность Толстого, его страстное сочувствие жизни каждой травинки неотделимы от его невыносимого страха смерти, стоявшей все время за плечами. И могучая творческая воля Достоевского, направленная к гармонии, неотделима от его острого, невыносимого чувства дисгармонии русской (и всякой) человеческой жизни. Сон смешного человека снится на грани отчаяния, на краю пропасти. В конце концов, в царстве творческого воображения вызов рго и еоп1га получил достойный ответ, и отказаться от этого вызова, пустить свои духовные корни на спокойном, отлившемся в свои формы Западе или в относительно цельной старой Московии — все равно что променять первородство на чечевичную похлебку. Русь шире, чем западничество и славянофильство. Но жизнь в России бывает ужасна. Политического гения России не хватает. Государство сжимает, сдавливает противоречия, но не может заменить органического процесса перехода от скрытой войны несовместимых начал к открытому и плодотворному диалогу. Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу; а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.

Мировые достижения русской культуры были и до сих пор остаются достоянием творческого меньшинства. Так было в XV—XVI вв., когда государь ездил по монастырям поклониться святым иконам, а потом правил как татарский хан и относился к своим боярам как к рабам. Так было в начале XX в., когда заново был поставлен вопрос о диалоге византийских и западных начал. Тогда князь Трубецкой написал свое «Умозрение в красках», Флоренский — книгу об иконе и экспедиция Грабаря нашла на кадках с огурцами и капустой потемневшие лики архангела Михаила и апостола Павла, а перевернув ступеньку, по которой ступали грязные ноги, увидела на ее обороте потемневшего Спаса.

Потом поиски были брошены. Всё перечеркнул бунт солдат, уставших от войны, и политический гений Ленина, сумевшего использовать хаос для утверждения новой диктатуры, прикрытой новым призраком всемирной коммунистической утопии. Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком Третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части: одна бежит через границы, снова открывшиеся, с надеждой на волю, а другая

подставляет шею под ярмо, с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство вопроса, не дающего спокойно спать. Митрополит Суражский однажды процитировал Ницше: тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду.

Наша болезнь сливается с болезнью всей христианской цивилизации, только в более острой форме. Вялая, хроническая форма, западная форма удобнее для жизни, и если искать удобств, то лучшей клиники нет. Но в удобствах и наслаждениях — роковая приманка. История все время создает кризисы и требует порыва, чтобы выйти из кризиса. А после взрывов энергии XX в., закончившихся массовыми убийствами, Запад не доверяет никакому энтузиазму и ищет смысла жизни в наслаждениях, в покое, в эгоистической замкнутости от тревог. Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с Юга и Востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно, комфортабельно вымирать. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы, но у нас все острее, невыносимее, и это отчасти хорошо, это толкает в глубину, искать чудесных сил, скрытых в глубине, потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версильов, призвана держать в уме весь средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно.

Широта русской культуры не несет в себе никаких политических гарантий. Смута в форме кражи и коррупции может продолжаться долго, слишком долго, до распада и гибели всех политических структур. Против инерции распада ведет неравную битву бескорыстная работа меньшинства, борющегося за нравственное возрождение — в школе, в семье, на улице.

Возможности культуры, развивающейся на перекрестке субглобальных цивилизаций, не исчерпаны. Была бы только не исчерпана воля искать в своей суете колодцы в глубину, часы созерцания, как находил их Синявский в лагере, на общих работах. В этих колодцах можно найти источники творческой энергии, способной остановить упадок, источники новых сил в борьбе с новыми препятствиями. И образ рублевской Троицы можно прочесть как образ нового человека, переходящего от созерцания к действию и от действия и истощения в действии — к новой, еще большей глубине созерцания и к новым, чудотворным силам. Каждый из нас несет в себе семя чудотворца, но мы не даем ему вырасти.

Россия вряд ли, в обозримом будущем, станет благоустроенной страной. Но само ее неустройство вдохновляло Толстого и Достоевского. Оно может вдохновить и наших потомков.

Обсуждение доклада «История России в свете теории цивилизаций»

Лейбин: Начнем обсуждение. По традиции, я попытаюсь что-то уточнить.

Померанц: Лучше вопросы.

Лейбин: В принципе, можем разделить: сначала принимаются вопросы на уточнение, а потом — некоторые тезисы. Если будет не по сути дела, я имею право лишить слова.

У меня, пожалуй, вопрос на уточнение. Правильно ли я понял, что схема, в результате которой Россия описывается как некоторая догоняющая западноевропейские образцы конструкция, является глубоко порочной в том смысле, что это неправильный взгляд на то, что нам здесь делать.

Померанц: Я бы ответил так. Ориентация на опыт Европы и вообще Запада необходима. Но анализ наиболее глубоких явлений культуры показывает, что отношение России к Западу было творческим. Это подчеркивается в разговоре Версилова со своим сыном, что Россия воспринимает Европу как нечто целое в большей степени, чем, во всяком случае, во времена Версилова (тогда ведь не было единой Европы, да и сейчас неизвестно, едина ли она духовно). Я, например, бывая на Западе, духовного единства не замечал. Замечал натянутые отношения, просто выгоды заставляют держаться вместе. Версильов показывает, что русский подход к Европе — это подход как к тому целому, которым Европа сама еще не стала. Поэтому Толстой и Достоевский, в особенности Достоевский, были восприняты во всем мире как писатели, сказавшие новое слово. Это не слово, исходящее из традиции вятичей и радимичей. Это традиция из истории России, в которой она, оказавшись между разными цивилизациями, приобрела некоторую повышенную широту.

Вполне усвоилась изящная форма европейского романа вроде тургеневского, в которую Россия влезала одним уголком. Были писатели, как Лесков, которые игнорировали этот верхний офрануженный слой и изображали скорее допетровскую Русь в той мере, в какой она оставалась в глухих углах. И были Толстой и Достоевский, у которых Россия выступала во всей своей широте, и одновременно этим она показывала некий образец художественной цельности Европе, хотя использовала опыт Европы.

Я в одной статье писал, что если мы рассмотрим творчество Достоевского, то увидим, что он тклет совершенно самостоятельный ковер, но нити он берет из Испании, из Франции, из Англии, сплетает же их в ковер по-своему.

Лавровский: Скажите, пожалуйста, куда вы относите Штаты? Можно ли считать, что центр средиземноморской цивилизации сейчас находится где-то в районе Мексиканского залива?

Померанц: То есть вам кажется, что сейчас ислам наступает и имеет шанс победить... Я в этом сомневаюсь. Вообще, средиземноморской я называю дуальную группу из христианской и в данное время мусульманской цивилизации. Сейчас Европа, безусловно, находится в таком положении, в котором находилась Римская империя, которая сажала на своих окраинах готов, чтобы готы защитили ее от гуннов. Примерно такой характер имеет включение в Европейский союз Турции. По-видимому, чтобы турецкая армия на случай чего.

Лейбин: Вопрос был о США. Есть ли центр средиземноморской цивилизации сейчас в районе Мексиканского залива в том смысле, что в Штатах.

Померанц: Я так не думаю. Европа ведет самостоятельную политику, которая не совсем совпадает с американской. Что касается Америки, то один из более умных американских политиков, Хантингтон, как раз выдвинул сперва концепцию борьбы цивилизаций, а сейчас полностью отказался от нее. Он пришел к выводу: не до жиру, быть бы живу. Его последняя дошедшая до меня статья называется «Уникальность — не универсальность». Перевес смертности над рождаемостью приводит к тому, что Америка вынуждена импортировать рабочую силу, и единственное, что утешает Хантингтона, что можно импортировать латиноамериканцев, которые, по крайней мере, христиане. Тогда как Европе приходится импортировать мусульман. Словом, Европа находится в обороне, но это не значит, что она вышла из игры.

Савченко: Если я вас правильно понял, и Хантингтон, и Тойнби считали, что существует православная цивилизация. Насколько я вас понял, вы так не считаете. Вы считаете, что ее не существует, а существует некая русская культура. Тогда хотелось бы уточнить, как она, все-таки, географически распространяется, как она соотносится с границами существующей России? И что в этом смысле нас ждет, ведь если продолжать... Я не знаю, что сейчас говорит Хантингтон, но раньше он говорил, что те страны, которые совмещают в себе различные цивилизационные культурные начала, неизбежно разваливаются.

Померанц: Начну с последней вашей фразы. Страны, которые совмещают в себе различные культурные начала, — это страны, которые, в принципе, могут создать новую цивилизацию. Пример — Тибет, расположенный на стыке индийской и китайской цивилизаций, на горах, куда не заходили завоеватели, имея покой, который Россия не имела, Тибет за несколько сот лет построил совершенно самостоятельную цивилизацию со своим копендумом важнейших текстов, переведенных или написанных на тибетском языке, и даже выбрал свой самостоятельный шрифт. Словом, все параметры цивилизации там есть, и в свою цивилизацию они обратили монголов и бурят. Но беда тибетцев в том, что больше им обращать было некого, мир был уже разобран, слишком поздно они начали. Во всяком случае, Тибет показывает, что на стыке двух цивилизаций может возникнуть органическая цельная цивилизация.

Все, кто знакомы с культурой Тибета, конечно, по книгам, воспринимают ее как цельную цивилизацию.

Представления о том, что сочетание нескольких начал обязательно ведет к развалу, по-моему, неверно. Это одновременно является и неким культурным богатством, как вызов, который может быть принят, и слепое столкновение разных начал может уступить место, как я уже говорил, цивилизованному диалогу, и этот диалог может стать прообразом мирового диалога цивилизаций.

Мы с вами свидетели процесса глобализации. Возникновение субглобальных имперско-конфессиональных цивилизаций — это вторая ступень глобализации. На третьей ступени — торговая экспансия Запада, которая создает торгово-колониальную глобализацию. И четвертая ступень — это финансово-электронная глобализация. Так что мир в целом движется, хотя это может кончиться и катастрофой, вовсе не обязательно все хорошо кончается, может кончиться тупиком и развалом, а может кончиться успехом. Мир все-таки движется шаг за шагом в сторону глобализации.

Да, тут же надо оговорить: есть народы, которые этому решительно не подчиняются, и субглобальные цивилизации, когда их принимают, принимают чисто внешне. Такие народы, как афганцы, чеченцы, вьетнамцы, независимо от того, какую религию они исповедуют, по существу, остаются чем-то вроде племени, которое может погибнуть, но будет все время защищать свою самобытность. По отношению к таким народам прав Гумилев. Хотя в целом он не прав, потому что гораздо чаще происходит другое. Есть и такие исключения. Словом, процесс идет очень сложный, в сторону глобализации. Чего не хватает, так это духовного единства современного мира, — то, что Хантингтон думал, что можно просто американизировать мир. Повторяю, от этого он сам отказался. Я своими глазами читал его статью, она переведена на русский язык, не помню, где она у нас напечатана, «Уникальность — не универсальность». Позиция Запада сейчас — позиция обороны, сохранить до новых лучших времен своеобразие своей цивилизации. В то время как, скорее, наступать будет Дальний Восток. Что касается арабов, по-моему, это бумажный тигр. Арабы могут пока что пугать нас взрывами, но не обгонять нас в развитии. Вот китайцы, японцы — они могут обогнать, повернуть к большей стабильности и т.п. Словом, от них можно ждать нового. А турки, кажется, собираются вместе с немцами оборонять ту же старую Европу.

Сухов: У меня такой вопрос. С вашей точки зрения, есть, все-таки, у России самобытное культурное будущее?

Померанц: Есть, если мы сумеем вернуться к тому моменту, на котором мы стояли до 1917 г., когда были сделаны очень важные шаги, чтобы возродить то, что мы с XVII в. потеряли, сумеем возродить понимание огромного духовного богатства, заложенного в иконах Рублева и других иконописцев, понять это умозрение в красках, которое относится,

по-моему, к одному из высших достижений мировой культуры. К сожалению, греки были талантливы в искусстве и довольно слабоваты в политике, поэтому они и проиграли, а римляне в некоторой степени выиграли. К сожалению, в истории чаще всего выигрывают хорошие политики.

Но, во всяком случае, то, что уже вошло в нашу культуру, что мы можем понять, во что вдуматься, это требует вдумчивого диалога с той струей, которую в нашу культуру внес Запад. Мне кажется, это очень интересная задача. Меня, например, это увлекло с тех пор, когда я понял, что эта задача существует. А если есть задача, найдутся и люди, которых эта задача увлекает, которые могут что-то создать в этой области, создать более сложную, но в то же время цветущую культуру. Цветущая сложность — это выше, чем примитивная цельность, так все время было в истории культуры. Но гарантии никакой нет, вообще в мире никакой гарантии нет.

Сухов: Тогда дополнение. Считаете ли вы, что этот процесс должна возглавить Православная Церковь?

Померанц: Это было бы хорошо, если бы церковь была бы другой. Например, при выходе из тоталитаризма Германии и Италии очень помогло формирование христианско-демократической партии. Сразу же очень быстро после поражения у них сложился нормальный парламентский механизм, где один фланг заняла христианская демократия, а на другом — возрожденная социал-демократия. К сожалению, попытки нашей молодежи (я их помню в начале Перестройки) создать христианско-демократическую партию натолкнулись на то, что Патриархия и демократия — две вещи несовместимые, несмотря на то что некоторые отшельники православия написали хорошие книги, что это возможно. В частности, обращаю ваше внимание на книгу игумена Новика «Православие, христианство, демократия», где он пародирует лозунг Уварова «Православие, самодержавие, народность». Хорошая книга, умная.

Затем, вы, вероятно, не знаете своего рода духовное завещание Антония Сурожского, которое я пытался протолкнуть в эфир, когда меня пригласили участвовать в оплакивании Папы. В конце каждый из нас мог более подробно развить свои взгляды, я посвятил эти 2—3 минуты тому, чтобы рассказать о споре, который возник между Антонием и Аверинцевым. Это стоит того, чтобы коротко рассказать.

В своей речи 8 июня 2000 г. Антоний говорил: «Нам нужны люди, пережившие встречу». Встречей он называл живое чувство присутствия Бога в мире. «Конечно, не у каждого может быть встреча такая, как у апостола Павла, но какая-то встреча должна быть у каждого. Нам нужны люди, которые пережили встречу, а потом живут, мыслят и действуют свободно». Дальше он повторил мнение одного богослова, Зернова, что трагедия Церкви началась с Вселенских соборов, которые слишком жестко ограничили разницу между истиной и ложью, больше должно

быть предоставлено личным поискам человека⁶.

На это в устной форме, в разговоре со мной, возражал Аверинцев. Он считал, что это мистический анархизм, идущий от ранних славянофилов, разрушающий Церковь и т.д. Потом он тоже умер, что позволяет мне опубликовать и его мнение, так бы я не стал его подводить. Он тоже был сторонником реформ. Он говорил, что православие или погибнет, или изменится. Но он хотел реформы других параметров, сохраняя больше из традиции. С моей точки зрения, Антоний стоял на эсхатологической позиции, т.е. он выдвигал требования, которые ороше удовлетворить только незначительное меньшинство. Чтобы осуществить это по всей России, надо по Антонию — на каждую епархию, таких нет. Поэтому речь идет о другом, о возможности диалога между теми, которые способны откликнуться на призыв этого, несомненно, замечательного человека, Антония. И теми, которые стоят на исторической почве, имея дело не с одиночками, вышедшими вперед, а с массой. В общем, у меня всё вырезали, кроме последней фразы, которую повторила Светлана Сорокина: «Нужен диалог внутри Церкви». Этими словами я кончил, только эти слова и пошли в эфир, а всё остальное выбросили.

Если говорят, что церковь могла бы много сделать, я должен добавить: «Смотря какая и смотря что с этой церковью случится дальше». Пока что существуют отдельные люди, которые могли сказать здесь свое слово. С несколькими я познакомился случайно, когда попал в делегацию, посещавшую Израиль, тоже по какому-то поводу. Там было несколько священников, я с Новиком так познакомился, с некоторыми другими. Кроме того, я считаю очень интересными брошюры, которые издает Г.Чистяков, он пишет очень интересные книги. Так что есть отдельные люди в церкви, к которым стоит прислушаться. Но пока все, что там есть живое, блокируется Патриархией, от которой я ничего хорошего не жду.

Лейбин: Я бы сейчас стал принимать более развернутые суждения, не только вопросы на уточнение. В прошлой лекции, прочитанной Альфредом Кохом, он отталкивался от целого ряда рассуждений, где вносится в общественно-политический дискурс вопрос о цивилизационной принадлежности России. Во всех этих обсуждениях и тезисах есть прямой практический смысл. Потому что наиболее яркие западники делают всегда такую политическую подмену: если мы цивилизационно Европа, то и политически должны быть там. И, соответственно, Кох тогда моделировал оппонентов, спорил с «а если».

Что нам для этого обсуждения дает инструментарий теории цивилизаций? Как вы сами же отметили одну из наших национальных черт — дефицит политической культуры, про это же был разговор в ряде предыдущих лекций. Можно ли понять последние слова вашей лекции о школах и учениках как политическую программу, в этом смысле, в этой дискуссии или как-то по-другому? Понятно, для чего А.Янову нужно утверждать, что Россия — это Европа, только выпала из нее, — для того

чтобы сказать, что нужно немедленно вступать в Евросоюз, и много разных других выводов. В каком смысле и для чего можно использовать теорию цивилизаций? Можно ли ее так прямо спроецировать на какое-то политическое утверждение, или это не для этого?

Померанц: Разные ходы развития теории цивилизаций — это не законченное, уже готовое учение вроде марксизма, который был сведен к нескольким формулам, которые надо было выучить наизусть — и все. Тут же есть масса споров. Л.Н.Гумилев акцентировал роль этноса, я считаю, что движение идет скорее в сторону глобализации и т.д., есть разные точки зрения. Во всяком случае, знать это надо, чтобы не задавать ненужных вопросов, что такое Россия — Европа или Азия. Россия все-таки всю свою историю была связана с той или другой цивилизацией средиземноморского круга, связанной с монотеизмом и с греческой философией. Это или византийская цивилизация, или западная. Поэтому, мне кажется, России не имеет смысла выбираться из этого круга. К чему? Хайдеггер шутил, что к концу XX в. нам придется учить китайский язык. Не знаю, думал ли он это всерьез, тем более он говорил это про Германию.

Но если говорить о конкретных задачах, то при нынешнем состоянии народа, уставшего от неудачных и бесплодных реформ и желающего порядка, каким бы он ни был, попытки создать какие-то массовые политические партии ничего не дадут. Надо заниматься воспитанием молодых людей, которые выйдут из школы, из университета в ближайшие годы, десятилетия. Должен постепенно измениться характер народа, расширится его кругозор, углубиться его понимание, в чем смысл человеческой жизни, тогда мы можем приобрести и другое правительство.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, насколько опасно влияние исламской культуры в русскую христианскую культуру в связи с демографической ситуацией в России?

Лейбин: По сравнению с Европой, видимо, да?

Померанц: Ислам гораздо более массово вливается в Западную Европу. У нас резервы этой миграции пока еще не очень большие. Это больше в Москве бросается в глаза, а в глубинке даже не очень заметно. Гораздо больший процент мусульман во Франции, в Германии активнее вошел в жизнь, чем у нас. И последнее мероприятие — принятие Турции в Европейский союз — мне напоминает (я уже говорил об этом) поселение готов, чтобы они защищали от гуннов. Что касается России, то мусульмане, которые у нас долго жили, так обрусели, что даже утратили свою способность рожать много детей, казанские татары, например, на одном уровне с нами, мало рожают и никак не могут нас затопить. Вот, азербайджанцы разве... Но их не очень много. У нас другие болячки, не это нам страшно. Страшно то, что мы потеряли духовную ориентацию. Церковь в значительной степени не выдержала экзаменов в 1917 г. Если бы она больше влияла на народ, народ стал бы защищать ее. В Польше никто не разрушал храмы, а у нас разрушали, и народ очень редко

протестовал, чаще сам участвовал в разрушении и тащил, что можно. И в дальнейшем политика в отношении Церкви, когда владыками становились только люди, имевшие офицерское звание в системе госбезопасности, майора, полковника, — это все очень уменьшает возможности духовного обновления.

История полна рисков, нельзя быть совершенно уверенным. Я во многих местах встречал людей сравнительно молодых, 30—40 лет (для меня они молодые, мне 87, для меня 40-летний человек — это молодой человек), которые думают что-то сходное с тем, что я думаю, которые ищут выходы из нынешнего тупика, ищут духовные ценности. Если бы удалось как-то их объединить и собрать, можно было бы сколотить творческое меньшинство. Я постоянно думаю на эту тему, чтобы как-то сблизить людей, живущих в разных углах, думающих о том, о чем мы все думаем, но разобщенных. Если это когда удастся, но уже не мне, очевидно, а тем, кто помоложе, то есть шансы. Невозможно, чтобы все достигли высокого уровня, народ всегда делится на людей более духовных, менее духовных, более развитых, менее развитых. Достаточно иметь (я не беру здесь определение численное) авторитетное духовное меньшинство, чтобы повести людей за собой. Создание этого меньшинства мне кажется важнейшей задачей.

Вопрос из зала: Меня интересует опасность тенденции браков мусульманских граждан с российскими. Что из этого получится? Не получится ли какой-нибудь деградации?

Лейбин: Так вы не женитесь. Это, конечно, простое решение.

Померанц: Видите ли, тут есть одно обстоятельство. Я не очень уверен, что некоторые обычаи мусульман близки русским вкусам, например многоженство, т.е. иметь любовниц — это как-то принято, но завести прямо рядом сидящих жен — это, боюсь, для русского было бы очень хлопотно. Поэтому я не думаю, что такое движение будет массовым и представляет угрозу для нации.

Вопрос из зала: Можно, все-таки, уточнить еще раз. Вы говорили о четырех цивилизациях, которые влияют на Россию, не могли бы вы их еще раз назвать? И, если можно, еще раз воспроизвести те критерии, которые, с вашей точки зрения, важны для определения цивилизации. Вы сказали о том, что физическая география здесь не играет роли, а играют язык, культура, может быть, шрифт, религия. Что, с вашей точки зрения, является более важным, или, может быть, есть несколько критериев?

Померанц: Я отвечу немного шире. Первой группой, обладающей неким общим, хотя не точно определенным духом, можно назвать, пользуясь термином Шпенглера, «культурный круг». Вокруг очага высокой культуры возникает какое-то постепенное распространение, обмен информацией и т.д. Но с моей точки зрения, целесообразно выделить из этих многих разнообразных форм и степеней развития понятие «субглобальной цивилизации». Я поэтому предложил такие простые параметры, которые определяют и отделяют субглобальную

цивилизацию от других групп, тоже обладающих в большей или меньшей мере общим духом. Это вы совершенно правильно перечислили: общую совокупность святынь (это может быть Библия, Коран, Риг-веда и Упанишады, сочинения Конфуция, Мэнцзы, Лаоцзы и некоторые буддийские сутры, которые тоже были признаны китайским достоянием), некий общий компендиум текстов, признанный священными. Второе — язык, который становится языком элиты данной группы, и шрифт, который начинает использоваться всеми языками данной группы. Это легко проследить, это просто соответствует фактам. К началу Нового времени очень четко сложились четыре субглобальные цивилизации, четыре мира.

Но всегда есть некоторая запутывающая частность. Разрушение Византийского мира длилось медленно, долго. Византия погибала примерно с VII в., когда начался триумф ислама, и до XVв., когда был взят Константинополь. Все это время шла борьба двух цивилизаций за то, чтобы считаться основной цивилизацией Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. В Средние века еще была возможность возникновения какой-то новой цивилизации, — как возник упоминавшийся уже Тибет. Однако, боюсь, время уже прошло. Основных цивилизаций, обладающих всем необходимым запасом культурных данных, чтобы ассимилировать все племена, попадающие в зону этих цивилизаций, в последнее время существует только четыре.

Очень важно то, что субглобальная цивилизация, за редким исключением, полностью поглощает и превращает в своих носителей любое племя, попавшее в ее зону. Венгры были азиатской ордой, ворвавшейся в Европу. Сейчас это цивилизованный европейский народ. Все завоеватели, до ислама попавшие в Индию, приобретали статус еще одной касты — варны кшатриев. За небольшие деньги брахманы писали им родословную, и они становились потомками богатырей Махабхараты.

В Китае любые кочевники или постепенно синизировались, окитаивались, или, как монголы, изгонялись. Субглобальная цивилизация благодаря богатству своей культуры обладает силой подчинять себе, ассимилировать все иноязычные, инокультурные элементы, которые в нее попадают. Забавно, что даже евреи, попавшие в Китай (где их не подвергали никакой дискриминации, а просто предлагали сдавать экзамены, если им хочется становиться чиновниками, шэнь-ши), увидели, что чиновников в Китае уважают больше, чем купцов, и стали сдавать экзамены. Некоторые из них успешно их выдерживали, назначались начальником уезда. Как принято в Китае, экзаменующийся должен быть холостым, и он посылается куда-нибудь за 500 верст, чтобы не было кумовства, там он женился на китаянке. Поэтому потомки китайских евреев постепенно стали китайцами. Они у себя в кумирне, как правило, имеют статуэтки Авраама, Якова и Моисея, желтых, косоглазых и т.д., другими они их себе не представляют. Это просто показывает, насколько субглобальная культура может поглотить любую иноязычную,

инокультурную группу. Еще раз: субглобальные цивилизации — это западная, ближневосточная, южноазиатская, дальневосточная.

Вопрос из зала: Япония после Второй мировой войны относится к какой цивилизации: к западной или дальневосточной? Потому что английский язык, насколько я знаю, там довольно распространен, частично люди пишут латиницей, кажется, неофициально, но довольно распространенная вещь, и традиционные религии синтоизм и буддизм тоже уступают место.

Померанц: Я вас понял, спасибо. Когда мы говорим о современности, сейчас четвертая стадия глобализации, а не вторая. Правда, это уперлось в значительные трудности, а именно, в процесс вымирания носителей западной цивилизации, произошла вестернизация значительной части стран, относящихся к другим субглобальным цивилизациям. Япония оказалась блестящим примером этого. Все же Япония одновременно остается дальневосточной страной. Я недавно смотрел корейский фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна», от него пахло такой глубиной традиций! Я уверен, что создатели этого фильма говорили по-английски.

Но вот вам пример индийцев, где английский язык остается фактически государственным языком, потому что иначе индийцы передерутся, каким языком им надо говорить, так как там разные языки. Вот я работал библиографом, ко мне приходит индийский журнал: гесепИу (недавно) премьер-министр выступил с речью. Я не могу писать в аннотации «недавно». Что значит «недавно»? У меня карточка, может, пойдет в работу через полгода, за это время много «недавно» пройдет. Индийцы душой живут вечностью, поэтому обращать внимание на то, было это сегодня или в прошлом году, им почти неинтересно. И пока не придет «Есопошк!» и «Кетезтееек», я так и не могу пускать карточку в ход, тогда я увижу, что это было, допустим, 8 сентября. А чтобы индиец написал «8 сентября» — это дурной тон.

Так что, понимаете, эта вестернизация часто бывает поверхностной и внешней. Япония блестяще воспользовалась прежде победами, потом своим поражением, она пользовалась всем, народ там, конечно, талантливый. Дело в том, что Япония — дочерняя культура. Дочерняя культура привыкает учиться, японцы привыкли учиться у Китая, поэтому им было психологически легче дополнять, она уже привыкла учиться у Индии, усвоив буддизм, они гораздо более буддисты, чем китайцы. Поэтому включить в круг своих учителей Европу и Америку им было не так уж сложно.

Япония, возможно, вырастет в мировую культуру, которая связана сразу с несколькими цивилизациями. И вопреки мнению, что страна, усвоившая элементы разных культур, должна развалиться, я не вижу пока никаких признаков развала Японии. Она достаточно сохраняет свою собственную традицию. У них даже император сохранился, который ничем не правит, но является очень важным символом единства страны. Так что я все-таки думаю, что Япония — это страна дальневосточной

цивилизации. Самостоятельной цивилизацией она не является, но одновременно она является одной из стран складывающейся мировой цивилизации.

Идет процесс складывания мировой цивилизации, и путь России, и путь всех стран, которые хотят иметь свое будущее, — это путь быть национальным выразителем каких-то высот мировой цивилизации. Этот путь не закрыт для России, если, конечно, вся талантливая Россия не уедет.

Вопрос из зала: Очень короткий профанный вопрос. А как быть с нашими братьями-поляками, у которых устный язык близок к братьям-славянам и у которых шрифт латинский? Их ощущение, с одной стороны, европейское, с другой стороны, пограничное. И вся сложность наших отношений с ними...

Померанц: Тут очень много оттенков, и я не берусь вам ответить, тем более — за всех, «я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика». Вынесем за скобки отношения с Польшей. Тут очень долгая история. Но у нас есть своя пограничная область — «калининградская». Когда я бывал в Кенигсберге, увидел, к своему удивлению, — что интеллигенция Кенигсберга-Калининграда живет в постоянных контактах со своими соседями. Там возникла очень своеобразная субкультура в большой дружбе с поляками и совершенно не склонная к евразийству и т.д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причем, откуда они там взялись? От своего местоположения, от вдвинутости в Европу, не то чтобы там были какие-то семьи со старыми традициями — нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России. Так что тут может быть масса оттенково-переходных форм.

В том, что я говорил, я акцентировал то, что с такими китами, как эти субглобальные цивилизации, нельзя просто разделаться. Я подробнее об этом писал в № 8 «Знамени» за 2004 год, в статье «Живучесть древних основ». Строительство мировой цивилизации, мирового единства возможно, как мне кажется, путем только медленного формирования диалога. Очень интересным для меня фактом было, что Далай-Ламу XIV в 1994 г. пригласили в Лондон на семинар, посвященный традициям христианской медитации, комментировать Евангелие. Это было очень интересное мероприятие, была издана книга, на английском она у меня есть. Правда, только через три года издали, потому что было много всяких комментариев и т.д. Диалог был временами весьма интересным, даже на самых консервативных религиозных верхах. Но это очень длительный процесс, пока что надо научиться жить в мире и в цивилизованном диалоге, а не выцарапывать друг другу глаза.

Вопрос из зала: Прежде всего, два слова по поводу восхищения и благодарности организаторам этого действия, потому что это же нечто чудесное и совершенно небывалое. Как началось с Вяч.Вс.Иванова, а

теперь вы — это нечто потрясающее. Честно говоря, мне когда-то удалось слушать Якобсона, мне кажется, что сегодняшнее событие такого же уровня, это нечто совершенно потрясающее.

У меня к вам множество вопросов, но один совершенно определенный. Вы говорили по поводу закрытости и открытости диалога, об опасностях открытости диалога в России. Об этом очень мало говорят, и это очень важно и серьезно, это немного приближает к аудиторией, к задачам аудиторией. Потому что вы говорили об опасностях открытости диалога, о том, что русская культура не вполне готова к этой открытости диалога и что она очень часто приводит к хаосу. Важен некоторый баланс между открытостью и закрытостью диалога. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, каким образом возможно приучить народ или то самое меньшинство к диалогу.

Померанц: Я понял вас. Видите ли, если говорить практически, то очень много могло бы сделать телевидение, если бы оно было в бескорыстных и благонамеренных руках. Но, как вы понимаете, это так же похоже на действительность, как я похож на Геркулеса.

Господствует совершенно другое. Что касается примера Европы, то Поппер (он был вполне западник, автор книги «Открытое общество и его враги») перед смертью написал статью, что коммерческое телевидение, если его как-то не укоротить, способно погубить западную цивилизацию, столько грязи оно вносит в жизнь.

Словом, стремительность технического прогресса (телевидение — только частный случай) вносит в мир такие могучие силы, которые не нашли еще экологической ниши в целостности культуры. Когда развитие двигалось медленно, новое находило себе экологическую нишу и культура как целое развивалась, но сохраняла свою целостность. Потом положение изменилось. Уже в XX в. Сент-Экзюпери выражал это поэтически, веник рассыпался, и надо было суметь связать его волшебным узлом. Так быстро развивались по разным направлениям разные науки и т.д., что современная цивилизация даже с трудом может быть названа целым. Она хаотически развивающееся множество. И связать ее волшебным узлом — мировая задача, очень трудная задача, не только русская. Просто в России это острее выступило, потому что она в самой своей истории нахватала очень много чужого и не все хорошо переварила. Но благодаря современным средствам массовой информации весь мир сейчас очень тесно сдвинулся и нахватал чужого, и переварить все это очень трудно.

Россия в той мере, в какой это возможно, должна идти вместе с мировыми усилиями в решении этой задачи. Это не чисто национальная задача. Она национальная в том смысле, что нам надо как-то преодолеть броски, которые описал Синявский (я цитату Синявского привел), у него это очень ярко описано, броски от полной открытости к полной закрытости, как-то научиться большей мере и в закрытости, и в открытости.

Япония гораздо удачнее развивалась. Там не брили насильно бород, там не запретили ношение кимоно, национальных одежд, там постепенно переделались в европейское платье, но там какой-нибудь богатый японский человек ходит в кимоно, как и в старину. Вообще Япония развивалась, несмотря на ряд срывов в их истории, гораздо лучше уравнивая традицию и новое, чем Россия. Но и там тоже, как вы знаете, не обошлось без поражения во Вторую мировую войну и т.д. Всюду идет развитие через кризисы, надо просто жить одновременно и в истории, и хоть на полголовы поднимать голову над историей к вечным ценностям, которые могут быть понятны каждому человеку, к какой бы цивилизации он ни относился. Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет китайца, просто у араба больше трудностей понять китайца, чем у других. Но все равно все трудности могут быть преодолены.

Вопрос из зала: Если можно вернуться к тем трем критериям, которые вы предложили в качестве критериев субглобальных цивилизаций. Это святыни, язык и шрифт. Те примеры, которые здесь были приведены, — Япония, Польша, можно привести немало других примеров от Гонконга и Сингапура до Дубая — ваши ответы на эти примеры показывают, что, видимо, значение, по крайней мере, двух последних критериев в настоящее время сильно ослабляется.

Померанц: Да! В настоящее время все комкается, потому что другая ступень, уже начинается сминание границ между субглобальными цивилизациями и становление, но очень хаотическое, глобальной цивилизации, не хватает ей общего духа.

Вопрос из зала: Именно об этом хотелось задать вопрос. Если остается этот общий дух или, может быть, общая совокупность святынь, если позволите, в качестве кандидатов на такие святыни, предложить не Христа, Аллаха, Будду, Конфуция, а такие святыни или вечные ценности, как то, что в Библии именуется богом Мамоной, а сейчас на языке политологов именуется личное благополучие, личный успех, такие ценности, как личная безопасность, свобода, демократические процедуры управления обществом, терпимость, веротерпимость, цивилизационная терпимость и т.д., — то, что сейчас некоторыми называется ценностями западной цивилизации, но те ценности, которые подхватываются, развиваются, в частности, и в других нациях. Какое ваше отношение к этому? Не являются ли эти ценности или эти святыни (то, о чем и Фукуяма писал) основой для формирования той самой глобальной цивилизации, где успех разных наций в большой степени предопределяется тем, как различные нации и власти предрасполагают обеспечивать максимально быстрое движение по направлению к этим святыням.

Померанц: Эти ценности — превеликие ценности, но не святыни. Ибо все-таки у человека, даже если он имеет все те ценности, действительно существенные, о которых вы говорили, остаются еще проблемы вечности, смерти, и, по крайней мере, у некоторых людей не угасла способность

как-то чувствовать присутствие некоего духа, который можно назвать духом бессмертия в смертном мире. Если вы внимательно слушали (хотя вы достаточно внимательно слушали, просто сложно все сразу уловить, а может, даже я говорил об этом в другом месте), проблема в том, чтобы как-то соединить ту открытость сверхценностям, если вы не хотите несветского языка, и открытость светским ценностям, которые вы перечислили. Это разные открытости, и они не должны быть в непримиримом конфликте. Это трудная задача, но она может быть решена.

Я говорил в условиях нашей страны, что византийская икона учит открытости Богу, а западная культура, усвоенная Россией в XIX в., учит открытости миру и человеку. Дальше вы перечислили ряд ценностей, которые относятся ко второму ряду. Но есть и первый ряд. И тот, кто чувствует реальность этого ряда, он от этого ряда не откажется, будет как-то существовать в жизни, культуре. И проблема отношений этих двух рядов будет сохраняться, не унижая ни того, ни другого.

Что касается возможности глобального ключа к этому, то в нашей книге «Великие религии мира», вышедшей уже третьим изданием, в послесловии говорится, что глубина каждой религии ближе к глубине другой религии, чем к своей собственной поверхности. Ибо в глубине есть нечто, что невербально, несловесно, ибо Бог не говорил ни на иврите, ни на санскрите, ни, тем более, по-русски или по-арабски. А просто какой-то труднодостижимый свет вдруг освещал изнутри человеческий мозг, и этому человеку становилось что-то яснее. И он как бы переводил с божеского на человеческое.

Все религии — это только переводы с этого импульса, который мы не можем точно определить, на человеческий язык. Если мы это поймем, тогда религия в своем вербальном существовании будет просто формой культуры — как данная культура подходит к вопросу вечности, смерти, бессмертия.

Лейбин: Своими словами, если я правильно понял Григория Соломоновича, то если вдруг какие-то обстоятельства заставят человека отказаться вдруг от сверхценностей, традиции, религии, то это будет все равно плохой гражданин того нового светского глобального мира, он будет плохим предпринимателем, плохим управленцем.

Померанц: Нет, не обязательно, я этого не говорил, ничего подобного. Есть люди совершенно нерелигиозные, но очень совестливые, есть люди религиозные, но исходящие из того, что не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Это все гораздо более сложно и запутанно. Но если говорить только о преобладающей тенденции, то чувство вечности помогает нравственным отношениям в жизни. Хотя такому простому ходу, как дважды два составит четыре, — нет не получается. Это не математика.

Вопрос из зала: Хотелось бы просто высказать парочку наблюдений, которые приходят в голову, когда слушаешь такие интересные лекции.

Мне кажется, существует три крупных дефицита — дейсюпсу, как говорят англичане и американцы, — у русской интеллигенции. Первое — непривычка к цивилизованному диалогу. Спор идет методом многоголосого монолога, никто никого не слышит и не хочет слышать. Итог складывается усилиями того, кто орет громче всех.

Второе — это то, что русская интеллигенция никогда не понимает свои собственные силы. Эта идея маленького человека, униженного, оскорбленного, не имеет ничего общего с реальной силой русской культуры. Русская культура — это гигантское явление, ее невозможно сравнивать ни с какой из отдельно взятых европейских культур. И третье — это непонятное, наступившее сейчас обожествление материальных ценностей. Материальные ценности, по-моему, сродни какой-то языческой тенденции — верить в великую ценность телевизора или унитаза и еще чего-нибудь. По-моему, если удастся преодолеть эти три дефицита, все встанет на свои места. Как вы думаете?

Померанц: Ну, что я думаю... Относительно манеры кричать и не слушать собеседника — это просто стоять на уровне новгородского веча, на котором кричали-кричали, кто громче кричит.

Реплика из зала: Джордж Буш.

Померанц: Джордж Буш и стоит, я бы сказал, на уровне новгородского веча, только вооруженного электронной техникой. Американцы умеют покупать умы, но средний уровень Америки не ахти какой высокий, и президента у них выбирают тоже не очень культурного, поразному бывает. Например, Франклин Делано Рузвельт — человек вполне интеллигентный, ну, а Джордж Буш даже не умеет выговаривать названия некоторых стран, что об этом говорить. Так же как, впрочем, наши руководители, почти никто не умел говорить по-русски. Я об этом заговорил на восточноевропейском семинаре Франкфуртского университета, а они все начали хохотать: Коль тоже не умеет говорить по-немецки и т.д. (дело происходило в 1990 г., при Коле).

Вообще, политика — это не область большой культуры, массы влиятельны, да. Знаете, что сказал Черчилль? Что демократия — худший вид управления, не считая всех остальных. Она, действительно, худший вид управления, потому что втягивает в управление массы, которые мало что смыслят. Но что поделаться, деспотизм еще хуже.

Вопрос из зала: Прошу прощения, к этим трем недостаткам и к диалогу. Вы упомянули Поппера, но во всех его произведениях есть маленькая хитрость, он говорит о том, что необходима демократия, но только в одном предложении-опровержении говорит о том, что демократии не может быть без развитой аргументирующей функции языка.

Аргументирующая функция языка — это именно развитость диалога в обществе. Правда, он не знает, как развивается диалог в обществе, каким образом это получилось на Западе. Мы можем строить предположения о схоластике, о других принципах аргументации, о воспитании искусства

выбора и искусства выбора аргументов и т.д. Но, в любом случае, взаимосвязь между аргументирующей функцией языка и эффективностью демократии, на мой взгляд, достаточно убедительна у Поппера.

Померанц: Подождите, пожалуйста. Я с вами согласен, вы очень подробно это рассказываете. Конечно, было бы лучше двигаться, как в Японии, была диктатура Мэйдзи, но она постепенно наращивала элементы демократии. Кстати, исходный пункт у нее был получше нашего. К началу переворота Мэйдзи 50% японцев были грамотны, а у нас даже Октябрьскую революцию наши начали при меньшем уровне грамотности. Словом, к парламенту японцы пришли не торопясь, постепенно, а у нас было всего несколько лет парламентской жизни между двумя революциями, а потом вообще была только пародия на представителей, и сразу — бабах! — выбирай. Ну, выбирай, а я не умею выбирать. Выбираю, у кого симпатичнее лицо. Начались рейтинги. Вдруг нравится генерал Лебедь, такой душка, здоровый, острит хорошо. Ну, Примаков, даже не очень красивый был, но на какое-то время и Примаков залетел. Все время это совершенное неумение вести гражданскую жизнь сказывалось в колоссальных рейтингах то одного, то другого политика. Народ искал себе хозяина.

Вопрос из зала: Несомненно. Но, по-моему, отсюда никак не следует то, что предложил предыдущий вопрошающий, — отказ от диалога, от культа диалога, на мой взгляд, наоборот...

Померанц: Нет, нужно, нужно развивать диалог! Но это очень долгое и трудное искусство. У нас, как правило, действительно, всё делается криком. У нас очень много задач, я просто не в силах все перечислить, я просто говорю, что приходится исходить из некоторых древних основ, которые всюду в работе. Кроме того, есть требования современности, я о них ничего не говорил, это просто была бы тема другой лекции.

Лейбин: Друзья, как ни жалко, кажется, надо закругляться.

Р.8. Григория Померанца.

После яркой дискуссии, состоявшейся здесь, мне кажется нужным прибавить несколько слов: я верю в незаметные действия таких начинаний, как лицей «Солнечный сад» в Калининграде, верю в рост сил творческого меньшинства, способного повести за собой Россию из омута коррупции и смуты. Я верю в медленную работу духа. Я верю в то, что такая Россия понадобится Западу в борьбе с его духовной апатией и упадком творческих сил.

Приключения Половинки

Мне приходилось говорить, что для понимания Древней Руси важно не только византийское влияние, но и *неполнота* этого влияния (об этом писали Г.Федотов, Г.Чистяков, В.Новик). Если Римская Церковь настойчиво внедряла латынь, то Византия ничего не сделала, чтобы передать народам, обращенным в православие, всю свою цивилизацию,

органически связанную с религией и языком. Для Руси сочли достаточным перевод Библии на древнеболгарский язык. Из остального переводились только *фрагменты* традиции. Даже творения святых отцов, собственно и составлявшие православие, в отличие от западного христианства, не были переведены. О дохристианских текстах и говорить нечего. В латинских школах, изучая язык, читали римских классиков; изучались кое-какие древние науки. На этой основе возникли первые университеты — в Париже, в Оксфорде, в Гейдельберге, в Саламанке. Россия осталась вне всего этого процесса передачи цивилизации. Усвоена была только эстетическая сторона православного культа — икона и литургия. Христа познавали, созерцая иконы, слушая церковные напевы.

Иконы, византийские и русские, до нас дошли. Сохранились имена некоторых иконописцев. Это русские имена: Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий с чадами. Иногда они были прямыми учениками греков, иногда просто вглядывались в старые иконы и зажигались их внутренним огнем. Я могу это понять, посидев час или полтора около рублевского Спаса. Проанализировать это чудо не умею. Символику Троицы разбирал, доклады делал, а Спас остался для меня тайной, воспринимаемым только сердцем, а не умом. Думаю, что так было и в древности. И я убежден, что в двух сюжетах — Троицы и Спаса — Рублев превзошел своих учителей. Общий уровень иконы XIV—XV вв., отчасти и XVI в., очень высок.

Однако из иконы не могли вырасти школы, университеты, основы наук, даже богословских. Не могла сложиться схоластика, со всеми своими навыками рассуждения, потому что и патристики не было, не было свода святоотеческих писаний, «Добротолюбия». Не было школ, изучавших философию и богословие (это завелось у нас только в XVII в., после завоевания Левобережной Украины и части Белоруссии). Когда пал Константинополь и возникла идея Третьего Рима, то что это значило? Только мировую имперскую власть, опирающуюся на обрядовере.

Первый Рим был имперской *цивилизацией*. Второй Рим был имперской *цивилизацией*, унаследовавшей кое-что от первого Рима. Оба они имели, чем объединять народы. Третий Рим был *куском цивилизации*, стоявшим, если можно так сказать, на одной ноге.

Есть балийская сказка о Половинке. У него была одна ноздря, один глаз, одно ухо. Если приложить этот образ к России, то можно прибавить: и одно полушарие мозга, правое, ведающее целостными образами, пониманием мира как священной целостности. А левой половины, на уровне цивилизации, не было. Левая половина осталась на уровне племен, живших до цивилизации.

Мы иногда говорим, что Русь сперва входила в византийскую цивилизацию, а потом, убедившись, что Третьего Рима не выходит, Петр втолкнул ее в Запад. Это, однако, не совсем точно. Россия была приобщена к византийскому культу, но в византийскую *цивилизацию* она никогда не входила. Вошла она — верхним своим слоем — только в за-

падную цивилизацию, тысячью «общеевропейцев», как говорил Версиров в «Подростке». Только тысячью, но зато этот слой усвоил европейскую культуру в известном смысле лучше, чем сами европейцы. Во всяком случае, по-новому.

Ничего подобного, никакой тысячи или хоть сотни, познавшей византийскую традицию лучше самих византийцев, в древности не было, полностью византийской Русь никогда не была, даже до вторжения татар. Можно только назвать Россию византизированной страной, как, впрочем, и другие страны, обращенные в православие, были только византизированы и сами, без Византии, не могли ее цивилизацию продолжать. Ибо они никогда ею не владели. Это одна из причин, по которой Византия, проиграв несколько сражений, рухнула в небытие.

Не была византийской, то есть вполне православной, и Русская Православная Церковь. Отцы Стоглавого собора не понимали, из-за чего произошел раскол с католиками. На вопрос Ивана Грозного, кто в рублевской Троице Христос, кого писать с перекрестием, — они решили, что Христос сидит в центре, побольше ростом и повыше других. Справа от Сына оказался Отец, а Святой Дух слева. Глядя на икону, трудно понять, как это Святой Дух ухитрился исходить только из Отца, как в старом символе веры. Выходит, напротив, что Отец и Святой Дух исходят из Сына. Мне приходилось слушать, как экскурсоводы несли решение Стоглавого собора современным зрителям. Впрочем, народ, по свидетельству Г.Федотова, во все это никогда не вникал.

«Правосторонняя» ориентация древнерусской культуры имела свою силу и оставила свой след, выступивший наружу в XIX в. Славянофилы заговорили о «целостном разумении», смешной человек в рассказе Достоевского — о Целом, в живой причастности которому делаются ненужными храмы (и вся структура религии). Однако без выравнивания левого полушария в меру правого Россия просто не могла бы удержаться в борьбе со своими соседями.

Если бы выравнивание шло мягко, постепенно, как при Алексее Михайловиче, было бы, наверное, лучше. Так думал Ключевский. Социология развития считает иначе. По словам Т.Менде, выход из слаборазвитости сравним с прорубкой дороги в джунглях. Если рубить не спеша, дорога зарастает. За свои 88 лет я убедился, что джунгли русского быта очень устойчивы. Вспоминается шутка: Россия, которую мы не потеряли... И Петр рубил Россию, которую мы не потеряли, с плеча. Он не дал Половинке расправиться, стать целым, а просто вывернул наизнанку. Половинка осталась, как и был, с одной ноздрей, но левой, с одним глазом, но левым, левое полушарие энергично создавало новую армию, новую администрацию, новую столицу — и вскоре Карл XII был разбит. Но если говорить о духовной жизни, то она обеднела. Я не переоцениваю литературу XVII в., но от «Повести о Горе-Злосчасти», от «Жития протопопа Аввакума» что-то осталось в сердце, а от Кантемира, от Тредиаковского... Разве только стих из «Тилемахиды», который

Радищев, перепутав конец, взял эпитафией к своему «Путешествию». Так я узнал и подлинник: «Чудище обло, озорно, с трезвенной и ласей» (т.е. Цербер). Вот и все.

Положение изменилось после Указа о вольности дворянства, подписанного Петром III. Вольные дворяне, окончив шляхетное училище, сменили мундир на партикулярное платье, европейское, но сшитое по фигуре, а там и лицей возник, из которого вышел Пушкин. Гордый взгляд иноплеменный до сих пор не может понять, что мы в нем находим. Ну, появился расправленный человек, с двумя глазами, двумя ноздрями и т.п. Для русских к этому прибавилась свежесть открытия, снисходительно добавляет европейский славист. Но Европа пережила это в кварточенто, или немного попозже. Даже в отсталой Германии — как расправился Гёте!

Маленькие трагедии? Это скромные отголоски великого века трагедии — Шекспира, Кальдерона, Расина. И вроде бы действительно так. Сами русские маленьких трагедий почти не заметили. Только Достоевский увидел в Пушкине начало своего собственного европеизма, о котором сказал в Пушкинской речи, но лучше всего в разговоре Версилова с Аркадием. Не могу еще раз не процитировать несколько строк:

«У нас созданся веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире. Нас, может быть, всего тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет, как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым — наиболее русский».

В литературе XIX в. очень много вторичного, заново открывавшего европейский романтизм, европейский реализм, европейское Просвещение. Но наперекор всем господствующим течениям писали Тютчев, Достоевский, Толстой. И я еще студентом заметил, что ничего подобного в Европе не было и никто в Европе, в том числе мой любимый Стендаль, не дает мне столько для прорыва в бесконечность. Точнее, внутреннюю крепость, закрытую для пропаганды, я строил с Шекспиром и Стендалем, а внутреннего человека — схватив самого себя за пятку и погружая в бездны, открытые Тютчевым, Достоевским и Толстым. Да, Тютчева подтолкнул Паскаль. Но в Европе это как-то оборвалось, а в России путешествие в бездну развернулось в какую-то неслыханную прозу и возник целый мир безднопроходцев, впоследствии мягко вышедший из глубин к Чехову, навстречу новому читателю, интеллигенту, не заходившему дальше края бездны. Кажется, именно Чехов полнее всего

прижился на Западе. А в Достоевском мне до сих пор приходилось открывать вещи, оставшиеся незамеченными. Несмотря на его огромную мировую популярность.

Все это было создано тысячью русских общеевропейцев, о которых говорил Версиров. Немного больше или немного меньше тысячи, добавил он, подумав. И эта тысяча погибла, когда люди стали погибать тысячами тысяч, и кризис кое-как пережили только страны с крепкими структурами, с цивилизацией, дошедшей до крестьян и рабочих. А в России просто все рухнуло, и из полубразованных масс создавались новые половинки, поворачиваемые одной ноздрей то к интернационализму, то к борьбе с безродным космополитизмом, то к рынку.

Что сейчас делать творческому меньшинству, постепенно собирающемуся в кучки? Что сейчас делать человеку с двумя глазами, двумя ушами, двумя полушариями мозга и способностью увидеть мир как единство? Примерно как тысяча общеевропейцев Достоевского увидели как целое Европу, разорванную франко-германской войной?

Просто видеть мир как целое и русскую культуру как единство духовной глубины иконы XIV—XV вв. и духовной широты романа XIX в. и мировую культуру как согласный хор великих культурных миров. Кто сможет вместить это, пусть вместит.

Эксперимент свободы

Посвящается

Михаилу

Блюменкранцу Моему другу, Михаилу Блюменкранцу, в молодости снились замечательные сны. Один из них недавно мне припомнился: на небе решили провести эксперимент — способен ли человек к свободе воли? И на одной планете запрограммировали твердые правила, а на другой оставили свободу. Через некоторое время были подведены итоги. Эксперимент свободы оказался неудачным, и решено было его упразднить. Элита обреченной планеты как-то все узнала, и началась суета. Любой ценой старались достать билеты на место в космических кораблях, летавших между двумя мирами. Миша с презрением отверг предоставленный ему шанс. Он бродил по улицам обреченного города и прощался со свободой — вместе с жизнью.

Все это сильно напоминало мне чтение Бердяева, которого Миша очень любил и фотографию Бердяева в берете держал за стеклом книжного шкафа. Но откуда бы ни пришел сон, в нем была мудрость притчи. Недавно, размышляя о взаимной дополнительности культурных кругов, я подумал, что сон Миши можно перенести из космоса на Землю, на два типа развития, средиземноморский и индийско-тихоокеанский, и проследить историю свободы со всеми историческими этапами ее судьбы, с первых шагов цивилизации, оторвавшейся от законов устной племенной жизни.

Я представил себе, что эксперимент свободы был поставлен, или сам собой вышел, используя сложившиеся в Средиземноморье и его

окрестностях условия. Первые очаги цивилизации складывались в долинах Нила и Евфрата сравнительно близко друг к другу, и между ними возникло какое-то поле торговых и информационных связей. Инициаторы цивилизации, гордые своими пирамидами и зиккуратами, не интересовались соседями, но нашлись посредники. Важнейшими из них стали финикийцы; позже их потеснили греки. Для торговых дел нужна была простая письменность, и финикийцы, познакомившись со сложным письмом великих культур, создали алфавит, в основном сохранившийся и сейчас. Другие народы, войдя в зону цивилизации, быстро усвоили новое письмо и приспособили его к своим языкам (евреи, греки).

Возникли города-государства, центры международной торговли. В них сложились условия для демократии: сравнительно широкая грамотность и возможность всем скопом собраться на площади, обсуждать свои дела (в России так было в Новгороде). Впоследствии тип города-государства распространился по всему северному побережью Средиземного моря. Оно изрезано полуостровами, располагавшими к мелкозернистой структуре человеческих общин. Само море, сравнительно тихое, пригодное для примитивного мореплавания, было большой дорогой, связывающей народы, не порабошая их. Финикийские и греческие колонии, рассыпавшиеся по берегам, показывали пример города-государства, и он был подхвачен повсюду. Можно назвать это первым шагом торгово-колониальной глобализации.

Между тем, к востоку от Средиземного моря процесс глобализации шел другим, имперским путем. Появилось звание царя четырех сторон света. Завоеватели объединяли Ближний Восток, разрушая непокорные города и перегоняя с места на место непокорные народы. Первые очаги финикийской культуры не раз попадали под удар. Только до Карфагена, расположенного далеко на Западе, Ассаргаддоны не могли добраться.

Европейская часть Греции оказалась в более выгодном положении. Остановив натиск персов у Марафона, греки были в безопасности и могли собирать плоды восточной мудрости, не попадая под иго восточного деспотизма. Отбрасывая то, что им казалось темным, они придали собранному знанию рациональный и светский характер.

Как это делалось, можно показать на примере, разобранном в 60-е годы тогдашним моим другом, Валентином Турчиным, впоследствии вынужденным эмигрировать в Штаты. Он писал, что при общественном строе, подобном египетскому, старшие по рангу не считали нужным что-либо доказывать младшим, а младшие не смели требовать доказательств от старших. Поэтому египтяне знали равенство квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов, но они этого не доказывали. В Элладе же все доказывалось и все оспаривалось. И над математикой интуитивно познанных формул надстроилась метематика доказательств.

Во всем этом рассуждении был намек на советскую иерархию: ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак. Мне это нравилось. Но по мере углубления в дух древних культур я стал думать, что в Египте все

было не так просто. Египетская культура была сакральной, основанной на глубоком созерцании, на вере в тайну, просвечивающую сквозь пестроту вещей и событий, и истина постигалась вспышками откровения, а потом хранилась среди посвященных, воспитанных в созерцании волшебной тайны целого, раскрывавшейся во внезапно пришедших образах и снах.

Этот метод не преподается в школах, но в каких-то уголках науки его знают. Кекуле увидел структурную формулу бензола во сне в виде змеи, кусающей себя за хвост. Пуанкаре внезапно увидел решение математической задачи, садясь в омнибус, в тот самый миг, когда он поставил ногу на ступеньку. Доказательство пришло позже. И есть формулы, успешно применяемые, но так и не доказанные. Однако точная наука, в отличие от жреческой мудрости, считает себя открытой для всех и пересказывает свои интуитивные прозрения в форме, доступной каждому усердному и не очень глупому ученику.

Поэтому равенство квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов получило имя Пифагора, а не жрецов, у которых он учился. Математика от этого только выиграла. Она стала инструментом в руках инженера.

Однако культура не сводится к математике и инженерии. Греки, вытаскившие мудрость жрецов на площадь, не сознавали, что выпустили из бутылки джинна. И после великого праздника эллинской свободы она кончилась кризисом и сама пала в ноги откровению, да еще чужого, презираемого племени. Ибо грекам были даны многие дары, но не все. В отличие от Китая, в котором все жители китайцы и сам император китаец, в Средиземноморье гений был разбросан: философский и художественный — грекам, политический, юридический и административный — римлянам, а устремление к единому Богу — евреям. И хотя византийцы приспособили еврейские откровения к своим греческим вкусам, основы Ветхого и Нового Завета — еврейские.

Что же привело к такому итогу? Оказалось, что рассуждение, основанное на произвольно выбранных принципах (аксиомах), хорошо только в математике. В философии досократиков, в попытке выстроить мир как логически последовательную систему, оно привело к нескольким отвлеченным идеям, доведенным до абсурда, а в нравственной философии, до какой-то степени проверяемой поведением, — к возможности найти прекрасное основание для любого дурного дела (в этом усердно упражнялись софисты) и в итоге — к падению нравов. Прийти к основанию — значит пойти ко дну, сказал впоследствии Гегель (ги Огипде коттеп 181 ги Огипде декеп). Практическая нравственность, из-под ног которой был выбит миф о таинственных предках, не нашла другой опоры и повисла в воздухе. «Что есть истина?» — спрашивал Пилат.

Пока Парменид доказывал, что только единое есть, а многого не существует, и Демокрит доказывал противоположное, — демос это не затрагивало и не волновало. Роковой толчок дал принцип, поддержанный философией в совокупности, несмотря на все споры: «Мудрому не нужен

закон, у него есть разум».

Тут надо было бы продолжить: такой разум, как у Сократа, а не такой, как у Протагора или Горгия, разум, сознающий свои границы, разум с интуицией Господина субботы, угадывающий, когда закон, принцип, выйдя за пределы своей применимости, становится нелепым и губительным. Но истинно мудрый не отбрасывает закона. Он сохраняет закон до момента перелома, когда касательная, приблизительно совпадающая с кругом, с кружением живой жизни, отрывается от круга и уносится в бесконечность. Сократ обладал нравственной интуицией, но он не мог научить самому себе, своему сердцу, у него не было за плечами традиции пророков, очищавших и очищавших откровение, вплоть до двух наибольших заповедей Христа: полюбить Бога больше всего на свете и ближнего, как самого себя.

К сожалению, и эти заповеди дают только общее направление к целостной истине, на которую может опираться нравственный выбор. Они указывают, что где-то заповеди Моисея перестают действовать, но не говорят: вот здесь! Или: вот там! И можно понять возмущение фарисеев, которых Христос толкал шествовать по водам без спасательного круга точного, непреложного закона. То, что суббота для человека, а не человек для субботы, — правда в устах Господина субботы, но она может стать ложью в устах профана. И Августин пошел на огромный риск, высказав вслух тайну Христа: «Полюби Бога и делай, что хочешь!».

Что значит — *совершенно* полюбить Бога, стать пустым сосудом, наполненным Божьей волей? Что значит найти Божий след и не терять его? Антоний Сурожский прекрасно описал, как он искал Божий след и как находил его. Но это опять личный опыт, а не правило, доступное школьному изучению: «Сколько бы они (принципы. — Г.П.) ни были истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье... Мы призваны уйти глубже... и самая эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог».

Говоря о доказательствах бытия Божия, Сергей Аверинцев как-то заметил: это не доказательство, а показательство, и нравственную правду можно только показать, доказать ее нельзя. Правда неповторима. В сказках Зинаиды Миркиной несколько раз говорится: на вопросы где? как? и когда? волшебники не отвечают. Поступок всегда связан с риском.

В Евангелии, в писаниях мистиков есть слова, захватывающие сердце, но только сердце. Никакой программы, пригодной для нравственного

компьютера, нет. Я не верю в существование планеты, где всем даны твердые правила. Чем-то вроде этой планеты был мир предписанных ролей. Гамлет с этой планеты ушел. От правил — к правде.

Полюбила ли Бога св. Ирина, решившись выколоть глаза сыну, чтобы захватить престол и восстановить почитание икон? Полюбил ли Бога св. Доминик? Я не говорю уже о герцоге Гизе и об убийцах Варфоломеевской ночи, о православных погромщиках, взявших Умань и справлявших там свою кровавую литургию?

Высказав свое учение о Божьем следе, Антоний Сурожский шел на риск и уравнивал этот риск всем собой, всей совокупностью своих речей, проповедей, бесед и действий, — так же как шел на риск Христос и кончил распятием. В моих рассуждениях тоже есть доля риска. Внеличного способа уравнивать риск свободы нет. Философия здесь не спасает, догматика не спасает. Учеником Сенеки был Нерон. Учеником отцов церкви был Кодряну, создатель «железной гвардии». К счастью, король Румынии почувствовал в нем соперника и не дал разгуляться православному национал-социализму. Всего один погром удалось совершить железногвардейцам, всего одиннадцать тысяч вырезать. Ничтожно мало, по масштабам XX века. Но я могу понять своего покойного пасынка Володю Муравьева, который перефразировал Августина на железногвардейский лад: «Полюби Бога — и валяй!». Не так просто полюбить Бога больше всего на свете. Легче легкого подменить любовь ненавистью к врагам своей любви или просто ненавистью, вскипевшей в растревоженном сердце. Свобода расковывает силы мысли, создает могучую культуру — и взрывает ее изнутри. Сумеет ли мы остановить начавшийся распад? Не пригодится ли Западу, как в прошлом греко-римскому миру, капля восточной мудрости?

Мелкозернистую структуру западных обществ никуда не денешь, так же как невозможно совершенно устранить крупнозернистую структуру Востока. Там все шло иначе. Там не было всего сложного процесса, подготовившего греческую философию. Там не было столкновения нескольких архаических традиций, в ходе которых архаика рухнула или отодвинута была на обочину, как Египет. Там не было общего поля первичных шагов цивилизации, поля, в котором возникли города-посредники. Между Северной Индией и Северным Китаем стеной встали Гималаи — а океан, по недоразумению названный Тихим, не соединял, а разделял народы своими тайфунами. Негде было сложиться новому древнему миру, миру городов-государств, из которых впоследствии сложился классический, рационалистический новый древний мир.

В первичных очагах Индии и Китая архаика сдвигалась к классике, но не очень; возвращалась назад, но не очень, не до Средних веков, а только до средневековости. Как и прежде, была не классика, а известный сдвиг к классичности. И сегодня не Новое время, а известный сдвиг к нему, при сохранении все той же архаики, не признававшей закона исключенного третьего и резкого разрыва между эпохами. Итальянец XII века

отличается от итальянца XX века больше, чем от англичанина тех же веков. На этом материале Маркс создал теорию формаций. В Индии она буксовала. Резких разрывов между эпохами там нет. Единство культуры уходит в архаические глубины и господствует над различиями эпох. Да и в Китае единство культуры сильнее, чем разрывы эпох. Ни в Индии, ни в Китае не было условий для господства философии, попытавшейся толковать мир без опоры на архаическую традицию, логически развивая отвлеченные принципы. И тем не менее, философская мысль там сложилась совершенно в одно время с греческой. Я не встречал никакого убедительного объяснения этой синхронности. Остается только вспомнить сон Михаила Блю-менкранца о небесном эксперименте.

Итак, опыт был поставлен. Средиземноморский тип развития благоприятствовал политической свободе — и извращенным поворотам свободы. Мелкозернистый разброс культур делил человеческую одаренность, как мы уже говорили, на три типа. Грекам достался гений философский и художественный, римлянам — политический и юридически-административный, евреям — религиозный, а целостная мудрость — никому. В Китае же, как уже было сказано, все жители китайцы и сам император китаец. Там и мыслители — китайцы, и администраторы — китайцы, и шестой патриарх дзэн Хуанен — тоже китаец. Решение философских, административно-политических, художественных и религиозных проблем шло в рамках одной культуры, переключаясь друг с другом, сохраняя что-то от архаической цельности (в Индии больше, в Китае меньше, но сохраняя) и удерживая друг друга от скачков в пропасть логической абстракции. Бездны Востока — мистические. А это совсем другое дело. Никто на Востоке не говорил: «Да здравствует юстиция, хотя бы мир погиб!». И не утверждал, что движения не существует, потому что оно нелогично. И не отбрасывал традиции, восходившие к откровению племенных времен, потому что мудрому дан разум.

В Индии и Китае были философские школы, близкие к греческим, но господствовало смешение философских и политических, философских и религиозных задач. Цинический материализм развернулся в китайской школе государственных законов (фа-цзя). Испытанный на практике при Цинь Шихуанди, он был отброшен после политического краха династии. Династия Хань, сменившая Цинь, издала два замечательных закона: сторонникам фа-цзя (древнекитайского марксизма-ленинизма) был запрещен доступ к государственным должностям; а сыну, под угрозой смертной казни, запрещено было доносить на отца, даже в случае тяжчайшего государственного преступления. Таким образом, восстановлена была этика, восходившая к культу предков, в той философской форме, которую придал ему Конфуций. И в исторической легенде Вэнь-ван, царь культуры, поставлен был прежде У-вана, царя войны (историческая практика, вероятно, была противоположной; но сознанием правит легенда).

В Индии целостность культуры менее очевидна; бросается в глаза

пестрота каст. Но сквозь пестроту просвечивает духовная цельность ведической традиции, объемлющая любые различия слов, обычаев и т.п. очевидных форм. Еще на рубеже второго и первого тысячелетия было сказано: одну и ту же птицу мудрецы называют разными именами. Это примерно то, что в Китае высказал даосизм: безымянное Дао объемлет Дао, имеющее имя. Однако в Индии безымянность истины ощущается еще острее, глубже. Там не нужно было издавать эдикт, что Кун Фуцзы, Лаоцзы и Будда — небесные покровители империи, и единого императора никогда не было. Обошлось без него, одним духовным единством.

Система варн (сословий) и джатг (каст) утверждена была не государственным законом, а поэтически-философским творчеством брахманов, создателей Махабхараты и Рамаяны. Политического кризиса, подобного «цинскому огню» (сожжению конфуцианских текстов), в Индии никогда не было. Был духовный вызов буддизма, был опыт Будды, достигшего просветления, отбросив традицию вед. И был тысячелетний спор между наследственной элитой брахманов и «разночинной» сангхой (общиной буддистов). Самым блестящим памятником этого спора осталась «Бхагават гита» (Песнь Господа), созданная около начала нашей эры (индийская элита презирает различия в пространстве и времени и не заботится о датах).

Будда, а впоследствии и Христос, безоговорочно отрицали убийство, насилие. Но историческую реальность войны они не могли упразднить. Св. Василий Великий вышел из этого противоречия, создав канон, согласно которому воин, вернувшись с войны, три года не допускался к причастию и каялся за свои подвиги, которые с церковной точки зрения были смертным грехом. Канон этот давно забыт: государственные соображения заставили Церковь отступить от Христа. В Индии император Ашока объявил о своем отказе от войны, но из этого ничего не вышло. Неизвестный автор «Бхагават гиты» исходит из неудачи Ашоки. От имени Кришны от пытается развеять сомнения Арджуны, мучительно колеблющегося перед битвой: тот, кто действует из чистого долга и сражает врага без ненависти, без мысли о выгоде, тот и убивая не убивает... В другом месте Кришна произносит еще более замечательные слова: если бы Я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, бхарата!

Выполнение кастового долга воина приравнивается здесь к действию Бога, поддерживающего мир со всем неизбежным злом, заключенным в мире. Это очень сильный довод. И пример Арджуны, вступившего в битву, вдохновляет верность всякому кастовому долгу. Таким образом, сложившийся социальный порядок оставался священным порядком. И освящалась защита его с оружием в руках при вторжении варваров.

Однако была небольшая, но влиятельная группа людей, равнодушных ко всему земному, искавших только одного — причастия вечности, тождества Атмана и Брахмана, как этому учили упанишады. Традиционный брахманизм признавал этот путь только для брахманов.

Соперничество буддизма заставило пойти на реформу: человек любой касты, отбросив кастовые ограничения вместе с кастовыми привилегиями, став нищим аскетом, признавался саньясином, узаконенным искателем внутренней свободы, мокши. Насколько я могу судить, мокша отличалась от просветления только формальностями, ссылкой на священные тексты ведической традиции, а не на сутры буддизма. В философии индуизма старые школы, отдававшие дань рационализму, отступили назад, авансцену заняла мистическая веданта, и только в рамках веданты сохранялись разные течения: абсолютной недвойственности (между мистиком и абсолютом, адвайта), относительной недвойственности (висишта-адвайта) и двайта, признававшая реальность некоторых различий, в частности — между человеком и богом. Согласно адвайта-веданте Шанкары-ачарья, сами боги принадлежали к царству майи, иллюзии; реально только абсолютно целое. Все это было выражено Шанкарой в двух строках:

Истина — Брахман, мир — это ложь.
Атман и Брахман едины.

Иначе говоря, освобожденный человек единосущ с абсолютным духом. Себя самого Шанкара-ачарья считал дживан-муктой, освобожденным при жизни. За такую дерзость Христа распяли. Многих суфиев тоже казнили. Но в Индии достаточно было сослаться на веды и упанишады, чтобы считаться ортодоксальным ведантистом. А Шанкара-ачарья мог совершенно честно сослаться на Чхандогью-упанишаду и другие подобные тексты. Впрочем, висшита-адвайта Рамануджи была популярнее.

Философия адвайты могла захватить буддийскую элиту. Это видно из того, что учителем учителя Шанкары был буддист, а самого Шанкару, в полемике с ним, называли ведантистом днем и буддистом ночью. Но главное было достигнуто: восстановлен безусловный авторитет вед. Толкование же вед в Индии никогда не ограничивалось.

Отношение к религиям, отвергавшим авторитет вед, также было терпимым. Борьба с ними велась, примерно, как борьба между партиями в демократическом государстве. Наряду с теоретиками высокого класса, для привлечения плебса использовались красочные зрелища, процессии, в которых фанатики впрягались в колесницу Джаганатты (Вишну), обряды самосожжения и танцы баядер. Буддизм, не способный полностью отречься от серьезности своего выбора, шаг за шагом отступал и наконец был совершенно вытеснен из Индии. Подробнее см. в моей статье «О причинах упадка буддизма в средневековой Индии» (в книге «Выход из транса», 1995) и главы об Индии в книге «Великие религии мира», написанной совместно с З.А.Миркиной.

Диалог философских школ и религиозных течений был общей чертой

Индии и Китая. Сами святыни традиции собирались в единство терпимо, не заглаживая противоречий, без какого-либо собора, отделявшего канонические тексты от апокрифов. Время само решало, что войдет в канон. В Китае только в XV в. был официально введен в канон северный буддизм, вместе с Конфуцием и Лаоцзы. Это было возможно, потому что высшая истина мыслилась невербальной, по ту сторону слов, и все высказанное в текстах — только подступы к ней. Менее авторитетные тексты постепенно выходили из употребления, забывались. Преследование конфуцианства при династии Цинь и буддизма в первые годы династии Мин — короткие эпизоды, за которыми следовала торжественная реабилитация гонимых. В Индии и эпизодических гонений не было. Не было пророков, претендовавших на единоличное утверждение истины и истребление лжи, а потому не было столкновений монолога с монологом. Век за веком шел диалог. И этот диалог был признан лучшим словесным воплощением таинственной, внесловесной истины. Восхваляя Дао, Лаоцзы писал: «О, неясное! О, туманное!». Глобальная духовная традиция не обойдется без этого опыта.

Замечательно также отношение китайцев к историческим памятникам. Конфуцианские ученые век за веком переписывали истлевшие страницы «Книги правителя области Шан», в которой идеи Конфуция назывались червями, пожирающими государство. Государственному преступнику перед казнью давались бумага, тушечница и тушь, чтобы он написал свою биографию для имперских анналов.

Понимание многогранности истины противоречит фундаментализму — иудейскому, христианскому и мусульманскому, но оно не противоречит Христу. Его отношение к законам и принципам — скорее индийское, чем иудейское или византийское. Он свято почитал Моисея и смело отступал от него всякий раз, когда буква традиции становилась нравственным абсурдом. Так же относился к традиции и Антоний Сурожский. Его учение о Божьем следе — соль, которую можно выпарить из рассказов о поведении Христа, столкнувшегося с законом.

Когда люди научатся идти по Божьему следу, я не знаю. Ясно, что не в обозримом будущем. И если бы сегодня на небе решался вопрос, поставленный во сне Михаила Блюменкранца, эксперимент со свободой, повторенный на Западе, снова признан был бы неудачным. Если события заставят сегодня же строить империю, чтобы связать разрушительные силы и не допустить катастрофы, то гегемоном нового порядка будет не средиземноморский мир, расколотый на два враждебных лагеря, и, конечно, не Россия, развалившая свой Третий Рим. Индия, подобно Древней Греции, не наделена политическим талантом. Остаются страны Дальнего Востока. Однако это не окончательное решение. История — конкурс гегемонов. Только Запад мог связать все континенты единой системой экономических, финансовых, информационных связей, и он эту миссию выполнил. Никто другой этого сделать не мог. Китай и Индия десять тысяч лет не выходили бы из своих границ. Но следующую

большую задачу, вдунуть дух в глину, Запад со своим постхристианством явно не способен. Какие-то чрезвычайные меры, чтобы избежать катастрофы, возможно, станут делом Китая. Но выстроить храм единства ни одна субглобальная цивилизация не сумеет. Если он не рухнет, как Вавилонская башня, то будет строиться общими усилиями. Даниил Андреев верил в мировую федерацию, осененную верой в Розу Мира. Для меня это образ, но образ вещей, как икона Троицы.

Гипотеза высшей воли, высказанная во сне Блюменкранца, мне по сердцу. Высшая воля по всей Вселенной ведет свои твари к Божьему следу. Удастся ли это на Земле? Запад без Востока дважды подходил к катастрофе. Восток без Запада дважды уже останавливался и переставал куда бы то ни было идти. Сможет ли Восток, сохраняя культ внутренней свободы, усвоить что-то от западного динамизма? Сможет ли Запад найти в своей суеде паузу созерцания? Сможет ли Россия чему-либо научиться на своем страшном опыте?

Мне ясно очень немного. Признание власти откровения не означает отказа от борьбы за внутреннюю и внешнюю свободу. Богу надо помочь. Признание откровения не означает, что все сказано и невозможно открыть новые глубины. Нераздельность религии и философии, существовавшая издавна на Востоке, позволит, может быть, и Средиземноморью перейти к философскому диалогу откровений, и три наследника Авраама перестанут сталкиваться лбами.

Сегодня только путь небольшой группы друзей основан на созерцании и любви. На созерцании природы как художества таинственных сил. На созерцании искусства, доходящего до Божьих глубин. На любви как влечении сердец, открытых Богу, друг к другу и к общей глубине, с участием гормонов, если наступил их час, и без участия гормонов, если они еще бездействуют, сошли на нет или вовсе не в них дело, когда возникает творческое содружество. Полнота Божьей реальности в пространстве и времени — живое человеческое сердце.

Точность - антоним Истины

Мой друг Александр Мелихов убежден, что истинно только строго доказанное, а все остальные человеческие убеждения — фантомы, игрушки, которыми тешат себе сердце взрослые. Я убежден в противном: точность — антоним истины. Той самой, познание которой делает вас свободными⁷.

Точность — функция логически корректных операций с банальными объектами мысли, с осколками бытия, без всяких следов, оставленных духом Целого. Она хороша там, где оригинальность и не требуется, ни индивидуума, ни личности. Любые выкладки с банальностями не выводят из банальности, не приближают к пониманию Гамлета, Дон Кихота, к пониманию авторов, создавших эти образы, к пониманию мысли святых книг. Истина глубокого сердца, о которой говорил Иисус, начинается там, где кончают работу компьютеры и калькуляторы, где мы стоим перед

тайной Целого. Можно сплести вместе черты Гамлета и Дон Кихота, но результат всегда будет неожиданным, как ребенок, не похожий ни на мать, ни на отца. Духовно новое — это прорыв бесконечности в мир концов и начал. И чем труднее выстроить то, что родилось, в систему, тем неразрывнее целостность.

Логика Аристотеля, постепенно совершенствуясь, легла в основу точных наук, но их успехи — духовный соблазн.

Проникая в религию, закон исключенного третьего и другие подобные законы губят любовь и оправдывают ненависть. Логика режет дух на догму и ересь, рождает нетерпимость, вдохновляет Доминика на создание инквизиции. Но как этого избежать?

Толерантность XVIII в. любовалась Китаем, где никогда не было религиозных войн, но не понимала восточной мудрости, неторопливого диалога учений, отобранных веками из массы школ «Осевого времени», диалога *вокруг* истины, превосходящей всякие слова — как Дао, не имеющее имя, объемлет именованное Дао. Толерантность XVIII в. опиралась на разум и не ведала, что идеологические войны между рыцарями разума могут быть похуже Тридцатилетней войны. Толерантность XVIII в. никогда не обращалась к урокам мистики Экхарта и Таулера, равнодушных к догмам. Экхарт сравнивал догматику с поведением человека, завернувшего Бога в тряпку и положившего себе под лавку. Рационалисты не понимали веры, опиравшейся на сердце и не нуждавшейся в других опорах.

Как-то я подумал вслух: что было страшного в несторианстве? Умный священник, присутствовавший при беседе, неожиданно поддержал меня: а что было страшного в монофизитстве? И в самом деле, Исаак Соргин был и остался монофизитом, но решено было считать, что если бы он дожил до Халкидонского собора, то подчинился бы решению большинства. И св. Исаак Соргин остался в святцах. Это очень напоминает судьбу коммунистов, умерших до Большого Террора. Они тоже остались в святцах. Представляю себе, что Сталин сделал бы из Свердлова, если бы тот прожил еще 20 лет.

Антоний Сурожский отличал *религиозную организацию*, основанную на подобных принципах, от Церкви как соборного единства, где каждый обладает духовным опытом любви и веры и нет никаких жестких уставов, только любовь к Христу и стремление войти в его опыт как дверь к *божественному следу* (см. гл. 5, «Завещание Антония Су-рожского»). На II съезде РСДРП Андрей Блум (будущий Антоний, родился он немного раньше) голосовал бы вместе с Мартовым против Ленина. Порядки, которые устанавливает и поддерживает Патриархия, — ленинские.

Догматическое творчество византийской церкви во многом определено государством, искавшим в единой церкви опору своей единой администрации. Эта политика закончилась провалом. Ересь стала формой этнического сопротивления имперской глобализации (на тогдашней ступени ее развития). Преследуя еретиков, Константинополь потерял

опору в Египте и Сирии. Еретики без сопротивления приняли арабов, одинаково терпимо относившихся к православным, монофизитам, несторианам и монофелитам.

Халкидонский догмат был созданием интеллектуальной иконы, вызывавшей глубокий отклик в душе ее творцов. Я их понимаю. Но мыслим ли вообще образ Бога, написанный на доске или созданный словами, который есть нечто большее, чем икона? Мыслимо ли интеллектуальное знание бесконечного, непостижимого Бога? Григорий Нисский говорил, что Бог, который вполне познан, не был бы Богом. Бог — одно из имен светлой тайны, бесконечно превосходящей разум. Спорить о Боге — кощунство. Можно только чувствовать его, любить его, причащаться ему. Объединяясь с людьми, у которых те же любимые иконы, и терпимо относясь к другим. Одни индуисты поклоняются Кришне, другие — Кали в ожерелье из черепов или Лингаму Шивы. Мы не считаем это различие икон различием веры.

Новая толерантность

Слово «толерантность» впервые стало знаменем времени после Тридцатилетней войны. Схватка двух христианских фанатизмов довела население Германии до одной трети прежнего. Стало ясно, что любой принцип, любая догма могут быть доведены до абсурда — тогда они сами себя опровергают. Фанатизм еще жег свои костры и устраивал погромы на окраинах, но в столицах Запада он вызывал нарастающее презрение. Шаг за шагом побеждала цивилизованная амальгама из просвещения и христианской морали, пережившая несколько кризисов, но удержавшаяся до мировых войн XX в. Уважение к иной вере стало таким же твердым, как уважение к чужой собственности. И таким же равнодушным.

В XX в. религиозные войны уступили место идеологическим, попыткам сделать историю управляемой, установить раз навсегда идеальный порядок. Три утопии земного рая кончились земным адом. И Запад устал от идейного энтузиазма. Он вяло отступает перед четвертой волной утопизма — попытки вернуться к нравам четырех праведных халифов. Старая, вялая терпимость становится пораженчеством.

Между тем поток научных и технических перемен, победивший все ограничения, вышел за пределы Запада. Миры культуры шатаются, смешиваются друг с другом. Арабы стали французскими пролетариями, турки — немецкими. В одних странах этнически-религиозное меньшинство сплотилось и теснит коренное население. В других черных бьют просто потому, что они черные и нарушают привычную одноцветность. Евреи перестали быть стандартным образцом диаспоры, диаспоризация охватила десятки стран, миллионы людей живут в гетто, окруженные незримой стеной отчуждения и ненависти. Электронные СМИ разносят по эфиру людоедские речи. Терпимость к чужому, вторгшемуся в твой наследственный мир, перестала быть добрым

пожеланием. Она превратилась в глобальную необходимость.

Цивилизации, веками отделенные друг от друга морями и пустынями, стиснуты на глобусе, который сжимается, как шагреневая кожа. Цивилизации наезжают друг на друга. Их небеса, поддержанные кариагидами фундаментальной веры, раскалываются, и ветер перемен заносит осколки в самое сердце своего, родного; но и без этого родное становится поверхностным, пустым, чужим, пустой оболочкой слов, лишенных духа.

Стройка глобальной цивилизации, достигшая вершин в мире электроники и финансов, стала цивилизацией духовной пустоты, духовной тоски. Мир, в котором нет единого неба, объединяется как ад нарастающих скоростей, нарастающих вихрей. И хочется вспомнить средневековую легенду, переведенную Корбенем: если явится скрытый имам, он не принесет нового пророчества, но так истолкует все прежние, что исчезнет вражда между народами Книги. Может быть, эта легенда указывает нам путь?

Такие люди, как Антоний Сурожский и Томас Мертон, как Д.Т.Судзуки и Далай-Лама XIV, как мученик веры Вурмбрандт, говорят нам: главное — любовь в сердце, а она в глубине, на самой глубине. Обряды, догмы — дело второстепенное. Их легко использовать, разжигая ненависть, и наш путь — от внешнего человека к внутреннему и от него — к внутреннейшему, к уровню глубины, где исчезает стена и торжествует единый дух: дух любви.

В этом направлении уже десятки лет идет незаметная работа межконфессионального диалога. Дело идет медленно. Кажется, что у средиземноморского круга культур не хватает внутренних ресурсов для последнего шага. Диалог — слово греческое, и диалоги Платона — один из признанных шедевров. И в XX в. к диалогу возвращались Мартин Бубер, Михаил Бахтин. Но центр, вокруг которого кружится диалог, не был до конца осознан как дырка на плоскости мысли. Центр не был понят как безымянное Дао, объемлющее Дао, имеющее имя. Центр не был знаком знаковой паузы на подступе к святым святым — тем «То», о котором Удалака Арунья говорил своему сыну Шветаке: «То — это ты!», глубочайший уровень тебя самого, твоим внутренним человеком, окошком в бездну, в которой гаснут споры. Потомок Авраама, подходя к хижине, отвечал на вопрос: кто пришел ко мне? — «Я». И дверь оставалась закрытой. От слова «Я» целое ускользало и надо было вновь и вновь повторять свой путь, пока не родятся абсурдные слова: «Ты пришел к тебе». Малейшая двойственность, как ее ни высказывай, — чем отчетливей, тем хуже — уводит от целого. И недаром Мертон тянулся к Дальнему Востоку и советовал христианству испить еще один глоток восточной мудрости, даоской, восхваляющей Дао странными для европейца словами: «о, неясное, о, туманное!». И недаром культура Дальнего Востока ставит туманное инь впереди твердого и ясного ян.

В этой неясности внешнего проясняется ясность внутреннего, ду-

ховная, ясность сознания внутреннейшего человека, для которого различия символов культуры становятся прозрачными и возникает солидарность созерцателей всех культур, как у Мертона и Судзуки. После беседы с Д.Т.Судзуки Мертон сделал свой замечательный вывод: несмотря на важность традиций, есть что-то сближающее дзэн-ского старца с траппистским монахом — в противоположность нашим соотечественникам, ведущим агрессивно несозерцательный образ жизни.

В преодолении новой агрессивности, направленной против созерцания, — залог новой толерантности, основанной не на неверии в реальность целостного духа, а на глубочайшей вере во внутреннего человека. И мы видим наше спасение из царства фантомов в том, что внутреннейший человек не даст сбить себя ничем внешним — ни догмам, ни компьютерам. Он готов пробиться к духу сквозь любую систему букв, символов, цифр. Эта борьба идет сегодня сквозь все царство культуры, через все искусства, через всякое живое слово, и она пробивается сквозь мертвые, дурно пахнущие слова.

Во внутреннем человеке мы защищаем свое Я от натиска омертвевшей среды. Во внутреннем мы открываем страну без тесноты, где каждый новый человек приносит новое окно в бесконечность. И чем больше людей, тем больше простора.

Примечания

¹ Древнейший город в Индии.

² Противоборство теорий исторического прогресса можно свести к четырем вопросам: 1) Насколько реален образ цивилизации как единого процесса от первых очагов письменности до интернета? 2) Что решило в переносе акцента на обособленность и уникальность культурных кругов (у Шпенглера) и цивилизаций (во множественном числе — у Тойнби), вплоть обособленных этносов (у Гумилева)? Какую роль здесь сыграл современный кризис Запада? 3) На каком уровне цивилизации возникли субглобальные единства, удержавшиеся до наших дней? 4) Чем можно объяснить сопротивление электронно-финансовой глобализации на субглобальном уровне (ислам) и на уровне этносов и субэтносов? См. мою статью: Ступени глобализации // Энциклопедия глобалистики. М., 2003. С. 974-975.

³ Автор статьи, напечатанной в «Правде», в которой был выражен протест против реформ Горбачева.

⁴ Из книги «Христос спускается в тюремный ад». Перепечатано в сборнике «Мученики веры. Антология выстаивания и преображения». М., 2002.

⁵ Текст был прочитан осенью 2005 г. на конференции, посвященной творчеству А.Д. Синявского (см. роШ.ги). После опубликования на сайте прошло обсуждение доклада, получившего название «История России в свете теории цивилизаций».

⁶ Контитент. 1996. № 89.

⁷ Эта мысль только кажется парадоксальной. Она вполне соответствует «Логико-философскому трактату» Людвиг Витгенштейна: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике». То, что противоречит грамматике науки, высказывается языком икон.

Часть 2. Заметки о Достоевском

Каторжное христианство и открытое православие

Принято считать, что на каторге произошла смена убеждений Достоевского. Это и верно и неверно — смотря по тому, что считать убеждениями: совокупность идей или сердечных склонностей. «Идеи меняются, сердце остается одно», — писал Достоевский Майкову (в январе 1856 г.) и далее: «Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкою стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения»¹. «Убеждение» здесь явно мыслится глубже уровня идей, ближе к сердцу. Это сердце не переменялось. Но произошел прорыв сквозь линию идей, созданных дробящим разумом (впоследствии Достоевский назвал его эвклидовским разумом).

Каторга вызвала неудержимый рывок всего существа к образу Христа, вставшему со страниц Евангелия, к зримому образу Бога, который один мог уравновесить ужас мертвого дома, не объяснить, не оправдать, а просто уравновесить всем собой, поглотить своей цельностью. Выработка новых идей началась позже. Все сочинения Достоевского — процесс выработки идей, согласных с сердцем, с постоянным возвратом к первоначальному пункту — к невозможности жить умом подпольного человека, смешного человека, упершимся в свои $2 \times 2 = 4$. Этот спор никогда не мог быть решен окончательно, завершиться логическим опровержением логики, дробящей цельность, но отрицательное решение, признание торжества логики было еще более немислимо (не допустило бы сердце). Отсюда страстность внутреннего спора — от «Записок из подполья» до «Братьев Карамазовых».

Достоевский не был человеком, способным успокоиться на *системе* взглядов, его мировоззрение вечно строилось и никогда не могло быть выстроено, всегда находилось в движении рго и соп!га, за и против, то примирявшихся, то снова враждующих. В сердце Достоевского, под покровом его попыток связать концы с концами, все время пульсирует каторжный опыт: на одной стороне тьма, поглощающая все прекрасное и высокое, на другой — лик Христа, не подвластный тьме. Вокруг этого четыре года кружились его мысли, и, едва выйдя с каторги, он

исповедуется Фонвизиной:

«...В такие минуты жаждешь, как “трава иссохшая”, веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснее истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; и в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (с. 176).

Хочется подчеркнуть фразу:

«Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Каторга, подобно мучениям Иова, каждый день давала доводы против, отымала всякую возможность полюбить ближнего, как самого себя, и увидеть в человеке образ и подобие Бога. «Это народ грубый, раздраженный и озлобленный, — пишет Достоевский брату. — Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностию всевозможных оскорблений. “Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал” — вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостию их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их» (с. 169—170).

Так мог сознавать себя выше каторги Раскольников или брат Иван Федорович. Решительно ничего не напоминает эпилог «Преступления и наказания», где верующие разбойники ненавидят Раскольникова за его безбожие. Те, кто окружали Достоевского, просто и грубо ненавидели дворян. Только постепенно эта жестокая истина погрузилась в подсознание и всплыли в памяти воспоминания детства, и темный лик народа уступил место светлому, на который можно было опереться. Первый набросок нового порядка идей — через два года после ка-

торги, в письме к Майкову:

«Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его; ибо был сам русский. Несчастье мое дало мне многое узнать практически, может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения» (с. 208—209).

Каторжная реальность на время скрывается из глаз, уступает место начаткам мифа о народе-богоносце. Но бездна душевной тьмы, раскрывшейся в Сибири, слишком велика, слишком глубока. Сознание снова проваливается в нее, и снова удерживает от падения только вера вопреки разуму, вопреки «истине», даже не вступая в спор с их доводами. Недаром любимые герои Достоевского — юродивые. Крылья его гения раскрываются над бездной абсурда. Потом парение оборачивается новым падением — в аскетике это называется богооставленностью — и жизненным рывком нового взлета.

Без этого чередования падений и взлетов не было бы романов Достоевского. Ему хотелось успокоиться на какой-то окончательной системе, и он изобретал ее, но ни из какой системы роман Достоевского невозможно вывести. Если романист совершенно тверд в своих идеях, он пишет роман «Что делать?» — или сейчас, когда мы стали крепки задним умом, — роман «Что не делать». В таком романе все ясно и не может быть споров, что Чернышевский или Солженицын хотели сказать. Другое дело Шекспир: его толкуют и перетолковывают четыре века. Другое дело Кафка. Существует несколько разных концепций его творчества. И другое дело Достоевский.

В каждом романе Достоевского заново сталкиваются дробящий разум и порыв к целостному лику Христа, воля проповедника, строящего свою систему спасительных идей, и вглядывание в молчащего Христа.

Было сказано, — и многих убедило, — что воля Достоевского едина (а это значит, что совершенно едина система идей, направляющая волю); диалог же ведут только персонажи, отпущенные автором на свободу. Меня эта концепция не убеждает. Я думаю, что герои Достоевского неотделимы от него. Это его ипостаси, его исповедальные лики. Достоевский не оставил нам особой исповеди, но он исповедуется в десятках лиц, в том числе совершенно не респектабельных, — даже в поручике Келлере с его «двойными мыслями». В романе нет места для высшей точки зрения, независимой от героев. Авторская воля просвечивает сквозь их субъективность; она — если воспользоваться термином Бердяева — не объективна, а «трансубъективна». Корни ее уходят в «каторжное христианство», в созерцание, превосходящее

логическую мысль, в кружение духа вокруг непостижимой истины. Она присутствует во многих и не вмещается ни в одном персонаже и ни в одно слово. Достоевский пытается вместить свое кружение в православие, но сам понимает, что выходит что-то открытое, не поддающееся догматическому определению, и однажды мимоходом сказал об этом в «Заметке о Петербургском баден-баденстве». Под православием, написано там, «я понимаю идею, не изменяя однако ему вовсе» (опубликовано в 86 т. «Литературного наследства»). То есть отчасти изменяя, пытаюсь обновить традицию, открыть ее переменам.

Более подробно и ясно ему ни разу не захотелось высказаться, и мне кажется потому, что яснее и нельзя было сказать: дух молчащего Христа достаточно воплощен в целостности романа, а однозначное толкование этого духа — занятие критиков, кружащихся вокруг текста, допускающего возможность бесчисленных трактовок.

Один из примеров — спор об Иване Карамазове. Совершенно очевидно, что Достоевский обличает его, сбивает с котурнов. Он всех гордых снижает, а смиренных неожиданно возвышает. Но из этого вовсе не следует, что гордые ему становятся чужды. Гордую и вздорную Катерину Ивановну Достоевский никогда не перестает любить, так же как не переставал любить Марию Дмитриевну Исаеву, свою первую жену (образ которой отчетливо просвечивает за госпожой Мармеладовой). Одна из высших точек романа — сцена, когда Катерина Ивановна протягивает свой платок, захарканный кровью, священнику, и тот смущенно умолкает (почувствовал фальшь в роли друга Иова). Меня тут захватывает волна сострадания, почти невыносимого, и я почти физически чувствую прорыв света сквозь тьму, как на картине Рембрандта. Думаю, что именно в таких сценах Достоевский достигает катарсиса, а не в обдуманно выстроенных эпилогах, где мирозерцание берет верх над неуправляемым гением.

Однако вернемся к Ивану Карамазову. Есть взгляд, высказанный, кажется, впервые Сергеем Булгаковым, что бунт Ивана — не бунт Достоевского; и есть противоположное мнение. Вторая точка зрения чаще всего принадлежит людям, не чувствующим вовсе пафос Зосимы и Алеши, но самое яркое и глубокое развитие этой идеи принадлежит Сергею Фуделю, человеку глубоко религиозному, одному из исповедников и мучеников православия в годы гонения. Для него устами Ивана говорит Иов и вера Иова, со всеми его сомнениями, — равноценное и равносильное крыло православия, вместе с благостной верой Зосимы, а разделительная линия проходит не между Зосимой и Иваном, а между ими обоими и Ферапонтом, темным двойником церкви. При этом интуиция Фуделя просто проходит мимо всего *выстроенного* в романе, всего мастерски проведенного разоблачения гордости Ивана. Оно Фуделю не важно. Своим «главным умом» (беру это выражение у Аглаи) Фудель понимает, что истина остается истиной и в безупречных устах.

Поддерживая Фуделя, можно сказать, что герои Достоевского, в

которых звучит его собственный голос, очень часто не безупречны. И в то же время — не безнадежны. Именно это единство небезупречности и небезнадежности — стихия, в которой разворачивается гений Достоевского, часто неожиданно и совсем не по рельсам обдуманного плана. Тогда как попытки создать безупречный идеал всегда заканчиваются стилизацией (странник Макар, старец Зосима), и в этих попытках роман сразу теряет часть своей силы. Можно заметить, что Достоевский бичует Ивана не за его мучение муками детей, а за двойную мысль, за использование своей муки как почвы для оправдания гомоцентризма (беру этот термин у Татьяны Касаткиной; он здесь точнее, чем гуманизм). Можно добавить, что и свой символ веры (о Христе вне истины и истине вне Христа) Достоевский вкладывает в уста Ставрогина не с целью опровергнуть письмо Фонвизиной, а чтобы показать возможность двойной мысли, паразитирующей на самом светлом порыве, на самой святой и глубинной интуиции, на самом откровении. Так что всякое чувство внутреннего света, ставшее словом, открывает и возможность использования слова в угоду страстям. Но все это философия, а непосредственно мы чувствуем одновременно и небезупречность Ивана, и истинность его ропота.

Церковь, как известно, признала, что Христос был вполне Бог и вполне человек; поэтому человеческие страдания Его не теряют своего значения от того, что на третий день Распятый воскреснет. Опираясь на эту догму, я делаю еще один шаг: и страдания матери, на глазах которой собаки растерзали мальчика, тоже не теряют своего значения, и отказ Ивана принять мнимую богословскую гармонию, в которой все вопросы Иова полностью устранены, так же остается *внутри* религии, как и ропот Иова; только друзья Иова отымают у страдания право на ропот. Представление о том, что ропотать вообще не должно, несколько отзывается монофизитством, выдвигая идеал человека, преодолевшего все человеческое. Роман Достоевского говорит, что этот идеал фальшив, Достоевский не дает решения, способного утешить мать растерзанного мальчика. Он оставляет вопрос открытым.

Ропот Ивана не опровергнут; от только уравновешен, и в нем самом порыв к равновесию — слова о любви к жизни прежде, чем к смыслу ее (мысль, оставшаяся у него без воплощения, но воплотившаяся в Мите).

У Достоевского все герои-философы, развив ум, теряют чувство целого, веру в Бога, смысл жизни и способность любить (это, быть может, четыре ипостаси одной потери). Равновесие восстанавливают простецы. Но есть одно исключение — князь Мышкин. Он и прост, и по-своему развит; по крайней мере, развит его «главный ум», и рассказ Епанчиным, при первой их встрече, не уступит в силе самым прославленным образцам красноречия. Мышкин — единственный красноречивый герой, который не только говорит о любви, но действительно любит, любит действительно всех, живое опровержение общего тезиса подпольного

человека, смешного человека и Ивана Карамазова о невозможности любить ближнего. Самая катастрофа князя связана с тем, что он слишком безоглядно любит.

Впрочем, безоглядно не значит — не видя человека насквозь. Мышкин отчетливо видит низость «твари дрожащей», и все же он всех любит. Просто любит, без всяких слов, что *надо* любить ближнего, что все мы друг перед другом виноваты. Можно без конца спорить, что Достоевский сказал князем Мышкиным, но что князь любит ближних, совершенно очевидно. И в этом одном уже была причина огромного обаяния князя, заново подтвержденная Мышкиным-Смоктуновским, Мышкиным-Яковлевым, Мышкиным-Мироновым и другими воплощениями в театре и в кино.

Во всем остальном Мышкин - открытый вопрос и, пожалуй, еще более трудный, чем Иван Карамазов. В князе видят и самое полное воплощение христианского идеала, и трагедию гомоцентризма, то есть гуманизма, из которого совершенно выветрился Божий след, и односторонность сострадания, ставшую гибельной страстью, и возрождение первобытной гармонии с природой, и открытость ребенка, слишком незащитного среди воспаленных страстей...

Татьяна Касаткина считает доказательством безбожия Мышкина то, что на прямой вопрос о вере он отвечал притчами. Но так же - притчами — отвечал Христос. Зато Раскольников на вопрос Порфирия Петровича, верует ли он буквально в воскресение Лазаря, ответил по катехизису, из чего вовсе не следует, что он действительно верил. Наконец, одна из притч Мышкина имеет характер апофатического (то есть отрицательного по форме) исповедания веры. Если человек чувствует, что ученый атеист говорит «не про то» - значит, он чувствует то. А в таком контексте слово «то» — один из символов сверхразумной святости. В древнейших упанишадах то (на санскрите тат) - синоним целостной вечности, раскрывающейся в человеческом сердце, и «ты еси то» можно перевести на христианский язык как «Царствие Божие внутри нас». Синоним слова Будда — Татхагата, то есть, примерно, «Тот самый». На вопрос о вере «Тот самый» отвечал вполне по-мышкински: «Есть, о монахи, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное», - не желая впрямую назвать это нечто - из острого чувства несоответствия человеческих слов тому, что было пережито под деревом Бодхи.

Язык отрицаний особенно любят мистики. Мистик не *верит* в свою святость с чужих слов, он непосредственно *чувствует* ее. Иногда озаренный внутренним светом, как Мышкин накануне припадка. А иногда — как ребенок.

Вторая притча Мышкина — об улыбке ребенка. Достоевский особенно выделял детей до одного года, то есть не говорящих, не знающих никаких слов, и считая их совершенно особенными существами. Я думаю, что он прав. Младенцы непосредственно чувствуют целостность бытия, еще не

расщепленного анализом, и ликуют от своей причастности этой целостности. А целостная вечность — одно из имен Бога.

Мышкин, из-за своей долгой болезни, очень поздно стал взрослым и сохранил младенческую цельность. Он совершенно открыт — и Богу и людям, он не думает о самозащите и не умеет защищаться. В этом его обаяние и его обреченность. У него нет никакой религиозной *культуры*, никакого знания, как выжить со своей открытостью в безблагодатном мире, как уходить в отрешенность. Каждая религия вырабатывает способы защиты благодати от страстей толпы. Но Достоевского волновал *первичный* религиозный опыт, до традиции, до какой бы то ни было церкви. Он к этому еще раз возвращается в «Сне смешного человека». И Мышкин — его первая попытка вообразить такой первичный опыт, до всяких слов и приемов. Мышкин не похож ни на один религиозный тип, известный из истории, потому что он как бы предшествует истории. Нечто подобное есть только у бесписьменных народов.

Не так давно Анна Смоляк открыла у нескольких народов Сибири неприметный религиозный тип. Он долго не бросался исследователям в глаза. Его заслонили шаманы с их разрисованной одеждой, с биением в бубен, с разыгрыванием мистерии, на которую сходилась вся округа. Но тудинов, как их называют нанайцы, почитают больше шаманов. Тудины связаны с духовным миром от рождения. Они не нуждаются в посвящении, в браке с потусторонней возлюбленной, им не нужны особая одежда и магические предметы. Их узнают по дару ясновидения. Тудины способны предвидеть будущее, указывать источник беды или болезни, следовать «умным зрением» за шаманом в его духовных странствиях и исправлять его ошибки. Они лечат больных, по общему мнению, лучше, чем шаманы; к ним прибегает община как к мировым судьям и посредникам в тяжбах (роль, напоминающая судей в древнейшем Израиле, до царей). Нанаец Дзяппе, племянник известного тудина, объяснял, что «тудин все знает, так как душа у него работает». По убеждению нанайцев тудины получают свои знания и силы почти исключительно от небесных духов высших сфер. Посредником является «этугдэ» — личный дух человека (подобие ангела-хранителя). Когда у человека есть этугдэ и особенно когда он «большой», то есть сильный, ему, этому «этугдэнкунай» (обладателю этугдэ) нечего бояться. Злые духи не смеют приближаться к нему. А если приближаются, этугдэ «как собака» бросится на них и отгонит.

Тудины, если не контролируют шаманское камлание, действуют только днем, шаманы же камлают в темное время суток. Тудины иногда страдают эпилепсией, но специфической болезни шаманов, проходящих посвящение, они не знают. Какая-то высшая сила им помогает даром, по непредсказуемой благодати.

Попробуем удивиться (удивление — мать философии): почему в примитивном бесписьменном обществе так щедро разбросана благодать?

И почему окружающие так легко узнают ее и почитают? Ведь узнавание благодати — тоже своего рода благодать. Видимо, «главный ум», обращенный к целостности жизни и познающий отдельное в его связи с целым, легче формируется там, где мало развит ум дробящий, отделяющий факты друг от друга и человека — от Целого (пишу здесь Целое с прописной, как Достоевский в «Сне смешного человека»). Видимо, история — это процесс потерь, а не только приобретений; и главный ум в развитом обществе редко складывается и еще реже может рассчитывать на общее признание.

Кришнамурти рассказывает, что в детстве учитель ежедневно бил его палкой за совершенную неспособность отвернуться от созерцания целостности природы и запоминать какие-то слова. Если бы не теософы, открывшие мальчика, склонного к экстазу, он так и остался бы юродивым, идиотом. Даже после всех усилий опытных учителей будущий мыслитель не смог поступить в университет, не читал неритмичных, непоэтичных текстов, не знал никаких наук. Говоря языком нанайцев, у него был мощный этугдэ, не дававший сбить себя с пути, не поддавшийся никаким соблазнам. Кришнамурти был уверен в своей защищенности и действительно был защищен. В дневнике его поражает спокойствие, с которым он, встречал медведицу с медвежатами, кобру, протягивал руку тигру. И так он прошел через джунгли техногенного мира, не пугаясь его опасностей и не соблазняясь его соблазнами, глядя на всю цивилизацию сверху вниз.

Я думаю, что можно описать Мышкина как тудина со слабым этугдэ, не сумевшим защитить его от злых духов. А этих духов в блестящих столицах гораздо больше, чем в тайге или в швейцарском уединении. Дело не только в неопытности, с которой князь нечаянно оказался в роли жениха двух женщин сразу. Без этого не было бы такой скорой и такой трагической развязки, но князь все равно бы угасал, отравленный темным дыханием Бурдовских, Иволгиных, Келлеров, Лебедевых... И в монастыре, за защитой стены, его душили бы темные ауры монахов, завидующих успехам друг друга в молитве (об этом рассказывает архимандрит Софроний, издатель книги «Старец Силу-ан»; он сравнивает эту зависть с чувствами Каина к Авелю). Темные силы не способны играть Мышкиным, но они его все время расстраивают, помрачают, травят своими ядами. Замечательный пример — как воля Рогожина к убийству, ощущаемая Мышкиным вопреки иллюзиям его разума, вызывает эпилептический припадок. Можно вспомнить хасидскую легенду о цадики, который получил от Бога тяжелый дар: мучиться чужими грехами как своими собственными.

Есть еще восточная сказка о бодисатве, которому бросилась в руки голубка, убежавшая от тигрицы. Тигрица, остановленная его взглядом, сказала: что же ты мне дашь для моих тигрят? Тогда бодисатва отрезал кусок своего тела, равный голубке, и положил на весы. Голубка

перевешивала. Он отрезал еще кусок. Голубка опять перевешивала. Наконец, бодисатва сам встал на весы. И весы уравнились.

Мышкин тоже сам становится на весы. Он не ограничивается тем, чтобы помолиться за грешника. Разумеется, это не способ кормить тигрят, и герой гибнет, никого не выручив. Но то, что в пространстве и времени — безумие, приоткрывает покров над вечностью, в которой Бог уравнивает зло всем собой.

Человек, забывший о самосохранении, неизбежно гибнет. Гибель Мышкина с самого начала была заложена в сюжете, заимствованном Достоевским из испанской трагедии и французской мелодрамы. Крах Мышкина не был крахом писателя. Но Достоевский, как и Гоголь, как и Толстой, был не только писателем. В какие-то творческие минуты, после создания потрясающих сцен, у него, вероятно, мелькала надежда создать в Мышкине хоругвь, за которой пойдет русский народ. Хоругви не получилось. Для проповедника, вождя, идеолога это было разочарованием. И после «Идиота» Достоевский начинает усиленно выстраивать в образах свое открытое православие, рисовать духовных вождей в архiereе Тихоне, в страннике Макаре, в старце Зо-симе; однако Мышкин, со всем его непостижимым обаянием, остался как загадка, как удар в сердце, который никуда не ведет, а просто переворачивает душу.

Бойтесь пушкинистов, сказал Маяковский. Бойтесь исследователей, которые выявляют авторский замысел. Потому что очень часто автор говорит больше, чем задумал, и не совсем то, что задумал. Анализ легко раскрывает то, что выстроено, что написано по плану, но скользит по поверхности, когда гений опрокидывает пишущего со всеми его планами и диктует, как Аллах Мохаммеду, что одному Богу известно. Так вдохновение начинает диктовать Достоевскому, главу за главой, признания Мити Карамазова, и главным героем романа становится Митя — в обход Ивана, который сам себя наметил в герои, и в обход Алеши, которого в герои назначил автор. И катарсис достигается не столько в проповеди у камня, сколько в Мокром, когда чувственная захваченность Мити вдруг становится настоящей любовью.

Так нечаянно, безо всякой связи с православием зачатый образ князя Мышкина, с корнями в трагедии католика Кальдерона, достигает потрясающей жизненности, к которой даже не приблизились знаменосцы идеи. Так Кроткая, выбрасывающаяся из окна с иконкой, прижатой к сердцу, оспаривает осуждение всех самоубийц — без разбора, что их толкало к смерти. Так православие Достоевского остается открытым, как вопросы Иова Богу.

Творчество гения выше его разума, выше догм его религии. Эту тайну чувствуешь, но не можешь ясно и бесспорно раскрыть. То, что ты высказываешь, — только твой отклик, на нем отпечаток твоей собственной личности. Несубъективное восприятие здесь невозможно, и читатель ровно настолько прав, насколько огонь Достоевского вызвал

искру в его сердце.

Единство художественной воли — в поставленных ею вопросах. Ответы же — область читательского творчества. Те ответы, которые писатель рассудочно подсказывает, не имеют обязательной силы. Движение образов и движение мыслей Достоевского не имеет итога. Оно навечно открыто. Попытки Достоевского выстроить мировоззрение, опираясь на идею православия, останутся вехой в истории русской мысли. Но глубже уровня идей — каторжное христианство, кружение человека, попавшего в хоровод демонов, вокруг молчащего Христа. В эти глубины уходят корни творчества, принадлежащего всему миру.

Идеи русского инока в западном контексте

Мне уже приходилось говорить, что мысли Достоевского не сосредоточены в авторских ремарках, а проводятся через сознание персонажей. Эти мысли вошли в философский обиход далеко за пределами России и кружатся в духовном пространстве как мысли подпольного человека, Ивана Карамазова и других персонажей, ставших как бы воображаемыми мыслителями. За последний год я столкнулся с мыслями инока Зосимы, попавшими в западный контекст. Первый отклик принадлежит Эммануэлю Левинасу, второй — Томасу Мертону. Оба автора широко известны на Западе, особенно Мертон, и почти неизвестны в России. Мертон вообще не переводился, а избранные произведения Левинаса изданы только недавно, в 2000 г.

Эммануэль Левинас — французский философ, родившийся в России в 1905 г. (умер он в 1995). Он мог бы стать русским философом Левиним, но в 1918 г. Ковно стал Каунасом, а Россия — страной советов, в которой для философии не осталось места. Левинас поехал учиться в Страсбург, возвращенный по Версальскому миру в свое французское отечество. Молодого человека увлекали Гуссерль и Хайдеггер, но в Германии царил финансовый хаос и уже подымал голову Гитлер. Удобнее было жить во Франции и ездить слушать лекции в Гейдельберг. Постепенно Левинас укоренился во Франции, получил французское гражданство и по-французски писал свои философские труды. Для человека французской культуры он француз. Однако значительная часть его работ полемически связана с философией Хайдеггера.

Левинаса потряс политический поворот Хайдеггера в 1934 г. То, что мыслитель такого ранга мог поддержать Гитлера, увиделось ему как скандал всей европейской философии, начиная с досократиков. Хайдеггер возрождал досократиков, и Хайдеггер поддержал Гитлера. Левинас связывает эти два факта. Он убежден, что увлечение онтологией и равнодушие к этике — своего рода первородный грех, унаследованный от греков, и один из корней того, что он назвал «тотальностью». Это явление я называл иначе, но дело не в названии. Суть в том, что греки раскололи целостность бытия на отдельные начала, а потом вели бессмысленные

споры, которые из этих начал начальнее других: вода, огонь или еще что-то?

Логически развивая свои принципы, философы из осколков бытия создают искусственную цельность системы. Для них это была невинная игра. Но через 2,5 тысячи лет идеи овладели массами и стали материальной силой. Кризис исторически сложившегося общества заставил искать новых, разумных оснований жизни и перестраивать жизнь на основе идеи. Все разновидности тоталитаризма основаны на одной «тотальной» идее, во имя которой можно приносить любые жертвы. Две такие идеи уже провалились. Но уроки истории, как заметил Гегель, никому не идут на пользу. Каждый новый вождь уверен, что он ушел ошибки своих предшественников и твердо знает, во имя чего все позволено. В наше время это знает Бен Ладен: во имя Бога милостивого и милосердного, во имя основ права, утвердившихся при первых четырех халифах.

Про Бен Ладена Левинас еще ничего не слышал. То, что он создал, можно назвать этикой после Освенцима. Я согласен с ним, что любая идея, поставленная выше нравственной ответственности человека перед Другим, может стать основой политической и личной безнравственности. А потому, рассуждает Левинас, важнейший вопрос философии — этический: ответственность за Другого. Досократики отодвинули этот вопрос в тень. И Левинас предлагает отодвинуть их самих в тень — вместе с Аристотелем, уделившим этике третье место в своей системе. Европа должна отказаться от равновесия Афин и Иерусалима и целиком положиться на Библию.

Такой крутой поворот не мог не вызвать протеста. На защиту Афин выступил Жак Деррида. Он деконструирует философию Левинаса с такой же легкостью, с которой управлялся с другими философскими системами (Левинас назвал его критику убийством под наркозом).

Однако все философы легко находят белые нитки у своих коллег и не замечают их в собственной мысли. Критики Деррида и его не пощадили. Однако найти у философа противоречия — не значит его опровергнуть. Можно и самому подчеркивать парадоксальности своей мысли. Это делали Ницше, Бердяев, Мертон. Мертон заметил, что противоречия становятся проблемой только для аналитической мысли, для созерцателя они остаются в единстве. Во всяком случае, философия Левинаса выдержала натиск Деррида. То, что в ней истинно, остается истинным.

То, что Левинас назвал «тотальностью», Достоевский называл съеденностью идеей. Левинас противопоставляет всем Шигалевым и полу-Шигалевым библейское чувство бесконечности, диктуемое человеку ответственность за Другого. Это не логическое следствие принципа, а повеление, услышанное пророками. Оно может быть выведено и из Евангелия. Левинас ссылается и на него. Он пересказывает своими словами наибольшие заповеди Христа: «Бог реально присутствует

в Другом. В моем отношении к Другому я слышу голос Божий». Но чаще всего Левинас ссылается на Достоевского. В интервью испанской газете, где короче всего изложены идеи Левинаса, Достоевский упоминается несколько раз. Привожу наиболее важные места:

«Один из его персонажей говорит: “Мы все ответственны за всё и за всех, и я ответствен более, чем все другие”. “В этом для меня сущность иудейского сознания. Но я думаю также, что это сущность человеческого сознания как такового: все люди ответственны одни за других, и я — больше всех других”. Для меня важнее всего здесь асимметрия, выраженная следующим образом: “все люди ответственны одни за других, и я — *больше* всех других”. Эти слова принадлежат Достоевскому, и я, как видите, не устаю их повторять»².

О каком персонаже идет речь? Видимо, о Зосиме, о его словах: «Все мы друг перед другом виноваты». Пересказ не искажает этой идеи, скорее развивает и дополняет ее. Вот еще одна цитата: «Я ответствен за Другого, даже если он наводит на меня скуку или травит меня» (с. 358). Эту мысль легко продолжить: «или если это злая старуха-процентщица».

Однако почему Левинас не цитирует точно? Деррида приводит несколько случаев подобного обращения с текстом. Левинас много раз придает чужой речи облик, который лучше вписывается в его собственную речь. И всё же — чем вызвана именно эта поправка? Ответ мне подсказало частное замечание в статьях Петера Воге о России (опубликованных в журнале «Индивидуалитет» за 1986 г.). Слова Зосимы приводятся там как пример соборности русского склада ума. Или, скажем проще, — пример акцента на «мы». Можно сказать: «я с женой пошел в театр», но говорится иначе: «мы с женой пошли в театр». Услышав такой оборот в первый раз, Воге спросил: «А кто был третий?». Мы сами избыточности в использовании «мы» не замечаем. Петер Воге собрал много подобных примеров. Но в словах Зосимы эта особенность приобретает философский характер, и поправка Левинаса смотрится как перевод с соборного языка на персоналистский. Вместо чувства общей вины — почти юридическое сознание личной ответственности с подчеркнутой *асимметрией*, то есть ответственности безусловной, не зависящей от поведения Другого. Ответственности, отсекающей с порога саму возможность взаимных счетов, в духе «Раскаяния и самоограничения» А.И.Солженицына, где прекрасные общие принципы совершенно запутываются в счетах, кто кому больше навредил: поляки русским или русские полякам.

Отсекается также позиция смиренного грешника Мармеладова, для которого покаяние, признание своей непростительной вины ничего практически не меняет, не становится поворотом к нравственной перемене, а как раз наоборот, избавляет от необходимости перемены, становится основанием надежды, что Бог простит, Бог и такого примет. Отсекается целый тип сознания, выраженный в поговорке: не согрешишь

— не покаешься, не покаешься — не спасешься.

Этика Левинаса выстраивалась как ответ Хайдеггеру, ответ *немецкому* почвенничеству, исходившему из немецкого чувства обиды на Вестфаль и Версаль и готового принести в жертву своему чувству обиды жизнь некоторого числа процентщиц. Но принцип асимметрии противостоит всяким народным счетам с соседями и чужаками, всякому приоритету сознания «наших бьют!» перед Другим. Достоевский писал — в черновиках к главе о Некрасове — «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше России...», и Левинас опирается на дух Достоевского, не замечая или обходя его отступления от его же правды. Левинас либо не помнит размышлений Шатова о Боге как синтетической личности народа, либо игнорирует их и берет гений Достоевского в свои союзники против Хайдеггера, который, насколько мне известно, *ничего* не писал о еврействе и только смотрел сквозь пальцы на то, что говорили и писали другие. Это кажется парадоксом. Но Достоевский жил в другое время. В XIX в. достаточно было сказать, что гармония не стоит слезы ребенка и Христос не на стороне инквизитора, не на стороне идеологов, съеденных своей идеей. А мы живем после Освенцима, мы живем, когда ради идеи взрывают дома, и опыт показал, что слова Зосимы действительно требуют известного заострения, требуют дополнения соборного чувства вины асимметрией личной ответственности, вопреки всем счетам (с Басаевыми, Бен Ладенами и кем угодно).

Левинас сознает опасность идеи справедливости (она легко «съедает» человека и становится «кровавой добродетелью»). Он пишет: «любовь всегда должна присматривать за справедливостью» (с. 359). Это близко к итогам, подведенным в России, — о превосходстве непосредственного, сердечного, «дурьего» добра над *идеей* добра, над целенаправленным, запланированным добром. Однако слово «любовь» вырвалось нечаянно. Оно пугает Левинаса. Он пишет: «Я редко употребляю слово “любовь”, оно затаскано и многосмысленно» (с. 359) и подробнее в другом месте: «Мне не очень по душе затасканное и опошленное слово “любовь”. Речь идет о том, чтобы взять на себя судьбу Другого...» «Ответственность за Другого — это более *строгое* название того, что обычно именуют любовью к ближнему, любовью без эроса, милосердием, любовью, где нравственное доминирует над страстью, любовью без вожделения» (с. 356) и на с. 360: «Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность отдавать Другому приоритет».

Поставить себя на второе место действительно очень важно. И все же, я думаю, старец Зосима был прав, когда сказал: «ад — отсутствие любви». И Томас Мертон не ошибся, считая именно открытость любви основой русского старчества (об этом мы еще будем говорить). По- моему, утвердить ответственность за другого, отрицая (хотя бы отчасти) *любовь* к другому — значит сидеть между двух стульев. Левинас понимает, что без опоры на откровение нельзя удержаться от лукавства мысли. И в то же

время он пытается избежать «многозначных» слов, без которых не может обойтись перевод с Божьего на человеческий язык, пытается выразить нравственный смысл откровения, не погрешив против требований логической точности и однозначности. Это сравнимо с квадратурой круга. Довести ее до полноты невозможно. То, что Кришнамурти называл безмянным переживанием, а Мертон созерцанием, можно высказать только образом или парадоксом. Когда человек слышит Бога, он теряет дар речи; а когда начинает говорить, мы слышим человека, мы слышим перевод — и понимание перевода невозможно без некоторой благодати, без дара любви, который нельзя свести ни к каким точным терминам.

Избегая упоминания благодати, избегая, по возможности, слова «любовь», Левинас переставляет с места на место разделы философии и выдвигает вперед этику. Однако *идея* добра, лежащая в основе этики, ничего не спасает. Все проекты тоталитарного строя, начиная с «Государства» Платона, основаны на идее блага, и величайшие в истории злодеяния совершались во имя идеи добра (об этом лучше всего сказано в записке Иконникова, роман Гроссмана «Жизнь и судьба»). И мы возвращаемся к мысли, невольно вырвавшейся у Левинаса, вопреки его предубеждениям: «Любовь должна присматривать за справедливостью».

Бывают случаи, когда «взять на себя ответственность за Другого» просто невозможно, если нет любви, а любви нет; и никакой справедливостью отсутствующую любовь не заменить. Стефан Цвейг очень убедительно показал это в романе «Нетерпение сердца», добрый порыв кончается там катастрофой. Там, где нужна любовь, все принципы буксуют, в том числе принцип ответственности, не согретый любовью во всей ее, ничем не ограниченной, полноте. Глубина человека встречается с глубиной Другого только в любви, личность человека, совершенно открытого любви, истиннее всех отдельных принципов, которые приходят ему на ум (в том превосходство Мышкина, со всеми его ошибками, над поучающими героями Достоевского). И поучающий человек больше всего поучает всем собой. Зосима как личность ближе к истине, чем все его идеи; и сами эти идеи истиннее всего в совокупности, в связке, не стоит отрывать мысль о вине всех друг перед другом от другой: «ад — отсутствие любви». Человек без любви остается в аду. И невозможно, оставаясь в аду, вывести из ада Другого.

Это проблема не для государственных людей, а для самых обыкновенных, которые женятся и выходят замуж. Возможно ли без любви создать облако нежности, в котором будут расти дети и вырастать людьми, боящимися обидеть другого, обидеть любовь. Если отец и мать не любят друг друга, если они срываются в спорах, станут ли они живыми образами добра для маленьких существ, сердце которых, еще неотделимое от океана любви, быстро ожесточается от нашей жестокости. Все великие преступники были детьми, которым не хватало любви, которых в детстве

оскорбляли, унижали, мучили страхом. Именно из униженных и оскорбленных вырастали деспоты и мучители. И никакие принципы не помешали им служить дьяволу, даже с крестом в руках.

Так что без любви, как бы ее ни опошляли, в добром деле не обойтись. Но любовь невозможна без веры в человека, которого любишь, без веры в его глубину, где он добр и хорош, несмотря на все факты, доказывающие противоположное. А глубина человека сливается с нашей общей неисповедимой глубиной, которая когда-нибудь поможет нам понимать друг друга, и с надеждой, что наши разговоры перестанут быть диалогом глухих. И старые святыни, которые сейчас по-рыночному называют ценностями, лучше очищать, а не отбрасывать как старую, грязную, изношенную одежду.

Я думаю, что необходимой поправкой к этике Левинаса может быть статья Томаса Мертона «Русские мистики». Но здесь пора сказать несколько слов о самом Мертоне. Он родился в 1915 г. во Франции, где его родители, постимпрессионисты, писали свои пейзажи. Отец — новозеландец, мать американка. После рождения младшего сына Жан-Поля, она умерла от рака. Отец возил с собой Томаса по странам, вдохновлявшим его творчество. Томас учился то там, то здесь. Когда умер и отец, Томас был еще подростком. Родственники матери снабжали его деньгами. Бродя по Риму, он натолкнулся на византийские мозаики в старой церкви и как-то мгновенно почувствовал, что Христос — Бог, упал на колени, молился. Обошел все старые церкви Рима, и всюду, где были византийские мозаики, это повторялось. Но религиозный опыт был заслонен новыми впечатлениями. Мертон вел рассеянную жизнь, учился в Оксфорде, попал в неприятную историю из-за связи с уборщицей, уехал в Америку, окончил университет в Нью-Йорке...

У него были блестящие способности. Он писал эссе, пробовал себя и в романе, преподавал стилистику в колледже. Друзья любили его, девушки тоже. Обаяние его видно по фотографиям. Но во всем, что давалось ему, не хватало глубины, и он это остро чувствовал. Его захватывали лица молящихся в католических храмах. Сын художника и художницы, он многое воспринимал зрительной интуицией, но мешало традиционное для протестантской среды отвращение к католической дисциплине. В конце концов, чтение Жильсона и Маритена удовлетворило его ум. После долгих колебаний он внезапно нашел «четыре стены своей свободы» в монастыре.

В первые годы монастырской жизни Мертону казалось, что с писанием покончено, но когда глубина, которой он искал, открылась перед ним — из нее забил кастальский ключ. Первый книгой стала «Семирусная гора» (с подзаголовком «Автобиография веры»). Она до сих пор перепечатывается. Общий тираж достиг 20 млн. экземпляров на двадцати языках. Ее сравнивают с «Исповедью» Августина. Как и многие неофиты, Мертон с энтузиазмом принял всю догматическую и

организационную структуру церкви, еще не пережившую аджорнаменто. В «Семирусной горе» он сухо вспоминает Мейстера Экхарта как неортодоксального мистика. Но глубина, раскрывшаяся созерцанию, не укладывалась ни в какую «букву», и очень скоро Мертон сам стал писать так же свободно, как Экхарт. Он понял слова своего любимого святого, Августина: «Положи Бога и делай, что хочешь».

Монастырский распорядок из стен его свободы стал тюрьмой. Вдохновение не вмещалось в два часа, предоставленных для писания книг, статей, ответных писем на поток откликов. Не успевая записать все, что вскипало, Мертон не мог заснуть и страдал от хронической бессонницы, несколько раз он попадал в больницу с серьезными расстройствами здоровья. Только начавшееся аджорнаменто позволило завершить пятнадцатилетнюю борьбу с рутинной: он выселился в своего рода скит, где принимал, кого хотел, или никого не принимал, погружаясь в уединение. Именно в эти годы была написана книга «Мистики и дзенцы» (Musylus8 апд 2ep такого). В предисловии к ней Мертон пишет: «Хотя существуют важные различия между традициями, у них много общего, включая некоторые глубинные предпочтения, которые отличают монаха или дзенца от людей, расположенных к жизни, которую я назвал бы агрессивно несозерцательной»³ (с. VII).

Мертон убежден, что созерцание должно вновь обрести свое место в мире действия, что только в тишине слышен голос Бога, голос любви, свободной от страстей, которые часто одеваются в религиозные одежды и стремятся соблазнить созерцателей всех исторически сложившихся религий. В этом духе написана и статья «Русские мистики», вошедшая в сборник. Первая половина статьи знакомит западных читателей со святыми, образы которых были искажены полемикой вероисповеданий или просто неизвестны читателям. Вторая половина — развернутое противопоставление двух тенденций русского старчества, вдохновленное романом Достоевского «Братья Карамазовы». Непосредственно речь идет о Серафиме Саровском и Игнатии Брянчанинове, но за ними отчетливо выступают тени Зосимы и Ферапонта.

Серафима Мертон считает фигурой уникальной для Нового времени, «поразительным контрастом к другим послесредневековым святым и аскетам, пытавшимся подражать отцам-пустынникам. У многих из них, вместе с искренней аскетической и монашеской целью и преданностью аскетическим идеалам, мы сталкиваемся с духом своеволия, часто неистовым и доходящим до одержимости...» (с. 181). Напротив, «простота Серафима напоминает во многом Франциска Ассизского, хотя жизнь его скорее сходна с Антонием-пустынником. Подобно всем другим великим святым созерцателям, Серафим открыт истине Евангелия и не может понять “просвещения”, которое на самом деле есть невежество и духовная слепота. Единственный его западный современник, говоривший так красноречиво и с такой поразительной изобретательностью о

божественном свете, сияющем во тьме, — это английский поэт Уильям Блейк. Но у Серафима нет ничего от гностицизма Блейка: только чистая и традиционная теология церкви» (с. 182). «Его теология воскресения и радости прочно основана на покаянии и слезах, и в этом нельзя находить неуместность благочестивой сентиментальности, которая просто утверждает, что все непременно будет хорошо. Реальность искупления и преобразования опирается на глубинный опыт зла и греха» (с. 183).

Напротив, Брянчанинов «смотрит на мир с глубоким пессимизмом. Материальный мир не преображается для него божественным светом: он прямо и просто обречен на гибель. Для него (как и для столь многих в XIX в.) наука и религия несовместимы, и чтобы познать Христа, надо отвергнуть всякое мирское знание как ложное и сбивающее с пути. Мы с сожалением находим у Брянчанинова тенденцию накладывать неестественные тяготы на тело и ум, и неудивительно, что он рассматривает видения чертей как обычное дело в монастырской жизни. Его пессимизм и подозрительность к любой женщине, просто потому что она женщина, перекликается с остальными сторонами его мрачного взгляда на вещи. Впрочем, хотя его негативное восприятие мира отталкивает нас, мы должны признать за ним порой замечательную психологическую зоркость. В общем, Брянчанинов слишком суров, слишком подозрителен к свету, слишком закрыт для обычных человеческих чувств, чтобы повлиять на нас, как св. Серафим. И всё же, негативизм Брянчанинова, видимо, имел более глубокое влияние на русское монашество, чем чудесный евангельский оптимизм св. Серафима. Труды Брянчанинова помогают нам понять консервативную реакцию Леонтьева и оптинских монахов на созданный Достоевским идеализированный и обращенный в будущее портрет старца Зосимы.

Этот портрет, видимо, опирался на живую фигуру старца Амвросия Оптинского, но тамошние монахи скорее отрицали оптимизм Зосимы, его «гуманизм» как отход от подлинных монашеских традиций России. Возможно, большинство монахов скорее расположены были смотреть на жизнь озлобленными и пылающими страстью глазами фанатического аскета Ферапонта, в котором Достоевский сам, по-видимому, хотел изобразить тип негативизма, характерного для старой школы, критиков и оппонентов старца» (с. 183—184).

Все это очень напоминает полемику с ферапонтами в книге С.И.Фуделя «Наследство Достоевского». «Ферапонт как будто и не похож на инквизитора, но их объединяет... холод и гордость, нелюбовь к евангельскому Христу.. Чудо, тайна и гордость заменяют им обоим правду, любовь и свободу Христову... В “Поэме” есть особый католический разрез, но ее суть общая — разоблачение на почве оскудения веры-любви чудовищного исторического парадокса: церкви без Евангелия, христианства без Голгофы, без распятия за мир, а, наоборот, с погружением в него. В определении контуров этого как бы двойника

Церкви и противопоставления ему Церкви истинной: инквизитору — Христа, Ферапонту — Зосимы — и заключается главная христианская идея романа»⁴.

Мысль Фуделя, что погружение в страсти, фанатизм, хотя бы и одетый в одежды веры, есть погружение в мир, очень близка Мертону. Цитаты можно найти в книге «Мысли в уединении»⁵. Однако Мертон ведет полемику мягче. Он пытается понять и ту тенденцию, которую внутренне отвергает, — понять ее *историческую* неизбежность:

«Странно, что русской революции предшествовал не век монашеского упадка и оцепенения; скорее можно говорить о золотом веке. Впрочем, если термин “золотой век” что-то означает, то он должен означать жизненность; жизненность означает разнообразие, а оно, в свою очередь, предполагает конфликт» (с. 184). И на другой странице дает справедливо высокую оценку Леонтьеву как критику националистической подмены вселенского православия.

Но то, что Мертон принимает всем сердцем, видно в его общей оценке старчества: «Целью старчества было не столько ежедневное руководство как ввести в жизнь особый метод молитвы, но скорее держать сердце ученика открытым любви, не допускать окостенения в эгоцентрической заботе (моральной, духовной или аскетической). Все злейшие грехи суть отрицание любви, отказ любить. Главной целью старцев было прежде всего научить, как не грешить против любви, а потом вдохновлять и помогать росту любви до святости. Это полное подчинение власти любви было единственной основой их духовного авторитета, и на этой основе старцы требовали полного и неоспоримого послушания. Они могли так делать, потому что сами никогда не сопротивлялись призывам милосердия» (с. 186).

В нескольких строках здесь даны сразу три ответа: впрямую — критикам русского исихазма; косвенно — Константину Леонтьеву; и наконец, заранее (Левинас пережил Мертона, погибшего от несчастного случая в 1968 г.) — на попытку опереться на Библию и Достоевского, отрываясь от духа благодати и любви.

Мысли о переключке Тарковского с Достоевским

Мне уже приходилось говорить, что у Достоевского есть мысли-зерна, из которых — из каждого — может вырасти целое дерево. Иногда это несколько фраз (например: о Христе вне истины и истине вне Христа). Иногда — только несколько слов: «Мир красота спасет» (или «Мир спасет красота Христа»); «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым»; «Все мы друг перед другом виноваты»; «Слишком много сознания — это болезнь...».

Очень много ростков потянулось у меня, когда я начал работать над Тарковским, из зерна одной мысли, брошенной в «Дневнике писателя»: что если бы Достоевскому предложили выбрать либо прекрасный, со-

вершенный мир, без всех мучительных противоречий, но без детей, либо мир, какой он есть, со всем его ужасом, но с детьми, то он выбрал бы второе. Я помнил этот выбор больше шестидесяти лет, но только как гиперболу личного чувства, без какой бы то ни было философии, и вдруг осознал целую онтологическую доктрину: прав был Бог, сотворив мир таким, какой есть, с рождением, за которым следует смерть, с хрупкостью добра в борьбе со злом, но и с красотой хрупкого добра, красотой сильно развитой личности, отдающей себя всю всем, и ясностью детской улыбки. Ум человека может захватить Солярис, где нет ничего отдельного и нет борьбы особей, ненависти, поедания друг друга, но сердце не откликается на единство без шипов и без роз, без предательства Иуды, но и без подвига Христа. Этот выбор — не ответ Ивану Карамазову, но противовес его вопросу: почему страдают дети? Почему страдает Иов? Почему страдает все живое?

Иван готов верить, что где-то, за квадрильон верст и лет, есть совершенная гармония. На глубине бытия зла нет, писал Августин. Но почему так мучительно противоречива поверхность бытия, где рождаются, страдают и умирают? Отвлеченный ответ здесь давно известен; вернее, множество ответов. Но они не насыщают сердца. Пока сердце живет только на поверхности бытия, оно не может примириться с порядком, при котором жизнь ведет к смерти, и мысль, в своем стремлении к истине, запутывается во лжи. Здесь стена, говорил подпольный человек, законы природы, но он не может согласиться, что гармония достижима только в общем и целом и для экологического равновесия волки должны поедать зайцев. Гармония не утешает единичного зайца, попавшего в волчьи зубы. Сердце не смиряется со стеной.

Там, где нет «я», где остается только Божье Ты, в целостной вечности, зла нет и найдено убежище от страдания: духовное погружение в эту вечность. Но как представить себе, как пережить это убежище, как сделать его доступным неопытному сердцу? Сердцу нужен образ. И буддизм, начав со строгого языка понятий, не обошелся без образов, без мифов о Чистой земле, о башне Матррейи и т.п. И в нашей культуре образ Бога царит над всеми понятиями, и погружение в глубину — это погружение в Царствие Божье, которое внутри нас. Глубину легче почувствовать через метафору.

В образе Бога снимается разрыв между тайным единством и зримой дробностью мира. Бог и трансцендентен (вне мира), и имманентен (присутствует в мире). В этом сходятся все великие культуры. На языке индуизма это единство сагуны Брахмана и ниргуны Брахмана⁶; китайская метафизика говорит о безымянном Дао, объемлющем Дао, имеющее имя. Потусторонний Бог присутствует в посюстороннем как божественные энергии, как веянье Святого Духа и как второе Пришествие, которое, по словам Рейсбрука, вечно происходит в душах святых.

В своей трансцендентности Бог вне пространства и времени. Его место в пространстве и времени — ноль. Из этого нигде и никогда, из ничего Он творит мир, восстанавливает, возрождает мир, пожираемый смертью, и наполняет его Своим Духом. В Его Духе нет никакого зла, никакого несовершенства. Но вступая в пространство и время, Он вступает в мир смерти. Санскрит вообще не различает время и смерть. Кала (в женском роде Кали) — и то, и другое. Поэтому Шиву называют Махакала, а его супругу Махакали или просто — Кали. Будда говорил об органическом несовершенстве мира. Умирая, он повторил главную мысль своей первой проповеди: «состоящее из частей подвержено разрушению; трудитесь прилежно...». Видимо — чтобы достичь убежища в целостном духе. Писание христиан говорит, что мир лежит во зле и сокровища надо собирать на небесах.

А в то же время мир прекрасен. В нем действуют божественные энергии. Даниил Андреев чувствовал их в природе и называл «стихиялями». Святой Дух действует в культуре, и плоть от плоти рождается, а дух от духа; и сыны Божьи, родившиеся от духа, вносят в мир совершенную любовь. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

Это не оптимизм и не пессимизм. Бог вечно вступает в мир рождения и смерти, и в каждом младенце он готов полностью воплотиться. И воля к Божьему раю уравнивает силы, влекущие в ад. Мы призваны помогать Богу в этом, и с нашей помощью свет никогда не перестанет светить во тьме (хотя бы дурьей добротой). Наше стремление к божественной цельности — противовес разрушительным стихиям и демоническим веяниям.

Таков, по-моему, мир, и лучше он может быть только в воображении утописта. Опыт утопии мы уже пережили. Попытки кардинальной перестройки мира только портят его. На поверхности мира добро часто терпит поражение, и вопли Иова — не грех. Эти вопли — такая же часть живой жизни, как крики роженицы и плач над умершим. Бог отвечает плачущим и стенающим. Он ответил Иову: твори вместе со Мной! Помогай Мне! Войди в поток творчества и потоки в нем свои страдания! Ищи силу в благодатном свете, который всегда готов излиться из глубины твоего же сердца, откликаясь на Мою глубину! И потом, вернувшись на свет дня, ты сам захочешь, чтобы были розы вместе с шипами и встречи глаз любящих, знающих, что они не вечны, и улыбка матери, обращенная к младенцу, которого она в муках родила. И вопросы Карамазова не способны отнять запах у клейких листочков.

Все это гораздо шире творчества Андрея Тарковского, но я вспоминал Достоевского, узнавал вопросы Достоевского, просматривая, одну за другой, видеокассеты.

Великий инквизитор и его собеседник

Тему лекции подсказал мне Михаил Ульянов гениальным исполнением

роли Великого инквизитора. Христос не просто не был виден. Он был заслонен, как перед глазами Силуана икону Христа заслонил могучий бес, не давая молиться.

Откуда эта мощь, эта черная сила? Я много раз читал «Братьев Карамазовых», но никогда так ясно не почувствовал, что за каждым словом инквизитора стоит вся сила фактов, которые обрушил на нас XX век и начало нынешнего, XXI—го. В XIX в. только Достоевский смутно угадывал их и передал в кошмарных снах своих героев. Сегодня у видений появились точные географические и исторические имена: Колыма, Освенцим, Сумгаит, Беслан.

Поэтому каждое слово инквизитора сопровождается могучим хором событий (это хорошо удалось на телеэкране). И хочется услышать, как услышал Силуан, ободряющие слова: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Эта мысль начинает сквозить в глубине всех пяти романов Достоевского.

Смысл каждого романа всегда скрыт, как кашеева смерть. Сперва она спрятана в порочном кругу обстоятельств: бедный студент, пьяница Мармеладов, приставания Свидригайлова к Дунечке. И вдруг, приемом деиз ех шаБиа, Свидригайлов уходит из жизни и раздает всем деньги. Что же случилось? Ничего. И только сон, приснившийся Раскольникову в эпилоге, помог Соне растопить его сердце. Многие в это не верят. Я верю.

Почти все романы Достоевского начинаются с власти денег: торгуют Настасью Филипповну за 75 тысяч, за 100 тысяч — и вдруг Мышкин предлагает ей руку, и вдруг он получает огромное наследство... Но ничего не меняется. Ничем нельзя вырвать из сердца Настасьи Филипповны жгучее чувство обиды. И это чувство обиды становится главной пружиной действия и губит всех — и ее, и Мышкина, и Рогозина. А в паузах действия — еще один слой смысла: никто не может понять *главного ума*, который принес в мир Мышкин, никто не узнает его, никто не почувствовал, как он, что нельзя видеть дерево и не быть счастливым.

В «Братьях Карамазовых» мы попадаем в грязную ссору между отцом и сыном, где деньги спутаны с похотью, — и вдруг все отодвигается в сторону, младшие братья садятся за стол — и трактир превращается в симпозиум о цене страдания. Не стоит гармония слез одного замученного ребенка. Ни земная, ни небесная. Алеша прижат к стене. Он уже готов расстреливать негодяев. И внезапно вспоминает Христа. Христос всех способен обнять, всех утешить. И тогда Иван отвечает легендой о Великом инквизиторе. На земле Христос бессилен и уходит, уступает место инквизитору. Больше того — Он целует старца в его бескровные уста.

Что означает этот поцелуй? Признание правоты? Не больше, чем призрак Христа, мелькающий во вьюге перед патрулем красногвардейцев. Еще один порочный круг. Деспотизм рождает бунт. Бунт рождает новый деспотизм. И не дай бог увидеть русский бунт — и русское подавление

бунта.

Инквизитор верил Христу, пытался действовать по Евангелию. Но его идеалы разбились о жизнь, разбились о человеческую низость, разбились о глухоту человека к Богу. И он решил, что прав дух, искушавший Христа в пустыне, что иначе с этими жалкими людишками нельзя. Для их же блага нужен жестокий порядок. Инквизитор — фигура трагическая. Он уверен, что действует ради людей, что он их любит, какие они есть. Он не хуже революционеров. И не лучше. Ранние революционеры — тоже люди трагической судьбы, их идеи тоже разбились о жизнь. И они тоже пришли к «добру с кулаками».

Революционный держите шаг,
Неугомонный не дремлет враг...

Христос с состраданием относится и к тем, и к другим, не ведающим, что творят. Одни — во имя Церкви. Другие — во имя революции. Инквизитор пытается доказать Христу, что поступил правильно, что перешел, так сказать, от утопии к науке, и просит Христа не мешать. Место Христа — на небе, на иконах, не в земной жизни. Как небесное божество, его будут почитать, или как японского императора, который царствует, но не правит. В полноту сил Христа инквизитор не верует. Он не верует в Христа как дверь, в которую могут пройти многие, он не верит в обожение человека, и уж во всяком случае — в человечество, пусть не поголовно обоженное, но такое, в котором обоженные охватят всех своим внутренним светом.

И ведь не он один не верит. Даже среди тех, кого канонизировала церковь, признала святыми, мало кто верил в обоженное человечество. Не больше верили, чем среди коммунистов сталинского времени верили в «ассоциацию, где свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого». Вспоминали иногда, кто книги читал, как отдаленную цель, как тысячелетнее царство праведных. А пока что шли к этой цели через усиление классовой борьбы (на языке Сталина), через усиление борьбы с ересями (в Средние века).

Те и другие, бесспорно, верили, но во что? В имя. С именем Христа на устах св. Ирина казнила иконоборцев. И св. Доминик с именем Божиим на устах вдохновлял избиение альбигойцев, и с именем Бога на устах убивали гугенотов в Варфоломеевскую ночь, и во имя Божье преп. Иосиф Волоцкий травил лучшее, что было в Русской Церкви, — заволжских старцев, нестяжателей, людей глубокой духовной жизни, с отращиванием относившихся к монастырскому владению крепостными крестьянами.

В книге Кёстлера о Большом терроре, «Слепящая тьма», эпиграфом к одной из глав взят средневековый текст. Язык его автора, католического епископа, совершенно советский: нравственно то, что служит церкви (в ленинском варианте — служит революции). И дальше излагается целый список уголовных преступлений, дозволенных ради святой цели.

Багрицкий выразил это короче, в двух стихах:

И если прикажет солгать, — солги,
И если прикажет убить, — убей.

В таком развитии была своя логика. Если человек не способен на обожение (соответственно — если человек не способен полностью отдать себя социалистической цели), то к пропаганде надо прибавить насилие. Такие настроения возникают всегда, если отвлеченные идеалы сталкиваются с жизнью. В том числе плохо понятые демократические идеалы. Играя в демократию, не подготовленные к ней внутренне, мы пришли в тупик: не знали, как остановить резню в Сумгаите, не знали, что делать с Чечней, а потом — ковровая бомбардировка Грозного и убийство детей в Беслане. И кажется, что нужен новый Левиафан, о котором мечтал Гоббс (чудовище-государство, способное подавить мелких гадов), и нужен новый Сталин (конечно, не параноик, не садист, — словом, Великий инквизитор, честный и бестрепетный деспот)...

Исправление Евангелия началось в самом начале, еще до канонизации. Не все в этом было плохо. Павел устранял то, что мешало распространить веру в Христа среди язычников. Самому Христу довольно было еврейской Библии — и свободы ее толкования. «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами». Говоря словами Августина, Христос строил незримую церковь для тех, которым не нужно было новых правил, кто непосредственно чувствовали правду Христа, правду обожения. И уловил его стиль: смотреть сквозь законы, данные Моисеем, на жизнь, созерцать разрывы между законами и жизнью, и когда разрывы слишком вырастали, обходить законы (с динарием Кесаря, с грешницей, схваченной в прелюбодеянии) или прямо отвергать некоторые законы (не человек для субботы, а суббота для человека). Павел исходил из этого, когда сказал: буква мертва, только дух животворит. Но Павел строил Церковь для народов, для масс, где кое-кто приблизился к Христу, а большинство мало что поняло. Чтобы держать в руках и постепенно воспитывать народы, вводились новые правила, каноны, обряды. И постепенно подвижники незримой церкви, мистики, непосредственно чувствовавшие Бога, стали мешать. Они нарушали правила.

Проблемой инквизиции был не Христос (его можно было толковать по-своему), а мистики, свободно, не по правилам, рассказывавшие о своем опыте. Совсем без мистиков нельзя было. Без прямых встреч с Богом церковь мертвела. Но полная свобода мистиков, как в Индии, создавать новые направления, сталкивалась с римской имперской дисциплиной. И одних мистиков канонизировали, других сжигали.

В наши дни меры пресечения ересей изменились, но не исчезли, Тейяру де Шардену запрещали печатать его книги, и он покорялся. В Индии свобода духовного поиска дополняет жесткую кастовую систему,

устоявшую тысячи лет. А в наших условиях на церковь ложится часть задачи по организации общественной жизни, и зримая церковь невозможна без дисциплины. Возникает переключка зримой и незримой церкви. Она необходима, но идет с трудом, спотыкаясь.

Я уже рассказывал, что Аверинцев хотел реформ, но не соглашался с установкой Антония Блума на устройство церкви, где каждый имеет непосредственную встречу с Богом. Я уже писал об этом. Антоний опирался на опыт Сурожской епархии, где в центре стоял он сам, а каждого прихожанина принимал после испытательного срока в несколько лет. В такой церкви каждый, по крайней мере, имел опыт узнавания Блума, встречи глаз с глазами человека, имевшего встречу. Но вот Блум умер, а где второй? Его нет. Есть несколько учеников, но их мало на всю Россию. И без установленных форм, без обрядности православие не устоит; а оно тесно связано с русской культурой; она перестала быть единственной, но остается первой среди равных.

Можно спорить о темпе, о характере реформ, но они необходимы. Нужны мосты между Христом-человеком и человеком, несущим Христа в сердце. У самого Христа этой пропасти не было, но уже в первые века Христос-Бог поглотил, или почти поглотил, Христа-человека. Подобие Христу сводилось к формуле, доступной рабу: «Христос терпел и нам велел». Долг всматриваться в жизнь и решать, что делать с прямолинейностью закона здесь и теперь, возлагался даже не на церковь в ее будничной жизни, а на Вселенские соборы. И никак не воспитывалось чувство ответственности каждого за общий порядок. Христианство либо загонялось в угол, как это сделали большевики, либо восстанавливалась византийская «симфония» между Церковью и государством. Самостоятельное мышление в церкви подавлялось. Только Константинопольская Патриархия простила Силуану его смелые слова: «Я не верю в Бога, я знаю Бога» (знаю прикосновение Бога, знаю присутствие Бога в моем сердце). Для большинства православных ересью до сих пор звучат слова Экхарта: «Что мне с того, что мой брат богат, если сам я беден...» — то есть я ничто, если нет у меня непосредственного опыта «встречи».

Я решаюсь следовать за Экхартом и сказать: тот, кто ищет подлинной веры, начинает с тоски по ней, с неудовлетворенности всем зримым в зримой церкви. Он ищет «встречи» с познавшим встречу, тоскует по глазам, в которых чувствуется «встреча».

Первые шаги могут быть разные. Глубину может расшевелить и созерцание природы, и молитва, и обряд, но нельзя обойтись без *тоски по тоске* (это выражение Экхарта). Если этого нет, то имя Бога не спасает. Тогда Церкви нет, а есть церковная организация, которая превыше всего, и во имя Бога все позволено. Так же, как для Ивана: если Бога нет, то все позволено. Был же опыт «железной гвардии», румынской фашистской организации, повернувшей в свою пользу наследие отцов Православной

Церкви и очень успешно сотрудничавшей с Гитлером. И было предупреждение о.Александра Меня о возможности союза клерикалов с фашизмом.

Георгий Петрович Федотов писал: «Мы не спрашиваем, какой вы веры; мы спрашиваем, какого вы духа». Дух истины велит глядеть в глаза Великого инквизитора, держать ум свой в аду — и не отчаиваться. Если мы сохраним мужество и настойчивость, мы найдем путь обожения и пойдем по Божьему следу. Антоний Сурожский хорошо объяснил, что это значит: уйти на глубину, где уже исчезает эго, и вглядываться, долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим. Действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого

Приведу простой жизненный пример: вести переговоры с Басаевым — безумие, отрицание проверенных принципов. Но продолжать свою верность принципам — еще большее безумие. И открытый вопрос — где проходит «Божий след».

Дважды два пять

«Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь, — говорит человек из подполья, — но если уже всё хвалить, то дважды два пять — премилая иногда вещичка». Это кажется вывертом. Это в самом деле выверт, но не только выверт, и я сразу понял это, потому что за полгода до чтения «Записок из подполья», весной того же 1938 года, три месяца созерцал себя и всю землю, со всей ее культурой, песчинкой, брошенной в бездну пространства и времени. Единица, деленная на бесконечность, равна нулю. Это все равно, что дважды два четыре. Но я не принял дважды два, я не смирился пред стеной, и в течение трех месяцев созерцал свое дважды два пять. Если бесконечность, как ее понимают точные науки, есть, то меня нет, а если я есмь, то этой жуткой бесконечности нет, и бесконечность, в которую ныряет тангенсоида, — только условность, придуманная наукой для своих условных целей, а не реальность.

Дважды два четыре — метонимия научной модели мира, объективной реальности, о которую хоть лоб расшиби, а она не сдвинется. И хотя подпольный человек не знает слова «экзистенция», он мыслит экзистенциально, он в одиночестве протестует против образа Вселенной,

созданного наукой.

Это не чистое отрицание, не шаг в пустоту. Вернее, не только шаг в пустоту. Шаг, чтобы преодолеть пустоту. Подпольный человек продолжает мысль Паскаля: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломать его. Но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не может отнять у него этого преимущества». Пока Паскаль не сказал ничего большего, он был в подполье. Оно кончилось вспышкой откровения, описанной на клочке бумаги, который нашли, после смерти Паскаля, зашитым в его камзол. Паскаль строго фиксировал начало и конец эксперимента — вышло два ночных часа, — а суть передал одним словом: огонь. Дальше следовало нечто вроде символа веры: Бог Авраама, Исаака и Иакова, не философов и ученых... И т.д. Слово «огонь» передает, по-моему, вспышку внутреннего света, сжегшего страх перед всем внешним, уравновесившего внутренней бесконечностью всю бесконечность внешнюю. У подпольного человека такой вспышки внутренней достоверности не было, но он рвется к ней. В такие минуты он верит, что там, за стеной научных доказательств, есть ответ на его жажду, и ради этого ответа готов даже дать себе вовсе отрезать язык, и празднословный и лукавый. Впрочем, вот точно его слова: «Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор ни одного не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его выставить <...> Не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду!».

Что представляет собой это другое, Достоевский языком подпольного человека не решался выставить перед публикой, но десятью годами раньше совершенно ясно описал в письме Наталье Фонвизиной. Первое письмо после выхода из мертвого дома брату, второе — ей. Оно уже цитировалось (см. с. 66). Повторим только важнейшие фразы. «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Вне какой истины можно остаться со Христом? Очевидно, не вне истины из контекста евангельских слов: «Я есмь истина» или «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Складывая исповедь Достоевского Фонвизиной с исповедью подпольного человека, сразу же видим отказ от истины точных наук, от истинности логики и математики. Невозможно подойти к Христу, к Богу, к Целостности бытия (о которой говорится потом во сне *смешного* человека), нельзя подойти к правде

последних глубин сердца, не переступив через логику научного исследования. Логика может ставить экзистенциальные вопросы, подводить вплотную к необходимости их, к самой «встрече», как сказал бы Антоний Блум, — но встреча с внутренней бесконечностью всегда алогична. При подступе к Целому законы логики сминаются, как предметы при релятивистских скоростях. Тожество с самим собой, как единичным, атомарным фактом, $A = A$, уступает место причастности Богу, а в пределе, достигнутом Христом, — к единсущности с Богом, к тождеству единицы с бесконечностью. Это невозможно утверждать, не выворачивая логику наизнанку, до формулы $A \neq A = B$.

Апостол Павел откровенно говорит, что для эллинов, создателей и носителей аристотелевской логики, его вера — безумие, и именно в безумии проповеди спасение мира. Тертуллиан бросил в лицо логиков свою веру в абсурд. Впоследствии церковь, став респектабельной, — особенно западная церковь — постаралась примириться с логикой. Но в догматических определениях соборов остались алогизмы. Особенно алогична формула, выработанная Халкидонским собором после нескольких десятилетий споров. Ереси, опиравшиеся на логику, были отвергнуты, Вселенская Церковь остановилась на утверждении единства божественного и человеческого во Христе, которое — единство — «неслиянно, непревращенно, неразделимо и неразлично» (цитирую по переводу, принятому С.С.Аверинцевым). То есть единство неразлично, но всё же различается как неслиянное (то есть разделенное) и в то же время неразделимое (то есть остающееся плотным единством). Рационалисты не раз говорили об этом, пожимая плечами: «аЪ- зигдиш езі».

Это проблема не чисто христианская. В некоторых течениях буддизма абсурд становится общей формулой перехода от помраченного сознания к просветленному. Чтимый в северном буддизме святой мыслитель Нагарджуна показал, что всякое логическое предложение рушится при подступе к Целому или разрушает его на мертвые куски — субъект, предикат и связку. Завершитель адайта-веданты, Шан- кара-ачарья, колебался между своего рода монофизитством, растворявшим человеческое в божеском (истина — Брахман, мир — это ложь, Атман и Брахман едины), и своего рода халкидонитством (капля тождественна океану, но океан не тождествен капле). Сходные слова можно найти и в западной мистике. Например, у Ангелуса Си- лезиуса: «Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?». И у Зинаиды Мир- киной:

Я сам ничто, я только капля моря,
И потому все море — это я.

Свидетельствую, что стихи были написаны до того, как мы познакомились и я рассказал автору о Шанкаре.

Достоевский возвращается к этой проблеме в «Сне смешного человека». Смешной человек — его старый знакомый, обрисованный в письме-исповеди, которое тайком читает Неточка Незванова, то есть за 30 лет до смешного человека из «Дневника писателя». Припоминание юности дает возможность переплести две интонации. До своего сна смешной человек несколько напоминает угрюмого человека из подполья, а после — возвращается назад, к мечтателю «Белых ночей» и (если говорить о жизни, не вошедшей в литературу) к юноше, начитавшемуся Фурье. У смешного человека Неточки еще нет проблемы Паскаля, нет проблемы кризиса истории. Мучает его только то, что он неловок, смешон, некрасив, не нашел своего места в жизни. Это комплекс отчасти возрастной, перекликающийся с комплексами Николеньки из «Юности» Толстого, хотя никаких причин для сознания своей социальной неполноценности у графа Льва Николаевича не было, а у Достоевского были, и легко представить себе и «золотые мечты», впоследствии истоптанные в «Записках из подполья».

В «Бесах» Достоевский ударил по мечтам «окончательной плетью». А несколько лет спустя воспоминания юности вновь всплыли — и захватили. Припоминаются восторги, вызванные чтением Жорж Занд, встречей с Некрасовым... На фоне этого потока припомнилось и чтение Фурье, о котором в 40-е годы нельзя было и думать как о литературной теме. В 70-е годы явно не библейский земной рай становится основой историософии, довольно неожиданной для автора «Бесов». Видимо, чувство перегибов полемики, «перехода через черту» вызвало сдвиг в обратную сторону. Чем сильнее удар волны о берег, тем сильнее встречная волна; обрывки прошлого вплетаются в мистическое видение и дают эсхатологии позднего Достоевского, его вере в утраченный и чаемый в будущем рай живой язык юности:

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной.»

Таким языком иногда говорил деизм Версилова. Но здесь не деизм, опирающийся на разум, здесь глубинное переживание тайны Целого; а это живое переживание и есть мистика, шаг в глубину, где логика плавится. Но рисуется не глубина, достигнутая, пройдя *сквозь* логику, как у позднего Достоевского, прорвавшегося через логику подполья, а до логики, по-детски, без знания соблазнов логики, разрывающей наивную цельность, и достаточно одного современного человека, чтобы всё рухнуло. Можно понять это как путь от детской или дикарской наивности к нынешнему расколотому сознанию, а можно (и я думаю, это ближе к Достоевскому) как пророчество о гибели цивилизации — и

эсхатологическую надежду на спасение, в которое Достоевский глубоко верит.

Развращение счастливой планеты излагается смешным человеком довольно сумбурно, отрывочно. Почему-то он начинает со случайно сказавшейся лжи, бескорыстной лжи, почти детской лжи-игры, лжи-выдумки. Не развивая этой темы, он переходит к другой, выводит из детской лжи жестокое сладострастие и сразу же объявляет его причиной всего зла в обществе. Жестокое сладострастие — личный порок, мучивший Достоевского, и он сильно преувеличивает значение этого греха. Гитлер, по-видимому, был импотент, Бен Ладен мог бы жить в гареме с сотней красавиц, вместо чего ведет аскетическую жизнь, полную опасностей, и устраивает взрывы.

История общества начинает просвечивать в рассказе смешного человека только тогда, когда он доходит до науки, до преувеличенного развития левополушарной активности, не уравновешенного усилием к «царствию внутри нас». Одной из ступенек к губельному водовороту оказывается обрядоверие, надуманный разумом культ. Но поклонение кумирам не спасает:

«...Если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне (Достоевский незаметно переходит с условного наклонения на изъявительное. — Г.П.): “Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаем* это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милостивый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья”. Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других, и в этом жизнь свою полагал.

... Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не преставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставит наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, “премудрые” старались поскорее истребить всех “непремудрых” и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее.»

Так мы переходим от сказки к действительности. Чем же реально смешной человек согрешил? Какой яд он внес в жизнь? Знанием, что А = А п В и я не сторож брату моему. Логика казалась смешному человеку, современному человеку, простым орудием, невинным, как молоток, и он поделился своим развитием с людьми, не понимая, чем это грозит, не чувствуя, как усиленная левополушарная активность рвет сердечные связи между людьми и меняет любовь на холодное одиночество, любующееся собой. Позволяю себе, как уже делал в 70-е годы, процитировать ахматовский «Разрыв»:

И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Со «Сна смешного человека» прошло много лет. Прошло и рухнуло несколько попыток остановить нарастание сложности, противоречивости, запутанности цивилизации, сделать ее простой, непротиворечивой системой и всю жизнь устроить по началам разума. Каждый раз это кончалось прокрустовым ложем, массовыми убийствами непремудрых и крахом. Опыт нашей страны вызвал сознание опасности отвлеченной идеи, съедающей совесть: «У мужчин идеи были. Мужчины мучили детей», — написал Коржавин. Василий Гроссман показал, каким чудовищем становится идея добра, став отвлеченным принципом. Его герой, Иконников, противопоставляет идее добра дурью, нерассуждающую, сердечную доброту. Но дурья доброта может спасти отдельного человека, нескольких людей. Она недостаточна, чтобы сохранить цивилизацию.

Выступая в Париже, в 1974 г., Антоний Сурожский призвал христиан идти по Божьему следу, переступая через все принципы — научные, философские и богословские (русский перевод в «Континенте», № 89). Это на порядок глубже, чем призыв к сердечной доброте. Но как понять, как почувствовать, что такое Божий след? Уйти вглубь, отвечает Антоний. Всякий грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.

Это разъясняется в речи на конференции Сурожской епархии 8 июня 2000 г. (см. с. 18—20). Антоний возвращается к тому, что сказано у ап. Иоанна: «познаете истину, и истина сделает вас свободными». В основе этой свободы — «встреча», т.е. нечто сходное с тем, что юноша Блум (еще Андрей, а не Антоний) испытал, читая Евангелие от Марка: незримое присутствие Христа в комнате, рядом с собой. Есть немногие люди, так или иначе почувствовавшие реальность Бога. И есть некоторое число людей, способных узнать «встречу», почувствовать печать ее в глазах и во всем облике человека. Они должны стать ядром Церкви.

Сергей Аверинцев, очень любивший Антония, не мог с ним согласиться. Отказ от всех внешних ориентиров, доверие одному только

глубинному внутреннему чувству казалось ему чрезмерным, грозило разрушить культуру.

Сейчас оба замечательных человека умерли, и приходится додумывать, в чем каждый из них прав. Есть две религиозные традиции, одна — зримая, делающая людей своими звеньями: прихожанами, священниками, архиереями, патриархами. Коротко говоря, это традиция, делающая людей, формирующая людей. И есть традиция людей, делающих традицию, создающих новую традицию или обновляющих старую. Обе традиции частично совпадают, но «не всякий, принадлежащий к зримой церкви, принадлежит к церкви незримой, и не всякий, принадлежащий к незримой церкви, принадлежит к зримой», — писал Августин.

Незримая церковь не имеет непрерывной истории, она то возникает, то исчезает. Без оглядки на зримую церковь, сохраняющей предание, ей каждый раз приходится начинать заново. А зримая церковь, подавившая незримую, порвавшая с ней, становится омертвелой «церковной организацией» и легко попадает во власть темных сил. Румынский фашизм «железной гвардии» опирался на православное богословие. Есть и другие примеры.

Церковь, собравшая только людей, переживших встречу или хотя бы узнавание встречи, могла стать всеобщей только после второго Пришествия, с тысячью праведников. На сегодняшний день она оказалась возможной в такой епархии, как Сурожская, где годами излучалось обаяние колоссальной духовной личности и Антоний поодиночке подбирал новых прихожан, с испытательным сроком в несколько лет. Это эсхатологическая церковь, меньшинство верных.

Отбрасывая полемический термин «мистический анархизм», можно назвать подход Антония эсхатологическим, а точку зрения Аверинцева — исторической, исходящей из реальных возможностей России, да и других стран. Я думаю, что между эсхатологической и исторической церковью и шире — между дважды два пять интуиции и дважды два четыре сложившейся интеллектуальной культуры возможен диалог.

В своей внутренней жизни Антоний сознавал это. Елене Львовне Майданович он как-то сказал: трезвость важнее вдохновения. Елена Львовна спросила меня, как это понять, я нашелся и ответил: так — для него. Вдохновение всегда с ним. Трезвость защищает его от экстаза, когда во взрыве всех сил могут вырваться и темные силы. А нам надо сперва загореться (от глаз рублевского Спаса, от глаз Антония), а потом уже думать, как удержать огонь в очаге, не дать ему спалить стены.

Когда-то я сформулировал простую идею: принципы, законы, правила должны выполняться, но не всегда, не вопреки совести. Глубоко

кое сердце имеет право нарушить закон, правило, принцип. Глубокое сердце — король, воля которого — высший закон. Но царство законов этим не отменяется

Дважды два пять — превосходная вещь. Но если все хвалить, то дважды два четыре — тоже необходимая иногда вещица. Интуицию, устремившуюся в тайну Целого, приходится уравнивать левым плечом коромысла, рассуждением, основанным на логике, на атомарных фактах. Хотя нам, перекошенным влево, чаще приходится решать противоположную задачу. Эту задачу и ставит Достоевский в трех своих исповедях: в письме Фонвизиной, в «Записках из подполья» и в «Сне смешного человека».

Примечания

¹ Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука. 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 208-209. — Далее страницы указываются в тексте.

² Левинас Э. Избранное. М.; СПб., 2000. С. 357, 359, 360. — Далее страницы указываются в тексте.

³ Меглон Т. М181ус8 апд 2еп ша81ег8. М.У., 1990. — Далее страницы указываются в тексте.

⁴ Фудель С.И. Наследство Достоевского. М., 1998. С. 200—201.

⁵ МеНон Т. ТЪоидЫв пп 8оШиде. М.У., 1993. — Далее страницы указываются в тексте.

⁶ Сагуна примерно значит имманентный, *ниргуна* — трансцендентный. Буквально: с гунами (нитьями, из которых соткано видимое бытие) и без гун.

Часть 3. Из созерцания

Переключка созерцания и творчества

Томас Мертон писал, что научить созерцанию так же невозможно, как научить человека быть ангелом. По-видимому, созерцанием он называл нераздельность человеческого сердца с сердцем бытия, с Богом. Для этого действительно очень многое нужно. Но видеть дерево и быть счастливым сравнительно просто, настолько просто, что князь Мышкин даже не предполагал возможность другого. И хотя это не для каждого просто, но в иные моменты действительно просто. Упадет луч солнца даже не на дерево, а на тюремные нары, — и вдруг сердце откликнется. Или глаза, в которых раскрылось сердце, встретились с такими же полными сердцем глазами, живыми или нарисованными на доске, как в рублевском Спасе. Сперва смотришь — икона. Люди глядят и проходят. А ты сидишь и вдруг чувствуешь в глазах Спаса огонь, с которым Рублев писал икону, и длишь эту переключку полчаса, час, а сердце все раскрывается, раскрывается, и огонь сливается с огнем. Так можно вглядываться и в икону, созданную не человеческой рукой, в иконную красоту трех бухт — Коктебельской, Мертвой и Тихой — сидя на Волошинской скамье. Или просто глядя на высокие деревья, о которых писал Тагор: «Тише, сердце! Эти большие деревья — молитвы».

Созерцать может и слепой; об этом писал Лиссеран, ослепший в детстве, и находил в созерцании внутреннего света силу, покорявшую зрячих. В оккупированной Франции он создал тайную организацию, и когда ее раскрыли, гестаповцам не пришло в голову, что руководитель — слепой; били других, они выдержали. Вместе со всеми Лиссеран попал в лагерь, и там его часто приглашали в соседние бараки для психологической помощи зрячим, пришедшим в отчаянье.

В небольших группах людей, захваченных разговором, иногда один или двое созерцают дух диалога, парящий над отдельными репликами. Чаще всего это бывает, если есть ведущий, тамада, который не боится первым раскрыться духу целого, и если двое-трое подхватывают, то раскрываются и другие, которые сами бы не разгорелись, как каменный уголь без растопки. И когда такой разговор длится час-пол-

тора, вы прикасаетесь к глубине, полной тишины и покоя.

Созерцать — значит не просто глядеть на дерево, на икону, на мужчину, женщину или ребенка. Это значит вглядываться сквозь внешнее в глубину, в глубинное, проступающее во внешнем. Одно из Евангелий сохранило слова: Царство Божие внутри нас и вне нас. Князь Мышкин созерцает действительность сквозь Царство Божие внутри своего сердца и видит Царство Божие в дереве, в Настасье Филипповне, в Аглае. Только дерево его не подводит, не дает волю демоническим страстям, а собеседницы поворачиваются к нему то ангельским, то демоническим ликом и сводят его с ума. «Дьявол с Богом сражается, и поле битвы — человеческое сердце», — писал Достоевский, и в другом месте, устами Мити Карамазова: «Широк, слишком широк человек; я бы сузил». Вступая на это поле битвы, созерцатель, открытый тишине, открытый голосу тишины и не защищенный от криков, не притупивший слух в грохоте, кажется болезненно ранимым и действительно очень раним. Он истощает свои силы и может совсем погибнуть, если порою не уходит в отрешенность, в тишину, из которой чужие страсти его вырывают.

Этот круговорот истощения и восполнения нарисован в Троице Рублева. Ангел, сидящий одесную отрешенного света (для зрителя левый), готов броситься к людям, одержимым бесами страстей, изгонять бесов и исцелять одержимых. Истощение его остается вне поля иконы, но правый ангел (правый для нас) уже истощен, уже почти умерщвлен и приникает к среднему, оставшемуся в отрешенном покое, чтобы набраться сил. Можно видеть в этом три состояния одного человека (все три ангела похожи друг на друга чертами ликов и различаются только состояниями, в которых находятся, и окраской одежд: слева от зрителя — в теплых тонах, справа — в холодных).

Троица Рублева — не только символ триединства Бога, но и образ круговорота состояний, из которых складывается жизнь созерцателя. Этот круговорот не зависит от подробностей догматики, и скульптура Трикайи из древней японской столицы (VIII в.) поразительно напомнила мне Троицу Рублева. В психологическом плане они близки. Недаром Томас Мертон, после бесед с Д.Т.Судзуки, писал о своеобразной близости католического монаха и дзэнского старца «в противоположность нашим соотечественникам, ведущим агрессивно несозерцательный образ жизни».

Наша цивилизация так закружилась в вихре научных открытий, соблазнов и взрывов, что центробежные силы грозят разорвать ее на части. Только пауза созерцания позволяет сознавать опасность и удерживать в вертикальном состоянии ось волчка, которая все больше и больше скашивается к плоскости. Наступило время учить первым шагам созерцания, первым тактам ритма в чередовании творчества с созерцанием, учить, начиная со школы, постепенно создавая навыки восстановления контакта с собственной глубиной — вплоть до того уровня, где сердце человека сливается с сердцем Вселенной и любовь

стирает следы столкновений и ссор.

Это кое-где делается. Меня захватила книжка «Опыт педагогики творчества»¹, выпущенная студией «Солнечный сад». Тираж ее — 200 экз. — так мал, что стоит привести несколько строчек. В предисловии Ш.А.Амонашвили, академик РАН, пишет:

«Авторы книги, И.А.Киршин и Е.И.Мышкин, нашли друг друга в творческом единении и увлекли за собой студентов Калининградского государственного университета и Института русистики (г. Лодзь, Польша). Так возникли удивительные театральные постановки. Но в самих ли постановках дело? Молодые люди, объединившись вокруг театрального проекта, по сути своей занялись не только постановкой спектакля, но прежде всего поисками смысла жизни через творчество. И как они это делали?»

Авторы расскажут вам о коллективно выработанных принципах и формах творческой деятельности («свечки», капустники, ролевые монологи, Горения и т.д.). Но вся эта разнообразная творческая жизнь строилась на началах высшего духовного понимания сердца...» (с. 3).

Как это выходит, яснее из раздела «Горения»: «Темой может быть что угодно: книга, историческая личность, любое явление мировой культуры. Задача — не сообщить информацию, а передать свои чувства. Это не простая задача. Она требует общих условий. Прежде всего, участников не должно быть много (лучше 5—10 человек). Во-вторых, у каждого должно быть желание участвовать в Горении. Для этого необходим сердечный, духовный контакт между участниками Горения. Поэтому перед Горением важно подготовить свое Сердце. От этого зависит все.

Самое важное для “горящего” — сосредоточиться на своем Сердце, на искренних ощущениях. Тогда отбор фактов будет точен. “Горящий” не захлебнется в море второстепенной информации, если будет ведом Сердцем. Оно подскажет, что надо выделить, что — отодвинуть.

Подготовка воспринимающих заключается в том, чтобы отбросить все посторонние дела и мысли и предельно сосредоточиться на сопереживании “горящему”. В таком открытии Сердца — лучшая помощь. Нужно уметь настроить сердце заранее.» (с. 22—23).

Я впервые столкнулся с чем-то вроде горения на конференциях в Швейцарии, в «час общин», когда ведущему, Хайнцу Кригу, удавалось хорошо провести занятие, и попытался создать что-то подобное в Москве: выбирал такие темы, чтобы затронуть более глубокие слои сознания и совести, и сердца раскрывались. Но ведущим непременно должен быть я или З.А.Миркина. Слушатели решались на развернутые выступления, но роль ведущего их пугала. Зато она совершенно неожиданно удалась Ане Островской, одной из моих слушательниц, превратившей во что-то вроде горения семейные памятные дни, сперва поминки, а потом и дни своего рождения. Мы с Зинаидой Александровной поддерживали импровизацию, и разгорались все.

Видимо, во всем мире сложилась потребность выйти из замкнутости эго, взглянуть вглубь себя и вглубь своего собеседника, перейти к настоящему общению, открытого сердца с открытым сердцем. И в начинаниях «Солнечного сада» я увидел организованное театрално-педагогическое движение, к которому мне, как одиночке, хочется примкнуть.

Импульсы, ведущие к развертыванию движения — во всей пост-христианской цивилизации, — в потере контакта со своей собственной глубиной, в чувстве затерянности и заброшенности, в одиночестве щепки, попавшей в пороги истории. Попытку создать разговор, в котором раскрываются души, можно найти еще в романтике XIX в., в России — у Евгения Боратынского. Наверное, так было и в других странах. И сегодня «театрално-педагогический проект» сразу связал Калининград и Лодзь. Хочется закончить словами из приглашения ребят 2-3-х классов в школу искусств «Солнечный сад»: «Зачем сочинять? Чтобы найти слова, которые светятся. Что это за слова такие? Это слова, которые приносят радость и счастье людям. Как их найти? Это тайна, давай искать ее вместе».

Со смотровой площадки

Я поднялся на смотровую площадку над Куршской косой и снова почувствовал свою нераздельность с ширью. Плеснуло чувством внутренней бесконечности, откликнувшейся бесконечности зримой. Прежде это было с вершины холмов над Коктебельской бухтой и над озером Рица, в Сосновке. Высота давала мне крылья, и красота простора рождала внутренний простор.

Пока бескрайность охватывается взором, она прекрасна. Хочется откликаться ей и расправляться в отклике и парить в небе. Прекрасное — это та часть ужасного, которую мы можем вместить, писал Рильке. Но за зримой частью бескрайности, за бескрайностью неба и моря — темная бескрайность, ужас бездны, в которой мы тонем, темная ночь космического пространства с редкими точками звезд. Впервые этот ужас почувствовал Паскаль и попытался противопоставить ему гордость разума: «Человек слаб, как тростник, порыв ветра может сломать его, но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не может отнять этого преимущества». Что-то подобное приходило и мне в голову еще в юности: человек превосходит солнца и туманности своим внутренним богатством, его бытие полнее бытия грубой материи, сколько бы ее ни скопилось. Но это ни меня, ни Паскаля не могло вполне удовлетворить. Нам хотелось, как подпольному человеку Достоевского, чтобы дважды два стало пять, чтобы мы, маленькие люди, и даже один человек, встав на незримые весы, уравновесил другую чашу, на которой вся бесконечность пространства, времени и материи.

Страх смерти сравнительно легко преодолеть, полететь над таким страхом может любой обстрелянный солдат. Пушкин это знал: «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Незыблемыми

наслажденья...». Но что делать, если все, что мне дорого, тонет в холодной бесконечности, вся земля с ее пирамидами и зиккуратами. Все «вечности жерлом пожрется / И общей не уйдет судьбы». Державин).

Я попытался доказать, что Ньютонова модель Вселенной с ее бесконечными пространством и временем — призрак, научная модель, годная для научных целей, но ничтожно узкая сравнительно с полнотой, вмещенной в наше большое Я. И если это Я есть, то бесконечности нет, призрак дурной бесконечности тает. После трех месяцев медитации пришел проблеск внутренней бесконечности, уравновешивающей внешнюю, и на волне этого опьяняющего чувства пришли две мысли, казавшиеся мне очень важными, но на самом деле давно известные. Паскаль достиг большего, почувствовав в своем сердце огонь, в котором власть материи сгорала, и зашил свидетельство об этом в подкладке камзола. А я очень поздно понял, что суть не в словах, а в волне, принесшей их, в зарнице «того», внутренне беспредельного, бессмертного атмана, залива бессмертного океана в нашем хрупком смертном сознании.

Именно это чувство внутренней бесконечности помогло мне преодолеть фронтовой страх. Я уже много раз писал, как лежал на земле и дрожал от страха, придумывал аргументы против страха — и ничего мне не помогало. А вспомнил, что бесконечность меня не испугала, — и сразу всё прошло.

С этих пор я легко прошел все фронтовые годы. Опасность только возбуждала меня. Иногда я даже пьянел от нее и лез на рожон. Можно ли это объяснить действием адреналина? Почему адреналин не помогал капитану Цукерману? Ему приходилось подавлять страх усилием воли. Я пытался пересказать Цукерману веселую легкость, с которой жил под огнем, но она не передавалась словами. И парторгу батальона, сержанту, назначенному из слесарей ремонтной мастерской, ничего не помогало. Он даже скрыть не мог своего страха, на него жалко было смотреть. Видимо, адреналин давал свое опьянение только тогда, когда психика открывала ему дорогу, когда душа как-то принимала опасность, риск как условие игры, как часть радости жизни, как своего рода гору, на которую надо влезть, чтобы почувствовать простор. Этот опыт сказался во мне и после войны — в той области, где я чувствовал свою силу, в царстве слова. В драку на улице я не лез ни в юности, ни в зрелые годы: знал, что руки у меня слабые. А чувство силы рождало охоту рискнуть на схватку.

Привыканием к адреналину можно объяснить другое: бесшабашность *после* боя, на исходе боя, довольно полную аналогию бесшабашности *после* выпитого вина, сперва возбуждающего мозг, а потом затуманивающего. После войны Григоренко застал двух своих офицеров, стреляющих друг в друга, чтобы еще раз пережить победу над страхом. Почувствовать внутренний простор без свиста пуль они не умели.

Я думаю, что адреналин действует и среди животных. Но у людей решает другое. Во всяком случае, у таких людей, как Паскаль, Тютчев,

Толстой, Достоевский. У Тютчева есть стихотворения, проникнутые отчаяньем, подобным отчаянью подпольного человека перед «стеной» и даже без подпольного бунта против «стены» научных доказательств. Но есть и другие стихи, где видно, что «бездна», «ночь» и пугает, и влечет.

...Настала ночь.
Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена С
своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами.
Вот отчего нам ночь страшна.

Последняя строка упрощает дело. Описание ночи перекрывает первую половину стихотворения — о красоте дня. Тютчев любит ночь. Это особенно видно в другом стихотворении, «О чем ты воешь, ветер ночной»:

.О, страшных песен сих не пой Про
древний хаос, про родимый.
Как жадно мир души ночной Внимает
повести любимой.
Дыханье рвется из груди И с
беспредельным жаждет слиться.

Я подчеркиваю решающие строки. Душа поэта, подобно девушке в объятиях любимого, и страшится близости, и рвется к ней — но останавливается на пороге. И мне, надышавшись Тютчевым, захотелось тогда, в 1938 году, перейти через порог, погрузиться в ужас бездны — и пройти сквозь ужас, доглядеться до конца, до света, который непременно будет за краем бездны, за дурной бесконечностью, созданной отвлеченной мыслью. Когда родилось чувство внутренней бесконечности, дурная бесконечность исчезла. Хотя я только через много лет смог назвать, что именно во мне родилось. И я понимаю, что без чувства внутренней бесконечности слова сами по себе бессильны, даже прекрасные слова Кришны Арджуне: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры, и потому — сражайся, бхарата!» Эти слова убеждают только того, кто чувствует свою слитность с Кришной, нераздельность Бога и человека. Тот, в ком есть это чувство, способен преодолеть страх и без магических слов, без стресса, созданного риском. Чувство внутреннего всемогущества приходит к нему от созерцания моря, гор, деревьев. Но вот вопрос: всегда ли это созерцание доходит до божественной глубины? Не перехватывает ли его по пути дьявол?

Рудольф Штейнер делил грешников на два сорта: аримаников и

люцифериков. Ариманики просто не верят в свои силы, не верят в собственную глубину. Они ищут чужого руководства, вяло примыкают к добру и легко мирятся со злом. Хата у них всегда с краю. А там хоть трава не расти, они бунтовать не будут. Люциферики активны, увлекаются новыми идеями и своей способностью «бежать впереди прогресса». Их захватывают примеры величия в природе и в искусстве. Маркс любил «титанов Возрождения», Ленин — Бетховена. Сталин вызывал ночью Гилельса — играть бетховенские сонаты. В Сосновке, где кольцо гор просто тянет душу в небо, он велел построить беседку и приезжал в пять утра слушать соловьев. Что его тянуло? Что в нем откликалось горам? Чувство первенства, желание первенствовать и убирать с дороги всех, кто оспаривал первое место. Люциферик не может удовлетвориться вторым местом и оставить первое место свободным для Бога. Его захватывает собственное величие. И здесь его ловит дьявол и делает исполнителем своей воли. Люциферик и в Бетховене, и на Сосновке насыщается энергией дьявола, энергией первенства, ставшей энергией разрушения. Этот соблазн дремлет во многих душах, где спор еще не решен, где дьявол борется с Богом и соблазняет нас утвердить свою бесспорную, несравненную правоту. И пока чувство правоты сильнее Любви, дьявол побеждает. И святые, боровшиеся с ересями, не замечали, что отпадают от Бога.

Ось волчка

Как писал Козьма Прутков, первый шаг младенца — это первый шаг его к смерти. К сожалению, это так и есть. Человек прощается с детством, с юностью, со зрелостью — и, наконец, с жизнью. Так и цивилизации. Двигаясь вперед, развиваясь, они все всё труднее связывают разбежавшиеся силы в одно целое — и рушатся. Или, на краю гибели, восстанавливают центростремительную волю. При этом с корабля цивилизации выбрасывается, как балласт, многое из того, чем она прежде гордилась. А потом вылавливают из забвения и склеивают, возрождают древность.

Мудрецы это понимали, особенно в Индии и в Китае. Веды долгое время запрещалось записывать. Текст беззащитен, его можно толковать на сто ладов и в том числе — криво толковать. Вместе с философией рождается софистика. Но рукописная книга — еще редкость, она не достает до народа. Катастрофой духовной иерархии был печатный станок. Он принес Библию в каждую семью и сделал каждого сапожника богословом. Следующим шагом просвещения, вырвавшегося на поверхность и потерявшего глубину, была газета. Марина Цветаева отказывается от родства с «читателем, газетных тонн глотателем, доильцем сплетен. Двадцатого столетия он, а я — до всякого столетия».

Но еще дальше от мудрости, в которую надо долго вникать, еще дальше от чувства целого телевидение. Его можно повернуть вглубь и

приблизить к непосредственной встрече с истиной, минуя книгу, глядя в глаза мудрецу. Я помню рождественскую передачу Антония Сурожского, помню Великого инквизитора Достоевского, гениально пересказанного Михаилом Ульяновым. Но эти прорывы совершены людьми, воспитанными до голубого экрана, — на книге, святой или классической, сохранившей неявную связь с той же святыней, сохранившей опору на внутреннее пространство, о котором мы еще будем говорить. У этих людей есть интуиция, сразу отбрасывающая пошлость. Само телевидение таких людей не создает, так же как рынок не создает добропорядочности в рыночных сделках. Инерция СМИ толкает к поверхностности и бесчестности.

Чтобы не стать марионеткой, которую дергают пиары, человек должен с юности бороться за свое внутреннее пространство. Я не могу дать никаких общих правил такой борьбы. Только поделиться своим личным опытом. Но об этом я уже писал в «Записках гадкого утенка». В конце концов, я нашел в лесу, в море, в приморских холмах царствие вне нас, которое переключалось с царствием внутри нас и помогало его искать. Другие находят помощь в храме. Но вот вопрос, почему чувство высоты связано с гордостью, а на подороге в глубину расположилась «глубинная психология» с ее исследованием неосознанных порывов. В поисках решения мы читали мистиков Запада и Востока, не придавая большого значения различиям символов, впитывая, по мере сил, их опыт, расширяющий наш собственный опыт подлинной глубины. Это нельзя рассказать мимоходом. Этому вопросу посвящена следующая статья. Цивилизация — еще более сложная система, чем энергосеть, которая то и дело рвется.

Цивилизация (одинокая, как Тибет, или целый субглобальный мир) — это культура, хранящая на своих скрижалях святое предание и открытую систему знаний о предметном мире. То и другое уравнивает друг друга — постоянное расширение научного опыта и постоянное же стремление к святой цельности. Сегодня равновесие потеряно. Науки так быстро разбегаются, что в мелькании нового почти потерялось святое и вечное, потерялась ось, на которой держатся спицы колеса Дхармы и резко увеличилась опасность развала культуры. Правда, народы и в прошлом не слишком понимали Предания, хранившие опыт отдачи себя Глубине, но смутно сознавали здесь Тайну и покорялись ей. Как мы покоряемся любви. Сохранялась радость служения высшему. Сегодня она исчезла, уступив место эгоистическим поискам наслаждений. Сердце, способное на полную любви, стало редкостью. Исчезают ступени к божественной любви, хранящей мир от разрушения. Стержень волчка распадается, и куски летят во все стороны.

Это общая проблема, не только России. Но Россия, у которой вода подходит к горлу, либо первая погибнет, либо (это с ней бывало в прошлом) совершит что-то непредсказуемое, как победа над Смутой, как

победа под Москвой в 1941 г. Маловероятно. Но надежда умирает последней.

Образы священного в поэзии

Есть такое стихотворение у Николая Заболоцкого: «Некрасивая девочка». Оно кончается вопросом:

А если это так, то что есть красота И
почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Я никогда не любил сосудов, в которых пустота. Не любил фантомов красоты...

Любил огонь. Но какой? Совершенно понимаю презрение Марины Цветаевой к алому огню (горению тела, не затрагивающему душу). Но и душа не всегда пылает лесным пожаром. Как-то в метро я любовался лицом девушки, не то чтобы красивым, но очень живым. В метро лица тупые, а это лицо жило, и каждая мысль — девушка о чем-то думала — тут же высказывалась в мимике и в движении шеи, головы, рук. Эх, был бы я режиссером — подошел бы и предложил сниматься в неореалистическом фильме. В ней не было цветаевского пожара, но постоянно вспыхивал огонек — как в походном костре, в камине. И наверное, около этого очажка можно было прожить простую, но хорошую жизнь.

А что такое огонь-синь? Пожар большого чувства. Чувство полета над страхом в пушкинском Гимне чуме. Чувство взлета над обыденным, поднявшись на могилу Волошина и одним взглядом охватив три бухты Коктебеля. Чувство полета над противоречиями мысли, когда раскрываются крылья интуиции и сразу переносят через противоречия. К истине? Нет, скорее к истинам, к движению истин, как в «Науке логики» Гегеля и в лекциях Пинского, страстного гегельянца. В этом движении Пинский подходил очень близко к стержню целостной истины. Он восхищался Экхартом и заразил меня своим восхищением, но его несло дальше, вместе с движением истории. Он не умел остановиться глазом на «оси земной» и кружиться вокруг нее, не теряя из виду. Его все время уносило куда-то по касательной, где его вдохновение иссякало. Его огонь-синь не переходил в огонь-бел. И в движении мысли, и в романах со студентками, которые в него влюблялись.

Огонь-синь — это полет, куда угодно. В «Молодце» Цветаевой огонь-синь влечет в преисподнюю, в объятия вурдалака, но в пушкинском Гимне чуме есть только возможность зла (как и добра).

Есть упоение в бою

Упоение полетом над страхом, упоение вызовом, на который есть сила ответить. «Итак, хвала тебе, чума» — хвала не страшной болезни, а вызову болезни — как в стихах другого поэта: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Это здоровое чувство, пока не сбилось с пути. Герой не раз становился убийцей — начиная с Геракла и до Блюмкина. Отрыв от земли, полет неизвестно куда, цветаяевская стихия несет в себе опасность самовозвеличения героя и презрения к миру «мужей и жен», презрения к мирному огоньку в очаге.

Огонь-синь оставляет за собой лоскутья пепла, а белый огонь «бел чистотой сгорания». То же пламя, но без копоти, очищенное от всего, что может дать копать. И сразу же вопрос: как его высветлить? Как перейти от синего к белому? Нужно «различение духов». Здесь я согласен с православной аскезой. Но я не считаю, что нужно подавить, сковать тело. Какая-то дисциплина плоти — ограда любой культуры, но умерщвление плоти — совсем другое дело, ложное дело, крайность другой крайности. Простая женщина, Эмма Колышкина, ничем не вошедшая в историю, передала своей дочери Кате материнское благословение: быть женщиной, рожать детей, не принимать как проклятие свой пол, свою природу, а считать даром Божиим. Удивительно, как глубина религиозного чувства сочеталась в Эмме со смелостью отвергнуть букву, противоречащую любви. И Екатерина Федоровна² унаследовала это и прошла к святости (а я ее считаю святой) своим собственным путем, не отвергая возможности потянуться друг к другу и создать молекулу, единство двух атомов, святое семейство. Она показала, что счастье любви, если оно встретится, не разрушает души и не мешает ее росту, как, впрочем, и несчастная любовь, не допускающая соединения, или как жизнь, в которой не было личной встречи, но крылья души раскрывались в «деятельной любви» и в созерцании вне пола.

Дурно другое: поиски размаха ради размаха; хотя бы в области, где алого огня вовсе нет (как нет его в «Крысолове»), а просто гуляет, распоясывается ненависть... Об этом у Волошина в «Северовостоке» и у Даниила Андреева — «Размах». Этот размах достаточно погулял в России — и не только в ней. Формальная религиозность не спасает дела: шахида веруют. Рихард Вурмбрандт прав: есть в каждом вероисповедании два вероисповедания: ненависти, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других, и любви. Но нет накатанного пути любви, на который стал — и иди, ни о чем не думая, катись, как вагон по железной колее. Нет принципов, которые надежно защищают от зла. Ад вымощен принципами — философскими, этическими, богословскими, ради которых творилось зло. Божий след, о котором говорил Антоний Блум, непредсказуем, его каждый раз надо искать в уме и в сердце, и в жизненных решениях, и в искусстве.

Тиллих писал, что предельно глубокое во всех областях культуры есть религиозное: не как система догм, но как некий дух, ищущий и находящий себе форму. Если находит — то и искусство натюрморта превращает пятно света на двух бутылках в образ Фаворского света. Так я понимаю слова безвременно умершего художника Владимира Казьмина: каждое здание стремится стать храмом, картина — иконой, стихотворение — молитвой.

Такие здания, картины, стихи могут запечатлеть огонь-бел, привлечь к себе красотой и втянуть в глубокое, напряженное вглядывание, в котором огонь-бел передается из глаз в глаза, как при долгом созерцании рублевского Спаса. Так я раз почувствовал, глядя на Спаса, что на этого человека упала молния, но не сожгла его и свернулась в сердце. И можно жить с молнией в сердце. Об этом говорит и стихотворение Зинаиды Миркиной:

Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сошел с лица.

Иногда подготовка души проходит незаметно, годами, и молния ударяет, потому что долго собирались тучи; так я мгновенно узнал и принял стихотворение Миркиной «Бог кричал». А стихотворение «Даятель» испугало. Оно требовало от меня полной жертвы своим малым «я», и довольно долго я ходил вокруг него, как вокруг пылающих углей, не решаясь пойти по ним босиком, по обычаю жителей островов Фиджи, Цейлона и других мест, где сила веры защищает пятки от ожога. Потом страх прошел. Я понял, что на угольях сгорает только малое «я», а большое — образ и подобие Бога — освобождается от этой ветоши.

У меня уже был опыт вглядывания в бесконечность пространства и времени — чего же я боялся? Даятеля? Кажется, я не готов был все потерять. Я собирался пройти сквозь бездну, не меняясь, оставаясь, говоря языком мистики, ветхим Адамом. Какой-то внутренний сдвиг во мне произошел, но нечаянно, незаметно и неполно. Сказалась моя совершенная оторванность от духовной культуры, неумение ставить духовную задачу. Порыв запутался в абстракциях астрономического времени и пространства. Но я переживал их сердцем, эти абстракции, и поэтому нашел больше, чем искал. Нашел упор, с которого сравнительно легко взлетел над физическим страхом на войне и потом проходил через испытания страхом с радостью, как Вальсингам — через испытание страхом чумы.

Парение над физическим страхом помогло мне и на духовном пути, как образ полета над духовным страхом, над страхом оторваться от всяких богословских подпорок и почувствовать мысль Алмазной сутры: воздыми

свой дух и ни на чем не утверждай его, или мысль Энде: учись падать — и держаться ни на чем, как звезды.

Последнее время я пытаюсь так толковать и мысль Павла: «Буква мертва...». Жить в духе — значит ходить по водам. Павел вовсе не звал отшвырнуть Ветхий Завет, не разрушал эту почву, но осознал возможность оторваться от почвы, взлететь, если крылья подхватывал дух любви. Когда буква противоречит любви, она мертва и можно перешагивать через нее, как через мертвое тело. В этот момент ты, как исповедник Алмазной сутры (или сказки Энде) ни на чем не утверждаешь свой дух, паришь в воздухе, шагаешь по водам. Но в пространстве и времени истории ты просто редактируешь Писание, отбрасываешь то, что отжило, и утверждаешь живое, продолжающее жить. Ты летишь, но тебя поддерживает дух созерцания, оттолкнувшегося и свободно взлетевшего над текстом, подготовившим его, над текстом Книги и над текстом природы, и над текстом искусства, прикоснувшегося к предельной глубине.

Глубинное искусство прорисовывает образ священного, возникший в человеческой душе, раскрывшейся священному, раскрывшейся предельной, бесконечной глубине, загоревшейся белым огнем от белого огня, пламени без дыма. Искусство прорисовывает образы, к которым привел Божий след. Это не портреты ангелов. Мы открываем священное сердцем, а не глазами, не ушами, и сердце подсказывает глазам образы и звуки, взятые из традиции или из природы, но передающие глубинный ритм бытия. Это не рисунок молнии, а передача впечатлений человека, заземлившего в себе молнию. Условные лучи света в иконе «Преображение» не захватывают душу, и Христос там мало что говорит сердцу. Силу Фаворского света мы чувствуем по фигурам апостолов, которых свет ослепил и опрокинул, по их рукам, закрывшим ослепленные глаза.

Бубер сравнивает образы священного с огненной полосой в атмосфере, оставленной метеоритом. Мы не можем пощупать метеорит. Бога не видел никогда и никто. Но иногда, как молния, нас настигает след Божий.

Христианская икона передает этот след в глазах, в жесте рук, реже — во всем опрокинутом светом теле (в «Преображении»). Дальневосточные иконы тумана передают то, что человек видит раскрывшейся душой. Маленькие фигурки людей на заднем плане передают только смирение перед бесконечностью. Ритм бесконечности раскрывают сами горы и воды. Горы и воды сами по себе несут нам след священного Дао, переданного во всей полноте только пустотой, незаполненной бумагой (было правило рисовать только один угол, оставляя незарисованное пространство для Дао, еще не получившего имя и не расколовшегося на инь и ян).

В поэзии нет конфессиональных границ, и поэт использует разные

традиции упора перед прыжком в бесконечность. Постепенно это сказывается и на самих религиозных традициях, заимствующих друг у друга отдельные удачные формулировки и приемы. Но поэзия не дожидается официального разрешения. Она идет впереди. И в стихах Зинаиды Миркиной мы находим отголоски то индийской, то дальневосточной культуры. Однако вершина ее творчества — встреча сердца с образами Бога, созданными библейской традицией. Проверка этих образов сердцем, достигшим библейской глубины, и тишиной, которую поэт сравнивает с Богоматерью:

И если слово это Бог,
То тишина есть Богоматерь.
Благословенна тишина
Высот бледнеющих и шире.
Ты Бога выносить должна В
моей душе и в этом мире.

Тишина сейчас огромна,
Точно море. Или — Бог.
Тайный Дом для всех бездомных
И для всех грехов — порог.
Нет ни зла, ни ран смертельных —
Тишиною дух промыт.
Замолкает вся отдельность И
Всецелость говорит.
Здесь — ни трещины, ни щелки.
Цело всё. Лицо склоня,
Я перед Тобой замолкла —
Ты вещаешь за меня.
Я — в безмолвном океане.
Он сквозь сердце будет течь.
Чем полнее замолканье,
Тем могущественней речь.

Эта тишина не замкнутой кельи, не простое отсутствие звуков. В нее могут входить шорохи, всплески. Но не остается ничего отдельного — и все же что-то есть. В упругой тишине образы, разделенные Вселенскими соборами, находятся в постоянной переключке, в перетекании друг в друга, как ангелы рублевской Троицы, в каждом из которых проступает то Отец, то Сын, то Святой Дух. В стихах Зинаиды Миркиной стирается граница между Отцом и Сыном. Отец не покоится в небе — он страдает в каждом страдающем существе, он многократно распят в пространстве и времени, бесконечное число раз распят, и вместе с тем он Даятель, Творец, Создатель мира, который распинает Его. Размывается граница

между страданием и ликованием. Видно простым глазом, что страдание и ликование растут из одной глубины и за образами бессильно падающих листьев встают новая весна и новое лето. А после всего весеннего ликования вновь встают образы страдающего, кричащего Бога и всемогущего Даятеля, слитые в стихотворении Адпиз ^e^.

Бог как Адпиз ^e^ — жертва. Как Даятель — требует ответной жертвы. Метафоры Божьей жертвы пугают расколом привычного образа всемогущего Царя Небесного. Метафоры ответной жертвы пугают отказом от надежды спастись одной верой в Спасителя, пугает боль расставания со своей отдельностью, с ее привязанностями и обидами, с ее призраком вечной правды, достигнутой на поверхности, где нет ничего вечного. Пугает требование пройти сквозь огонь и тьму. Пугает открытость пустотам, в которую только и может хлынуть Святой Дух.

Встречая Даятеля, человек сам себе рассекает грудь и вкладывает в нее уголь. Здесь нет внешних канонов. Есть только канон внутреннего состояния, как в живописи дзэн: никаких внешних образцов, только некий уровень глубины, из которой растет вдохновение. Опора не на обрядовые сосуды, а на огонь, мерцающий в сосудах. Свобода от груза опустевших сосудов и фантомов детской веры.

Это пугает неофитов, нашедших опору и защиту в строгом чине. В рецензии на «Невидимый собор» критик «Нового мира» Мраморнов выразил свой страх перед сближением поэзии со святостью. Это показалось неправославным. Г-н Мраморнов разъясняет нам, что православные святые — за исключением Иоанна Дамаскина — стихов вообще не писали, ибо святость дело строгое, а стихи — дело грешное. Если замкнуться в одной традиции и закрыть глаза на весь свет, так и выходит. Но достаточно сделать шаг назад — к Ветхому Завету, — и находишь там Песнь Песней, находишь Псалмы Давида. Шаг вбок — и рядом поэзия суфиев, еще шаг — целостные культуры Индии и Дальнего Востока, где поэзия и святость никогда не ссорились.

В первые века христианства, в окружении чужой, враждебной эллинистической культуры, монахи бежали в Фиваиду. А возвращаясь в Александрию, они проклинали бесовские игрища греческих трагиков и ломали статуи. Только постепенно, вокруг новых храмов, сложилась новая христианская культура, но в рано погибшей Византии она так и осталась не дальше храмовых ступеней. На Западе дело пошло дальше, к переключке культа Мадонны со светским культом любви. Но Россия вошла в Европу позже, в позднее Новое время; русскую поэзию захватили образцы литературы, уже терявшей духовные корни. Между православием и литературой возник разрыв, измучивший Гоголя; но это не норма, не достижение; это исторически сложившееся уродство, которое неофиты слепо повторяют.

Поэзия Зинаиды Миркиной свободна от исторического уродства. Она находила опору во встречных волнах истории — назад к потерянному за

шумом времени глубинам у Рильке или в целостных традициях восточных культур. Ее переводы не случайны: Рильке, Тагор, суфии. Это ее родство. И оно может стать нашим общим родством.

Мозаика культур и диалог религий

Я брожу вокруг этой темы тридцать лет. Началось с попытки доказать свое право быть самим собой, «человеком воздуха», человеком со многими духовными связями, но без тождества ни с одной культурой. Внутренний опыт говорил, что так можно жить без всякого ощущения неустойчивости, без комплекса неполноценности, наоборот — с устойчивостью ваньки-встаньки; вали его на бок, сколько хочешь, — а он опять распрямился.

У Микаэля Энде есть сказка о человеке, цеплявшемся за свою игрушечную реальность, а она все трескается, все разваливается, и громче, громче звучит голос из глубины трещин: «Идем ко мне!»...

Человек боится упасть, провалиться в пустоту, а голос зовет: «Учись падать!.. Учись падать и держаться ни на чем, как звезды!». Не знаю, что это: простое совпадение с Алмазной сутрой, или Энде знал слова, потрясшие Шестого Патриарха Дзэн: «Воздыми свой дух и ни на чем не утверждай его!». Меня эта фраза тоже потрясла. Что-то в ней ложилось на опыт мысленного падения в бездну, когда вдруг достигнута высшая устойчивость — устойчивость полета. Это опыт редких мгновений. Но они дают повседневный опыт ваньки-встаньки: чувство внутреннего центра тяжести. Человек воздуха — нарастающая социальная проблема. От нее не уйти. Еще тридцать лет тому назад я написал: «Мы живем в век вселенской диаспоры... В наш век чуть ли не каждая нация пустила облачко рассеяния. Есть диаспора китайская — в Юго-Восточной Азии; диаспора индийская — в Азии и Африке; даже дагомейская — в Западной Африке; и уже были дагомейские погромы. Давно пора создать новый термин — “антидиаспоризм”...» (эссе «Человек ниоткуда»). Тогда же или чуть позже — я понял связь диаспоры с духовным движением к единому, с почвой, найденной в небе. Кстати попалась на глаза статья об эволюции верований индийцев в Восточной Африке. Во втором (или, может быть, в третьем) поколении (детали не помню) переселенцы забывают своих местных богов и духов, почитавшихся на родине, и сохранили только верховную Троицу: Брахму, Вишну и Шиву. Это была явная аналогия с моими догадками, и я вписал в нашу общую с Зинаидой Миркиной книгу (изданную в 1995 г., но писавшуюся в 1970-м): «На новых местах боги были чужие — египетские, вавилонские. Покориться им — значило отдать победителю не только тело, но и душу. А свои боги до чужбины не доставали. Они были связаны с полями и горами, оставшимися в земле отцов; и люди, теряя землю, вместе с ней теряли часть своих святынь. Живым и действующим оставался только “тот, который наверху”. Можно предполагать, что именно обстановка изгнания сделала туманного,

невидимого верховного Бога таким интимно близким, единственно близким евреям. Ухватившись за эту уцелевшую национальную святыню, развивая и очищая ее, духовные вожди народа, пророки, возвысили маленькое племя в его собственных глазах, внушив ему веру в свое превосходство над великими цивилизациями древности, дали силу выстоять. В неравной борьбе с империями Средиземноморья постепенно утвердился образ единственного, самодержавного, всемогущего Бога, не имеющего никаких соперников (только на такого Бога мог надеяться народ, неоднократно отрываемый от земли и богов земли)»...

Несколько лет спустя я прочел в диалоге «Октавий» (очень древнем христианском памятнике, II в. после Р.Х.): «Для христиан всякое отечество чужбина и всякая чужбина отечество». Церковь, созданная апостолом Павлом, тоже оказалась своего рода диаспорой, подобием еврейской, но еще более законченной в своей непривязанности к странам и языкам, без всякого центра на земле — даже в Иерусалиме.

Говорят и кричат о пороках диаспоры, и сами евреи время от времени остро чувствовали патологию рассеяния и пытались вернуться к Норме и жизни на своей Земле. А между тем, диаспоры все множатся, и вместе с ними ширятся попытки отгородиться от диаспоры, избавиться от нее. Диаспора раздражает. Человек, попавший в диаспору, не может ни на кого рассчитывать, кроме самого себя — и таких же, как он, горемык. Его энергия удваивается, он становится опасным конкурентом на рынке, за место в университетах, газетах, электронных СМИ. Туземцы, привыкшие к размеренной жизни, не в состоянии выдержать его напора. Китайские кули, привезенные в Малайю работать на плантациях и рудниках, выделили из своей среды когорту миллионеров; они контролируют теперь экономику и науку Малайи. Этот неоднократно повторявшийся факт приобретает мифические черты в сознании, и образ китайца в малайской литературе, как две капли воды, похож на образы евреев в романе В.Белова «Кануны», ч. 1 (подробнее в моей книге «Выход из транса», статья «Долгая дорога истории»).

Человек диаспоры — нечто вроде ионизированного атома. Дело не в том, каков «атом» (еврей или китаец сами по себе не похожи друг на друга). Князь Николай Трубецкой еще в 1938 г. писал, что русские эмигранты первого поколения тоже приобрели черты людей диаспоры: держаться друг за друга, куда устроился один — тащит за собой своих... С потерей чувства необеспеченности падает энергия отчаяния. В Америке евреи учатся, как коренные американцы, довольно лениво; первые ученики — китайцы, корейцы, вьетнамцы. Одна волна диаспоры впитывается, ассимилируется, но накатывают две другие, три другие, пять других... Диаспоризация наверняка будет нарастать и в XXI веке.

Более того. Даже оставаясь на месте, современный человек уже не так замкнут на своем исконном, как в прошлом, когда хоть год скачи — ни до какой границы не доскачешь. Телевизор втягивает в чужую жизнь,

вытаскивает из обособленности, расшатывает «почву»... Одно из следствий — массовый наплыв нищеты из Третьего мира в страны Запада (и с окраин большой России в Москву). Это невозможно остановить, разве только уничтожить телевидение, интернет, авиатранспорт. Но так же неизбежны яростные попытки восстановить, укрепить, увековечить обособленность своей веры, своей культуры, сжигать книги экуменистов, а при случае — убивать самих экуменистов.

Национальное во вселенском

Меня когда-то очень захватывали слова анонимного апологета II столетия: «Для христианина всякое отечество чужбина и всякая чужбина отечество». Так и жили ранние христиане, и какое-то время мне казалось, что так и должны жить люди, в том числе и в наше время. Сейчас я сказал бы иначе: в любое время нельзя забывать этих слов. Но невозможно руководствоваться одним принципом, отбрасывая все другие. Над страстной односторонностью витает бесстрашие духа. Раннехристианский космополитизм увлекал меня как противовес племенной и национальной захваченности. Но ни на одном принципе нельзя усидеть. Истина — ковер, который ткется из многих принципов, и красная нить в нем — Божий след, пересекающий все принципы. Так, по крайней мере, говорил о Божьем следе Антоний Сурожский.

Ранние христиане ожидали второго Пришествия — и не так, как современные евреи ритуально ждут Мессию, — не когда-нибудь, а совсем скоро. У них не было исторического опыта, они не обжигались на призывах лжемессий, втягивавших в свои авантюры, не выработали сочетания веры с сомнением и здравым смыслом. Потом опыт пришел. Надо было вжиться в историю, свыкнуться с обычаями народов, надевших крестики на свои языческие шеи. Надо было окрестить привычные праздники, назвать Солнцеворот Рождеством Христовым и т.п. И в этом нельзя видеть одно сползание к язычеству. Обряд можно взять с любой стороны, лишь бы не изменять Святому Духу, духу любви.

Нация — не племя, а хранитель общих святынь и ценностей цивилизации, понятых на свой национальный лад. Я пересказываю в этих словах определение цивилизации, данное Эмилем Дюркгеймом: группа стран, объединенных общим духом, который каждая страна по-своему выражает. Нация — участник общих достояний цивилизации: ее священных книг, языка священных книг и шрифта священных книг, одного шрифта на всю цивилизацию, внешней, зримой приметы, отличающей одну цивилизацию от другой и связывающей вместе местные, национальные языки. Цивилизация не сводится к трем приметам, но это, если можно сказать, ее паспорт.

Цивилизации возникли из более рыхлых региональных единств, вокруг первых очагов высокой культуры: Шумера, Аккада, Египта. Язык Шумера стал первым языком межплеменного общения. Для изучения

этого языка уже в III тысячелетии до Р.Х. была создана грамматика. Но общих святынь довольно долго не было. Все мировые религии почему-то сложились в одну большую эпоху, примерно с VI в. до Р.Х. по VII в., и четыре Святых Писания поделили между собой мир, легли в основу четырех субглобальных цивилизаций (некоторые факты, временно нарушавшие схему, я для краткости обхожу).

Восточнославянские племена развивались на перекрестке трех субглобальных цивилизаций из четырех возможных. Только Индия не участвовала в формировании России. Сами по себе восточные славяне обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Больше ничего о них не скажешь. Троица Рублева и роман «Преступление и наказание» возникли тогда, когда к славянскому дичку были привиты ветви из византийских и западных садов. Это не порок: таким же образом развивались германцы, галлы, корейцы, японцы. Разница в том, что галлы и германцы втягивались в одну, римскую цивилизацию, корейцы — в одну, китайскую цивилизацию, а Россия каждые 200—300 лет поворачивалась от одного мирового центра к другому, и один пласт ложился на другой, часто ломая своего предшественника.

Некоторые прививки чужого были добрыми и давали хорошие плоды, другие оставляли злой след. К злomu следу от налоговой системы, принесенной из Китая монголами, мы еще вернемся. Но и хорошие ветви засыхали. История шла так, что иконы старого письма в XVII в. разучились писать, да и понимать их красоту перестали, кроме староверов. Прививалась и развивалась западная секуляризованная культура Нового времени, и только в ее формах величайшие писатели России пытались прорваться сквозь ее ограничения. Очень поздно, в начале XX в., Трубецкой и Флоренский заново открыли «умозрение в красках», и возник вопрос, как строить национальную культуру на таких разных столпах. Возникли две национальные задачи, до сих пор не выполненные: дать образованному человеку доступ к мудрости иконы, сравнимый с доступом, который давался школой к романам Льва Толстого или Достоевского. Это первое. А второе: как-то привести в гармоническое единство открытость Богу, полученную от неожиданной встречи или от глубокого созерцания иконы, и открытость миру и человеку, наследие Ренессанса, наследие гуманизма, которую дает культура Европы от Шекспира и Сервантеса до Чехова. Как (если заострить мысль до парадокса) соединить веру без гуманизма Нового времени и гуманизм, неуклонно теряющий веру. Эти задачи навязаны нам историей, и мы вынуждены решать их, но решать, не забывая порыв ранних христиан, живших поверх истории. То есть не теряя измерения вечности в смертном.

При этом мы сталкиваемся и будем сталкиваться с проблемой, которая в России всегда вызывала трудности, с проблемой формы. Трудность эту хорошо понимал Достоевский и ярко описал в «Игроке», я уже приводил этот пример и сошлюсь еще раз на строки в «Голосе из хора»

Синявского (см. с. 24—25).

Слово «форма», которым Синявский кончает свою характеристику, Достоевский в «Игроке» вспоминает шесть раз в одном абзаце. Видимо, это действительно камень преткновения для русской культуры. Легко вливаясь в любую форму, она редко умеет создать новую форму и с трудом подгоняет по фигуре готовую форму. Недаром романы Достоевского и Толстого шероховаты, сравнительно с гладкими романами Тургенева и Гончарова или с рассказами Лескова. Кажется, Рудин и соборяне живут в разных странах. Собранные вместе, они создают противоречивость и сбивчивость слога, то, что я назвал антикрасноречием Достоевского и Толстого. В безупречно изящную форму Россия не влезает.

Но есть еще одна проблема, которую я отложил и к которой теперь возвращаюсь. Не все влияния приносили плоды хорошие, были и такие, которые разрушали духовную культуру, приносили ее в жертву государству. Таким злым даром была налоговая система, созданная самой жестокой и антикультурной из китайских династий. Я уже написал об этом и поавторю еще раз. Монгольская система сбора дани стала мощным рычагом в руках князей Москвы, — самого отатаренного из русских княжеств, по характеристике Г.П.Федотова. Система, по которой община платила подать и за тех, кого нет, заставляла посадских людей самих просить о запрещении им менять место жительства. О том же просили и помещики, но пример с посадскими людьми парадоксальнее. Люди сами просили закрепить себя вместе с соседями, чтобы соседи, убежав, не перекладывали на них свое тягло. И рост Русского государства связан был с ростом и ужесточением рабства. А удалцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг, до Терека, и на Восток, до Чукотки, Аляски и даже до Сан-Франциско. Или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо. Продолжая свой бунт в форме кражи, если плохо лежало барское или казенное добро. Как и сегодня это длится. Наша жизнь — вялотекущая смута.

Так сложилась русская система непримиримых противоречий, сдавленная самодержавием, но периодически грозившая распадом и смутой. Казачья воля, поддержанная примером соседних народов, живших догосударственным бытом, сотрясала рабство, византийский чин не мирился с европейскими правами. И как только ослабевал гнет власти, начинался хаос, анархия, смута. А усталость от хаоса заставляет петь песни об Иване Грозном. А сегодня — идеализировать Сталина.

Сперва сотни тысяч выходили на демонстрации против коммунистов, а теперь те же сотни тысяч благославляют Сталина, хотят нового Сталина и создают высокий рейтинг кандидатам в диктаторы. Можно ли вывести народ из этого порочного круга? На политическом уровне это значит: возможна ли христианская демократия, уравновешенная социал-демократией на левом фланге? Возможно ли равновесие открытости Богу,

направленное иконой и культом, с открытостью миру и человеку в стиле классического Запада?

В начале перестройки были попытки молодежи создавать и конституционную демократию, и христианскую демократию. Но патриархия и демократия — две вещи несовместные. Теоретически русская христианская демократия возможна и богословски обоснована в книге игумена Вениамина Новика «Православие, христианство, демократия». Но это книга бывшего инспектора Санкт-Петербургской академии, уволенного со службы. А энтузиазм молодежи быстро иссяк. Энтузиазм сегодня не в чести. Несколько волн энтузиазма прокатились по XX веку, оставив позади горы трупов. Что бы ни захватывало массы, дело кончалось массовыми убийствами. Взрывы энергии, не давшие ничего хорошего, оставили за собой усталость и отупение. На Западе продолжают формы экономической и общественной жизни, к которым люди привыкли. А нам нечего продолжать и нет сил творить новое. Впрочем, завести семью и воспитать двух-трех детей повсюду не хватает воли. На всем огромном пространстве, от Америки до России, рождаемость ниже смертности и христианская цивилизация физически вымирает. И вот третья национальная задача: своими силами вырваться из инерции рабства и бунта, постепенно уступающей место инерции вымирания; своими силами зажечь сердца для новой жизни, свободной и от буйства, и от апатии, и от хаоса, и от коррупции.

Даже если образованные верхи объединятся и вместе потянут воз, трудно сдвинуть его с места. Колеса завязли до осей. Оглянитесь вокруг: всюду следы выродившихся, измельчавших бунтарских порывов. Кучи мусора на опушке леса, изрезанные и разрушенные скамейки в парках — продолжение того же бунта, бессмысленного и беспощадного, о котором еще Пушкин писал. Сдавленность избытком государства, ограниченность сферы общественной жизни рождали и рожают бунт. Дурак, бросивший банку от пива под куст, чувствует себя Стенькой Разиным, потопившим княжну: пусть дурацкая, но своя воля.

Такой же мертвый след — от круговой поруки по тяглу: мелкая зависть к соседу, высунувшемуся на полголовы выше среднего уровня. Жгучая зависть к олигарху, сумевшему разбогатеть в годы, когда тысячи неудавшихся стяжателей давились в дверях «Чары», «Властелины», МММ, охваченные жадной вдруг, не работая, получить кучу долларов. Почему умный предприниматель больше достоин презрения, чем клиенты МММ, оказавшиеся в дураках? Почему достоин уважения мужик, продавший свой ваучер за поллитра? Завтра он продаст собственную квартиру и останется бомжом...

Когда начиналась перестройка, я писал, что школа для нас важнее экономики, потому что экономика первична только на грани голодной смерти, а чуть мы с этой грани отошли — не хлебом единым сыт человек. Я повторил эту мысль вслух на совещании в мэрии, и меня чуть не

линчевали. Бог с ними, с прагматиками. Я все же убежден, что важнее всего бездоходное дело просвещения. Хотя бы камень, втащенный наверх, тут же валился вниз. Хотя очень трудно втиснуть в современность мысль вл. Антония о созерцании, где открывается Божий след и дает одному силу тысяч. Мысль эту заметили немногие. Но я надеюсь на одиночек, из которых складывается творческое меньшинство. И если у нас хватит смирения на несколько лет скромной работы в школах, институтах, в постинститутском развитии, то Россия возродится. А конкретные вопросы, которые ей придется решать, подскажет сама история, она же даст и лозунги, вдохновляющие народ.

На горе и в храме

Самаритянка спросила Христа, где лучше молиться: на горе или в храме. Христос ответил, что молиться надо «в духе и в истине». Тогда весь народ держался одного предания, но уже появлялись люди, искавшие путь по себе, по своему складу души. И Христос обращался к ним. Он ведь не устанавливал никаких правил: «где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами». А где соберутся, Ему было все равно. Хоть в хлеву. Родился же Он в хлеву...

Мне очень помогает физическая высота. Волошинская скамья, с видом на три прекрасно вычерченные бухты, сразу смывала все пустые мысли и очень скоро начинали рождаться другие мысли, близкие к небу. У многих людей то же происходит в храме, не в безгранично открытом пространстве, а в тесно замкнутом, но с окошком в духовную бесконечность. У икон Рублева я это испытывал и иногда получал от них какой-то заряд. Но таких икон, как рублевский Спас, мало. А до дерева легко добраться. И если Мышкин прав, то в дереве тоже есть дыхание благодати. Только Мышкин разговаривал с людьми очень неразвитыми, и выразил свою мысль светским языком: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?».

Никакого счастья в картах или в любви дерево не дает, Мышкин имел в виду другое счастье, внутреннее, от благодати, разлитой в природе. Уже говорилось, что Царство Божие внутри нас и вне нас; и в переключке леса с душой душа одновременно познает и присутствие святыни в лесу и присутствие святыни в сердце, в его глубине, о которой говорил Антоний Сурожский: каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной. Созерцание безграничного внешнего простора становится метафорой безграничного внутреннего простора, который незрим, который представим или в природе, или в иконе. Но здесь сразу же запятая и даже несколько запятых.

Игумен Вениамин Новик как-то поставил мне вопрос: как я понимаю различие между высотой и глубиной? Я стал разбирать различные сочетания слов. Выходило, что высокому противостоит низкое, а глубокому — мелкое, поверхностное. Нельзя сказать о физической

теории, что она высокая или низкая; она может быть только глубокой или поверхностной. Высокое в современной речи имеет этический отпечаток, а глубокое — интеллектуальный. Например, глубинная психология занимается животными порывами, подавленными культурой. Ничего высокого в психоанализе нет. Но и глубина его — с полдороги в глубину. С той самой полдороги, на которой, говорили в Средние века, сторожит дьявол. Что такое бесы, мучившие св. Антония? По-моему, образы тех порывов грубого секса или беспричинной агрессии, которыми как раз и занимаются современные психологи. Но образ святой глубины — не темная шахта, а центр мира, если мы вообразим себе его как сферу и все зримое — как поверхность сферы. Человеческое сердце достает до сердца этого умозрительного мира:

Всемогущее сердце мое —
Бесконечных миров сердцевина,
Ты, наполненное до краев,
Со вселенною всею едино.
О лесная великая тишь,
Всемогущая сила безмолвья!
Это ты мое сердце растишь,
Это ты его тайною полнишь.
Омываясь в твоей тишине,
Я прощаюсь со знанием ложным.
Все, что истинно, надобно мне,
То воистину сердцу возможно.

Я надеюсь, что эти стихи Зинаиды Миркиной сделают более ясной мою мысль. Но вот еще одна запятая. В 60-е годы я два или три раза побывал в Сосновке, над озером Рица. Там сразу захватывало дух. Никакие мысли не рождались, не до них было. Я вспомнил Сосновку, читая Силуана Афонского: «Я пишу, потому что со мной благодать, но если бы благодать была большей, я бы писать не мог».

Площадка и дорога к ней были устроены по указанию Сталина. Уцелел фундамент беседки. И меня сразила мысль: какая черная благодать рождалась в его голове? Что он задумывал, слушая соловьев? Вы скажете, что физическая высота (и всякая высота) может будить люциферическую гордость. Во мне высота этого не рождала, но могу кое-что понять через чувство всемогущества, охватившее меня после одного удачного выступления в декабре 1965 г. Через две недели поднялось давление. Подскок был небольшой, я быстро выздоровел физически и одновременно понял, что успехи и неудачи чередуются, как утро и вечер, и ни тому, ни другому не стоит придавать большого значения. Но Сталин не был нормальным человеком. Он был медиумом люциферизма, и черная благодать расправляла в нем крылья.

«А почему? — спросит православный читатель. — Потому что не смирял себя в глубине храма». Зато Иван Васильевич, государь всея Руси, ни на какие горы не лазил, любил ездить по монастырям, почитать святые иконы (это было сразу после ХТУ—ХУ вв., многие творения, сейчас исчезнувшие, еще были целы). И в Кремле, не далеко ходить, — мне пришла эта мысль, когда я застыл перед фреской Дионисия «Богородица с ангелами», — почему ангелы не внесли мир в его душу? Почему-то созерцание икон и молебны только укрепляли его уверенность в праве Божьего помазанника искоренять крамолу, и если он каялся, то только в перегибах, в головокружении от успехов. Слишком много новгородцев утопил в Волхове, можно бы поменьше, слишком много девок изнасиловали опричники.

Изверги вырастают на пути, по которому прошли святые. Так даже в Афонском монастыре. Софроний (Сахаров), автор развернутого введения к книге «Старец Силуан», свидетельствует, что многие иноки, ничего не добившиеся после тридцати лет подвигов, испытывали «каинову зависть» к Силуану, который сравнительно быстро прошел через муки богооставленности — и потом жил в волнах благодати. Силуан был вынужден скрывать эти волны, чтобы не мучить несчастных братьев, как мучил Авель Каина и Моцарт — Сальери.

Путь подвигов — опасный путь. Лучше быть сапожником. Когда св. Антоний возгордился, Бог послал его в Александрию, к уличному сапожнику. Легенда не рассказывает, как был найден именно тот сапожник, которого Бог имел в виду. Наверное, ангелы вели Антония. Увидев сапожника, приколачивавшего очередной каблук, он спросил: как ты живешь? Сапожник рассказал про свою скромную жизнь. «А что еще? — допытывался Антоний. — Да ничего, ответил сапожник. — Сижу и думаю: все спасутся, один я буду гореть в аду». Это один из вариантов изречения (услышанного Силуаном из глубины собственного сердца): «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Люди, с детства чувствительные к мукам совести, постепенно вырабатывают нечто подобное. Что-то сразу заставляет отстраниться от соблазна, со жгучим стыдом пережить первое, ничтожное падение. Но беда душе, с детства исковерканной страхом (у Ивана, у Петра I) или презрением добропорядочного общества к их семье (у Ленина, у Сталина). Не всякий из них станет «человекоорудием дьявола». Создатель этого термина, Даниил Андреев, очень отличал Петра от Грозного, Ленина от Сталина; может быть, хотел подчеркнуть свободу воли. Но человекоорудия дьявола лепятся повсюду, не только в политике. В каждой области, где есть борьба за первенство, возникают жгучие обиды и складываются свои гадюшники: театральные, телевизионные, писательские. Они складываются из непризнанных талантов, из обиженных маленьких людей, из всякого сознания, любящего собирать и вспоминать свои обиды. Черная благодать находит их с самого детства,

как ламаисты своего Далай-Ламу, и прокладывает им дорогу.

Почва внутри нас

Разговор о почве, начатый Достоевским и Аполлоном Григорьевым и продолжающийся поныне (такие затянувшиеся разговоры, ставшие структурой и традицией, называют теперь «дискурс»), — этот разговор коренился в сознании Достоевского, в его споре с самим собой, с тем поворотом его ума, который вышел наружу в «Записках из подполья» и в «Сне смешного человека». «Я развратил их всех», — говорит, устами смешного человека, рассудок, вторгаясь в те области, которые душа объявила запретными, но не в силах надежно защитить. Рассудок пытается насилем овладеть тайной целого, отдающегося только любви, как в словах из письма к Фонвизиной 1854 г. — «Я предпочел бы оставаться со Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Логика мучает Достоевского, продолжая пытку, которой подвергались мистики с первых веков после РХ. и на которую Тертуллиан ответил яростным «аЪзигдиш ез1».

Рационализм, вошедший в плоть и кровь европейского Просвещения, мучает Достоевского, и он ищет противовеса в «почве». Но что такое «почва»? Это вера народа, еще не тронутого Просвещением. Таков первый, ближайший смысл. Это вера во все, чему учит Православная Церковь, не подменившая схоластикой святоотеческие парадоксы. Но что будет, если весь народ просветится? Этот вопрос задается в черновиках к «Бесам», и Достоевский отвечает себе, что тогда вся риторика почвенничества сводится к нулю. А затем оставляет все рассуждение в черновом тексте, не выносит на суд публики. Почему?

Я думаю, что Достоевский не знал нужного ответа на логическом уровне, не знал в форме, которая годилась для журнальной полемики. Но в глубине души он находил ответ — и не решался высказать его, боялся «унизить идею»; а может быть, недостаточно верил в нее, не во все минуты верил... Надо обладать очень большим мужеством, чтобы рассказывать открыто, всенародно, о своем переживании присутствия Христа, как Антоний Блум, и спокойно прибавить: можете считать это галлюцинацией. Ответ Достоевского оставался тайной его черновиков: «совесть — действие Бога в человеческой душе». Логику Раскольникова опровергает Соня — мимо логики — с помощью незримого действия Бога. Искусство Достоевского опирается именно на эту, внутреннюю почву, на ту глубину, о которой впоследствии сказал Антоний Блум: «каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной» (глубиной сердца, намного большей, чем уровень глубинной психологии: той глубиной, где исчезает эго и остаются только любовь и скорбь). Искусство Достоевского не доказывает, а заражает верой в реальность глубинного, оно не опровергает великие идеи, ведущие к великим преступлениям, а просто погружает их в глубину, и они исчезают в ней, плавятся в жаре сердца.

Но что делать с почвой в первом смысле слова, с превосходством народа, с народной верой? В яростной полемике Шатова Бог и народ сливаются и у каждого народа оказывается свой бог. Но это не Бог Авраама, Исаака и Иакова, а нечто колеблющееся между языческим кумиром и абстрактным принципом; а принцип почвы тоже вел к преступлениям. Например, лозунг «Вi! ипВ ВоВеп» («кровь и почва») в Германии. Любая идея, ставшая обязательной, ведущей, единственной, способна погубить культуру. Эта мысль, высказанная Музилом во время Второй мировой войны, до сих пор, к сожалению, не устарела. Любая идея, вырвавшаяся из гомеостаза культуры, из великого равновесия Целого, становится раковой опухолью и ведет организм к смерти — если не иссечь пораженную ткань.

Поэтому Антоний Сурожский, выступая в Париже в 1974 г., звал христиан не следовать никаким принципам, в том числе богословским, а искать Божий след и идти по Божьему следу. Поэтому Василий Гроссман, не читавший Антония (как и Антоний не мог тогда прочесть «Жизнь и судьбу»), ведет очень сходный разговор в «Записке Иконникова»: нет счета преступлениям, совершенным во имя идеи добра, всеобщего блага, счастья человечества, счастья народа, истинной веры, иконопочитания и т.п. И спасает Иконникова от отчаянья только обращение к действию Бога в человеческой душе. То есть — к чувству Божьего следа. Не запутанного никакими идеями — или внезапно освободившегося от их власти (как Раскольникова освобождал луч заходящего солнца).

С чего начинали ранние христиане? На что они опирались? На народ? Но народы были убеждены, что христиане похищали римского младенца, закалывали его, а затем пожирали сырым и предавались свальному греху. Иначе зачем они устраивают свои радения тайно, в катакомбах? Апологет П в., автор диалога «Октавий», добросовестно пересказывает кровавый навет, в который верили народы, и затем решительно противопоставляет свою веру всенародному изуверству. Авторитет народов для него ничто. «Для христианина всякое отечество — чужбина и всякая чужбина — отечество», — пишет апологет, и это общий дух раннего христианства. Его опора — живая передача интенсивного религиозного опыта, доверие одному против всех и против самого разума древней цивилизации.

На что опирался Антоний Блум, оказавшийся в Англии? Несколько десятков эмигрантов, остававшихся там, ждали опоры от него самого. И они получали в нем эту опору. Обаяние живой «встречи», которую Антоний исповедовал, стало магнитом, вокруг которого собралась целая епархия, состоявшая главным образом из англичан.

На что опирался князь Мышкин в Швейцарии? На водопад, помогавший ему бороться со своей болезнью, на упорство созерцания, а выздоровев — на швейцарских детей. Где он погиб? В России, которую вымечтал себе и которая буквально разорвала его на части (если не физически, то психически). Почему же во все переломные эпохи

постсталинской России театр и кино обращаются к князю Мышкину? Что они в нем ищут — после свержения кумира на XX съезде и после провала перестройки? Почему так звучали в устах Смоктуновского слова Мышкина: «добра ли она»? Почему в нем ищут эталон добра среди нравственного хаоса?

Недавний сериал сделан наскоро, удались только сцены, где готовый сценарий оставалось лишь выписать со страниц романа. Дальше первой части Пырьев когда-то не пошел, почувствовал трудность и отступил — а современные постановщики пошли и потеряли Мышкина в суете, отодвинули его в тень генерала, укравшего бумажник, в тень Лизаветы Прокофьевны и т.п. Но я не буду разбирать неудачи; их можно извинить трудностью текста и краткостью сроков, поставленных министерством, решившим, наконец, бороться с эстетикой бандитской шайки. Достоевский был болен, в период работы над романом перенес тяжелый припадок, многое забыл, многое с трудом вспомнил. Целостная экранизация «Идиота» — задача нелегкая, она требует долгих предварительных размышлений, долгого выявления мышкинского в Мышкине, когда он оказывается на втором месте или почти что у позорного столба. В таких случаях надо бы вспомнить замечательного ливанского поэта-мистика Халила Джибрана: «...и побежденный, он знал, что он победитель», дать хоть тень этой внутренней победы. Иными словами, надо было долго и серьезно думать, почему неудачник оказался нужен культуре? Почему он оказался победителем в сердцах читателей?

Нетрудно доказать, что Мышкин, попав из швейцарского одиночества в столичную суету, запутался и погиб, ничего доброго не выполнив. Религиозные филологи это прекрасно сделали и осудили неудачу Достоевского, который сам как будто ее исправил в Алеше Карамазове. Но почему неудача захватывает сердца больше удачи? Я не оспариваю, что Алеша Карамазов — удача. Именно эстетическая победа неудачи над удачей — моя проблема. Когда-то я посвятил целое эссе философии неудачи, но не буду его повторять и не буду ссылаться на Екатерину Федоровну Колышкину, в замужестве баронессу де Гук, а потом Дохерти, писавшую, что и Христос, с обыденной точки зрения, неудачник. Чего он добился, креста? Куда он привел учеников — на крест?

Я думаю, что в нашу запутанную эпоху одна только духовная нищета, не зная ничего, знает главное, знает смысл целого. И это объясняет, может быть, почему тени духовно нищих, подвергшиеся преследованию на своей родине, нашли политическое убежище в Голливуде. Почему Джон Кофи, негр-чудотворец из фильма «Зеленая миля», говорит слова, которые мог бы сказать Мышкин: «Я многое знаю... хотя я ничего не знаю». И откуда это сходство чудесной проницательности Кофи и Мышкина при незнании элементарных фактов жизни?

Оставаясь в рамках реалистической картины мира, можно сказать, что раскованность глубинных слоев мозга может быть следствием за-

торможенности других, более поверхностных, активных в логической работе мысли, анализирующей и связывающей атомарные факты. Большой мозг может быть обращен к целостности мира именно потому, что он не замечает частных, проходит мимо них и не запутывается в них. А дальше начинается художественная гипербола. Художник гиперболизирует возможности мудрого безумца до порога сказки (у Достоевского) или пересекая этот порог (в американском кино).

Правда, Мышкин стоит несколько особняком. В месяцы своего просветления он заставляет устыдиться собеседников, считающих его идиотом. Аглая правильно говорит, что ум его — «главный ум», в противоположность уму статистически среднего человека, нацеленного на овладение частностями. Но в конце концов, это только проблеск. Слишком крутой перевес «главного ума» делает человека неустойчивым, уязвимым, не приспособленным к жизни на поверхности бытия, не способным вынести ее ударов. Поэтому равновесие Мышкина в первых главах, когда он, с обиденной точки зрения, странен, но не безумен, очень неустойчиво, может в любой момент обрушиться в припадке, и в конце концов рушится вовсе.

Все это позволяет рассматривать Соню, Марью Тимофеевну, Мышкина, Джона Кофи и Фореста Гампа как одну группу. У Сони тоже есть главный ум (хоть и слабый), Марья Тимофеевна тоже блещет прозрениями. С другой стороны, образ России, сложившийся в уме Мышкина в швейцарской дали, не ближе к реальной России, чем князь Марья Тимофеевны — к Ставрогину. Безумие переплетается с мудростью, мудрость с безумием.

Почему это увлекло весь мир, от Израиля до Японии? Почва, за которую ратовал Шатов, осталась достоянием кружка почвенников. Мир откликнулся на поиски почвы в глубине сердца, открытие глубинных пластов, где царят любовь и скорбь, где свет во тьме светит и тьма не объемлет его. Как идея — это не ново. Уже для Николая Кузанского выход был найден в ученом незнании всей сложности мира, в отодвигании всей сложности в тень. Но искусство Достоевского и его отголоски проповедуют не идею, а живую жизнь, окруженную бурями страстей, страдающую и гибнущую. Оно захватывает нас, как Мышкина, бегущего за уносящейся тройкой Рогожина.

Современный мир еще больше, чем XIX век, верит в логику и еще больше стонет от нее (как математик и романист Александр Мелихов). Точные методы кажутся лучшим способом решения любого вопроса. Никто не вспоминает урок Нагарджуны, показавшего, что любое логическое предложение — ложь по отношению к целому, рассекая живое целое на субъект и предикат и затем связывая мертвые обрубки мертвым «есть». Точность — функция логически корректных операций с мертвыми объектами мысли, с атомарными фактами, отрезанными от живой бесконечности. Ничего нельзя точно сказать о бытии, открытом

бесконечности, о личности, открытой бесконечности в глубинах своего сердца. Четыреста лет пишут о Гамлете — и ничего точного мы не узнали. Хайдеггер, в статье «Время картины мира», писал, что сама точность и честность мысли заставляет признать, что в гуманитарной области точные методы неприменимы (или, если осторожнее высказать эту мысль, точность возможна во вспомогательных гуманитарных дисциплинах, но не в понимании истории, литературы, искусства как целостных явлений). В начале 60-х годов, во время увлечения структурализмом, я попытался приблизиться к точным методам — и увидел, что во всем, дающем смысл жизни, они бесполезны и более того — лживы, создавая иллюзию понимания там, где понимания нет.

Чем больше мы анализируем целое, тем дальше мы от него уходим. Целостность Бога, личности, поэтического образа открывается только сознанию, совершенно осовободившемуся от эго и его рассуждений. Знамение времени — популярность современного католического эссеиста Энтони де Мелло, писавшего, что философия — это болезнь, от которой излечивает просветление, и тогда языком истины становятся притчи — и молчание. Исходные тексты, на которые опираются великие цивилизации, метафоричны и требуют разъяснения. Но с каждым шагом разъяснения мы что-то теряем, и высшим источником истины остаются самые простые: гимны Ригведы, притчи Евангелия. Заканчивая анализ «Короля Лира», мой учитель, Леонид Ефимович Пинский, сказал мне: «Единственным адекватным суждением о “Короле Лире” остается “Король Лир” Шекспира».

Из всех способов толкования загадочных текстов, в которых как-то запечатлен внутренний стержень личности, внутренний стержень культуры, лучший способ — старомодное вчувствование и сопереживание (ЕгШипд ипд КаеБегЛеБеп), субъективность, доведенная до бердяевской трансубъективности, или — используя язык Востока — до выхода за двойственность субъекта и объекта и всякой двойственности. На этом пути толкования могут раскрывать метафоры, не разрушая их. И все же образы, подводящие к почве, которая внутри нас, тем ближе к ней, чем меньше они отягощены разъяснениями. И Мышкин ближе к ней, чем Алеша, в создании которого чувствуются некоторые богословские предпосылки. И творчество Достоевского, в его первозданной близости к хаосу, к структуре вихря, грозящего опрокинуть читателя, дает один из самых мощных толчков к восстановлению нашей внутренней почвы, нашего внутреннего стержня, не успевшего окрепнуть в детстве и сломенного в школьные годы. Этот импульс мощнее, чем все попытки разъяснить Достоевского. При всей необходимости подобных попыток.

Если рассматривать князя Мышкина или Джона Кофи как существа из плоти и крови, то они нежизнеспособны. Мышкин слишком хрупок, и относительное равновесие, которого он достиг, — только просвет между безумием и безумием. Джон Кофи устает от своей

сверхпроницательности, устает смотреть в глаза уродству жизни и не хочет спастись от смерти. Но культуре нужны их образы, так же как нужен Дон Кихот Ламанчский, влюбленный в свою Дульцинею. Культуре, зашедшей в духовный тупик, нужны противовесы, нужны гиперболы главного ума, торжествующего над здравым смыслом. Нужны — чтобы точно действующий разум не стал убийцей культуры.

Об уровнях глубины

Что такое глубина? Та самая, в которой Августин не увидел зла? Эту глубину созерцал Гераклит как вечно живой огонь, а Мертон понял как огонь любви: на поверхности вражда и войны, а в глубине — любовь. Это огонь без дыма, там сгорает обида, возмущение, желание справедливой расплаты, правосудия... Это тот уровень нашей душевной жизни, где личность — залив, слившийся с океаном. Это уровень, на котором Иов услышал Бога, прикоснулся к его бесконечности и потопил в ней всю боль. Но это только метафоры, подобные метафоре созерцания, найденной Мертоном: как будто ты прикоснулся к Богу или Бог прикоснулся к тебе.

Мы попадаем в порочный круг: глубина — это уровень, где прикасаешься к Богу; а Бог — имя реальности, осязаемой на последней глубине. Логика здесь зашкаливает. Каждое определение есть отрицание, установление пределов, берегов. Но последняя глубина бескрайняя, в ней нет никаких пределов и никакой двойственности, доступной анализу. Там исчезают человеческие понятия, в которых мы запутываемся, подходя к Богу, и остается только Бог, не постижимый умом и осязаемый только сердцем, полным любви, переполненным любовью, так что любовь изливается на всех, не различая добрых и злых.

Почувствовав эту глубину, люди прощают своих врагов, отбрасывают вражду, как ветхое платье, — не побеждают свои страсти, а освобождаются от них, как от засохших струпов. Если есть борьба, если необходима победа — глубины еще нет и надо искать глубины, искать созерцания, в котором глубина раскрывается перед внутренним взором и в ней — тишина, безветрие духа. Нет логических проблем. Остается только «главный ум» — целостное видение целостной реальности. Целостный ум плохо различает подробности, противоречия, которыми мы живем. Целостный ум путает вещи, которые мы легко различаем, и кажется идиотским. Мышкин подобен глубоководной рыбе, вышвырнутой на поверхность: она обречена погибнуть, если не успеет нырнуть назад, в глубину. Мышкину кажется, что можно спастись, нырнув в светлую душу Аглаи, сумевшей понять главное, но наталкивается на чувство собственности, на желание *владеть* главным, — и все рушится.

Рыбам не надо менять уровни жизни. Они приспособились — каждая к своему уровню. А человеку надо чувствовать в себе много уровней глубины, чувствовать лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Он так задуман, и в нем есть возможность открыть в себе

более глубокие уровни и потом научиться переходить на поверхность и возвращаться вглубь. Мышкину его глубина была дана как-то внезапно, без школы переходов, и он гибнет от своего «идиотства», от своего неумения восстанавливать родную глубину, когда его вышвыривает в бури на поверхности вод. Вторжение «человеческого, слишком человеческого» в неотделимость от глубины каждый раз кончается припадком и, наконец, совершенным безумием. Если бы Аглая поняла свою задачу защищать Мышкина каков он есть, открытого каждой боли до юродства, если бы она стала проводником слепого (слепого от открытости другому свету), — Мышкин мог бы жить среди нас, зрячих к быту и слепых к Богу.. Но поводыря не нашлось.

Обязанность поводыря — редкий случай, потому что идиоты, подобные Мышкину, очень редки. Первый шаг духовного долга — просто присмотреться к своей душе и увидеть в ней верх и низ, а потом и целую лестницу уровней. Евгения Гинзбург заметила это в одиночке, насильственно оторванная от быта. Многие этого и вовсе не замечают и не могут понять, что люди находят в Бахе и что такое чуткая совесть, голос глубины, страдающей от горошин на нравственном ложе. Достоевский называл совесть действием Бога в человеческой душе; но Бог и предельная глубина — сливающиеся понятия, и можно просто говорить о голосе глубины или что «грех — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной» (Антоний Блум).

За последний век наука открыла целый ряд глубин; но все они на поверхности, сравнительно с метафизической глубиной. Комплекс Эдипа, комплекс неполноценности — это какие-то подкожные глубины, уровень болячек, незаметных для глаза, но чувствительных при первом нажиме. Если образ глубокого сердца — князь Мышкин, то комплексы Фрейда и Адлера — это уровень Гани Иволгина (особенно комплекс неполноценности). Застарелые детские обиды, к которым страшно прикоснуться, создают бури страстей, взрывают бомбы, переворачивают государства, но в вечно живом огне последних глубин они сгорают без следа, вспышка — и нет их. Мы живем во власти бурь, потому что живем мелко, и сами наши страсти, взрывы ненависти, губящие миллионы людей, — духовное ничто, овладевшее массами и ставшее материальной силой, силой пустоты, в которую проваливаются города и целые страны.

Духовное нечто можно увидеть в архетипах коллективного бессознательного, теорию которых разработал К.Г. Юнг. Архетипы — абстрактные образы, к которым тяготеют мифические персонажи разных народов. Это аштитз (идеально мужественное как человек и как Бог), ашта (икона женственного и женственное как икона), демон, противоречайший воле богов (вторжение поверхностных страстей на уровень святой глубины) и т.п. Развитие образа Марии, матери Иисуса, в Богородицу (которую Милош предлагал включить в Троицу) можно истолковать как проявление архетипической воли, поддержанной божественными парами

средиземноморских язычников. Там, где ничего подобного Озирису и Изиде не было, у племен пустыни, откровение мужественного духа осталось незбылемым. Женственное проникло в ислам только в образах доисламской поэзии, подхваченных стихами суфиев. В иудаизме глубинно женственное также присутствует только в туманных образах мистиков. Единственный языческий архетип, вошедший в обиход всех монотеистических религий, — Противоречащий, Сатана. Остальные остаются в народных реликтах язычества (например, мать-сыра земля).

В любом случае архетип — только пред-икона, предобраз мистических видений, образ, помогающий воображению прикоснуться к вне-образному, пережить реальность Бога, которого не видел никогда и никто. В Христе такой иконой становится человек, и слово «святой» распространяется с Бога на сынов Божьих (в Ветхом Завете свят только Сущий). Этот процесс завершается в мистике. «Второе Пришествие совершается в душах святых», — пишет Рейсбрук, а Силезский Вестник еще резче: «Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?». Большинство христиан не решаются повторить, вслед за Иоанном Богословом, во множественном числе — «сыны Божьи». Слово «Сын» твердо закрепляется за Христом. И Христос не только усаживается «одесную Славы», но подменяет «Славу», становится Вседержителем. Сам Христос никогда не считал себя равным Богу. Он чувствовал свою неотделимость от Бога, но единство не есть равенство. Христос согласился бы с определением Шанкары: капля тождественна океану, но океан не тождествен капле. Можно выразить это и моей любимой метафорой: Сын Божий един с Отцом, как залив с океаном, но залив не равен океану.

Говоря языком Библии, Бог не разгневается, если блудный сын прильнет к Нему до совершенного единства, до соединения двух сердец в одном большом сердце. Бог ждет этого, требует от человека. «Слава Божия — до конца раскрывшийся человек», — писал св. Ири-ней (и цитирует Антоний Сурожский). В какие-то минуты каждый человек способен почувствовать прикосновение к океану. Бог вездесущ и присутствует в каждой травинке. Человеку дана сверх этого способность осознать Присутствие. Когда человек сознает это, он не нарушает воли Бога, как раз напротив: без осознанного Присутствия в святых Бог был бы неполон, и человек обязан стремиться к святости. Но человек остается несовершенным и смертным, смертным воплощением бессмертного духа, конечным осуществлением бесконечного, реальностью вечного в хрупкой, брэнной, мгновенной плоти. До конца раскрывшийся человек глубинно причастен к бытию Бога, но ему постоянно грозит богооставленность. Ему постоянно грозит смерть.

Слова Рейсбрука, что второе Пришествие совершается в душах святых, включает в себе импульс к еще более дерзостной мысли. Я думаю, что и первое совершилось в смертном человеке, естественно зачатом и рожденном. Иисус Христос был человеком, полностью вы-

полнившим свою задачу, полностью очистившим Богу место в своей душе. Но в вечности все смертные воплощения Бога сливаются в бессмертной второй ипостаси, и Воскресение есть несколько видений этой вечной реальности, данных ученикам Христа.

Можно представить себе вечность как точку, вокруг которой вращаются времена. И в этой точке все времена сходятся, сливаются, и все существа, вместившие в себя осознанное присутствие Бога, сливаются в Боге, в одном из поворотов божественной бесконечности. Вечность можно мыслить не вне времени, а внутри круговорота времен, в его предельной глубине, в недвойственности абстракций: вечности и времени.

Однако будем помнить, что мысль изреченная есть ложь, слово помогает причаститься незримой и непостижимой сущности, но оно никогда не равно этой сущности. И на всякий соблазн высказанности Яджньявалкья восклицал: «Не это! Не это!». В Брихадараниякеупанишаде дается ряд определений предельной глубины. И на каждое определение Яджньявалкья отвечает: «Не это! Не это!». Здесь значимо и напряжение попыток определить атман, и разрушительная молния: «Не это!», приобретающая весь свой смысл только в потоке попыток вместить бесконечно глубокое в смертное, конечное слово.

Опыт Майкельсона

В 1938 г. я подружился с Агнессой Кун. Меня захватило достоинство, с которым она держалась у позорного столба при исключении из комсомола за потерю политической бдительности. У меня самого бдительность только притупилась: мой отец был пешкой, бухгалтером, когда-то с кем-то знакомый. Мне полагался выговор. Такие выговоры были примерно у третьей части студентов. Другое дело Агнесса. Ее бдительность была потеряна безвозвратно, в отношениях сразу с тремя: отцом, Белой Куном (имя которого тогда знал любой школьник), с матерью (заодно тоже посадили) и мужем, поэтом и прозаиком Анатолем Гидашом (имя у литераторов тоже на слуху). Дочь вождя венгерской революции держалась так, как только на сцене бывает, когда исключают идеального коммуниста, который и в этом качестве, как исключаемый из партии, держится как идеальный коммунист. На сцене кто-то должен был выступить в ее защиту, и я готов был поднять руку. Но выступили ее подруги, занявшие на бюро неправильную позицию. Они защищали Агнессу, а теперь, на общем собрании, — полностью отреклись и заклеили свою слабость. Я опустил руку, которую уже наполовину поднял. Мы с Агнессой только раскланивались. Я ни разу с ней ни о чем не говорил.

Оставалось познакомиться после исключения. Я зашел в комнату, оставшуюся неопечатанной, и мы с ходу проговорили несколько часов. Сталина я назвал трусом, готовым расстрелять сто невиновных, лишь бы не уцелел один, способный выстрелить в него (на большее у меня ума не

хватило). Тема была смертельной, и мы побратались доверием. Когда я уходил, сердце мое пылало. Но между нами лежала, как меч Тристана, невозможность даже мысленно соперничать с человеком в тюрьме. Я выдержал шесть недель, пока пламя не стихло, и зашел второй раз. После этого опять не приходил дней двадцать. При третьем заходе симпатия улеглась в законное русло. Мы стали друзьями.

В комнате с мебелью красного дерева, избежавшей конфискации, собиралось несколько человек, чувствовавших обаяние Агнессы. Старше нас ненамного (меня — на два года), она вышла замуж шестнадцати лет за человека, которого полюбила в двенадцать, и прожила с ним как с мужем шесть лет. Нечего говорить, что она намного превосходила нас опытом. «Как старший товарищ, неглупый и чуткий», Агнесса всех нас немного развивала. Из ее уст я расслышал интимную лирику Тютчева (а не только философскую, в которой тонул, как в омуте), потом принял и Блока. Однажды она спросила: «Мне любопытно, как такие мальчики, как ты и Нёма, влюбляются?». Я промолчал. Другой раз вопрос был сооружен тоньше: «Какие у тебя любимые слова?». Тут я сразу ответил: «Холодное пламя». Агнесса кивнула головой и сказала: «А у меня — сдержанная страсть». Это прозвучало как синоним, как перевод моего туманного юношеского чувства на более конкретный язык.

Впоследствии мы с Агнессой раздружились, но я вспомнил ее слова, читая статью Дмитрия Комма «Горячая жажда вечности» («Искусство кино», 2004, № 5). Статья лаконично передавала развитие студенческой революции 1968 г., и я почувствовал аналогию с зигзагом истории ХУ—ХУТ вв. Студенты пытались осуществить Телемскую обитель, вынесенную в массу, на площадь. «Делай, что хочешь». Желания сердца, ума, желудка и чресел в массовом масштабе закрутились на одном уровне, и высшее, всегда хрупкое, стремительно пожиралось низшим. Безудерж исторического времени катится не к вечности, а к свинству. На горизонтали свинское всегда имеет больший рейтинг, чем божеское. И не случайно за разгулом Возрождения последовал XVII век с его пафосом Долга и старой лестницей мистического опыта, на которой горизонтальная площадка — только минута отдыха по пути вверх. Не ждет ли аналогичный зигзаг постмодернистский Запад? Мой старший пасынок, друг и наперсник Венедикта Ерофеева (к сожалению, оба уже умерли), был влюблен в XVII век. Может быть, Володя Муравьев что-то угадывал? Может быть, дух перехода к чему-то сходному можно угадать и в «Возвращениях» — кинофильме Звягинцева?

Прямая аналогия с великанами Рабле почудилась мне в «творчестве Расса Мейера, с его феерическими актами совокупления в лесах и на горах, где женщина — всегда природная стихия и мистическая богиня плодородия с огромными, как у языческих идолов, грудями» (из той же статьи). Если отвлечься ото всего, кроме физического гигантизма, то Гаргантюа и Пантагрюэль так же воплощали идеи Пико делла Ми-

рандолы о всемогуществе Человека, как творчество Расса Мейера — идеи молодого Георга Лукача и Герберта Маркузе (которых Патрик Бьюкенен считает виновниками смерти Запада). Но воплощение у Мейера было примитивным, как телеграфный столб.

Смотреть такие плакатные фильмы я бы просто не стал. Но (может быть, читатель удивится) мне скучна и картина сладкой жизни, явно ведущая к опустошенности и петле Ставрогина. Возникает взгляд с планеты смешного человека на вселенски глупую Землю, не способную понять, что свобода структурна, иерархична и путь любви — это власть сердца над чреслами, это способность использовать давление гормонов, как флейтист — силу своего дыхания.

Признаюсь, что и «8 'А» вызвал у меня мучительную скуку. Проверяя свое впечатление, я недавно еще раз просмотрел знаменитый фильм, с начала до конца. Очень скучно. Герой — импотент сердца. Он действительно очень плохой любовник (это верно заметила одна из актрис). Ему не приходит в голову, что вся проблема сексуальных связей с кучей женщин, не затрагивающих сердца, «достойна старых обезьян хваленых дедовых времен», и зритель, помнивший «Дорогу», «Ночи Кабирии», «Репетицию оркестра», с огорчением жалеет о потерянном времени. То, что в «8А» удалось, сцены детства, гораздо лучше получилось в «Амаркорде». А тема любви... лучше бы Феллини ее не трогал.

Наговорив столько ереси, противоречащей всем соборам постмодернистской церкви, я чувствую необходимость сослаться на классические примеры. Существует письмо Шопена Жорж Санд, что в ноктюрне, который он ей посылает, запечатлена музыка только что проведенной с ней ночи. И существуют «Рассказы русской странницы» Екатерины Федоровны Колышкиной (баронессы де Гук).

Колышкина коротко описывает, как влюбился в нее журналист Дохерти, писавший книгу о ее подвижнической жизни. И как она ему отказала, потому что не могла оставить Дом дружбы в Гарлеме. А Дохерти через неделю пришел к ней снова и обещал, что распродаст все свое имущество, раздаст бедным и будет жить с ней в трущобах. Эту клятву он повторил перед архиепископом, и их повенчали, с медовым месяцем в три дня. Невесте было сорок семь, жениху еще больше. До его смерти они счастливо прожили тридцать два года и за это время только один раз поссорились. Вдвоем они основали третью общину Колышкиной, в Канаде: там жили и монашествующие, и супружеские пары. Отголоски счастливого брака чувствуются во многих поучениях, рассыпанных в книгах Колышкиной о созерцании. Екатерина Федоровна умерла в канун перестройки, но сестры ее общины создали подворье в Магадане и издают ее книги по-русски. Я неоднократно цитировал «Пустыню». К сожалению, две другие книги ее трилогии — «Соборность» и «Странничество» — до меня не дошли. Религия Колышкиной

(католицизм с элементами православия) так же нестандартна, как образ ее жизни. Мне она во многом близка.

После двух классических примеров я чувствую возможность поделиться своим собственным опытом. Но у меня об этом опыте десятки страниц, особенно в «Записках гадкого утенка», а кусками и в других: «Две широты» в книге «Сны земли», кое-что в книге о Достоевском «Открытость бездне». Многого повторяется, и не хочется совершить еще повтор. Ограничусь двумя-тремя отрывками.

Когда началось у меня с Ирой³, она предупредила меня: самое опасное препятствие для любви — когда не остается никаких препятствий. У Иры был очень большой опыт, но женский, а это задача мужчины. Выбравшись из-под глыб быта, оставшись вдвоем, я понял, что Ира права. Пришлось сосредоточить сердце, ум и волю на одной задаче. Меня называли люмпен-пролетарием умственного труда, я не написал ни одной путной строчки, но я нашел стиль жизни, при котором любовь не растекалась, как кисель, а разгоралась. Потом Ира попыталась вырваться из назначенного ей врачами срока — жить не больше десяти лет — и умерла на операционном столе. Я несколько месяцев умирал вместе с ней.

Мне помогла забота о пасынках — и фронтовая, а потом тюремная привычка держать удар. Не знаю, что важнее. В сердце оставалась дыра. Смерть одной женщины разрушила весь мировой порядок. И вдруг меня восстановило стихотворение «Бог кричал», и я с утра до вечера впитывал стихи, переключавшиеся с этим, главным.

Впечатление было огромное, но далекое от эротики, как небо от земли. Образ Бога, самого страдающего в каждой страдающей твари, не жертвующего сыном, как Авраам, а собой жертвующего, сразу вошел в мое сердце. Я принял Его как откровение: Бога, творящего мир из самого себя, присутствующего в каждой твари и полностью страдающего и живущего в каждой твари, перекрывая все страдания радостью творчества. И я, человек, мог сквозь страдание, сквозь все свои потери участвовать в Божьей радости.

Автор этих стихов казался мне одетым в бронзовые одежды. Только через несколько месяцев я разглядел за ними больную девушку, пленницу семьи, где ее не понимали, и скованную страхом грубого мужского прикосновения. Я написал эссе «Пух одуванчика», по мотивам записи в дневнике Иры: «Снилось прикосновение, легкое, как пух одуванчика». Эссе не было личным письмом, но какую-то атмосферу несло, и через месяц Зина прочла мне — тоже без прямого адреса — сказку «Фея Перели», с которой теперь начинаются все сборники ее сказок. Там разъяснялось, при каких условиях феи выходят замуж: надо поймать глазами живую изумрудину из ее глаз. Я уже поймал изумрудину 19 июня, слушая стихи; и с 12 февраля 1961 года мы не расстаемся. Ни одно стихотворение не переписывается начисто без моего согласия. Ни одно мое эссе, затрагивающее духовные проблемы, не печатается без

исправлений, на которых настаивает Зина. А одну книгу — «Великие религии мира» — мы написали вместе, и читатели не знают, кто какую главу написал.

Ира и Зина совершенно не похожи друг на друга. Когда Ира слушала музыку, можно было следить за партитурой по ее лицу, вплоть до финала, когда она с изнеможением откидывалась на спинку кресла. Зина собиралась в один комок и вдруг поворачивалась ко мне глазами, в которых музыка слилась в пылающий сгусток, и не дай Бог, не прими этот сгусток из глаз в глаза.

Другой пол — это великая тайна, тайна другой эмоциональности, другой интуиции, других ходов мысли, других глубин. И эта другая глубина должна стать твоей «половинкой». Платоновская половинка, заранее заготовленная, со всеми необходимыми подробностями, — только миф. Можно угадать способность к большой любви и пойти ей навстречу, а дальше действует любовь. Это не притирка, не стирание острых углов (хотя есть и такое в супружестве), а рост, развитие, становление нового. И только через годы приходит чувство другого как части твоей собственной души.

Помню, как я сделал решительный шаг в Зинину вселенную: сел на пирс возле моря и просидел на корточках часа полтора, погружаясь в вечерний туман и всплески волн... Потом я стал гражданином этого царства. И с весны 1962 года, в Рублевском лесу, у меня вдруг стали складываться обрывки эссе, да так и складываются больше сорока лет подряд. Все мои книги — сборники таких эссе. От больших систем я решительно отказался, большие конструкции нельзя проверять сердцем, и неизвестно, где логика уходит в тьму внешнего. Мир, в котором мы живем, не делится на части. Вернее, неделим стержень этого мира, к которому все возвращается. Я не могу показать это без двух-трех стихотворений Зины. Только после них возможен мой комментарий:

Вот он звучит — тишайший в мире рог —
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,
Вдруг отзывает ото всех дорог,
Из тела вон выманивает душу.
Когда сей гром, сей рог тебя настиг,
Он протрубил: «Готовься к предстоянью!
Сейчас наступит вожделенный миг —
Века обетованного свиданья!»
Сейчас... сей час... все глубже внутрь. В упор.
И — собран дух. Аз есмь! И вот тогда-то
Выходишь ты в торжественный простор,
В великую расправленность заката.
И тянутся объятия зари,
И в этом нескончаемом полете —

Единый возглас: «Господи, бери!»
О, убыль мира! Истончение плоти!..
И Он тебя поистине берет,
Тот, кто насущней воздуха и хлеба,
И длится нисхождение высот,
Земле на грудь приникнувшее небо..
И после полной близости, такой Пронзительно
мгновенной и бессрочной,
Приходит тот прозрачный покой,
Который люди называют ночью.
Хрустальный час. Он бережно принес
Желанный отдых. В тишине высокой
Дрожат крупинки благодарных слез,
Непролитых из замершего ока.

Это очень точное описание вечера в Паланге. Близость начинается в общем созерцании стволов сосен, краснеющих в предзакатных лучах. Потом мы переходим через дюны — навстречу солнцу, садыщемуся в море. Это пик космической литургии. Будет ли еще одна страстная вспышка, перед тем как заснуть, — не важно. Я не запомнил, была ли она или нет. Ночь — «желанный отдых» после огня, из которого вышло сердце.

Даже в стихотворении, написанном после ночи в пустой даче, нельзя отделить близость мужчины и женщины от космоса и Бога.

Нарастанье, обступанье тиши...
Нас с тобою только сосны слышат.
Прямо в небо, прямо в сердце вниди...
Нас с тобою только звезды видят,
Наклонившиеся к изголовью.
И остались мы втроем — с Любовью.
Для того лишь и замолкли звуки,
Чтоб Она смогла раскинуть руки.
Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб Она смогла расправить тело.
Задрожали, растеклись границы,
Чтоб Она сумела распрямиться,
Каждый миг ушедший воскрешая...
Боже правый, до чего большая!
Боже святой, до чего огромна!
Кто сказал, что Ей довольно комнат?
Кто задумал поместить под крышу Ту,
которая созвездий выше?
Кто осмелился назвать мгновенной Ту,

которая под стать Вселенной?!

Любовные стихи в узком смысле слова Зинаида Миркина стала писать только на старости лет, из чувства тревоги, что я умру раньше и она останется в одиночестве.

1

Мы два глубоких старика.
В моей руке — твоя рука.
Твои глаза — в глазах моих,
И так невозмутимо тих,
Так нескончаемо глубок
Безостановочный поток Той нежности,
что больше нас, Но льется в мир из
наших глаз, Той нежности, что так
полна, Что все пройдет, но не она.

2

Мой сокровенный, тайный мой, Какою
бездною немой,
Каким безбрежьем тишины
С тобой мы соединены!
Я, в душу погружаясь твою,
До дальних далей достаю.
С минуты первой до сих пор Из
глаз в глаза течет простор.
Весь бесконечный небосвод Из
глаз моих в твои течет,
И нету ничего священной
Легчайшего прикосновенья.
Оно — как тихое моление И
тайное богослуженье.
Глаза в глаза, ладонь в ладонь,
И — разгорается огонь,
Который все солнца зажег,
Который высекает Бог.

Я прилагаю эти стихи как документ опыта, подобного опыту Майкельсона⁴. Допустим, что другого такого нет. Достаточно было одного опыта Майкельсона, чтобы пошатнуть здание физики Ньютона.

Студенческая революция 1968 г. рванулась по архаическому пути, по затоптанной и опошленной дороге в Телем. Ей надо было повернуть из «ньютоновского» пространства в «эйнштейновское», коснуться «релятивистских скоростей», заложенных в самом естестве, к высокому

напряжению духа. Вместо этого она рванулась к химическим стимуляторам, и нарастает угроза гибели.

Я разделяю чувство западных шестидесятников, что наша цивилизация оторвала человека от естества и от тайны, скрытой в естестве, от мистического чувства связи плоти с царствием, которое внутри нас. Я согласен, что в техногенном мире только порыв, связывающий женщину с мужчиной, не удалось полностью механизировать, и поэтому чуть ли не все естество, доступное в сутолоке дней, — это соприкосновение половых органов, все менее связанных с сердцем. В терминах кибернетики оно часто может быть описано как биологическая машина. Но из механической скуки нельзя вырваться никакой революцией, ни политической, ни сексуальной. Только через паузу созерцания, через тишину природы, через тишину и глубину, схваченную в музыке, поэзии, живописи великих эпох, через восстановление контакта с собственной глубиной и, наконец, через культуру сдержанной страсти, при постоянном духовном усилии — не терять власти сердца над нажимом гормонов (противоположный случай описан в письмах Цветаевой Бахраху).

Я считаю глубоко верной библейскую формулу: Адам познал Еву. Сближение мужчины и женщины — акт расширенного познания, акт выхода из абстрактной односторонности своего пола. Мужчина по

знает женщину, женщина познает мужчину. И вместе они познают целостный образ Бога, заложенный половинками в мужчину и женщину. Это задача, которую нельзя решить с ходу. Это задача на всю жизнь.

Примечания

¹ Опыт педагогики творчества. Калининград: Издательство университета, 2005. — Далее страницы указываются в тексте.

² Мировому читателю она известна под своей фамилией в первом браке — баронесса де Гук. Баронессе посвящено несколько ярких страниц в «Автобиографии веры» Томаса Мертона, разошедшейся более чем в 20 млн. экземпляров. Там есть биографические неточности, но образ дан.

³ Моей первой женой. О ней — в книге «Сны земли», раздел «Две широты».

⁴ Установившего, что при близости к скорости света объекты меняют свой характер.

Часть 4. Сквозь смуту

В пространстве без дорог

Когда Бакатин баллотировался в президенты, он пошутил: сделать из капитализма социализм — все равно, что разбить яйца и изжарить омлет. А сделать из социализма капитализм — значит превратить омлет в сырые яйца. Шутка мне понравилась, я ее запомнил. В моих глазах она извиняла неудачи Горбачёва, Ельцина, Гайдара. И довольно долго я отказывался критиковать нелепые решения. Я не знал лучших. Только бездействие Москвы, когда армян в Сумгаите три дня подряд резали, насиловали и жгли на кострах, я назвал преступлением. И не только против человечества, а против государства, которым *они* (лидеры) правили. Государство, допустившее резню, дает сигнал к мятежу. Теперь кто смел, тот два съел. И многие (в том числе чеченцы) это поняли. В Сумгаите надо было дать войскам приказ стрелять на поражение, арестованных судить военно-полевым судом и расстреливать — и удержать лавину насилия, которая с тех пор пожрала сотни тысяч. Это во мне заговорил гвардии лейтенант, и я думаю, что он был прав.

А в экономическую политику я по-прежнему мысленно не вмешивался. Еще в 50-е годы мне пришлось прочесть Хайека, Мизеса, прочел и их противников и понял, что в этой области у меня нет интуиции. Послушаешь Ленина — Ленин прав, послушаешь Мартова — Мартов прав, говорил Плеханов на II съезде. Так и я. Другое дело — теория цивилизаций. Удачи и ошибки Шпенглера, Тойнби, Гумилева, Хантингтона я замечал на лету и мог строить собственные схемы. Но экономика... не моя это область, и надо молчать.

Однако шли годы, и мы одни топтались вокруг омлета. В Восточной Европе и в Китае дела довольно быстро пошли на лад. Чехи и поляки вернулись к традиционному порядку, Китай — к чему-то вроде НЭПа в редакции Бухарина и Дэн Сяопина. Видимо, там жарили не омлет, а яичницу-глазунью, в которой каждое яйцо сохранило свою индивидуальность, и главное — не так долго.

В первый же мой выезд за рубеж, в 1990 г., меня спросили (на восточноевропейском семинаре во Франкфурте), почему у нас всё не ладится. И я сразу сказал в ответ то, что могу сегодня только развить: мы на 25—30 лет, на целое поколение дольше вползали в Утопию. Целое

поколение вымерло. Последнее поколение, сохранявшее живую связь с традицией (а без традиций никакая история не складывается, даже в революционные эпохи).

И не поровну вымирали люди. Примерно двадцать лет, от ленинского Красного террора до сталинского Большого террора, осознанно истреблялись или бежали через границу целые социальные слои. Сперва — верхний слой, самый европеизированный; затем — техническая интеллигенция (за мнимое вредительство); затем — не спившееся, не лодырничавшее крестьянство, становой хребет народа, объявленный кулачеством; одновременно взрывались сельские церкви, священников арестовывали, а крестьян, пытавшихся протестовать, записывали в подкулачники. После тайного голосования на XVII съезде (292 голоса против Сталина) были уничтожены реликты ленинской партии, сохранявшей возможность довольно широких дискуссий, критики и исправления ошибок. Вместо нее была создана партия гитлеровского типа, слепо преданная Вождю и готовая шагать за ним в открытую пропасть. Наконец, подозрительной стала армия. И накануне войны арестовано и по большей части расстреляно 80% высшего командного состава, 50% среднего...

То, что мы при этом выиграли войну, трудно объяснить. Помогали союзники? Они и Чан Кайши помогали — удерживать фронт в Сычуани. Территория? Она и в Китае не была до конца освоена японцами. Зима? Но в 1942/43 г. она вовсе не была суровой, и немецкая армия, померзнув в 1941/42-м, оделась потеплее (как и русские после финской кампании 1939—1940 г.). В ноябре-декабре 1942 г. степь была чуть-чуть припорошена снегом. На моих глазах эмка командира дивизии ехала по целине, и по целине же я шагал, выйдя из полуокружения 9—11 января 1943 г. (эсэсовская дивизия, сохранившая только семь танков после разгрома под Тацинской, столкнулась в своем отступлении с нашей дивизией, сохранившей по 10—12 пехотинцев в полку и ни одного бронебойного снаряда). Отчего же попал в плен Паулюс?

Мне кажется, самое главное отметил Достоевский в «Записках из мертвого дома». Каторжники не выносили медленного, методического труда и просились получить урок, то есть выполнить в два раза большее задание, а потом завалиться на землю. Так развивалась год за годом советская экономика: порывами, штурмами. Так развивалась и война. Когда вода доходила до горла, к русскому солдату, офицеру, генералу приходило второе дыхание, энергия стресса. Илья Муромец слезал с печи и совершал геройские подвиги. Любимой нашей песней в 3-м батальоне 291 гв.с.п. была песня про Ермака, и с особым вдохновением пелось: «Беспечно спали средь дубравы.»

Подчеркнутое слово я всегда произносил с дрожью в сердце. Касок мы никогда не носили. Пароля и отзыва я *никогда* не знал. Спрашивали в темноте, — я отвечал «свои». Немецкие разведчики спокойно отвечали

так же и проходили сквозь наши боевые порядки...

В мирное время, на современном производстве, так действовать нельзя. Катастрофа в Чернобыле — одно из следствий беспечности. Но и выигранная война — тоже. Беспечность — изнанка легкости, изнанка полета над страхом, который хотя и не всё, но многое решал.

В упомянутый уже первый мой выезд на Запад, в Висбадене, я был поражен, что на заводе нет склада готовой продукции. «Вы никогда не перевыполняете плана?» — спросил я хозяина. «Зачем? — возразил хозяин. — Мне заказали столько-то деталей к такому-то числу. В назначенный срок приезжают грузовики и забирают с конвейера последнее». Этот немецкий образ дееспособности, очевидно, лучше в экономике, но на войне победа, достигнутая строго, по плану, может обернуться поражением. В 1941 г. Красная армия была разгромлена. Остатки отступали в хаосе, но в этом хаосе отдельные части продолжали сопротивление, видимо бессмысленное, и продержали немцев до жестоких морозов. Геббельс объяснял это примитивностью русского характера, неспособностью понять, что война проиграна. Но Геббельс сам не все понял. Типического русского солдата хаос не деморализует, наоборот — вдохновляет на упорство отчаяния. И победа вермахта выдыхается, кончается новым, более растянутым фронтом, большей опасностью прорыва растянутых линий.

Вермахт победил в 41-м году — и покатился назад. Тогда русским помог мороз. Но еще одна победа, в 1942 году, кончилась тем же без помощи мороза: видимо бессмысленным упорством Сталинграда, энергией стресса, повторявшейся еще раз, когда отступить было некуда — как в Одессе, Севастополе, Ленинграде, Туле. Я разговаривал с сержантом Лагутиным, поседевшим в Севастополе, в штыковых боях. Я видел своими глазами краешек Сталинградской битвы. Да, была пальба с левого берега Волги по своим, пытавшимся бежать, — но было и мужество отчаяния, вдохновение полета над хаосом. И в конце концов хватило двух наскоро подготовленных танковых корпусов, чтобы окружить Паулюса и переломить ход войны.

И тогда чело Сталина увенчал венок победы. И тогда случилось великое несчастье: сталинский стиль врезался в сердце народа. Еще плетутся за пенсией бабки-долгожительницы, помнящие «блядскую» коллективизацию, упоение лодырей и пьяниц, грабящих зажиточные семьи. Но все перекрыла победа. И народ, ничего не получивший от перестройки, все чаще повторяет: нужен новый Сталин.

То, что не нашлось в партии ни одного Дэн Сяопина — это *их* позор. Или *их* несчастье: все головы, возвышавшиеся над посредственностью, безжалостно срубались. Уцелели только ничтожества. Первым секретарем после Сталина не мог стать ни один выдающийся человек. И ничтожества грызлись с ничтожествами, принимая ничтожные решения. Ладно, это *их* дело. Но то, что мы, постсоветское общество, за десять лет относительной

свободы не сумели создать ни одной путной партии (а следовательно — и парламента), — это *наш* позор. Прежде всего позор, а потом уже несчастье. Потому что во время войны совокупность несчастий была побольше, и все-таки позора не было: мы победили. А в 90-е годы победил мертвый груз прошлого: КППРФ на левом фланге, Патриархия, подобранная КГБ, — на правом, а в экономике — переплетение теневого капитала с бандитизмом и коррупцией. Тяжкий груз. Но он не объясняет, почему ясной идеи, способной захватить, не было ни у одной политической группы. Разве «Яблоко» — лозунг выхода из политического кризиса? И люди собирались вокруг имен, мгновенно набравших рейтинг и так же быстро терявших его. Вот приедет барин, барин нас рассудит...

Не шло в русском обществе ни одного политического гения, ни одного одаренного политического коллектива. Оказался вещим анекдот, придуманный про патриарха Пимена: будто он, изучив марксизм, пришел к выводу, что конец света возможен в одной, отдельно взятой стране. Как бы ни развернулся кризис западной цивилизации, мы уже сегодня покатались по наклонной плоскости. И я думаю, что это надолго, быть может, так же долго, как в Италии XVI в., в Испании XVII в., в Германии после Тридцатилетней войны.

Только одна остается надежда: на взрыв духовных сил, не признающих власти социального упадка. В период упадка Италии творили Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. В XVII в. были созданы все духовные сокровища, которыми до сих пор гордится Испания (да и вся Европа). В разоренной, униженной Германии, потерявшей две трети своего населения, творил Иоганн Себастьян Бах. А время Рублева?

Когда человек в тупике, он либо впадает в отчаяние, либо уходит вглубь, открывает царствие, которое внутри нас, и находит неистощимый источник сил. Так и народы в глубинах падения находят источники будущего подъема. Так Августин в разоренном, изнасилованном городе писал свою исповедь, которая до сих пор, через полторы тысячи лет с лишим, находит вдохновенных читателей. Ничего другого и нам не остается.

Одной из первых моих статей, опубликованной еще в «Гласности» Сергея Григорянца, была статья, что школа для нас важнее экономики. Через несколько лет я повторил это на совещании в мэрии и был ошкан. Пусть меня ошканиют в третий раз. Я надеюсь, что нашим вкладом в развитие мировой культуры будет то, что я могу здесь только очень коротко очертить: поиски внутренней гармонии во внешнем хаосе, в нарастающей сложности и запутанности цивилизации, которая с каждым веком становится все более сложной, запутанной, все более чреватой срывами в хаос. И в центре моего внимания остается по-прежнему семья, основанная на любви, где дети растут в облаке сердечной нежности; школа, помогающая подростку стать личностью, стать самим собой,

выбрать свое в потоке чужого; и, наконец, — свобода совести в поисках духовной глубины.

Сейчас другое время, другой исторический тупик, другой мыслимый выход из него. И все же что-то общее есть. Чему мы радовались зимой 41/42 года? Немцев, окоченевших от мороза, отодвинули от Москвы совсем ненамного. Крупное продвижение удалось только в сторону Великих Лук. Во второй половине февраля засияло солнце, подмораживало ночью, а днем стало тепло и, главное, — ясно. В синем небе закружились, играя, пикирующие бомбардировщики. Я успел один день полюбоваться ими, а потом меня вывезли, покалеченного и контуженного, на излечение.

В госпитале солдаты делились одними и теми же впечатлениями: не война, а одно убийство. Без поддержки с воздуха мы стали живыми мишенями. Надо было зарываться в землю, а Сталин, не имея опыта современной войны, требовал продолжать наступление. После огромных потерь наступательные боевые порядки легко прорывались, ловушки захлопывались. Дело кончилось катастрофами. На СевероЗападном фронте (где попал в плен Власов, герой битвы под Москвой), на Керченском полуострове и, наконец, — под Харьковом.

Слава богу, у Гитлера закружилась голова от раскрывшегося простора, и он приказал наступать по двум расходящимся направлениям, к Волге и на Кавказ. Это нас еще раз спасло, как прежде — отсутствие у немцев зимнего обмундирования. Но прошли полтора-два года, пока импровизированное войско, сменившее разгромленные и попавшие в плен полки, превратилось в четко работавшую военную машину. После прорыва рядовой состав пехоты, истраченный почти до нуля, пополняли «трофейными солдатами», т.е. жителями освобожденных областей, — и гнали на прорыв следующей укрепленной полосы. А мы, ветераны (когда это мы успели стать ветеранами?), шли в бой весело, как гладиаторы.

Миллионы людей были захвачены полетом над страхом. Если бы этот полет они сумели перенести в гражданское общество, с его требованием *гражданского* мужества! Но новые волны террора быстро поставили ветеранов на место.

Войну мы выиграли благодаря моральной решимости, родившейся под Москвой, решимости на сорок месяцев игры со смертью. Сейчас рождается другая незаметная решимость: на сорок лет подъема по лестнице, движущейся вниз, в школах и в приходах. Решимость на почти сизифов и почти неоплаченный труд.

Кажется, что Чичиковым никто всерьез не противостоит — разве Скалозубы и Федьки Каторжные, требующие своей доли (и получающие ее). Но крайность рождает крайность. Первые похождения Чичикова вызвали контрдвижение, замеченное Тургеневым в статье «Гамлеты и Донкихоты». С его легкой руки Гамлеты и Донкихоты получили полное

русское гражданство. И как во всем русском восприятии европейского, то, что в Европе существовало по отдельности, в России стало единым целым. Из датского принца и испанского гidalго вышел новый русский характер. Иногда — с перевесом гамлетовского, иногда — донкихотского, но в единстве друг с другом. Я это знаю по себе. Мой любимый герой — Гамлет, но сколько раз я сражался с ветряными мельницами! А Петр Григорьевич Григоренко — прославленный Дон Кихот, но с какими глубокими гамлетовскими размышлениями! Я ставил эксперименты над самим собой, чтобы понять, он старался понять, чтобы действовать, но мы прекрасно друг друга понимали.

Этот тип, гамлетовски-донкихотский, не исчез. Он и сегодня разбросан по России. Его нельзя поверстать в линейные батальоны, но он действует — в школах, в больницах, в некоторых приходах. В начале перестройки я писал, что сдвиги в школе для нас важнее экономических сдвигов. Потом я писал о несостоявшейся роли Церкви. Я и сейчас пишу о том же самом. Нестяжатели, развеянные учениками Иосифа Волоцкого по лицу Земли, не перевелись, они пишут мне письма, они и сегодня ищут опоры в собственной духовной глубине и втягивают в свои искания небольшие группы (а большие и не нужны, чтобы сложилось творческое меньшинство).

Дело движется медленно, слишком медленно, сравнительно с темпом глобальных перемен, официальные структуры не помогают, но все же дело движется по всей широкой области культуры. Уже было сказано, одним из прорабов перестройки, что рынок без нравственных норм — это кошмар. И рыцари печального образа сражаются с этим кошмаром, с донкихотской нравственной решимостью и с гамлетовским сомнением в массовых фантомах. Есть какой-то шанс, что они добьются своего. Кто доживет — увидит. А если нет — останутся книги в переводе на английский и китайский язык и проблема для историков: чем была Россия.

Новое нестяжательство

4 августа скончался Антоний Блум. Смерть человека в возрасте 89 лет нельзя назвать безвременной. Но для многих из нас это случилось безвременно. Хотелось, чтобы он нас пережил, а не мы его.

С первых книжек, попавших мне в руки в начале 70-х годов, я почувствовал его превосходство, превосходство глубины. Врезалась в память фраза: молитва — целое измерение бытия. Без него человек не полон. Я сразу поверил и стал искать входа в это измерение.

Были вопросы, в которых я с Антонием не соглашался. Но они относились к политической поверхности или к стандартам вероучения, которые Павел назвал буквой. У меня другая биография, и она подсказывает мне другой взгляд на Николая II, а роль буквы в беседах Антония из года в год падала. Бог с ними, с буквами. Когда он или Томас Мертон или Мартин Бубер говорят из своей глубины, я им верю больше,

чем себе, — так же как я в иных тонких духовных вопросах верю Зинаиде Миркиной больше, чем себе. Верю — не по принципу, а мгновенным решением сердца. Я думаю, что Антоний входит в маленькую группу великих созерцателей, о которой писал Томас Мертон в предисловии к своей книге «Христианские мистики и дзэн-ские старцы» примерно так: несмотря на огромное различие традиций, есть нечто, связывающее католического монаха и дзэнского старца, в противоположность моим соотечественникам, ведущим «агрессивно несозерцательный образ жизни». Я согласен с этим определением. Созерцание известной высоты, достигая вершины своей веры, перешагивает через эту вершину и оказывается в дружеском кругу созерцателей, дух которых витает над буквой, с которой они остаются связанными, как со своей малой родиной, — но не жесткой связью. Здесь точка, в которой трудно удержаться: сохранить связь и в то же время сделать ее гибкой — нелегкое дело. Антоний назвал эту задачу — идти по Божьему следу. Очень многие этот след теряют. Но продолжу то, чем я ему обязан.

Антоний оставляет в памяти сердца десятки случаев, когда люди находили выход, подсказанный Святым Духом, выход из очень трудных проблем. Эти случаи, пересказанные Антонием, из собственного опыта или из опыта его друзей, поднимаются до уровня евангельских притч. Антоний не сразу научился так учить, не учительствуя, не поучая. Сперва он повторял стандартные формулы, но по мере того, как рос его опыт и росла его молитвенная уверенность в глубине, он просто рассказывал, как было, и этот рассказ учил того, кому он был впору, не навязывая ему прописей и не скрывая сомнений.

Я обязан ему поддержкой в мужестве открытых вопросов. Он не боялся жить с открытыми вопросами и годами вглядываться в них, прежде чем найти ответ, а иногда так и не находя ответа, но отвергая ложные, мнимые ответы. Здесь он очень близок к Кришнамурти. Но Кришнамурти требует порвать со всякой памятью прошлого, а Антоний этого не делает: он сохраняет образ «Божьего следа», связанный с поведением «Господина субботы», нарушавшего принципы, когда они становились абсурдом (см. с. 53).

Я благодарен Антонию за удивительно простые, доходчивые образы и определения, которые он иногда вдруг находил, например: «Каждый грех — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной». Или такая картинка перехода от несказанного к слову: пока лодку несет по волнам, не находишь никаких слов, как это описать, но вот лодку выбросило на берег. Ты выскочил, под ногами песок, а в голове еще переливаются волны. Вот в этот миг приходят слова...

Или один случай, пересказанный Е.Л.Майданович: «Трезвость важнее, чем вдохновение», — сказал владыка. Я мгновенно возразил ей: «Это для него, потому что вдохновение всегда с ним». Елена Львовна подумала и сказала: «Да, я замечала, что иногда в глазах его разгорался огонь — и он

сейчас же приглушал его».

Антоний прекрасно понимал, что вдохновение, доходя до экстаза, — опасность, иногда смертельная. Я не сразу понял это, экстаз долго казался мне вершиной религиозного опыта. Жизнь научила меня — к счастью, не на моих собственных ошибках. Я знал молодую женщину, которая домолилась до шизофрении и выбросилась с 14-го этажа. Я беседовал с иерархом одной из церквей, который домолился до голосов, обвинявших Богородицу в убийстве. Я с этой точки зрения обдумал опыт гениального экстастика, Раджнеша, увлекшегося призрачной целью привести к благодати целую толпу хиппи и павшего, как Люцифер, соблазнившись мнимым успехом. Я понял, что аскеты не зря учатся трезвению в благодати и вл. Антоний, или св. Силуан — образцы такого равновесия благодати и трезвения. И глубже понял подобные образцы в практике дзэн, с которой знакомился по книгам.

Но вот здесь слабый пункт — не в личности Антония, а в его упоминавшейся уже речи 8 июня 2000 г. Сейчас совершенно ясно, что это завещание, что вл. Антоний догадывался о своей болезни и говорил как бы со смертного одра, чувствуя себя свободным от обязанностей перед коллегами по Синоду. Иначе он, конечно, не сказал бы фразу, почти невыносимую в устах митрополита: «Не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации — Церковью». Это очень жесткое описание нынешнего положения дел.

Что же нужно сделать? «Нам нужны верующие, — люди, которые *встретили* Бога». Если перевести с языка Антония на общепринятый, — нам нужны люди, пережившие мистический опыт и способные повторить, вместе со св. Силуаном: «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Антоний сознает дерзновение своих слов и пытается их немного смягчить: «Я не говорю в грандиозном смысле; не каждый может быть апостолом Павлом, — но которые хоть в малой мере могут сказать: Я Его знаю! И он, и она, они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи разные».

Но что такое малая встреча? До какой степени малая встреча может быть малой, оставаясь *Встречей*? Я пережил встречу с человеком, испытывавшим встречу, с Зинаидой Миркиной, — это было, собственно, *Узнавание* встречи, но одного узнавания было достаточно, чтобы совершенно изменить мою жизнь, дать твердую веру в образ Бога, который был явлен в стихотворении «Бог кричал». Перед этим у меня были экстатические состояния, но они не перевернули мою жизнь, и я сразу согласился с Мертоном, прочитав у него, что такие экстатические состояния — только зарницы *встречи*. Встреча, как это слово употребляет Антоний, означает полный переворот жизни. Тут самое малое уже лежит в очень высоком ряду и бывает достаточно редко. Встреча — узнавание, переворачивающее жизнь. Иначе не стоит вспоминать ни Савла на пути в Дамаск, ни Андрея Блума, читающего Евангелие от Марка. Если

впечатление не перевернуло нас полностью, можно назвать его прикосновением к огню, может быть, окунанием в огонь, как при очень глубоком созерцании рублевского Спаса, но это не второе рождение. Савл не стал Павлом.

Тут я на время замолкаю как созерцатель и задаю простой вопрос. Много ли людей, испытавших второе рождение, то, что Экхарт назвал смертью скоропостижной — смертью в ветхом Адаме и рождением в новом? Я думаю, даже простое узнавание рассказа об этом, как подлинного, даст возможность слепить «творческое меньшинство»; но не более. Хорошо, если в этом меньшинстве выварится соль, годная посолить массу людей, потянувшихся к религии. Но из одной соли Церковь нельзя выстроить. Возникает проблема диалога с обыденным, помраченным суетою умом, с обрядоверием, кумиротворением и пр.

Здесь кстати вспомнить трудность, о которой уже было говорено. Дар узнавания пересекает границы вероисповеданий; он собирает людей скорее в религиозно-философскую *общность*; на этой основе можно создать религиозно-философское *общество*, но не Церковь. Возможен, однако, диалог такого общества с Церковью, как в дореволюционной России, и возможно, что часть людей, обладающих даром узнавания, будет *бхактами* Христа, то есть сердцем тяготеть к Христу, но постановления Вселенских соборов для них теряют свою жесткость. Бхакты Христа составляют незримую церковь; а где же границы церкви зримой? Где предел их прозрачности?

Это в конце речи, а в начале почти о том же: «Если мы будем просто без конца повторять то, что было сказано раньше, давно, то все больше и больше людей будут отходить от веры... и не потому, что то, что раньше говорилось, неверно, а потому, что — не тот язык и не тот подход. Люди другие, времена другие, думается по-иному, и мне кажется, что надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно».

Конец речи показывает, какая это трудная задача. Вселенские соборы зашатались. Что же остается твердым? Связь сердца с сердцем?

Мне этого довольно. Однако нет никакой надежды, что такая программа встретит массовую поддержку в церковной организации, которая существует на сегодняшний день. Есть системы, которые не поддаются обновлению. Они либо существуют какие есть, либо рушатся. Даже католицизм, с его опытом перемен, с трудом пережил аджорнаменто. К православию, основы которого не менялись с УШ в., страшно прикоснуться, и это может удержать многих честных людей, с большою сознающих пороки Церкви. Другие же будут переходить в общины баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и т.п. Среди интеллигентов возможны успехи буддизма. Но это движение по поверхности; а как найти путь вглубь? Возможен ли он в православии? Останется ли оно неподвижным, окаменелым? Или какое-то меньшинство продолжит то, что начал вл. Антоний? И кто-то будет разрабатывать

учение о Божьем следе, пересекающем все принципы — в том числе и богословские, и пытаться продолжать в России то, что вл. Антоний начал в Сурожской епархии? Здесь стоит вспомнить пророчество матери Марии (в миру Елизавета Кузьмина-Караваева), высказанное в Париже, в 1936 г., на монашеском собрании в присутствии митрополита Евлогия:

«Если в Церковь, одаренную терпимостью и признанием со стороны советской власти, придут новые кадры, этой властью воспитанные... Сначала они, в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей, будут изучать разные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и т.д. А в какую-то минуту, почувствовав себя наконец церковными людьми по-настоящему, по полной своей неподготовленности к антиномическому мышлению, они скажут: вот по этому вопросу существует несколько мнений — какое из них истинно? Потому что несколько одновременно истинными быть не могут. А если вот такое-то истинное, то остальные подлежат истреблению, как ложные. Они будут сперва запрашивать Церковь, легко перенося на нее привычный им признак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от имени Церкви, воплощая в себе этот признак непогрешимости. Если в области тягучего и неопределенного марксистского миропонимания они пылают страстью ересемания и уничтожают противников, то в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно сказать, что за неправильно наложенное крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью. Тут нельзя иметь никаких иллюзий: в случае признания Церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха она не может рассчитывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспитанных в некритическом, догматическом духе авторитета. А это значит - на долгие годы замирание свободы. Это значит — новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для тех, кто отстаивает свободу в Церкви. Это значит — новые гонения и новые мученики и исповедники.

Было бы от чего прийти в полное отчаянье, если бы, наряду с такими перспективами, не верить, что подлинная Христова истина всегда связана со свободой, что свобода до Страшного суда не угаснет окончательно в Церкви, что наше небывалое в мире стояние в свободе имеет характер провиденциальный и готовит нас к стойкости и к подвигу ..»

То, о чем говорила Мать Мария, очень давно началось, гораздо раньше советской власти. Георгий Петрович Федотов назвал духовной трагедией XV в. затоптывание следа, оставленного Нилом Сорским и другими нестяжателями. Затоптали накрепко, со всем наследием «исихии», со всеми глубинами богословия, и только филологи открыли все это, и Церковь задним числом причислила Нила к лику святых. И оказалось, что в споре преп. Нила с Иосифом Волоцким не было столкновения действительной догмы с действительной ересью. Была политическая

интрига против конфискации феодальной собственности Церкви. Сколько веков понадобится теперь, чтобы признать правду меньшинства, правду соли быть солью?

Я окунулся в память нестяжателей, путешествуя летом 2003 г. по русскому Северу. Там всюду их следы, неповторимые следы аскезы, так же не похожей на традицию пустынников V в., как Соловки — на Фиваиду. Я вспомнил там и твердил, бродя среди валунов, название духовного стиха — «Мати зеленая пустыня». Летом зеленая, зимой — белая, требующая не иссушения плоти, а напряжения всех сил, чтобы не ооченеть насмерть в долгие зимние холода.

Мати зеленая пустыня. сегодня мы губим эту мать свою, вырубаем и выжигаем леса. А между тем, леса — не только физическое спасение от ядов цивилизации, а духовное спасение. Мне бросилось в глаза, что у Беккета, у Венедикта Ерофеева нет убежища от абсурда, в который уперлась история, нет ни одного дерева, чтобы увидеть его и вопреки всему быть счастливым. «Пустое небо, сжавшийся человек и каменная земля», — по-своему гениально сказал Беккет. Так же гениально, как Сартр: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». Идея прогресса, втянув человека в историю, оторвала его и от Бога, и от космоса, и от других людей, и когда все это совершилось, прогресса тоже не оказалось. Всего-навсего движение от примитивной цельности к запутанной сложности, и чем сложнее, тем чаще аварии, кризисы. Разочарование перестает быть делом единиц, опередивших свой век, оно становится уделом десятков, сотен тысяч, миллионов. Ничего утешительного. И выносить пустоту цивилизации можно, только выйдя из ее плена, найдя другие источники утешения: в созерцании природы, искусства (вплоть до следа Божьего, запечатленного в них), в созерцании образа Божьего в человеке, в служении этому образу:

Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда...

Если наши современники думают, что они любят природу — они любят только удовольствие от природы (Штейнер придумал ад для таких любителей природы). Они любовь двух людей понимают как обоюдное удовольствие, а не служение образу Божьему в любящих. И не умеют они вглядываться ни в природу, ни в человеческие глаза до чувства бесконечности. Не умеют отвечать на внешнюю бесконечность дыханием внутренней бесконечности. И переключка двух внутренних бесконечностей им не понятна. Все, что придает жизни смысл, требует от нас служения. И мати зеленая пустыня без служения ей погибнет, и мы без нее погибнем, и техногенный мир все завалит своими отходами и кончится огромной свалкой мусора.

Вернемся, однако, к заволжским старцам. У них не было задачи спасти леса, только спасать свою душу, забравшись поглубже в девственный лес, которому ни конца ни края (тогда, в XIV или XV веке). Но в выполнении своей задачи они выработали стиль аскезы, в который стоит взглянуть. Он ближе к трудовой жизни крестьянина, чем к подвижникам Фиваиды, и почти сливается с жизнью крестьянина. Северные аскеты крестьянствуют летом, а крестьяне смиряют свою плоть зимой, чтобы собранной ржи хватило до нового урожая, и молятся те и другие в деревянных церквах, срубленных волшебными топорами тех же плотников. У монахов не было заботы о детях и больше оставалось времени для молитвы, но совершенного разрыва между монашеским и крестьянским бытом не было. В случае необходимости соседи помогали друг другу. Помощи от властей не ждали.

История движется зигзагами, и эта архаика ближе к современности, чем средневековая иерархия сословий, где все распределено пожизненно: одни воюют, другие торгуют, третьи землю пахут, четвертые молятся за мир. Сейчас убедительно звучит ответ Рютер, с которой он переписывался, на вопрос, поставленный Томасом Мертоном: «Отрешенность и созерцание перестают быть пожизненным занятием и становятся частью большого общего ритма жизни» (каждой жизни).

Нил Сорский не думал в таких терминах. Он думал о евангельской бедности, от которой отошли богатые подмосковные монастыри. Глазами своих соседей, северных крестьян, не знавших крепостного права, он смотрел на монастыри, ставшие владельцами десятков и сотен рабов. И не мог он об этом молчать, так же как не мог Антоний не сказать, что сейчас русское православие, искаженное большевиками, только «церковная организация». Нил говорил о нестяжании со смирением, подобающим инокам. Но представьте себе Антония, выступившего в синоде с предложением восстанавливать храмы так, как он приобрел в Лондоне храм — первоначально предоставленный ему в пользование даром. Но вскоре отыскалась китайская фирма, предложившая изрядную сумму денег, чтобы приобрести здание и устроить там ресторан и дискотеку. Антонию предложили первое право покупки, если он уплатит ту же цену. «Я покупаю», — сказал Антоний. «Но вы не спросили о цене!» «Это не имеет значения. У меня нет ни полушки». Положение дел объяснили общине, и верующие стали дарить, кто сколько мог, устраивать благотворительные вечера... Все равно не хватало. Тогда дано было объявление в газете, что англичан просят пожертвовать, кто сколько может, на православный храм. И со всей Англии стали приходиться деньги. Храм был куплен. Просить деньги у Патриархии, контролируемой большевиками, Антоний не стал. И различного рода привилегий от Ельцина он тоже не стал бы выпрашивать.

Можно понять возмущение, с которым Иосиф Волоцкий принял призыв вернуться к евангельской бедности. Он был человеком своего

времени и видел в призыве Нила Сорского нарушение сложившегося порядка. Мы бы сказали: феодального порядка, очень далекого от Христа, но Иосиф Волоцкий этого не мог понять. Он говорил, что богатства монастырей шли на украшение храмов, на переписывание книг, наконец — на помощь голодающим во время недорода. Легко было возразить, что Нилу Сорскому бедность не мешала писать прекрасные книги, а деревянные церкви Севера были художественно совершеннее белокаменных. Но решающий аргумент Иосифа был другой: в скиты, где надо было все мастерить своими руками, не пошли бы бояре и дети боярские. Игумен крупного подмосковного монастыря чувствовал себя боярином среди бояр. Идеи Нила Сорского были высказаны кротко, мирно, и никакого призыва к насилию за ними не стояло, но для Иосифа Волоцкого они казались угрозой раскулачивания. Он сумел очертить заволжских старцев. И на них обрушилась ненависть осифлян. Они разгромили лесные скиты, затоптали след Нила Сорского и вместе с ним — драгоценную традицию безмолвия. Только некоторые раскольники сохранили писания Нила и в конце концов его, как уже говорилось, заново открыли и прославили филологи.

Что делать, чтобы так же не был затоптан след Антония Сурожско-го? Синод не любит независимых голосов, не любит призывов к обновлению. Синод и в Лондоне постарается навести свой порядок. Церковная организация сохранит тексты Антония, освобожденные от опасных мыслей, от призывов к свободе, от идей, формирующих творческое меньшинство, от того, что уже сегодня названо неообновленчеством и мистическим анархизмом.

Тот фермент, который Антоний пытался внести в церковь, сохранится ближайшее время скорее вне церкви и вернется в церковь далеко не скоро, далеко не сразу. В течение ближайших десятилетий я представляю себе живую жизнь беспокоящих идей Антония в каких-то светских обществах; быть может, в возрожденном религиозно-философском обществе; быть может — в экуменических и суперэкуменических кругах; быть может — в попытках внести духовное измерение в экологическую активность, понять значение естественной среды не только для дыхания, но и для духа. Закваска Антония сохранится, если мы будем разрабатывать его идеи, если мы поставим новые нерешенные проблемы, если мы будем искать ответы на трудно разрешимые вопросы и не приходим в испуг, когда ответов окажется несколько.

Мы сохраним закваску Антония, если включимся в диалог созерцателей, узнающих единый дух в разных обличьях.

Мы сохраним закваску Антония, если свяжем ее с наследием нестяжателей. Я вижу внутреннюю необходимость возрождения нестяжательства как ответ на вызов общества, где вор у вора дубинку крадет. И в жизненном стиле Антония, во всей его личности я вижу современное воплощение духа преп. Нила Сорского. Линия от Нила Сорского к

Антонию Сурожскому и далее, к тревогам III тысячелетия — одна из важнейших линий русской культуры, способной ответить на вызов времени.

Я не мечтаю об изничтожении консерватизма. В консерватизме есть своя истина, и творческое меньшинство, стремящееся к переменам, — не большевизм. Мы должны читать и Федотова, которого я люблю, и Ильина, к которому отношусь настороженно, но не могу полностью отрицать. Один из великих даров, оставленных Антонием, — сочетание вдохновения с трезвостью. В Антонии я вижу живой противовес склонности русских гениев (не только Достоевского) всегда и во всем черту переходить. И пусть вечно живет в России память Антония Блума, свободного от этой повальной русской болезни.

Загадки народной любви

Многие не могут поверить в то, что рассказано было на XX съезде и что еще более полно раскрыла комиссия Шверника, назначенная после XX съезда для продолжения расследования сталинских преступлений. Имя Сталина слилось с победой, стало знаком победы. Сталин создал режим, который мог победить только вместе со Сталиным или вместе со Сталиным рухнуть. Я перечислю все преступления и ошибки Сталина, которые могу вспомнить. Но неколебимый сталинский авторитет выдерживал все поражения. Народ охотно принимал объяснения, которые исходили из уст Сталина. А когда, после огромного напряжения всех народных сил — после огромного напряжения, в котором я участвовал и никогда не забуду, — счастье отвернулось от Гитлера, — Сталин вышел из полутени, стал маршалом, генералиссимусом и почти что богом. Как его хоронили, с какой скорбью!

Была ли альтернатива этой победы Кошца Бессмертного? Разумеется, была, и наверное несколько. Например, письмо Эйнштейна Рузвельту могло быть написано на год раньше, на год раньше начались бы работы по созданию атомной бомбы, и бомба была бы сброшена не в 1945 г. и не на Хиросиму, а в 1944-м, на Берлин, на Гамбург, на Эссен... В случае, если бы Сталин капитулировал перед Гитлером и стал его вассалом, — и на Москву, и на Питер. Немецкая бомба не была готова и к 1945 г., тем более не поспела бы она на год раньше. Мне приходилось уже писать, что Гитлер был обречен дважды. Он не учел секрета русского характера: в отчаянном положении, прижатый к стене, обнаружить какую-то непредсказуемую энергию. И не учел, что с письма Эйнштейна Рузвельту о возможности атомного оружия начался новый научно-технический век, и политические расчеты, основанные на прошлом опыте, сразу устарели.

Сам по себе режим, созданный Сталиным, не допускал альтернатив. Все мыслимые альтернативы Сталин устранил еще по дороге к полноте власти. Во время войны внутренней альтернативы не было. Брожение в лагерях нашло в генерале Власове свой максимум. Но этот максимум не

имел за собой никакой разработанной теории, и с самого начала был запятнан сотрудничеством с врагом. Который этого сотрудничества не хотел! Который это сотрудничество отверг!

Какая-то часть немецкого офицества поняла, что без русского союзника они войну проиграют. Но Гитлер даже тогда никакой альтернативы своему курсу не принимал. Он рассчитывал на жертву демонам, которым поклонялся. И даже если бы бомба Штауффенберга (одного из заговорщиков 1944 г.) разорвала фюрера в клочки, сталинские армии подходили к Германии, и Власов, вместе со своими покровителями, стоял на краю пропасти.

Дело Власова с самого начала было безнадежным. И его венцом было мужество под пыткой. Сталин хотел показательного процесса и не добился этого. Власовские офицеры были запытаны до полусмерти и повешены, как мясные туши, на крюках, пробитых сквозь тело, вниз головой (Гитлер придумал эту казнь для евреев-партизан, а потом применил к вице-адмиралу Канарису и его сообщникам). Один из офицеров, посаженных к арестованным, чтобы убедить их сдаться, рассказывал генералу Григоренко: «Власов. сказал: “Мне страшно. Но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут. Придет время, и народ добрым словом нас помянет”. Открытого суда не получилось, — продолжает свой пересказ Григоренко. — Я слышал, что их долго мучили и полумертвых повесили. Как повесили, то я даже тебе об этом не скажу..»¹

Люди, выдержавшие все пытки, достойны исторической памяти. Но альтернативу сталинскому курсу надо искать пораньше, когда режим еще только складывался. Да и то — всего лишь народнохозяйственной альтернативы. Духовную альтернативу из марксизма-ленинизма нельзя было извлечь.

Альтернативой был план Бухарина. Опыт Дэн Сяопина показал, что так можно было идти. К сожалению, правота в политике не многого стоит без ловкости и коварства. За Бухарина был Дзержинский. В качестве председателя ВСНХ он твердо стоял за рыночные отношения. Но Дзержинский внезапно умер. При вскрытии тела не найдено было никаких следов туберкулеза (которым Дзержинский страдал много лет). Отец современного публициста В.И.Илюшенко, Илья Илюшенко, случайно уцелевший сотрудник НКВД, считал, что вскрыто было неизвестное тело и тайну убийства Дзержинского приписывал Сталину. Убийство Фрунзе, никем не подтвержденное, практически никем не отрицается. Что касается большинства партии, шедшего за Бухариным, то Сталин ловкими маневрами превратил большинство в меньшинство, в «правый уклон». Подробности можно прочесть в книге Авторханова «Технология власти». С легкой руки Авторханова «технология власти» стала расхожим термином общественных наук.

Получив полную свободу рук, Сталин за десять лет создал царство

всеобщего страха. Я с трудом находил собеседника, чтобы поделиться своими мыслями. Немудрено, что украинский крестьянин, которого мой друг в 1940 г. спросил, как он относится к Гитлеру, ответил: мабуть гирше, тай иньше. А что было ему говорить после голодомора в начале тридцатых?

Плохо разбираясь в европейских делах, Сталин требовал от немецких коммунистов непримиримой борьбы с социал-демократами, не обращая внимания на рост фашизма. Троцкий несколько раз предупреждал, к чему это приведет, но Сталин не желал прислушиваться к своему врагу. Я допускаю, что ему душевно ближе были гитлеровские штурмовики, чем социал-демократы, — во всяком случае, он буквально вымостил Гитлеру путь к власти. Необходимые факты собраны Леонидом Люксом в книге «Исторические очерки о России, Германии и Западе» (М., 2002).

Сталин перечеркнул итоги совместных германско-советских разработок тактики бронетанковых войск в Поволжье, в 20-е годы. Тогда Гухачевский сотрудничал с Гудерианом, используя учебные машины, которые по частям перевозились в Россию как промышленное оборудование. Сталин переоценил несколько неудач легких танков в Испании и бросил лозунг, что артиллерия — бог войны. Танки были распаханы побатальонно в стрелковые дивизии, и мы всей страной распевали песню про «броневой, ударный батальон». После разгрома Франции летом 1940 г. надо было немедленно свести батальоны в танковые корпуса. Однако с этим преступно опоздали, и наши «тридцатьчетверки», превосходившие немецкие образцы, без боя достались врагу.

Но самым важным фактором поражения был итог террора — и в числе погибших, и в настроениях уцелевших — обескровлено было крестьянство, обескровлен руководящий слой собственной партии. Коллективизация отымала у многих охоту защищать ненавистный порядок, а истребление высшего командного состава (привожу только одну цифру: 18 командармов из 20) обезглавило армию. Гитлер не дал приказа шить зимнее обмундирование, рассчитывая кончить войну в стиле «блиц», за пару месяцев. Сталин истолковал дело так, как ему было приятно, — будто Гитлер готовит вторжение в Англию, и мечтал ударить ему в тыл. Все данные разведки, говорившие, что немецкие войска стоят на нашей границе в наступательных боевых порядках, он считал провокацией. Ему нравились данные, представленные Берией (дезинформацией, подброшенной немцами). Начальника разведотдела Генштаба, генерал-лейтенанта Проскурова он арестовал (а впоследствии расстрелял). Заместитель начальника, подполковник Новобранец, подготовил разведсводку № 8 и понес ее, в обход нового начальника, Голикова, к Жукову. Жуков не мог не понять, что Проскуров прав, но он больше боялся Сталина, чем немцев, и велел переделать сводку по данным Берии. Тогда Новобранец решился на отчаянный шаг: он подделал подписи Жукова и Голикова и разослал разведсводку № 8 по

округам. Как только это стало известно, Новобранец был задержан (оформление ареста задержало начало войны), а сводка дезавуирована. И только командование военного флота и Одесского военного округа пошли на риск — объявить готовность № 1. 22 июня они не понесли потерь.

Как же остальные командующие округами? Они не были некомпетентны, как Сталин и Берия. Они не могли не понять смысла разведсводки № 8. Но они боялись Сталина больше, чем Гитлера, а потом несли ответственность за катастрофу, как понес ее генерал-полковник Павлов (Сталин сам никогда ни в чем не был виноват. За его преступления расстреливали других.) Но можно было и дослужиться до маршала, как Голиков, редактировавший разведсводки так, что он вроде бы ничего не утаил, но в то же время подчеркивал достоверность только того, что Сталину хотелось прочесть. Все это пересказал генерал Григоренко со слов своего друга, Новобранца, попавшего сперва в плен, а потом в советский лагерь — в общем около двенадцати лет немецких и советских лагерей².

Ошеломленный разгромом в первые дни войны, Сталин, через Берию и болгарского посла, предложил Гитлеру полукапитуляцию и вассалитет. Но Гитлер отверг это. Он был уверен, что через два месяца добьется прямого контроля над всей Россией. Не помню, где я об этом прочел. Сомневаюсь, чтобы сохранились документы — разве в немецком архиве. Но вероятность такого сталинского колебания нельзя исключить. В первые дни войны Сталин был совершенно растерян.

Твердость характера вернулась к нему позже. Приближалась зима. Наше отчаянное сопротивление все-таки задержало немцев. Геббельс по этому поводу писал, что высокоразвитый организм можно поразить ударом в голову, а червь, даже разрубленный на куски, продолжает извиваться... После разгрома немцев под Москвой эту притчу про червя повторила вся советская пресса.

На опыте огромных потерь обмороженными в финскую войну наша армия была отлично одета для зимней кампании и получила неожиданное преимущество. Однако 16 октября 1941 г. морозов еще не было. Войск между немцами и Москвой тоже не было. Наши армии были окружены под Вязьмой. Падение Москвы казалось неизбежным. Беспорядочный поток эвакуированных двигался по шоссе Энтузиастов, на восток. Некоторые машины толпа останавливала и грабила начальников. На Гоголевском бульваре какие-то тюки бросали прямо из окон в кузова грузовиков. Эвакуировалось Министерство морского флота. Чтобы не сдавать город без выстрела, формировались батальоны добровольцев. Оружия не хватало. Мне выдали канадскую винтовку и к ней 20 патронов, потом ее сменили на французскую с боезапасом в 120 патронов. Еще раздали противотанковые гранаты. Вот и всё. Но немцы на Москву не шли. Подумав, Гитлер направил танковую армию на юг окружать советские армии Южного фронта и взял в плен 650 тыс. человек. Между

тем, к Москве с востока подходили резервные дивизии. На Дальнем Востоке их готовил генерал армии Опанасенко, заставив мобилизовать даже часть контингента Колымских лагерей. По поручению Опанасенко, подполковник Григоренко вел об этом переговоры с начальником лагеря.

Когда развернулась битва за Москву, Гудериан наткнулся на отчаянную оборону Тулы. Окружив город почти со всех сторон, он забыл об осторожности и оставил без защиты свои тылы. По ним ударили наши части. Уже вводились в бой реактивные минометы (впоследствии их звали «катюшами»). Их было немного, и называли их тогда по имени-отчеству: Марья Ивановна. Конструктор их, кажется, сидел в шарашке. Всякое новое оружие создает моральный эффект, особенно у солдат, руки которых стыли, а шинельки совсем не грели. Танкисты Гудериана, бросая машины, бежали. Катюши — впоследствии немцы называли их «сталинским органом», — были переброшены в район Лобни, к северу. Немцы отходили, бросая технику. Из трех наших армий особенно отличились две. Их командующие получили по ордену Ленина: выпущенный из лагеря Рокоссовский, впоследствии маршал, и Власов, впоследствии повешенный на крюк.

Морозы позволили развить успех. 16-я немецкая армия была окружена у озера Ильмень. Дивизии, сколоченные из наших батальонов, были брошены там в бой. Наш полк ночью взял деревню Павловка. Потери были небольшие, немцы ночью не могли использовать авиацию. Но утром я увидел, что значит воевать с совершенно неопытными командирами. Заметив шевеление у немцев, командир полка вытолкнул массу солдат, гревшихся у догорающих изб, вперед, на снег, не разобрав даже по ротам. Вышла огромная неуправляемая куча, годная только в качестве мишени. Я шел, шел по рыхлому снегу — все время впереди еще кто-то лежит. Стали падать мины, пришлось залечь. Когда минометы перегрелись, прилетели 16 юнкерсов. Потом минометы продолжали огонь. Так повторялось несколько раз. Меня легко ранило, соседа убило (за это время мы не могли сделать ни одного выстрела). Я встал и медленно пошел на перевязку. Мины падали, но я не обращал на них внимания, захватило единственное в своем роде зрелище: снежное поле в больших розовых пятнах. После прямых попаданий кровь окрашивала снег в розовый цвет.

В госпитале солдаты в один голос говорили: «не война, а одно убийство». Когда засветило ясное солнце и немцы — при полном господстве в воздухе — обрушили на нас град бомб, советское зимнее наступление кончилось. На участке, где я был ранен, — без катастрофы. Просто ничего не добились. Несмотря на большие потери. Севернее, где Власов понял, что к Ленинграду ему не прорваться, а Сталин требовал наступать и не разрешал выйти из прорванного кольца, окружение снова замкнулось, армия погибла, и Власов испытал тот шок, который определил его судьбу. На юге, под Харьковом, толковый сержант Лесников понимал, что немцы отступают, заманивая нас глубже и глубже

(я читал его воспоминания и фрагмент где-то опубликовал). Сталин, никогда не выдавший фронтовой бомбежки, не понимавший разницы между трудным и невозможным, очередной раз требовал лезть на стену. В результате, немцы окружили три армии и «вышли на оперативный простор».

Однако растянувшийся фронт пришлось заполнять румынскими и итальянскими армиями. Они годились, пока вперед двигался немецкий клин. Стоило клину остановиться, и войска сателлитов становились Ахиллесом, у которого пятка всюду. Сталин понял стратегическое значение города, названного его именем, и приказал секретарю обкома не эвакуировать гражданское население: «армия не защищает пустых городов». Эту фразу из воспоминаний партийного босса повторил Н.Ф.Рыбалкин в своей книге о трагедии граждан Сталинграда — «Тень родного города» (Волгоград, 1995). Страдания женщин и детей, неожиданно попавших под бомбы, должны были вдохновлять войска стоять насмерть. Если же солдат сбрасывали на кромку берега и они пытались спастись на лодках, артиллерия с левого берега открывала по ним огонь. Таким образом, мужество отчаянья, стихийно возникавшее в Севастополе, было беспощадно спланировано в Сталинграде.

Один раз Сталин все же опять сорвался. Когда немецкие танки вышли к Волге, отрезав Сталинград с севера, было собрано несколько десятков стрелковых дивизий (наша — из-под Воронежа, где готовилось контрнаступление) и получило задачу прорваться сквозь строй танков, под непрерывным градом бомб. Жуков не мог не понимать, что это безумие. Но опять, как и с разведсводкой № 8, он не решился возражать.

Результат можно было предвидеть. Максимальное продвижение вперед не превосходило трех километров по голой степи. Рубеж наступления стал полем смрада. Я каждую ночь проходил по нему, натываясь на недохороненные руки и ноги. Когда дело дошло до настоящего наступления, Рокоссовский (сменивший Жукова, отозванного в Ставку) вынужден был расформировать часть дивизий, чтобы пополнить до боеспособного уровня другие (в нашу 258-ю был влит уцелевший состав 207-й). Полных цифр наших бессмысленных потерь я не знаю, но думаю, что речь шла о сотнях тысяч.

Это частный случай сталинского использования пехоты (то есть деревни, мобилизованной в пехоту, после отбора «элиты» маршевых рот в артиллерийские, минометные, танковые и другие подразделения). Впоследствии такой же ценой прорывали фронт, и в прорыв шли танки, но в августе 42-го ни прорыва, ни танков не было. Была бойня, превращение пушечного мяса в гниющее мясо. Мне было больше, чем в феврале, потому что в феврале я сам был мишенью, а в августе-сентябре, с недолеченной правой ногой меня прикомандировали к редакции дивизионной газеты, и я наблюдал это массовое убийство с нелепой и бессмысленной задачей вестника наших побед, которых не было.

Однако битва двух деспотов имеет свою логику, отмеченную еще Анатодем Франсом: побеждает не гений (наполеоны, суворовы — исключения), а тот, кто в данном случае наделал меньше роковых ошибок. Сталин правильно рассчитывал на мужество отчаянья русского солдата. Червь, разрезанный на куски, бессмысленно продолжал сопротивляться — и вдруг превратился в дракона, сожравшего гитлеровский блиц-криг. Блиц завяз в развалинах Сталинграда — и дал возможность укомплектовать танковые корпуса, совершившие прорыв 19—20 ноября, укомплектовать эскадрильи самолетов, — и трупы румынских и итальянских солдат стали мостом к победе.

Наступил звездный час работы газетчиков. Благодаря усилиям пропаганды вся армия поверила, что мы теперь гвардейцы-сталинградцы. Дух войска поднялся. Пресса повторяла «Вольное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» (кажется, сочинение Кирсанова): «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Это оказалось пророчеством: мы отучили немцев любить поджигателя войны, а они нас — научили. Побеждал Конев, побеждал Рокоссовский, но все их победы стали сталинскими победами.

Сталин побеждал, как Пирр — разоряя собственную страну. Ум его был довольно ограничен, но это компенсировала чудовищная, демоническая энергия (как, впрочем, и у Гитлера; хотя Гитлер, кажется, был талантливее). Все, что он делал, совершалось с бессмысленными перегибами, с чудовищными потерями и с бомбами замедленного действия, которые взрывались уже после его смерти. Самыми крупными кампаниями, которые он сам провел (а не присвоил себе), были ликвидация кулачества и Большой террор. Обе эти сталинские победы были поражениями народа и поражениями государства.

Режим, созданный Сталиным, не годился для мирного развития. Блокированный атомной бомбой, он стал гнить. Держался еще по инерции, но гнил, гнил и, наконец, рухнул, как старый гриб. Но для сражения с Гитлером тупой деспотизм годился. И так же, как гитлеровский режим, он мог только победить вместе с вождем. Немцам повезло — они были разбиты. Альтернатива нового Гитлера выдрана из немецкой истории. Нам не повезло. Сталинская альтернатива все еще живет и всплывает в памяти, когда чиновники грабят народ.

Два вектора русской широты

«Широк, слишком широк человек. Я бы сузил», — говорил Митя Карамазов. И ни к чему это выражение не подходит так точно, как к стране, где этот афоризм родился, и к его создателю. Кто, как не Достоевский, говорил о русской всемирной отзывчивости, и кто другой из великих русских писателей так поражал своих друзей, своих читателей (Владимира Соловьева, князя Трубецкого) непредсказуемыми вспышками ксенофобии, совершенно не ладившимися с его же вселенскими идеями.

Кое-что я пытался объяснить в своей книге «Открытость бездне», в главе «Антикрасноречие Достоевского в историко-культурной перспективе», но это относится только к культурам, повлиявшим на слог Тургенева и Гончарова, от которого Достоевский отталкивался. Но остаются еще поляки, остаются еще евреи, на которых Достоевский обрушился как раз тогда, когда раздраженное отношение к немцам и французам исчезло. Что здесь сказывается — индивидуальная взрывчатость реакций или взрывчатость в развитии, с которой гений Достоевского был связан тысячами нитей? Или, наконец, подобные вспышки ксенофобии — общие явления в национальных полемиках, в том числе у самых заглаженных носителей европейской цивилизации? И Достоевский только импульсивнее, обнаженнее, нервнее своих западных собратьев?

Приведу любопытный пример. В конце 70-х годов журнал «Диоген» опубликовал мою статью «Основные субэкумены» (так я тогда назвал то, что сегодня называют субглобальными цивилизациями: христианский мир, мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока). В статье я ссылался на Шпенглера, который расколол всемирную историю на ряд независимых «культурных кругов», передающих друг другу только цивилизацию (технику, политические учреждения), а духовная культура каждого круга неповторима, как личность, и, подобно личности, рождается, достигает расцвета, стареет и безвозвратно гибнет. В этой концепции была попытка интеллектуального реванша за проигрыш войны. Бездушная цивилизация, укоренившаяся во Франции и в Англии, победила сердце Запада, немецкую романтическую культуру. Но пиррова победа — начало общего упадка Запада, его фаустовской культуры, которая навсегда останется высшим достижением человечества. С этих пор самый термин «культурный круг» воспринимался во Франции как выпад, отрицание ее роли авангарда мировой цивилизации. И переводчица, насилуя текст, перевела «культурный круг» как «ареал цивилизации». То есть — вопреки тексту, — существует мировая цивилизация, только отчасти делящаяся на ареалы. Я имел право восстановить терминологию Шпенглера, но не стал этого делать. Мне показалось любопытным сохранить образец ксенофобии, выраженной со светским изяществом.

Даже Тойнби, явно опиравшийся на Шпенглера, не принял его термина «культурный круг», заменив его привычным словом «цивилизация», хотя в множественном числе (что совершенно меняет дело); цивилизации Тойнби рождаются, расцветают, стареют и умирают, совсем как культурные круги. В результате возникла путаница. «Культурный круг» — термин, придуманный Шпенглером, — имеет однозначный смысл. А цивилизация — бытовое разговорное слово. Это и общий уровень исторического развития, начиная с письменности, и синоним слова «культура», и единичный древний очаг цивилизации (Египет, Шумер), и коалиция культур, возникшая по соседству первых очагов, и устойчивые,

дожившие до наших дней субглобальные цивилизации, объединенные единым набором святынь. Сэмюэл Хантингтон может пользоваться термином «цивилизация», как ему это удобнее. Например, он жалует титул «цивилизация» Японии, как бы награждает этим орденом союзника США. По другим соображениям (о которых ниже), он воскрешает в XXI в. тень православной цивилизации. То и другое — политика, так же как разговоры о российской цивилизации.

Для чего же тень православной цивилизации вызвана Хантингтоном из загробного мира? Я думаю — чтобы найти академическую форму американской враждебности к Сербии и России, уходящей своими истоками в холодную войну с Советским Союзом и его сателлитами. Есть потребность найти принцип, оправдывающий бомбардировку христианами христианского Белграда. Поэтому лучше забыть, что американцы и сербы принадлежат к одной, христианской цивилизации, развести их в две разные цивилизации — тогда бомбить не стыдно и не жалко. Благодарность за это американцы получили от Бен Ладена.

Если вернуться к истокам, то первые очаги цивилизации действительно развивались сами по себе, в одиночку. Это было очень давно, когда только что сложилась письменность, у каждого очага своя. Письменность была сосудом, в котором прежде всего хранился опыт духовной глубины, не всем понятный, но всеми почитавшийся как святыня. В эту сокровищницу постепенно слагались и основы права, медицины, астрономии... Потом начался век империй, пытавшихся собрать политическое пространство мечом. Они быстро создавались и быстро рушились. Возникла некоторая общность, но без прочных опор. Между тем, появлялись города, где смешивались племена и народы, где выделялась обособленная личность, и к ней обращались пророки. Возникли, наконец, мировые религии, и правители увидели в них духовную связь, которой империи не хватало. С этих пор сложились и существуют до сих пор субглобальные, имперско-конфессиональные цивилизации. Они вышли за рамки империй и сохранялись, когда империи рушились: христианский мир, мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной Азии, Дальний Восток.

У всех этих цивилизаций есть общие черты. Это цивилизации Книги, как говорят мусульмане, то есть какого-то корпуса священных текстов. Но одновременно это светские информационные единства. Единство создает язык Священной Книги, известный грамотеям на огромном пространстве, и еще более широко известный шрифт Священной Книги. Шрифт дал дорогу оформлению новых языков, часто обгонявших священный язык в литературе, науке, администрации. Единый шрифт облегчал изучение чужих соседних языков одной цивилизации. По сей день латиница — граница Запада (Петр, повернув к Западу, сообщил кириллице западный облик), арабские буквы — граница мира ислама, шрифты деванагари и пали — граница индубуддийского мира и, наконец, иероглифы китайского

происхождения — граница Дальнего Востока.

На перекрестках субглобальных цивилизаций складывались культуры, испытывавшие сразу несколько влияний. Если эти влияния были устойчивыми, то в течение нескольких веков мог сложиться еще один очаг цивилизации. Такой была судьба Тибета (я уже писал об этом).

Совершенно иной была судьба России. В наименьшей группе стран вокруг России — варяги, хазары, Византия, домонгольская степь, монголы, мусульманская Орда и, наконец, Европа Нового времени. Все они врывались на евразийский перекресток и вносили что-то в русскую историю; русская традиция — слоеный пирог, где один пласт наскоро накладывался на другой. Если бы они прочно сложились, как в Тибете, возник бы очаг новой цивилизации. Но этого нет. Достоевский остро чувствовал опасность русской «широты», опасность развала. Один из его героев (в «Игроке») замечает, что русскому человеку, чтобы обрести приличную форму, нужна гениальность — а гениальность редко бывает. Гораздо вероятнее хаос.

Достоевский сводит в неразрывное, дрожащее от противоречий единство то, что в Европе аккуратно разложено по полочкам. Он впитал в себя Сервантеса и Кальдерона, Корнеля и Расина, Бальзака и Жорж Санд, Шекспира и Диккенса, Шиллера и Гёте и даже замысел русской «Божественной комедии», не удавшийся Гоголю, по-своему осуществил: в его романе сплелись герои ада, чистилища и рая, именно сплелись, а не расположены в схоластической системе, как у Данте. Это не архитектурное сооружение, твердо установленное на своем фундаменте, а волчок, кружащийся в бешеном темпе и поминутно готовый упасть. Не случайно русская литература дала Европе увидеть себя как единое целое (об этом говорили Версильев в «Подростке» и Достоевский сам — в Пушкинской речи: его всемирная отзывчивость не заходит в Азию, это всеевропейская отзывчивость). И не случайно с России началась цепь катастроф XX века.

Замечательный «идеальный тип» России (свернутое в нескольких строках описание) создал Андрей Синявский в «Голосе из хора»³.

Из недостатка внутренней структуры вырастает жесткая внешняя структура, из открытости — замкнутость и ненависть к чужому.

Все это надо видеть, если мы любим Россию. Любовь тем и отличается от влюбленности, что она видит, что ее глаза не завязаны, что она познает любимое со всеми его противоречиями. «В России легче встретить святого, чем элементарно порядочного человека», — писал Константин Леонтьев.

Что мешает нам убрать опушки лесов и улицы поселков от мусора? Чеченцы? Азербайджанцы? Путин не запрещает, и даже Сталин не запрещал. Запрещает лень, мертвая и позорная. И что мешает перекрыть неправду «ризой чистой Христа», как мечтал Хомяков? Та же мертвая и позорная лень. Лень, унаследованная от рабства. Лень, которая исчезнет,

когда очистится внутреннее пространство сознания и в нем заговорит стыд, и совесть перестанет ссылаться на соседа.

Русский медведь долго запрягает, но быстро едет, сказал когда-то Бисмарк. Не слишком ли долго мы запрягаем? Не издохнут ли наши кони, пока мы меняем то хомут, то оглобли?

По всей нашей стране разбросаны люди, которые работают за гроши и ищут творческих решений в педагогике и в театре, в поэзии и живописи, в созерцании и анализе собственной глубины, чтобы в ней достичь гармонии и уменьшить амплитуду русских бросков из крайности в крайность. Если собрать этих одиночек, эти численно ничтожные группы, сложится творческое меньшинство и найдется рычаг, чтобы дать толчок к выходу из тупика — наверное, не только русского. Когда-то интеллигенция казалась чисто русским явлением. Потом она появилась (иногда под другим именем) повсюду. И в современном мире, где цивилизация наезжает на цивилизацию, запутанность в идеях и символах стала всеобщей, и всюду возникают нервные срывы и попытки сорвать на ком-то свои неудачи. Без преодоления этой болезни современный мировой кризис будет затягиваться до бесконечности.

Памяти одинокой тени

Прошло несколько лет, как я веду борьбу за добрую память Ольги Григорьевны Шатуновской, одной из самых замечательных женщин в политической истории России. Кампания против нее началась с сообщения, озвученного одной из ведущих телекомпаний, будто Сталин был непричастен к убийству Кирова. Это открытие приписывалось группе независимых историков, имена которых не назывались. Я воспользовался случаем и во время передачи, посвященной моей жизни, минут двадцать говорил не о себе, а о Шатуновской и об ее расследовании, проведенном от имени комиссии Шверника. В ответ анонимные исследователи объявили, что расследование Шатуновской — «фальсификация века, совершенная в угоду Хрущёву». Это была грубая ложь: Шатуновская презирала Хрущёва за трусость, за то, что он не решился опубликовать труд ее жизни — резюме огромного дела в 64 томах. С тех пор было еще несколько исследований. Исследовались даже брюки Кирова. Но не ставился вопрос, на который Шатуновская ответила: почему руководство ленинградского НКВД дважды отпускало Николаева, задержанного охраной Кирова, и возвращало ему оружие? По чьему приказу действовал Запорожец, назначенный заместителем начальника ленинградского НКВД после XVII съезда?

И ради чего забрасывать грязью женщину, раскрывшую одно из крупнейших в истории преступлений? Ради призрака имперского величия, исчезнувшего, когда его перестали подпитывать кровью? Ради маньяка власти, упивавшегося человеческими страданиями? Ради живого воплощения образа, созданного в романе «1984-й год»: «Не насилие для

революции, а революция для насилия, для того чтобы наступать сапогом на человеческое лицо?». Я слишком стар, чтобы надеяться перебороть этот соблазн, но не могу молчать.

Какие документы можно было исследовать в 90-е годы? Когда все свидетели умерли? Когда всё, собранное Шатуновской от имени комиссии Шверника, было тщательно просмотрено после свержения Хрущёва и всё компрометирующее было уничтожено или подменено под внимательным наблюдением М.А.Суслова? Журналистское расследование Целмса в 1990 г. установило, что уцелел только *список* документов, посланных комиссией Шверника в Политбюро, за подписями Шверника и Шатуновской. Самих документов не было. И еще один конец не удалось спрятать в воду: сохранилось частное письмо хирурга Мамушина с признанием, что он нарушил свой долг и солгал, приписав смерть Борисова, охранника Кирова, аварии автомашины. Аварии не было, Борисов был убит ударом тяжелым предметом по голове. Сейчас, наверное, и этих документов нет. И нет образа самой Шатуновской, которую я знал более 20 лет и который стоит перед моими глазами.

Когда мы познакомились с ней, она поразила меня вопросом: «Читали ли вы в «Правде» статью такого-то (фамилию я тут же забыл)? Он пишет, что Бога нет». Я очень удивился. Все друзья Шатуновской, которых я знал, твердо не верили в Бога. Это было своего рода антиверой большевизма. «А откуда вы знаете, что Бог есть?» — спросил я. В ответ Ольга Григорьевна рассказала мне о ночи в ссылке, несколько напомнившей мне то, что я читал у Флоренского. Передать такие переживания трудно, но все же попытаюсь это сделать: вас вырывает из пространства и времени, и вы сознаете, что мир не исчерпывается пространством, временем и материей. Ольга Григорьевна с тех пор не сомневалась, что за словом «Бог» стоит какая-то реальность, но церковной литературы не любила, она казалась ей вульгаризацией тайны. Любила только стихи о Боге. Ей понравились стихи Зинаиды Миркиной, показалось, похоже на Тагора.

— «Гитанджали» я в 16 лет готова была носить на груди, — сказала Ольга Григорьевна.

— Почему же вы не сохранили эту книгу?

— Пришли ходоки из деревни, и я отдала им всю свою библиотеку.

— Зачем в деревне Тагор?

— Что вы, разве я могла так рассуждать? Революция — значит все общее. Все мои друзья погибли на фронтах...

Какова была сила революционного взрыва, что девушки, подобные Оле, становились солдатами революционных партий! Не стану пересказывать подробности ее пути, ее биографию. Об этом — в моей книге «Следствие ведет каторжанка» (М., 2004). Только несколько предложений. Девочка из обеспеченной семьи инженера на бакинских заводах не могла спокойно видеть, как каждый месяц с их большого двора

выносили детские гробики. В 15 лет, вместе с сыном Степана Шаумяна, вступила в партию большевиков. Из-за этого она оказалась старой большевичкой, членом партии с дореволюционным стажем (в несколько месяцев). В 1918 г. (ей было тогда 16) — секретарша Степана Шаумяна. В конце того же года приговорена турками к повешению. Новый министр внутренних дел, бывший школьный товарищ Шаумяна, заменяет казнь высылкой. Во Владикавказ приходят белые, Оля остается с друзьями, больными тифом, заболевает сама, полуживой ее вывозят на арбе с коврами в Тифлис, оттуда она возвращается в Баку для подпольной работы. Пробирается через несколько границ и фронтов с письмом к Ленину, — в общем, хватило бы на сериал, причем без всякого вранья.

После взятия Баку Красной Армией ее дважды выпроваживают из родного города за бунтарские выступления против местного руководства (впоследствии на этом материале был построен донос местного сатрапа Багирова, ставленника Берии); на курсах марксизма-ленинизма она попадает на глаза Кагановичу, он зачисляет ее в аппарат МК. Культ, окружавший имя Ленина (а потом Сталина), захватывает ее, подавляет природный ум. Только в 1937 году приходит вопрос: а не фашизм ли это?

Додумывать пришлось уже после ареста: в застенках, на Колыме, в бессрочной ссылке. До конца вопрос о природе сталинизма никогда не решила, так же как другой, связанный с первым: а не был ли Сталин профессиональным провокатором? Мы с ней об этом часто беседовали. Во всяком случае, пропасть между собой и сталинистами она чувствовала всей своей ободранной кожей. Только уступая уговорам друзей по ссылке, послала в Москву короткую записку: «Никита Сергеевич, Вы сами знаете, что я не враг народа. Шатуновская».

Оказалось, что именно такой, какой стала, с зарядом протеста и борьбы за справедливость, она была нужна. Некому было проводить реабилитацию политических заключенных. Сталинисты саботировали. Хрущёв назначает ее членом Комиссии Партийного Контроля.

Первым ее шагом на этой должности был отказ от пакета. Теперь не все знают, что это такое: «черный нал» партийной номенклатуры, не проходивший через бухгалтерию, не облагавшийся налогом, не учитывавшийся при уплате партийных взносов. Кажется, это было придумано как монетаризация закрытых распределителей. Хрущёв, под влиянием Ольги Григорьевны, отменил пакеты. Можно понять, как ее возненавидели.

Вторым шагом была борьба за участие бывших эзков в комиссиях, разбегавшихся по лагерям, разбирать дела на месте. В большей части комиссий эзки были введены.

Третьим шагом была отмена бессрочной ссылки как меры наказания, отсутствовавшей в уголовных кодексах республик. Решение, подготовленное Шатуновской, было принято Политбюро, но Маленков тайно распорядился не придавать ему обратной силы, рассматривать только как

указание на будущее. Шатуновская добилась того, что Пегов, родственник партийного идеолога Суслова, фактически руководивший Президиумом Верховного Совета, был снят с работы, решение Политбюро стало государственным законом и вся бессрочная ссылка, без разбора дел, получила паспорта и разъехалась по домам, добиваться реабилитации уже из дому.

Однако главное дело ждало впереди. После XX съезда была создана комиссия для расследований убийства Кирова. Кроме председателя, Шверника, в комиссию входили Генеральный прокурор Руденко, председатель КГБ Шелепин, заведующий одним из отделов ЦК Миронов и член Комиссии Партийного Контроля Шатуновская. Работала она одна, с несколькими wybranными ею помощниками. Полномочия у нее были большие, но с чего начать?

В личном архиве Сталина перед ней стояли ряды несгораемых шкафов. Там можно было рыться годами. В порыве вдохновения она обратилась к заведующему архивом, по слухам — человек Маленкова, и сумела убедить его, выполняя решения XX съезда, выдать ей документы о роли Сталина в декабре 1934 г. На другой день он выдал ей планы ленинградского и московского террористических центров, написанные рукой Сталина. Зиновьева и Каменева он сперва записал в ленинградский центр (т.е. на немедленный расстрел), а потом зачеркнул и перенес в московский (для показательного процесса). Судебная экспертиза подтвердила подлинность сталинского почерка.

Состав ленинградского центра Сталин набрал, зайдя в секретно-политический отдел Ленинградского НКВД. Он взял картотеку зиновьевцев и наобум выбрал оттуда несколько карточек. Это подтвердили сержанты, работавшие тогда в архиве и за прошедшие годы ставшие офицерами. По случаю погребения Кирова весь террористический центр был расстрелян. Я помню, что советская пресса критиковала буржуазную газету «Таймс», назвавшую этот расстрел «языческими похоронами».

Надо было теперь понять, кто толкал руку убийцы Кирова Леонида Николаева. И тут на ловца сам вышел зверь. Опарин, директор завода, знавший Шатуновскую по работе ее в промышленном отделе МК, пришел и рассказал то, что знал от своего друга Пальчаева, прокурора Ленинградской области, присутствовавшего при первом допросе. Николаев, упав на колени, кричал: это они, они меня четыре месяца уламывали, чтобы я это сделал. Они возвращали мне оружие... Сталин ударил его ногой в лицо, и все принялись бить Николаева, пока тот не потерял дар речи.

Пальгов не сомневался, что всех свидетелей расстреляют, и не стал дожидаться, застрелился сам. Но рассказ его уцелел в устах Опарина. Теперь надо было найти еще хоть одного свидетеля свидетельств. После допроса сотен ленинградцев один такой нашелся. Им оказался Дмитриев; ему рассказывал Чудов, второй секретарь ЛК. Чудова расстреляли вместе

с женой, а Дмитриева Сталин не учел.

Дмитриев и Опарин, не знакомые друг с другом, дали письменные показания.

Но откуда я это знаю? По рассказам Ольги Григорьевны. Родные издали целую книгу таких рассказов, но это не судебные документы. Впрочем, недавно я натолкнулся на третьего свидетеля свидетельства. Встретил на остановке знакомого, Владимира Ильича Илюшенко, стал рассказывать о допросе Николаева — и вдруг Илюшенко, перебив меня, стал продолжать: «и кавказским сапожком в лицо...».

— Откуда вы знаете?

— От отца. Он работал в органах и многое знал. Разумеется, человек, который ему рассказал эту сцену, расстрелян. У Сталина была поразительная память на имена и лица.

Мы провели с В.И.Илюшенко совместную передачу по «Софии», с прямым эфиром, в котором большинство голосов поддерживало нас. Мы предлагаем повторить этот разговор по любой программе телевидения. Если нужно — перед барьером. Пусть зрители столкнутся лицом к лицу с теми, кто верит Шатуновской, и с другими — кто считает ее выжившей из ума старухой или лгуньей. Я общался с ней более двадцати лет и ручаюсь головой, что ясность ума она сохранила до смерти и никогда не путала фактов с домыслами. К примеру, ей очень хотелось, чтобы сотрудничество Сталина с охранкой было доказано, но она решительно отбрасывала домыслы и признавала, огорчаясь, что доказать ей здесь ничего не удалось. А вот убийство Кирова — здесь все было доказано, только документы Сулов истребил. И я не могу ей не верить.

Однако вернемся к Шатуновской. Она присутствовала на XVII партийном съезде с гостевым мандатом и запомнила, что кулуары гудели возмущенными голосами; говорили о голоде, о падеже скота. На трибуну никто не решался с этим выйти. Культ уже сложился. Выступить против Сталина — все равно что похулить Мохаммеда в Мекке. Но почему делегаты не воспользовались тайным голосованием? И вот пошла Шатуновская в архив и посчитала бюллетени. Не хватало 289 штук. Стала наводить справки о членах Счетной комиссии. Их было 60 человек. Почти все расстреляны. Но уцелел член Счетной комиссии Верховых и рассказал все, как было. Фамилия Сталина была вычеркнута 292 раза. Верховых пошел с этой цифрой к Кагановичу; тот, вместе с ним, к Сталину. «А сколько человек вычеркнули Кирова? — Трое. — Напишите и мне три, а остальные бюллетени сожгите». Впоследствии, вступив в антипартийную группировку Маленкова, Кагановича, Молотова с примкнувшим к ним Шепиловым, Каганович был вызван на допрос и подтвердил, что бюллетени сжигал он лично.

Сталин в эту ночь уже знал об импровизированном совещании на квартире Орджоникидзе (присутствовали Киров, Косиор, Шеболдаев и др.). Орджоникидзе предложил голосованием выразить недоверие

Сталину и убедить его уступить первое место Кирову, перейдя на достаточно престижный пост председателя Совнаркома. Киров отказался от предложенной ему роли, он не решался взять на себя ответственность за страну перед лицом Гитлера. На другой день Сталин вызвал Кирова к себе (кто-то донес или подслушал). Киров подтвердил все, что было, и объяснил, что недовольство товарищей вызывает стиль руководства Сталина. Простились внешне вежливо, но придя домой, Киров сказал: моя голова лежит на плахе. Это подтвердили родные Кирова и Орджоникидзе, оставленные в живых, чтобы сохранить легенду о великой дружбе.

По-видимому, Сталину удалось убедить своих ближайших соратников, что тайная оппозиция хуже явной и должна быть искоренена так же, как искоренено было сопротивление крестьянства — ликвидацией кулачества на основе сплошной коллективизации. Ликвидации подлежали высшие слои номенклатуры — партийной, советской и военной. Собственное мнение даже после смерти Сталина оставалось криминальным сочетанием слов. Оно должно было уступить место слепому послушанию. Молотов всю жизнь продолжал считать, что Большой террор дал нам победу, уничтожив «пятую колонну». Предполагаемой пятой колонной были и 18 расстрелянных командармов (по-нынешнему генералов армии), 18 из 20. Эти доведенные до паранойи меры безопасности дали Гитлеру надежду за два месяца разгромить обезглавленную армию. Но здесь мы выходим за рамки темы: военными Ольга Григорьевна не занималась, дело Тухачевского, Якира, Уборевича и прочих расследовали другие. Дело это было политически простым и поэтому легко удалось довести его до конца.

Ольга Григорьевна довела до конца только одно дело: массовую реабилитацию поодиночке. Подготовлено было к общей реабилитации дело Бухарина и Рыкова, но это не прошло. Хрущёв плакал, читая составленное Шатуновской резюме, восклицал по телефону: «Что мы наделали! Что мы наделали!» — и не решился пойти против большинства ЦК. Реабилитация Бухарина тянула за собой реабилитацию его идей (за которые в Китае ухватился Дэн Сяопин): мягкий переход к рыночной экономике, без шоковой терапии, с «врастанием кулака в социализм», с отказом от некоторых властных полномочий в пользу частной инициативы. А к этому номенклатура, привыкшая к положению маленького Сталина в каждой области, в каждом районе, даже к 1990 г. не подготовилась.

Шатуновская умела влиять на Хрущёва. Временами она казалась «серым преосвященством» при господине кардинале. Как-то и Фурцева приезжала к ней советоваться (оставив свою машину за несколько кварталов в стороне). Но господина кардинала легко было заводить и толкать то туда, то сюда. К тому же гэбэшники, сидевшие в узлах связи, просто не соединяли Ольгу Григорьевну с Никитой Сергеевичем, ей приходилось пробиваться то через Анастаса Ивановича Микояна, то через

Нину Петровну, жену Хрущева, — а в итоге у Шатуновской, за время работы в КПК, накопилось больше инфарктов, чем дел, доведенных до конца. Публикация дела об убийстве Кирова была отложена на 15 лет (Ольга Григорьевна назвала это политическим самоубийством и была права: Сулов не стал ждать пятнадцати лет, Хрущёв был свергнут через два года). Все попытки завести дела о коррупции неизбежно кончались провалом: круговая порука коррупционеров была непробойной.

Выйдя в отставку, Ольга Григорьевна беспомощно наблюдала, как разваливался главный труд ее жизни, дело в 64 томах, и старалась сохранить в памяти исчезающие документы. Это был один из последних кругов ада, через который она прошла. Застенок, крики женщин под пыткой (одну из ее подруг вешали за ноги), «холодные, мрачные трюмы» парохода, подбрасываемого бурей в Охотском море, морозы Колымы, встреча в Москве с второй семьей своего мужа, писавшего ей в лагерь нежные письма, второй арест, тяжелый для каждого повторника, бессрочная ссылка — и непрерывная, повседневная травля со стороны сталинистов, окружавших ее в КПК. И после всего — одиночество квартиры на Кутузовском с постоянным упражнением памяти, мешавшим сосредоточенности на главном для души в последние годы; наконец — болезнь и смерть любимого старшего сына, верного ей в годы ее тюремной и лагерной жизни... И все же на девяностом году жизни хватило сил развязать дискуссию в «АИФ», в «Известиях», в «Литературной газете» и уже накануне смерти написать блестящую по лаконизму статью, в которой собраны все основные факты о провокационном убийстве, с которого начался Большой террор. Каково ей «оттуда» наблюдать попытки заполнить идеологический вакуум призраком «человекоорудия дьявола», как назвал Сталина великий русский поэт Даниил Андреев.

Но всё минется, только правда останется. И если памятник Сталину будет сооружен, то на постаменте его выбьют стихи Мандельштама о «кремлевском горце» или стихи Ахматовой:

В Кремле не можно жить. Преображенец прав.
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы И
самозванца спесь взамен народных прав.

Воспоминания Шатуновской подтверждают эту оценку. Что написано пером, не вырубишь топором. Книга переживет электронное вранье.

5-й Украинский фронт

Почему евреев не было в передовой цепи? Потому что их очень редко направляли в стрелковые роты. Еврей мог стать стрелком скорее в обход райвоенкомата, записавшись в ополчение. Так я и мои друзья записались 16 октября 1941 г., чтобы защищать окраины Москвы. В нашем отделении было три еврея. В группе, стихийно сложившейся в первом бою, уже в

феврале 1942-го, был пулеметчик Пурнашкин (мордвин), двое русских и два еврея, оба в очках. Один из них я, другой некто Френкель. И девушку вспоминаю, рядом с которой рыл окоп под Москвой, в ноябре 41-го, тоже еврейка. Общих процентов я не подсчитывал, но думаю, что порядка десяти. Еврейские лица всюду мелькали. То же примерно мне рассказывали о первом, июльском ополчении.

Однако райвоенкомат исходил из того, что на современной войне нельзя использовать образованных людей в качестве рядовых пехотинцев. Интеллигентов посылали в военные школы. А мальчиков со средним образованием, попадавших в маршевые роты, разбивали сперва армейские спецподразделения, армейские артиллеристы, потом — в стрелковых дивизиях — артиллерийский полк и т.п., в полках — опять артиллеристы и минометчики, и, наконец, в батальоне — минометная рота. В стрелковые роты поступали большей частью колхозники, с образованием от семи классов и ниже; или наспех мобилизованные из только что освобожденных областей, где евреи были изъяты зондеркомандами.

В батарее звуковой разведки, которой командовал капитан Солженицын, служили два еврея: это обычный факт. Служили евреи и в стрелявших батареях, я встречал. Там нужно знать тригонометрию. А вот евреев в стрелковой цепи, в обыкновенной, не ополченской 258-й стрелковой дивизии, за два года службы там — не встречал. Слышал о еврее — командире стрелковой роты, но познакомиться с ним не успел. Зато, по своей службе газетчика, успел подружиться с двумя евреями — командирами батальонов, с некоторыми ПНШ (офицерами штаба полков); и, наконец, 258-я стрелковая дивизия стала 96-й гвардейской под командой полковника Левина.

Теперь вспомните, что по числу награжденных евреи стоят на четвертом месте, обойдя казанских татар и башкир (по моему убеждению, — лучших наших пехотинцев). По Героям Советского Союза евреи на шестом месте (после татар и башкир), но представление на Героя лично подписывал Сталин, а он евреев не любил. Во всяком случае, и по Героям место евреев по числу награжденных выше, чем по числу призванных. Я только из немецких источников узнал, что по числу призванных место евреев седьмое. А более точные данные появились совсем недавно. Русские исследователи стараются не наталкивать читателя на расчет: а сколько же выходит награжденных на 100 тысяч призванных. Расчет показывает то, что без объяснения нелепо: по числу награжденных на 100 тысяч призванных евреи обходят чуть ли не всех. Почему? Евреи воевали не лучше всех, а примерно так же, как русские, украинцы (лучше других в пехоте, как я уже говорил, были татары и башкиры). Но статистику раздувает высокий уровень образованности. Евреи — народ диаспоры. Среди них более двух тысяч лет не было малограмотных крестьян. И все эти две тысячи лет люди работали головой больше, чем руками. После упразднения процентной нормы очень многие устремились в институты,

университеты. И когда началась война, евреи служили офицерами чаще, чем солдатами. А офицеры получают ордена гораздо чаще, чем солдаты. Оставаясь формально рядовым (хотя исполнял должность журналиста), я получил только скромную медаль «За боевые заслуги»; а получив звание младшего лейтенанта — орден «Красной звезды» и «Отечественной войны II степени» (хотя не стал ни умнее, ни добросовестнее, ни храбрее).

Бедолага-пехотинец, искалеченный войной, мог ворчать, что не встречал евреев в передовой цепи; молва охотно это подхватывала. Но здесь не было никакой еврейской хитрости. Действовал общий порядок комплектования.

Остается объяснить, откуда взялся 5-й Украинский фронт и как он воевал. Люди моего возраста все помнят шутку, что 5-й Украинский фронт взял Ташкент. Но только летом 1944 г. передо мной раскрылась тайна, как это вышло. Я служил тогда недолгое время комсоргом 3-го батальона 291-го гв.с.п. И наш батальон неожиданно получил пополнение — восемь или девять евреев. Трое — с высшим образованием (двое варшавян и один из Кишинева). Я поговорил с ними и узнал, что все они — беженцы из областей, присоединенных в 1939—1940 гг., или даже из Польши. Все приняли советское гражданство (тех, кто отказался это сделать, отправили в лагеря; оттуда потом выходцы из Польши попали в армию Андерса). Однако если бы наша армия в 1945 г. оставалась где-то на Днепре, то присоединения 1939—1940 гг. могли быть аннулированы. Поэтому беженцев трактовали как полуиностранцев, посылали на трудовой фронт, но в армию не брали. И множество беженцев скопилось в Ташкенте: во-первых, тепло; во-вторых, подальше от Гитлера.

Положение изменилось в 1943 г. После капитуляции Паулюса и победы на Курской дуге Сталину море стало по колена, и он распорядился беженцев призвать и отправить рядовыми в стрелковые роты. Незвизрая ни на какие дипломы.

Вскоре рота лейтенанта Сидорова, куда попали беженцы, отличилась в бою. За исключением одного, беженцы держались прекрасно. Нелицеприятный Сидоров шестерых евреев представил к медали «За отвагу». Я как литератор оформлял наградные дела; замполит, старший лейтенант Скворцов, только подписывал. На этот раз — не подписал: «Недавние советские граждане, пусть еще повоюют». Как могли повоевать четверо раненых и эвакуированных, оставалось неясно. Самому Сидорову я написал красивое представление, кажется, на «Красное знамя», но он махнул рукой: с 1941 г. в черном списке, вышел из окружения без знаков различия. С тех пор — лейтенантом, командиром стрелковой роты, без продвижения и без орденов. К своей судьбе он отнесился с великим терпением, солдаты в него верили — и не подвели в бою... После второго боя Сидоров снова представил к медали «За отвагу» двух евреев, оставшихся в строю. На этот раз Скворцов подписал.

Через несколько дней одному из оставшихся отшибло миной левую

руку по локоть. Последний, старшина Эйдельман, агроном из Молдавии, был назначен командиром хозяйственного взвода вместо прежнего, украинца, в состоянии шока выстрелившего себе в руку и без огласки пониженного в должности (гуманное решение комбат скрепил парой оплеух). И опять в стрелковой цепи не оказалось ни одного еврея.

Я не знаю, как служил контингент 5-го Украинского в других батальонах; но если не хуже, чем у нас, то надо с почетом внести этот фронт в летописи Отечественной войны.

Дополнение

Я понимаю возмущение Солженицына неожиданной, не разрешенной им публикацией рукописи 1965—1968 гг. под названием «Евреи в СССР и в будущей России». Пиратское издание Сидорченко выставило то, что можно понять как эскиз книги «200 лет вместе», но написанный сторяча, вызвавший встречную волну сопротивления у самого Александра Исаевича и поэтому отставленный. Сидорченко грубо нарушил авторское право. Но я не понимаю, почему Александр Исаевич попытался объявить текст как бы не существующим и не допускающим обсуждения. Что написано пером, не вырубишь топором. Скандальную исповедь Ставрогина, изъятую из «Бесов» по требованию Каткова, сегодня прочел каждый русский интеллигент. И даже личное письмо Пушкина Вульф, оскорбительное для памяти А.П.Керн, широко известно. Филология — беспощадная наука. Она не считается с запретами.

Тем не менее, я готов уважать волю автора и не комментировать текст публикации. Там нет ничего хитрого, будущие филологи сами разберутся. Но тут есть некоторые деликатные проблемы. Если Солженицын — хозяин своего текста, то и я хозяин отрывка из моего письма, которое он цитирует. И я свидетельствую, что это действительно обрывок моей мысли. Что он взят из моего письма 1967 г., с которым автор полемизирует в своем обычном стиле. Что Солженицын вряд ли показывал многим письмо в целом. Там было место, которое он всегда обходит: мое предложение разобраться в собственном подсознании и освободиться от комплекса застарелой обиды, от следов психологической травмы, пережитой не вымышленным Олегом Рождественским, а самим Саней Солженицыным в Ростове, в 1930 г. И я уже писал, что черновики письма были изъяты при обыске и никак, помимо Солженицына, мои письма и письма моей жены не могли попасть в руки Сидорченко.

И я также вправе заявить, что обрывок моей мысли вне контекста выглядит по меньшей мере странно, и пояснить, о чем шел разговор: как писатель может избежать опасности оскорбить одних и растравить ненависть других. Шаламов нашел выход в изображении отрицательных героев без национальных примет. Булгаков придумал другой прием. Он рисует дураков и мерзавцев парами, подчеркивая эту парность сходством

начальных букв фамилий: Шариков — Швондер, Берлиоз — Бездомный. Я советовал Солженицыну учесть опыт Булгакова. К сожалению, Солженицын, переходя от прототипа к художественному изображению, меняет национальность только в одну сторону и так же поступает в подборе фактов.

Приведу примеры. Лев Копелев, товарищ Солженицына по шарашке, рассказывал мне, что отчаянный парень, раскрывший, кто стучит, был еврей. Солженицын дает ему русский псевдоним. Валерий Каджая разглядел другой подобный пример. Солженицын, несколько раз говоря о руководителе известного лагерного восстания, в 3-м томе «Архипелага», ни разу не называет его фамилии; видимо, она для него неприятно звучала. Третий случай заметил я сам. Было такое позорное письмо, подписанное в 1953 г. несколькими известными евреями. Солженицын в книге «200 лет вместе» перечисляет фамилии подписавших; германский исследователь Люкс — фамилии отказавшихся подписать. Каждый нашел то, что искал (может быть, подсознательно).

Вторая проблема, требующая обсуждения, — всенародные пристрастия, выступающие во многих сочинениях Солженицына: в «Круге первом», в «Архипелаге», в «200 лет вместе», т.е. не только в рукописи 1965—1968 гг. Солженицын неоднократно ссылается на общее мнение. Мой фронтový опыт позволяет раскрыть, как возникает очевидность предубеждений.

К читателям статьи Л.Люкса

Специалисты уже знакомы с книгой Нольте, оправдывавшего преступления Гитлера. С рядом аргументов Леонида Люкса, полемизировавшего с Нольте (в упоминавшейся мною книге «Исторические очерки о России, Германии и Западе»), я глубоко согласен. Некоторые высказывания Нольте чудовищны. Например, убивать сотни тысяч людей на том основании, что несколько человек могли примкнуть к партизанам, — это не военная необходимость. Англичане в войне с бурами, встав перед сходной проблемой, загнали все бурское население в лагеря, но никого не расстреливали. Военная опасность евреев Киева для немцев была величиной, близкой к нулю. Евреи, заключенные в трудовой лагерь, редко могли бы бежать. Бабий Яр был наполнен трупами по другой причине: партизаны (точнее говоря — советские агенты, оставленные в подполье) взорвали несколько гостиниц. Встал острый вопрос о жилье, и найдено было простое решение: расстрелять все еврейское население Киева. Квартиры освободились. Если это необходимость, то необходимо было поджечь Рим: Нерону очень хотелось увидеть горящий город и декламировать стихи о пожаре Трои.

Нельзя считать оборонительным действием и общую антисемитскую политику Гитлера. Евреев истребляли, от случая к случаю, около 2,5 тысяч лет, но это никогда не диктовалось военно-стратегическими соображениями. Нольте рисует Гитлера как новатора; между тем, он

продолжал древнюю традицию. От кого оборонялись эллины Александрии, вырезав, при Тиберии кесаре, 50 тысяч евреев? Против кого оборонялись казаки Богдана Хмельницкого, вырезав 400 тысяч евреев? Против кого оборонялись Гонта с Железняком, вырезав еврейское население Умани, а поляков отпустив? Восстание было против польской власти; почему же прежде всего и с квалифицированной жестокостью резали евреев? Почему при всех народных движениях в Индонезии и Малайе режут китайцев, «евреев Юго-Восточной Азии»? Почему существует турецкая поговорка: «если увидишь змею и армянина, убей сперва армянина, потом змею»? Потому что любая этническая группа, став группой диаспоры, приобретает черты, непривычные для «народа земли», обрастает подозрениями в черной магии, колдовстве, убийстве младенцев и становится козлом отпущения при любых несчастьях. Причем, если есть две группы диаспоры, то роль козла отпущения достается одной из них, к другой относятся терпимо. Турки традиционно терпимы к евреям, у персов другие предпочтения.

Речь идет не о вражеском населении (вражеское население интернируют, а не отправляют в Освенцим), а о древнем и не умирающем диаспорофобстве. Одно время считалось, что отравляли колодцы и молились гениталиям христиане, и чернь кричала: христиан — льявам! В эти века евреев оставили в покое. Потом чернь нацепила крестики, и те же обвинения обрушились на евреев. В конце концов, просто привычка сложилась. Царя убил поляк Гриневецкий, но по России прокатилась волна *еврейских* погромов. Это иррационально — и стало нормой истории.

Я в любом государстве буду менее защищен, чем коренной житель, что бы и сколько бы ни говорилось о равенстве прав. Я принимаю эту незащищенность. Я вижу в ней Божье задание бороться за то, чтобы был защищен каждый. Есть другой полюс диаспоры, человек, готовый кого угодно продать, лишь бы выжить (в Евангелии этот тип запечатлен в Иуде); но ни в древности, ни ныне диаспора не сводилась к Иуде. Поддержка, которую евреи оказывали левым партиям, связана с этическим запалом Библии, — слишком прямолинейно понятым. Еврей, мысливший глубже, М.О.Гершензон, придумал «Вехи», предупреждение против революции; среди семи авторов «Вех» — три еврея. Но то, что они евреи, не помнят, они словно не евреи, а просто веховцы. Помнилось в 20-е годы другое: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Потом того Высоцкого и того Бродского забыли, помнят других — поэтов.

Вернемся, однако, к Нольте, частица правды у него есть.

Опыт России был учтен Муссолини. Воюя с коммунистами, он называл себя учеником Ленина. Муссолини заимствовал суть: партию вождя, за которым слепо идет взбаламученное панургово стадо; идеологию же он сменил, как перчатки. Гитлер опирался на опыт Муссолини,

т.е. на тот же ленинский опыт, только не сознавался в этом. Хотя его представители изучали (в период «заклятой дружбы») советские лагеря. Тоталитарные движения то пугают друг друга, то учатся друг у друга. Гитлер заимствовал красное знамя. Весь поздний сталинизм — подражание Гитлеру: ссылка целых народов, готовившееся истребление евреев. Гитлер использовал Гёте, Сталин тут же стал опираться на Пушкина (в 1937 г.!), на Льва Толстого. Все эти трюки похожи на истинную близость к Гёте и Пушкину, как проституция на любовь. Чем дальше от идеологии, чем ближе к практике, тем менее важно, что большевизм извращал Просвещение, а Гитлер — Романтизм, что Бен Ладен извращает Коран. Почва тоталитаризма — не в особенностях той или иной идеологии (можно обосновать тоталитаризм и экологической напряженностью, и мы, вероятно, увидим это). Тоталитаризм растет, как поганый гриб, из растерянности масс, потерявших доверие к рационалистическим партиям и программам XIX в. и поверивших в Вождя, *который знает, как надо* (А.Галич). Гитлер был задиристее, Сталин — хитрее и лицемернее, но эти различия — в рамках несокрушимого единства.

Лев Толстой верно заметил, что средства в истории важнее целей и политиков следует судить не по лозунгам. Так же как армии, разорвавшие Германию в Тридцатилетнюю войну, мы судим не по догматам, а по зверствам. Но в профессоре Нольте говорит обыватель, которому своя рубашка ближе к цели. Ему обидно, что русские не раскаялись и живут себе как ни в чем не бывало. На самом деле, живут русские очень скверно и отчасти именно потому, что не покаяться, не очистились от скверны. А этос покаяния перешел в этос немецкого хозяйственного чуда, смывший чувство национальной обиды пафосом творческого труда. Нольте, вопреки христианской этике, гасящей обиды, осторожно возвращается к тем же чувствам национальной обиды, которые отравили Германию 20-х годов. Надеюсь, это не вызовет таких же последствий, но аргументация Нольте — из арсенала демагогии, чуждой науке. Доходит до того, что он подводит национал- социализм под антиглобализм (хотя с тем же успехом тысячелетнее царство северной расы можно было бы подвести под глобализм, а еще лучше — не смешивать с проблемами, возникшими на десятки лет позже). Демагогический трюк вызывает аплодисменты там, где сильны антиглобалистские настроения — в левых кругах Франции и Италии. Зато попытка пригласить Нольте в Оксфорд была сорвана из-за протеста профессоров и студентов.

Вот то, что мне прежде всего хотелось сказать, рекомендуя читателю превосходящую статью Люкса. Из сказанного ясно, в чем я с ним несколько расхожусь. Меня связывает с Люксом общий нравственный дух: несогласие с массовыми убийствами во имя какого бы то ни было светлого будущего. Мне не кажется решающим различия между Сталиным, Гитлером, Пол Потом. У всех у них одна программа: *оконча-*

тельное решение всех вопросов, одна тактика: *ничем не ограниченное насилие*, и пусть им общим памятником будет — выгребная яма истории. Запах ее никому не смыть.

Технология власти и власть технологии

Когда технология власти становится основой политики, это несчастье для эпохи и для страны, где оно случилось. Сломаны правовые рамки, в которых власть действует, потеряны духовные ориентиры. Власть обнаглела и потеряла чувство своих границ. На время она кажется всемогущей, иногда гремят военные победы; но они оказываются пирровыми. Истощаются силы страны, истощается терпенье слуг на всех уровнях. И после смерти деспота глухое недовольство вырывается в смуте. Так было после смерти Цинь Шихуанди, Ивана Грозного, Иосифа Сталина. Сподвижники деспота сами разваливают порядок, при котором они встали возле трона, и падают в разрытую ими яму.

Любая сила, импульс, принцип, идея, вырвавшаяся из связки с другими силами культуры, разрушает ее целостность. Всякий принцип истинен, пока он знает свою меру. Выйдя за пределы, отпущенные ему историей, он становится разрушительным. Бывают эпохи, когда и диктатура необходима, когда альтернативой ее становится внешняя угроза или силы анархии. Но только римляне создали систему, в которой диктатор каждые полгода должен был отчитываться перед сенатом и сенат решал — продлить его полномочия или нет; а народный трибун мог наложить свое вето на любое решение сената, невыгодное плебейам.

В Новое время механизм входа в диктатуру и выхода из диктатуры нигде не был создан. Европа XIX века не была готова к чрезвычайным положениям, не ожидала их, и диктатуру создавала масса, взбалмошная непонятными и невыносимыми поворотами жизни, увидевшая в талантливом демагоге своего вождя и спасителя. Механизма контроля над диктатором масса никогда не могла создать, и диктатура довольно быстро вырождалась в деспотизм. Ленин видел гарантию от вырождения во внутрипартийной демократии. На страже ее, по идее, стоял центральный комитет, состоявший из большевиков с дореволюционным стажем, помнивших свое социал-демократическое прошлое. Но уже сложилась новая привычка, к партии вождя, который во всем и всегда прав. И Сталин сумел использовать эту привычку в свою пользу. Как он это сделал, хорошо описал Авторханов в своей книге «Технология власти». Самый термин «технология власти» стал после нее популярным.

Власть идеи, сорвавшейся с цепи, вырвавшейся из царства идей, неправильно называть идеократией. Идея становится в ней прикрытием бешенства власти, безумного движения от насилия к насилию до падения в бездну. Эта опасность дремлет во всякой захваченности идеей, задолго до того, как она станет властью.

Когда я пишу, я стараюсь держать ум в сердце. Иначе инерция мысли

унесит куда-то в духовную яму. И страх духовной пустоты, страх отрыва от глубокого сердца — это страх Божий. Это знак: бросай работу, остановись, высвободи ум от захваченности, дай ему внутренний простор, полет над страстями.

До какой-то степени это относится и к политическому действию. У старых большевиков оставался кусок сердца, связанный со словом социализм, они понимали путь к социализму по-разному, но при слове «социализм», у всех вздрагивало сердце. Слово социализм связано было для них с идеями справедливости, добра и т.п. Но постепенно сердце каменело. Его заполнило другое: борьба за первое место в аппарате, наслаждение властвовать. В Сталине этот процесс завершился. Бог в нем умер. Ибо Бог — это любовь, действующая любовью, а дьявол — власть ради власти. Сталин стал медиумом демонических сил истории, и Даниил Андреев прав: вдохновение Сталина, его энергия — от этой одержимости. Стремление к победе идеи само по себе не безгрешно: оно ставит идею выше любви. У Сталина идейность переродилась в эротику власти.

Сейчас уже совершенно ясно, что политическая стратегия Бухарина была верной: «врастание кулака в социализм», лозунг «обогащайтесь!», а не разорение крестьян; союз с социал-демократами, а не грызня с ними, облегчившая Гитлеру путь к власти. Этот путь мог дать расцвет экономики не хуже, чем в Китае. Он мог дать выход от диктатуры к духовной свободе, как постепенно двигалась к свободе диктатура Гэнро в Японии, после реставрации Мэйдзи. Но Сталину нужно было другое: сознательно или бессознательно, он обострял ситуацию, делал репрессии видимо необходимыми, а потом ломал сопротивление, уничтожая целые классы, целые народы, заставляя людей, подвластных ему, цепенеть от ужаса. Дать крестьянам «твердые задания» по хлебозаготовкам, а потом раскулачить «твердозаданцев», не сдававших хлеб даром. Обезглавить армию репрессиями накануне войны, а потом проложить путь к победе через горы трупов. С каждой победой росла пирамида из черепов. Каждые несколько лет — новая волна террора. Никто не был от него застрахован. Министр (и не один), член (или кандидат в члены) Политбюро мог назавтра оказаться в застенке. Система судорожно работала, выполняя и перевыполняя планы (по крайней мере, на бумаге), и готова была завоевать весь мир. Но у нее был один недостаток: она превращала все обстоятельства в чрезвычайные, еще более чрезвычайные, совершенно чрезвычайные — и человеческая природа не выдерживала стресса. Был такой анекдот, ходивший среди троцкистов: «Можно ли построить социализм в одной стране?». Гилель ответил: «Можно», но Раше (средневековый комментатор древнего мудреца) добавил: «только жить в этой стране нельзя будет».

Никакой исторически достижимой цели у Сталина не было. Лозунг, в котором называлась видимая цель, поражал своей нелепостью: «Движение к коммунизму через усиление классовой борьбы». Тут не нужна никакая

пародия. Готовый язык Оруэлла: «мир — это война», «свобода — это рабство». «Усиливая репрессии, движемся к ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого».

Однако коммунизм — не единственный абсурд, к которому ведет идея, вырвавшаяся из связки культуры. Власть капитала видимо ограничена. Она не сажает своих врагов задом на ножку табуретки, не защемляет мошонку дверями. У нее более цивилизованная технология. Достаточно контроля над телевидением и даже не над всеми передачами, а над известным процентом передач. Достаточно культа научно-технического прогресса. Ум, привыкший создавать системы из атомарных фактов, вытщенный на поверхность логики, теряет глубину, теряет способность строить внутреннее пространство личности, независимое от рекламы и пропаганды, выстраивать царство внутри нас, перекликающееся с бесконечным простором вне нас. Личность становится шепкой в разливе неудержимой реки, в неудержимом расширении техногенного мира, готового пожрать мир, созданный Богом. Победа Запада в холодной войне оказалась такой же пирровой, как победы Сталина. Процесс отчуждения человека от его собственной сущности захватывает миллиардера не меньше, чем клерка, и даже художник не достигает полной свободы.

Карл Маркс и Герберт Маркузе ошибались в своих альтернативах капитализму. Бесконечное развитие человеческих способностей как самоцель — идея, основанная на оценке человеческой природы на уровне просветителей XVIII в. Уже Дидро, с его «Племянником Рамо», в это не верил. Достоевский, в «Записках из подполья», не оставляет камня на камне от иллюзии «прекрасного и высокого». Без открытия чего-то высшего в собственной глубине, без готовности служить этому высшему человеческая свобода развязывает дьявола. Этого ни Маркс, ни Маркузе не понимали. Но Маркс в критике капитализма, Маркузе в критике посткапитализма были правы. Потеря смысла жизни, более высокого, чем сама жизнь с ее минутными удовольствиями, сказалась в потере воли оставить на земле потомство. Рождаемость неудержимо падает. На европейские и европеизированные страны легла печать смерти. Победители в споре передового Запада с отсталым Востоком оказались в таком же тупике, как Россия, которая по-прежнему страдает и от капитализма, и от недостаточного развития капитализма.

Все безудержное ведет к смерти. Сталинские победы — благодаря безудержному насилию, победа свободного Запада — благодаря безудержной свободе научно-технического прогресса, обогнавшего души людей. Однажды в горах проводники из племени шерпа остановились. В ответ на вопрос туриста они ответили: «Мы слишком быстро шли. Наши души не успевают за нами». Одна система исчерпала себя из-за соблазна взбесившейся идейности, другая — из-за полного отказа от руководящей идеи, из-за потери контакта с собственной глубиной, из-за смены

традиционных святынь рыночными ценностями. Человек, отпавший от Бога, отпадает и от воли к жизни.

С надеждой на воскресение

Мы много лет спорим с моим другом, Александром Мелиховым. Мелихов — математик и писатель. Как математик, он признает только строго доказанные истины. Как писатель, он знает, что этими истинами нельзя жить; вдохновляет жить только то, что трогает сердце, а совсем не то, что доказано и признано наукой. И оглядываясь кругом, Мелихов еще и еще раз убеждается, что нас вдохновляют «фантомы». На сегодняшний день это почти верно: живем в мире фантомов, созданных телевидением. Все массовые идеологии хочется назвать «вдохновляющим враньем» (как выразился герой одного из романов Мелихова). И остается только выбор между сравнительно безобидными фантомами и фантомами скверными, ведущими к массовым убийствам.

В рамках психологии масс это не только почти верно, это совсем верно; но личность прорывается сквозь статистику, и истинность шире математики, шире науки. Точность возможна только в логически корректных операциях с *банальными* предметами мысли. Если же мыслить о Гамлете, в душе которого было окошко в бесконечность, то за четыреста лет не удалось определить, в чем его обаяние, и споры будут длиться век за веком. За три тысячи лет не удалось *доказать*, что Гомер — хороший поэт. И было уже сказано, что Венера Милосская несомненное принципов 1789 года.

Мелихов прав в своих отрицаниях. Достоверность факта не делает его ценностью. То, что «сухие ноги лучше мокрых» (это опять фраза из романа Мелихова), — верно, но очень скучно, а со скуки и удавиться можно. Все, чем живет сердце, спорно для ума. А то, в чем убеждает ум, иногда наталкивается на вето сердца.

Я согласен с Василием Гроссманом, что величайшие злодеяния совершались во имя добра. Я согласен с Мелиховым, что скучный прагматизм не вдохновляет на Освенцим, на Колыму. И все-таки он скучен. Выход из царства полуистин — в глубь сердца, там, где наше маленькое сердце сливается с сердцем вселенной (прошу простить за метафору, не имеющую смысла для ума), там, в глубине, раскрывается высшее, которому радостно служить — как мать ребенку, художник искусству и т.п.

В разуме Бог умирает. Если верить — значит говорить о Боге в третьем лице, то я не верю в Бога, говорил Мартин Бубер. Но он верил своему сердцу, рвавшемуся к Богу. Мелихов сердцу не доверяет, он указывает на тысячи случаев, когда сердце ошибается, обманывает. Я эти случаи тоже знаю, я называю их наплывами. Наплывы захватывают, — но не достигают той глубины, где время тонет в вечности. Наплывы отличаются от моды (на каблук-шпильки, на голые пупки и т.п.), наплывы поэтичны,

они оставляют след в сердце и в искусстве, но из царства времени они не вырываются, время их создает и время их поглощает. Наплыв влюбленности слеп, он не познает Другого, а воображает его (под влиянием гормонов, лозунгов и т.п.), и в какой-то миг человек вдруг сознает, что король гол. Наплывы бывают массовыми, как мода. В 1941 г. все новобранцы влюблялись в первую попавшуюся девушку. Я это испытал и помню, как тень смерти придавала иллюзии видимость вечной глубины. В наши дни миллионы людей стали надевать крестики и хвататься за эти крестики в бездне духовной пустоты. Какое-то меньшинство доходит до зрячей любви, до взглядывания в душу любимого, до возникновения чего-то вроде молекулы, где оба атома рождаются заново и создают неразрывное целое. И тогда случается чудо — выход из царства суеты, из царства греха, восстановление контакта с собственной глубиной, где грех сгорает, где суеты больше нет. Для них просто нет места в полноте чувства. Дело не в том, кого человек любит, Машу или Марию Деву, а как он любит. Статистика эти редкие случаи пропускает, но Антоний Сурожский прав: «Каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной». И этот контакт может быть восстановлен, пусть — пунктиром, пусть — редким пунктиром, а не сплошной линией...

Чувство целостности бытия у ребенка быстро теряется и восстановить его трудно, но я прошел этот путь — к пунктиру сердечного знания — и убежден, что это возможно для всех, не раз достигалось в прошлом и много раз высказывалось в стихах и в прозе. Фантом и прагматика оба остаются на поверхности, где все разорвано и то, что достоверно, не вдохновляет, а то, что вдохновляет, — ложь. Но на глубине разорванности нет. На глубине — выход из царства лжи и мнимой свободы выбора одной лжи вместо другой. Мы не создаем этого, потому что суета постоянно вытягивает нас на поверхность, вырывает из глубины.

Телевизор приучил нас обращать главное внимание на то, что фотогенично, что поражает. Взрыв бомбы фотогеничнее, чем игла наркомана. Но главная наша беда — не угроза извне, а внутренняя пустота, потеря чувства высшего, господство ложной идеи, что всё, вдохновлявшее в прошлом, — ложь и мудрость заключается в том, чтобы жить в свое удовольствие. Ну, а что за удовольствие — возиться с пеленками? Обзор писем женщин вышел в одной из норвежских газет под заголовком: «Дети крадут счастье».

Опасность и страх — разные вещи. Я уже писал и говорил с телеэкрана, что страх, возникший из-за актов террора, намного больше реальной опасности. На войне мы жили, окруженные взрывами, и обращали на них внимание только тогда, когда они требовали немедленного действия, а если не требовали, то относились к размытой угрозе совершенно беспечно. Это Мелихов у меня подхватил и по-своему пересказал, прибавив к беспечности еще одно слово: бесшабашность.

Бесшабашность, конечно, случалась, но я ее никогда не хвалил. Когда опасность сгущается, ее нельзя игнорировать. Нужен полет над страхом при совершенной ясности мысли, трезво (подчеркиваю: трезво) оценивающей обстановку и принимающей трезвые, хотя иногда рискованные решения. И сейчас нужно совершенно ясное осознание опасности, которая грозит всей нашей цивилизации, совершенно не трогая отдельных людей и не вызывая чувства тревоги. По крайней мере, в нашей стране, погруженной в свои местные заморочки, она никого не тревожит.

Первым сигналом о новом вызове истории, дошедшим до меня, была книга Патрика Бьюкенена «Смерть Запада», медленная смерть

от перевеса смертности над рождаемостью. Книга вышла в 2002 г., я ее прочел в 2004-м. Анализ причин у Бьюкенена слаб и меры, которые он предлагает, наивны; это уменьшило впечатление, но вскоре мне дали прочесть статью Сэмюэла Хантингтона «Уникальность — не универсальность». Это крутой поворот от глобализации к замкнутости культурных кругов. Бывший проповедник борьбы цивилизаций перестал верить в победу Америки и думает только о том, как выжить, как сохранить ценности Запада. У Хантингтона остались в уме пережитки холодной войны, на которых я не буду останавливаться, но его тревоге я поверил.

Ученые ждали рокового кризиса от исчерпанности природных ресурсов, от разрушения естественной среды. А сегодня ресурсов еще хватает и естественная среда не до конца испоганена, но первыми стали исчезать люди, по крайней мере в постхристианском мире. Лидирует почему-то Испания (1,1 ребенка на супружескую пару), цифра порядка 1,3 и в богатой Америке, и в бедной России. Смертельной оказалась мудрость прагматиков: не думать ни о каком светлом будущем, не рваться к звездам, а просто жить в свое удовольствие. Ну вот и пожил. Как теперь остановить инерцию наслаждений? Мелихов назвал современный секс мастурбацией вдвоем и всю нашу цивилизацию мастурбационной. Героин, лесбийская любовь не дают потомства. Зря шахиды себя взрывают. Содом истребляет себя сам.

В тупике, в пространстве без дорог иногда приходит второе дыхание. Тупик на плоскости истории — знак поворота вглубь. Все прежние знаки мы пропускали без внимания. Убедит ли нас демография? Убедит ли нас опасность не нам лично, а нашим ценностям, которые исчезнут вместе с нашими неродившимися внуками? Сумеет ли мы откликнуться на вызов судьбы? Возникает ли в гниющем обществе творческое меньшинство, способное рождать новые, живые слова, способное увлечь с плоскости, ставшей наклонной, увлечь в глубину, к вечно живым истокам духа? Тогда у нас появится другое искусство, другая семья и другие матери. Пока их нет. Есть одиночки. Есть небольшие кучки творческого меньшинства, но в масштабах страны его нет. И у власти нет понимания, как ему помочь и нужно ли оно вообще.

Примечания

¹ Григоренко П.Г. «В подполье можно встретить только крысы...». Нью-Йорк, 1981. С. 216.

² См.: Григоренко П.Г. Указ. соч. Глава «Разведсводка № 8».

³ См. Часть I. Глава «Россия на перекрестке культур», с. 24—25.

Часть 5. Заметки о глобальном терроре

Фронт как вопрос совести

Когда Василия Гроссмана спросили, в чем замысел «Жизни и судьбы», он взял с полки четыре тома «Войны и мира» и сказал: «Вот это». Вышла, однако, совершенно другая книга. Батальные сцены не уступают Толстому, но мира просто нет, война заполнила все пространство русской жизни, исчез тот могучий океанский мир, в котором тонет война — даже Отечественная 1812 года. Исчез мир, в котором каждый из героев — если он уцелел в битвах — находит свое место, мир, в который человек пускает свой корень, как дерево в почву. В 1942 г. осталась только разница между передним краем, позициями дальнобойной артиллерии, медсанбатом, полевыми и эвакуационными госпиталями, военными заводами, — но война всюду. Граница между фронтом и тылом не столько в пространстве, сколько в совести. Для полевой походной жены начальника СМЕРШа уютный тыл — в хорошо окопанном грузовике, где она делит часы отдыха своего ППМ. А для шестнадцатилетней Зины Миркиной фронт был на совхозном поле в Сибири, при пятидесятиградусной жаре, с невыносимой нормой выдирки метрового сорняка, — которую она научилась перевыполнять (порвав справку невропатолога, дававшую ей полное освобождение): всё для фронта, всё для победы!

О чем-то подобном писала мне из Хайфы Люба Лурье: «В силу малого израильского пространства ощущаешь происходящее в нем как происходящее в твоём доме... Ну, а если кто близкий на фронте, то и говорить нечего. Понятие “фронт” здесь тоже особенное. Оно имеет кроме буквального еще и немалый психологический оттенок. Если ты чувствуешь ответственность за события, то фронт у тебя в доме, если нет, то и фронта вроде бы нет. Обычно эти люди (порядочные — в обывательском смысле) ведут себя так, будто ничего не происходит, и терпеливо ожидают, пока “они там разберутся”. Меня всегда занимает вопрос, куда они прячут совесть и во что ее обряжают.»

События 11 сентября 2001 г. расширили фронтную полосу на всю землю; но опять люди разделились: для одних просто упали два дома (правда, очень высокие), для других начала рушиться цивилизация. Мы

спорили об этом по «Свободе», двое на двое. Мне ясно было, что рухнули символы, но чего именно? Остановлюсь только на одном.

Не все заметили, что в середине XX в. круто изменился характер террора. Две с половиной тысячи лет он сохранял свои основные черты. В борьбе за свободу считалось прекрасным убить тирана. Но только тирана. Каляев считался с классическим наследием, когда положил бомбу обратно в сумку, увидев рядом с великим князем Сергеем Александровичем жену его и двух племянников. В разгар террора боевики, к сожалению, убивали и обывателей, попавшихся под руку, но они, по крайней мере, не целились в них.

Потом всё переменялось. Кажется, повлиял пример тотального государственного террора. Тоталитарное государство перестало судить (хотя бы военным судом) и казнить за преступления, оно стало просто уничтожать целые категории людей. Василий Гроссман считал это переносом научного статистического метода в карательную практику. Люди уничтожались, как комары при посыпке ДДТ, не дожидаясь, пока комар укусит. И сейчас то же отношение к комару было усвоено возмущенными маргиналами. Для возмущенных ирландцев комарами стали любые англичане. А для нескольких групп, осудивших в целом цивилизацию отчуждения и заброшенности, комары — первые попавшиеся мещане, довольные своей судьбой. Я не помню, кто начал, примерно в 1968 г.: Кон-Бендит во Франции, «Красные бригады» в Италии или «Красная армия» в Японии. И как это сочетается по времени с движением мау-мау в Кении, ирландских католиков в Белфасте, басков в Испании и, наконец, палестинцев. Эпидемия мгновенно распространилась по нескольким регионам. И национальный террор палестинцев сразу был связан с глобальным. Ассистентами в угоне самолетов были европейские маргиналы.

Глобальные и национальные движения следовали одной морали (или антиморали): все обыватели виновны, нет невинных. «Пусть земле под ножами попомнится, кого хотела опошлить», — писал Маяковский. А еще раньше об этом вопил подпольный человек, увиденный Достоевским. Долгое время это считалось вывертом, психопатологией, предметом забот скорее психиатров, чем полицейских. Массовые движения использовали взбунтовавшихся подпольных людей, а потом расстреливали.

Положение изменилось, когда на Ближнем Востоке был создан питательный бульон, в котором бактерии новой разновидности террора размножились и окрепли. Это были лагеря беженцев, созданные на средства ООН. Такие лагеря — гуманная мера на год-два. Но если любую популяцию поместить туда на 54 года, то самый улыбчивый американец превратится в террориста-самоубийцу. Ислам здесь сперва был почти ни при чем. Первая волна палестинских террористов — интеллигенты (или полуинтеллигенты), получившие образование на средства ООН, достаточно секуляризованные, в тесном братстве с маргиналами Европы.

И сами они, и то, что они делали, никак не похоже на погромы 1929-го и 1936 гг., когда арабские крестьяне напали на изолированные мошавы и в случае успеха всех мужчин убивали, а женщин и девочек уводили с собой. Погром нехитро начать, но его может прекратить взвод солдат. С террором дело сложнее.

Для террора нужна образованность. И нужно положение, когда регулярные армии бессильны. Такой момент наступил после Шести-дневной войны. Террор — естественная реакция стороны, проигравшей на поле боя или не способной к полевой войне, но не смирившейся. Так в свое время Орсини попытался убить Наполеона III, защищавшего от патриотов Италии Папскую область. Так израильяне убили комиссара ООН графа Фольке Бернадота, предложившего невыгодный план раздела Палестины. Арабы ответили террором только двадцать лет спустя. Но с 1948-го по 1968 г. что-то изменилось. Началась другая эпоха, эпоха террора против статистических категорий (классовых, этнических, культурных). И на Ближнем Востоке никто не покушался, в духе карбонариев, на Моше Даяна. Убивали спортсменов, пассажиров авиарейсов, девочек-школьниц. Убивали по-гитлеровски.

Нужно было сделать интеллектуальное усилие, чтобы назвать убийство школьниц джихадом. Мохаммед не это имел в виду. И шейхи ислама лет двадцать смотрели на биду (нежелательную новость, ересь) с недоверием. Понадобилось время, чтобы новость обжилась, стала привычной, вошла в плоть ислама. «Лучше убивать солдат, — говорил престарелый шейх с экрана телевизора, — но можно и так...» Террор «маргинальной», «беспочвенной» интеллигенции обрел, наконец, почву, укоренился, стал делом веры.

Достоевский где-то в «Дневнике» обмолвился, что Папа еще сойдет когда-нибудь со своего престола и станет революционером. В католицизме эта вероятность осуществилась бледной тенью Сандино в одной из банановых республик. Зато на Ближнем Востоке мы получили то, что Достоевскому мерещилось, — соединение веры с глобальным террором. 11 сентября это чудовище вышло на мировую арену. Проще всего считать, что ничего не случилось, и отгородиться от самой горячей точки, как Чемберлен и Даладье от Чехословакии, заключить какое-то новое мюнхенское соглашение. Вялая постхристианская цивилизация вполне способна повторить старую подлость. Однако Черчилль был прав, когда сказал: «Вы могли выбирать между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье и получите войну». Я не думаю, что все страны ислама, соединившись, способны победить хотя бы одну Америку. Сколько бы ни было мусульманских утроб, они не рожают высокоточные ракеты. Но террор — другое дело. Террор может расшатать нервы и подготовить капитуляцию перед новой силой, растущей на Дальнем Востоке.

Такова проблема. У нее три решения: отступать, шаг за шагом, сдавать

позицию за позицией в обмен на пустые обещания. Это первый тупиковый вариант. Второй — вести войну. Но каждая бомба будет создавать новых мстителей. Выход из абсурда — только устранение питомников ненависти.

Первый питомник — лагеря беженцев. Беженцы должны получить право гражданства в любой арабской стране, по своему выбору, скорее всего — там, где уже давно работают их родные, но не имеют никаких прав. В течение пяти, примерно, лет лагеря должны быть свернуты, и мальчишки, играющие сегодня в террористов-самоубийц, займутся другими играми. Постепенно им захочется жить, а не взрываться.

Второй питомник — положение Иерусалима. Еще в 1948 г. было высказано предложение превратить этот город в мировой центр, не зависимый от национальных правительств. Потом это предложение было повторено Павлом VI в 1967 г. Израиль отверг его как практически невыполнимое. Сегодня оно еще более невыполнимо. И тем не менее, я не вижу другого мирного выхода. Путь к нему может быть очень длинным — через десятки лет, и то — если эти годы будут наполнены усилиями к миру; в том числе глобальными (смягчение общей конфликтности, втягивание израильтян и арабов в общие проекты, совместная работа над решением глобальных задач, важных для всех). Если мировая совесть будет глуха и никаких общих усилий не будет, если чувство обиды, ненависти и воли к мести повсюду будет нарастать, вероятность катастрофы очень велика.

Одним из толчков к мирному решению останется, впрочем, сама эта вероятность — вероятность общей катастрофы, а не победы одной стороны ближневосточного конфликта. Сейчас обе стороны живут иллюзиями. Есть иллюзия арабов, что какую-нибудь войну они непременно выиграют (пусть пятьдесят первую, сто первую войну); и тогда евреев вышвырнут, как крестоносцев. Эту иллюзию блокирует другая, израильская: что на худой конец есть в запасе атомная бомба. Каждый расчет по отдельности верен, но в совокупности, накладываясь друг на друга, они абсурдны: есть риск, что атомную бомбу не успеют пустить в ход; и есть риск, что ее успеют пустить в ход и атомные грибы поднимутся над Багдадом, Дамаском, может быть, — и над Меккой и Мединой. Если постоянно вдумываться в этот двойной риск, логика ястребов потеряет силу и выйдет из строя ближневосточный детонатор глобальной беды.

Одновременно дан был бы пример аналогичного решения других спорных международных вопросов (порядок решения, разумеется, может быть и обратным; не очень важно, с чего начать). Я вспоминаю беседу с молодым фундаменталистом из Газы, согласившимся приехать в Ко (Саих), на конференцию Общества морального перевооружения (сейчас у Общества другое название — «Инициатива перемен»). Был задан вопрос: выступил бы этот молодой человек против насилия, если бы западные

СМИ перестали провоцировать мусульманское чувство кошунства? Он без колебания ответил «да!». Этот разговор нетрудно прокомментировать: каждая страна вправе сохранять привычный уровень интеллектуальной и сексуальной вольности внутри своих границ; но спутниковое телевидение обязано считаться с тем, что в будущее плывет эскадра из четырех великих кораблей, четырех мировых культурных миров: Запад, ислам, Индия (с примыкающими к ней странами) и Дальний Восток. Технический перевес Запада не дает ему морального права хозяйничать в чужом доме, в чужом духовном пространстве. Скорость освобождения от табу в мировом эфире не может превышать скорости этого процесса на корабле, наиболее консервативном в своем понимании кошунства.

Когда на юге Ирана, в Абадане, был сожжен кинотеатр вместе со всеми зрителями американского фильма, это не было экономическим провалом, не было политическим провалом шахского режима и его американских советников. Провалилась идея, что американская цивилизация — это вся цивилизация (Ше сшИзаНоп) и ей противостоит только варварство. Противостоят ей, несмотря на общие корни, все великие культуры Запада, среди которых Америка — всего лишь одна из многих, один голос в хоре, а не хор в целом. И противостоят ей другие «хоры», другие сверхнациональные общности, другие древние пространства общей информации, с единым Святым Писанием, единым языком Святого Писания и единым шрифтом, связанным с эстетикой пластических искусств. Перечисляю, для простоты, только шрифты: латинский, арабский, деванагари, иероглифы. Это не просто знаки. Это зримые знаки незримых, но реальных духовных миров, которые не могут быть грубо унифицированы диктатурой СКК. Необходимо использование спутниковых средств информации так, как на Западе разные партии используют перед выборами национальное телевидение. Необходима организация диалога и медленный рост взаимного понимания. Только в таком диалоге постепенно станут невозможными духовные вторжения, подобные переливанию крови другой группы, а с другой стороны — скандалы, подобные смертному приговору Рушди за книгу, которую духовные власти вправе лишь запретить читать своим адептам.

Отказ от уверенности одного культурного мира в своей несравненной правоте — один из важнейших шагов к переходу с передовой в тыл и от тыла — к миру, основанному на диалоге.

Один раз увидеть...

Один раз увидеть — больше, чем сто раз услышать. Это хадис, то есть частное высказывание Мохаммеда, не Коран, продиктованный Богом. Но сказано хорошо. Я знал, что израильтяне преобразили свою землю. Но из окошка автобуса я *увидел* зеленые холмы, между которыми вилось шоссе из аэродрома Бен Гурион в Иерусалим. То и другое было сделано людьми: и шоссе, и зелень. Шоссе не прорезало леса, не открыло дорогу вырубкам и пожарам — леса росли вместе с автострадой. Цивилизация не разрушала

природу, а восстанавливала ее. В Норвегии цивилизация, развиваясь, *оберегала* природу; это прекрасно, но в Израиле человек творил заново заросли, украшавшие холмы. Бунин, в 1912 г., этой зелени еще не видел. Сегодняшний пейзаж показался бы ему сном.

Права на Палестину — спорные. Обетованная земля евреев стала святой землей христиан, а потом еще святой землей раннего ислама и местом, с которого Мохаммед вознесся в небо. Первый президент Израиля, Хаим Вейцман, говорил — и моя память сохранила его фразу: есть не одно, а два права на эту землю; наше право больше, потому что наша нужда острее. Сказанное в 1948 г., после гибели шести миллионов, это было правдой. Сейчас нужда — скорее в трущобах Газы. Но разрушение Израиля не насытит голодных. И за Израилем право добросовестного владения спорных территорий в течение нескольких десятков лет. Пусть это только владение, а не бесспорная собственность. Но владелец, насадивший в пустоши сад, вправе рассчитывать на признание каких-то его прав. Хотя это не отымает право на компенсацию у несчастных, полвека гниющих в лагерях беженцев. Их спровоцировали по радио бросать свои дворы, чтобы не мешать армиям Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака громить и жечь израильтян. Но отряды израильской самообороны победили. Лидеры, спровоцировавшие войну, умыли руки и оставили беженцев на попечение ООН, план которой — план мирного раздела — они отвергли. И платят за это не они, а беженцы. А лидеры используют их нужду в своей борьбе за господство.

Между тем земля, доставшаяся Израилю вопреки всем ожиданиям, украшалась и украшалась людьми, две тысячи лет не знавших чувства своей земли и только молившихся: на следующий год — в Иерусалиме. Земля сейчас — как икона в драгоценном окладе. Хотя огороды и сады играют ничтожную роль в экономике: сельским хозяйством занимаются сейчас 2% населения. Откуда же страсть к украшению земли? Ради доходов от туризма? Аверинцев писал, что венецианцы любят свой город не за красоту; наоборот, Венеция стала прекрасной, потому что венецианцы любили город, построенный в болотистой лагуне. Потом уже, через сотни лет, пришли доходы от туристов, любующихся древними палатками. И в Израиле — как и во вселенной — в начале была любовь. Потом уже пришла красота любимой земли и после (быстрее, чем в Венеции, но после) доходы от туризма, от услуг туристам. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.

Красота земли нарастает по мере того, как дорога идет вверх, и достигает волшебства в Иерусалиме. Новые жилые кварталы лепятся по склонам холмов, не нарушая их суровой гармонии, отдельными пятнами застройки из местного кремового камня, не торчащих высотными зданиями, оставляющих куполам и колокольням их место в небе, широким кольцом вокруг стен старого города, возведенных Сулейманом Великолепным. И над этим сгустком истории и современности — никому

не подвластное небо, не стиснутое домами (как в старом городе), небо, раскрывающееся на любом повороте дороги, небо, которое мы каждое утро, просыпаясь, видели из своего окна. Небо и холмы, холмы (700—900 м) и небо. Немудрено, что здесь складывалась религия единого Бога, не видимого очам и не постижимого умом.

В Москве я несколько раз задумывался о том, что Израиль идет против рока; по меньшей мере — против течения истории; как в древности — против всего средиземноморского языческого мира. Местные ястребы напоминали мне иногда Гагена, обнажившего перед Крим- гильдой меч Зигфрида (читатель простит мне, если я перепутал имена: не перечитывал «Нибелунгов» более 60 лет).

Само основание государства произошло в 1948 г., через год после того, как Англия ушла из Индии. Ветер с Востока задувал ветер с Запада, и по логике национально-освободительных фронтов, запоздалое вторжение из Европы должно было быть сметено, сброшено в море. Французы терпели поражение в Дьен-Бьен-Фу, за ними попытались удержать Южный Вьетнам американцы — и не удержали, де Голль отдал мусульманам французские департаменты Алжир, Оран и Константину, а заодно и пустыню с нефтью. А в Палестине арабов бьют и бьют, и кто — евреи! Только что уничтожаемые в Европе. И все попытки реванша рушатся. Израиль побеждает в 1948, 1956, 1967-м — и даже после очень тщательно и скрытно подготовленного наступления арабов в 1973 г. Это была глубокая рана, нанесенная их самосознанию. И когда рухнула надежда на полевую войну, десятки тысяч палестинцев, получивших высшее образование за счет ООН, стали учиться у европейских маргиналов технике террора. Некоторые формы террора удалось блокировать. Израильские самолеты не взрываются. Но против живых бомб нет безупречной защиты.

За короткое время Израиль потерял 9 млрд. долларов на испуге туристов. И самое страшное — не это. Можно подтянуть пояса, а к опасности уличных взрывов привыкнуть, как к обстрелам в блокадном Ленинграде. Неразрешима (по крайней мере, до сих пор) проблема неравномерного роста населения. Победа 1967 г. и последовавшая за победой аннексия увеличила число арабов — граждан Израиля (жители Западного Берега и Газы — не в счет). Арабов-граждан сегодня 1 млн. 200 тыс. человек. Через 20 лет они составят половину избирателей в кнессет (а через 30 — подавляющее большинство). Мне как участнику конференции дали папку с планами министров, как решить эту проблему. Все планы, в которые я вник, отчасти не выполнимы, а отчасти — при попытке выполнения — получат название нового апартеида. Интенсивность ненависти народов друг к другу не смягчилась — она растет и растет. И все глубже сознание несравненной своей правоты, укорененной в Коране (с одной стороны) и в Библии (с другой стороны). Хаима Вейцмана никто на конференции не вспоминал.

Мы прилетели 10 октября, а 11-го, во время экскурсии, еще не зная всех деталей (конференция проходила 12—14.X.2003 г.), я просто увидел весь этот клубок древних религий, вцепившихся друг в друга. Золотой купол мечети Омара возносился в небо прямо над Стеной Плача. Этот образ врезался в мое сознание как символ, как падение башен в Нью-Йорке. Только башни поразили тем, что падали, а мечети, церкви и Стена Плача — тем, что застыли в ненависти к ближнему, как Уголино в Дантовом аду.

Я почувствовал ударом сердца трагизм этого прекрасного города, повисшего над пропастью взаимной ненависти. Города множества святых, не способных разжать стиснутые на ненавистном горле пальцы. И вдумавшись в этот коан (загадку, не разрешимую помраченным умом), я почувствовал на раннем рассвете, глядя в огромное иерусалимское небо: выход здесь — только через чудо, через примирение трех сестер-ненавистниц, трех наследниц Авраама, трех религий, возненавидевших друг друга в борьбе за владение вечной истиной. Без согласия каждой на второе место не может быть распутан иерусалимский клубок, наполняющий эфир аурой своих конвульсий. Религии стали дубинками, которыми политики бьют друг друга по голове. Ближневосточный детонатор взрывает во всем мире бомбы глобального террора. И нет спасения, если в каждом исповедании религия любви не победит религию ненависти.

Город под третьим небом

В кибуце на Голанских высотах фабрикуют майки с надписью: «Не робеи, Америка! За тобой Израиль!». Майки живо раскупаются, хотя все понимают, кто впереди и кто позади. Но мира действительно нет нигде. Проблема всюду одна: как снять напряжение между нарастающей сложностью западной цивилизации и теми, кто хочет упростить ее, остановить разрушение традиций, втиснуть современность в прокрустово ложе схемы.

Каждая мировая религия — колодец в глубину, где горит вечно живой огонь. Но за тысячи прошедших лет колодцы стали самостоятельными святынями, более важными, чем сама глубина, и символами соперничества. Сегодня это помрачение сильнее, острее всего в исламе, но источник его общий. Нам всем не хватает чувства общей глубины; или, если заменить метафору глубины метафорой высоты, — не хватает чувства общего неба, открытого в Божью бесконечность над любым клочком земли, над любыми куполами, не хватает символов этой общей бесконечности, от которой трепещет сердце и тает всякая вражда. Мы все в плену замкнутости своей культуры и отчуждения от Другого.

Мой старый друг Израиль Аркадьевич Мазус рассказывал, что когда-то школьный товарищ его спросил: в чем разница между русской и еврейской верой? Мазус был небольшим знатоком богословия и ответил

просто: «по Ветхому Завету око за око и зуб за зуб, а христиане должны прощать». «Отчего же они не простят евреев?» — удивился Борис Воробьев. Мазус не знал, что ответить. И многие другие не знают, не понимают, что Ветхий и Новый Завет — только условные названия двух частей Библии. В любой великой религии переплетается ветхозаветное с новозаветным, а порою и дозаветным, уходящим корнями в древнейшие племенные нравы. Есть ортодоксальные евреи, которые все прощают, даже гитлеровские лагеря смерти, и есть православные, которые и до Ветхого Завета не доросли; например, соратники Гонты и Железняка, которые вырезали младенцев из чрева беременных и зашивали туда живых кошек; а между тем, начинали восстание во имя Христа.

Иначе и быть не могло в реальной истории, где свет духа проходит через тупой человеческий мозг. Что такое Ветхий Завет? Завет с народом, с группой народов, священные основы государственного порядка. А Новый Завет — завет с личностью, для которой простая покорность Богу не насыщает сердца, с личностью, ищущей *бытия* в Боге.

Некоторые ветхозаветные книги толкуются христианами как пророчества о Христе. Они Его действительно подготовили, воспитали Его дух. И есть православные и католические богословы, которые этот дух гасят. Бердяев писал о Константине Леонтьеве, что можно его в известном смысле назвать православным, но христианином он не был. То есть была у Леонтьева привязанность к православному обряду, но вовсе не было христианского духа. Христианство Достоевского он называл розовым. Достоевский не успел ему ответить, но мог бы вспомнить своего Великого инквизитора, верующего какой-то черной верой.

Ветхий Завет исторически древнее. Он сложился, когда личность еще не выделилась из племени, из народа. Но давно уже оба Завета действуют одновременно. Когда надо, христиане обращаются к Ветхому Завету, а когда надо — к Новому. Вот пример, который я уже приводил: Петр Великий обратился к архиереям с вопросом, что делать с сыном, посягнувшим на отца? Архиереи ответили, что по Ветхому Завету сын, посягнувший на отца, достоин казни; а по Новому Завету блудного сына надо простить. Петр выбрал то, что ему было удобнее. Так же действовали его предшественники. При Михаиле Федоровиче младенец, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия, был повешен на серпуховских воротах. Казнь двухлетнего ребенка и под Ветхий Завет трудно подвести. Но государственные соображения требовали завершить череду самозванцев, и эти соображения победили. Церковь не осудила царя.

В других религиях явного деления на Ветхий и Новый Завет нет. Но одно дело — мекканские суры Корана, где только о милости и любви; другое — мединские суры, где даны законы войны и мира. Никакого обустройства народа из мекканских сур Корана нельзя вывести, и Мохаммеда сперва называли безумным поэтом; а царю Медины покорились.

Христос говорил: ищите Царствия Небесного, остальное приложится вам. Но он понимал, что заповеди блаженства — не для всех, и не отменял законов Моисея. Ветхий Завет — общая часть иудаизма и христианства. Иудаизм — это Ветхий Завет плюс Талмуд, плюс каббала, плюс хасидизм и другие движения. Христианство — это Ветхий Завет плюс Евангелие, плюс святоотеческие писания, плюс реформы Лютера и Кальвина.

Новозаветное учение, став государственным, или использует Ветхий Завет, или создает нечто подобное заново. Мусульманские законоведы, опираясь на мединские суры и хадисы, устные предания о Мохаммеде, выстроили школы государственного и частного права. Суфии, опираясь на мекканские суры и опыт соседних религий, прокладывали пути личного углубления — до встречи с Богом. Разрыва не произошло. После нескольких конфликтов суфии ужились с ортодоксальным исламом. Каббала и хасидизм остались в рамках иудаизма. Древний брахманизм разрешал самоуглубление только для духовного сословия, от остальных требовалось без рассуждений покоряться законам Ману и своей кастовой дхарме. Успехи буддизма, открывавшего каждому путь в глубину, заставили брахманов пойти на реформы, признать право на осознание Атмана за любым аскетом, оставившим касту. А жизнь тех, кто довольствуется мирским попечением, индуизм украсил яркими праздниками. В итоге, он обновился — и буддизм, не создавший ничего взамен кастового строя, был вытеснен со своей родины. Утвердившись за пределами Индии, буддизм создавал там новое «ветхозаветное» мироустройство или занял место в китайском разделении духовного труда. Учение Конфуция сохраняло в Китае государственный и семейный порядок, буддизм давал личности возможность самоуглубления.

Так или иначе, все средневековые религиозные культуры достигли полноты — каждая в своем регионе, вращаясь в местные традиции и перетолковывая их. Крупнейшим внешним сдвигом этой эпохи было разрушение Византии и захват Ближнего Востока исламом. Но порыв ислама захватить весь старый свет выдохся, не достигнув цели. Выдохся и порыв христианских мореплавателей разнести по всему миру христианство. Число субглобальных цивилизаций не изменилось: Запад, Ближний Восток, Южная Азия, Дальний Восток. И сегодня, когда мировая цивилизация строится без сложившегося общего неба, это небо возможно только как общее поле *диалога* великих религий. В этом диалоге идет превращение глухих стен между религиями в нечто прозрачное, не мешающее понимать соседа, видеть его внутренний мир, а не только внешние формы.

Этих прозрачных границ многие боятся. Боятся, во-первых, что границы вовсе расплывутся, распадутся стенки колодцев в глубину и все выйдет на поверхность, как это уже было в космополитизме XVIII в. Такой опасности нет в диалоге Бубера с Бердяевым, Томаса Мертона с Дайзэцу Судзуки и Далай-Ламой XIV. Личный опыт глубины всегда

связан с каким-то колодцем, с каким-то прочным срубом. Отвергается только обожествление сруба, превращение буквы Писания в тюрьму духа. Однако опасность выхода на поверхность существует, и сопротивление диалогу — тоже часть развития диалога. Сопротивление заставляет все время проверять, не потерял ли диалог контакта с глубинным опытом.

Во-вторых, многим страшно, что через прозрачные границы легче переступить и паства разбежится, уйдет к соседям. Но бегут не из-за легкости побега, а из-за силы отталкивания от омертвевшей общинной жизни, окостенения, вялости, от духовной пустоты, казенщины. Томас Мертон, выросший в семье художников, формально протестантов, первый толчок веры пережил от византийских мозаик в старых римских церквях. Потом впечатление стерлось, но снова всплыло, когда он смотрел на лица молящихся в католических храмах. Лица прихожан в протестантских церквях казались ему будничными. Стараясь осознать это, он стал читать Жильсона, Маритена — и нашел у них подтверждение своей тяги к католицизму. На этом пути, подробно описанном в «Автобиографии веры», догматика католицизма пришла последней.

Екатерина Колышкина, судя по ее речи-проповеди, поразившей молодого Мертона, стала католичкой под влиянием шока от русской революции. В католицизме она увидела силу, способную устоять против мирового коммунизма. В годы Гражданской войны она разуверилась в Православной Церкви; но ее всю жизнь влекло к себе народное православие (пустынники, странники). И в ее своеобразное католичество вошли многие русские традиции. Книги Колышкиной называются — латинскими буквами — по-русски: «пустыня», «соборность», «странничество». Все эти книги основаны на русском опыте и перепроверены в жизни ее канадской общины. Менее всего Екатерина Федоровна занималась догматическим богословием.

Англичане, случайно заходившие в храм, где служил Антоний Сурожский, начинали иногда заходить во второй, третий раз, и, в конце концов, многие просили принять их в православие. Они не изучали богословие. Их захватывал Антоний. Он никого не вербовал, напротив, — требовал подождать, еще раз обдумать свой шаг. Но его община постоянно росла за счет англичан.

В современной России стремительно растут общины баптистов, пятидесятников. Одни привлекают своей нравственной цельностью, другие — своим эмоциональным культом. Православие без всякого диалога выталкивает к ним своих прихожан. Выталкивает, потому что не может освободиться от своей косности. В подлинном диалоге личность не теряет, а лучше осознает себя, собственную глубину, и учится любви к ближнему, учится чувствовать за словами сердце, за буквой дух, учится видеть ближнего не извне, а изнутри, не как чужого, а как родного. Но родного, имеющего *свое* лицо.

Когда мы думаем о чужой культуре, о чужом вероисповедании, мы

начинаем со взгляда извне, и на первое место выходит массовое, поверхностное, а глубинное остается скрытым, когда же мы думаем о своем, то наше понимание окрашивает личный духовный опыт, память сердца. У о. Павла Флоренского, человека вдохновенного, но лишённого трезвости, это приводит к полемике, направленной в противоположные стороны. По его словам, индуистская мистика — чреватая, католическая — головная и только православная — от сердца. Между тем, в заметке о православии он оценивает русское православие так, что напечатать ее мог только католический журнал «Символ». В первом случае он свой личный внутренний опыт отождествляет с православием, и выходит *незримое* православие. Я имею в виду слова Августина: не всякий, кто принадлежит к зримой церкви, принадлежит к церкви незримой; и не всякий, кто принадлежит к незримой церкви, принадлежит к церкви зримой. Упустив это различие, о.Павел противопоставляет незримое, лично пережитое православие зримому, исторически явленному католицизму. Во втором случае его внутренний опыт противостоит зримому православию. Если свести обе характеристики, выходит что-то вроде определения демократии Черчиллем: худший образ правления, если не считать всех остальных (которые еще хуже).

Вл. Антоний выражал свои предпочтения мягко, примерно так: в протестантизме многого недостает, в католицизме много лишнего. Это похоже на «Сказку о бочке» Свифта. Возможно, Антоний просто припомнил ее, процитировал оценку Свифта. Только у Свифта идеальное равновесие мыслится в англиканской церкви, а у Антония — в православии. И опять это незримое православие, православие личного опыта Антония Блума, где главную роль играет его личная встреча с Христом. Когда же он думает о зримом, *исторически* реальном православии, то оценивает его очень резко: «не теряем ли мы шанс стать из церковной организации Церковью». То есть зримое православие даже церковью нельзя назвать, церковью, в которой ощутимо присутствие Христа. Такие противоречия встречаются на каждом шагу, и задача диалога — осознать их, научиться видеть, чувствовать сердце другого, а не только оболочку слов.

Тогда, если действительно видеть Другого до глубины сердца, чувство превосходства своего пути, своего языка исчезает. Хотя различие путей, различие языков остается. Оно связано с различием культур, его нельзя устранить, не превращая человечество в одну безликую массу. Свообразные физиономии Запада, ислама, Индии, Дальнего Востока — богатство человечества, и в любой великой культуре возможны взлеты мистиков к непостижимому. Но передавать этот опыт можно только словами, понятными каждому в этом месте, в этот век. Никакое эсперанто не заменило живые языки со всеми их неправильностями и со всеми неожиданными возможностями. Во время одного из круглых столов одна из участниц бросила замечательную фразу: «Я за глобализацию, но такую,

которая никогда не достигает окончательной цели».

То, что сегодня происходит в мире, можно сравнить со становлением общенационального патриотизма. В XIV в. его нигде в Европе не было. Сегодня он всюду победил, но чувство малой родины не исчезло; особенно это заметно в странах, сравнительно недавно объединившихся, — в Германии, в Италии. Но даже в России, где местные привязанности сознательно стирались Иваном III и его наследниками, осталось чувство малой родины северян, волжан, сибиряков... Можно перенести это в духовную область и сказать, что православие — малая родина восточных славян, христианство — большая родина, связывающая русских с немцами, французами, итальянцами. Ставя чрезмерный акцент на малой духовной родине, мы как бы возвращаемся к XIV веку, когда нижегородцы воевали с владимирцами. Экуменизм — это развитие чувства большой духовной родины, не зачеркивая привязанности к своей малой родине.

Так же не должно зачеркивать ни большой, ни малой родины становление чувства нашей планетарной родины. Оно не может не складываться в современном мире, где взрывы в Эр-Рияде сливаются со взрывами в Хайфе и в Москве в один глобальный кошмар. Тех, кто упирается, судьба тащит, тащит нас к солидарности — духовной, моральной и, наконец, полицейской. Над небом малой родины и небом большой родины разворачивается третье небо, планетарное. Оно пока осознается только в диалоге. Но уже намечаются общие праздники, праздники братства религий — традиция, начатая Далай-Ламой XIV. И, может быть, еще припомнится образ Розы Мира, созданный Даниилом Андреевым.

Только с третьего, планетарного неба становится видно, что иерусалимский клубок — символ планетарного клубка и угроза Иерусалиму — символ общей угрозы. Над всеми нами распростерлось третье небо, небо, свободное от границ, физически очевидное над холмами Иерусалима. Этот город уцелеет, если станет одной из столиц диалога, одним из воплощений воли к третьему небу. И всякий город на земле не сможет иначе уцелеть, только в Иерусалиме это видно простым глазом, и третье небо подступает к каждому дому, и единый Бог молча вызывает к каждому сердцу: не рвите меня на части.

Чеченский узел

Через полгода после начала второй чеченской войны я прочел статью одного из своих собеседников. Ю. писал, что во время первой войны стоял за независимость Чечни; но с тех пор к национально-освободительному движению прибавился мусульманский экстремизм и бандитизм. Против такого сочетания Россия вправе защищать свою естественную границу по Большому Кавказскому хребту. Я позвонил и спросил, знает ли Ю., как выглядит новая война. Оказалось, что он

опирается только на официальную информацию. Я послал бандеролью правозащитную газету с большим перечнем фактов. Через месяц позвонил еще раз. Теперь оценка Ю. изменилась: «Происходит общая деградация человека, — сказал он. — И у них, и у нас». При следующем разговоре я сформулировал новый вопрос: чему способствует война? Преодолению деградации или углублению? Ю. ответил, что, по-видимому, невозможно избежать независимости Чечни. Но не сейчас! Сейчас нет государства, с которым можно вести переговоры.

Этот обмен репликами — нечто вроде предисловия к моим размышлениям. Я предлагаю сперва вынести за скобки все, что наслоилось на восстание Чечни, и обернуться к Испании. Там нет ислама, нет бандитизма. Но есть два народа, добивавшихся независимости: баски и каталонцы. Каталонцы согласились на очень широкую, очень выгодную автономию; ястребов среди них оказалось мало. Среди басков до сих пор действует ЭТА и рвутся бомбы.

Теперь вернемся на Северный Кавказ. Чеченцы и ингуши — близкие родственники, ветви одного вайнахского народа. До Горбачёва жили вместе. Вместе участвовали в большой кавказской войне XIX в., вместе вынесли ссылку, вместе прожили весь период секуляризации и возвращаются к исламу. Но ингуши остались в России, чеченцы восстали. Что тут решило? Традиция восстания 1938—1942 гг.? Немногие знают, что горная Чечня в одиночестве поднялась против Большого террора. В начале 1942 г. Берия собрал в Грозном партийный актив и пригрозил весь народ сослать, если коммунисты Чечено-Ингушской АССР не сумеют убедить горцев прекратить борьбу. Борьба продолжалась. В 1942 г. на Кавказ пришли немцы. Горцы предложили им союз, немцы отмахнулись от кучки абреков. Но намерение союза с немцами у них было, и это припомнилось им. Хотя ссылка, — подчеркиваю, — была задумана еще до прихода вермахта¹. Другого способа покончить с восстанием режим Сталина не нашел.

У меня нет данных, какую роль в этом восстании играли ингуши. Судя по нынешней административной карте, Ингушетия только очень узкой полосой заходит в высокие горы. В Чечне горные районы занимают гораздо больше места. И там же — в горной Чечне — последняя столица Шамиля, Ведено. Возможно, какую-то роль в решении восстать играл призрак державы великого аварца.

Разница между горными и равнинными чеченцами не раз давала себя знать. Я думаю, что она похожа на различие между хайлендерами и лоулендерами в Шотландии ХУШ в. Хайлендеры восставали, пытаясь вернуть трон своим родным Стюартам, лоулендеры (потерявшие клановую организацию) занимались бизнесом и богатели. Можно предположить, что в Ингушетии победил дух лоулендеров, в Чечне — романтика гор. Равнинные чеченцы были захвачены общим порывом. Произошел сдвиг назад, к клановой солидарности, к клановому безумству

храбрых, так ярко блеснувшему в 1938 г., — и клановой привычке к набегам, захвату заложников и т.п. активности; нормы родового общества, его добродетели и пороки примерно сходны и в кланах, и в тейпах.

Как только Дудаев объявил независимость, началась анархия. Многие чеченцы праздновали победу примерно так же, как русские солдаты и офицеры в Германии, с некоторыми национальными особенностями: в Германии не убивали женщин, которых насиловали; в Чечне, кажется, не было коллективных изнасилований с втыканием во влагилице бутылки доньшком вверх (с одной из потерпевших я беседовал и до сих пор помню чувство стыда, мешавшееся с радостью победы). Но русский праздник дикой воли быстрее кончился. Сказалась и отходчивость характера, и военная дисциплина припомнилась. Запоздалые выходы пресекались. За немку давали пять лет, за чешку — десять. Дудаев тоже боролся с анархией, но с народом труднее справиться, чем с армией. К тому же с народом, для которого кровная месть — закон. Были казнены несколько разбойников и головы их выставлены на шестах. Это не помогло, вялотекущий погром продолжался. Мне называли цифру в 200 тысяч беженцев. Называлась (позже) и цифра в 500 тысяч.

Ислам здесь ни при чем. Ислам — порядок, который может не всем нравиться, но порядок. Под покровом ислама возродился скорее доисламский пласт бытия. Он не очень далеко лежал. Чеченцы — сравнительно недавние мусульмане. Не ислам вел их к восстаниям. Ислам только давал высшее оправдание защите своих догосударственных порядков. Традиции государственного порядка, не навязанного извне, в Чечне не было. Период анархии был неизбежен. Он стал предлогом к первой, ельцинской, войне.

Когда война кончилась, снова выплыли различия между хайлендерами и лоулендерами. Большинство народа в 1996 г. хотело прочного мира и проголосовало за Масхадова, в котором видели человека, способного к переговорам и соглашениям. Хайлендеры, сохранившие в руках оружие, не имели уважения к избирательным бюллетеням. Они поддерживали Басаева.

В борьбе за власть ислам стал внутривнутриполитическим козырем. Басаев отпустил бороду. Масхадов тоже перестал бриться. За ним стоял парламент. Басаев собрал шуру. Масхадов был президент, Басаев нацелился стать эмиром. Это соперничество кончилось вторжением в Дагестан. Русское общественное мнение, сперва довольно вялое, было оскорблено. Бандитские вылазки вызывали негодование, но войны мало кто хотел. Рейд Басаева изменил положение. На волне национальной обиды Путин получил подавляющее большинство. План «санитарного кордона» был отброшен, армейское командование, жаждавшее реванша, взяло верх.

Ужасы второй войны очень медленно просачивались в Россию. И очень медленно менялось общественное сознание, болезненно задетое

угрозой полного распада страны, унижением на Балканах и всеми другими унижениями во внешней политике. Чечне мстили сразу за всё и все. А потом месть рождала месть, и нынешний мир — только перемирие.

Есть народы, которые не может поглотить никакая глобализация: ни древнейшая, грубо имперская, ни средневековая, опирающаяся на единую веру, ни глобализация Нового времени, колониально-торговая, ни нынешняя, электронно-финансовая.

Спротивление глобализации так же старо, как сама глобализация. Когда опорой империи стало христианство, древние народы, не желавшие раствориться в православном византийском мире, сохранили себя как ереси. Копты и армяне стали монофизитами, ассирийцы — несторианами, финикийцы (нынешние ливанские христиане) — монофелитами. В мире ислама Иран восстановил свою независимость под знаком шиитов, буквально — партии, первоначально — партии сторонников наследственного халифата Алидов, потомков племянника Мохаммеда Али. А если копнуть поглубже, то не сказалось ли сопротивление имперской глобализации в пафосе еврейских пророков, бичевавших вавилонскую блудницу? А потом это консервативное движение подготовило революцию вселенского монотеизма, оказавшегося решающей силой на следующем этапе глобализации и бичом упрямец, верных Ветхому Завету. История, как заметил еще Гегель, полна иронии, и разгадать, что в ней прогресс и что реакция, что добро и что зло, — не просто.

Сегодня культурные миры, основанные на едином Священном Писании, едином языке Писания и едином шрифте (помимо Запада их еще три: Дальний Восток, Индия, ислам) оказались в роли племен, сопротивлявшихся древним империям. Ислам активнее других сопротивляется новой, постхристианской, электронной глобализации. Не будем считать это сопротивление бессмысленным и обреченным. Оно может повлиять на форму глобализации, забрав американский вариант и подтолкнув искать другой². Во всяком случае, чеченцам ислам дал ощущение вселенской идеи, вселенской значительности их борьбы. Курдам, восставшим против своих единоверцев турок, ислам не мог помочь, и они схватились за марксизм-ленинизм-сталинизм. Тут не грубый расчет на подачки от стран ислама или от Советского Союза — вернее, не только расчет. Мы живем в мире глобальных идей и глобальных процессов, и даже этнические противники глобализации находятся в знаке великой идеи на своем знамени.

Мировая религия не раз служила национальным целям. И не всегда ясно, кто кого использует: национальное чувство — религию или религия — национальное чувство?

Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки конгресса, не так давно процитировал старое изречение: тот, кто не прислушивается к чужим молитвам, рискует услышать их как боевой клич. От нас самих зависит,

долго ли мы будем слышать «Аллах акбар» на поле битвы. Само по себе мусульманское обращение к Богу не более воинственно, чем «Господи помилуй».

После всего, что совершилось, нужны десятки лет борьбы с ястребами (и в России, и в Чечне), десятки лет освобождения от ненависти и страха. Чеченский узел нельзя разрубить, его надо долго, терпеливо развязывать, согласие прекратить военные действия — только первый шаг к миру. Мир наступит, когда новые поколения перечеркнут старые счета. А пока — не обойтись без стражи на границах (как их ни называй — государственными или административными). До тех пор, пока призыв к кровной мести не перекипит в чеченском котле и трезвость лоулендеров не возьмет верх над романтикой лихих набегов. До тех пор, пока повышенная активность чеченцев не найдет себе мирное поле деятельности. Новый тип чеченца уже складывается (особенно в диаспоре). Не надо ему мешать заниматься бизнесом и найти новое приложение своей энергии.

После Беслана

Чеченский тупик — наглядно зримая часть нашего русского тупика — и мирового тупика, где вырос глобальный террор. Я писал об этом в журнале «Искусство кино», 2003, №№ 7, 8, 9. Но размах зла в Беслане вышел за все предвидимое. Он говорит о каком-то перерождении человеческой природы. Что там было заранее продумано — и кем продумано?³ Что творилось в истерике, может быть, в наркотическом дурмане? Многое непонятно. Но есть общее условие всего случившегося: состояние войны в Чечне. И здесь многое поддается анализу.

Существует мировой опыт: национальные движения, разбитые в открытом бою, но не сломленные, переходят к террору. Таков опыт Алжира, опыт Палестины. Почему он не был учтен? Почему надо было буквально повторить его, чтобы понять: грабли, на которые вы наступили, бьют по лбу?

Пока идет классическая война и у восставших есть расчет повторить опыт Вьетнама — измотать противника и заставить его уйти, — террора нигде не было или почти не было. Единичные покушения не в счет: это норма любой партизанщины. Террор начался в Алжире после отступления алжирских партизан в Тунис, в Палестине — после трех проигранных арабами войн, в России — *после* «антитеррористического» похода и установления контроля федералов над всей территорией Чечни. Прекращены были разбойничьи набеги на Ставрополье, и нависла угроза над всей Россией.

В конце ельцинской войны был рейд Басаева в Буденновск, — но это скорее демонстрация возможности террора, угроза террора, еще без отчаяния, без озверения, без шахидизма, без вопля: «Мы не люди, мы террористы». Буденновск был одним из толчков кончать войну, но не последним. Последним ударом была проведенная Масхадовым пе-

реброска боевиков в тыл федеральных войск и захват Грозного. После этого аналога событий в Индокитае начались переговоры.

Мировой опыт показал и две возможности выхода из тупика. Первый — решение Де Голля отказаться от трех французских департаментов, расположенных в Африке, с населением в миллион французов. Уход был в глазах великого патриота меньшим злом, чем сохранение территории ценой вырождения французской армии и пыток захваченных в плен террористов. Франция от этого не распалась и не потеряла своего статуса великой европейской державы.

Вторая возможность досталась Израилю. Ему некуда было уходить. Оставалось вести переговоры, не переставая огрызаться, постоянно совершенствуя антитеррористическую защиту. Что до переговоров, то у Израиля та же трудность, которая сегодня стоит перед Россией: не все террористы подчиняются законно избранному президенту и заведомо никому не подчиняются глобальные террористические организации. Я опасаюсь, что и в случае соглашения со всеми удельными князьями Чечни — аль-Каида найдет помощников среди молодых мстителей (за убитого отца, за изнасилованную сестру и т.п.).

Действия Де Голля оказались благотворными для Франции, а действия израильской администрации, по крайней мере, дали возможность Израилю существовать в море ненависти, окружившем эту маленькую страну. Но ни один пример не может быть полностью перенесен в другую обстановку, с другими действующими силами. Что же собой представляет обстановка на Кавказе?

Начнем с того, что вторая кавказская война началась не в 1994 г., а в 1938-м. Горная Чечня восстала против сталинского Большого террора. Вся страна тогда дрожала от страха. Снимаю шапку перед безумством храбрых. Но с этого начались и завоевательные планы хабрецов. Я прочел о них в мемуарах Авторханова (в прошлом — ученика Бухарина и красного профессора, а в будущем — автора замечательной книги «Технология власти»).

Когда Берия пригрозил чеченцам, что их всех сошлют, если они не убедят своих соплеменников сложить оружие, то решено было сперва напугать Авторханова, и его поставили в шеренгу на расстрел, а затем выхватили из нее и послали к Исраилову, руководителю восстания, — заразить его своим страхом и морально сломить. Авторханов давно был в тайных отношениях с Исраиловым и сразу же перешел на его сторону. Когда на Кавказе появились немцы, Исраилов послал к ним Авторханова с предложением союза против общего врага — Сталина. Подробности можно прочесть в журнале «Октябрь», 1992, № 10. В конце мемуаров Авторханова — мое послесловие, написанное по просьбе редакции. Широкая публика мемуаров не заметила. Не до того было в 1992 г.

Вторым актом трагедии была поголовная ссылка чеченцев и ингушей (из которых вряд ли один из десяти или ста тысяч знал о плане

Исраилова). Как все это делалось, как из вагонов доносились детские крики «хи! хи! хи!» (воды!), описано у Анатолия Приставкина в повести «Ночевала тучка золотая».

Третий акт — бездействие московского руководства, когда погромщики три дня резали, насиловали и жгли на кострах армян в Сумгаите. По-видимому, Горбачёв с Лигачёвым не могли договориться, что делать. Имперская власть, допуская погром, лишает смысла свое существование и дает знак хрябцам: кто смел, тот два съел. Чечня начинает готовиться к независимости. Ингуши отказались принять участие в игре. Им показалось выгоднее оставаться в России. По-видимому, за этим стояло «Ингушзолото», успешно конкурировавшее с государством в торге со старателями. Мне бросилась в глаза аналогия с Шотландией XVIII в.: хайлендеры восставали, лоулендеры торговали (см. с. 197).

Четвертый акт: независимость провозглашена. Руцкой объявляет чрезвычайное положение, Ельцин это решение отменяет. Он занят борьбой со своими противниками в Москве. Только в 1993 г., после умирения Верховного Совета, начались беспомощные попытки свергнуть Дудаева, опираясь на чеченскую оппозицию. Между тем, в Чечне шел вялотекущий погром. Дудаев был бессилён остановить его. До 250 тысяч русского и русскоязычного населения бежит из Чечни. Абдулатипов считал, что Дудаев все же остается властью, с которой можно вести переговоры. Грачев убеждал Ельцина, что возьмет Грозный силами двух батальонов.

Пятый акт: Ельцинская война, чеченцы ведут ее с оглядкой на русское общественное мнение и выигрывают в СМИ и на поле боя. Русская совесть не выдерживает кровавых жертв среди мирного населения. Назывались цифры в 100 тысяч погибших при штурме Грозного.

Шестой акт: Обе стороны дурно используют передышку. Русские власти ничего не сделали, чтобы вызвать к себе уважение. Чеченцы не смогли установить единую власть. Равнина проголосовала за Масхадова⁴ — символ переговоров, символ мира, — но у Масхадова не было своей боевой дружины, а у Басаева она была. Он создал ее еще в Абхазии, когда иррегулярные русские и северокавказские части в едином союзе помогали Арзинбе. Батальон Басаева был грозой грузинской армии.

В обстановке анархии возрождается древний промысел горцев: захват заложников с требованием выкупа. Басаев пытается утвердить себя как эмира, если завоюет Дагестан. Дагестанцы его не поддержали, но мир был сорван.

Седьмой акт: можно было просто прогнать Басаева, можно было ликвидировать его, как это делали израильские спецслужбы. Москва предпочла большую войну. Потери от террора шахидов быстро превысили потери от бандитских набегов на Ставрополье. Еще до Беслана погибли более 900 человек. Это можно было предвидеть, исходя из опыта Алжира и Палестины, но почему-то не было принято в расчет. Постепенно в игру

стали входить силы глобального террора; вряд ли они отступят. Процесс Буданова показал, что чеченцам нельзя рассчитывать на российский суд⁵. Процесс Ходорковского показал, что даже олигарх бессилён перед президентом. На что же рассчитывать чеченцу? Что может удержать его от традиций кровной мести?

Допустим, что начались переговоры и установлен какой-то переходный режим. Можно ли, даже за много лет, при самой разумной политике, приучить всех чеченцев, в том числе горных, жить в российской автономии? После всего, что было? И нужно ли России восстановление ленинско-сталинской системы союзных и автономных республик, автономных областей и округов? Она хорошо смотрелась на фоне колониальной Индии, полуколониального Китая и т.п. Но в 70-е годы система, установленная в 1922 г., смотрелась как мамонт, вылезший из вечной мерзлоты. В изменившемся мире колониализм сменился неоколониализмом. Французы назвали его «присутствием». В Африке южнее Сахары «присутствие» (в экономике и культуре) в общем удалось, в странах Магриба столкнулось с активизацией ислама и оказалось менее эффективным. Мне кажется, выстраивая заново систему отношений на Северном Кавказе, надо учитывать и этот опыт, и опыт Швейцарской федерации, единой, несмотря на трения между французскими и немецкими кантонами, и опыт национально-культурной автономии в Австро-Венгрии (при интеграции диаспор).

Советской модели 1922 года давно нет. То, что осталось от нее, лишено внутренней логики. Сталин, стремясь замаскировать Большой террор показным ростом демократии, сделал несколько демагогических жестов: превратил автономные республики Киргизию и Казахстан в союзные и распустил Закавказский Союз Федеративных Советских Республик, пожаловав Азербайджану, Армении и Грузии статус союзных республик (результатом был рост национальных споров). Карельскую автономную республику преобразовали в Карело-Финскую Союзную Республику, а затем вернули в автономное состояние. В заключение, Хрущёв, продолжая политику русификации Украины, подарил ей (не спрашивая населения) полуостров Крым. С тем же успехом можно было бы подарить Чечню Грузии или сделать Чечню союзной республикой. Чем она хуже мимолетной Карело-Финской державы? Не состоялась держава из-за отчаянного сопротивления финнов. Чеченцы тоже сопротивляются и будут сопротивляться. Террор — продолжение полевой войны. Нет никаких моральных препятствий для заключения мира. Два бывших террориста, Менахем Бегин и Ясир Арафат, получили Нобелевские премии мира за соглашение, давшее некоторую паузу в многолетней войне.

Что мешает последовать этому прецеденту? Запах взрывов в метро? Но убийство бомбами, сброшенными с самолетов, нельзя считать более достойным делом, чем действия шахидов. За обе войны, ельцинскую и

путинскую, было убито 200—250 тысяч жителей Чечни, в том числе 30—35 тысяч детей. Бросать бомбы морально легче, чем убивать человека вплотную, но с точки зрения убиваемых разницы нет. На большой войне тоже были разные способы уничтожения противника и рукопашный бой не похож на стрельбу тяжелой артиллерии. Запомнились стихи Юлии Друниной:

Я сотни раз видала рукопашную,
Раз наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

В рукопашном бою люди зверели. Или сидели, как один мой знакомый. Такова война. Виновники не солдаты. Виновны архитекторы войны. И война не прекратится, пока и русские, и чеченцы не начнут бороться со своими ястребами. Нужен переходный период, период постепенного освобождения от ложных идей, ложной политики и ложных чувств. Дело спецслужб — защищать нас от действий «отморозков». Дело учителей, писателей, публицистов защищать наши души от взрывов ярости.

На мой взгляд, превращение Чечни в великую державу (как задумано было Израйловым) — такой же фантом, как «восстановление конституционного порядка». Однако идеи нельзя «нейтрализовать» силами спецслужб. Идеи можно только уравновесить другими идеями и другими действиями, дать выход энергии народа на поле мирной экономической конкуренции, как это удалось сделать с японской агрессивностью. А «нейтрализация» местных лидеров полностью отдаст руководство чеченским сопротивлением в руки аль-Каиде. Возможность переговоров будет отброшена на десятки лет. Все эти годы территория России будет полигоном глобального террора. Защитить тысячи российских Бесланов можно только в воображении: земля наша велика и обильна, но порядка в ней не было и нет. Пример Израиля нам не впрок: израильтяне не продают взрывчатку, чтобы купить мебельный гарнитур.

Я убежденный противник общей теории Л.Н.Гумилева о решающей роли «пассионарности» этносов и рыхлости «суперэтнических» образований. Я убежден, что в подавляющем большинстве случаев мировые религии подчиняют себе племена, превращают их в носителей христианства, ислама, буддизма. Говоря языком Гумилева, мировые религии, в известный период своего развития, были «сверхпассионарны», и не было во Христе ни эллина, ни иудея. Хотя отношения между эллинами и иудеями в I в. были не лучше, чем сегодня у армян с азербайджанцами⁶.

Однако есть исключения из правила, есть народы с гумилевской пассионарностью. Они не очень сильны в метафизике и принимают господствующую в регионе мировую религию, но толкуют ее по-своему.

Под оболочкой мировой религии продолжает жить племенная воинственность и готовность защищать свою племенную самобытность, не страшась смерти. Их можно на время подчинить, но при первой возможности они снова достигают независимости. Это вьетнамцы, афганцы и — как показала война — чеченцы.

Вьетнамцы *тысячу лет* прожили под эгидой южнокитайских царств, но при слабой династии отложились и создали Ан-нам, государство нам (Вьет-нам означает «народный нам»; это современная терминология. Исторически все второе тысячелетие существовал Аннам). Три сильные китайские династии (монгольская, минская и маньчжурская) посылали карательные экспедиции, чтобы наказать ослушников. Вьетнамцы уходили в джунгли, ночными нападениями изматывали интервентов и заставляли уйти восвояси. Затем они помогали китайцам сохранить лицо и успокоиться. В Пекин (или в Нанкин, при Минах) посылалось посольство с примерно таким текстом: «Мы, будучи варварами и живя по законам зверей и птиц, нарушили гармонию вселенной, нападая на войско Сына Неба. Мы раскаиваемся и посылаем дары». Пекинский (или Нанкинский) двор заносил извинение в свои анналы, посылал ответные дары и больше не наступал на грабли. Против пушек вьетнамцы не устояли, но привычными методами войны в джунглях измотали сперва французов, потом американцев и заставили их убраться.

Английские колонизаторы, покорив всю Индию, дважды посылали экспедицию в Кабул. Остатки этих экспедиций вернулись, не солоно хлебавши. Третьей попытки со стороны англичан не было. Была — со стороны Леонида Ильича Брежнева. С большим количеством жертв и с тем же результатом. Причем Афганистан — страна разноплеменная, с привычной борьбой между Югом и Севером. Что их объединяет, не знаю. Что отличает горных таджиков — ядро Северного альянса — от прочих таджиков, тоже не знаю. Возможно, высота гор. И это снова напоминает отличие хайлендеров от лоулендеров и горных чеченцев от чеченцев равнины.

Опыт Шотландии говорит за то, что экономическое развитие покоряет горы, но это было в XVIII в., а в XX и XXI процесс глобализации вызывает яростное этническое сопротивление; идет укрупнение этнических и суперэтнических единиц, и вьетнамцы, афганцы и чеченцы борются за то, чтобы сохраниться на следующую тысячу лет. Сможет ли Россия поладить со своим соперником? Я думаю, что это возможно. Малые народы Северного Кавказа не рвались под иго эмира Басаева. Россия может сохранить свои позиции на Северном Кавказе как защитница малых народов от чеченских претензий на гегемонию. Но надо вести переговоры, глядя в лицо реальности, а не сталинской конституции. Если ввести согласительные процедуры, если ярость угаснет, формы взаимно выгодного существования удастся выработать.

На форуме интеллигенции года три тому назад я выступил против

идеи просто уйти, немедленно уйти из Чечни. Это значило бы развязать оргию мести между чеченцами разных ориентаций и возобновление набегов на Ставрополье. Нужен переходный период, в том или другом варианте, возможно, какой-то кондоминиум. Любой вариант здесь связан с риском.

Но чего может добиться Россия, к которой нет доверия? В которой до сих пор нет настоящего парламента и независимого суда? Чего может добиться Россия, в которой закон — что дышло? К ней нет и не будет доверия. Выход из чеченского тупика возможен только для России, духовно обновленной, добившейся порядка у себя дома и заслужившей доверие к себе. Надо преодолеть желание еще раз наступить на грабли и еще раз получить удар по лбу.

Наступать на грабли — большой соблазн. Преодолеть его трудно. Но есть противовес ярости, и его не надо далеко искать. Он внутри нас. Надо обернуться внутрь. Антоний Сурожский много раз нам показывал этот путь. Он любил повторять строки, написанные в положении, еще более безвыходном, чем наше, — узником гитлеровского лагеря смерти:

«Мир всем людям доброй воли! Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию... Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников.

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе! Положи на весы, в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли — мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, улыбку, осушавшую слезы. Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощение грехов, как выкуп, ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло! И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. А когда всё это кончится, даруй нам жить как людям среди людей, и да возвратится на нашу исстрадавшуюся землю мир — мир людям доброй воли и всем остальным» (найден в архивах немецкого концентрационного лагеря и опубликовано в «Зюддойче цайтунг». Русский перевод, по-видимому, принадлежит вл. Антонию).

Записка ничего не говорит в конкретно политическом плане. Но ее дух — тот самый, который веет, где хочет, и всюду укрощает страсти. Научатся ли наши лидеры не только держать свечку в храме, но проникнуться духом, которому воздвигнуты эти храмы? И не слишком ли долго они будут учиться?

Второй вопрос — к нам. Сумеем ли мы встряхнуться, как иногда

встряховались в прошлом? Очень много зависит от нас самих. Никакое начальство не повинно в том, что мусором завалены опушки лесов, что окурки бросаются в засушливом лесу и горят легкие России, что взрывчатку продают всем желающим.

Беслан потряс Россию. Но потрясение вызвало две разные волны. Одну — из глубины. Родилось сознание, что так дальше нельзя, что надо что-то делать — и люди несли свои деньги, свою кровь жертвам террора, не думая о счетах между осетинами и ингушами, между русскими и чеченцами. Другая волна — с поверхности, где никогда не стихают вспышки ярости, где царит грех...

Каждый грех, учил нас вл. Антоний, — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной. Чем больше ярости, тем глубже мы заходим в тупик. Нельзя потушить пожар бензином. Нельзя выйти из тупика, стучаясь лбом о стены. Из тупика можно выйти, только вверх, по вертикали, поднявшись над вспышками слепой ненависти. Надо достичь «критической массы» духовно ответственных людей, способных перешагнуть через психологические стены.

Богословско-политическое в диалоге с исламом

Город, святой для нескольких общин, обречен стать городом диалога религий. Но слово «диалог» может означать слишком много. Бубер, теоретик диалога, привел пример самого тонкого, самого глубокого значения слова. Однажды он заспорил с коллегой, христианином, кто лучше понимает Христа. Бубер считал Христа великим еврейским пророком. Христианин думал иначе. Спор зашел в тупик. Вдруг оппонент встал. Бубер тоже поднялся со своего кресла. Они посмотрели друг на друга и братски обнялись. В этот миг, писал Бубер, совершился диалог.

Попробую втиснуть этот пример в определение. Диалог — такой обмен мыслей, в котором дух целого витает над столкновениями реплик. И этот дух, охватывающий участников, подымает над логикой, зашедшей в тупик, над инерцией спора, и гасит полемический азарт.

Диалог религий мало что дает, если не признать положения, которое мы с Зинаидой Миркиной защищаем в своей книге «Великие религии мира»; признать, что глубина каждой религии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. То есть на последней глубине все Святые Писания — только неловкий человеческий перевод несказанного Божьего слова. Противоречия Писаний — это противоречия переводов. Подлинный толчок, полученный человеческим умом, несказуем и неделим. Но он делится в уме, на языках человеческого опыта, на санскрите, иврите, на пали и арабском. Поэтому буква мертвит, поэтому Томас Мертон, после разговора с Дай- эцу Судзуки, писал, что — при всем великом значении, которое имеет различие традиций, — есть нечто, связывающее католического монаха с дзэнским старцем в общину созерцателей, противостоящую «нашим соотечественникам, ведущим

агрессивно несозерцательный образ жизни» (это из предисловия к книге «МузИсз апд 2еп таз1ег8»).

Если в религии главенствует буква и нельзя ни на шаг отступить от буквы Торы, от буквы Корана, то поле диалога сужено. Фундаменталисты здесь сходятся с людьми, начисто лишенными духовного опыта. Я убедился в этом на круглом столе в Горбачёв-фонде, когда впервые сослался на слова Далай-Ламы и впервые услышал упрек: это демагогия! Я тогда промолчал. Но через пару лет я держал в руках книгу «Тье доод Неай» («Доброе сердце»), т.е. протоколы заседаний семинара христианской медитации им. Джона Мейна, на которых Далай-Лама комментировал избранные им фрагменты Евангелий, а затем его комментарии, в свою очередь обсуждались и комментировались. Но, может быть, не менее замечательным было молчание, с которого разговор начинался. Далай-Лама зажигал свечу, все зажигали от нее свои свечи и полчаса проводили в созерцании единства, которое не вмещалось в слова.

Многие участники семинара говорили, что именно в молчании они постигли братство религий, к которому стремились. Протоколы семинара, состоявшегося в 1994 г., были опубликованы только в 1997 г., много времени ушло на разработку комментариев и словарей, где давались древние и современные понимания христианских и буддийских терминов, — например, что значат слова «ангел», «ад», «вечность» и т.п. Сами по себе эти словари — огромный шаг вперед в суперэкуменическом богословии, разработку которого начал несколько десятков лет тому назад Раймонд Паниккар, некоторыми терминами которого я еще воспользуюсь. Но все же главным было молчание, в котором собиралось всё, рассыпанное в словах.

Далай-Лама положил начало и обрядности межрелигиозного диалога. Он посетил святые места христианства (не как турист, а как паломник — это он подчеркнул) и молился у христианских святынь. А затем большая группа христианских священников и епископов посетила Индию, и они молились под деревом Бодхи.

Почему нельзя даже представить себе процессию раввинов, обходящих Каабу, и процессию шейхов ислама, молящихся у Стены Плача? Отбросим фразу, мгновенно мелькнувшую в уме: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Разумеется, не может быть; но если не будет никакого сдвига в этом немыслимом направлении, то все соглашения рухнут в бездну войны, как в бочку Данаид. Поэтому все же стоит продумать эту абсурдную ситуацию. Начнем с того, что структура святынь в каждой религии — своя. Для христианства и буддизма личность, от которой исходит Писание, выше Писания. Для иудаизма и ислама Моисей ниже Торы, Мохаммед ниже Корана. Моисей не писал скрижалей, он только принес их. Коран, по толкованию авторитетных богословов, предвечен, создан раньше неба и земли и только продиктован Мохаммеду.

Можно воспользоваться термином *гомология*, введенным Паниккаром, то есть аналогия *места* и иерархии святынь.

Генетически, по происхождению, все авраамистические религии — одна семья; но гомологически подобны христианство и буддизм (личность выше текста), ислам подобен иудаизму (текст выше личности). Это усиливает позиции фундаментализма, противников диалога. Однако главная трудность на пути к диалогу с исламом не в этом. Я уже писал, как суфии научились обходить метафизические препятствия, используя метафоры и притчи. По существу они создали рядом с Кораном, опираясь на мекканские суры и обходя мединские, новое Писание, Новый Завет. И в Средние века суфии подходили к порогу диалога, не встречая ответа со стороны христиан. Порог, который сегодня трудно переступить, — в политике. Ислам неотделим от политики. В Средние века он занимал позицию силы, христиане или иудеи Ближнего Востока ему не угрожали, и мусульмане могли не думать о политическом ущербе. Сегодня они не могут о нем не думать.

Канонический ислам — не учение о личном спасении. Правда, исторически христианство тоже к этому не сводится, и буддизм иногда впутывался в политику, но в глубине своей они аполитичны. Какая политика в четырех благородных истинах Будды или в словах Христа: ищите Царствия Небесного, а остальное приложится вам? Между тем, ислам с самого своего истока, с Корана, с его мединских сур, — учение о священном социально-политическом порядке. Мусульмане воевали друг с другом не из-за разных способов спасения. Главным был вопрос, как и кто будет наследовать престол халифов — потомки Али или любые другие достойные люди? Поэтому нельзя, начиная диалог с исламом, вынести за скобки политику: создание Израиля, проблему Иерусалима и судьбу беженцев. Диалог с исламом неизбежно принимает богословско-политический характер. Это заставляет нас оставить глубины, где горит вечно живой огонь любви, и подняться в поверхностные слои опыта, где царит вражда и война. Как при этом не потерять контакта с глубиной? С высшим Разумом, который — перефразируя Хамдани — витает над частностями? Это не просто. Запутываясь в частностях, мы то и дело теряем чувство глубины, чувство единого организма, где палец связан с другим пальцем единым током крови и нет ничего совершенно отдельного, нет отдельных выгод, только общая. Разбираясь в изломах политики, мы все время скатываемся к греху. Избежать этого полностью выше человеческих сил. Постараемся, по крайней мере, не слишком сильно грешить и не терять любви к людям, которые не ведают, что творят, охваченные страхом и ненавистью.

С точки зрения арабов, само создание государства Израиль было оскорблением ислама и произвольным переносом проблемы, с которой не справилась Европа, на Ближний Восток. Можно возразить, что Еврейское агентство скупало земли с разрешения турецких, а потом

английских властей, уплачивая полную цену владельцам. Но владели землей эффенди, жившие в городах, а обрабатывали землю арендаторы. Арендаторам по закону не полагалось ничего. Им давали немного денег на переезд (сверх стоимости земли); вероятно, надо было бы дать больше, но средства агентства не позволяли расширять благотворительность без предела. Арендаторы оказывались разоренными. Можно было бы им, по образцу многих стран, бороться за изменение системы землевладения, за аграрную реформу. Но эта возможность не была осознана. Арабские арендаторы нашли только один выход: истребить евреев и таким образом приостановить перемены.

Погромщиками двигал страх. Евреями также. Две волны погромов, в 1929 г. и 1936 г., заставили еврейских поселенцев создать систему обороны. Первоначальный план создания еврейского национального очага в общем государстве всех палестинцев был отброшен. Победила идея раздела страны. ООН приняла план раздела между двумя общинами. Израиль этот план принял, соседние арабские государства отвергли. При этом население Палестины не было опрошено, им манипулировали по радио. Новый, альтернативный план раздела, более выгодный арабам, не был предложен. Регулярные армии четырех государств (Египта, Сирии, Ливана, Иордании), игнорируя решение ООН, вторглись в Палестину — и были разбиты отрядами еврейских поселенцев. Военные действия несколько раз прерывались перемирием, возник эпизодический план графа Фольке Бернадота, комиссара ООН, более выгодный арабам, но война уже стала фактом и шла по своей собственной логике. Фольке Бернадот был убит группой израильских экстремистов. Этот печальный эпизод ничего не решил: арабские страны не хотели *никакого* раздела и не готовы были обсуждать какой бы то ни было проект. Война остановилась на очередном перемирии, без тех уступок, на которые Израиль пошел бы при заключении мира, в обмен на установление дипломатических отношений, как с Египтом в 1973 г.

Существует обычай, что страна, начавшая войну и потерпевшая поражение, признает свое поражение. Греки, вторгшиеся в 1922 г. в Малую Азию и разбитые наголову, вынуждены были согласиться на крайне невыгодные условия мира. Греческое население Анатолии, обитавшее там примерно 3 тысячи лет, было выселено, как нежелательные иностранцы. После Второй мировой войны, начатой Гитлером, миллионы немцев были выселены из земель к востоку от Одера. Проблема до сих пор осталась, но войны она не вызывала.

Однако бывают и другие случаи, когда конфликт длится веками. Арабы вспоминают крестоносцев, взявших Иерусалим и не сумевших его удержать. Это верно, однако крестоносцы были только войском, они не укоренились в Палестине, не стали здесь новым народом. Вытесненное войско вернулось на родину. Кроме того, у крестоносцев не было атомной бомбы. А Израиль — это народ, которому некуда эвакуироваться, и,

прижатый к стене, он может спутать все расчеты. Нашелся ответ и на такой аргумент: террористы-самоубийцы, от которых не спасает ни атомная, ни водородная бомба. Террористы не могут уничтожить Израиль. Израиль не может уничтожить террористов...

Я читал книгу Фаваза Турки «Дневник палестинского изгнанника» и вжился в глубину отчаянья палестинцев. Я думаю, в нее можно вжиться, вспомнив миг, когда смерть вырвала из твоих рук бесконечно любимое существо. Тогда ничего не хочется, кроме смерти. Томит искушение покончить с собой на могиле. и можно понять шахидов. Взрывая себя, они приносят жертву родине. Но победы здесь нет, здесь тупик. Шахиды не могут уничтожить Израиль. Израиль не может уничтожить шахидов.

Время лечит, сказал Рильке. Я убежден, что для беженцев-немцев и беженцев-греков память о потерянной родине стала постоянно ноющей раной. Но дети беженцев любят свою новую родину и не чувствуют себя бездомными. Сейчас уже многие говорят о необходимости расселить население лагерей беженцев по другим арабским странам, дать им возможность вернуться к нормальной жизни и, может быть, найти в ней новую любовь и новое счастье.

Это очень трудно, это будет вызывать отчаянное сопротивление; трудно расстаться с идеей, выношенной за полвека. Но идея возвращения к прошлому неосуществима. Уничтожить Израиль нельзя без моря крови — и, может быть, создав вместо цветущей страны выжженную и отравленную пустыню. Что там будут делать палестинцы?

Расставание с фантомом займет годы, может быть, десятки лет. Очень трудно будет преодолеть сопротивление политических лицемеров, привыкших использовать дешевую рабочую силу палестинцев, давая им вместо гражданских прав резолюции Арабской лиги. И нужно лет 25, чтобы выросло новое поколение, привыкшее к новой родине. Но иного пути нет. Только очень не скоро можно будет серьезно взяться за проблему ничейного и всеобщего Иерусалима. Только через определенный срок после последнего террористического акта. И то — если волны безумия перестанут перекачиваться по земле, разжигая старые конфликты. Мир на Ближнем Востоке — не решение шахматной задачи. Тут есть нити, уходящие очень далеко.

Ближневосточный узел — один из детонаторов мирового безумия. Но и обратно: нельзя потушить очаг террора на Ближнем Востоке, не борясь со вспышками глобального террора по всей планете. Глобальный террор стал политической реальностью. Ее не удалось предотвратить, и теперь с ней приходится считаться. Надо лечить весь организм, помнить о всех болевых точках — в Кашмире, в Чечне и десятках других, созревших и зреющих нарывах. Вокруг каждой болевой точки возникает поле напряжения, и все эти поля сливаются в одно глобальное поле, где набирает силы глобальный террор. Успехи в залечивании отдельной язвы иллюзорны, если болезнь повсюду. Иерусалим не станет городом мира,

святыней диалога трех великих религий среди всеобщего безумия.

Диалог религий — только один аспект выхода из глобального кризиса. Надо понять, что генератор кризиса — на Западе. Нынешнее лихорадочное состояние, овладевшее исламом, слишком напоминает лихорадки большевизма и нацизма. Это очередная попытка силой упростить мир, ставший слишком сложным. Меняются фантомы (коммунизм, тысячелетнее царство германцев, правление четырех праведных халифов), политическая реальность другая — прокрустово ложе для истории.

Судорога нацизма изжила себя во Второй мировой войне. Судорога большевизма исчерпала себя как трагедию и длится как фарс. Можно предполагать, что судороги стихнут и в мире ислама. Но это не случится без борьбы — во многих измерениях. Одного военного сдерживания недостаточно. Нужны попытки понимания, способные вызвать ответное понимание, хотя бы, на первое время, у слабого меньшинства.

Выход этот, однако, недостижим без оздоровления всей западной цивилизации, распространившейся по земле — вместе со своими СМИ, с культом наслаждений, доходящих до радости насилия, вместе с наркотиками и СПИДом, — но без богатства, которое остается монополией «золотого миллиарда». Разрыв между бедными и богатыми нациями — одна из подпиток мусульманского экстремизма. В этом пункте он смыкается с антиглобализмом. В лечение входит известное ограничение западной свободы, вышедшей за свой оптимум. Каждая ценность, выйдя за оптимум своего расширения, становится разрушительной силой и взрывает целостность культуры. Сейчас на Западе свобода превращается в такую разрушительную силу, и если Запад не сумеет сам себя ограничить, то он потеряет свою роль гегемона и его оттеснят страны Дальнего Востока.

Инъекция марксизма в Китае уже сегодня дала неожиданные результаты. Роберт Белла, с которым я часто соглашаюсь, признал марксизм китайской формой вестернизации. Белла предположил также, что марксизм подготовит Китай к восприятию христианства. Я склонен несколько видоизменить эту гипотезу. Опыт прошлого показывает, что инъекция чужого приводит к сдвигу в традиционном диалоге Кун Фуцзы, Мэнцзы, Сюньцзы, Лаоцзы и Чжуанцзы; в это святое общество был принят и Будда; какое-то время он, казалось, шел к первенству, но в конце концов в центре снова оказался Конфуций, а импортированный буддизм занял свое скромное место. Сейчас снова, как две тысячи лет тому назад, нужен мощный духовный противовес бездуховности, и в общем потоке глобализации Китай незаметно впитывает — во всяком случае это можно предположить — некоторые авраамистические религиозные идеи. Но почему только христианские? Почему невозможен диалог авраамистических идей? Глобальному Китаю нужна будет глобальная религиозная ориентация, и он ее, быть может, создаст.

Картина, которую я рисую, относится к области фантастики. Но фантастичен только конкретный облик будущего. Утрата опережающего исторического развития западнохристианской цивилизации — почти совершившийся факт. Даже в ограниченном смысле научнотехнического развития оно оспаривается и будет оспариваться. Кризисность западной истории легко может перейти в катастрофичность. Ислам, гегемон Средних веков, отодвинутый в тень Новым временем, сегодня пытается взять реванш, но поворот к посленовому может быть совершен только на основе усвоения нового, а не простым возвратом к Средневековью. За фантомом всемирного халифата нет силы. Но внутренний кризис Запада остается кризисом. Опережающее историческое развитие вполне может перейти к Дальнему Востоку.

Следующая большая эпоха будет эпохой внешних ограничений, продиктованных экологией; неизбежные лишения могут быть уравновешены только ростом внимания к внутреннему развитию. Тоталитарная диктатура — тупик, уже испробованный и отброшенный, диктатура хамов, разрушающая культуру, гибель человечества. Нужна золотая середина. Насколько я понимаю, традиции Китая и Японии близки к этой середине. Они веками сочетали духовную свободу, необходимую для жизни культуры, с жесткой социальной дисциплиной.

Нетрудно предвидеть общий рост авторитета Индийско-Тихоокеанского региона и западные заимствования восточной мудрости (они уже происходят в католической теологии). Вероятно и политическое возвышение Дальнего Востока, выход его на место, подобное нынешней позиции США. Однако анализ политических возможностей не входит в мою задачу. Я остановился только на одной перспективе: глубокое и общее знакомство с религиозностью двух древнейших цивилизаций земли, обошедшихся без религиозного фанатизма, увеличит шансы на понимание общей глубины трех авраамических религий. И хочется верить, что религиозный фанатизм, религия ненависти, использующая догмы и обряды для насилия, станет провинциальным уродством.

Знак поворота

Возмущение иногда тлеет веками и ждет благоприятного момента, чтобы вспыхнуть. Ждет триста лет, как в Ирландии. Ждет тысячу лет, как у народа Нам (нынешний Вьетнам) против китайцев, повелевавших страной в I тысячелетии. Возмущение тлеет в России, ожидавшей от американцев экономической помощи, как в Германии и Японии, и обманувшейся. Возмущение вспыхнуло в исламе. Похоже на то, что Сэмюэл Хантингтон назвал войной цивилизаций.

Однако возмущение Америкой есть и во Франции, одной из центральных стран Запада. Если понимать слово «цивилизация» примерно так, как это делал Тойнби, то цивилизация — это родственная *грунтта* стран. Отдельное дерево, даже очень большое, — еще не лес. В лесу могут прибавиться новые деревья, могут некоторые засохнуть и упасть, а дерево

— только дерево. Говорить о Западе и видеть перед собой Америку — значит за деревом не видеть леса. Для культуролога Америка — разбогатевший маргинал Запада. И то, что распространяет по всему свету СКК, — всего только подновленный европейский *фельетонизм* (как назвал его Герман Гессе), вульгаризированный массовый вариант «Запада», расцветший на девственной земле.

Вероятно, Бен Ладен мыслит иначе, и его концепция войны с Западом достаточно близка к первоначальной схеме Сэмюэла Хантингтона⁷. Но действительная история сложнее схемы. Известный привкус «цивилизационных» (или, по меньшей мере, национальных) различий был во всех тоталитарных режимах. Они возникали не в ядре модернизации — не в Англии, не в Голландии, — а на периферии или в «промежуточных зонах» (по классификации Эдвина Рейшауэра). Возникали там, где развитие преодолеvalo отсталость, стремилось «догнать и перегнать» и было довольно болезненным; где не хватало веков для постепенного слияния нового со старым и новое наступало вопреки старым нравам. Строго интернациональный дух ранней советской власти был воодушевлен реакцией на бойню мировой войны, да еще живой памятью о еврейских погромах и армянской резне. С течением времени Советская Россия перешла к национал- коммунизму, с опорой на местные традиции, и в идеологии КПРФ теория классовой борьбы уступила место теории этносов. Коммунистические и прокоммунистические режимы в Азии, Африке и Латинской Америке с самого начала связаны с национально-освободительным движением. Неожиданное поражение американцев во Вьетнаме и такое же неожиданное поражение коммунизма в Индонезии связаны со своеобразием местных культур.

Китайский марксизм нашел опору в «школе государственных за-конов», процветавшей до Р.Х. В Никарагуа прокоммунистический режим Сандино опирался на католическую «теологию освобождения».

Нет ничего удивительного, что в странах ислама «тотальной» идеей, призывом к созданию нового тоталитаризма стал образ правления первых четырех «праведных» халифов. Утопия, укореняясь, находит подходящую местную почву, но на любой почве создается прокрустово ложе, в которое втискивается современная цивилизация, обрубая все слишком сложное, противоречивое. Тотальная идея — это идея редукции, упрощения, ликвидации «антагонистических» противоречий, «окончательное решение» открытых вопросов, с которыми живет «открытое общество».

Журналисты говорят о мусульманском фундаментализме. Но это не мирный, семейный отказ от телевизора, это крутая ломка общества, это гораздо ближе к национал-социализму Гитлера, чем к фундаментализму в среднезападных штатах Америки. Сомнительность религиозного вдохновения показывает парадоксальный пример курдов: восставая против единоверцев-турок, курдская рабочая партия подняла знамя марксизма-ленинизма-сталинизма и без всякой опоры на религию

курдский террорист-самоубийца взорвал себя вместе с несколькими турками.

Фанатиков толкает ненависть, более сильная, чем воля к жизни. Фанатизм не связан наглухо ни с одной религией, ни с какой идеологией. Он прилипает к любой идее, когда разгораются страсти. Религиозная маска лучше служит цели, чем другие, — но это только маска: «Наиболее опасное духовное насилие — то, которое увлекается ложным энтузиазмом и кажется идущим от Бога, но на самом деле вдохновлено страстью. Многие любовно выпестованные планы прославить Бога — только темная страсть, нацепившая на себя святые одежды. И проверка этого — взвинченность, которую она вызывает. Бога мира и тишины нельзя прославить насилием»⁸.

Террористы с древнейших пор готовы были жертвовать собой, в том числе убежденные атеисты. Первыми в терроре против современной цивилизации были не мусульмане, а европейцы и японцы («красная армия», «красные бригады» ит.п.). Есть что-то в характере современной цивилизации, рождающее террор. Безликий механизм угнетает и возмущает личность, и «подпольный человек» ищет способа дать пинка «хрустальному зданию». Если пушки — последнее средство королей, то террор — последнее средство отчаявшихся людей, не способных развязать большую войну. И сегодня терроризм ислама — только новая волна террористического сопротивления глобализму. Можно назвать это сопротивление религиозным, но мне оно кажется квазирелигиозным. Во всяком случае концепцию *квазирелигиозности* всех тоталитарных систем (включая исламские) можно защищать.

Я пережил время, когда людей расстреливали за *неверие* в возможность построения социализма в одной стране, когда идеи Маркса, девизом которого было «во всем сомневаться», превратились в систему *догм*, а вокруг вождя возник культ *живого бога*, вроде исмаилитского. Между тем, ученые уже давно ищут новое имя для «мусульманского фундаментализма» и нашли его в *интегризме*, в стремлении создать искусственную, насильственную цельность общества. Интегризм — одно из имен квазирелигиозных движений.

Говорят иногда об особой *консервативной* революции. Это верно, если иметь в виду как альтернативу американскую революцию, открывшую дорогу свободному развитию. Но советская революция тоже была скрыто консервативной. Недаром поздняя советская власть родила поговорку: «инициатива наказуема». Устраняя «антагонистические противоречия», коммунистическая революция тормозила и само развитие. Если бы убрать у советской системы ее конкурента, капитализм, она бы очень скоро застыла — примерно как Северная Корея.

Что собственно случилось? Модернизация, распространяясь вширь, захватила и страны ислама. Но ислам — не религия «не от мира сего». Это религиозно окрашенный и утвержденный на вере социальный порядок. Он

очень хорошо был приспособлен к Средним векам и именно поэтому с трудом входит в современность. Он более «высказан», более вошел в «букву», в средневековую «букву», чем другие религии. Есть глубинные формы ислама, противоречащие основному потоку; но массовый ислам не может быстро измениться. Европеизация Турции заняла несколько веков. Между тем, телевидение действует на страны ислама как переливание крови чужой группы; оно мгновенно создает внутренний хаос. Экономика здесь, по-моему, на втором плане. Иран процветал, когда фанатики сожгли кинотеатр в Абадане. И к удивлению всего мира, народ, получивший много выгод от реформ шаха и его американских советников, отрекся от этих выгод и поддержал изуверов.

Многие американцы, насколько я понимаю, считают современную Америку способной неограниченно расти и расти, а ее противников — чем-то вроде маленьких Гитлеров, которых надо убрать с дороги. Этой схеме соответствовала «буря в пустыне». Для того чтобы покончить с диктатором, оставалось сделать один шаг. Его не совершили только из политического расчета: сохранить противовес другой диктатуре, иранской. Но неожиданно возникло нечто совершенно другое: глобальный террор. Его центры в подполье. Он неуловим, как партизаны Сомали, из которого американцы вынуждены были уйти: там нечего было бомбить и не было правительства, способного капитулировать, как Милошевич. Но в отличие от сомалийцев, боевики Бен Ладена обладают современными финансовыми и техническими ресурсами и способны наносить заметные удары.

Если говорить о физических масштабах взрывов в Нью-Йорке, то это булавоочный укол, от которого экономика Америки только вздрогнула. Но рухнули не только две башни. Рухнули символы. Я смотрел на падение башен по телевизору и понимал, что это всего две башни. Я вспоминал свою статью «Опасности и страхи», написанную после взрывов в Москве, и мог еще раз повторить, что опаснее всего страх, вызванный опасностью, и если опасность не вызывает страха, то с ней в десять раз легче бороться. Я пережил сталинский Большой террор и не был сломлен, потому что не испугался. Я пережил войну и не был раздавлен ужасами, которые видел, потому что преодолел страх. И глобальный террор можно пережить, если подняться над страхом. В конце концов, убийства, которые вдохновляет Бен Ладен, ничтожны сравнительно с миллионами убийств, совершенных Пол Потом, и десятками миллионов жертв Большого террора Сталина и большой войны между Гитлером и Сталиным. Глобальный террор пугает, потому что он раздут СМИ; но человек ко всему привыкает.

Я думал так, а впечатление не подчинялось разуму. Я смотрел на падающие башни и видел крушение цивилизации. Помощники Бен Ладена правильно построили свой спектакль. Среди них был способный режиссер и показал всему миру фильм о гибели Запада. Возможно, его вдохновил гитлеровский боевик «Мечь Вотана», но это не меняет дела. Телешоу,

подхваченное СКК, пошатнуло чувство неуязвимости Америки, пошатнуло (у тех, у кого оно было) чувство «правильности» современной цивилизации, ее способности оставаться такой, какая она есть, неограниченно долго. Окрепло — у кого оно было — чувство необходимости перемен. От террора можно защищаться; это безусловно меньшая угроза, чем то, что нес в себе режим Гитлера или режим Сталина. Но террор будет постоянно поддерживать чувство тревоги. И это чувство может быть использовано для духовного и нравственного пробуждения всего западного и вестернизированного мира.

Величайшую опасность для современной цивилизации представляет не угроза извне, а она сама, инерция ее развития, близко подошедшего к распаду. Если Запад останется постхристианским, постмодернистским, вялым, скептическим, ищущим наслаждений и садящимся на иглу, — финансово-техническое могущество не спасет. И бесполезно тратить миллиарды на противоракетную защиту. Нужно другое: внутреннее преобразование и открытость диалогу.

Диалог — это не просто терпимость, уживчивость. Это понимание, что есть не только один, западный путь развития, есть четыре проекта глобального устройства, в каждом из которых свой отблеск истины, и путь к выходу из экологического и духовного тупика — диалог с великими культурными мирами Востока. Каждый из них сохранил нечто, потерянное Западом: паузу созерцания. Одиночки, как Рильке или Мертон, заново открывают ее, но не случайно они ездили на Восток.

Шпенглер писал, что араб никогда не поймет китайца. Он скорее всего неправ: ал-Халладж или Ибн Араби были очень широки, но что бы ни думали арабы, европеец (и в том числе русский европеец) должен понять всех, даже фундаменталистов, сталкивающихся друг с другом на Ближнем Востоке. Фундаментализм — тупиковая линия развития, но его исток — отталкивание от вседозволенности, и пафос сопротивления распаду, пафос хранения древних святынь должен быть понят. В фундаментализме есть нечто от библейских пророков, бичевавших вавилонскую блудницу. Блудница, не сумевшая исправиться, погибла.

Есть старая суфийская притча (ее вспомнил Гёте). Иса (т.е. Иисус) шел по дороге со своими учениками. На обочине лежала дохлая собака. Ученики отвернулись, а Иса посмотрел и сказал: какие у нее прекрасные белые зубы!

Восток учился у Запада динамизму. Западу надо поучиться стабильности у Востока — Дальнего, индийского, да и суфийского. Спасение человечества — восстановление равновесия между развитием вширь и поисками путей в глубину, в переходе от цивилизации неограниченного физического роста, упершегося в ограниченность земли, к цивилизации равновесия с природой и *духовного* роста.

Современное человечество подобно подростку. Продолжение физического роста становится уродством. Взрослый перестает физически

расти. Перед ним — бесконечная дорога духовного роста.

Невозможно совершить поворот круто, сразу: «подростковые» привычки очень упорны. Но вполне мыслимо постепенно вращать в суету дел и развлечений паузу созерцания, паузу тишины. Только в тишине можно расслышать подсказку Бога. Только в тишине созерцания исчезает запутанность в частности, мир видится в целом и становится яснее, куда идти. Это можно воспитывать в детском саду, в первых классах школы, углублять в философии и в искусстве. Простой реставрации религиозной старины мало. Нет более сословного общества, когда крестьяне пахали, купцы торговали, рыцари воевали, а монахи созерцали Господа и молились за мир. Отрешенность и созерцание должны стать частью одного большого ритма жизни. Какой-то минимум тишины необходимо вернуть каждому человеку, иначе человечество не найдет выхода из современной запутанности и погибнет в серии конфликтов.

Выступая в Осло, в мае 2000 г., Далай-Лама XIV назвал важнейшей задачей XXI века воспитывать способность находить неожиданные ответы на неожиданные вызовы будущего, еще более непредсказуемого, чем вызовы XX века для человека XIX века. Я думаю, это возможно, если мы возродим паузу созерцания.

Бог нашей суетою оглушен,
А дьявол — этой полной тишиною...
(З.Миркина)

Примечания

- ¹ Ср. *Авторханов А.* Мемуары. Главы из книги // Октябрь. 1992. № 10. С. 131 — 135.
- ² В частности, повышаются шансы коалиции европейского типа — втягивания новых участников в западный концерт культур, при сохранении национального своеобразия России, Японии, Турции. См. мою статью в «Персоне», 2003, № 1.
- ³ Судя по рассказу осетина, назначенного на расстрел, но выпрыгнувшего в окно, озверение нарастало по мере того, как ситуация становилась все более и более тупиковой. Путин не давал согласия на переговоры и не давал приказа на штурм. Террористы ошибочно думали, что он прижат к стене, что он вынужден будет начать переговоры. Примерно так Черчилль считал, что Сталин вынужден будет помочь Варшаве, восставшей под руководством генерала графа Буря-Комаровского. Иначе погибнут сотни тысяч в Варшаве и еще сотни тысяч советских солдат при форсировании Вислы по льду. Расчет Черчилля провалился. Сталин согласился на гибель миллиона людей, но не на изменение своей политики. Примерно так же — в своих масштабах — действовал Путин. Он спокойно ждал, пока напряженная ситуация взорвется сама собой и само собой начнется штурм, а потом, сохранив формальное алиби, он еще больше ужесточил свою политику. Около трех часов дня, после того как боевики посмотрели очередной выпуск новостей, они совсем озверели. «Ваш Путин, похоже, недооценивает нас, — сказал заложникам полковник. — Мы покажем ему всю серьезность своих намерений». (Власть. 2004. № 38. С. 28—29. — Полковником террористы называли своего шефа.)
- ⁴ Комментаторы говорили также о расколе по возрастным группам.
- ⁵ См. статью: *Бакланов Г.* Улица Буданова // Итоги. 2004. № 39. С. 62.
- ⁶ См.: *Лурье С.* Антисемитизм в древнем мире. Петроград, 1922.
- ⁷ Одна из последних статей Хантингтона называется «Уникальность — не универсальность».
- ⁸ *MeAon T.* ТьбидМз т 8оШиде. Р. 112.

Часть 6. Тяжелые следы

Могила неизвестного зэка

Творчество Шаламова — один из ответов на вопрос, чем может быть искусство после Аушвица, Воркуты, Колымы? Ответ этот не изгладится ни из истории русской литературы, ни из мировой истории. Это свидетельство, которое до сих пор не до конца прочтено, свидетельство, адресованное каждому человеку на земле, на одном уровне с книгой «Ночь» Визеля — об Аушвице (Освенциме). И прежде всего — каждому гражданину России, не лишенному гордости и стыда за свою родину. Ибо патриотизм — это единство гордости и стыда. Гордость нашей страны — неслыханное напряжение сил народа, выдержавшего на своих плечах тяжесть четырех лет войны. И стыд — то, что почти все население страны закрывало глаза на аресты и расстрелы ни в чем не повинных людей, на разрушения, вызванные террором в гражданском и военном управлении, — и послушно повторяло сказки о врагах народа. Стыд нашей страны, что она поверила в Сталина, чуть не впустившего немцев в Москву, как в архитектора победы, поверила со страху, боясь подумать, сопоставить факты, поверила в чудовище, питавшееся ароматом человеческих страданий, поверила как в бога, обожествила одно из самых полных и подлых воплощений дьявольского в человеческом образе. И до сих пор половина народа считает, что победа все оправдала, победа все списала и нам нужен новый Сталин. Стыд, великий стыд и великий грех. Стыд, что мы не учимся на опыте немцев, не хотим вдуматься в процесс нравственного возрождения Германии, начавшегося с методического разрушения авторитета Гитлера, с настойчивого, многолетнего, ежедневного и еженедельного рассказа о гитлеровских зверствах и переключения немецкой гордости с военных побед на радость от простого доброго дела. Стыд, что дьявольский соблазн не разрушается в школах, с первого до последнего класса.

Сталин и его соучастники мертвы, но пока мы сами миримся с тенью Сталина, с величием его подлости, коварства и массовых убийств, наша страна остается нравственно больной и экономически неустойчивой, лишенной доверия к партнеру в хозяйственных соглашениях, страной, где вор у вора дубинку крадет.

Один из путей к выздоровлению — память о жертвах сталинских

застенков, разворачивание пружин страшного опыта в сердцах людей, обреченных Сталиным на многолетнее умирание, на подобие средневековой «тысячекратной казни». Но можно ли писать о чудовищном, не нарушая литературных канонов?

Об этом спорили между собой два колымчанина — Шаламов и Демидов. Демидов считал возможным выбирать случаи, когда гибель заключенного становилась трагическим апофеозом. Шаламов возражал, что опыт Колымы не допускает катарсиса, очищения души страхом и состраданием. Духовная смерть заключенных, мозг которых был иссушен голодом, часто опережал физическую смерть; люди в массе своей умирали сломленными, без сил подняться, с одной мыслью о куске хлеба.

Демидов доказал свою правоту делом. Уцелела пара его рассказов, где люди успевали что-то крикнуть перед смертью. Но Шаламов тоже доказал свою правоту. Его новеллы похожи на показания свидетелей обвинения в процессе, который до сих пор не доведен до конца. Но свидетельства эти нетленны, и они еще будут выслушаны. Они остались в искусстве слова как стиль, достойный эпохи. Пусть поэтика Шаламова не укладывается в канон Аристотеля. Есть и другие поэтики. Шаламов иногда очень близок к Беккету. Шаламов сам мог бы написать: пустое небо, каменная земля, жавшийся человек.

Совершенство слова незримо веет здесь над отчаяньем. Шаламов убирает все, похожее на литературность, она вымерзла в холодном Освенциме, она невозможна в разговоре об Аушвице, Воркуте, Колыме. Внешние приметы художественности доведены почти до нуля. Метафоры шаламовской прозы — естественная образность языка. Они не производят впечатления украшенной речи, не задерживают внимание на эффектном обороте. Целое полностью господствует над частностями, и каждое слово просто ставится на свое место — так, как Ахматова объясняла тайну своего стиля. Люди гибнут без поэтического взлета, но дух поэзии остается в суровом лаконизме языка, в классическом языке новеллы, где чувство всегда скрыто за фактами и искусство — за расположением фактов. У Демидова иногда заметно, что ему хочется что-то сказать, а повествование Шаламова как бы само собой сказывается. Это искусство особого жанра, жанра новеллы-свидетельства. Каждый рассказ — юридический документ, и каждый документ — образец новеллы. Их сдержанность в разговоре о неслыханном и чудовищном делает свидетельство еще сильнее. И когда автор теряет свою сдержанность и кричит — этот крик тоже свидетельство.

Русская литература на вершинах своих, в XIX веке, не единожды отходила уже от эпического беспристрастия. А в XX веке литература вся вырывается за рамки классики... Закричал Мандельштам. Закричала Цветаева:

Пора, пора, пора

Творцу вернуть билет!

Закричала и Ахматова, которую всегда противопоставляли Цветаевой:

Это было, когда улыбался Только
мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

И когда Шаламов пишет, что хотел бы быть обрубок и плюнуть в красоту, — это смотрится в рамках эпохи, когда были написаны «Я скажу тебе с последней прямокой», «Квартира тиха, как бумага.» и другие, совсем безумные стихи Мандельштама.

Проклятия не могли не вырваться из уст Иова. Проклятия приводили и будут приводить в ужас богословов, знающих умом все, что следует. Но Бог осудил не Иова, а его друзей, не сумевших разделить муку Иова и по Писанию возложивших на Бога ответственность за каждый волос, упавший с человеческой головы. Именно это богословие встало стеной между Шаламовым и Богом; богословие, которое после Освенцима и Колымы обязано было измениться. Между отрицанием богословия и утверждением культуры (где неизбежно всплывали библейские и евангельские образы) возникло поле напряжения, и какие-то огоньки веры могли там вспыхивать. Вспыхивать и гаснуть. Ибо маленький огонь ветер гасит и только большой огонь раздувает. А колымский лагерь смерти задувал почти все огни.

Шаламов чувствовал Божий след в кусте стланика, поднявшемся к свету, но не мог найти его в оборотнях, называемых людьми, в существах без человеческого сердца, охотно, со вкусом топтавших «врагов народа», отданных им на расправу. Их он ненавидит, им он не прощает.

Я немного знал Шаламова в жизни, помню его облик, не очень похожий на артистов, но шапочное знакомство не дало мне никакого знания его внутренней жизни. И сейчас я вижу Шаламова именно таким, каким он сыгран в фильме «Завещание Ленина». И этот образ встает передо мной, как ожившая память сотен тысяч, медленно угасавших на Колыме. Фильм сотворил им вечную память. И до нас дошла их воля — возжечь вечный огонь над могилой неизвестного з/к, одного из многих и многих, просто падавших на пути, как в стихах, которые я запомнил из самиздата, не зная имени автора, — и цитирую по памяти:

Я поднял стакан за лесную дорогу,
За падающих в пути,
За тех, кто идти по дороге не может,
Но их заставляют идти.
За их помертвелые, синие губы,
За одинаковость лиц,

За рваные, инеем покрытые шубы,
За руки без рукавиц.
За чарку воды, за консервную банку,
Цингу, что навязла в зубах,
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных ражах собак.
За пайку сырого, липучего хлеба,
Проглоченную второпях,
За бледное, слишком высокое небо,
За речку Али-Урях.

Умер на Владивостокской пересылке Мандельштам. Расстрелян Клюев. Умер в тюрьме Вавилов. Едва не умер от пеллагры Тимофеев-Ресовский, только в последний миг нашел его, в недрах собственного ведомства, Завенягин, два года искавший всемирно известного ученого для продолжения его научных работ. Едва не погиб академик Конрад, тянувший срок дневальным в Каргопольлаге, пока не понадобился в институт военных переводчиков — после конференции в Ялте, обязавшей Советский Союз выступить против Японии. Это короткий список, сходу пришедший мне в голову. Другие, менее крупные имена и имена молодых, не успевших развернуться, никто не помнит. Они просто падали по дороге, и их пристреливали, как выбившуюся из сил собаку.

Демидов уцелел на Колыме, но архив его был изъят, и только не-многое опубликовано. Расхождения его с Шаламовым не очень велики. У них гораздо больше общего — в судьбе и в осмыслении ее. Эта общность связана с чертами того культурного слоя, который в 20-е годы еще не был полностью разрушен: подавленное, но внезапно прорывающееся чувство собственного достоинства, отсутствие самого вопроса о хороших и плохих народах, который ставится, хотя очень мягко, уже в «Одном дне из жизни Ивана Денисовича» и далее — во всем творчестве Солженицына.

Россия для Шаламова — культура, а не племя. Одна из редких радостей на Колыме — встреча с человеком, который помнит стихи Пастернака, прозу Бунина. Это его духовные земляки. И горечью на долгожданной воле были встречи с молодежью, усвоившей сталинскую антикультуру, сталинское деление на народ (трепетавший от любви к вождю) и врагов народа. Единственный народ, который Шаламов ненавидел, — это воры, ставшие союзниками палачей.

Некоторые интеллигенты, отбывавшие срок в других лагерях и в другое время, идеализировали воров, дружили с ними (об этом — в воспоминаниях Копелева). Но на Колыме воров сознательно использовали, чтобы унижать и уничтожать людей, сохранивших честь и достоинство. Можно считать неразумным напряженную ненависть к *орудиям* сталинского садизма. Ненависти скорее достойны те, кто этими орудиями ворочал. Но так рассуждать удобнее в кабинете. Палач всегда

ненавистнее, чем судья, вынесший приговор. Мечь вообще нелепа, она только продолжает и увековечивает зло. Но сова Минервы вылетает в сумерках, а не в миг, когда тебя топчут ногами.

Разум бывает хитер. Сталин умер, а дело его живет. Блатной мир, раскормленный в лагерях, вышел сегодня за зону, разлился по всей стране. Он достиг небывалой власти и влияния. Блатные нравы, вкусы, словечки усваиваются журналистами, банкирами, депутатами. Черное слово, которого Шаламов избегал, засорило язык. И страницы Шаламова, окрашенные ненавистью к ворами, звучат сегодня с неожиданной силой. Это не только вопль больного человека. Это еще пророчество, опередившее свое время.

Да, человек измучен, он болен, у него развиваются симптомы преждевременного старения. Но этот больной человек — пророк, предостерегший Россию от власти воров, устроивших свои малины во всех областях жизни. И его устами Бог зовет нас к очищению, к освобождению от грязи, залившей страну. Мы не освободимся от мерзости, если не возненавидим ее. Христос прощал грешников, не ведающих, что творят, но к мерзости у Него был не мир, но меч.

Топаем вместе

Прошедший день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова заставил меня вспомнить другой день, тоже памятный, в 1987 году. Депутат Прунскене, от имени литовской делегации, предложила не принимать новой конституции, а заключить союзный договор. От России ее поддержал Андрей Дмитриевич. И тут же делегации затопали. Особенно дружно топали ряды в халатах и тюбетейках. Впрочем, это могло мне показаться: ряды в галстуках тоже топали.

Воинским частям, при переходе через мост, запрещается так топать: мост может рухнуть. Так у нас и случилось: возможность мирно перестроить Советский Союз была упущена. Через несколько месяцев Прибалтика потеряла веру в цивилизованную жизнь вместе с Россией, зашевелилась Западная Украина, и поползли трещины. Затопав Сахарова, затопали и путь к новым формам сотрудничества. Потом спохватились, но поздно: трещины стали пропастями.

Помимо Сахарова, участники демократического движения не имели возможности подняться на трибуну, да и сказать им было нечего. Вопрос о программе в случае победы считался запретным. Победа демократического движения казалась немислимой. Никто в нее не верил. И еще одно обстоятельство сказалось: от размышлений блекнет румянец сильной воли.

Я не могу никого осуждать за это. В 1958 году, в шоке от травли Пастернака, мы обсуждали с друзьями возможность борьбы с этой хамской властью. Покойный Георгий Александрович Лескис сказал: «Нужна новая идеология». Я ему ответил тогда: «А разве недостаточно

нашей воли к свободе?».

В России все повторяется, как в песне про попа и его собаку. После публикации «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» я решил, что главным деятелем освободительного движения стал Хрущев, и хотя действовал он бестолково, но в конечном счете все шло о-кей, в духе самого выражения о-кей, не шибко грамотного, но утвердившегося на своей родине, и не так важно, что грамотеи писали all еогее! иначе: без «о» и без «кей». Америка о-кей выдержала, и я понадеялся, что Россия тоже выдержит Никиту. К сожалению, Суслов с Козловым сорвали эксперимент. И все пошло по новой.

Свергнув Хрущева, сталинисты подделали итоги расследования, проведенного Шатуновской (единственным реально действовавшим членом комиссии Шверника), сократили число арестованных за шесть с половиной лет (1935—1941) с 19870000 до двух миллионов и число расстрелянных с 7000000 до примерно 750000 (точную цифру, придуманную Суловым, я не стал выучивать). После этого на сталинский террор, обескровивший страну, был наведен гламурный глянец, покаяние было приостановлено, грехи прикрыты венцом победы, чудовищная цена, уплаченная за победу, стала предметом советской гордости, гниение тихо продолжалось, и новое поколение диссидентов опять начинало с нравственного порыва, без всякого плана реформ. На поминках по Сахарову Татьяна Михайловна Великанова, образец мужества и благородства в движении диссидентов, еще раз подтвердила, что это движение чисто нравственное и ничего общего с политикой у нее нет. Так оно и было: героиня, прославленная СМИ, вернулась в школу, преподавать математику.

Где же оказались движущие силы перестройки? Американский исследователь Фельштинский нашел в дневнике Троцкого, за 1936 год, замечание, что сталинская номенклатура рано или поздно захочет превратить свои привилегии в частную собственность. Так и получилось, с некоторыми уточнениями. Старшее поколение, втянувшееся в службу, потеряло мобильность: «Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак». Такая школа не создает новаторов. Старики составили кадры ГКЧП. Но младшее поколение, поездив на Запад (как раз их, проверенных, туда пускали), с восторгом разинули рты на куски государственной собственности, которую можно было задарма прихватить. А энтузиасты, охватившие Белый дом живым кольцом? Там было несколько моих знакомых. Их вознаградила чистая совесть. А ход дел после победы все более и более огорчал.

Стремительное развитие, даже без ломки общественных институтов, всегда вносит разлад. Рвется связь между поколениями. Отцы выглядят банкротами. Мальчишки и девчонки балуются свободой, как французские и американские студенты в 1968 году. А если при этом сразу рушится и экономическая, и социальная, и политическая системы и старая идеология

топчется ногами, то заодно рушатся нравственные привычки, худо-бедно привязанные к этой старой идеологии. Возникает аномия, а по-лагерному — беспредел.

Поток лагерных слов, хлынувших в язык образованного слоя, — лучшее тому свидетельство. Втыкаю телевизор и слышу, как доктор каких-то наук, мотивируя свою точку зрения, говорит: «Я ведь не предлагаю прямо ложиться под Китай». И мой старый знакомый, синолог Леонард Васильев, казался внутренним эмигрантом, упорно сохраняя в этом ток-шоу язык интеллигента и не подлаживаясь под «крутых».

Тут мы подошли ко второму уточнению анализа Л.Д.Троцкого. Комсомольские активисты часто не имели достаточных деловых навыков. Навыки были у дельцов, загнанных в подполье и в подполье сжившихся с бандитами. И в обстановке беспредела именно их опыт создал стиль работы новых русских.

Можно ли было избежать бандитского капитализма? Да, если бы развитие пошло медленнее, под контролем, сохраняя связи между бывшими союзными республиками, сохраняя известные общие юридические нормы и учреждения... Однако сильного человека, способного сохранить разумный порядок, не нашлось. Одни тупо упирались, другие безрассудно рвались все сокрушить. И момент был упущен. Топали дружно, топали в лад, Сахарова затопали — и мост рухнул. Вместе с элементарными моральными нормами. Через десять лет после начала перестройки Е.Т.Гайдар заметил в маленьком газетном сообщении: «Рынок без нравственных норм — кошмар». В этом кошмаре мы живем. И из этого кошмара надо искать выход.

Россия завоевана коалицией бандитов и взяточников. Разумеется, и бандиты и воры не из Америки к нам посланы. Это смердяковы, перебравшиеся из лакейской в гостиную и ставшие хозяевами в доме Федора Павловича. Но для русской культуры это было варварское нашествие. Было и есть.

Говорят, что разбитые армии хорошо учатся. Но всегда ли? Византия, например, не умела учиться на своих поражениях и рухнула. Хотя другие страны, дважды и трижды завоеванные, создавали в неволе великую культуру, и она помогала им подняться. Это можно сказать не только о Китае или Индии, но также о сравнительно небольшом Иране. Он поднялся в Позднее Средневековье благодаря литературе на новоперсидском языке, фарси. Меч кизылбашей (очередных завоевателей) покорила перу Фирдоуси, Саади, Гафиза, Омара Хайяма. Фарси стал государственным языком Ирана и общим языком элит от Стамбула до Калькутты.

Разбитые армии хорошо учатся. Это правило ладится и с моим собственным опытом. Мне пришлось пережить несколько оттепелей и заморозков. Заморозки всегда толкали меня вглубь. Я терял интерес к публицистике и писал свои будущие книги. Тогда же припомнился мне

Августин, писавший свои книги после погрома, когда приходилось решать, согрешили или не согрешили духовные дочери, когда их насильовали вандалы. Решал он здраво: если испытывали только отвращение, то греха не было. А потом снова погружался в «Исповедь»...

Я вспомнил еще, что шедевры Позднего Возрождения создавались, когда солдаты Карла V калечили кардиналов и украшали себя ожерельями из их плоти. А время полного упадка североитальянских городов стало веком музыки Палестрины, Аллегри, Йомелли, Вивальди. Эта музыкальная волна захватила и Германию, выкинутую из прогресса и потерявшую две трети своего населения в ходе Тридцатилетней войны; к XVIII в. немецкая музыка вышла на первое место в мире.

Что я этим хочу доказать? Что фарватер культуры меняется, и нет плохих времен, есть только плохие актеры, не понявшие возможностей новой роли. Идея политической свободы может только *сохранить присутствие* на политической арене. Даже с пятнадцатью миллиардами в банке победный выход в политику не удался. 85% граждан России не понимают связи свободы, ответственности и процветания (это заметил Е.Г.Ясин в «Апреле» № 17). Народ ждет доброго барина, который все рассудит, а пока льет помой прямо на дороге в пригородных поселках, засоряет опушки остатками пикников и бросает окурки в высохший мох.

Выход из этого тупика невозможен без просвещения, которым когда-то занималась интеллигенция, самая скромная ее часть — школьные учителя. Сохранились ли они? Акад. Ямбург, объездивший многие грады и веси, говорил мне, что учителя-нестяжатели, живущие чуть-чуть лучше, чем пустынноики в Фиваиде Египетской, пока не перевелись. Но если их не поддержать, они вовсе переведутся. Семьи в Фиваиде не выживали.

Как пробудить общественную совесть? Это даже для экономики необходимо. Недавно проходил круглый стол: «Как поднять уровень доверия в бизнесе?». Я был приглашен в качестве одного из консультантов и с удивлением слушал экономистов, искавших какие-то механизмы рынка для производства совести. Я возразил, что культура, в том числе нравственная, — неделимая целостность, и развитие совести начинается с малых лет, с материнского воспитания, с детского сада, с первых классов школы, с организации детского чтения и т.п. Что многое значит характер религии, с акцентом на святость честной работы или без него, что самые богатые страны Европы — протестантские, а среди самых бедных — православная Греция, где не было ни Февральской, ни Октябрьской революции, ни раскулачивания, ни Большого террора — и нельзя все свалить на большевиков. Можно также вспомнить о роли национального покаяния в немецком экономическом чуде. Что здесь можно сделать?

Тут каждому возрасту своя книга: ребенку — сказка, мне — «Дневники» Шмемана. То, что я сам могу сделать, ничтожно мало. Участвую в выходе серии книг «Выстаивание и преображение» — о людях, выдер-

жавших испытание Большого террора. Серия задохнулась из-за недостатка денег. Вместо тиража порядка 100 тыс., для каждой школы, удавалось издать только тысяч по пяти или немногим больше.

В чем успех Дальнего Востока? Е.Г.Ясин справедливо считает ошибкой Макса Вебера, что конфуцианство — консервативная сила. Но надо учесть, что Дальний Восток — плюралистическая цивилизация. Конфуцианство не подавляет другие течения, в том числе дзэн, культивирующий непредсказуемые импровизации. Равновесие конфуцианства и дзэн менялось в разные эпохи и в разных странах. В Японии, привыкшей учиться у соседей, удельный вес дзэн был больше и она первая вступила на путь модернизации. Однако и конфуцианство Японии не помешало. Оно воспитывало честность, преданность хозяину, верность в сделках. А нововведения конфуцианство не запрещает, оно только советует не торопиться с ними и предпочитать проверенные пути. Когда же путь проверен, сказывается воспитание честности. В одном из рассказов Пришвина я прочел, что китайцы в карты не плутуют; если случается плут, его убивают на месте. Вспомните также, как деревенская община искореняет воровство в своей среде (в японском фильме «Закон Нараямы»). Это крайние случаи, которым в христианской стране нельзя подражать. Но без воспитания честности и верности своим обязательствам экономика наша будет развиваться по модели Колумбии, а не Германии. И выздоровлению нашему мешает не только коррупция, но и вялость гражданского общества. В лагере, где я около трех лет был нормировщиком, а по совместительству и экономистом и делопроизводителем, я никому ни одной взятки не дал и ни от кого «лапы» не принял. Меня терзали месяцев десять, а потом отцепились.

Конечно, я рисковал. В нормировщики попал случайно, после инцидента в карантине, когда чуть не был убит: обошлось все хорошо, переглядел бандита, поднявшего над моей головой табуретку, и он отступил (почувствовал, наверное, что не стоит терять теплое место из-за паршивого фраера). Слух разнесся по лагпункту, несколько интеллигентов, занимавших административные должности, стали меня «кнокать» (опекать); кстати и вакансии нашлась... Что на этой должности делать, я соображал на ходу. Положение лагерного придурка достаточно сложное. Мой предшественник, подделыватель облигаций Татынский, был идеальным звеном в сложившейся цепи «рука руку моет». Но начальник его списал по личным мотивам. А я не укладывался в систему.

Лагерный «придурок» — это не дурак; напротив, хитрец, «придурившийся» и избежавший общих работ. Так понимали дело воры. Придурки делились на бытовиков, бравших взятки, и интеллигентов, которые взятку не брали. Одним из придурков, до моего появления на лагпункте № 2, был член-корреспондент Академии наук, Николай Иосифович Конрад. Он на должности не удержался и был переведен в дневальные. Когда запахло войной с Японией, дневальный был ре-

билитирован, стал полным академиком, возглавив, как и прежде, советскую японистику. В шестидесятые годы я пригласил его на защиту моей диссертации, и он любезно согласился. Это, впрочем, не помогло: по звонку из ЦК защита была сорвана.

Итак, меня контролировали бытовики, сидевшие в канцелярии лагпункта. А начальник лагпункта поссорился с начальником подсобных мастерских и хотел в отместку ему снять меня с работы. Но оказалось, что я попал в номенклатуру Отдела интендантского снабжения и подчинился лагпункту только по режиму. Снять можно было меня, к примеру, за выпивку. Но я не пил, и придуркам лагпункта была дана команда травить меня за каждый мой шаг. Они вцепились в меня, как пиявки, рассчитывая, что я буду откупаться.

Почему я на это не пошел? По-видимому, характер мой незаметно и невольно отождествил себя с героями хороших книг. Я твердо усвоил слова Гамлета Розенкранцу и Гильденстерну: «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Я не мог давать лапу (кстати, это идиома: именно давать лапу, по-дружески давать, втягиваться в мафиозные отношения, а не просто дать *на* лапу, как чаевые). Предпочитал принимать придирки как деловые указания, спрашивать, как надо, и сидеть до ночи в канцелярии, переделывая рабочие листки. А утром в шесть часов подъем. И в бараке шум, не сразу заснешь. Это длилось с осени, всю зиму и начало весны. Кончилось хорошо! Бухгалтер-ревизор Малиновский, ветеран Большого террора, наотрез отказался составлять акт о моих погрешностях. «50 рублей в одну сторону, 50 — в другую, никаких улик корысти, обычные ошибки.».

Пиявки сразу отвалились. Задаром неохота было разбираться в моих листках. А между тем, они задаром выучили меня ремеслу. Я усвоил нормы наизусть и работал с полной нагрузкой только три последних

дня месяца, сдавая отчетность. А по вечерам, подобно ученикам Аристотеля, мы с друзьями ходили от столовой до вахты и от вахты до столовой, с полной внутренней раскованностью обсуждая все, о чем на воле самому себе страшно было признаться. Я очень много обязан этой академии свободной мысли, но еще больше — белым ночам, а зимой — передачам симфоний Чайковского, отлично звучащим в морозном воздухе. Когда мой лагерный друг, Е.Б.Федоров, стал перекраивать свои воспоминания «под Шаламова», я ответил ему статьей в «Литературной газете»: «Куда ты девал наши белые ночи?». Архипелаг лагерей был очень велик. Попадались в нем и острова смерти — и такие, где можно было побороться за свое достоинство. Тем более возможно побороться с коррупцией на воле.

Разумеется, в моем опыте многое решал случай. После ревизии я мог попасть к бассейну, где в облаке морозного пара плавали бревна, их надо было вылавливать баграми и вытаскивать. Некоторые бегали в машинное отделение погреться. Один из них заболел воспалением легких и умер. Я мог попасть на штрафной лагпункт — и т.д. и т.п. Но на войне я научился любить риск. В известных случаях он был излишним, но без риска нельзя оставаться человеком. По крайней мере, в нашей стране. Слишком много страшного, над которым надо взлетать. Нельзя сохранить живую душу без готовности к смерти. Я сделал несколько ошибок, но в общем, за все 89 лет, двигался вверх, а не вниз по внутренней лестнице.

Несколько вещей я достиг. Я не был сломлен страхом и не был подкуплен корыстью. Я дважды встретил большую любовь и сумел ее удержать. Дважды, потому что первая моя жена умерла на операционном столе. Я сумел перестроить свой слог, созданный, как мне казалось, только для рассуждений, и выстроить живой образ мертвой в своей книге. Делая это, я научился писать о времени через себя, через свои непосредственные впечатления. Я заплатил долг предшественникам, я показал живую силу поговорки «образование не позволяет», и я думаю, что в наше образование должно войти что-то вроде «поБлеззе оБИде». Без отвращения к грязи мы не вылезем из грязи. И да здравствует искусство, в который раз рождающее ответ мерзости: так я стою и не могу иначе!

Часть 7. Интервью

Концерт национальных культур Европы - будущее мировой цивилизации

Ответы Г.С. Померанца на вопросы В.П. Любина (10 августа 2000 г.)¹

Любин: Мне хотелось бы услышать Ваше мнение о проблемах современной Европы и возможных путях их решения.

Десять лет назад мне удалось несколько раз встретиться и побеседовать в Турине с итальянским философом Н.Боббио, затем пять лет спустя — в Гейдельберге с немецким философом Г.Г. Гадамером. Эти беседы, хотя и в очень сокращенном виде, были опубликованы журналами «Вопросы философии» и «Философские науки». Собственно, мне хотелось бы и Вам задать вопросы, сходные с теми, которые задавались им.

Померанц: Я могу попытаться рассмотреть какие-то проблемы как бы с птичьего полета, потому что не только исчерпывающего, но и удовлетворительного знания фактов у меня здесь нет. Знания мои отрывочные. Но иногда удается составить себе некоторое представление о целом, не обладая достаточным числом данных для солидной индукции. Впрочем, индукция никогда не может опираться на достаточное количество фактов. То, что я говорю, может только быть взглядом с птичьего полета, не специально, может быть, на Европу, а вообще на современную цивилизацию. И, конечно, без претензий на что-то такое исчерпывающее — просто о том, что я в последнее время думал.

Любин: Можно ли сказать, что именно воплощенный в жизнь порыв революционных диктатур исправить пороки цивилизации и привел к установлению тоталитарных порядков в России—СССР, Италии, Германии и других местах?

Померанц: Мне кажется, что одна из особенностей современной цивилизации состоит в том, что ее всегда приходится спасать. Она находится все время в таком состоянии, что кризис не завершается переходом в спокойное состояние, а только в новую стадию кризиса. Более того, всякие попытки окончательно выйти из кризиса и привести страну в некое идеально уравновешенное состояние приводят к

катастрофическим последствиям. Да, они рожают тоталитарную систему. В том числе и на Западе, это было в Германии, и также в нашей стране, так что это феномен мировой. Вернее, феномен всех стран, втянутых в современное развитие, то есть не только западных, но и вестернизированных. Историю можно рассматривать как постепенное нарастание неустойчивости. Примитивные культуры просто не знали кризисов, они знали стихийные бедствия, но и только. Давайте договоримся, что кризисом мы будем считать не засуху, чуму и т.д., а хаос, созданный самими людьми, разрушение сложившихся структур, распад системы ценностей и т.д.

И вот с этой точки зрения человечество очень долгое время жило без кризисов. Затем оно жило в эпоху, когда кризисы возникали. Но после кризиса кое-кому удавалось выжить. Часть цивилизаций жила по модели Шпенглера, раннего Тойнби и так далее, т.е. они просто разваливались, но если взять устойчивые цивилизации, то они выживали.

Должен сказать, что не люблю термина «цивилизация», он слишком расплывчат, но мне приходится им пользоваться, потому что другие термины не вошли в употребление. Будем условно говорить «цивилизация» в том смысле, в котором можно говорить о цивилизации Индии, начиная с Вед, о цивилизации Китая, начиная с Иньского периода или с Чжоу.

Так вот, устойчивые цивилизации знают кризисы, но после кризиса рождается новая, достаточно устойчивая система. И мир снова не то чтобы застывает, но развивается настолько медленно, что не разрушается связь поколений, держится устойчивая система ценностей и т.д. Ну, например, после кризиса Римской империи сложилась устойчивая Византийская система. Правда, на Западе это кончилось иначе. И нестабильность Средних веков, неполная стабильность, оказалась «почвой» Нового времени. Из средневекового несовершенства, оплакиваемого Данте, родилась современная цивилизация, где нестабильность является, я бы сказал даже, постоянным состоянием. И где-то, трудно сказать на каком уровне, но во всяком случае в XX в. эта нестабильность привела к тому, что утопии становились политической реальностью, возникали политические проекты спасения общества и создания новой, устойчивой жизни. Воля к упрощению переходит из утопии в политику. Начинаются попытки выйти из нестабильного состояния и достичь, наконец, порядка. Вот этот порядок и есть «новый порядок» в Германии, коммунистический режим в Советском Союзе и т.д. Порядок оказывается таким, что через некоторое время неизбежно рушится. И мы возвращаемся в нормальное, так сказать, для современной цивилизации состояние, когда она все время живет под знаком осознанного кризиса. Но живет так, как, скажем, я живу со своей гипертонией, т.е. я подбираю соответствующие лекарства, и, пока я глотаю эти таблетки, я практически здоров. Если я перестану глотать

таблетки, то дело плохо.

Любин: Получается уже зависимость от этого кризиса...

Померанц: Да. А дальше уже начинаются различия в том, как люди болеют. Запад болеет с хорошими врачами, с хорошим подбором лекарств. Мы это обсуждали с Борисом Хазановым. Это мой приятель, с которым мы подружились в начале 80-х годов, он тогда же и уехал. Мы стали с ним переписываться, причем все время бранились, но продолжали переписываться. Он мне доказывал, что на Западе все нормально. И впервые высказал мысль, что кризис — это нормальное состояние цивилизации. Я сперва фыркнул, потому что хотел подчеркнуть, что это все-таки кризис. А потом понял, что в известной степени это верно, что действительно выйти из этого кризиса пока невозможно. Но Запад, не пытаясь делать невозможное, все время подлечивается и как-то так существует. А мы сейчас боеем, как у нас болеют пенсионеры, у которых нет дорогих лекарств, потому что денег нет, а дешевые лекарства не помогают. Но в общем все болеют. Просто мы боеем неуютно, а они болеют, оставаясь практически здоровыми, но завися постоянно от новых таблеток, и т.д.

Я воспринимаю совершенно серьезно слова Сороса, что нынешняя финансовая система настолько сложная, настолько, так сказать, замысловатая, что какой-то крах здесь почти неизбежен. И это вообще связано еще с одним параметром развития. Я говорил все время о росте нестабильности, но это скорее, может быть, следствие, а вот причина роста нестабильности — это нарастание сложности. Чем более примитивно общество, тем оно устойчивее. Примитивность сейчас перестает восприниматься как чистый недостаток, ее зачастую рассматривают как нечто, обладающее положительными чертами. Положительные черты — цельность и устойчивость.

У примитивных обществ есть масса проблем, связанных с теми или другими частностями. Мы, наша цивилизация, эти проблемы решаем чрезвычайно быстро, но все дальше уходим от цельности, от устойчивости. И из-за этого все время возникают новые проблемы, все более и более неразрешимые. В принципе, если это развитие будет продолжаться, то мы придем в состояние абсолютной неустойчивости, к сложности, в которой все окончательно запутались, и в результате — крах.

Но можно представить себе другой вариант — это изменение характера общества. Во всяком случае, такая задача должна быть сформулирована. С этой точки зрения, отбрасывая утопию, отказавшись от идеи сложной цивилизации, обладающей всеми достоинствами примитивной цивилизации, мы, однако, не можем отказаться от идеи частичной гармонизации. Маркс прямо ссылаясь на то, что он называл «примитивным коммунизмом». Отбрасывая эту утопию, мы можем ориентироваться на постоянную заботу об интеграторах.

Любин: Следовательно, в западном обществе существует какой-то

механизм самоизлечения...

Померанц: Да, т.е. в обществе, где все время стремительно идет процесс дифференциации, нужно постоянно заботиться о механизмах-интеграторах. Маркс ошибался в том, что мыслил только экономическими категориями. Дело здесь не только в экономике, дело во всей совокупности общества. Маркс чувствовал некую глубокую кризисность цивилизации, но он осознавал ее в чисто экономических категориях. Поэтому в рамках чистой экономики он ошибался. За счет научно-технической революции и прочего можно было выйти за рамки замкнутых экономических закономерностей. Но выйти за счет развития, которое выдвинуло ряд экологических проблем, выдвинуло ряд проблем психологических, например проблему адаптации человека к техногенному миру, на который просто не рассчитан человеческий организм — не заменять же людей роботами. Т.е. прогресс техногенного мира можно бесконечно продолжать, но тогда уже людям не остается места.

Так что цивилизация может развиваться бесконечно, вот так, как она развивается, но людей тогда придется заменить роботами. А так как это все-таки нежелательно и вряд ли даже возможно, то, по-видимому, характер цивилизации должен измениться. И тут возникает масса проблем — к чему стремиться, чего желать, что возможно, потому что некоторые идеалы, как показал опыт, просто невозможны. Это действительно проблемы, которыми занимается весь цивилизованный мир, и даже не шибко цивилизованный. Например, Усама бен Ладен считает, что надо создать всемирный халифат и вернуть людей к нравам времен четырех праведных халифов. Это тоже одно из решений. Но оно напоминает мне другое. Оно вообще очень интересно в том отношении, что этот крайний фундаментализм (или интегризм) фактически напоминает утопический социализм.

Любин: Там консервативная революция. Мы видим это на примере Ирана.

Померанц: Консерватизм, революционность — это слова, а на деле — то же прокрустово ложе. И то, что этот интегризм, этот редукционизм имеет религиозные корни, показывает логичность некоторых черт развития коммунистической утопии, которые мы считали парадоксальными: людей расстреливали за *неверие* в возможность построения коммунизма, возникла квазирелигиозная *догматическая система* и т.д. Т.е. утопизм и фундаментализм оказались какими-то двойниками — при всем том, что они противоположны, отрицают друг друга.

Любин: То есть, исходя из уроков истории XX века, это германский, итальянский, российский опыт, перекинувшийся теперь в азиатскую, так сказать, цивилизацию?

Померанц: Да. Даже, скажем точнее, в мусульманскую цивилизацию. Почему это происходит? Фундаментализм вообще возможен всюду. Есть и православный фундаментализм, есть протестантский фундаментализм.

Он может быть иногда совершенно мирным, и на здоровье — не хотите смотреть телевидение, не смотрите, вот и все. Хотите верить в каждую букву Писания буквально — пожалуйста, верьте. Но это никому не угрожает. Еще одна секта. Крайний фундаментализм (или интегризм) — нечто другое, в сущности революционное. Но революционное не в том смысле, когда мы говорим об американской революции, — это не переворот, который расковывает силы развития. Революции типа советской и нацистско-фашистской — это революции консервативные, которые стремятся остановить развитие, причем это в них замаскировано. А в мусульманском фундаментализме (крайнем) обнажено то, что это революция, стремящаяся к остановке развития, стремящаяся к прыжку из царства необходимости, которое развивается, к «царству свободы» в нашей марксистской формулировке, т.е. к тому, что раз и навсегда создано и останавливается в своем развитии.

Любин: Муссолини, Гитлер и наша коммунистическая революция — все они пытались показать, что они движимы прогрессом. Но на самом деле...

Померанц: Но на самом деле они останавливали развитие. Если бы убрать у нашей системы ее конкурента, который заставлял ее тянуться за соседями, она бы застыла еще гораздо раньше. И она могла бы быть законсервирована, если бы победила в мировом масштабе, она остановила бы развитие.

Любин: Если брать Россию, то, может быть, нужно начинать с Петра I?

Померанц: Давайте не будем заходить так далеко. Это уже явление отнюдь не чисто русское. Не будем преувеличивать здесь роль России.

Любин: Но раз уж мы мостик перебрасываем от цивилизации, о которой Вы сейчас говорили здесь, имелась в виду, конечно, западная цивилизация, европейско-американская, — к другим цивилизациям, то, может быть, надо и о них сказать...

Померанц: Не исключена возможность, что именно восточные цивилизации быстрее сумеют прийти к какой-то уравновешенной форме существования. Эта уравновешенная форма (я говорю о самом очевидном) должна достичь равновесия с естественной средой. Каким способом достичь — это вопрос. В Китае ее решают очень просто — там жестко ограничили рождаемость. Вообще китайское решение опять-таки имперско-административное. Оно, по-моему, далеко не всюду возможно. В сущности, это решение традиционное, в нем нет ничего нового.

Если обратиться к прошлому, то идеал — это Тибет. Тибет достиг абсолютного равновесия за счет того, что там была очень своеобразная система наследования. Каждый крестьянский двор не дробится. Если есть наследник-мужчина, он имеет право взять себе только одну жену. Остальные идут в монастырь. Если наследница женщина, она может взять себе, если хочет, двух или трех мужей. Все равно рождает она, не нарождает

же она от трех мужей больше детей, чем от одного.

Любин: Т.е. эта клеточка общества существует веками, не меняясь?

Померанц: Да, каждое крестьянское хозяйство — майорат.

Любин: И все остальные, получается, не нужны.

Померанц: Все остальные не нужны. Но они не уничтожаются, там никакой бесчеловечности нет. Они идут в монастырь.

Любин: Вы рассматриваете тибетскую субэкумену как нечто особое, отличающееся от китайской и индийской, как совершенно свое?

Померанц: Я считаю, что Тибет — это совершенно особое явление. На основе синтеза индийских и китайских веяний они создали особую цивилизацию, идеально уравновешенную...².

Любин: Возвращаясь к началу нашей беседы, хотелось бы услышать Ваше мнение вот по какому поводу. Вы вспомнили, что целый час проговорили с Гадамером, вероятно, на очень интересные темы. Во время моей с ним встречи, когда зашла речь о Хайдеггере и его видении цивилизации, я спросил его, действительно ли Хайдеггер считал, что нацизм — это своего рода защита от коммунизма и от американизации. И у нас зашел разговор о том, что же все-таки ожидает нас впереди: американизация или нечто другое. И Гадамер ответил на мой вопрос, что он не знает, будет ли продолжаться американизация, но вполне возможно, что в 3000 г. в Европе будут говорить по-китайски. Он считает, что в китайскую цивилизацию заложена какая-то такая пружина, которая вполне способна довести до такого результата.

Померанц: Во всяком случае, китайская цивилизация очень устойчива и у нее есть шансы. Но чтобы войти в эту цивилизацию, надо быть китайцем в нескольких поколениях. Необязательно родиться китайцем. Опыт евреев в Китае показал, что евреи стали китайцами. При этом они (это небольшая, правда, община) полностью окитаились. Евреи там никогда не стремились скрыть свое происхождение, нет, они поконфуциански уважают своих предков, и в кумирнях у них статуэтки Авраама, Якова и Моисея.

Любин: Китайцы ведь это тоже в каком-то смысле народ диаспоры, все эти хуа-цяо, которые живут за пределами Китая...

Померанц: Нет-нет, это особое явление. Это особая проблема, и в XX в. почти каждый большой народ пустил облачко диаспоры. Это действительно особая проблема. Я говорю о Китае как о материковом Китае. Китай как система не требует, чтобы человек обязательно родился китайцем, но необходимо несколько поколений, чтобы стать китайцем. Варвар постепенно может в нее войти, я говорю «варвар» условно, так как для китайцев все не китайцы — варвары. Но я не думаю, что «западные варвары» окитаются.

Возвращаясь к главной теме, я хотел бы изложить общие принципы. Во-первых, надо суметь добиться равновесия со средой. Но каким образом это сделать с современным западным человеком, который развращен

обществом потребления и хочет потреблять все больше и больше? Поскольку это невозможно сделать, значит, необходимо изменение системы ценностей, радикальное изменение системы ценностей и переключение (в сфере желаемого) из области материального в область духовного. Т.е. это станет возможно только в том случае, если произойдет гигантский духовный поворот, некое обновление религии, которая сейчас находится в состоянии особого, достаточно глубокого кризиса, — я сейчас не могу это на ходу анализировать, — и обновленная религия или религиозное движение сумеет повернуть внимание человека к внутреннему развитию, где можно двигаться очень далеко, потому что средний человек очень далек от того уровня, почти бесконечно далек от того уровня, до которого некоторые люди дошли две-две с половиной тысячи лет тому назад.

Ведь сущность и христианства, и буддизма заключается в том, что каждый человек — подобие Божие. Как говорил Христос: «Будьте подобны Мне, как Я подобен Отцу Моему Небесному», а в буддизме это формулируется так: «каждый человек по природе Будда, но не каждый это сознает». Таким образом, идеал, причем идеал достижимый, сформулирован еще давно. Но за две-две с половиной тысячи лет мы очень мало сделали, а может быть, даже ничего не сделали, чтобы достичь этого идеала, а может быть, даже удалились от него. Современный, во всяком случае, западный человек — дальше от той духовной глубины, которой достигали некоторые люди в первые века христианской эры.

Так что в принципе это возможно. Но возможен ли этот поворот для всей массы населения? На это позволяет надеяться появление таких людей, как Томас Мертон. Современный человек, динамичный, достаточно страстный, он вынужден был переселиться из Англии в Америку из-за скандальной истории, которая его скомпрометировала. А в Америке он вдруг повернулся от активной жизни к жизни созерцательной, и с огромной энергией, которая его всегда отличала, двигался по этому пути и очень много важного написал. Он — один из замечательных духовных авторов нашего времени.

Таким образом, этот путь возможен. И на Западе некоторые люди ищут этот путь. Другое дело, каким образом добиться, чтобы это захватило и нас.

Любин: Масса к этому не готова.

Померанц: Да, масса совершенно к этому не готова. Более того, масса в достаточной мере развращена. Господствует принцип удовольствия. С точки зрения удовольствия, секс приятнее, чем молитва, а наркотики дают еще более острое наслаждение, чем секс.

Перейти от этой мастурбационной цивилизации к цивилизации духа было бы чудом. Но можно вспомнить, что Рим эпохи Нерона и Калигулы довольно сильно напоминал современный Запад, во всяком случае верхние слои. Так что подобные чудеса в истории случались. Но это

проблема всего Запада, не исключая и Америки. Хотя понимание этого скорее можно найти в европейских головах, чем у американцев. Особенность Америки в том, что у нее укороченная история. Америка прямо началась с «Мэйфлауэр», с корабля, высадившего в будущем штате Виргиния первых английских колонистов (XVII в.). Поэтому она остается на почве американской истории, американской культуры, без ее связи с Европой, которая там, конечно, существует. Американская элита достаточно европейская.

Любин: Духовно да, она связана с Европой.

Померанц: Очень связана. Но массовый американец вообще уверен, что можно Новое время тянуть до бесконечности. Массовый американец совершенно не понимает кризиса Нового времени. Впрочем, и у массового европейца вряд ли найдет отклик мысль, высказанная Чеславом Милошем, что от призыва вперед надо вернуться к призыву ввысь, он когда-то это образно сформулировал как поэт и философ. Средневековье стремилось ввысь для достижения духовных вершин. Новое время устремилось вперед, оно очень долго двигалось вперед. Но оно слишком опасно приблизилось к тупику. Избежав экономического тупика, оно уперлось в тупик экологический и духовный, они связаны друг с другом. Экологический тупик связан с потерей ориентации вверх и с чрезмерной ориентацией вперед, которой матушка-земля не выдерживает. Духовный кризис как-то связан с нынешней обстановкой, поместившей человека в техногенный мир, где он не может жить в своем естественном ритме.

И здесь можно сказать кое-что об очень существенном различии между американской и европейской моделью развития. Американцы очень самодовольны и думают, что их модель годится для всех. Хотя в то же время они прекрасно используют отсталость своих соседей для того, чтобы переносить туда вредные производства и т.д. Но теоретически они считают, что все должны вести себя, как американцы.

Что касается Европы, это ведь не единая национальная культура. Это впервые в истории человечества сложившийся диалог культур, как я иногда выражаюсь, концерт культур, концерт наций, я беру термин из старого выражения «концерт великих держав».

Любин: Дипломатический язык прошлого века и начала нынешнего...

Померанц: Да-да. Но я переношу это в культуру. Европа действительно концерт национальных культур. Именно эта форма концерта может быть формой будущей мировой цивилизации. И в этом смысле нужна европеизация, а не американизация, я это пытался доказывать, это разные вещи. Европеизация — это включение в хор новых участников. И это включение плодотворно. Россия, включившись в европейский диалог культур, дала блистательную культуру XIX — начала XX века. Япония включилась в диалог культур, даже не будучи христианской, и опять-таки она дала много замечательного в духовной области. Не могу судить, сравнились ли японцы с Достоевским и Толстым, кажется, нет, но, во

всяком случае, они сравнимы с точки зрения таких современных видов культуры, как кино.

Между тем американизация предполагает господство одного стандарта. Стандарта, который не удовлетворяет и самих американцев в полной мере. А именно того, что называют поп-культурой. Что опять-таки даже не американцы выдумали. По-моему, то, что Герман Гессе назвал фельетонизмом, он уже описал на чисто европейском материале. Европейская культура после Великой Французской революции уже тяготела к фельетонизму, тяготела к пошлости, иначе говоря, к обывательщине. Отсюда роман «Бувар и Пекюше», выразивший отвращение Флобера ко всему этому. Отсюда протесты декадентов, протесты тупиковые, попытки с помощью наркотиков преодолеть время; в этом смысле декаденты — предшественники современной постмодернистской культуры.

Европа после Великой Французской революции стихийно порождала «буваров» и «пекюше», т.е. пошляков. В Америке эта бактерия попала в хорошую среду, в хороший бульон, и сейчас вот с помощью CNN и всех прочих СМИ со страшной силой распространяется по белу свету. Но, по-моему, это тупик. И это вызывает интенсивный протест. И экстремистский характер сопротивления исламу связан отчасти с чувством опошления святынь, распада незыблемой шкалы ценностей, о которой писал Мандельштам.

Любин: Если исламская цивилизация более устойчива, если она придерживается своих принципов и на нее идет такое агрессивное, глобализированное давление отовсюду, тогда можно сказать, что Иран был первым всплеском этого сопротивления, а сейчас пошло дальше.

Померанц: Но куда? Могут ли мусульмане объединиться? Я пока не вижу, каким образом они могут объединиться. Они все-таки достаточно хлебнули индивидуализма.

Любин: Как Вы сейчас сказали, западная цивилизация тоже отнюдь не едина, есть американская, есть европейская. А внутри европейской тоже существуют различные направления — например, протестантское, католическое и другие.

Померанц: Но европейцы в общем уже привыкли, приучились как-то жить по принципу терпимости. Вообще то, что возникла единая Европа, — это великий шаг. И вот это и есть некая надежда. Надежда на то, что этот образец может стать формой мирового сотрудничества, в котором Европа, Индия, Китай и другие крупные культуры могут создать глобальный диалог, оставаясь при этом до некоторой степени каждая сама по себе. Диалог же требует, во-первых, чтобы каждый его участник был лицом, а не размазней. А с другой стороны, участник диалога должен быть открыт для другого, интересоваться другим и понимать другого. Это два условия диалога. Если есть только одно, то диалога нет.

Любин: Там нужно взаимопроникновение идей и многое другое.

Померанц: Я недавно прочел книгу об интересном опыте взаимопонимания в самой трудной области, в области святынь веры. Это стенографический отчет о семинаре имени Джона Мейна (сам Джон Мейн умер). Семинар посвящен проблемам христианской медитации, возвращению медитации в христианскую практику. В 1994 г. вел этот семинар Далай-Лама, приглашенный в гости³. Начинался каждый день семинара с молчаливой медитации. Далай-Лама зажигал свечу. Христиане зажигали свечки от его свечки, сидели полчаса и медитировали. Далай-Лама ездил паломником в Иерусалим, а через несколько лет он повез христиан под дерево Бодхи, они там были. Это пример поисков взаимного понимания в области, где, казалось бы, «Восток есть Восток и Запад есть Запад...» (РКиплинг).

Любин: Кажется, в Европу хорошо проникает то, о чем Вы сейчас говорили. Особенно в последнее время, причем это затрагивает не только так называемую элиту, но и среднего человека. Может быть, европейцы все это еще не до конца понимают. Но они пытаются понять.

Померанц: Тут много мусора, конечно. Во всяком случае, люди пытаются понять, интерес есть. Так что попытки найти некое духовное единство и на этой основе создать возможность решения глобальных проблем идут непрерывно. Но привычка к потребительству в массах не поколеблена.

Любин: Если вернуться от проблем духа на грешную землю, к проблемам материи, сейчас ведь идет совершенно дикая миграционная волна, которую, мне кажется, можно уже смело называть революцией. Мне пришлось недавно вступить в спор с не замечающими этой революционности немецкими и итальянскими коллегами на одном из научных семинаров, состоявшемся в Кёльне. Сейчас люди из других частей мира, часто очень отдаленных от Европы, китайцы, индусы и другие, устремились в Европу, причем в огромных количествах.

Померанц: В данном случае тяготение потребительское. В Европе легче жить. Это из голодных стран бегут в сытые, чтобы как-то пристроиться, хотя бы тарелки мыть...

Любин: Как можно эту волну превратить в нечто переваримое для Европы, вывести все это на какой-то духовный уровень? Это ведь атака на европейскую цивилизацию, к которой та рано или поздно должна приспособиться. Много лет назад мне в нашем Институте довелось реферировать работу одного западного автора, и он совершенно справедливо отмечал, что наметившиеся еще в середине века демографические тенденции позволяют предвидеть, что в 2000 г. на одного двадцатилетнего Франсуа, Паоло или Педро с северного побережья Средиземноморья придется девять одногодков с южного его побережья. И иммиграция будет расти. В конце концов в настоящее время это и произошло⁴.

Померанц: Это проблема опять-таки очень важная. Если европейская страна, например Франция, которая сейчас принципиально государство

совершенно светское и в которой каждый человек, родившийся во Франции, — француз, не справится с этой проблемой, то через некоторое время она станет мусульманской страной.

Любин: Все к этому идет...Правда, немцы поставили барьеры. Хотя у них тоже огромное количество турок.

Померанц: У них турки. Но турки сами по себе — это не такая уж большая нация. И турок не хватит для того, чтобы колонизовать Германию. Арабов гораздо больше. И Франция в трудном положении.

Это проблема для всей Европы. Или ей надо отказаться от всех тех принципов, которые она защищает, и перейти к системе защиты от голодающих, или ей надо суметь их как-то ассимилировать. Это благородный путь. Это было бы очень мощным средством движения к формированию мировой культуры. Но это требует очень большого напряжения. В идеальном случае, по-видимому, надо сочетать известное ограничение иммиграции со стремлением к ассимиляции. Причем ассимиляция должна быть одновременно и впитыванием каких-то элементов этих культур; те же индийцы, пакистанцы, арабы и прочие — они же пришли не с пустыми головами, они несут с собой свою культуру.

Так же было при ассимиляции евреев в России, если мы посмотрим литературу 20-30-х годов. Сколько бы почвенники ни возражали, а что-то было внесено, и довольно много. Этот процесс при таком поликультурном впитывании в Европе придаст какие-то новые грани европейской культуре. Но это связано с большими напряжениями. Мне об этом пришлось несколько раз писать в связи с проблемой антисемитизма. Однако это проблема гораздо более широкая, чем антисемитизм. Недаром существует поговорка: «Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду». Это в печати было, я это прочитал в газете. Сейчас наибольшее раздражение вызывает, скажем, чеченская диаспора.

Любин: Мне кажется, что в этом плане какая-то творческая лаборатория такой ассимиляции была в Советском Союзе. Но от перенапряжения все разлетелось.

Померанц: В Советском Союзе была попытка имперской ассимиляции. Она не первая. Так пытался поступать Рим. Причем культура, на основе которой это происходило в СССР, *советская* культура, не могла пересилить национальных различий. Поэтому и не могло всё не развалиться...

Любин: По-видимому, и в Югославии было так же, поэтому она и рассыпалась.

Померанц: И в Югославии тоже. Потому что для того, чтобы создать новый этнос, нужна новая религия, которая всех объединит. Для Византии это было православие. И возник новый этнос — византийцы. А у Римской империи, пока она не стала христианской, этого не было.

Любин: Но Россия ведь с помощью православия всячески пыталась примерить на себя византийское наследие.

Померанц: Дело в том, что русское православие — уже не то православие, которое было при Василии Великом, Григории Богослове. Это только название. По крайней мере, в России это — инерционное тело, нуждающееся в государственной защите. Другое дело — Антоний Сурожский. Но он в Англии. Русское православие, если взять Антония Сурожского, — очень сильная религия. Но если ориентироваться на всех остальных наших иерархов, то это очень скучная национальная религия, ограниченная, которая не привлечет к себе ни калмыка, ни узбека.

Любин: «Друг степей калмык» не пойдет за православием, останется в своем буддизме.

Померанц: За Алексием II друг степей калмык не пойдет. Нет, это чисто имперская была ассимиляция. А Европа здесь стоит перед очень интересной проблемой. Американцы поставили барьер. Они принимают людей из других стран, пожалуйста, но тех, которые им нужны — программистов и т.п. Как специалистов, они могут принять и индийцев, и других. Они потом их переваривают, превращают в американцев. Однако диаспора всюду, где бы она ни возникла, во всяком случае, пока она полностью не ассимилируется, вызывает раздражение. Это ощутимо на энергетическом уровне, и эта повышенная энергетика раздражает. Посмотрите, например, на Березовского. Я должен сказать, что Березовский иногда говорит умные вещи, иногда нет. Он выбрасывает, как гейзер, страшно много идей, иногда глупых, а иногда и умных. Вот то, что он сейчас возражает Путину, верно. Путин упорно повторяет, что террористы не имеют ни отечества, ни вероисповедания. А как же два террориста, ставшие лауреатами Нобелевской премии мира, Менахем Бегин и Ясир Арафат? Что же, они не имели отечества? Я это несколько раз повторял, но, очевидно, Путин не читает моих статей.

Любин: Очевидно, его советники отцеживают поступающую информацию и такое не пропускают.

Померанц: Не знаю, не знаю. Мне показалось трагическим, что человек может такое упорно утверждать. Но Березовский раздражает своей манерой. И это связано вообще со всякой диаспорой. Она повышенно энергетична. Она часто бывает агрессивна. Чтобы уцелеть, человеку диаспоры, которому никто не сочувствует, никто о нем не позаботится, надо быть в постоянном напряжении, он мобилизован. И эта его мобилизованность дает ему иногда крупные козыри в игре. В некоторых случаях диаспора становится повелителем в каких-то областях (например, китайцы в Малайзии). Причем это заложено в природе диаспоры, а не народа.

Любин: Так произошло сейчас с прибалтийскими русскими, оставшимися, например, в той же Латвии. Они вынуждены были проявить тройную энергию.

Померанц: Они-то и могут стать евреями Прибалтики, вместо уничтоженных. Китайцев называют евреями Юго-Восточной Азии. Об

этом свидетельствуют китайские погромы...

Любин: Да, то, что происходит в последние годы в Индонезии, это отторжение китайцев...

Померанц: В Индонезии, да и в Малайзии сколько было потасовок. А на острове Бали какая резня была... Существует инертная масса местного населения крестьянского типа, и даже не крестьянская, но инертная, сохранившая еще крестьянскую инертность, и она так реагирует на диаспору.

Любин: Ее легко завести всяческими националистическими лозунгами.

Померанц: Тут фразеология может быть какая угодно. Против диаспоры в свое время и религиозные лозунги поднимались. Скажем, Богдан Хмельницкий устроил ведь гигантскую резню. Об этом стараются не говорить, он национальный герой, но этот герой вырезал 400 тысяч человек. Если судить его по современным нормам, то он такой же военный преступник, как Гитлер.

В общем, с диаспорой связаны различные возможности, и положительные, и отрицательные. Кроме того, сам этот техногенный мир обладает некоторыми культурными потенциями, но обладает и потенциями разрушения культуры. Например, телевидение. Телевидение в принципе могло бы дополнить книгу, предоставить возможность прямой встречи с гениальными творениями человеческого духа, с гениями современной культуры, в том числе и с религиозными гениями, но оно почти ничего подобного не делает.

Любин: На нашем телевидении утвердились американские штампы, да еще и в каком-то извращенном российском варианте. Да и европейское телевидение гонится в основном за развлечениями. Однажды, правда, в конце 1996-го — начале 1997 г., в Германии, на канале ^ОК, отличающемся от других своим интеллектуальным уровнем, я видел великолепную серию из шести получасовых передач «Что такое философия», которую со свойственным ему блеском провел Г.Г.Гадамер.

Померанц: Я читал Поппера, читал того же самого Гадамера. Они оба говорят, что телевидение способно разрушить европейскую цивилизацию, и это при всем различии философских принципов Поппера и Гадамера. Просто это бросается в глаза всякому умному человеку.

Любин: Пробудить инстинкты, чтобы легче привлечь малообразованную аудиторию, очень легко.

Померанц: Тут порочный круг. Коммерческое телевидение, стремясь к рейтингу, плетется за пороками масс. Оно ориентируется на порочные склонности. А с другой стороны, оно восстанавливает, постоянно восстанавливает те самые порочные склонности, на которые ориентируются эти очень дешевые, легко сляпанные передачи. Таким образом, телевидение — это мощное средство развращения Европы. Европа держится, у нее еще очень сильная инерция. А в нашем расшатанном

обществе телевидение может стать большой угрозой.

В то же время в современной цивилизации существуют огромные потенции. Процессы, происходящие в ней, могут повернуться и своей творческой стороной, и своей разрушительной стороной. Проблема заключается в том, чтобы поощрять творческие возможности и как-то блокировать разрушительные угрозы. Не прекращая развития, но направляя его к центростремительным процессам, к восстановлению иерархии ценностей.

Любин: Какой могла бы стать роль России в диалоге культур?

Померанц: Какова возможная роль России в эпоху вселенского диалога? Мне кажется, она складывается в глубине русской противоречивости, русского хаоса, русской тоски по единству. Россия не создала особого вселенского проекта, особой святой Книги, общего языка, вышедшего за границы империи, общего шрифта. Русская цивилизация всегда творится и никогда не была сотворена — а сейчас и времени для этого не остается. Но вселенский дух Россия подхватила и легко заполняет им заимствованные формы. Она сравнялась с Византией в искусстве иконописи, а в некоторых сюжетах и превзошла византийцев. В XIX в. Достоевский и Толстой превзошли западных романистов. Это указывает на русские возможности, а советский опыт подтвердил русскую ограниченность: самостоятельно созданные формы оказались уродством (например, ГУЛАГ). Я думаю, что навсегда останется призраком и евразийская цивилизация, придуманная русскими эмигрантами 20-х годов, не нашедшими почвы на Западе. Существует евразийский перекресток цивилизаций, но у него нет шансов стать самостоятельным культурным миром. Чтобы осуществились великие возможности русской культуры, России снова нужно к чему-либо примкнуть, к какому-то вселенскому проекту, к какому-то сложившемуся миру форм. К европейскому? Или к византийскому?

Но Византии давно нет, и рухнула она не случайно. Это был культурный мир, застывший в сознании своего совершенства. Византия не умела учиться на своих военных поражениях и перестраиваться, как это делала Россия. Византию погубило ее высокомерие.

Византийское наследие не является собственностью одной России, и оно далеко не полностью определяет русскую культуру. Мне приходилось уже сравнивать Россию с луковицей. На византийский пласт лег пласт монголо-татарский, на него — европейский, и все эти пласты образовали противоречивое, беспокойное, но живое единство. Строй русской культуры — полная противоположность византийскому. Византия была чересчур однородной, чересчур плотно сложившейся и не способной к переменам. Россия чересчур разнородна и всегда чревата великими попытками духовного синтеза — и политическими катастрофами. Россия живет в тоске и томлении по цельности, в тяготении к порядку (то ли татарскому, то ли европейскому) — и в бунте против этого порядка.

Противоречивость принципов культуры заставляет искать истоки права в личности правителя, в самодержце, а формы культуры — в жизни соседей. Начиная с XVIII в. таким образцовым соседом была Западная Европа. Русскую культуру петербургского периода можно сравнить с ковровой мастерской, где в каждом коврикe вплетены европейские нити. Выдерните их — и все рассыплется. Но коврики — русские. Мастерская русской культуры сплетает вместе все то, что в Европе существовало отдельно, и целое принадлежит России.

Сила русской культуры — в тяготении к цельности, в порыве, который редко достигал законченной формы. Цельность, к которой тянется русский гений, — это цельность вселенская, цельный образ того, что разбросано в национальных ликах Европы (и не только Европы). Русская мысль как бы собирает Европу в единую империю. Единство Европы — единство диалога — никогда не ощущалось в Европе с такой остротой, как при взгляде из России. Как ни отличается русский хаос от европейского порядка, главные задачи современной духовной культуры — одни и те же. Мы все ищем новых образов Бога, способных обновить «ценностей незыблемую скалу» (О.Мандельштам) в нашем знании. И извечное русское стремление из хаоса к цельности может внести здесь свой вклад.

Любин: Благодарю Вас, Григорий Соломонович, за эту беседу.

Интервью с Сергеем Эрлихом (16 мая 2005 г.)⁵

Эрлих: Многоуважаемый Григорий Соломонович! В советское время в провинциальном Кишиневе я был отлучен от неподцензурной литературы. Поэтому Ваше имя стало мне известно только в конце 80-х. С тех пор я читаю все Ваши произведения, попадающиеся мне в журналах, а в последнее время и в интернете.

С восторгом прочел Ваши воспоминания «Записки гадкого утенка». Рассказанная в них история жизни поучительна. Поучительна в смысле знаменитого высказывания Цицерона: *«История — учительница жизни»*. Главный урок Ваших воспоминаний, на мой взгляд, заключается в том, что в самых страшных условиях надо искать гармонию.

Померанц: В шуме современной цивилизации тоже надо искать паузу созерцания. Паузы созерцания были на войне, когда вдруг пальба стихала, иногда на целый месяц. Мы оказывались перед огромным открытым небом, например, на степных перекатах северо-западнее Сталинграда или потом на реке Миус. Целых четыре месяца тогда была тишина. 15 километров фронта, который фактически почти не стрелял с обеих сторон. Цветущие сады, которые в августе были снесены бомбежкой, но я запомнил, как они цвели. Я никогда так не окунался в природу, как тогда. Впоследствии этот контраст продолжался в лагере, в период белых ночей. Это создавало паузу созерцания.

Я думаю, что в суете современного делового мира тоже можно найти возможность для паузы созерцания. И если тут возможна рационализация, то я нашел ее у Екатерины Федоровны Колышкиной, в замужестве она была сперва баронесса де Лук, а потом госпожа Дохерти. В последний период своей жизни она создала очень своеобразную общину⁶. В глубокой тишине у нее всплывала целостная картина мира и становилась ясна решающая современная задача. Бедность в западных странах перестала быть проблемой. Проблема для них заключается в холодности системы социального обеспечения, казенности. И отсюда задача для духовных личностей быть, говоря ее словами, ледоколами добра.

Так или иначе, но в любых условиях надо искать эту паузу созерцания. Я об этом делал доклад в Норвегии, в тамошнем Институте международных отношений. Только один человек возражал.

Эрлих: Вдогонку Вашей мысли я вспомнил слова из песни группы «Наутилус Помпилиус». *«Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела»*. Т.е. нам сегодня не хватает времени, чтобы спокойно сесть и не спеша думать, например, над серьезной книгой. Все надо делать быстро, быстро...

Померанц: Вот это «быстро, быстро» вытаскивает душу на поверхность. Главная задача любой религии — именно опускаться в глубину. Это сформулировано, в частности, у Тиллиха и по-своему сформулировал Антоний Сурожский: *«Каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной»*. Когда мы начинаем суетиться, мы теряем контакт с собственной глубиной.

Эрлих: Мне кажется очень убедительным предложенный Вами путь глобализации. Ни одна из четырех, применяя Вашу терминологию, субглобальных цивилизаций — христианская, исламская, индийская, дальневосточная — не сможет, по Вашему мнению, стать единственной на планете. Я считаю, что Вы нашли поразительную аналогию продуктивной глобализации с европейским *концертом* — балансом интересов культурно различающихся партнеров.

Каково место России в предлагаемом Вами концерте четырех цивилизаций? Можно ли считать ее органической частью христианской цивилизации или Россия — гумилевская «химера» христианской, исламской и дальневосточной цивилизаций? А может, Россия — отдельная цивилизация, «прореха», не входящая в экуменический концерт?

Померанц: Это целый ряд вопросов и на них надо отвечать по отдельности.

В первые века христианства считалось само собой разумеющимся, что восточно-эллинская и западно-римская церкви — это две ветви одного дерева. Они обе исходят из Евангелия, из отцов Церкви и из тех элементов Ветхого Завета, которые вошли в богослужение. И эта общность сохраняется до сих пор, если говорить о церковной службе и т.д. Поссорился Фотий с Папой, скорее всего, из самолюбия. Не стоило

ссориться из-за того, исходит ли Святой Дух только ли от Отца или от Сына тоже, тем более что эта проблема крайне спорная. И когда современная Католическая Церковь признала формулу Шюдие относящейся только к латинскому переводу и не затрагивающей основ, это никак не повлияло на русское православие, которое зарылось в провинциальные интересы, не хочет выходить на мировой простор и не хочет возвращаться к тому образу церкви, который она имела в прошлом. Конечно, развитие с 1054 г. было очень разным, но никакой пропасти здесь нет. И если христиане между собой не установят систему диалога, то говорить о диалоге с исламом было бы наивно. Прежде всего, христианам надо научиться вести диалог между собой и не выдвигать на первый план мелкие распри.

По телевидению по случаю похорон Папы, в передаче Светланы Сорокиной «Основной инстинкт», мне все-таки удалось об этом сказать, это вошло в эфир. Вообще все эти мелкие распри, это мной подчеркивается, начались не с нуля, это отместка украинцев за то, что делал Сталин — силой отбирал у них храмы. А после этого они отпраздновали на дикий западноукраинский лад праздник национального освобождения. Но это мелкий эпизод, и смешно выдвигать его на первый план, когда вся христианская цивилизация гибнет от упадка рождаемости. И в этих условиях надо бы не выдвигать на первое место мелкие распри, а учиться друг у друга и вместе решать насущные проблемы. Если решить не удастся, то христианской цивилизации, скорее всего, не будет; а может быть, на территории бывшей христианской цивилизации возникнет поле для диалога с другими цивилизациями. Собственно же христианская цивилизация вообще исчезнет. Знаете, в этих условиях сосредоточиваться на том, что где-то кому-то разбили ухо, — это просто нелепо. Приблизительно это я говорил. Это пошло в эфир.

Это не значит, что Россия является простой частью западной цивилизации. Она остается пока что самым крупным маргиналом византийского культурного круга, который прошел через сложную историю. Оставшись без Византии, Россия потеряла тот духовный источник, который она по-своему воспринимала, переоформляла и в иконописи даже оказалась ученицей, превосходящей своих учителей. Иконы Рублева и фрески Дионисия не уступали греческим образцам. Но усвоение византийской культуры не было ни широким, ни полным. Когда рухнула Византия, а преподобный Иосиф Волоцкий очень успешно разорил скиты нестяжателей, где жила исихия и другие тонкие формы византийской духовной жизни, то наступил духовный упадок России. И уже Стоглавый собор показывает глубокое духовное невежество.

Не знаю, нужно ли это иллюстрировать, но, если хотите, могу привести пример. Иван Грозный, как лицо светское, мог задавать и глупые вопросы, спросил: *«Какое из трех лиц Троицы Христос? И кого рисовать не только в венчике, но в венчике с крестом?»*. Во-первых, как

постановлено было на VII Вселенском соборе, эти ангелы не являются прямым олицетворением. Они являются только символом, намеком. Во-вторых, они единосущны и в каком-то смысле приближаются к равночестности. И либо не надо никого из них рисовать с крестом, потому что ни о ком из них нельзя строго сказать: “^Ьо 1з шЬо?”, либо рисовать с крестом всех, иначе мы потеряем единство Бога. Если один из них с крестом, другие без креста, то в таком случае мы, вместо единого в трех лицах, по выражению Экхарта, получаем трех коров. Что же отвечает на этот нелепый вопрос Стоглавый собор? Еще большей нелепостью: Христос — тот, кто сидит в центре, потому что он похож на рублевского Спаса. Но, во-первых, на кого мог походить Бог, которого не видел никто и никогда, и Дух Святой, который веет, где хочет. Единственный облик, который имеют все ангелы, это облик, близкий к Христу. Во-вторых, сказано, что Христос сидит, если принять всю эту мифологему, одесную славы, т.е. Он сидит, если войти в пространство иконы, справа. Для нас Он слева, но для себя он справа. И если мы всмотримся в рублевскую *Троицу*, то центральный ангел указывает ему на то, что он должен сделать, и он весь в напряжении, он готов к подвигу. Тогда как правый для нас ангел, он не случайно не в розовых, а в зеленых и в синих, темных тонах, он как бы уже истощился в подвиге и, может быть, даже воскрес из мертвых. А если взять это просто как картину внутренней жизни одного лица, то это движение от созерцания к истощению себя в подвигах и к возрождению вновь созерцанием. Но «идеологи» Стоглавого собора ничего этого не поняли и сказали, что Христос в центре, т.е. посадили Сына выше Отца, тем самым совершили гораздо большее кощунство, чем католики, которых они ругали.

Этот глубокий упадок России без учительницы в субглобальной цивилизации показывает, что Россия сама субглобальной цивилизацией не является. У нее нет для этого внутренних духовных ресурсов. И Петр совершенно верно втолкнул Россию в ту субглобальную цивилизацию, к которой Россия была ближе, чем к миру ислама, не говоря об Индии, которая где-то там за Гималаями и вообще совершенно непонятными словесами говорит. И именно после этого, хотя не сразу (XVIII век был не слишком блистательным, грубо ученическим), но оказалось, что русский дух вполне способен понять Европу. Причем характерно, что русские воспринимали Европу не как европейцы, которые все привязаны к своей национальной, так сказать, корысти, а для русских характерно восприятие Европы как целого. Получается, что Россия является обобщенной европейской страной, и не случайно превосходство русской литературы XIX века над собственно европейской, потому что это был русский синтез того, что разбросано в Европе. И стыдиться этого величайшего взлета нашей культуры нелепо, потому что, в конце концов, то, что было в XV в., не имело никакого продолжения. Икона может быть возрождена, если Бог даст, но сегодня, во всяком случае, она умерла. Тогда как традиция:

Россия как обобщение Европы, как общий образ того, что в Европе разбросано (это уже Достоевский хорошо понимал, и Версиров об этом говорил в «Подростке»), — это все-таки очень близко. И это кое в чем продолжается.

Продолжается в музыке, которую большевики не смогли задавить, потому что понимали в ней не больше, чем свинья в апельсинах. И поэтому они не расстреляли Шостаковича, что им следовало бы сделать, с их точки зрения, а позволили ему опубликовать свою симфонию, начатую в период Большого террора, назвав ее «Ленинградской». Поди докажи, что она не ленинградская. Ведь он использует там элементы немецкой музыки. В результате в музыке XX века мы видим прямое продолжение XIX века, это живая традиция. Это не то, чем Россия еще *должна* стать. Надо вновь формировать только отставшие ветви, отставшие благодаря тому, что большевиками были перерублены связи, на уровень музыки, которая, в общем, имеет непрерывное развитие: от Чайковского к Шостаковичу и Шнитке.

Теперь: возможна ли гумилевская «химера» христианской, исламской и дальневосточной цивилизаций? Диалог цивилизаций возможен, и он происходит и в Москве, и в Лондоне. В Лондоне даже успешнее, потому что не мешают власти грубо, прямо или косвенно. Например, в Лондоне есть семинар христианской медитации имени Джона Мей-на. Бенедиктинцы им ведают. В 1994 г. Далай-Лама XIV был приглашен на этот христианский семинар толковать Евангелие. Книга была издана с большим аппаратом, очень интересным. Вот пример из нее. *«Что такое вечность?» «Это не утомительная длительность, а выход за рамки всякой двойственности, в том числе двойственности начала и конца».* Мы видим, что тут черпнули кое-что из восточной мудрости.

А целое сколотить из четырех культурных миров — совершенно невозможно, потому что в каждом культурном круге есть бесконечная глубина. И это уже глубина, превосходящая человеческие способности. Мы можем только сблизить культурные круги (они же «цивилизации») друг с другом, помогая увидеть сходные глубины, из которых выросли несколько разнящиеся верхние структуры. Наша совместная с Зинаидой Александровной Миркиной книжка «Великие мировые религии» кончается послесловием, в котором Зинаида Александровна написала, что глубина каждой великой религии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Основное противоречие существует не между, допустим, индуизмом и христианством, а между глубиной (будет ли это глубина Шанкара-ачарьи, или Августина, или других мистиков, вроде Мейстера Экхарта), глубиной религиозных мыслителей, и людьми, которые до глубины добраться не могут, а живут в царстве слов. Поэтому здесь возможен только диалог при постоянном внимании к тому, чтобы не повредить входа в глубину. Задача достичь глубины выдвинута и в протестантизме. Так, Тиллих говорил, что

собственно религиозная область — наиболее глубокое и серьезное в любой области культуры. Религия же, как таковая,— средство напомнить нам о глубине, которую мы потеряли.

Может, Россия — отдельная цивилизация, «прореха», не входящая в экуменический концерт? Только в том смысле, что в России, благодаря тому, что она складывалась на перекрестке великих культурных миров и ни с одним культурным миром прочно не была связана, очень сильны разрушительные силы. Если Россия ни к кому не примкнет и о себе больше возомнит, то она легко может сыграть роль вселенского разрушителя. Именно Россия! И это очень хорошо понимали правые. «У нас все шатко», писал Достоевский, подразумевая пропасть между европеизированным верхним слоем и народом, который ничего в европейских ценностях не понимал. Страшная легкость, с какой можно было снять верхний слой, постоянно грозила пугачевщиной, которая потом была подавлена грубой силой. Так что если Россия будет иметь совершенно самостоятельную роль, то это роль разрушителя.

Но, быть может, она способна вернуться к своей роли наследницы Византии, как соратница и сестра западного христианства? Но все субглобальные цивилизации, с моей точки зрения, имеют некий джентльменский набор. У них есть единое Священное Писание, у них есть единый язык Священного Писания, а иногда два языка, которые понимаются элитой, и у них есть свой шрифт, как в сожителстве индуизма и буддизма. Эти шрифты принимают и национальные языки, сложившиеся позже. И возникает единое пространство информации. С этой точки зрения границы Запада — это латиница. Границы мира ислама — это арабская вязь. Дальневосточный мир характеризуется иероглифами. Границы употребления иероглифов — это границы дальневосточной субглобальной цивилизации. Тибет, например, в нее не входит. Там иероглифами не пользуются. Это сразу бросается в глаза. Индуистско-буддийский мир имеет два шрифта: деванагари и палийский. Уникален дальневосточный мир: там язык и шрифт совпадают. По крайней мере, в Китае. В Корее и Японии иероглифы приспособлены к языкам другого типа. Наиболее последовательно единый набор цивилизации проявился в мусульманском мире: Коран, арабский язык, арабский шрифт. Складывание этого набора — долгий процесс, даже в случае исламской цивилизации, которая возникла поздно и могла пользоваться опытом своих соседей; все-таки потребовалась пара сот лет, пока все это уварилось. Первое время в канцеляриях пользовались греческим языком, потому что арабский был совершенно не пригоден для цивилизационных нужд.

Так вот, может ли история дать России двести лет спокойной жизни, чтобы создать такую цивилизацию, в которой будет представлен подобный набор. Это касается не только шрифта. Шрифт связан с эстетикой пластических искусств: шрифт деванагари напоминает

индийские постройки, арабский шрифт напоминает арабский орнамент, латинский шрифт — это модель европейской архитектуры. Я видел изумительные рукописи, переписанные от руки, — Библию XI века и др. Мне их в Кёльне показывали. Какое это искусство, и как это искусство совпадает с гармонией европейских построек. Это всесторонняя культура. Субглобальное единство невозможно создать не только в канцеляриях, но даже при каком-то большом национальном подъеме; выскочить за рамки нации России не удастся и не стоит ставить себе несбыточную цель.

Дюркгейм дал такое определение цивилизации: *«Это группа стран, связанная единой шШвы (т.е. духовно-нравственной средой), которую каждая из них по-своему выражает»*. Хантингтон, как истинный анг-ло-сакс, плюет на определения. У него цивилизацией оказывается Япония, хотя это дочерняя дальневосточная культура. И вместе с тем он мысленно реставрирует православную цивилизацию, которая когда-то была. Я имею в виду Византию. Но где же общее шШей у сегодняшних Греции, Грузии, Румынии и России? Просто Хантингтону не хочется включать в свой союз обороняющегося Запада Россию и Сербию. Он по традиции рассматривает Россию как врага и хочет ее разрушить, поэтому он придумал православную цивилизацию как объект для бомбежки.

Участие России в экуменическом концерте будет возможно, если удастся восстановить отношения с западной ветвью христианства. Тогда возникнет двуединая христианская цивилизация наподобие, допустим, индуистско-буддистской.

Эрлих: Из названного Вами «джентльментского набора» формальных признаков каждой из четырех субглобальных цивилизаций наиболее очевидны два: общность священных текстов, а также шрифта. Восточные и западные христиане имеют почти совпадающий набор священных текстов. Но отличия есть. Несколько книг Ветхого Завета, включенных в западнохристианский канон, восточные церкви считают апокрифическими. Кириллица и латиница в конечном итоге восходят к единому финикийскому источнику. Китайцу или японцу при взгляде на обе системы европейского письма, аналогично взгляду европейца на неведомые ему дальневосточные иероглифы, прежде всего бросаются в глаза элементы сходства.

Можно ли утверждать, что в предельной оптике четырех субглобальных цивилизаций существует единая — с точки зрения исламского, индийского или китайского наблюдателя — христианская цивилизация, которая для самих обитателей Европы подразделяется на западную (Запад) и восточную (Россия) христианские цивилизации?

Померанц: Существует единство, так же как в южноазиатской цивилизации существует индийско-буддийское двуединство. Я считаю, что Россия принадлежит к двуединой христианской цивилизации. Вот когда я смотрю со стороны, то индуистско-буддийский мир для меня — это двуединый мир. А другое сочетание: конфуцианско-буддийский мир.

Китайский буддизм настолько окитаенный, что он ближе к Лаоцзы, чем к Будде. Он иначе не мог быть усвоен. Он был усвоен по аналогии с даосизмом. И очень далек от солидного индийского буддизма.

Что касается Тибета, то Тибет — это зародыш самостоятельной субглобальной цивилизации, но возникший слишком поздно и не имевший кого обращать, кроме монголов. Ему некуда было распространяться. Кстати, если бы где-нибудь в Москве или в Новосибирске создали новую цивилизацию, то куда бы она начала распространяться? С одной стороны Китай, с другой стороны Запад, с третьей стороны мир ислама. Она осталась бы у себя дома, как Тибет.

Эрлих: В одной из своих работ Вы упоминаете в качестве цивилизационного признака соотношение сил между жречеством и светской властью. Можно ли применять его для отличения цивилизаций Запада и России?

Померанц: Это идет из глубочайшей древности, и это характеризует отличия типов китайской и индийской цивилизаций. Но что касается Средиземноморья, то там не сохранилось первичного типа, там все вверх ногами перевернулось, и там колебания в сторону жречества и светской власти могут быть в рамках одной традиции.

Эрлих: А если мы сравним средневековый Запад (с независимостью Папы от императора) и Византию, где Патриарх был императору подчинен? Считаете ли Вы возможным рассматривать характер отношений между жреческой и светской властями в качестве водораздела внутри христианской цивилизации, т.е. признака, позволяющего отличить Россию от Запада?

Померанц: Да, до некоторой степени. Западные люди ругают восточных за цезарепапизм, а восточные ругают западных за папизм. В одном случае цезарепапизм, в другом случае, в Средние века, папская власть мешала императорам объединить Европу и сохраняла феодальный хаос, что имело «огромное прогрессивное значение», потому что в результате выиграли свободные города и в свободных городах началось Возрождение.

Эрлих: Следующий вопрос имеет непосредственное отношение к моей книжке «Россия колдунов». Известно, что мировые религии, попадая на инокультурную почву, пропитываются духом местных религиозных традиций. Как Вы уже говорили, местными влияниями были порождены различия индийского буддизма в Тибете, Китае, Японии. Можно ли предположить, что цивилизационные отличия западного и восточного христианства порождены различными языческими традициями реципиентов Благой вести Христа? Как Вы прокомментируете мое утверждение в книге «Россия колдунов» об истоках цивилизационных отличий России и Запада?

Сознание западных людей во многом определяется римским правом с его приматом священности закона. Римское право воспроизводит эти-

ческие представления древних латинов, в пантеоне которых верховный бог Юпитер был покровителем сакральной сферы и в том числе закона, а военный бог Марс занимал подчиненное положение. Об этом подробно пишет Ж.Дюмезиль. Это древнее разделение «воинов» и «колдунов» было воспроизведено в средневековом противоборстве императоров с папами, а в Новое время воплотилось в знаменитое разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную.

Померанц: Не то что бы воплотилось. Эта привычка к расколу властей помогла рождению качественно нового принципа разделения властей. Это не просто продолжение.

Эрлих: Я хочу сказать, что современное разделение властей имеет древнюю традицию, восходящую к разделению функций в пантеоне латинов.

Померанц: Вероятно, вы не читали последней статьи Хантингтона. Вы вначале просто его повторяете.

Эрлих: Он пишет о разделении сакральной и военной функций между Юпитером и Марсом?

Померанц: Нет, он не касается ни Юпитера, ни Марса. Он позитивист. Хантингтон пишет: *«Для Запада в первую очередь характерно торжество закона, индивидуализм».*

Эрлих: Это утверждение Хантингтона — банальность. Я же хочу подчеркнуть, что правосознание современных западных людей имеет древнюю традицию, которая восходит к религии древних латинов. Ж.Дюмезиль отмечает, что в греческом язычестве, несмотря на демократию, ничего подобного не было. Зевс был отягощен царскими регалиями, т.е. совмещал жреческие и светские функции. Последнее, вероятно, способствовало жизнеспособности византийской традиции цезарепапизма.

Померанц: Вам надо прочесть статью отца Георгия Чистякова, который получил хорошее классическое образование. И он говорит о пороках греческого наследия, которые нам надо изжить, потому что греческая цивилизация бездарна в создании государства, не умеет создавать, она создает хаос. У него очень интересный, просто поразительный для православного священника подход. Он вообще очень свободомыслящий. Очень интересная статья. Он считает, что нам надо преодолеть византийское наследие правового хаоса.

Эрлих: В древнерусском пантеоне соотношение жреческой и воинской функций, накануне принятия христианства, было аналогично их слиянию в древнегреческом пантеоне. «Воины» «Руси изначальной» не просто подчинили «колдунов», а присвоили себе сакральные функции. Не случайно в пантеоне Владимира председательствует Перун — покровитель «воинов», а покровитель «колдунов» Велес изъят из пантеона. Поэтому, несмотря на настойчивые попытки посещавших Русь посольств из Рима, христианство при выборе веры было принято по образцу византийского цезарепапизма. Видимо, русских князей уст-

раивало такое соотношение сакральной и светской властей. В том же смысле действовал и Петр I, уничтожая институт Патриарха, и фактически присваивая себе сакральную функцию живого Бога. Он довел эту операцию до логического конца, т.е. сознательно сделал церковь подчиненной государственному аппарату.

Можно ли полагать, что различия западного и восточного христианства порождены различиями языческого субстрата древних латинов и греков? А принятие Русью христианства от *греков* вызвано тем, что царские функции Зевса, воплотившись в византийский цезарепапизм, были идейно близки установленному Владимиром культу Перуна?

Померанц: Я могу сказать, что в этом пункте Вас очень сильно поддерживает отец Георгий Чистяков, говоря о пороках, о политической ущербности греческой цивилизации, гениальной в философии, в искусстве и во многом другом превосходящей Рим. Но в правовом и административном отношении греческая цивилизация была ущербна. Она не сумела сделать свой язык единым языком всего культурного круга. Она с самого начала соглашалась переводить, причем переводилось ведь не все, а только кое-что необходимое для богослужения, в результате наше православие плохо знает, что такое православие. А когда это знание появилось, то оно вызвало сопротивление, потому что уже привыкли к внешнему обрядоверию, которое утвердилось. В общем, все это можно найти у Чистякова⁷. Он мощный Ваш союзник. Хотя и обходится без метафоры «колдуны». Просто описывает греческую цивилизацию, указывая, в чем заключается ее отличие от латинской. Его, если хотите, лозунг: мы должны преодолеть византийское наследие правового хаоса и деспотизма, который возникает из правового хаоса. Мысль его достаточно ясная: правовой хаос создает косвенно почву для деспотизма.

Эрлих: Приятно, когда твои мысли совпадают с утверждениями многого человека.

Померанц: Я сам прочитал это у Чистякова, и сам с ним согласился. Меня очаровала легенда о том, что приехали послы, их восхитила красота богослужения в Софийском соборе (это, кстати, может быть, имело значение). Я не думаю, что это выдумано. Действительно очаровала. Но, наверное, Владимир был достаточно искушенным политиком. Тем более, что он туда не ездил. Рассказы о красоте не так действуют, как сама красота. Да и маловероятно, что послы сами все решили. Для Владимира, я согласен, важное значение имела возможность руководить духовными пастырями. То, что Вы говорили, меня убеждает. Это весьма вероятная гипотеза. Вот в этом пункте Вы выдвигаете гипотезу, которую можно защищать.

Эрлих: А теперь вопрос, над которым вы не однажды размышляли. С момента возникновения интеллигенции интеллигенты ведут споры о том, какова общественная функция своего сословия. Мне думается, что существует функциональное подобие между избранной интелли-

гентской триадой «интеллигенция — власть — народ» и «колдунами — воинами — работниками» архаической индоевропейской (в действительности не только индоевропейской) триады Ж.Дюмезиля.

Померанц: Я где-то встретил статью английского исследователя, занимавшегося двумя племенами, живущими на берегах Нила: шиллуками и динка. Так вот у шиллуков была светская аристократия, основные племенные обряды совершал вождь. Колдуны особого влияния не имели. У динка чрезвычайно развит мистицизм, мощная жреческая корпорация. Штанов еще не было, а преимущественная ориентация либо на посюстороннее (как в Китае), либо на потустороннее (как в Индии) уже была. Так что различие рациональной и мистической ориентации, заметное при сравнении цивилизаций Китая и Индии, восходит к достаточно примитивным племенам.

Да, еще интересный разговор был у этого исследователя с одним шиллуком. Англичанин пытался излагать ему основы христианства. Шиллук ответил: «Я не верю в воскресение из мертвых». Англичанин возразил на это: «Вот Вы никогда не были в Англии, но Вы верите, что Англия существует». Шиллук парировал: «Я видел людей, приезжавших из Англии и других стран, но я не видел, чтобы кто-то возвращался с того света». Вот вам, пожалуйста, демонстрация, можно сказать, «китайского» рационального духа, в отличие от индийской мистики.

Это очень древнее взаимодополнительное разделение, представленное двумя великими цивилизациями: китайской — с упором на прагматику и индийской — с упором на мистику и мощную корпорацию жрецов. Что касается воинов, то и в Китае, и в Индии они не на первом месте. Они не господствуют. Или жреческое господство, или господство гражданской власти, как это потом формулируется. Воин занимает не первое, а второе место и в индийской, и в китайской цивилизациях. Как отметил еще Герцен: «Китайский император — единственный, который не носит военного мундира».

Эрлих: Вы сказали, что «колдуны» и «воины» — это древнее разделение, известное у самых примитивных племен. Я еще более древнее разделение нашел. Биологи прививали «социальный опыт» человекообразным обезьянам. Их научили качать рычаг. Качнет обезьяна определенное число раз, ей дают жетон. А рядом стоят автоматы. И обезьяна может выбрать автомат с бананами, морковкой и т.д. Кинуть туда жетон и получить, что выбрала. Обезьяны практически сразу разделились на три группы: одни действительно качали рычаг; вторые — здоровые, стояли возле автоматов и отбирали у трудяг не банан, а жетон, потому что по жетону они могли выбрать то, что им нужно; а третьи — попрошайничали у тех, которые отбирали. Вот вам и триада!

Померанц: Вы увлеклись колдунами и воинами, а в данном случае, например, это просто трудяги, разбойники и попрошайки.

Эрлих: Воины — это и есть разбойники. Кстати, по-румынски «война»

— «гагЪоЪ.

Померанц: А попрошайки?

Эрлих: Напомню многовековую ориентацию культуры на меценатов. Например, русский поэт XVIII в. писал оду, посвящал ее вельможе — и подносил ему с нижайшими поклонами. А вельможа снисходительно жаловал ему шубу с «барского плеча» или перстень, позволял сидеть в дальнем конце своего стола.

Померанц: Нет, я не вижу здесь предлагаемой Вами параллели. Общество склонно к дифференциации, но формы дифференциации не обязательно тождественны. Тут сказывается Ваше увлечение. Вы пытаетесь одну форму дифференциации провести через все века, а между тем общество со временем становится все более дифференцированным, и все новые оттенки дифференциации становятся главными. В современном обществе масса оттенков дифференциации, и свести современное общество к какой-нибудь дюмезилевской классификации не удастся. Я не буду это развивать, наверное, это очевидно. Ведь формы дифференциации безусловно меняются. Есть тяготения к некоторым устойчивым комбинациям, но они все-таки не всегда одни и те же. Это надо исследовать и проверять на ряде примеров, отказавшись от предвзятости.

Попробуйте рассмотреть несколько обществ, и Вы увидите, что формы дифференциации разные. Вот, например, в Новое время вылезли купцы. Вот сейчас вылез класс менеджеров. Ну, не было раньше менеджеров, купец сам распоряжался. Сейчас сплошь и рядом собственник спокойно живет на свои доходы, а управляет менеджер. Раньше не было этого. Хотя что-то в этом роде было в мажордомах, которые отгеснили королей, в сегунах, которые отгеснили японских императоров. Попробуйте пройтись по ряду обществ, но без предвзятости. Вы найдете, что кое-что повторяется, кое-что не повторяется, потому что общество становится все более и более дифференцированным, появляется все больше новых форм дифференциации. А нищие есть почти во всяком обществе.

Эрлих: Спорить на эту тему смешно. Со временем в обществе возникают новые функции. Но я веду речь о другом. Интересно проследить, из каких древних функций развились функции новые. Меня обвиняют, что я ставлю знак равенства между интеллигентом и колдуном. Понятно, что названные представители характерны для разных эпох и выполняют различные функции. Но я считаю, что мы лучше поймем функцию интеллигенции, если проследим ее генезис, т.е. найдем ей аналогии в обществах прошлого, вплоть до архаичных.

Считаю, что существование сходство (не тождество) общественных функций «колдунов» и интеллигентов. Одна из главных задач «колдунов» — регулирование общественного поведения посредством этических норм, т.е. внушение обществу *«что такое хорошо и что такое плохо»*. В самоопределении интеллигенции ведущим признаком является отнюдь не

высокая образованность (вспомним «образованщину» Солженицына и, напротив, «слесаря-интеллекта» из «Двенадцати стульев»), а нравственность. Более того, интеллигентные «властители дум» формулируют нравственные нормы для всех членов общества. Считаете ли Вы возможным определить интеллигенцию как третье — после языческих волхвов и христианских священников — поколение русских «колдунов», как сакральную власть секулярного мира?

Померанц: Акценты должны быть поставлены очень осторожно. Во-первых, Вы совершенно отвлеклись от роли Церкви в современном обществе. Это характерная, наверное, особенность России, в которой «петрифицированное» православие почти что не занимается своим делом. Приходишь в церковь — тебя исповедуют, а не приходишь — так и хрен с тобой. Навару никакого с тебя нет. Это крупнейший порок современного православия, посему оно мало участвует в попытках возрождения нации. Но у нас и интеллигенция, в значительной части, «ссучилась», как говорили в лагерях, пошла в лакеи.

Вообще интеллигенция вряд ли может рассматриваться в качестве мирового явления. Это едва ли не специфический феномен в определенной группе стран. В Европе что-то вроде интеллигенции было в эпоху Французской революции. Не случайно именно там слово «интеллигенция» было взято из средневекового реквизита и пошло немножко погулять. Но очень скоро романтики, разочаровавшись в Просвещении, махнули на интеллигенцию. В словаре Даля это просто означает «элита», «сливки общества» и т.д. Образованный слой в России до Александра II совпадал с дворянством. Окончивший университет получал личное дворянство. Это нарушилось, когда масса разночинцев хлынула в университет и внесла туда какой-то новый дух. Русская интеллигенция формировалась как какая-то смесь, контаминация либерального дворянства с разночинцами. Некоторые дворянские черты в русской интеллигенции есть. Например, она с отвращением относится к купечеству, к «гешефту» и т.д. Западный интеллигент с западным купцом находится во вполне корректных отношениях. Купец у нас был дореформенный, он был с бородой, а интеллигенция у нас была бритая. Это типично русский феномен. И не случайно англичане слово «т1е1Идеп1зт» пишут курсивом, как иностранное слово, заимствованное из русского, хотя у них есть «т1еШ- депсе зетсе», которое они пишут нормально. Но оно с интеллигенцией не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать интеллигенцию в русском понимании этого слова как мировое явление рискованно.

Что-то подобное возникает в неевропейских странах в процессе вестернизации. И то, что Георгий Федотов рассматривал как болезнь, идейность задач, беспочвенность идей, характерно для группы европейски образованных туземцев в туземной стране, где большинство ничего в этом не понимает. У них идейные задачи европейской цивилизации — и

беспочвенность, потому что задачи европейские, а не, скажем, нигерийские. Вот что-то вроде феномена русского интеллигента. Нельзя говорить о вполне сложившейся мировой интеллигенции. Но социологи отмечали, что некое подобие русской интеллигенции отмечается в слабо развитых странах, догоняющих Запад. На Западе есть интеллектуалы.

Кроме того, у нас в России развилось различие между интеллигентами и специалистами. Советская власть поощряла специалистов и травила интеллигенцию, как Васисуалия Лоханкина. В общем, попытка свести все богатство форм к одной, возникшей в примитивном обществе, вряд ли может быть успешной. Я много думал о протоинтеллигенции, но решил быть осторожнее и говорить: возникает носитель культуры. Носитель культуры — сперва специалист во всем. Первоноситель культуры — это шаман. Он не специалист колдун и не специалист врач. Он — все вместе взятое, носитель культуры во всем объеме.

Потом, скажем, в такой стране, как Китай, возникает различие между носителями светской культуры — конфуцианцами и носителями духовно— мистической культуры — буддистами и даосами. Называть их интеллигентами рискованно, лучше называть носителями культуры. И это для Китая остается традиционным: носитель духовной культуры, носитель светской культуры. Причем они переплетались, конфуцианцы тоже созерцали глубины. Какой-нибудь чиновник мог дома увлечься буддизмом, но работал он по Конфуцию. Такие случаи были, но чаще всего это два разных типа. Так для Китая.

В Индии жесткое сословное деление: кшатрии правят, а брахманы по идее должны заниматься обрядами, пуджами. Но брахманов развелось довольно много, и им приходится быть крестьянами. Вообще в реальной жизни там все осложняется невероятным образом. И какой-нибудь шудра может стать правителем и после этого найти себе брахмана, который напишет ему родословную от Арджуны или Бхи-мы. Реальная жизнь все перемешивает. Но там нельзя индивидуально выскочить. Вообще любая каста, любая местная группа, накапливая богатство и ритуальную чистоту, может повысить свой статус и через несколько поколений уверить себя, что они обедневшие вайшьи, или даже обедневшие брахманы, которые не имели возможности поддерживать свой статус. Так как они заплатят хорошие деньги брахманам, то брахманы это подтвердят. Там очень запутанная система. Но там действительно в основе лежит эта троичная схема. Потому что Индия — страна, в наибольшей мере сохранившая глубочайшую архаику. В Индии то, что Вы говорите, можно прощупать, хотя это и перемешивается со многим другим. И большинство кшатриев — племена, вторгшиеся в Индию, которые получили статус кшатриев. Но, глядя на физиономию Рабиндраната Тагора, видно, что он подлинный брахман. И Джавахарлал Неру — брахман-аристократ. Вообще какое-то превосходство брахманов в культуре сохраняется до сих пор, так же как сохраняется отверженность неприкасаемых, перешедших в буддизм.

Слово «буддист» стало сегодня означать «неприкасаемый» Т.е. в Индии что-то вроде обезьян-попрошаек сохранилось.

Однако в других странах процесс дифференциации, в том числе и в Китае, создал просто какие-то новые различия. Потому что чиновник — светский, так сказать, светский носитель культуры, — по своему происхождению может быть крестьянином. Не очень уважают там купцов. Но даже и купцам возможно делать государственную карьеру.

Знаете, что с евреями произошло в Китае? Они упали вверх. Там была община в XII в., она никуда не уехала. Просто они убедились, что на новой почве можно сделать карьеру гораздо лучшую, чем купеческую, если сдать экзамены. Евреи — народ ученый, они выучили китайскую грамоту, сдавали экзамены. У китайцев нет никакой ксенофобии, выучил — пожалуйста. Сдавать экзамены, как правило, надо было холостым, и после этого вас отправляли служить за тысячу километров, чтобы вы не тащили за собой родню, и женили на местных. Следовательно, второе поколение было уже косоглазое. И в результате в XIX в. отыскивали китайских евреев. Что это были за евреи? Это были обыкновенные китайцы, конфуцианцы, в храмах которых хранились статуэтки Авраама, Якова и Моисея, тоже косоглазых. И иногда у них хранился свиток Торы как священной реликвии, где они не понимали ни одной буквы. Китайцы их китаизировали, дав возможность упасть вверх. Это просто показывает, насколько китайцы далеки от родовых, сословных представлений. Это как шиллуки и динка. Это бог знает из какой древности идет. Это основное деление: не троичное, а двоичное.

Купцы появляются уже на следующей стадии культуры. В Средиземноморье в промежутках между большими цивилизациями, где люди не склонны были путешествовать, возникают купеческие города. В этих купеческих городах (финикийских, греческих и прочих) и складывается западная цивилизация. Купеческие города заложили основы демократии, они врезались в эту старинную классификацию. Они не восходят ни к воинам, ни к колдунам, ни к попрошайкам. В купеческих городах появились мудрецы, появились Пифагор, Сократ и т.д. Начали рассуждать. Рационалисты в основном. Так что, понимаете, эта первоначальная троичная классификация если и может быть прослежена, то в очень своеобразной, сохраняющей свои архаические корни Индии. Уже в средиземноморской цивилизации все сдвинулось. Там появляется третья сила — купечество, с их демократией. В Риме появляется сословие всадников, которое отделилось от плебса. Всадником был Понтий Пилат.

Эрлих: Я тоже считал, что интеллигенция — это сугубо русское явление. Но когда я уже вычитывал последнюю корректуру «России колдунов», в интернете мне встретился реферат книги знаменитого немецкого социолога Хельмута Шельски под красноречивым названием «Работу делают другие». Все характеристики, которыми мы описываем понятие «интеллигенция», Шельски применяет к описанию

интеллектуалов. Интеллектуалы, по его мнению, это безответственные социальные прожектеры, которые безапелляционно предлагают рецепты решения общественных проблем, не занимаясь их проведением в жизнь и не отвечая за получившиеся результаты.

Померанц: При очень большой дифференциации цивилизации какая-то часть интеллектуалов действительно ведет себя на интеллигентский лад, но такого развития этого слоя, как в России, в других странах нет. Привычка давания советов происходит от дворянского безделья. У Манхейма есть такой роскошный термин: *«свободно парящая интеллигенция»*. Именно «интеллигенция». Более того, я считаю, что слово «интеллигенция» восходит скорее к немецкому, чем к французскому образцу. Немцы, конечно, подражали французам, но мне попала на глаза на какой-то выставке газета 1800 года, которая называлась «Интеллигент цайтунг». Фактически это означало: «Газета просвещенных». Но употребление слова «интеллигенция» любопытно. Впрочем, это уже оттенки. Главное, что на Западе преобладает тип интеллектуала-специалиста, а существование этого типа в русской интеллигенции является маргинальным.

Эрлих: Видимо, есть расхождение между нашей терминологией и той, что применяет Шельски. Он говорит: «Адвокат и врач — это не интеллектуалы, а специалисты. Интеллектуал — это публицист, который дает безответственные советы».

Померанц: Это дихотомия «интеллигент — специалист». Все же западные интеллектуалы — это, как правило, специалисты. А то, что он называет интеллектуалом, — это действительно подобие интеллигента. Возникает путаница. Ничего не поделаешь, мир запутан.

Эрлих: Хочу задать вопрос, который для меня имеет центральное значение. В общественном сознании доминируют два нетворческих образа будущего России. Либералы хотят, чтобы Россия стала западной страной. Различного рода «почвенники» грезят возвращением к различной древности «истокам» — от сталинизма до язычества. Эти два утопических пути с трудом находят подтверждение в реальной истории. Напротив, в истории больше известны случаи рождения новой цивилизации из старой. Чрезвычайно значим для нашей страны следующий ряд цивилизационной преемственности: Рим, Константинополь (второй Рим), Москва (третий Рим). Возможен ли «четвертый Рим» — возникновение на постсоветском пространстве небывалого прежде цивилизационного центра?

Померанц: Давайте сбросим со счета Третий Рим. Это фантом, реального Третьего Рима Россия не создала. Создала провинциальную изоляцию, прикрытую красивыми словами. Об остальном стоит подумать.

Я очень охотно сравниваю Россию с Японией. Это дочерняя культура известной цивилизации, которая, будучи дочерней, очень любит учиться. Китайцы не очень любят учиться у варваров, а японцы — да, пожалуйста. И в результате она стала какой-то западно-восточной. Я считаю, что

Япония, будучи частью дальневосточной цивилизации, одновременно стала мировой нацией, поэтому Хантингтон ошибочно считает ее цивилизацией. Я считаю Японию мировой нацией с двойной принадлежностью — и к дальневосточной цивилизации, и к становящемуся глобальному сообществу.

Я считаю, что путь России — это путь становления мировой нации. Это другого типа явление, чем цивилизация. Это не требует, так сказать, чтобы мундир был готов вплоть до последней пуговицы (шрифты и все прочее). Но это предполагает занять активную позицию в решении всех мировых вопросов, как это удалось японцам. Но для этого требуется работать, как японцы. Но ведь мы все подходим, если будем работать, как японцы! Вот вопрос! Надо научиться работать, как японцы, что возможно, если нас вынудят обстоятельства. Во время войны я видел, что, когда беда берет за горло, русский человек может очень энергично работать. Если вода дойдет до горла и станет вопрос о гибели, то, возможно, родится новый слой людей, способных работать до износа, но отстоять свою ценность в общем круговороте мировых идей, мировых свершений.

Тут еще можно сделать некоторые практические добавления. Я разговаривал с одним из моих друзей, Константином Кошелевым. Он моложе меня почти на 20 лет, очень талантливый физик, хотя и говорит о себе: «Я не физик. Я просто человек со здравым смыслом. Когда люди заходят в тупик, я нахожу выход из этого тупика. Новых идей я не выдвигаю». Он себя очень скромно оценивает. Но так как сейчас люди сплошь и рядом заходят в тупик, работая коллективно, а коллектив не имеет одной головы, которая обладает свойством мгновенно решать возникшие проблемы, то его часто приглашают применить здравый смысл. Он объездил весь свет в качестве консультанта. Он утверждает, что по способности к изобретению русские стоят на первом месте. Немцы в сравнении с ними слабее. Но если немцу попадет в голову идея, он ее доведет до ума и выбросит на рынок, а русский бросит идею и как-то потеряет к ней интерес. Напротив, японцы крадут идеи и доводят их до конца. Поэтому я считаю, что России надо вступить в содружество с Германией. Несмотря на то, что была война и много русской крови пролито — мы воевали так, что рвы заваливали трупами, — необходимо создать совместное предприятие с немцами и вот в этой совместной деятельности доказать свою необходимость в мировом развитии. Вот такая моя точка зрения, это я не сейчас придумал.

А с Костей Кошелевым в Израиле была такая история. Он остановился у одной тетки. И вот в пятницу у нее отключилось электричество. В субботу ничего делать нельзя, а в воскресенье дочь занята. Он понял, что придется сидеть несколько дней без электричества. И спрашивает у хозяйки: «А где становятся эти мальчики из электросети, когда вы их вызываете?» «На крыльце. Они там что-то делают, и загорается свет». Он открыл распределительный щит и ввернул на место пробки. Она пришла в

восторг от его мастерства. Потом, когда провожала, спросила: «У вас нет еврейской крови?». Он ответил: «Нет, ни капли нет». «А жаль, такой хороший человек!». Очень похоже на то, что я слышал на передовой, во время войны, только в другой системе оценок.

Эрлих: Помните, как писал Довлатов о том, что его мать считала Сталина негодяем. У нее была своя мотивация: «Грузин не может быть хорошим человеком».

Померанц: Армяне с грузинами как кошка с собакой жили. Дело в том, что армяне составляли 70% населения Тбилиси. Грузинам это не нравилось, грузины их теснили. Армяне на них обижались. Ну, вот, по моему, мы ответили. Общество усложняется. На Вас работает одна индийская цивилизация. В других местах возникают новые сложные конфигурации. Их надо исследовать в каждом случае отдельно.

Эрлих: Как Вы считаете, прослеживая предысторию современных конфигураций, мы сможем лучше понять их суть, или их современное состояние никак не определяется происхождением? Вы считаете, что функция меняется настолько кардинально, что с прошлым нельзя установить связь?

Померанц: Понимаете, что-то иногда выплывает. Гитлер, несомненно, шаманил. Я видел в хронике, как он начинал завывать, только бубна ему не хватало, и как он завораживал толпу бывших рационалистов немцев. Кстати, немцы для Толстого рационалисты, а для некоторых других они иррационалисты. И то и другое в них есть. Мало ли что выплывет, при случае. И у нас Марина Цветаева — шаманка.

Эрлих: Для поэта это естественно.

Померанц: Не согласен. У Анны Ахматовой этого нет.

Эрлих: Характерный пример шамана — Достоевский. Вспомните его знаменитый прием повтора одного и того же выражения, так раздражавший современных ему критиков. Это — шаманская техника введения в транс.

Померанц: Совершенно верно. Так вот, если Вы будете говорить о реликтах, смешанных со многим другим, то у Вас появляется ряд отдельных тем. Реликты шаманизма в политике. Реликты шаманизма в литературе, в частности в поэзии, в прозе. Тогда я сразу перестаю с Вами спорить. Вы нашли какой-то подход, но Вы его сразу гипертрофировали. Он показался Вам ключом ко всем замкам. Таких ключей нет, а вот к отдельным явлениям его можно применять. У меня статья напечатана в журнале «Знамя». Называется она «Живучесть древних основ». Живучесть древних основ — это великое дело, в частности, всплывают черты шаманизма, всплывают черты воинского сословия. В такой стране, как Россия, живы традиции прошлого. И я считаю, что некоторые из них нам очень мешают. В этом надо разобраться. Все то, что когда-то было, не исчезает совершенно. Какие-то реликты остаются, но их не стоит выдвигать с маргинальных позиций в центр. Гитлер — это единственный

пример шамана на таком высоком политическом уровне. Жириновский — это карикатура.

Эрлих: Жириновский — это карикатура и, вообще, игрок циничный. Я другой пример приведу в качестве шаманизма интеллигенции. Елена Боннэр, воистину, — интеллигент чистой воды, потому что уж точно не специалист. Когда был захвачен канал НТВ, она выступила на радио «Эхо Москвы» и детально воспроизвела шаманскую технику заклятья: «Да будет проклят, каждый, кто отныне пойдет выступать на НТВ. С таким отступником никто не должен здороваться, с ним никто не должен разговаривать» и т.д. Она явно брала на себя, так сказать, по наследству, религиозную роль нравственного наставника, духовного пастыря. Вещала по праву представителя сакральной власти.

Померанц: А нет ли тут элемента женской психологии? Кстати, шаманы меняют свой пол, по-китайски шаманы — «люди иньян». Шива имеет лиламурти «ардханари», с левой стороны женская грудь, справа — мужская.

Эрлих: Женское начало — колдовское. Я просто хочу сказать, что эти вещи есть, и они работают. Опять же — если мы будем говорить о Западе и России. У русских гипертрофировано воинское начало. Это не значит, что русский более умелый воин, чем, допустим, американский солдат. Судя по тому, что в Америке, независимо от звания, отправляют в отставку любого офицера, который не сдал нормативы по физподготовке, их воины в массе ловчее наших. Под воинским началом подразумевается тип сознания, для которого сила — это главный аргумент. У русских это чувствуется во всех сферах: от политики до сферы обслуживания.

Померанц: Это все относительно. Например, разница между Пруссией и Францией. В России есть и юродивые. Это типично русский тип, отсутствующий в Европе. Это очень сложно все. Я, например, в последнее время создал семинар, что-то вроде общины, где преобладают люди отнюдь не воинского типа, но и не колдовского. Им, наверное, ближе всего религиозно-философская ориентация. Семинар сейчас растет, к нему примыкают другие группы, в том числе и из других городов. Россия сложная. Всегда были в России пустынные, отшельники. Но тип воина в России выявлен больше, чем, скажем, в Италии или Румынии. Недаром Сталинградская битва была нами выиграна во многом благодаря румынам. Но это уже предмет Вашей национальной гордости.

Эрлих: Однажды мы с другом в Румынии, в старинном городе Брашове, сидели в ресторане XIV века. Судя по закопченным балкам, все 700 лет это здание не меняло своей функции. Друг как-то задумчиво посмотрел на этот закопченный потолок и сказал: «Как хорошо, что румыны вовремя сдавались».

И еще один вопрос. В «России колдунов» помещена статья, которую я назвал: Станет ли история — учительницей жизни?». Сегодня я прочел совершенно случайно статью Семена Экштута, посвященную той же теме.

Он пишет, что где-то с середины XIX в. пути исторической науки и художественной литературы разошлись между собой. Писатели выбрали ориентацию на рынок, т.е. массового читателя. Историки предпочли писать для «избранных», точнее, для своих коллег.

Советские историки, имея спонсора-цензора в виде государства, частью не могли мечтать, а частью и не хотели изменить ситуацию. Сейчас, хлебнув «глоток свободы» натошак, историки вынуждены думать о том, как свою «рукопись продать», т.е. об адаптации к запросам рынка. Ученый-историк на сегодняшний день свою рукопись продать, за редчайшим исключением, не может. И поэтому продолжается идеологическая зависимость от государства, которое, к счастью для нас, пока не имеет внятной идеологии. Сейчас появилась зависимость от спонсора. Она оказалась не менее жесткой, чем зависимость от государства. Сейчас единственный выход — это сделать историю такой, чтобы она выходила на широкий круг читателей, чтобы были тиражи, чтобы были гонорары.

Недостижимая пока мечта историков — воплотить изречение Цицерона: «История — учительница (наставница) жизни». Осуществимость этой идеи доказывается тем, что люди уже давно учатся жизни на опыте истории. В *аграрном* обществе религия воспитывала людей, соотнося злобу дня с аналогичными сюжетами *священной* истории. В *индустриальную* эпоху (XVIII—XX вв.) художественная литература выполняла ту же воспитательную функцию, рассказывая *вымышленные* истории. Сопереживая литературным героям, читатели извлекают из этой виртуальной «школы жизни» навыки поведения в значимых жизненных ситуациях. В XXI в. мир вступает в фазу *информационной* цивилизации. Мгновенная архаизация «литературоцентричного» проекта постмодерна позволяет надеяться, что настало время истории. Чтобы успешно ориентироваться в кардинально изменившемся мире, людям необходимо учиться жизни на опыте *реальной* истории. Историческая наука получает уникальный шанс стать лидером гуманитарного знания.

Что, по Вашему мнению, должны сделать историки, чтобы найти достойный ответ на этот вызов времени и сделать историю-науку, наряду с религией и литературой, действительной учительницей жизни?

Померанц: Во-первых, что касается прошлого, то исторический роман и просто старые романы были для меня большей кладью знания, чем историки. Хотя Ключевского я, скажем, прочитал четыре тома. Я прочитал «Опыты» Монтеня и получил много полезных сведений даже для личной жизни. Например, что возможности мужчины относятся к возможности женщины, как два к пяти, если женщина бесплодна. Я сопоставил это с Книгой Иисуса сына Сирахова, который проклинает бесплодное чрево. Продумав это обстоятельство, я понял, почему в примитивных племенах принята клитеротомия. В общем, я узнал массу разных вещей из разных источников.

А вот сказать, что история способна заполнить вакуум знания о современности, я боюсь. Источником знания о современности становится телевидение. И против этого не попрешь. И это источник поверхностного знания. Чтобы воспринимать телевидение критически, надо одновременно читать книги, и не только книги. Надо создать себе внутреннее пространство того, что ты действительно любишь. Я начал этим заниматься с 16 лет, когда убедился, что в драме Шекспира «Юлий Цезарь» меня сперва убедил Брут, потом Антоний. Я думаю, что же это такое? Разве я такая же сволочь, как римская чернь? Понял, что надо накапливать что-то свое.

И тут мне подвернулся роман Стендаля, который назывался «Красное и белое». Теперь он называется «Люсьен Левен». Я понял: вот мой герой! Я такой же, как Люсьен Левен, который, в общем, рохля. И отец его мне понравился, который речью, набросанной на игральной карте, сверг министерство. Когда я выступал 3 декабря 1965 г. в Институте философии и свергал культ Сталина, я тоже на библиографических карточках имел конспект. Я осознавал, что я иду по стопам Левена-старшего.

Надо накапливать какие-то свои образцы. В мою сокровищницу вошла реплика Гамлета Розенкранцу: «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне» или «Примите их лучше, чем они этого заслуживают, ибо если бы каждый получал по заслугам, никто не избежал бы плетей» (реплика Полонию). Вообще я накапливал сокровища. Потом я стал включать в сокровищницу цитаты из Достоевского, и, к сожалению, некоторые мои молодые друзья лучше всего выучили слова Степана Трофимовича: «Гоиз тез Бошшез де деша е! ргодгез еп Кизю еБеп!, зоп! е! зегон! !ои|ои|гз дез картежники, дез пьяницы дш Ъотеп! еп запой». В общем, надо накапливать внутреннее пространство. Это обязательно. Это первый шаг в современном мире. Какими средствами? Я думаю, мы должны обращаться к классическому искусству, литературе, живописи и музыке для того, чтобы создать сильное, упругое внутреннее пространство и воспринимать электронную информацию с четким критерием: что мое, что не мое. Тут не история, а современность говорит. А говорят такие бешеные журналисты, как Фаллачи. Принимать ее всерьез невозможно. Она толкает нас к мировой войне. Надо накапливать внутреннее пространство, чтобы читать Фаллачи, но не соглашаться с ней. Без воспитания внутреннего пространства мы не способны разумно пользоваться той информацией, которую нам сейчас предлагает информационная революция.

Кроме того, если идти дальше, то это внутреннее пространство необходимо углублять до некоторой дырки во внутреннюю бесконечность, чтобы преодолеть паскалевский страх перед внешней бесконечностью, который, в конце концов, Паскалем был преодолен. У него был мистический опыт. Он почувствовал огонь в груди. И после этого он имел то, что Антоний Сурожский назвал бы «встречей». То есть убедился в том, что вечность и целостность реальны. За поверхностной суетой есть вещи

вечные и целостные.

Современная религия своим архаическим языком больше отталкивает, чем притягивает. Поэтому интеллигент должен стать самостоятельным, не отказываясь от части религиозного опыта, но не становясь его рабом, потому что фундаментализм заставляет вытверживать форму в ущерб сути. В общем, эта тема, которую предложил мне Кристиан Эгге: «Что делать в ситуации, когда отменена обязательная молитва в школах во всех скандинавских странах?». Я ответил ему моим жизненным опытом. Как я вышел из этого. Эгге сейчас проектирует сборник о внутреннем пространстве.

Создать внутреннее пространство — это первый шаг. И шаг, доступный многим. Но есть меньшинство, которому этого мало. Его охватил страх бесконечности страдания, как у Иова, или паскалевский страх бесконечности, чувство, что мы одни в материально бесконечной Вселенной. Они ищут противовес — в чувстве внутренней бесконечности. Надо найти внутреннюю опору, чтобы не потеряться в хаосе, который идет от избытка информации, когда не знаешь, что нужно, а что не нужно, что верно, что не верно. Использовать электронную информацию, но не все принимать, не быть рабом случайного толчка. Обретение внутренней устойчивости, кстати, приводит и к политическим последствиям, формированию устойчивой демократии. Мы перестанем быть рабами всяких пиаров.

Эрлих: Помните, у Б.Ф. Поршнева еще в советское время была революционная статья на эту тему — «Суггестия. Контрсуггестия».

Померанц: Да, Поршнев был либеральным историком для советского времени. Я помню, как мы с ним сотрудничали против академика Рыбакова.

Считаю, что мы плодотворно поговорили.

Интервью с Сергеем Шаповалом (апрель 2006 г.)⁸

Сергей Шаповал: В апреле состоялся X Всемирный русский народный собор, который пришел к выводу, что современные представления о правах человека не соответствуют нормам морали. Русская Православная Церковь совместно с государством берется дать новое представление о правах человека, рассмотрев их с точки зрения исторического опыта и духовной традиции. При этом Россия намеревается стать примером для всего мира. Григорий Соломонович, как вы относитесь к столь серьезному начинанию?

Г.Померанц: Очень настороженно. Мне кажется, начинать нужно с диалога внутри Церкви. Если два таких ума, как Антоний Сурожский и Сергей Аверинцев, в свое время разошлись во мнениях, то, мне кажется, есть о чем поговорить. Оба они считали, что сложившаяся ситуация в Церкви неудовлетворительна. Делать вид, что существует единое

православное сознание, которое может учить постхристианский Запад, значит поступать неискренне. Аверинцев говорил: «Православие переменится или погибнет». Но в чем же разница между программами Антония и Аверинцева? Точка зрения Антония эсхатологическая, точка зрения незримой церкви. Незримая церковь описывается словами Христа: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами». Аверинцев исходил из церкви исторической — зримой.

Противопоставление зримой и незримой церковью принадлежит Августину: не всякий, принадлежащий к церкви незримой, принадлежит к церкви зримой; и не всякий, принадлежащий к зримой церкви, входит в церковь незримую. Зримую церковь стал создавать Павел после Христа. Он был гениальным домостроителем, он сразу огородил церковь правилами, канонами, чтобы слабые люди не потерялись. К тому же он понимал: для того чтобы в исторической реальности сохранить традицию, надо в чем-то ей изменить. То есть дать новый закон. Например, он согласился с язычниками, что перед святыней надо голову обнажать, в то время как евреи покрывали ее.

Это вызвало ряд ересей в истории христианства. Скажем, средиземноморские народы никак не могли принять религию, в которой нечего созерцать глазами. Без икон и статуй они не могли молиться. В конце концов церковь им уступила. В культуре Северной Европы живопись не играла большой роли, это содействовало тому, что северные европейцы приняли протестантизм. В Средиземноморье же восторжествовал католицизм с его церковным театром.

Так что никакой монолитности в христианстве нет. Нет ее и в православии, да и проблем в нем побольше. Все-таки Католическая Церковь пытается откликаться на то, что происходит, пытается вести диалог с нехристианскими религиями. Есть такое интересное явление, как семинар Джона Мейна, который старается возродить традицию созерцания, в том числе и традицию православного мистического созерцания. Сегодня необходимо отказываться от некоторых явлений, придуманных для людей тех веков, без которых христианство не могло бы утвердиться. Важно понять, что христианство не является столпом, к которому нельзя прикасаться. Каждый новый век делает некие уступки обыденному сознанию.

Шаповал: Но дело не только в проблемах вероучения, тут очевидна и роль государства, которое, не найдя национальную идею, пытается при помощи церкви соорудить себе новую всемирно-историческую миссию.

Померанц: Да, это не только игра консервативной верхушки патриархии, не способной к изменениям, но и игра политическая, которая, с моей точки зрения, не имеет перспективы. Время от времени государство испытывает духовную пустоту на месте не созданной идеологии. Началось это, пожалуй, с Эхнатона. Когда его отец перешел к завоеваниям и вышел за пределы Египта, Эхнатон решил создать общую религию,

которую Египет не принял. Таких попыток создать новое учение было несколько. Древние римляне устроили пантеон, собрав туда разных богов. Акбар, правивший в Индии, пытался создать синкретический ислам. Наконец, есть советский опыт формирования идеологии. Все эти попытки провалились. Жизнеспособные идеологии порождаются гражданским и духовным обществом, они возникают снизу. Ни одна великая религия не родилась в канцелярии. Не создаются в канцеляриях и настоящие партии. Вначале появляется идея, вокруг нее группируются люди, они создают партию, а та приходит к власти. Это нормальный путь. У нас человек получил пост президента, пообещав Ельцину покой и благополучие, а потом была создана партия — партия существующей власти.

В одном из номеров журнала «Континент» (№ 125, 2005 г.) было представлено творчество молодых литераторов. Так вот, они просто издеваются над старшими, которые еще вчера топтали религию, а сегодня стоят со свечками. Такие политические игры лишь увеличивают разрыв с молодым поколением.

Шаповал: У Эриха Фромма есть определение разума и интеллекта: разум — это способность человека постигать мир мыслью, а интеллект — способность манипулировать миром посредством мысли. Если принять эту формулу, сейчас явно эпоха торжества интеллекта, поскольку манипулирование всем и вся ощущается на каждом шагу. Это, по-Вашему, опасно?

Померанц: Бесспорно, это опасно. И это опасность мировая. Запад чересчур интеллектуален, проявляется это и у нас. Мы живем во все более усложняющемся техногенном мире, нарастание сложности касается буквально каждого человека. Постоянно появляется новая техника, которую необходимо осваивать, — от мобильного телефона до автомобиля. Со всех сторон возникают инструкции, которые мы должны соблюдать. Наш мир все больше становится миром машин. В архитектуре уже практически господствуют прямые линии. В таком мире трудно жить. Чтобы освободить голову, я иду в лес, погуляв час, я вхожу в ритм деревьев. Наш организм, в том числе мозг, не подчиняется законам механики, он подчиняется биологическому и духовному ритму. Наш мозг — не компьютер. В моем языке приведенные вами понятия Фромма соответствуют интуиции и рассудку. Известно, что однажды Пуанкаре (математик, а не политик), поставив ногу на ступеньку омнибуса, увидел формулу, которую еще предстояло доказать. Из истории математики известно, что египетские жрецы знали равенство квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов, но они этого не доказывали. Интуиция была раньше доказательств. Мир интуиции основан на умении созерцать. Это касается не только религии, это касается всей культуры.

Шаповал: И этот мир сейчас исчезает?

Померанц: Мир, в котором живут люди в больших городах, резко говоря, антигуманен. В нем масса всяких удобств, но за них мы продаем

свою душу.

Шаповал: Это описанная у Шпенглера и не только у него борьба между цивилизацией и культурой.

Померанц: Именно так. Цивилизация и культура связаны, их взаимоотношения не просты и не однозначны. Цивилизация имеет и благородные черты, она не во всем идет против культуры. Но слишком много техники.

Мне приходит в голову пример из другой области. Любовь мужчины и женщины. На поверхности действуют гормоны, которые толкают к любой женщине мужчину и к любому мужчине женщину. На более глубоком уровне сердце находит родственное сердце и восстанавливает ту любовь, которая была у матери с ребенком, когда гормоны вообще молчали. То, что сейчас любовь сведена к сексу, а секс выступает в качестве механического действия гормонов, разрушает отношение людей друг к другу. Фактически и любовь свелась к технике. Я иногда просматриваю журнал «Психология», там обсуждается вопрос, почему некоторые возражают против орального секса. Основательно рассматривается отношение к этой операции у мужчин и женщин. Вот актуальная теоретическая проблема.

Выход из цивилизационной перегрузки я вижу в том, чтобы находить паузу созерцания. Остановить эту беличью беготню невозможно, поэтому надо искать волевые средства для выпадения из сложившейся обстановки. Я знаю людей, которые просыпаются в пять часов утра, чтобы в течение часа почитать книгу. В советское время я работал библиографом, это тяжелая работа, которую сейчас выполняет компьютер. Я спасался тем, что в выходные дни старался гулять в лесу, а вечерами слушать хорошую музыку. Маркс когда-то сказал, что человек становится придатком машины, сейчас человек становится придатком компьютера.

Шаповал: Выходит, одно из высших достижений человека — интеллект — его и погубит?

Померанц: Может погубить. Перевес того, что Фромм называет интеллектом, над интуицией и созерцанием приводит к тому, что жизнь человека становится скучной историей (по Чехову, у которого был рассказ под таким названием). Чтобы избавиться от скуки, он ищет развлечений и удовольствий. К удовольствию свелся секс. Зачем детей рожать, что за удовольствие корчиться в родовых муках? В результате демографическая проблема встала перед всей христианской цивилизацией.

Шаповал: Несколько лет назад были получены поразительные результаты. Была проведена экспедиция в пещеру Ласко, что во Франции, она известна замечательной наскальной живописью, которой более 20 тысяч лет. Первое открытие связано с тем, что изображения находятся очень высоко, выяснилось, что строились деревянные конструкции, которые и сейчас используются, например, при росписи церквей. Это означает, что люди тогда уже могли строить жилье, но не делали этого,

потому что видели более существенное занятие. Второе: для живописи необходима краска, технология изготовления охры была практически идентичной технологии производства железа. Обладание железным оружием в то время можно сравнить с единоличным владением атомной бомбой. Отказ от таких перспектив означал, что у человека была другая цель — эстетическая деятельность. Человек жил ради прекрасного! А ведь известно, что человек, живший многие десятки тысяч лет назад, обладал точно таким мозгом, как наш. В какой-то момент стал превалировать интеллект, на первый план вышла прагматическая составляющая, история пошла известным нам путем.

Померанц: Можно сказать и по-другому: произошел перекокс в сторону развития левого полушария мозга, при этом правое полушарие деградировало. Произошло это в результате развития одной цивилизации — западной. Движение науки и техники вышло из-под контроля интуитивного духа целого, допускавшего появление изобретений в той мере, в которой культура способна была найти для них экологическую нишу. Новое в течение всей истории возникало в таком темпе, что успевало влиться в культуру, а не разрушать ее целостность. Когда поток нового становится таким, как сейчас, целостность культуры разрушается. Чтобы сегодня ее сохранить, необходимо осмысленное индивидуальное усилие. Я считаю, нельзя целый вечер посвящать разговору, подобному тому, что мы ведем сейчас. Когда я был моложе, я не занимался интеллектуальной деятельностью больше трех—четырёх часов. Я понимал, что надо восстанавливать то нарушение, к которому ведет большое напряжение левого полушария мозга.

Почему нарастал поток нового? За этим стоят особенности развития Европы. Данте все время жаловался, что не удастся создать империю. Однако именно это позволило Европе пойти по неожиданному пути: усилились вольные города; опираясь на буржуазию вольных городов, короли подавили феодалов, возникла система отдельных национальных государств. Если в некоторых государствах развитие науки и техники подавлялось Католической Церковью, оставались Голландия и Англия. Достаточно было одной стране продвинуться вперед, остальные тащились за ней. Если полученные результаты не укладывались в католицизм, на первый план выдвигались протестантские страны, в которых одобрялась деятельность как богоугодное дело. Возникла англосаксонская смесь гуманизма с религией, которая была не очень логичной, зато вполне прагматичной. Сейчас развитие науки и техники идет в таком темпе, что разрушается связь между поколениями.

На этот счет расскажу случай из жизни. Мы с женой несколько лет назад отдыхали в Коктебеле. Жили мы в частном доме, который находился на территории тамошнего Дома творчества. Сын хозяйки нас спрашивает: «Вы писатели?» — «Писатели». — «А на чем вы пишете — на компьютере?» — «Нет». — «На пишущей машинке?» — «Нет, мы

пишем ручкой». — «Ручкой?!». Мальчик мгновенно потерял к нам интерес. Ребенок, который вырастает на фоне все усложняющейся техники, который копает пейджером песочек в песочнице, поскольку появился мобильный телефон, презирует старшее поколение. Иногда оно того заслуживает, но презрительное отношение распространяется и на ценный духовный опыт.

Шаповал: Значит, был момент или моменты, когда человек принимал решение о направлении развития?

Померанц: Например, решение Юлия Цезаря перейти к империи. Но важно и другое, непредвиденные следствия законов и нравов. Логически последовательная римская цивилизация рассматривала раба как говорящее орудие, это привело к тому, что рабы вымирали. Когда войны перестали давать новые толпы рабов, началось запустение. На пустошах стали селиться варвары. Это частный случай общего правила: всякий принцип, доведенный до предела, есть абсурд. Это прекрасно проявилось в римском праве: да здравствует право, даже если погибнет мир. Вот эта цивилизация и погибла. Но сейчас другая ситуация. Сегодня под угрозой не отдельная субглобальная цивилизация, которой, была римская цивилизация, а весь мир. Мы наблюдаем сопротивление исламского мира Западу, а внутри Запада сопротивление Америке. От этого могут выиграть цивилизации Индийско-Тихоокеанского региона, которые избежали революционного пути развития. Там духовное и социальное движение шло через реинтерпретацию доисторических символов и учреждений. Эти цивилизации могут нас пережить.

Шаповал: Эти цивилизации сильнее нас не только в духовном плане, но и по механическим показателям, например по количеству населения. Но что делать нам?

Померанц: Я знаю, что должен делать я. Об обществе говорить очень трудно. Я вспоминаю возражение Аверинцева на концепцию Антония Сурожского, который требовал вернуться к непосредственному переживанию Христа. Я сперва не соглашался с Аверинцевым, но потом подумал: где взять столько людей, способных на непосредственное переживание, отбрасывая установившиеся каноны, и т.д.? Тут счет на пальцах одной руки.

Шаповал: С начала 1990-х у нас идет разговор о происходящей переоценке ценностей. Это о многом говорит, особенно в свете афоризма одного русского поэта: «Счастливые поколения занимаются шведской гимнастикой, несчастные — переоценкой ценностей».

Померанц: Ценности у нас просто рухнули. Никакой переоценки, при которой на место ложных ценностей встают ценности истинные, не произошло. Нам можно заниматься шведской гимнастикой.

Если говорить серьезно, в каком-то меньшинстве через созерцание идет движение к тому, чтобы почувствовать как реальность тот дух, который отложился в разных религиозных буквах, чтобы сквозь это

различие букв почувствовать единый дух. Он разлит в природе, в наших пятиэтажках его нет.

Шаповал: То, о чем вы говорите, предполагает апелляцию к отдельному человеку, а к обществу такая апелляция возможна?

Померанц: Культура созерцания не одинаково развита у разных народов и в разные эпохи, поэтому нельзя считать эту задачу совершенно безнадежной. Антоний Сурожский однажды сказал: «Как хорошо, что Церковь и попы не испортили мне чувства Бога». Антоний освободился от шелухи слов и опирался на незримое присутствие Христа. У него было положение о Божьем следе, который пересекает все принципы. Культуру можно рассматривать как переплетение принципов, которые являются истинными, если они ограничивают друг друга. Один принцип вырвался — это как рак, разрушение культуры неизбежно. Чувствовать Божий след значит улавливать момент, когда принцип становится абсурдным.

Надо формировать творческое меньшинство, за которым пойдут другие. Если такого меньшинства нет — дело безнадежное. На худой конец можно будет учиться у индийцев и китайцев, культуры которых сохранятся. Хотя я не думаю, что наши ценности, утвержденные две тысячи лет назад, пустые. Интересен и мусульманский суфизм — это гонимое творческое меньшинство. Крупные потери неизбежны, но я не теряю надежды.

Примечания

¹ *Любин Валерий* — канд. историч. наук, ст. научн. сотрудник ИНИОН РАН. Сокращенный текст интервью был опубликован в Германии в журнале «КиНигаиабашей». Веггп, 2001. N 3. 8. 64-67.

² Подробнее см. на с. 32.

³ Подробнее см. на с. 40, 208.

⁴ См.: Актуальные проблемы Западной Европы: Экономика, политика, идеология. М.: ИНИОН, 1987. С. 63-67. - *Прим.ред.*

⁵ *Эрлих Сергей* — канд. историч. наук, ст. научн. сотрудник Института истории (С.-Петербург). Текст интервью опубликован в сборнике «Анти-Эрлих», изданном Эрлихом в С.-Петербурге.

⁶ Подробнее см. с. 107, 133, 193.

⁷ *О. Георгий Чистяков*. Афины и Рим // На пути к Богу Живому. М., 1999. С. 49—55.

⁸ *Шаповал Сергей* — сотрудник редакции «Московские новости». Текст интервью опубликован в МН. № 14/2006, 21 апреля.

В два голоса

Лекции, прочитанные в 2005-2006 гг.

Григорий Померанц

Верность себе. Часть 1

Когда вернулись в Москву освобожденные лагерники и сбивались в кучки, обсуждая прошлое, я носился с идеей дополнить десять заповедей одиннадцатой: «Не предай». Сейчас я думаю, что кое-что уже было сказано, по крайней мере в христианстве, образом Иуды. Но даже священников, хорошо знавших Писание, отчаянье Иуды не удержало. Некоторые оправдывались тем, что предают отдельных людей и берут на душу грех, но спасают общину: храмы со священ-ником-стукачом могли уцелеть. Другие находили смягчающие вину обстоятельства, сознавая свой грех, каясь и избегая гордыни. Соглашались «стучать» верующие и неверующие, по партийно-комсомольской дурости и прижатые к стене страхом ареста, страхом беспросветной нищеты, голода, смерти в лагере, расплаты за действительные преступления (например, бывшие полицаи). Иногда потом мучились, пытались вырваться из сетей, в которые попали. Юрий Кутьин после ареста жены обходил своих друзей, предупреждая их, что дал обязательство и потому прерывает с ними все отношения. Иногда и с ума сходили. Анна Полякова и дочь ее Надежда Григорьева рассказывали в своих опубликованных воспоминаниях, как целая семья стала семьей стукачей. Полякова получила возможность преподавать в вузе после трех лет беспросветной нищеты и не решалась отказаться от роковой подписки, но не выдержала моральной нагрузки, пришлось обратиться к психиатру. Обследовав больную, психиатр послал в органы безопасности свое заключение, что гражданка такая-то профессионально непригодна для возложенных на нее обязанностей. Ее отпустили с миром. Но дочь, когда ее вызвали, согласилась без сопротивления. Ей казалось, что это рутинное дело, примерно как вступление в комсомол. Мы обсуждали с ней эту проблему. Она уверяла нас, что не стучали только герои. На самом деле от вербовки можно было отказаться, да и вербовали вовсе не всех сплошь. Общим было другое: то, что Мандельштам назвал честным предательством, ложью в своей профессиональной деятельности, участие во всякого рода чистках и проработках. На этом фоне и вербовка

и ломка на допросах очень облегчались. Писатель, предатель и палач оказались в одной упряжке. Это у Мандельштама хорошо описано и стоит вспомнить в связи с возвращением некоторых традиций:

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю И грозное
«баюшки-баю»
Колхозному баю пою.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель Достоин
такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель Такую
ухлопает моль.

Начиная с тридцатого года, с интеллигенции потребовали прямого участия в официальной лжи, в смешении чернил и крови, в ликвидации свободного крестьянства и волнах городского террора. К 1933 г. основная масса населения страны уже разделилась на два слоя: честных лгунов-предателей и честных несунув, сброшенных на край голодной смерти и вынужденных тянуть что-то казенное с колхозного поля и государственного предприятия. Мандельштам просил уволить его от службы беспартийного большевика, запихнуть его, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Он не выдержал верность своей клятве. Поэты, оставленные божественным глаголом, часто падали. Но и самые сильные не выдерживали своей оторванности от социальной почвы, положения бильярдного шара, который в любую минуту мог получить удар кием и полететь в лузу (Мандельштам дает эту метафору в статье «Конец романа»). Нужен был допинг, восстанавливающий чувство связи с миром. У многих таким допингом был алкоголь. Не уступая напору государства, сохраняя верность себе в сопротивлении пропаганде, люди выходили из чувства невыносимого одиночества, напиваясь и незаметно отдаваясь алкоголю. Входя в обмен веществ, он растворял в себе личность, стирая ее неповторимые черты, и в памяти окружающих оставалась часто только фамилия погибшего.

Потерять себя можно было по-разному. Одним из путей искажения личности была матерщина. Не в среде, где к ней привыкали с детства, а у художника, поэта, артиста. Советский разведчик, попавший в руки к японцам, непрерывно матерился, чтобы выдержать пытку. Ольга Берггольц материлась, чтобы вынести советскую власть. С течением времени это стало модой. Но вот вопрос: не застревают ли в душе привычка к черному слову? В народных вариантах «Хождения

Богородицы по мукам» есть такой духовный стих: Христос-Вседержитель дает матери невод и разрешает выловить из ада грешников, ни разу не выругавшихся черным словом. Федор Абрамов передает эту традицию устами старовера, который говорит комсомольцам о тройном кощунстве черного слова: о грехе против родной матери, Богоматери и матери-сырой земли.

От черного слова остается след, подобный ввевшейся грязи. Брань помогает в схватке, мобилизует какие-то силы, но это призыв к дьяволу в борьбе с дьяволом, и свой, союзный дьявол укрепляется в уме. Так черное слово попадает и на женские уста. Я думаю, что Ольга Берггольц, ежедневно выступая по радио в осажденном Ленинграде, не нуждалась в черном слове, когда поддерживала дух замерзающих, умирающих с голоду ленинградцев. Ее назвали тогда блокадной Богородицей. Не только цензура не выпустила бы черного слова в эфир, но и в душе, открытой несчастному городу, оно не могло родиться. Черное слово родилось в ответ на постановления о Зощенко и Ахматовой, в ответ на мерзости, которые народ поддерживал и одобрял. Даниил Гранин рассказывал по телевидению, как в писательский дом отдыха заехал микроавтобус с экскурсией гэбэшников. И как раз в этот миг вышла Ольга Берггольц, несколько навеселе, и высказала все, что она о чекистах думала, в таких словах, которые они заслужили. Чекисты жаловались секретарю Ленинградского обкома. Толстиков вызвал Гранина, требуя принять меры. Гранин ответил, что меры принять нельзя. Почему? — спросил Толстиков. Потому что Берггольц — это история... Толстиков что-то понял и отступил, как Борис Годунов перед юродивым Николкой.

Ольга Берггольц не с нуля начала юродствовать. Перед войной она еще считала возможным высоким слогом рассказывать о нашей судьбе в самиздатных, не назначенных к печати стихах.

Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы, любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
За образ горестно любимый,
За обманувшую навек Пески
монгольские прошли мы И
падали на финский снег.
Но наши цепи и вериги Она
воспеть нам не дала,
И равнодушны наши книги И

Судя по приметам времени, это 1939— 1940-й годы. Потом пришла большая война и большая иллюзия, что Сталин просто переборщил со страху в борьбе с пятой колонной и перегибы уже исправляются (вот Рокоссовского вернули), и все будет совершенно исправлено после победы. Только бы выдержать! И Берггольц все свое сердце вкладывала в передачи блокадного радио. Но после войны пришли только новые волны террора и новые потоки гнусностей, лившихся из газет и репродукторов. Этого уже нельзя было вынести — разве только обратившись к Богу. Но в Бога наше поколение не верило, и проклятия заменяли нам молитвы.

Еще одним стилем жизни отщепенца было самозабвение короткой связи (долгие в жизни бильярдного шара не получались). Вот один достоверный известный мне случай. Женщину вызывали свидетельницей. Выпускали в четыре часа утра, и каждый раз не было ясно, подпишут ли на рассвете пропуск. На одном из допросов показали фотокопию писем мужа, писавшего матери, что он полюбил другую и решил на развод. Вспышку страсти простила бы, но писать матери, ничего не сказав ей! Образ чистого человека сразу раскололся. Почерк мужа невозможно было подделать, но еще невозможнее было ступить в расставленную ловушку. Не дрогнув лицом, женщина сказала, что фотокопия — фальшивка. Только дома расплакалась. Друг, ждавший ее возвращения, утешал ее как мог. Ей нужно было больше, чтобы заснуть и собраться с силами перед следующим допросом. Традиция Серебряного века была на ее стороне. И женщина сказала: ненавижу твою добродетель. Друг обнял ее и помог уснуть. Связь длилась до конца следствия.

Но следствие кончилось. Что дальше? Дальше не захотелось уплатить полную цену за свою солидарность с врагом народа, за отказ от обычного в таких случаях развода. Решила уехать за несколько тысяч километров, в Абакан, и промолчать о лишнем в анкете. Это было ошибкой. Преподаватели высшей школы, ее коллеги, со всех концов съезжались на каникулы в Москву и в курилке обсуждали скандалы. Бросить все в середине курса уже нельзя было, каникулы висели, как дамоклов меч, в душу вполз страх и за страхом — вторая ошибка: найти забвение в романах с коллегами, ухаживания которых ее скорее отталкивали; в них не было сочувствия друга — только пьяная чувственность, которую она всегда презирала и теперь принимала как снотворное. Недовольство собой, презрение к своей слабости дошло до того, что она совершенно не меняла посуду, ухаживая за подругой, больной туберкулезом в открытой форме, предоставив судьбе решить, заболит ли она сама или нет. Верность себе, выдержавшая испытания следствия, не выдержала страха перед коллективом «честных предателей», которые при первом сигнале свыше будут топтать ее ногами.

Так это и вышло. Коллектив был искренне возмущен обманом со-

ветского государства и моральным разложением, которое она внесла в его среду. Больше всего лили ей на голову помои собутыльники и кавалеры, торопившиеся отмежеваться от скверны. Только после этого советского обряда, напоминавшего побиение грязью в фильме Абуладзе «Древо желаний», была выдана трудовая книжка и характеристика, которую лучше было никому не показывать.

Надо было отдышаться. Неподалеку, в Тайшете, жил старший брат, отбывший лагерный срок. Три месяца женщина прожила, слушая его лагерные стихи и бродя по окрестным лесам. Поэзия и природа заменяли ей, как и многим в нашем поколении, молитвы и таинства. На прогулках всплывали в памяти тысячи строк, которые она знала наизусть, и душа возвращалась к себе самой. Ира (так звали эту женщину) не запоминала ни одного сального анекдота, который при ней рассказывали. Смеялась — и тут же забывала. Больше того. Случай почти невероятный, но у нее не было активного знания ненормативной лексики. Когда произносились известные слова, понимала их смысл, как слова иностранного языка при пассивном владении им, но в живую речь, даже про себя, они не могли попасть, она их не помнила. И в снах у нее не было грязи. Я ей завидовал белой завистью. Мне то и дело приходилось подметать свою память, где по углам оставался сор с войны, из лагеря, из повседневных встреч с плебсом. Ей подметать было нечего. И за три месяца абаканский клубок был осумкован, как раковая опухоль у Солженицына. Живыми в организме оставались только туберкулезные палочки, но они пока вели себя тихо, ожидали своего часа.

В прояснившемся уме стало очевидно, что надо поехать в Москву, в Министерство просвещения, рассказать все как есть и напомнить о конституционном праве на труд по своей специальности. В министерстве подумали — и дали ей путевку в глухой угол Сибири, где в школах работали ссыльные немки Поволжья. Так, буквально было исполнено заклатье Мандельштама:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей перевозданной красе...

Школа оказалась экологической нишей, где почти не было проверок и можно было после уроков рассказывать подросткам Гамсуна, Гофмана, Грина. Оттуда она ездила к мужу на свидания, и по дороге в поезде ее настигла любовь к соседу по купе. Он знал наизусть ее любимые стихи, он говорил о Париже словами Волошина. В огромной, вычищенной от прошлой культуры России это казалось чудом. Полетели друг к другу

письма. Попутчик предложил ей выйти за него замуж. Она готова была жить с ним в одном городе, в одной квартире, но не разводиться с заключенным. Владимир Иванович был намного старше Иры и привык к более укорененной жизни (физиков советская власть берегла для каких-нибудь новых убийственных открытий). Ответ Иры был для него слишком романтичным, и он оборвал переписку. Бегая на почту за весточками, которых не было, Ира простудилась, заболела воспалением легких, пошел в ход туберкулезный процесс. Приснился сон, что Владимир Иванович умер, и ей самой захотелось умереть. Вытащили жить ученики, обожавшие свою учительницу, каждый день навещавшие ее со своими сибирскими лакомствами. Худая, как скелет, она встала, вернулась к работе, и постепенно жизнь пошла своим чередом. Но на фоне любви, опалившей ее в поезде, солидарность со вторым мужем, из-за которого она разорвала свой первый брак, оказалась еще одним обманом сердца.

Когда муж был реабилитирован и вернулся из лагеря, Ира была рада за него, но не за себя. При первой встрече это обнажилось. Трещина быстро расширялась. Муж стал искать причину и добрался до абаканских сплетен. Ошеломленный, он потребовал рассказать все. Но к подробностям абаканской ямы Ира не могла прикоснуться. К абаканским воспоминаниям она возвращалась только бегло, не беря зловещую ткань. На вопрос мужа, похожий на допрос, она просто не могла ответить, попыталась выйти из комнаты и рухнула в обмороке. На этом два усталых больных человека перестали выяснять отношения, и отчуждение повисло, разрастаясь, в воздухе их дома.

Я уже знал о скелете в шкафу, когда меня попросили навещать больную, оставшуюся одной в пустом доме. Не хотелось продолжать спор о возможностях позитивизма, и я предложил читать по вечерам стихи. И тут Иру прорвало. В обществе она читала несколько отстраненно, не ставя себя на место автора, — так, как читают стихи в научном докладе. Но перед единственным слушателем, посланным судьбой, чтобы прервать вынужденное молчание, она всю себя вложила в чтение и всю себя выразила в чужих стихах. Это была страстная апология человека, жившего по правде стиха, как можно жить по Евангелию, жизнью, идущей дорогой стиха к сказочной вечности напрямую (две последние строки — из стихов брата, Владимира Игнатьевича Муравьева, заученных в Тайшете). Или, если взглянуть сквозь глаза Цветаевой, это был синий огонь, огонь стихийных духов, воплотившийся в человека, ставший плотью и по-человечески прорвавшийся сквозь Сциллу и Харибду советской жизни, израненный ударами о рифы, смертельно раненный, но живой последним всплеском жизни. То, что медицинская статистика давала Ире, при ее болезни, не больше десяти лет жизни, тоже чувствовалось в ее страстном чтении, хотя умом я ничего о статистике еще не знал. А узнав — берег Иру, как раненый свою единственную ногу.

Бог был милостив к грешнице. Последние годы ее жизни были

счастливыми. Но ей хотелось прожить больше десяти лет, которые давала медицинская статистика. И она согласилась на рискованную операцию и умерла на операционном столе.

Так кончилась одна из попыток сохранить верность себе, не доходя до верности таинственному вожатому, опираясь только на силу стихий, непокорных никакой власти. Я прошел через ее смерть, как через собственную смерть, но когда я встал на ноги, — закурился вокруг Бога. Он тянул меня к себе и отталкивал привычными образцами, созданными Преданием. Я не мог поверить в Бога, без воли Которого и волос не упадет, и сейчас просто верю в ту глубину сердца, где человек встречается с таинственным сердцем вселенной и чувствует Бога как огонь-бел, как пламя без дыма. Я имею в виду образную классификацию страстей, созданную Цветаевой: огонь-ал (чувственную страсть), огонь-синь (поэтический захлеб, вспышку сердечной страсти) и огонь-бел — любовь к Богу.

Образ Иры навсегда останется во мне, но поэзия Серебряного века с ее культом стихийного, с ее культом разрыва с бытом во имя чего бы то ни было, хотя бы в объятия вампира из поэмы Цветаевой «Молодец», хотя бы в полет из окна: «Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной»... — вся эта поэзия синего огня завершилась революцией и исчерпала себя в революции. В глубине сердца остались для меня только высшие взлеты поэтов — из синего огня в огонь-бел: «Куст» Цветаевой, «Шестое чувство» Николая Гумилева и т.п. Но мощь синего огня я чувствую. Что было, то было; но нельзя быть верным себе без иерархии огней, без решительного предпочтения белого огня синему, без воли тушить огонь-синь, когда он становится огнем ненависти.

Войти в огонь-бел — значит войти во внутренний мир рублевской Троицы, увидеть под символикой догматических образов круговорот жизни созерцателя, то есть то, что жизненно необходимо.

Этот круговорот истощения и восполнения нарисован в Троице Рублева. Ангел, сидящий одесную отрешенного света, — для зрителя левый, — готов броситься к людям, одержимым бесами страстей, отгонять молодцев-вампиров и исцелять одержимых. Истощение его остается вне поля иконы, но правый (для нас) ангел уже истощен, уже почти умерщвлен, почти воскресает из мертвых и принакает к среднему, к отрешенному созерцанию, чтобы воскреснуть, чтобы набраться сил. Конечно, это очень обобщенный образ, и он не дает готового указания на каждый случай жизни. Рублев дает другое — образ Спаса; вглядываясь в него, мы можем угадать след Божий, пересекающий все принципы, законы, заповеди, ведущий к правде здесь и теперь, не записанной ни в каком писании. По Божьему следу, следуя за незримым вожатым, и сегодня можно выбираться из нашей путаницы. Но большинство посетителей Третьяковской галереи проходят мимо икон Рублева, даже не пытаясь осмыслить их, люди устали от синего огня революций и войн и уходят от него — не вглубь, а к поверхности, к апатии зрителя телепередачи, успешно отучающей — и от подлинных мыслей, и от подлинных чувств. Вспышки алого огня, гаснущие после первой усталости, заняли место сердечного жара, короткие лозунги — место мысли, вдумчиво пробирающейся между противоречий.

Сегодня другие соблазны, чем в годы моей юности, и иначе складывается внутреннее пространство личности, верной себе. Грубые средства давления стали достоянием провинции, там они могут даже переживать известный ренессанс. Но в большом мире господствует электронная лоботомия (операция, после которой буйный помешанный становится тихим идиотом). Телевидение приучает глотать обрубки мыслей, иллюзии очевидностей, усталому человеку дают прожеванную пищу, и у него выпадают ненужные зубы. Исчезает привычка перечитывать книги, выгрызая из них свою собственную подлинность. Жизнь плещется на поверхности бытия как планктон, игрушкой пиаров. Сравнительно с этим убожеством хочется вспомнить добрым словом героев Серебряного века, которым история навязала роль мучеников, — и они делали, что могли и как могли. Не выходя из власти стихий, не отказываясь от гордыни, но знавших и прикосновения к белому огню, к шестому чувству.

Верность себе. Часть 2

В романе Ромена Роллана «Жан-Кристоф» есть такой эпизод: юный Кристоф в кризисе. Он потерял веру в себя. Опустился. И вот он случайно встречает своего дядю, брата матери, странствующего разносчика, тихого мудреца Готфрида. Кристоф жалуется дяде, говорит, что все его надежды рухнули. Он никогда не сделает того, что хотел. Он хотел стать героем, но это не его доля.

«— Героем? Ты думаешь, герои — это те, кто делают, что хотят? — спрашивает Готфрид. — Нет, герои — это те, кто делают, что могут.

— То, что могут? Но это же так мало!

— Это бесконечно много. Очень мало тех, кто делают то, что они могут. Это самое трудное и, может быть, единственно нужное».

Кристофа встряхивают эти слова и переворачивают его сознание. Обращают его внутрь. И он вдруг чувствует, что отвлекался в сторону от того, что есть внутри. Чувствует, что именно там и есть то, что ему нужно. То, что хочется и что нужно, — вещи разные. Нас манит то, что вне нас. А то, что внутри... Там наше могущество. Мы хорошо знаем евангельские слова о Царствии Божьем, которое внутри нас. Но что они собственно значат?

Мы говорим сейчас о верности себе. Но ведь наше «я» многослойно и часто раздроблено. И, как уже здесь говорилось, сохраняя верность одному, мы часто предаем другое в себе. Между тем, истинная верность себе, это верность себе целому, включающему ту последнюю глубину, где находится Царствие Божие, где чувствуется присутствие Бога.

Но вот здесь мне хочется остановиться и задать вопрос, который задают по-настоящему, может быть, только дети. — А что такое Бог?

Да, взрослые решают вопрос, есть ли Бог или Его нет? А что Он такое, это кажется всем известным, само собой разумеющимся. Одна очень внимательная, постоянная наша слушательница как-то написала мне записку: «Я только в одном не согласна с Вами. Вы говорите, что Иисус Христос — человек, а я уверена, что Он — Бог».

Я могла бы ответить на это не моими словами, а словами Халкидонского собора: «Иисус Христос *вполне человек и вполне Бог*».

Это нам понять труднее всего. Как это — и то, и это? Человеческая логика предпочитает «или», а не «и». Или то, или другое. А тут вдруг и то и другое. Ничего не поделаешь. Вот так. «Божественный след», о котором говорит нам Антоний Сурожский, очень трудно понять, его внутренняя обоснованность не поддается нашему дробящему рассудку.

Есть богословское утверждение, не менее авторитетное, чем формула Халкидонского собора, утверждение, красной нитью проходящее через все рассуждения о Боге: БОГ ЕСТЬ ДУХ. Если быть честными с самими собой, нам очень трудно это понять до конца. Ну хорошо — Дух.

Он не материален. Говорят, что Он непредставим, непостижим. Ну и это мы как-нибудь обойдем. Надо же себе представить что-то. Вот мы и представляем нечто *иноматериальное*. Это какая-то более тонкая материя, но все же нечто, имеющее зримую или мысленно зримую форму. Он не видим нам, но может быть проявлен и проступить перед глазами как некая переводная картинка. Это очень ходячее представление. Но оно не верно. Дух не имеет никакой зримой формы и никогда не может предстать перед нашими глазами. Это принципиально невозможно.

Встретиться с Богом можно иначе. Совсем иначе. Только внутри. В той последней глубине своей, которая уже и не только твоя. Через себя самого человек может дойти до некоего центра мира. И не увидеть этот центр, а оказаться в нем.

Тагор сказал о Боге: «Ты не видим, потому что Ты зрачок моего глаза». Что может быть ближе, чем зрачок собственного глаза? Но увидеть его невозможно. Извне — невозможно. Что может быть ближе собственного сердца? Но его тоже невозможно увидеть. Наконец, есть еще один образ: младенец в утробе. На минуту представим себе, что у него есть какое-то сознание и даже открыты глаза. Может ли он увидеть и осознать мать, в утробе которой находится? Которую осязает? Она — условие его жизни. Она — всё. Но для сознания и глаза она — тайна.

Достоевский в своем замечательном рассказе «Сон смешного человека» так описывает приближение к этой тайне:

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым Вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым Вселенной».

Итак, Бог есть Дух. Непредставимый, невидимый Дух, пронизывающий Собой все части и соединяющий их в единое Целое. Мы находимся как бы внутри этого Целого (как младенец в утробе матери) и в то же время Оно находится внутри нас, как некое семя жизни, которое мы должны взрастить, и в этом обнаруживается весь смысл нашей жизни.

Дух плоти не имеет. Никакой. Наше призвание ВОПЛОТИТЬ ДУХ — наполнить нашу человеческую плоть Божественным Духом. Вне нас — Он только Дух, не воплощенный Бог. Воплощен Бог может быть только человеком.

Исус Христос — человек, воплотивший Бога. *Бог на земле во плоти может быть только человеком*. Бог присутствует во всем, он вездесущ, но только человек может и должен стать Богом, это его призвание.

Он как бы находится в утробе Бога и должен родиться Богом. Это и есть рождение свыше.

Хотя все это образы и метафоры. Прямой речи для божественных истин нет. Можно сказать и так: Бог находится внутри нас и должен быть

выношенным и рожденным нами.

Можно сказать, как Рильке:

Я осязаю, я смею
Слышать Того, Кто грядет, чтобы услышать меня.
В недрах столетий Он рос. В темной утробе Веками все мы
носили Его, новым неставшим полны, Сыном, который,
родясь, встанет высоко над нами.

Итак, Иисус *вполне* человек и *вполне* Бог. Более того — только став вполне Богом, человек и становится вполне человеком. Иисус ни в коем случае не должен оставаться единственным. Такое толкование — распятие Его Духа. Не верящие в Его божественность распинают Его тело. Не верящие в Его человечность распинают Его Дух.

Его главная просьба, мольба, обращенная к нам: «Будьте подобны Мне, как я подобен Отцу». Иными словами — не делайте из меня кумира. Я не вне вас, а внутри. Вы имеете те же возможности, что и Я. Осуществите их. Воплотите. Не говорите «это *только* Ты можешь, нам это не под силу». Не предавайте Меня. Не заставляйте Меня одного нести неподъемный крест — поддерживать это небо на своих плечах. Они такие же слабые человеческие плечи, как и ваши. Я падаю под своим крестом. Спасибо тем, кто оттирает пот с Моего лба и помогает Мне нести то, что непосильно одному человеку. Мое физическое тело такое же, как и ваше, смертное человеческое тело.

Однако «Я есмь Воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек», — сказано в Евангелии от Иоанна.

Так что же это все значит? Вернемся к скромному странствующему чудаку Готфриду: «Ты думаешь, что герои — это те, кто делают то, что они хотят? Нет, герои это те, кто делают то, что могут».

Оказывается, мы, эти слабые, как былинки, временные существа, носим в себе семена жизни вечной и можем их взрастить. *Это то, что нам нужно делать. И мы это можем.* Нам нужно искать глубочайшее, нашу последнюю глубину — Бога. Мы уже говорили, что это — Дух. Дух, делающий нас живыми, дающий нам почувствовать великую полноту жизни; жизни, связанной с каждой былинкой в поле и с каждой звездой в небе. Дух, связывающий каждый наш атом с Целым Вселенной и наполняющий нас великой любовью. Дух этот дает непостижимый смысл нашей душе, даже когда тело страдает и умирает.

Так вот, нам истинно нужно то, что нужно Духу жизни, создавшему нас и живущему в нас. И то, что нужно Ему, — возможно.

Когда Христос совершал свои чудеса, Он был переполнен этим Духом. Он был одно с Ним. И само это единение выше и важнее всех чудес. Чудеса — следствие этого единения. Самое главное чудо — слияние

воедино двух волей — божественной небесной и человеческой земной.

Когда в одной суфийской притче святой предстал перед Богом и Бог сказал ему: «Проси, чего хочешь, — я все исполню», святой ответил: «Мне ничего не нужно. Достаточно того, что Ты есть».

Когда есть единство с Богом, больше ничего не надо. И лавина творчества будет лишь следствием состояния этого единства: творчество и чудотворство. Но если вы чудотворство поставите выше самого единения с Богом, оно (чудотворство) станет лишь колдовством. Мы уже не раз говорили о разнице: колдовство, волшебство поражает нас; истинное чудо преображает душу.

Христос мог ходить по водам и усмирять стихию, исцелять больных и воскрешать мертвых.

Для нас это бесконечно удивительно. Это поражает нас. Но преобразить наши души может не это, а сам образ человека, достигшего полного единения со своим глубинным «я». Созерцание иконы, запечатлевшей это состояние, бесконечно много может дать душе. Видеть же такого человека (Богочеловека) живым — высшее благо, которое возможно на земле. Но это состояние единения с Богом, со своим великим «Я», это обожение невозможно без готовности на жертву своим малым «я», эго.

Как рука или глаз меньше всего тела, так все наше тело меньше Духа, дающего ему жизнь, Духа, связывающего нас с жизнью мировой, космической, с жизнью каждого живого существа. Наше малое «я» — часть нашего великого «Я». Наше целое — Дух животворящий. Верность этому Духу и есть истинная верность себе.

Это самая трудная и самая редкая верность. Человека, целиком верного этому Духу, встретить труднее, чем просто праведника. Праведники — люди, не предающие других, способные на большие жертвы, существуют. И на них земля держится. Все-таки еще держится. Значит, праведники есть. Но недостаточно быть праведником!

О встрече с одним из таких праведников говорится в Евангелии. Это встреча Христа с юношей, который спросил Его, что нужно для спасения души. Этот юноша исполнял все заповеди, и, конечно, он никого бы не предал и не сделал бы никакой подлости. Христос увидел это, и юноша этот стал мил Его сердцу. Но когда Христос сказал ему: «брось все свое имение и иди за Мной», юноша отошел опечаленный. Евангелист комментирует: «потому что он имел большое имение». И далее следуют знаменитые слова Христа о том, что легче верблюду (или вельблюдуканату) пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное.

Думаю, что смысл этих слов не однозначен и не так уж прост. Есть немало праведников, отдающих все свои богатства бедным. И все-таки это еще не значит полностью отдаться Богу. Можно отдать все материальное и даже жизнь, и все же еще не пойти вслед за Христом.

Принести какую-либо видимую, явную жертву гораздо легче, чем жить, просто жить, ежечасно отдавая сердце Богу, наполняясь Им, вбирая внутрь все то, что Он нам ежеминутно дает.

Жертва нужна. Но не жертва делает Христа Христом, а та бесконечная полнота Любви, которая готова на любую жертву.

Обрести эту полноту души, полноту любви, делающую человека совершенно независимым ни от чего внешнего, имеющим жизнь внутри самого себя, — это главная и самая трудная задача.

Все мы, еще не воплотившие в себе Бога люди, в известном смысле еще не стали собой, не имеем полноты жизни внутри себя.

Совершенно свободен от всякой зависимости только Богочеловек. (Хотя даже у него будут и слезы в Гефсимании, и крик на кресте, но Он останется верен Себе, т.е. Богу.) Он знает, что никакие земные блага не сравнятся с небесными, то есть — ничто внешнее не сравнится с внутренним. Если внутреннее богатство важнее всего на свете, выстраивается правильная иерархия. И когда ап. Петр предлагает Иисусу избежать распятия, он слышит в ответ: «Отойди от меня, сатана, не о небесном думаешь, а о земном». Человек, думающий прежде всего о небесном, знает, что делает то, что нужно глубочайшему в себе, и идет на любую жертву.

Что бы с ним ни случилось, он не зависит от внешнего. Ему ничего не нужно, кроме Бога. Все остальное — только после Бога. Это то самое, что приложится. Мы *не зависим* от этого, если душа отдана Богу.

Личное счастье, богатство, осуществление способностей — все это безусловно нужно. Но — на втором, а не на первом месте. В этом весь секрет.

Есть у Баха кантата под названием «Ich BaBe депид» («Я имею достаточно»). У меня есть Иисус, у меня есть верность.

Я не знаю лучшей музыки, чем в этой кантате. Но она продиктована великой полнотой души, которая действительно вместила в себе ВСЁ. В нем горит внутреннее солнце. Это может быть то, о чем сказано в Апокалипсисе: «И ни солнца, ни луны у них не будет. Ибо не будет нужды ни в чем внешнем. Бог будет светильником их».

Истинная верность себе — это верность этому светильнику. «Брось все и иди за Мной» — значит отдай Богу себя самого. И человек, го

товый на это, вовсе не какой-нибудь особый, святой. Он просто сбывшийся, зрелый и ответственный. Он знает истинную цену жизни. Он *не может* предать то, что является смыслом его жизни.

Я не предаю Тебя, мой Боже.
Все то, чем я владею, — хлам.
Я все свое именье брошу,
Я всю себя Тебе отдам.
Душа моя — сосуд порожний.
Открыто всё. Препятствий нет.
Я не предаю Тебя, мой Боже,
Я внутрь вбираю весь Твой свет.
Твой свет, Твой голос — ту сонату,
Где дышит сил Твоих прибой.
Я не предаю Тебя, вожатый.
Я с каждым звуком — за Тобой.
О рокотание прибоя!
Накаты полнобытия!
Я заменю себя — Тобою.
Уже не я, уже не я,
Не я, а Ты — в глубинах сердца,
С меня достаточно. Ты Сам —
Возженье жизни, Огнь бессмертья,
И я сей Огнь не предаю.

Юность и зрелость. Ч. 1-3

Зрелость ученичества. Часть 1

Автор «Маленького принца» писал, что все взрослые — очень скучные люди; только о политике и галстуках говорят. Но в «Цитадели» Сент-Экзюпери делит взрослых на две группы: сохранивших цельность и потерявших ее. Вождь, от имени которого ведется рассказ, сравнивает современную культуру и современную личность с веником, рассыпавшимся на прутики. Взрослые потеряли себя в массе информации и скрывают свою разорванность пустой болтовней. Надо осознать свою пустоту и поставить себе задачу: связать прутики волшебным узлом. Сперва — в самом себе. А потом восстановить целостность культуры, раскрыть ее колодцы в глубину, заваленные шелухой. Здесь хочется прибавить к словам Сент-Экзюпери слова Антония Сурожского, которые я часто повторял: всякий грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.

Проблемы внутренней разорванности и поиски цельности занимали меня с 16 лет. Думаю, что и сегодня они занимают учеников 9-го, 10-го класса, некоторых студентов. В моей книге, изданной в Норвегии, было несколько слов об этом, и ко мне приехал скандинавский ученый Кристиан Эгге, собиравший ответы на вопрос: что делать в современной школе после отмены обязательной молитвы, на что опираются идеи свободы и ответственности человека?

Обязательная молитва была отменена по двум причинам. Во-первых, население быстро перемещается, и в одном классе могут оказаться исповедники разных религий. Мартин Бубер ярко описал чувство унижения, которое он испытал в детстве, молча присутствуя при католической молитве, чуждой ему. Кроме того, некоторые старшие школьники могут быть убежденными атеистами, и обязательная молитва будет вызывать у них бунт. Здесь мы подходим ко второй причине секуляризации школы: естественные науки доказывают, что в человеке нет ничего вечного, что он конечен и обречен исчезнуть без следа (лопух вырастет, как говорил Базаров); нами управляют гены и гормоны и еще какие-то неизвестные факторы, не оставляющие никакого места для свободы и достоинства. Может ли человек без религиозного откровения найти противовес генам и гормонам, найти цельность, чувство внутренней бесконечности, уравновешивающее страх перед тьмой внешней?

Кристиан Эгге дал мне прочесть, что ему на это ответили африканский архиепископ Туту и Уоллес, секретарь Далай Ламы. Каждый из них опирался на свою традицию. Я попытался ответить иначе, опираясь только на свой личный опыт. Правда, опыты такого рода тоже имеют традицию, и второй толчок взглянуться в бездну пространства и времени мне дал Тютчев, а Тютчев испытал влияние Паскаля, и я мог бы начать с

«Мыслей» Паскаля и стихов Тютчева. Но опыт такого рода — всегда личный опыт, и первый опыт я пережил с обыкновенной тангенсоидой из учебника тригонометрии. Как это она могла прыгнуть в бесконечность и вернуться из нее? А я, нырнув в бесконечность, вынырну или нет? Опыт Тютчева и Толстого только показал мне, что страх бесконечности не может быть снят логическим рассуждением; иначе вопрос уже был бы ими решен. Оставалось растравить в себе страх бездны. Я уже говорил об этом в эссе «Метафизическое мужество». Я, конечно, смертен. А всякое конечное число, деленное на бесконечность, равно нулю. Значит, я нуль и вся наша культура — нуль. Рано или позже время пожрет ее (кстати, на санскрите время и смерть обозначаются одним словом — Кала). Значит — или смерть, или в глубине страха, в который я погружался, есть какая-то светлая сила, опровергающая темную бесконечность смерти, и я прорвусь к ней. Я уже рассказывал все это. Прорыв произошел после трех месяцев работы с самодельным коаном (загадкой, не имеющей рациональной разгадки в буддизме дзэн): если бесконечность есть, то меня нет. А если я есмь, то бесконечности нет.

Трудно описать, что собственно я пережил. Словно вспышка осветила две идеи, показавшиеся мне очень важными. Несколько лет спустя, я согласился, что ничего нового в них не было, просто две разновидности идеализма, субъективного и объективного. Но через эти мысли пробилось чувство, что я как-то связан со светлым и бесконечным, уравновешивающим тьму внешнюю. Сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но у меня не было любви, скорее гордость мнимым открытием. Значит — Божья любовь. Значит, мы окружены каким-то светлым духом, и к нему можно пробиться, если всем собой рвануться к нему. Страх бесконечности исчез. И еще два раза я переживал нечто подобное: после испуга от бомбежки в 1942 году и после промывки мозгов на Лубянке в 1984-м. Каждый раз страх быстро исчезал и приходило чувство полета над страхом.

Единственный ли это способ прорыва к свету? Ни в коем случае. В 1958 году на волне любви я стал молиться (хотя никогда до этого не молился): чтобы ты стала мной и я тобой и друг через друга в вечность. Вспышка света была ослепительной, и я сразу понял, что целостная вечность не менее реальна, чем мир, расколотый на предметы. Я как бы окунулся в вечный свет. Впоследствии я читал, что все это много раз повторялось. Есть Путь страха в Тибете — чо-па. Монахи проводят ночь за ночью на кладбище, у свежих могил, и трубят в трубу из берцовой кости. Очень близка к этому и память смертная, шешепло шоп, у христианских подвижников. Св.Иероним на иконе медитирует, глядя на череп. Таков Путь страха. Но есть и другие пути.

Есть восточные течения, которые видят в страстной любви мужчины и женщины, дошедшей до глубины сердца, подобие порыва к Богу. На Западе культ Мадонны перекликался с культом дамы. Из этой переклички

вырос пушкинский Рыцарь бедный. Любовная лирика доисламского племени узритов получила новую жизнь в суфизме. Этот путь еще не исчерпан.

Прорыв в глубь возникает от страха или от любви, но сильной, очень сильной, и мы попадаем в другую реальность. Какую? Не знаю. Обязательна ли при этом вера? Нет. Я не верил в возможность помогать другому молитвой, только пробивать что-то в себе самом. Но жена моя Зина была схвачена каким-то спазмом, теряла сознание и сказала, что умирает. В состоянии стресса я стал молиться, ломая свое неверие в силу молитвы, и какая-то сила передалась Зине. А у меня два дня держалось повышенное давление — таким было усилие ломки. Только постепенно молитвенное усилие стало привычным и радостным.

По-моему, Кришнамурти был прав, называя свои высшие взлеты безмянным переживанием. Я чувствовал силу такого переживания и в стихах Зины, и в текстах великих созерцателей, о которых писал, и они становились для меня авторитетными. Но при первых подступах к рассказу об этом люди либо немеют, либо переходят к метафорам. Точность описания возможна только при ограниченности предмета, который мы пытаемся описать. Описать свое созерцание Мертон не мог. Он говорил, что созерцанию так же нельзя научить, как нельзя научить быть ангелом. Что может сделать образование? Только не мешать, не загораживать путь словами, не утверждать, что всякое переживание, не доступное повторению исправным учеником, это иллюзия, фантом, греза. Школа должна учить пониманию границ слова. Стоит вспоминать иногда стихи Марии Петровых:

Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи...

И вдруг онемеют уста, тоскуя по лжи.

И дальше:

Попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви.

Даже о нашей несовершенной любви нельзя сказать, не солгав, тем более о совершенной любви, изгоняющей страх. Каждая попытка описать озарение в положительных терминах не выдерживает критики. Бога можно почтить только молчанием, говорил Джордано Бруно. Устарел не опыт великих подвижников, а их язык, их излишнее стремление приблизиться к уму своему времени. Нам надо найти язык нашего времени, не мешающий поискам вечного и целостного, всегда личный. И тогда мы вдруг понимаем, что все атеизмы — «не про то», как говорил князь Мышкин.

Образ целостного и вечного, скрытый в глубине сознания, может жить в современном мире как незримый стержень, достигнутый немногими, но

все же достижимый, реальный, хотя и не доказуемый. Точность доказательства — функция логически корректных операций с банальными, конечными предметами мысли, с атомарными фактами — и только. Такой атомарный факт — среднестатистическая личность. Но личность с окошком в бесконечность недоступна точной науке. О Гамлете пишут четыреста лет, а познается он только лично-стно, по-своему, и точный ответ, что такое Гамлет, немислим. Еще более не поддаются определению центральные символы религии. Все символы веры — только символы, интеллектуальные иконы. Религии древней Индии строились на символах, которые никогда не превращались в символ веры, не сводились к словам. «Язык атмана — молчанье». На все попытки определить Атман Яджньявалкья отвечал: «Не это! Не это!». Так в Брихадараньякеупанишаде. А в Чхандогье Уддалака Арунья уклонялся от прямого определения другой формулой: «Ты — это то!». Ищи ответ в себе самом, в глубине самого себя.

Частные науки, доступные точному определению, рассматривались как второстепенные, группировались вокруг стержня, оставшегося непостижимым. В православии непостижимость центральных святынь подчеркивал С.Л.Франк. Незыблемо только непостижимое. Все, что определяется, доказывается, может быть и опровергнуто. На чем же держится непостижимое? На авторитете людей, переживших его. На *узнавании* подлинности их переживания. Я как-то сразу чувствую превосходство духовного опыта Антония, Мертон и других, хотя не всегда согласен с их словами. Мне кажется, эту способность можно развивать.

Чувство святой тайны, чувство непостижимого трудно раскрыть и укрепить в себе, не опираясь на авторитет прошлых искателей, но я пытаюсь ввести понятие *гибкого* авторитета. Достоин нашего доверия *опыт* древних и средневековых подвижников, а язык, описывающий этот опыт, условен. Он меняется, переходя от эпохи к эпохе и от культуры к культуре. Язык Книги Иова устарел, но опыт Иова остается незбылемым и для ортодоксального иудея, и для Достоевского, и для меня. То же можно сказать о святынях других традиций.

Развитие духовной интуиции начинается в школьные годы, но оно никогда не кончается. Индийские брахманы учились всю жизнь. Ученье их делилось на три цикла, и в каждом был свой уровень зрелости: зрелость ученика (брахмачарья); зрелость в создании своей семьи, своего дома (грихастья) и зрелость учителя (варкапрастха). В наших условиях эта схема требует уточнений и поправок, но, оглядывая свой путь, я вижу, что интуитивно пробивался именно к чему-то очень сходному. Меня всегда тянуло к опыту избранных. И я думаю, что школа должна с ним знакомить, передавать как авторитет культуры, на котором тысячелетия держались великие цивилизации. Ученик должен усвоить его по крайней мере как задачу. Тот, кто не может его вместить, приучается узнавать его

в других и доверять им. Только с этим уровнем зрелости он вправе строить семью и определять свое место в обществе, продолжая доучиваться в практической жизни, в попытках сохранить дух культуры в собственном доме. И если это удалось ему, он в какой-то миг чувствует призвание учителя и может рассказывать о своем опыте другим.

Индийские брахманы, выполнив задачу грихастьи и воспитав взрослых сыновей, уходили в лес и предавались созерцанию непостижимого, передавая свой опыт следующему поколению учителей. Но брахманы оставались ограниченным сословием хранителей культуры. Эта монополия была поставлена под вопрос выходцами из других сословий. Вступая на духовный путь, они становились отшельниками, порывали с кастой и семьей. Таким образом достигалась открытость духовного пути для каждого, но зато вне святого пути оставалась семья. Эта важная потеря есть и в христианском монашестве. Мне кажется, что в XX веке наметилось сознание ограниченности монашества, в частности — у Мертонa. Некоторые его мысли поддерживают мой жизненный выбор. Я решал, одну за другой, проблемы брахмачарьи, грихастьи и варкапрастхи. Хотя в этих терминах никогда не думал.

Зинаида Александровна развивалась иначе. Она перескочила через первые ступени одним порывом просветления. Это более редкий случай. В чем-то она сразу зашла дальше меня, я это понял с первой встречи. Но так или иначе, люди, не способные жить на уровне шелухи, будут рваться вглубь. Без этого не сложится критическая масса, необходимая для спасения цивилизация, не восстановится интеллигенция или что-то вроде интеллигенции. Один из путей к этому — дом, основанный на любви.

Дом, построенный на любви. Часть 2

Мне хочется вернуться назад и сказать, что развитие человека начинается до культуры, в утробе. На последнем месяце беременности это уже человечек. И этот человечек чувствует мир как любящую цельность. Младенец знает это осязанием, он все время притрагивается к любящей цельности, нежится в ней, прислушиваясь к перестуку двух сердец, своего и материнского. Утроба для него — вселенная любви, потому что ничего, кроме утробы, он не осязает, и за утробой прямо начинается Бог. Потом, родившись на свет, мы то чувствуем Его, то теряем, порываемся вернуться, соединяя отдельные радостные впечатления в одно целое, плача, когда оно рушится, рассыпается на злые предметы. Фрейд пытался свести мир младенца к сексу, но секс — частность осязания, частность, через которую взрослые, потерявшие младенческую цельность, иногда возвращаются к ней, переживая соединение инь и ян как Дао, путь цельности. Но происходит это у взрослых очень редко. То, что сейчас называется любовью, мало отличается от любви обезьян.

Сказав это, я чувствую необходимость сразу сделать поправку. Резких

границ между обезьяньим и человеческим нет. Полнота любви — редкость, очень много переходных форм, человеческого, в которое врывается обезьянье, и обезьяньего, в которое вдруг врывается человеке. Я, к примеру, был очень развязан в своем юношеском воображении, но скован в живом присутствии девушки. Мне было бы страшно стыдно подойти к ней со своими желаниями, я предполагал, что каждой девушке хочется любви, а любовь во мне как-то не рождалась, не было личной необходимости в присутствии вот этой именно, неповторимой, незаменимой. Мои поиски колодца в бесконечность через страх, через полет над страхом, заставляли смутно ждать колодца в бесконечность и в любви, а где же его взять?

В конце концов, меня подхватили наплывы. Что такое наплыв? Эпидемия влюбленности, не всегда эротическая, влюбляются и в идеи. Но в начале войны был массовый наплыв желания чьей-то любви как оберега против смерти. Жди меня, и я вернусь. Я это пережил, я пытался на воспоминании об этом строить после войны семью с Миррой Зайдман, хотя по сути наплыв уже выдохся, по сути было желание двух одиноких людей найти друг в друге убежище от холода, уголок тепла, и мы его нашли. Но я был более одинок и заброшен, чем Мирра, и мне тепла не хватало. У нее полнота сердца принадлежала папе и маме, мне достался свой ломтик. Его не хватило, чтобы приехать в лагерь на свидание. Ее мама хранила верность папе, но к нему на свидание не ездила, и это стало семейной нормой. Я помучился и отрезал от себя то, что болело, вместе со всякой мыслью о женщине. Мы с папой неудачники, и надо это признать как судьбу. Философу можно жить одному.

Одновременно в лагере произошло другое отречение, более важное и глубокое. Я об этом уже рассказывал. Мне вдруг стало ясно, что нет превосходства моего ума над другими, нет вообще никакого безусловного превосходства одного ума, нельзя бесконечную сложность жизни описать с точки зрения одной головы. Предоставляю друзьям бороться за первое место, а себе беру второе. Со временем я к этому прибавил: но зато прошедшее сквозь сердце. Целостная истина только в сердце. Частные конструкции для частных целей, частные теории стоят вне полноты истины и не годятся для оправдания поступка.

Эти два минуса вступили между собой в тайные отношения и не сложились в еще один минус, а приготовились умножиться друг на друга и вдруг дать плюс. Плюсом было скрытое движение к полноте сердца. И первая интеллигентная собеседница, которой я посочувствовал, вызвала нарастающее чувство любви. Девушка стала символом, принцессой, попавшей в рабство, и я готов был ей служить, как Рыцарь бедный Мадонне.

В коридорах института такие легконожки бегали стайками, не действуя на мое сердце. Но Ирочку Семенову подсветила рампа истории, и выявилась сложившаяся во мне склонность искать королеву, раненную

судьбой, не признанную людьми, и возвести ее на трон моей любви. Впоследствии, даже живя в счастливом браке, я переживал подобные порывы, сочувствуя Клайву Льюису, полюбившему женщину, больную раком, или — лет на двадцать раньше, после чтения рассказов Ингбор Бахман, в то время уже покойной, воображая встречу с ней в 1945 г. Так не хотелось, чтобы жизнь ее была оборвана самоубийством.

Рампа — великая фабрика наплывов. Влюбляются в певцов, влюбляются в актрис, князья за бешеные деньги выкупают цыганку из хора, а через полгода не знают, что с ней делать. Влюбляются в лекторов. Один из моих старших друзей широко этим пользовался. И есть еще рампа истории, рампа обстоятельств, сочувствие к девушке, работавшей на морозе, когда я сижу у печки (к нам на площадку подсобных мастерских Ирочка попала случайно, ненадолго). Когда ее отправили на общие работы, я проснулся в пять часов утра, обливаясь слезами. Наплыв может быть потрясающе сильным, зажигающим и раскрывающим сердце, но нет главного, нет зрячести, бесконечного познания бесконечно раскрывающейся глубины. Влюбленность, рожденная наплывом, слепа, она создает кумир из двух-трех улыбок. Редкие встречи оставляют простор воображению, и я два года добивался любви Ирочки, пока не увидел ее свободной, совершенно счастливой на вечеринке с танцами, среди друзей, наводивших на меня скуку. Кумир сразу рухнул.

Любовь не слепа, она видит всё как есть, со своими пороками, тонущими во внутренней цельности характера. Моей любви нужна была королевская душа. Ирочка была мнимой королевой, но она оставила во мне знание моего собственного сердца, его силы, которой я не ожидал в себе, и смутную догадку о его направленности.

Бомба замедленного действия взорвалась через два года, в Москве. Женщину опять звали Ирой. Я относился к ней с симпатией, но не собирался вмешиваться в ее разваливающийся второй брак. Я знал от ее мужа, что он мечтает о разводе — и не решается сделать первый шаг. Боится обморока и вспышки туберкулезного процесса. Боится бытовых трудностей размена. Уезжая в отпуск, чтобы отдохнуть от напряженных отношений с женой, он попросил меня навещать больную, которая оставалась одна. Я обещал и добросовестно выполнил свое обещание. И мы читали стихи. Ира вкладывала в стихи всю себя. И однажды книга (антология лирики XX века) упала на пол, и «больше мы в тот день не читали».

После этого поэтического начала (Данте, Ад, гл.5) надо было пройти через другие главы ада. У нас ничего не было для того, чтобы создать наш нерушимый дом, кроме главного: любви. И любовь пробивалась месяц за месяцем сквозь строй проблем, ссор, грязных сплетен. Получив, наконец, 10 м² на четвертом этаже по крутой лестнице для Иры и ее младшего сына (старший жил в общежитии МГУ), мы пытались как-то ужиться втроем, прислушиваясь, заснул ли Лёдик, и будя его приступами тошноты от

начинавшейся беременности. Я не стал ждать очереди на комнату в новом доме, по праву реабилитации, ухватился за возможность вселиться на Зачатьевский, в свою наследственную келью Раскольниковова, 7 м² между кухней и уборной, и при очередной стычке с пятнадцатилетним соперником сказал Ире (чувствуя, что рискую всем): «Больше на Трубную не поеду. Если захочешь, приезжай ко мне на Зачатьевский». Приезжать все-таки пришлось, когда Муравьевы всей семьей болели гриппом и надо было кому-то за ними ухаживать. Но Ира все чаще оставалась у меня и, наконец, совершенно переселилась в мой шалаш, где я придумывал все новые ритуалы любви, а бунтующий Лёдик (с которым мы окончательно помирились только после смерти его матери) остался один со своими кучами неубранной посуды. Ира страдала от полуразлуки с сыном (по вечерам приезжавшим к нам поужинать), но изменить уже ничего не могла.

Между тем, победа чуть не оказалась пирровой. Ира пару раз говорила мне: «самое опасное препятствие для любви — когда не остается никаких препятствий». Тогда надо самому создать барьер сдержанности. А для этого надо откровенно рассказать Ире то, что известно со времен неолита, но почему-то не передавалось по наследству в просвещенный век. Психологическая задача была в том, чтобы признаться в своей личной слабости (которой на самом деле не было, но я познакомился с данными истории, этнологии и мифологии гораздо позже). Я преодолел свое ложное самолюбие — и никаких трудностей не оказалось. Ира минуту подумала и предложила ритуал, который с тех пор строго выполнялся.

Однако надо было придумать, как теперь, при сдержанности, провести более длинную линию в ее сознании, чем линии, оставленные в прошлом. И я открыл тихую музыку осязания (которая опять-таки была кому-то когда-то известна, но не мне). И оказалось, что музыка осязания допускает выход в созерцание сердца сердцем, без обязательного (и потому не свободного) подчинения гормонам. И гормоны подчинились, как дыхание флейтисту.

Тогда наступил полдень любви. Научившись полету над страхом космической бездны и на войне — полету над страхом смерти, я научился теперь полету над инерцией чувственности, разрушающей чувство. И достаточно было взять друг друга за руку, чтобы почувствовать пуповину, связывающую с вечностью. Достаточно было погасить свет — и мы оказывались в царстве, где нельзя говорить ни о чем дневном, обрывалась дневная мысль...

Иногда в это царство врывалась тень смертельной болезни, о которой днем Ира забывала, но мы ее быстро отгоняли. Семья, разбросанная по трем концам Москвы, собиралась по вечерам. Мальчики часто приводили своих товарищей, ко мне приходили одноклассники, заходил и мой учитель Леонид Ефимович, привязавшийся к Ире, и хотя споры не прекращались, но никогда не было отчуждения между отцами и детьми, и каждому, кто

приходил, доставалась улыбка королевы. Многие даже не догадывались, что эта улыбка была победой воли к радости над всеми проблемами.

Утвердившись на своем брезентовом стуле, временно заменившем трон, Ира потянулась к неоконченной повести «Царевна-Колокольчик», потом пришел заказ на книгу об Андерсене, и в три месяца она выучила датский язык и бранила Паустовского, что он не знаком с источниками и многое путает. Книга вышла на прилавки в день похорон. Как говорят, Бог посетил нас. Ира сочла бы трусостью отказаться от операции, которую ей предложили. И на операционном столе она умерла.

Со мной она, вероятно, прожила бы еще несколько лет. Но ранняя смерть все время над ней висела.

Но Бог милостив. Он дал сбыться ее снам, пережить то, чего никогда не было и не бывает (это почти точно ее собственные слова, с которыми я не соглашался, я верил, что так может быть и у других, если каждый будет вести себя, как я), и однажды я услышал от нее, что она не жалеет о своей болезни, потому что без этого я не коснулся бы жены товарища.

Когда Адам познал Еву, люди были простыми и быстро познавали друг друга и прилеплялись друг к другу, по Библии: да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Сейчас и мужчины и женщины стали сложнее и характеры не складываются в 15 лет. Они продолжают сводить концы с концами и в 30, и в 40 и иногда растут в разные стороны; тогда подлинным браком бывает не первый, а третий, как у Ирины Всеволодны Мейерхольд. Но подлинная близость — это все-таки норма, а то, что на каждом шагу, — дурной сон. И само продолжение роста — источник неисчерпаемости брака: если рост идет в глубину, то познание друг друга идет дальше и дальше вглубь, до двух образов Божьих, мужского и женского, соединяющихся, как инь и ян в Дао.

Смерть Иры казалась мне концом света, моим малым, личным светопреставленьем. Никому не желаю этих мук. Но Бог был милостив и ко мне. Я вырвался из отчаянья. Я нашел исцеление в стихах Зины:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне.

Этот образ Бога заполнил бездну, которую я нес в себе, и я снова почувствовал себя живым лекарством для раненой королевы. И дом, основанный на любви, все-таки был построен, стоит сорок четыре года, не поддаваясь старости, и я надеюсь, что память о нем останется. Останется в стихах Зины. Останется в моих эссе, которые я начал писать, одно за другим, на втором году нашей общей жизни. Остается в наших чтениях, на которых мы одновременно учим и учимся.

Слово «узнавание» пришло ко мне, когда захотелось как-то назвать мгновенное чувство доверия, вызванное стихами Зинаиды Миркиной. Я тогда очень нуждался в Боге, чтобы заполнить дыру в душе после смерти Иры Муравьевой.

Узнавание, о котором я говорю, похоже на чувство, с которым Симон-Петр пошел за никому не известным человеком. Я никуда не пошел, но не двинулся с места двенадцать часов и все слушал и слушал, отказываясь от обеда и не давая никого накормить. Какой обед, когда разъяснялось отношение между Богом и человеком.

В узнавании образа Божьего есть что-то сходное с узнаванием своей пары в половой любви, но оно создает не семью, а общину, и не равенство двух, а иерархию, к которой могут примкнуть многие. То, что при такой иерархии возможна и половая любовь, — идея, которая очень медленно проникала в мою голову, хотя я был вдов, а Зина — девушкой. То, что она была не только сивиллой, что она не совсем выжжена вошедшим Богом и сохранила девичью ипостась, я заметил только несколько месяцев спустя. Решение пожениться пришло в глубоком сердце, без всякого участия гормонов. Они проснулись, когда мы поцеловались: они покорялись сердцу и не мешали познанию Любви, правящей мирами. Мне кажется, это ясно из стихов Зинаиды Александровны, написанных уже после того, как мы сложились в одну молекулу.

В первичном узнавании пол не участвовал. Зинаиду Миркину узнавали — с первого взгляда — и женщины. Это узнавание глубин души, где инь и ян сошлись в Дао.

Это также узнавание отблеска глубины в тексте. В наши дни традиции линяют, сбрасывают часть старой словесной кожи и шатаются все авторитеты. Линяет семья, основанная на авторитете старших и религиозном обряде. Линяют сами священные тексты, на которых основан обряд. Женщина, выходя замуж, не чувствует себя за каменной стеной и не готова рожать, как прабабушка Зинаиды Миркиной, 22-х детей. Статистически средняя женщина и двоих не хочет родить. Прочная семья, основанная на подлинной любви, складывается редко, гораздо реже, чем распадаются патриархальные семьи. Дом, построенный на любви, не попадает в статистику. То, что называют любовью, — только увлечение. В лучшем случае — оно переходит в дружбу. Адам не *познает* Еву (и Ева Адама), это не разворачивается в процесс познания бесконечно углубляющейся личности. Скорее приходит в голову другое библейское выражение: Иуда (сын Якова) вошел к Фамари, и она зачала во чреве. А потом Иуда забыл Фамарь, и ей пришлось доказывать его отцовство.

Когда-то я говорил, что демократия в России растет, как морковка, а коррупция — как сорняк, и сорняк морковку глушит. Сегодня — совсем заглушил. Так может быть и с линькой христианской традиции во всем мире. Новое рождается, но сорные семена развала растут быстрее. В этой обстановке сложилась временная сила ислама. Она вся в том, что линька в

исламе только-только началась и может опоздать еще на сотню лет. Что за это время станет с Европой, со всем христианским миром? Кризис христианства рождает слабость цивилизации, кризис ислама рождает террор. Как эти два кризиса сложатся?

На этот вопрос пока нет ответа. Возможно, Патрик Бьюкенен, автор книги «Смерть Запада», окажется правым, и нынешняя цивилизация сохранится только как материал для следующего витка истории, как Рим — для варварских королевств. Но вклад Рима в историю не пропал. Возможна эпоха хаоса. Но рано или поздно вновь всплывет узнавание, чувство подлинности слова или взгляда, передаваемое из сердца в сердце.

В моей жизни узнаванию предшествовал несовершенный личный опыт и тоска по полноте бытия. Но иногда свет дается по благодати с детства, или внезапно озаряет какого-нибудь разносчика, не знавшего никаких метафизических проблем. Можно говорить о всплесках, о взрывах откровения. А с течением времени слова, рожденные откровением, сами по себе становятся откровением, почитаются как святыня. Одна из задач узнавания — пробиваться через словесный покров к самому всплеску, отделить дух от несовершенной буквы.

Зинаида Александровна много раз говорила, что ее лучшие переводы — не со слов, а с бессловесного переживания, в которое она входила вместе с поэтом и из которого каждый выходил на свой язык.

По аналогии с этим мы стали понимать святыне писания как своего рода перевод. Озаряет несказанный внутренний свет, и в этом свете человек, измученный противоречиями жизни, вдруг видит, как подняться над ними, и пытается высказать свой взлет на языке своей культуры. Или передать само состояние взлета — из глаз в глаза, из сердца в сердце.

Один из истоков суфизма, преобразившего ислам (для тех, кто мог вместить дух, не связанный с буквой), — личность Рабийи. Она была рабыней-танцовщицей, от этой юности осталось ее двустиише: «Всем нужно мое тело, Никому не нужна моя душа». Постепенно нашлись люди, которых поразили состояния транса, из которых она выходила с отблеском света в глазах. Ее освободили и дали жить, как она хотела, в созерцании, время от времени проваливаясь в транс и возвращаясь из него как живое свидетельство глубины, где стираются границы между сознанием и океаном безмянного. Только *вид ее* обнаруживал блаженство, которое она испытала. Когда ее спрашивали, в тех словах, к которым люди привыкли, что она видела в раю, она отвечала коротко: когда входят в дом, смотрят на хозяина, а не на утварь. Хозяина она не описывала. Его нельзя было описать. Кришна-мурти называл свое переживание безмянным. С детства он впадал в транс и не слушал учителя в школе. Учитель бил его палкой как недоумка. Теософы признали мальчика мессией. Но Кришнамурти отказался от этого звания и выступал перед людьми как мыслитель, как лектор. Лекции его разрушали суету ума, расчищали место для созерцания, но само созерцание он

передавал короткими стихотворениями в прозе. К безымянному переживанию можно только подвести, а дальше — либо придет благодать, либо всю жизнь искатель живет на ее пороге. Не возмущаясь и не завидуя счастливцам.

Сопоставление Кришнамурти с рабыней, которую долгое время заставляли отдаваться клиентам, показывает, что благодать не знает правил. Можно вспомнить, что и Христа упрекали, зачем он общается с мытарями и блудницами, а не с уважаемыми учеными. Между тем, достойные люди знали только перевод с божеского на человеческий. Узнавание подлинника не дается наукой, не дается высоким положением в общине. Антоний Блум радовался, что у него нет богословского образования, и говорил: как хорошо, что Церковь и попы не испортили во мне живого чувства Бога.

Именно это живое чувство, это безымянное переживание дает всплески откровения. Чаще всего — короткие всплески. Длинные тексты складываются уже в уме, опираясь на откровение, но они не сплошь «откровенны». Системы строят ученики, связывая вместе то, что созерцатели осознали на выходе из благодати. В момент самой большой благодати не думается и не пишется. Всякое писание — уже перевод. А потом составляется канон, и в него вписывается все, что нужно для культуры. Далеко не все из этого действительно священо. Очень многое из текстов, вошедших в Библию, вовсе не ведут в глубину и не озарены безымянным светом. Очень многое там — всего только памятник древности. И еще Павлом было сказано: буква мертва, только Дух животворит.

Христос срывал покровы вечной истины с правил, имевших временный и относительный смысл. В глазах хранителей предания он кощунствовал. Они юридически были правы, осудив его за кощунство. Но в высшем свете их правота была неправотой. Ибо Бог есть Дух, а не текст.

Одна из задач узнавания — отделить всплеск откровения от мыслей, просто пришедших в голову пророку. В исламе строго разделяется Коран и хадисы. Хадисы — это высказывания Мохаммеда, не продиктованные Аллахом. Они авторитетны, но поменьше. Еще менее авторитетны теории правоведов. Их может быть несколько. В исламе на этом уровне допускался плюрализм. Существуют четыре канонические школы права.

Однако и в Коране не все одинаково свято. Иногда Мохаммед принимал свою личную страсть, иногда — политические страсти за голос Бога. Для немусльманина очевидно, что все это человеческое, слишком человеческое... Европейские коранисты отчетливо различают стихи, возникшие в Мекке, и стихи, возникшие в Медине. В Мекке Мохаммед обращался к личности со словами любви и веры. В Медине он дает законы государству. Для своего времени это были хорошие законы. Но то, что очень хорошо пригнано к условиям VII в., именно поэтому не годится в Новое время. Понимание этого постепенно приходит к современным

мусульманам. Махмуд Мохаммед Таха, инженер, живший в Судане, предложил считать Откровением только мекканские стихи. Для фанатиков буквы это было кощунством, и Таху повесили. Но у Тахи есть ученики, и они развивают его идеи. Я думаю, что это толкование имеет шансы на победу, но очень не скоро.

Проблемы разной авторитетности текстов есть и в Евангелии. Сергей Аверинцев убедительно показал, что Петр, со слов которого написано Евангелие от Марка (переводчика Петра), ничего не знал о сказаниях про чудесное рождение Христа. Иоанн этих сказаний тоже не упоминает, он не хочет с ними спорить, а просто обходит их. На Западе некоторые издания Евангелий делаются в два цвета: красным — слова Христа, черным — сказания о нем. Из этого не следует, что сказочный материал в Евангелии не имеет значения. Ему просто нельзя приписывать фактическую достоверность. Это художественное выражение истины.

Ранний буддизм попытался резко разделить сутры, где запечатлены слова Будды, и джатаки, сказки, дававшие простор художественной фантазии. Но потом, в развитии северного буддизма, граница была смазана. К примеру, Вималакирти-сутра сама по себе — сказочное повествование, но это очень глубокий текст. Нет резкой разницы и между стихами и сказками у Зинаиды Миркиной. В христианской традиции есть проблема Ареопагитики, то есть трудов Псевдо-дионисия Ареопагита. Стилистически очевидно, что их автор — аноним V века, а не Дионисий, признанный православным святым I века. Но тексты Псевдодионисия основаны на подлинном мистическом опыте.

Наконец, есть тексты неканонизированных мистиков: Экхарта, Рейсбрука, Ангелуса Силезиуса. Я охотно опираюсь на них, я их узнаю. Но не каждая строка будит мое узнавание. Я считаю откровением рассказ Мартина Бубера, как он внезапно понял, что Бог реален в молитве и перестает быть реальным в рассуждениях о Боге. Намек на это есть уже в Книге Иова. Впоследствии Бубер развил свое озарение в замечательном трактате «Я и Ты»; озарением были две-три строки, остальное — развитием всплеска из глубины в поэтический трактат.

Я нахожу черты откровения в творчестве Е.Ф.Колышкиной, Томаса Мертона, Антония, в стихах Халила Джибрана, РМ.Рильке, в стихах Зинаиды Миркиной. Такие всплески не образуют сплошной линии предания, подхваченного профессиональными толкователями. Это как бы пунктир всплесков, несколько пунктиров, в разных культурах; но они перекликаются, пересекают границы культур. Энтони де Мелло свел вместе и переработал фольклор Дальнего Востока, суфизма, хасидизма и на многих примерах показывает, что возможна передача самого *состояния*, в котором слово рождается, используя парадоксы как намек. Это особенно характерно для буддизма дзэн. Дзэн позволяет также лучше понять слова Августина: полюби Бога и делай что хочешь. Там другие слова, примерно — перейди от помраченного сознания к просветленному,

а там делай что хочешь. Конечно, за 1300—1400 лет были злоупотребления, но не больше, чем в религиях с сотнями строгих предписаний.

Важно то, что слово — только помощник в передаче чувства глубины. Вокруг людей, обладающих чувством глубины, образуются круги *узнавания*. Одни *больше* узнают, другие меньше, но надо ступить хоть на первую ступень пирамиды, взять *направление* в глубину и подлинность, к духу сквозь букву.

Всплески откровения у созерцателей начинаются смолоду и смолоду начинаются прорывы узнавания. Но юность захлестывают страсти, средний возраст запугивается в суете дел, и больше всего отдается созерцанию старость. После удач и неудач в построении дома, основанного на любви, после успехов и провалов на общественном поприще откровение и узнавание откровения становятся центром

жизни. Можно считать случаем, что я *узнал* стихи Зинаиды Миркиной после смерти, разрушившей мой первый дом. Но не случайно, скорее законно, что мы поздно встретились, и узнавание стало частью нашей общей жизни. И не просто частью. Говоря словами Пастернака, сказанными о детстве, это часть, которая больше целого.

Я не забыл того, чему меня научило построение первого дома, но это прежнее знание только помогало строить новый дом. Ариаднина нить, которая проходит через всю нашу нынешнюю жизнь, — это узнавание, узнавание духовной глубины во всем, где она открывается, в движении древесных ветвей, в звуках музыки, в глазах друг друга. Меня упрекали за то, что мы превращаем свой дом в церковь. Это преувеличение, но школой созерцания может быть и семья. Проучившись год в этой школе, в Рублевском лесу, глядя на кроны сосен, я стал сочинять свое первое эссе. Эти эссе — своего рода комментарий к узнаванию.

Мир сложен на поверхности и делается все сложнее и сложнее. Мы запутываемся в противоречиях, раздражаемся и начинаем ненавидеть друг друга. Волны ненависти захлестывают нас. А глубина проста, как мир утробного младенца, окруженного физически осязаемой любовью материнского тела.

Младенец, который нас часто удивляет, наш внучатый племянник Андрюша, как-то спрашивал маму: а нельзя ли мне снова в животик? Мама объяснила, что нельзя. А покормить грудью? Это тоже оказалось невозможным. Но интересно смутное чувство, двигавшее Андрюшу: утроба была центром мира и почти таким же центром материнская грудь. А дальше жить надо на периферии, все более и более холодной. Этого Андрюша еще не пережил, но мы все давно узнали «жизни холод», и каждый спасается от него, как может. Вырастая, Андрюша тоже учился этому и через несколько лет уже умел погружаться в красоту природы. Дай бог ему сохранить и развить это чувство дальше.

Вот вам и программа: опора жизни — любовь к ближнему. Это в мире Андрюши получается, и у нас должно получаться. Но надо любить всех, а всех — не выходит. Срываемся. Поэтому надо покаяться, попросить помощи из глубины (как ее ни называть).

Узнавать — значит видеть в любви любовь и в ненависти ненависть. Тянуться к любви и отшатываться от ненависти. Когда текущие дела нас оставляют в покое, наступает время созерцания, поисков глубины — и узнавания глубины. Это третья ступень зрелости, зрелость третьего возраста.

Следить за голой черной веткой,
Чуть-чуть колеблемою ветром,
Следить часами за метелью С какой-
то непонятной целью, Следить
за мороженым взглядом За всем, что
вечно с нами рядом, — И незаметно
проследить Связующую с Богом нить.

Я хочу добавить несколько слов к сказанному Григорием Соломоновичем. Настоящее узнавание может прийти только в результате глубокого внимания, замолкания, в результате подлинного созерцания.

Был такой эпизод в нашей жизни. В дом к нам пришел поэт, поэт хороший, к которому мы относились и относимся с глубокой симпатией. Пришел он, чтобы читать свою поэму о Христе. Читал с энтузиазмом, с захлебом, а у меня нарастало чувство боли: «Не то, не то». Когда он кончил, я спросила: «Сколько времени вы молчали, дожидаясь, чтобы Христос сам заговорил через вас?» Он был смущен. А я сказала, что в поэме этой есть мечта и воображение, но совершенно нет пространства, в котором автор смолкает. Я хотела бы с ним вместе войти в молчание, но он не замолкал ни на минуту. «И потому здесь вы и нет Христа», — сказала я ему.

Я очень не люблю обижать людей, но говорить утешительную ложь считаю неуважением. Он обиделся. Потом это прошло, но тогда — обиделся.

Как часто мы путаем истинно сущее с воображаемым... Чтобы узнать истину, надо быть готовым на потерю всяких своих представлений о ней, на полное замолкание вплоть до утраты своей отдельности. Мы можем быть едины с миром, когда перестаем отделяться от него, когда наше «я» становится сквозным, прозрачным, когда то, что нас наполняет, нам гораздо важнее нас самих. И только тогда наступает узнавание. И тогда не может быть обиды, не говоря уже о зависти и ревности.

Узнавание — это долгий процесс, в конце которого мы чувствуем, что у всех у нас *общая сущность*. И вот тогда-то мы узнаем, что *есть Бог*.

Это то единое, что делает мир цельным живым организмом, а не набором бессмысленно снующих атомов, не связанных друг с другом. Это та глубина наша, которая не может быть ни моей, ни твоей. Она — и моя и твоя одновременно. На поверхности мириады форм. В глубине — единая сущность. Ее нельзя узнать с чужих слов. Ее надо

открыть самому. Это и есть откровение. А все наши слова — переводы откровения с Божеского языка на человеческий. Ни одно наше слово — не подлинник. Все переводы. И когда мы это знаем, мы смотрим не на палец, указывающий на луну, а на саму луну.

Все священные тексты, все до одного — это указание на то, что выразить нельзя. Они могут помочь нам найти невыразимое. Но они — не оно.

Тишина. Замолкание перед несказуемым подлинником, встречу с которым ни с чем не спутаешь, потому что во время этой встречи жизнь твоя становится абсолютно полной.

Прервите речь... Постоите... Замолчите...

Пускай одни деревья говорят —
Ветвей апрельских тоненькие нити,
В узор которых вплелся весь закат.
Свет золотистый, алый и багровый
Становится прозрачнее, бледней.
Сейчас звучит единственное Слово —
Вот то, что нужно всей душе твоей.
Великий час восполненного счастья —
Как самый высший дар его приму. —
Есть Слово, обращенное не к части Тебя,
не к дробу, а к тебе ВСЕМУ.
Когда ты приближался к этой тиши,
Забыв про всё, что послано судьбой?
Когда ты мог неслышимое слышать?
Когда, когда же был ты всем собой?..

По Божьему следу

Когда мусульмане говорят, что идут по Божьему следу, они имеют в виду написанное в Коране и в хадисах. Когда слова о Божьем следе встречаются в стихах, они не требуют никакого разъяснения. Это метафора, и за ней прямо видишь, как золотятся проблески солнца в листьях или золото осени. И передается смутное чувство просачивания неуловимой высшей силы сквозь законы природы, установленные разумом, сквозь разделительные линии между сосной и березой, между мной и лесом, между людьми, между человеком и Богом.

Белое озеро. Белые ночи.
Самосвечение небес и воды.
Бог показать нам свой образ не хочет,
Но засветились Господни следы.
Свет нескончаемый, вечер бескрайний,
Рост глубины, нарастанье высот.
Нам приоткрылась великая тайна:
Сердце по Божьему следу идет¹.

Можно это осознать как присутствие Святого Духа, веющего всюду и связывающего волшебным узлом все со всем. Или как туманное Дао, не имеющее имени и объемлющее Дао, получавшее имя и сразу же членившееся на множество вещей. Каждая культура находит здесь свои слова, но за словами легко ощутить дыхание Целого, которое чувствуешь в лесу, или у моря, или в горах и теряешь в метро. Прерывается перекличка Царства Божия внутри нас с Царством Божиим вне нас; внутренняя глубина, если не отставать ее, мутнеет, действительность сжимается в плоскость. Не на что опереться. Трудно человеку оставаться самим собой без поддержки дерева, леса, горы, без поддержки другого, без поддержки искусства. Трудно оставаться собой в путанице дел.

Но Антоний Сурожский призывает искать след Божий и там, где его запросто не увидишь. Он говорит о следе Божьем в современном мире, таком сложном, что его не охватишь наукой, не охватишь логикой, а непосредственно ты видишь только клочки без общей связи. Он говорит: «Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или любых принципах, но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье... Мудрость состоит в том, чтобы погрузить

свой взгляд в Бога (то есть в неизреченную тайну, а не в слова о ней. — Г.П.), погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог»². Сразу же объясню — потом буду свое объяснение развивать, — что мудрость пережитого, отлившаяся в принципах, не отрицается, она только релятивируется, лишается первенства. Это утверждение и в то же время отрицание не поняла машинистка, когда я процитировал Антония в статье о Великом инквизиторе. Девушка закрыла кавычки на похвале опытности, на похвале принципам, а слова о безумии Божьего следа отнесла на мой счет. Хотя в Писании уже было сказано, что путь Христов — для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Сказано было ап. Павлом. Но тот же Павел установил новые правила, такие же твердые, как в Ветхом Завете. Только от революционного мига поворота от Ветхого к Новому осталось изречение: «Буква мертва, Дух животворит». Что сказано, то сказано. Впрочем, под буквой обычно мыслились отмененные принципы и законы, а не то, что установил сам Павел. Таким образом, Павел повернул стрелку — и поезд повернул с одной железной колеи на другую.

Христос этого не делал. Он просто сходил с рельсов и не терпел при этом крушения. Он ступал по водам и не тонул. Он не отменил ни одной буквы Моисеева закона, а нарушал, когда находил нужным. Сын человеческий — Господин субботы. Предлагать это первому встречному — соблазн. И право нарушать закон во имя любви было твердо закреплено за Христом. Примерно так право помилования не вручалось первому попавшемуся, только королю или президенту.

По колее Павла пошла Вселенская Церковь, но для иудео-христи-ан решение Павла было кошунством. И в дальнейшем всякое решение церкви, применявшейся к обстоятельствам истории, вызывало раскол. Иконоборцы остались верны заповеди «не сотвори себе кумира». И вероятно, многие не признают правоты Антония. Он не указал никаких четких, ясно зримых вех Божьего пути. Только описал, в каком внутреннем состоянии открывается Божий путь. То есть описал свой собственный опыт, опыт внезапного понимания, — когда вязать, а когда разрешать.

Мне хочется подчеркнуть несколько отдельных мест в тексте Антония. Во-первых, самое начало: «Изнутри глубинного созерцания... только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина», *подлинного* христианина, так же как деятельность *подлинного* буддиста, хасида, суфия и т.п. Правда Божия, уходящая вглубь неизреченной тайны, не дается никаким знаком, никаким обрядом, никаким таинством, никаким интеллектуальным усилием. Дальше, пропускаю несколько строк: «Мы призваны жить на большей глубине (чем уровень принципов, идей), жить глубокой внутренней жизнью. и сама эта глубина позволит нам вглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву

жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни...» Поэтому «мудрость поступает “безумно”. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взгляд в Бога (второй раз поясняя: в непостижимую, не влезающую в слова тайну Бога. — Г.П.), погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит проступать Бог». Эта похвала абсурду следует сразу после дифирамба человеческому опыту.

Похвала безумию никак не вытекает из высокой оценки «интеллектуально основательных, точных, глубоких выводов». Антоний не объясняет, почему они становятся относительными, не бесспорными и прямо ложными, не говорит, когда это происходит и когда надо переступать через принципы, нарушать законы. Когда принцип доведен до абсурда? Но как установить момент перехода истины в абсурд? Я думаю, что все принципы истинны только в клубке, ограниченные другими принципами, ограниченные, если можно так сказать, духом клубка, духом культуры, которая и есть клубок принципов, а не логическое развитие аксиомы, из которой выводятся теоремы и леммы. Культура ставит принципы на место. Сорвавшись со своего места, вырвавшись в абстрактный простор логики, принцип распухает, как раковая опухоль, и из блага становится злом.

Так появляется ленинское определение диктатуры, ничем не ограниченного насилия. Логически оно правильно построено. Однако историческая диктатура, римская, вовсе этим не была. Диктатура — чрезвычайные полномочия, дававшиеся сенатом на шесть месяцев с требованием отчета. Срок мог быть продлен — опять на шесть месяцев — или не продлен. Диктатура не давала права распустить сенат и объявить сенаторов врагами народа. Пример показывает, что историческое определение термина не допускает упрощение до уровня математического определения треугольника. Исторический принцип истинен в своей, если хотите, неточности, в своей не до конца выявленной связи с другими принципами культуры. Став математически точным, принцип тут же становится ложным. Всякий принцип, вырвавшийся из исторического клубка на логический простор, становится злом, становится силой, разрушающей культуру.

Но и культура в целом не обладает бесспорной истинностью. Христиане, осознав себя вне античности, увидели в ней столько пороков, что сами добродетели язычников посчитали скрытыми пороками. Но это опять победа логики над историей и лжи над истиной.

В дзэнском предании есть легенда о том, как Будда молча показывал ученикам цветок. В цветке была истина, но цветок не говорил. Цветок, увиденный созерцателем, сопротивляется слову, не дается слову.

Тютчев не был буддистом, но он это понимал.

Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими — и молчи.

Молчи — пока не родится *поэтическое* слово, основанное на чувстве ритма вселенной, а не на правилах логики и грамматики и на чем угодно, сорвавшемся с Божьего следа, потерявшем нить Ариадны. Но не думайте, что машинистка — дурочка. Она столкнулась с очень серьезным вопросом.

Все ответы давно готовы,
Но еще есть один вопрос.
Как узнаешь ты, если снова К нам
сегодня придет Христос?
Не появится знак небесный,
И опять, как тогда, опять,
Кто-то властный и всем известный
Нам прикажет его распять.
Сердце стукнет, как в окна ветер:
Самозванец ты или Бог?
Кто поможет мне, кто ответит?
Почва выплыла из-под ног.
До чего же трудна свобода.
Никого в мировой тиши.
Неужели идти по водам
Внутрь, в бескрайность своей души?

Когда человек живет, не отрываясь от природы, путь природы и путь сердца сливаются в единое Дао. Только останови болтовню ума, держи глаза и уши открытыми, досматривай природу до духа, веющего в ней, и сразу замечай в себе утрату ритма в делах и размышлениях. А почувствовав утрату — восстанавливай потерянное. Молитвы, стихи, музыка, живопись — разные средства раздуть угли внутреннего костра, приглушенные пеплом, и в озарении находить Божий след. Но мы долгие часы, дни, а иногда недели и месяцы живем в техногенном мире, устроенном вопреки природе. «Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки, / дивным меандром. Он — краткость, прямая. / Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый. / Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы» (Рильке).

Нужно очень долго разжигать внутренний костер, чтобы пламя его сожгло мусор и открыло путь глубокому созерцанию, до мига, в ко

торый хаос человеческих дел будет схвачен волшебным узлом и станет единством, станет иерархией, в которой все на своем месте и нет сомнения, что выше и что ниже, когда вязать и когда разрешать. Если этого не понять и не исполнить, Антоний вам ничего не сказал. Нужен огонь, разгоревшийся в созерцании, *пламенно-чистый* огонь. Эти слова о пламенной чистоте — сердцевина всего рассуждения. Они перекликаются со словами Цветаевой о белом огне, белом чистотой сгорания, пламенем без дыма, без копоти страстей. И еще одна перекличка: «пламя без дыма» — термин индийской мистики. На глубине все великие пути сходятся.

Божий след открывается *пламенно-чистому* созерцанию, и на этом созерцании, на проблеске *встречи* (как Антоний назвал свое чувство присутствия Бога) он мысленно строил свою церковь. Я думаю, это Незримая Церковь, где каждый стоит на Страшном Суде, перед лицом Бога, и не может сомневаться в том, что видит и слышит в глубине своего сердца. Незримая церковь никогда не займет место зримой, церковной организации грешников, более или менее сознающих свой грех, свою оторванность от Бога. Незримая церковь не имеет никаких рамок, никаких догм и опирается только на слова Христа: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами. В пламенно чистом созерцании нет границ между людьми. Но машинистка по-своему права. Ей нужны рамки, нужны правила. Что для *встретивших* истина, для нее соблазн.

Я писал³ и говорил по телевидению (которое мои слова вырезало) и снова говорил по интернету (роШ.ги), что в споре между двумя реформаторами, Антонием Блумом и Сергеем Аверинцевым, оба правы. Правда Аверинцева — историческая. Нет у нас по Антонию на каждую епархию. Нет у нас очень своеобразной обстановки, в которой жила Сурожская епархия. Реформа Церкви не должна стремиться к недостижимому. Но недостижимое исторически остается духовно достижимым, и кто может вместить, пусть вместит. Между эсхатологическим меньшинством и историческим большинством возможен диалог. И местом примирения может стать поэзия, подобная Псалмам Давида, стихам суфиев и Тагора. Ислам, при всем своем культе слова, записанного в Коране, ужился с суфизмом. Я не вижу непреодолимых препятствий для чего-то подобного и на русской почве.

Примечания

¹ Если автор не оговорен, цитируются стихи Зинаиды Миркиной.

² Континент. 1996. № 89.

³ В статье: След личности // Вестник Европы. Т. XIII—XIV.

По Божьему следу

Божий след можно определить по-разному. Но одно несомненно: это не застывший след. Это мерцание вечно настоящего. Мерцание внутреннего движения среди внешней неподвижности и одновременно — внутренней незыблемости среди внешней зыбкости; бессмертие среди постоянного умирания:

Тот, кто идет в стоящем,
Тот, кто стоит в идущем...

Во внешнем мире остаются всегда застывшие следы. Они превращаются в опору, в твердые правила, которых незыблемо придерживается всякий фундаментализм. Но истинный духовный путник, действительно ищущий Божий след, ни за что внешнее удержаться не может. Иначе он будет бесконечно далеко от Бога. Рильке обращается к Богу с такими словами:

О, Ты свободный! Расточитель света!
Прносишься, минуя ночь и день,
Ничьей стрелой ни разу не задетый,
Тысячерогий золотой олень!
О, лес рогов! Лес древний! Все сплелось Ты
сбросил их. Быстрее! Быстрее! — Одним
Прыжком (О, дрожь!) промчался СКВОЗЬ
Охотников, — для них не достигим.

И дальше:

За вещью вещь в неистовой погоне
Мы разрываем. Но внутри предмета
Нет ничего. Опять пусты ладони.
Мы жаждем ЗНАТЬ. — И в старой книге где-то
Подчеркнуты места, непостижимо Невнятные. Ты
там прошел. Но — мимо.
Кто удержал Тебя? Идешь, ломая
Все загражденья, — мимо нас, сквозь нас.
Ты говорил? Но вновь душа немая.
Ты здесь дышал? Но где же Ты сейчас?

Где? На этот вопрос откликнется только эхо. Внешнее пространство немо и глухо. Пустыня. Но пустота ее — кажущаяся. Отважься

пройти сквозь пустоту. Отважся на одиночество. Вглядиись. Вступи
вглубь.

Так и со мной случалось,
но Тебя я
Не спрашивал. Я лишь служу Тебе И
жду лица, сквозь вещи прозревая
Невидимое. По ночам в мольбе
Склоняясь, не жалуясь.
Я — вглядываюсь.

Перевод мой

То самое вглядывание, пламенно-чистое, о котором говорил Антоний.
Бесконечное внимание сердца, распахнутого настежь, готового к тому,
чтобы незримый вечно идущий прошел *сквозь* него.

Чистый пламень вглядывания сжигает покров, отделяющий от вечной
жизни. Обычно покров — это защитная оболочка — очень крепок. Он
сопротивляется уничтожению, сопротивляется тому, что иногда называют
мистической смертью, тому что сквозь «я» открывает дорогу Богу.

А Бог опровергает смерть.
Не спрашивайте, «как»?
Кто знает Бога, знает твердь,
Разрезавшую мрак.
Кто знает Бога, знает взмах Незримого
резца,
Который рассекает страх Обвала и
конца.
Сие не ведомо уму,
Оставьте ваши сны.
Кто знает Господа, тому Игрушки не
нужны.
И гроб не пуст, и камень цел,
Но в сердце — сноп огня.
Мой Бог пройти сквозь смерть сумел,
Шагая сквозь меня.
Огонь! Огонь! Огнем палим,
Расколот вечный мрак.
Чье сердце сделалось сквозным,
Тот понимает «как».

«Чье сердце сделалось сквозным» — вот основа основ. Искать Божий
след можно только сквозь себя, внутри себя. И это самое трудное. Обычно
ищут под фонарем, больше всего боясь заглянуть в темноту — внутрь, в

бездонность своей души. А между тем, без этого заглядывания глубоко внутрь, без этого пламенно-чистого взгляда, под которым внешний мир как бы расступается, сгорая, ты не нападешь на след Творца этого мира. Вы все время будете в разных мирах. Он — внутри, ты — вовне. И вновь и вновь повторится история Христа и тех незапятнанно правильных хранителей закона, которые Его предали на распятие.

Все дело в том, что законы жизни не пишутся чужой рукой раз и навсегда. Законы жизни создаются в нашем глубоком сердце, нашим Духом, который мощнее самых незыблемых гор. И тут мне хочется проиллюстрировать мою мысль одним современным американским фильмом. Он может быть в чем-то спорным, но не в главной мысли своей.

Мне не слишком нравятся название этого фильма, но оно таково: «Куда приводят мечты». Я бы предпочла «Куда приводит любовь». Но фильм назван как назван. Действие там происходит почти все время в загробном мире. Семья — муж, жена и двое детей. Сначала погибают дети, потом отец детей. Крис, муж художницы Энн. Она в полном отчаянии кончает с собой. Крис узнает об этом, находясь в раю. Ему сообщает это друг, учитель, умерший раньше него.

«— Когда я ее увижу? — восклицает Крис.

— Никогда.

— Как?

— Вот так. Она в аду. Она попала в мир своего отчаянья. И это навсегда.

— Нет!

— Как нет? Таков закон, и он незыблем».

Но для Криса нет незыблемых законов, которых не понимает его сердце.

Он идет в ад. Он проходит через весь ад. Он находит темную пещеру, наполненную пауками. Там — его любимая. Путь был невероятно трудным. Вот он у цели. Но — она не узнает его. Ее отчаянье ее съело. От нее не остается ничего, кроме страха перед пауками. Все попытки Криса пробудить ее напрасны. Он может только чуть уменьшать ее ужас, снимая с нее пауков. И он говорит: «Ну что ж, я остаюсь с тобой. Скоро я буду таким, как ты. Может быть, перестану узнавать тебя, но я остаюсь. *Лучше быть с тобой в аду, чем без тебя в раю.*

Эта абсолютная решимость выполнять волю Любви вопреки всему остальному в себе подобна решимости на распятие.

Неколебимая решимость выполнять волю Любви, даже если ты сам погибнешь, — это и есть воля, творящая жизнь. Любовь творит жизнь. Но совершенная любовь, на которую очень мало кто способен. Она не ищет награды. Она сама свой смысл, смысл души, жизни. Лучше любовь, жертвующая жизнью, чем жизнь без любви.

Эта уверенность — основа чуда, основа творчества. Эта уверенность — самая большая сила на свете.

И эта уверенность дошла до слепой и глухой души Энн и — пробудила ее. Она узнала Крису. Как бы наткнувшись сердцем на незыблемость его любви. Это привело ее в себя, и она вышла из ада.

Нет предопределения. Нет рока. Нет чуждого нам Бога, диктующего извне свои законы, свои условия. Рок — это не вмещенный внутрь Бог. По Божьему следу можно пройти через весь ад и выйти в рай. Но Божий след не где-то, не рядом с тобой. Он *проходит через тебя*.

Другой пример отыскивания Божьего следа я хочу привести из романа XX века, из романа «Раб» нобелевского лауреата, еврейского писателя Башевиса-Зингера. Божий след, который находит здесь автор, пробивает стены национальных различий, стены религиозного фанатизма, слепой уверенности каждой группы в своей обособленной правде.

Герой романа — молодой еврей, бежавший от казаков Богдана Хмельницкого, вырезавших всю его семью. Скитаясь, он попал в руки разбойников, продавших его в богатую крестьянскую семью. И вот он стал рабом, пасущим скот хозяина в Карпатах высоко в горах. Наедине с горами, наедине с Богом, раб находит свою внутреннюю свободу и достоинство.

Таков герой. Героиня — дочь хозяина, Ванда. Она часто подымается на горное пастбище, принести рабу его хлеб. В доме у себя Ванда видит грязь физическую и душевную. Она чужая в своей семье. Подымаясь в горы, встречаясь с Яковом, она попадает в другой мир. Ей кажется, что в душе Якова так же просторно и чисто, как в этих горах. Только здесь она начинает дышать полной грудью. И она полюбила Якова той совершенной любовью, больше которой не бывает. Ей безразлично, что он еврей и раб. Напротив, она думает, что все евреи таковы. Она готова была бы на все — перейти в иудаизм, уйти из дома. Только бы быть с Яковом.

Но для Якова думать о близости с ней после всего, что сделали с его семьей и с ним христиане, — страшное кощунство. Они с Вандой разделены пролитой в погромах кровью. И все же любовь уже закралась в его сердце и постепенно пробивает все стены. Даже когда еврейская община выкупает Якова из рабства и они с Вандой расстанутся, казалось бы, навсегда, любовь оказывается сильнее всех обстоятельств. Яков не выдерживает разлуки, приезжает ночью к Ванде, выкрадывает ее, выдает за немую Сарру, женится на ней и начинает жить среди евреев.

И вот Сарра-Ванда видит, что окружающие ее евреи вовсе не похожи на Якова. Они так же мелки, лживы, корыстны, как и ее родичи. Формы жизни другие, чем в горной деревушке, а пошлость одна.

Роман кончается трагически, но сквозь него проходит свет любви, пронзительный свет — тот самый Божий след, который преображает душу и уводит к нетленной сути жизни.

Бог не связан ни с еврейским, ни с христианским бытом. Бог в той глубине, о которой все забывают ради корысти, ради ежедневных мелочных забот, ради своей чечевичной похлебки.

Реки крови проливаются из-за этой чечевичной похлебки, горы слов нагромождаются. Каждая группа выдумывает себе своего бога. Образ Божий разрывается на множество частей — распинается в распрях.

Божий след становится следом крови. И следом Бога в душе становится глубокая боль. Бог с теми, *кого* распинают, а не с теми, *кто* распинает. С теми, кто страдает, а не с теми, кто заставляют страдать.

Иначе не может быть. Весь таинственный смысл жизни в том, что я не только я. Я не отделима от тебя, от него, от кого-то совершенно не знакомого мне, как и от каждого листочка. И от каждой звезды. непонимание этого — корень всех наших бед.

Один из героев Достоевского, Смешной человек из фантастического рассказа, чувствует себя *только* собой, оторванным от всего и всех. И вот, видя в хмурую сырую петербургскую ночь промелькнувшую между туч звездочку, задумывается: что если я сделаю подлость здесь, на земле, и попаду на эту звездочку, будет ли мне стыдно и больно или там это не в счет, *там* будет все безразлично?

Весь рассказ (а может быть, весь Достоевский) — ответ на этот вопрос, утверждение веры, что каждое движение нашей души, где бы она ни находилась, отдается на всех звездах.

Внутреннее пространство едино. И те, кто думают, что можно причинить боль другому без всякого ущерба для себя, не ведают, что творят. Вот за них (за нас всех) и просил Христос на кресте: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Глаза «ведающих» всегда бездонны, как у икон, и бесконечно кротки. Они хорошо знают, что всякая агрессия обернется агрессией против тебя самого. Они не прочитали у кого-то, они внутренним знанием знают, что злом зла не прогонишь... Любовь к врагам — это не прекраснодушная мечта, а реальная необходимость для тех, кто ведаёт о нашем невидимом глубинном единстве.

О мир мой одухотворенный,
Как облаков прозрачных пух,
Как легкий лист в древесных кронах
Вот так во всем трепещет Дух!
Плоть мира в каждое мгновенье
Небесным Духом налита,
И это одухотворенье И есть земная
красота.
Миллионноликая, живая —
Огня творящего ожог. —
Себя повсюду узнавая,
Ликует вездесущий Бог.
Единый — в каждой малой твари.
В Нем — наше тайное родство.

И знай — кого б ты ни ударил,
Ударишь Бога своего.

Вот такие знающие глаза, иконные глаза, ведающие о нашем тайном единстве и совершенно не способные причинить кому-либо зло; глаза, в которых есть боль за каждого из нас, — такие глаза я увидела однажды в кинофильме, опять же (ничего не поделаешь) американском, «Зеленая миля». Это были глаза великана-негра. Он был приговорен к казни. Конечно, за чужое преступление. Фильм этот — великая притча XX века, заново открытый Божий след.

Свидетельство о том, что Евангелие не умирает. И не потому, что издается огромными тиражами, не потому, что люди заучивают цитаты из него, повторяют дословно молитвы. Не потому! А потому, что отыскивается снова та самая Глубина, из которой родились евангельские слова, та самая Глубина, и тогда и сейчас приводящая к казни...

Казалось бы, Джон Кофи никак не похож на евангельский образ, и обстоятельства совершенно другие. Всё, все другие. Никаких повторов. Никакого внешнего сходства! Но. Тот же самый внутренний Божий след.

Джон Кофи творит чудеса. Исцеляет больных, воскрешает мертвых. Он чудотворец. Но не это в нем главное. Это — следствие главного. Главное в том, что он сам был чудом.

Есть чудо — «что» и чудо — «кто». Люди очень падки до чуда, которое «что». Нам обычно нужно, чтобы что-то случилось, чтобы не ведомый нам Бог исполнил нашу человеческую волю.

Но. я уже не раз приводила слова нашего любимого Мелло: «Вы считаете чудом, когда Бог исполняет волю человека; а мы считаем чудом, когда человек исполняет волю Бога».

Негр со смешным именем Джон Кофи (по-русски — кофе) — чистый сосуд, в который вошел Дух Божий.

Когда он впервые появляется на экране, я еще ничего о нем не знаю. Его обвиняют в страшном преступлении, но я увидела его глаза и была потрясена. Глаза святого, встретиться с которым — величайшее счастье.

Доброта, любовь, бесконечное сочувствие чужой боли его переполняют. И он исцеляет от мучительной болезни своего босса, спасает обреченную больную раком мозга жену начальника тюрьмы и даже воскрешает маленького мышонка — последнюю радость одного заключенного, причувившего его.

Мышонка раздавил садист полицейский. Один из всех полицейских — садист. Остальные — нормальные люди, даже хорошие. И среди заключенных тоже один садист, выродок. А остальные — нормальные люди, люди, как люди, слабые, что-то совершившие (мы не знаем, что именно, да это и неважно), кающиеся, обреченные на муку. И среди них один святой.

Этот фильм — великая притча о человечестве, так и не понявшем себя

и жизнь. Так и не научившемся отыскивать живой след Божий. Даже не поставившем себе эту задачу.

Другой герой фильма — полицейский, начальник корпуса смертников. Тот, которого исцелил Джон Кофи, видит, что перед нами чудо Божье, и делает все, чтобы его спасти. Но великий негр его останавливает: «Не надо, босс. Ничего не надо делать. Я устал, босс. Я хочу умереть. Все страдания, какие есть вокруг, все, все — во мне. И эта злоба, злоба...».

Сколько злобы он видит! Да еще фанатично уверенной в своей правоте, в том, что она «знает как надо». А этот великий и незаметный (неузнанный) прозорливец ничего не знает умом, логикой. Когда его везут куда-то, не говоря куда и зачем, он спрашивает: я должен помочь одной женщине?

«— Откуда ты знаешь это? — удивляется везущий.

— О, я многое знаю, хотя я ничего не знаю, — отвечает Джон».

Его сердце видит след Божий и идет только по этому следу, другим не видимому.

Люди, идущие по Божьему следу, не дают нам никаких установок, правил. Они учат нас без учительства — собственной жизнью, всем своим образом.

Если буквально следовать за словами Евангелия, они неисполнимы. Исполнишь одно, будешь противоречить другому, и в конце концов из-за слов Евангелия начнется великая война, что мы и видим на протяжении двадцати веков.

Слова Христа связаны с обстоятельствами и не должны применяться без толку. В одном случае «не мир, но меч». В другом — «взявший меч от меча и погибнет». Цитатами можно оправдать любое зло: и насилие и предательство. Но истина Христа — в живом следе Его целостного образа, вошедшем в наше сердце.

О, этот долгий, долгий Путь От
самого себя до Бога! Случайно б
только не свернуть, Не потерять
бы вдруг дорогу. Как много
дней, а может, лет На
заповеданную встречу:
Идти за Деревом вослед,
Или за Сыном человеческим.
За искрою... — За кем-нибудь —
Проводников на свете много, Но
не за тем, кто знает Путь, — За
Тем, кто сам и есть дорога.

О смысле красоты. Введение к лекции

Я часто вспоминаю стихи Джона Донна: человек — это не остров, это часть суши, часть великого континента. И где бы ни убавилось от этого континента, где бы ни рушились куски суши, они отрываются от нас, от каждого из нас. Эти слова запомнились мне в эпиграфе к книге «По ком звонит колокол». Я читал его по-английски (еще не было русского перевода), медленно вдумываясь в каждое слово. Человек — не атом, окруженный пустотой, это узел великой сети Природы, и где бы ни вырубали леса, это рубят по нашим жилам. И еще в одну сеть мы вплетены, в сеть духа. Мы неразрывно связаны с духом Целого, рождающего из своей глубины миры природы и миры человеческой истории. Эта глубина — глубина нашего собственного сердца. Оторванный от природы, человек физически задыхается. Оторванный от царства духа, человек перестает быть одной из сердцевин вселенной, сердцевин, таинственно связанных с сердцем — океаном, таинственно объемлющим весь мир. Потеряв эту связь, просвечивающую в ребенке, человек становится животным, диким или прирученным, влекущим свое ярмо или бунтующим, звереющим в своем бунте.

Мы привыкли жить в зоне, где несколько деревьев оставлены для имитации лесов и рощ. И мы привыкаем к богооставленности. Мы даже не сознаем ее. Ее чувствуют и от нее страдают только святые. Тоскующие грешники читают книги пророков и святых, но проходят мимо живых встреч, мимо света Целого, вспыхивающего в груди, — и запутываются в словах, выпаривают из слов принципы — и доводят их до абсурда. Нельзя причаститься истине Целого без встречи с Ним, без прямого контакта с точкою, где наше сердце едино с сердцем вселенной.

Мы не можем превратить мегаполис в сад. Не можем это сделать своей личной силой и волей, теперь, сейчас. Тут нужны вековые перестройки. А приток любви совершается в нашем собственном сердце, переполненном до краев, когда в перенасыщенный раствор попадает веточка и начинает обрастать кристаллами. Нужен только перенасыщенный раствор тоски по цельности.

Всемогущее сердце мое,
Бесконечных миров сердцевина...
Ты, наполненное до краев,
Со вселенною всею едино.

Перенасыщенность создает красота, открытая бесконечности. В стихи Пушкина постоянно вплетаются слова «святыня», «божество». Любовь, вызванная красотой (человека, дерева, залива) нераздельна и в своей полноте всегда соединяет по сю- и по ту-сторон- нее. Красота — Вергилий, ведущий нас по Божьему следу, обходя логические тупики. Красота вела Мохаммеда в Мекке и перестала вести в Медине, где он начал решать политические задачи. Красота воскресла в стихах суфиев. Красота ведет нас сквозь противоречия Евангелий к живому Христу. Об этой красоте говорит Зинаида Миркина.

Смысл красоты

В прошлый раз мы много говорили о знаменитой, истолкованной на все лады фразе Достоевского «Мир красота спасет». И сейчас я хочу вернуться к этой теме и развить ее.

Достоевский сказал о красоте и это, и другое: «Красота — страшная, ужасная сила». Да, красота может быть и тем, и другим, и третьим.

Красота — это Божий урок.
Нам Творец преподавал красоту.
Тихо падает легкий листок,
Задержался, дрожит на свету...
Бог велел: «разгадай и пойми».
Но загадка трудна иль проста —
Между Богом самим и людьми Вечным
сфинксом молчит красота.
Отдана в нашу полную власть...
Что ж нам делать с загадкою той?
Мы вольны иль убить, иль украсть,
Или, может быть, стать красотой?

Да, мы вольны отнестись к ней как угодно, сделать с ней все, что изволим. Можем смотреть на нее, как охотник на дичь. «Зверек хорошенький», — говорит Свидригайлов Дуне Раскольниковой, — и вдруг понимает, что пистолет, запертые двери, вся его сила и хитрость ничего ему не дадут. Нужно другое. А так как к этому другому он совсем не способен, — он кончает жизнь самоубийством. Она утеряла для него всякий смысл.

Думаю, что и для Гумперта-Гумперта Лолита была зверьком хорошеньким. Зверек этот дался ему в руки, и он тешился ею, сколько мог. Потом очень страдал, когда она ускользнула от него, а в конце понял вдруг, что она не зверек, а живая душа, и роль охотника показалась ему дурной, грешной ролью. Но что же делать с этой живой душой?

Но что нам делать с розовой зарей Над
холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять Присуждены
идти все мимо, мимо.

Вопрос, заданный Гумилевым, приближает нас к религиозному мироощущению. Мы замираем на берегу тайны, «благоговей богомольно перед святыней красоты». Более того — мы понимаем, что тут рядом тайна нашего преображения — рождения нового вида, нового существа.

Так некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья Тварь
скользкая, почуяв на плечах Еще не
появившиеся крылья...

Так вот как появляются крылья, — какое-то совсем новое духовное чувство жизни — шестое чувство, когда уже нет охотника и зверька; нет двух, а есть одно — розовая заря входит в душу. Душа светится, как розовая заря, и кажется, может охватить собою мир. Итак, можно убить если не красоту, то самого себя, как Свидригайлов; можно украсть красоту, как Гумперт-Гумперт, а можно самому стать красотой, как предчувствует Гумилев.

На самом деле, красота дается нам как Благая весть. Дается всегда. И ждет, чтобы Ее услышали. Благая весть — это весть от Бога — душе, которая должна зачать от Него и родить нового, обоженного человека — *стать* обоженным человеком.

Обожение — это цель нашей жизни. Красота — ангел, благовествующий нам об этом. Духовные истины все выражаются только метафорой. Буквально сказать о духовном нельзя. Недаром Христос говорил большею частью притчами, иносказаниями. И все великие мистики говорили так — иносказаниями или поэтической метафорой. Мы привыкли принимать буквально, что Иисус родился не от Иосифа, а от Духа Святого. И мы совершенно забываем слова самого Иисуса: «плоть от плоти родится, а Дух от Духа». В ответ на недоуменный вопрос Никодима — как это можно войти снова в лоно матери, чтобы родиться свыше. «Только безумный понимает так, — ответил Христос. — Плоть от плоти родится, а Дух от Духа». Мейстер Экхарт много говорит о божественном рождении, о вечном рождении — и это всегда рождение Бога в душе. Ни о каком плотском рождении речи у Экхарта не идет и не может идти, ибо это просто не о том. «Не про то», как говорил князь Мышкин. Совершенно не про то — добавлю я. «Да поможет нам Бог, сегодня вновь рожденный человеком, дабы мы, бедные дети земли, родились в Нем божественными», — говорит Мейстер Экхарт.

Рождение божественного человека — богочеловека — это рождение безгрешного человека. Как ни обросло легендами имя Иисуса, но даже чисто канонически о нем сказано, что Он ничем не отличается от обычного человека, кроме отсутствия греха. В этом «кроме» заключено бесконечное содержание. Безгрешный человек — это человек, в котором разрушилась преграда, отделяющая его от Бога. Безгрешный человек —

человек, слитый с Богом в одно. (Не знаю, надо ли повторять то, что я много раз говорила: единство ни в коем случае не означает равенства: моя рука не равна мне, но едина со мной.)

Итак, красота — вещь, призывающая нас родить в себе безгрешного человека — стать безгрешными. Присутствие красоты в нашем мире — это присутствие ангела-хранителя. Но только он ничего не может сделать без нас, как ничего не мог сделать даже сам Христос, когда Ему не верили, то есть когда Его в упор не видели. Видим в Нем человек. Бог в Нем невидим. Глазам не виден. Видим сердцу, если оно не слепо. Ангеличность красоты тоже видима только сердцу. Глаза могут видеть розовую зарю и считать ее слепой игрой природы. Глаза могут видеть красивую женщину, как зверька хорошенького. А что видит в ней сердце? — это только сердцу становится ясно.

Мне уже случалось приводить слова Энтони де Мелло о том, что значит уметь видеть. Один из ответов был: увидеть, что золотое ожерелье, о котором ты мечтал, находится у тебя на шее: т.е. по-настоящему увидеть (увидеть всем сердцем) — значит уже достичь цели. «Имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит» — слова, красной нитью проходящие через все Евангелие. Ничего больше не надо. Никаких действий. Если ты действительно *увидел* красоту, ты станешь ею. Надо только подставить ей свое сердце, и она впечатается в тебе и засветится в тебе.

Окаменей, замри, Мария.
Останься у Христовых ног.
Пусть тянутся часы святые.
Нет никого. Есть ты и Бог.
И если будет день проклятый,
Когда померкнет небосвод, —
Он образ свой в тебя впечатал
И этот образ тьму прожжёт.

Так вот — надо дать впечатать в себя совершенный образ. Но ведь чтобы дать впечатать Его в себя, надо дать Ему возможность вытеснить все другое. Надо стать чистой бумагой, или первозданной глиной, не имеющей еще никакого образа.

Вот это и называется *работой любви*. Термин Рильке, не раз повторенный и развитый нами с Григорием Соломоновичем. Рильке говорит, что подлинно Любящий не ждет никакого ответа от любимого. Ответ заключается в самой его любви. И это, может быть, труднее всего понять на обычном нашем уровне. У нас всегда присутствуют в любви двое. В божественной Любви нет двоих. Есть одно. В суфийской притче, пересказанной Руми, любящий стучится в дверь возлюбленной. (В этих мистических текстах возлюбленная — это всегда твоя суть — сам Бог.)

«— Кто здесь? — спрашивают изнутри дома. — Я. — Здесь нет места для двоих», — следует ответ. Дверь открывается только тогда, когда с внешней стороны раздаются короткие слова: Ты. Здесь Ты. Ты сам стучишься к себе. В этом же смысл Христовых слов: «Я и Отец — одно». Но от первого взгляда на красоту, даже от тончайшего восприятия красоты до чувства единства с ней — расстояние огромное.

Меня спрашивали, почему я сопоставляю таких разных писателей, живущих в разные эпохи и очень далеких друг от друга, как Достоевский и Набоков. Попытаюсь подробнее ответить на этот вопрос.

Набоков так тонко, так полно чувствует красоту, что мне казалось — он готов слиться с ней в одно, как сливаются в его рассказе облако и башня с озером, отражающим их. Я ждала, что душа его вот-вот расправится, как та редчайшая бабочка из рассказа «Рождество», чудотворная бабочка, вылупившаяся из кокона, который казался мертвым, вылупившаяся и воскресившая умиравшую от горя душу человека. Есть у Набокова немало рассказов, в которых красота обладает чудотворной силой. В том же, очень любимом мной рассказе «Озеро, облако, башня» герой, необычайно чуткий к красоте, становится жертвой жестокой торжествующей пошлости. И душа, потянувшаяся к красоте как к спасению, взывает к нам почти что с креста.

Та же тема и в «Приглашении на казнь». Почему же Набоков не создал героев, подобных Мышкину и Алеше Карамазову, — ни в прозе, ни в лирике, хотя как будто так близко подходил к этому? И почему от самого Достоевского Набоков отталкивается, как от чего-то неестественного, не нужного его душе? Зачем закрывать шторы и жечь днем настольную лампу, когда вокруг столько красоты? (А он видит Достоевского именно так — человек, закрывшийся от дневного света.) Набоков был влюблен в красоту. Но готов ли он, умеет ли он любить до того, чтобы увидеть Вестника Божьего, понять задачу души: зачать от Бога и родить нового безгрешного человека?

Все романтики так или иначе влюблены в красоту мира, но перейдет ли эта влюбленность в любовь к Творцу этого мира, всегда трудную и жертвенную, или остановится на самом ангеле, не поняв, на что он указывает, куда ведет? Почему, если этот мир так прекрасен, в нем столько страдания? Почему около волшебного озера, отражающего облако и башню, столько глухих и слепых, бесконечно жестоких людей?

Как быть с этой пошлостью и жестокостью, с этим «обезьяньим» ушком героини «Приглашения на казнь», ушком, в которое не входит ничего из истинного, с этой хорошенькой куклой, тоже носящей имя человека? Столько вопросов... Ни религия, ни искусство не дают окончательного ответа. Но вот перед нами Книга Иова. Она неисчерпаема. Религия и искусство в ней соединились. Точнее, религия и творчество. Но здесь хочется остановиться. Слово «творчество» равно считается и по ведомству религии, и по ведомству искусства. Религия вся о Творце мира.

А искусство и творчество стало почти синонимами. Может, разница количественная? Там — Творец, здесь — творцы? Однако вернемся к Книге Иова. Не знаю более прекрасных слов о праведнике, чем те, что сказаны об Иове: «Он был для хромого ногами, для слепого глазами, для сироты — отцом». И вот такой-то человек получает всю меру боли, которая только мыслима на земле, — потерять все богатства, стать нищим (самое легчайшее), потерять разом всех детей (их десять) и, наконец, заболеть проказой, страшнойшей и позорнейшей болезнью, которая считалась проклятьем Божиим, поражающим грешников.

Иов и друзья его — знаменитые страницы противостояния беспричинного страдания и поиска причин этого страдания. Необъяснимая громада страданий и громоздящиеся друг на друга горы объяснений. Религия здесь адвокат Бога. Страдание — Его обвинитель.

И совершенно неожиданным образом Бог оказывается на стороне своего обвинителя. Ему не нужны посредники. Он сам будет говорить со страданием. Со страждущим.

Как же Он говорит с ним? Никак. Без аргументов. Развернув перед ним картину божественной красоты мира. Вопрос Божий только один: можешь ли ты вместить это? Можешь ли быть мне со-творцом? Можешь ли не быть другим (противостоящим мне или стоящим рядом, но вторым, другим), а не единым со мной? Чтобы было не двое, а одно? Можешь?! Вот перед чем смолкает Иов.

Он как громом поражен пониманием, что должен отвечать, а не спрашивать. Бог дал ему всего Себя. А он взял? Выход из невыносимого страдания в том, что человек может стать единым с Богом. Нет двух. Есть одно. Бог страдает так же, как и Иов. Иов сияет так же, как и Бог. Бог — в Иове. Иов — в Боге.

Здесь порог, который труднее всего (до полной невозможности) перейти нашему уму. Разум, логика привыкли иметь дело с множеством, а не с единством; с числами, а не с бесконечностью, бесчисленностью.

А для низкой жизни были числа, Как
домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Н.Гумилев

Но самому умному числу тут больше нечего делать. Нечего делать с розовой зарей, кроме как вместить ее в душу и засветиться изнутри, стать единым с нею. Нет двух. Есть одно. Нет чисел. Есть бесконечность.

Мы созданы по образу и подобию Божию. И если замысел Создателя воплотится, если мы свершимся, то сами станем ответом, станем божественной красотой, гармоничными безгрешными людьми, соединенными с Богом в одно. Но...

Попробуем вдуться в миф о грехопадении. На первый взгляд,

примитивная сказка (как, между прочим, и история Иова, где Бог так мучает своего праведника на спор с сатаной). Бог запретил Еве срывать яблоки с древа познания добра и зла. Ну, а она сорвала. Всего-то только. И за это!.. Но все дело в том, что Бог — господин не внешний, а *внутренний*. Ева ослушалась своей собственной Глубины и поддалась поверхностному голосу. Это легче. Это приятнее. Надо слиться в одно с Богом, чтобы воистину распознать добро и зло. Плод этого таинственного дерева по зубам только нашей божественной сущности. — Сущему. — Вечному. — Богу. А Ева украла у Бога этот плод. Украла, потому что право на него имеет только слитая с Богом душа. Но это слишком трудно. Украсть куда легче.

Почему не овладеть Лолитой? Дуней? Грушенькой? Она — моя. А ты чей? Чье небо? Море? Лес? Музыка Баха, Моцарта? Кажется, это о другом? Да нет! Пришло ли бы в голову Сальери (пушкинскому, разумеется) спорить о том, кому принадлежит небо? Но музыка Моцарта переводит на другой язык те самые переливы розовой зари, с которыми Гумилев не знал, что делать. Схватить? Присвоить?

Эти переливы должны принадлежать мне, а не Моцарту — решил пушкинский Сальери, как-то совершенно отказываясь понять, что переливы эти, эти песни райские, вовсе не принадлежат Моцарту. Они так же, как и небо, принадлежат только Богу. А это значит, что совершенно равно даны и Моцарту и Сальери. Условие одно: любить их, любить эти райские песни и самого Моцарта, через которого они дошли до души, до всех наших душ. Вся суть в них самих, в песнях этих, а не в том, чьи они. Они — ничьи.

Моя красота? Но такой не бывает.
Ведь я же не кукла. Взгляни, разлита
Вокруг красота белопенного мая.
Вот это и вправду моя красота.
Вот здесь, в этой яблоне розово-белой,
Да в звонкой руладе того соловья.
И вдруг, словно ангел, певица запела.
Так вот она где — гениальность моя!
Совсем не моя? Перепутала имя?
Да полно! Деления ваши — вранье!
Кто, кто же у сердца сиянье отнимет?
И что это значит — «мое», «не мое»?

Не мое, а Божье. Тогда граница между мной и Богом разрушена. Я сама — Божья. И вот это оказывается счастьем, которое никто и никогда не отнимет. И такой свободой!

Облака ушли в кочевье,

И во мхах текут ручьи.
Мы свободны. Мы деревья,
Мы не ваши. Мы ничьи.

Вот это чувство, что я — ничей, ничья, как дерево и небо, приобщает душу Бесконечности. Я, разумеется, не равна ни дереву, ни небу, ни морю. Но я с ними едина. Какая радость может сравниться с этим чувством единства с миром? Какое яблоко?

Впрочем, после того, как душа воссоединилась с Целым Вселенной или тогда, когда она еще не отделялась от него (как в детстве или в раю), все будет божественным — каждая вещь пахнет Богом, имеет вкус божества.

Вишня, груша, слива налитая —
Жизнь и смерть, входящие в мой рот!
Предвкушаю. Чувствую. Глотаю...
Как ребенок яблоко берет,
Вы видали? Это издалёка Входит,
различимое едва.
Там во рту, где жили лишь слова,
Вдруг — поток открытый — свежесть сока!
Так попробуйте сказать сейчас Что зовется
яблоком? Вот эта Сладость? Сгусток
солнечного света,
Что собой напитывая нас,
Брызнул. Льется! — полнота мгновенья!
О, познание, опыт, единенье!
(Рильке. Сонеты к Орфею. *Перевод мой*)

Бог и только Он дает нам полную истинную свободу. Но свободу нашему вечному, бессмертному началу — Целому, а не частям. «Полюби Бога и делай, что хочешь». Мы оба не раз цитировали эти слова Августина. Бог не ограничивает нас. Напротив — хочет слить со своей Безграничностью. Только в Целом мы живы. Все ветки и бесчисленные листья живы, пока не отделены от единого Дерева.

Я Божий раб. И нет раба покорней,
А вы свободны и гордитесь вы
Свободой веток от ствола и корня.
Свободой плеч от тяжелой головы.

Князь мира сего — это часть, отделившаяся от Целого и соблазняящая другие части сделать то же самое. Листок, слетевший с Дерева, на время чувствует себя таким свободным!..

Так что же делать Гумперту, когда он почувствовал, что Лолита не

зверек хорошенький, а живая душа, розовая заря, бессмертный Божий стих? «Но здесь кончается искусство и дышит почва и судьба» (Пастернак). Здесь именно может происходить зачатие от Бога и то самое божественное или вечное рождение, о котором говорит Мейстер Экхарт. Здесь может родиться безгрешный человек, соединенный с Богом.

Но действительно ли кончается искусство там, где «дышит почва и судьба», или начинается новое, величайшее искусство? Искусство религиозное? Да, начинается искусство, в котором бесчисленные мастера сливаются с единым Мастером, становятся Его подмастерьями, не утрачивая от этого ни крошки своей неповторимой личности, своего неповторимо личного пути на Божью гору. Троп здесь бесконечно много. Простор для творчества — неисчерпаемый. А Творец все-таки один. Во всех — один.

Желтыми, бурыми, рдяными Стали
осенние листья.
Лес мой, расписанный заново Вечно
невидимой кистью.
О, как он просит внимания!
Все во мне смолкнуть готово.
Господи, это послание!
Господи, это же Слово...
Знаю я, слышу я — должно нам Душу
собрать воедино.
Как не увидеть Художника За
совершенной картиной?
Как не провидеть нетленное За
приоткрытую дверью?
Как не рвануться мгновенно нам
Прямо к Нему в подмастерья?

Да, Великий мастер — Поэт наивысший (как назвал Бога Тагор) — бесконечно нуждается в подмастерьях — в помощниках, в сотрудниках. Но люди чаще всего предпочитают, получив от Бога дар, стать владельцами этого Дара. Роль самостоятельного мастера нас привлекает больше, чем роль Божьего подмастерья. Мы не прочь защититься от Бога. Нам очень трудна Его безграничность, требующая от нас не части — а всего. Всей нашей души. В раю с Богом хорошо, но

И все же каждое мгновенье
Блаженным душам суждено Вершить
свой труд соединенья Всего со всем и
всех в одно.
И потому здесь так немного Людей,

хоть Божий сад велик. —
Ежеминутно возле Бога,
Не отвлекаясь ни на миг!..
Внимаем всем, душою всюю Быть
вечно ЗДЕСЬ, не где-то ТАМ...
Нет, предпочел пахать и сеять И с
Божьих глаз ушел Адам.

Да, пахать, сеять — заниматься любым трудом, довести этот труд до совершенства. Стать мастером, гроссмейстером слова — гением. Разве не довольно? С обычной человеческой точки зрения — вполне. Люди за это увенчивают лаврами, поклоняются.

Когда Пастернака наградили Нобелевской премией (ставшей для него и мученическим венцом), Набоков спародировал его стихотворение, начинавшееся словами «Какое сделал я дурное дело?».

«Какое сделал я дурное дело», — повторяет Набоков и продолжает:

И я ли, развратитель и злодей,
Я, заставляющий мечтать мир целый О
бедной девочке моей?
О, знаю я, меня боятся люди И жгут
таких, как я, за волшебство,
И, как от яда в полном изумруде,
Мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Ну да, ему поставят памятник и, конечно, назовут (давно назвали) великим русским писателем, классиком нашим.

Все так. Только все ли это? Слава и мастерство — все достигнуто. Гений. Но на самом ли деле заполнена душа? Или она ограничилась,

огородилась мраморным забором от неба и моря, — от Бога, который один только может заполнить бездну человеческой души?

Да, душа — это бездна, заполнить которую может только Бог! — сказал архиепископ Рамзай. И настоящая полнота жизни приходит только тогда, когда душа заполняется Богом. Хотя отгородиться от Него гораздо легче, чем открыться Ему. Защититься от Него — это защититься от Бесконечности. Бесконечность в тебе самом. И защититься от нее — значит защититься от себя, от бесконечной жизни. А это значит, в конце концов, — омертветь. Душа, защитившаяся от Бога, от своего источника жизни, частично омертвела. Она жива еще, но не вполне. Она не полна, какими бы дарами ее ни осыпали. Итак, не убить и не украсть красоту, а стать красотой, стать Божьим подобием... Не слишком ли трудная это задача? Может, даже слишком дерзновенная? Все может быть. И инстинктивное желание защититься от нее присуще многим очень хорошим людям.

Есть английский фильм о Клайве Льюисе. Прекрасный фильм. Когда Льюису было девять лет, у него умерла мать. Это его глубоко ранило. Он много думал о страдании, читал лекции-проповеди о нем, уже став знаменитым писателем. Обрел славу, срывал аплодисменты. Но вот уже в зрелые годы его настигло великое страдание. Он потерял бесконечно любимую жену. Все слова о страдании превратились в пыль, в ничто. И в конце фильма он говорит своему юному ученику, рассуждающему о любви и страдании, но еще ничего не пережившему: «Когда я был ребенком, я выбрал защищенность. Мужчина выбирает страдание». И это новая встреча Иова с Богом. Новая готовность не укрываться от Лица Божьего. Готовность вместить в душу Бесконечность.

От душевного хаоса к образу и подобию

У Михаила Пришвина есть афоризм: «Одной логикой, как сетью в море, вы не поймаете истину, потому что истина — не золотая рыбка, а сам океан». Мне приходилось говорить, что «Солярис» Андрея Тарковского разворачивает сходную метафору в зримый образ. Перед глазами цельная планета, не расчленимая на атомарные факты, и вокруг нее беспомощно крутится космическая лаборатория. Ученые пытаются говорить с ней на своем языке, на языке точных наук, а Солярис не хочет на нем разговаривать. И когда они пустили в ход какие-то жесткие лучи, планета, оставаясь целой, стала воплощать тяжелые воспоминания ученых, рождать муки совести и сводить экспериментаторов с ума.

В «Солярисе» мы видим наяву нищету точных наук в познании качественно бесконечной цельности. Точность — функция логически корректных операций с замкнутыми однозначными объектами мысли. Но если предмет мысли открыт бесконечности, точность недостижима. Четыреста лет люди читают и смотрят на сцене «Гамлета», но никто не смог точно, однозначно *познать* Гамлета. Еще менее доступен однозначному пониманию Христос или Будда. Ум здесь может только логически выстроить узнавание, совершившееся в сердце.

Слово «истина» имеет два значения. Первое — знание факта, удостоверенное повторяющимся экспериментом или математическим расчетом. Второе — это истина, о которой писал Пришвин или истина евангельской фразы: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это какая-то другая истина. Ею нельзя овладеть, как золотой рыбкой. Ей можно только причаститься, окунуться в нее, как в океан.

Мой друг Александр Мелихов — ученый и писатель. Как ученый, он верит только в истину точных наук. Как писатель, он знает, что ни одна точно доказанная истина не вдохновляет, не наполняет жизнь смыслом. Опыт, бесспорно, доказал, что сухие ноги лучше мокрых, пишет Мелихов, но стоит ли ради этого жить? А то, что вдохновляет, — фантомы, у каждого свои. Относительно национальных идей он выразился резче: набор вдохновляющего вранья. Я возражал, что есть истины, познаваемые только сердцем, и, тем не менее, достоверные, лежащие в основе великих цивилизаций. Мелихов ответил, что есть хорошие и плохие фантомы, но все они недостоверны. Впрочем, выступая на моем юбилее, он говорил, что все время спорит с нами, но хочет, чтобы правы были мы, а не он. Я, в свою очередь, признаю, что в современной культуре миллионы людей действительно живут фантомами, призраками голубого экрана. Но считать все, не доказуемое умом, призраком — значит отрицать историю культуры.

Четыреста лет тому назад Монтень писал: «Философы — хорошие люди, и хорошие люди — простые крестьяне, но все зло от полуобра-

зованности». С тех пор полуобразованность сильно разрослась. Современное образование создало новый тип — ученой полуобразованности. Митя Карамазов назвал этот тип бернарами, по имени Клода Бернара, считавшего человека биологической машиной. Бернары блещут умом в специальных областях науки, но совершенно беспомощны при подступах к целостности эпохи, культуры.

Бесписьменные общества здесь совершеннее нашего. В обрядах инициации они не только проверяют мужество подростков, но дают им укорененность в бытии, уверенность в смысле жизни. Этот смысл задан священными предками и будет передан потомкам. Никто не сомневается, быть или не быть. Здесь невозможен Будда или Христос, но нет зато ни Иуды, ни Калибана, ни Хама, обнажившего наготу отца своего.

Мы отказались от предписанных ролей, но зато мы вынуждены сами собирать своих духовных предков из необозримой памяти мировой культуры и легко запутываемся в этом.

Ко мне приезжал скандинав, Кристиан Эгге, захваченный проблемой — чем заменить ежедневную молитву, отмененную в школах? На чем основать представление о свободе и достоинстве человека, если человек на уроках биологии описывается как биологическая машина? Я рассказал, как пробивался к смыслу жизни в школе, где не только молитвы не было, но постоянно внушалось, что никакого Бога нет. Мое интервью опубликовано, вслед за интервью Уоллеса, секретаря Далай-Ламы, и интервью архиепископа Туту из Южной Африки; но непонятно, как внести наши ответы (не совпадающие друг с другом) в школьное образование. Школа разрушает мир детских сказок. Но то, что она дает для формирования личности, не захватывает глубин. А дальше, в университетах, в других высших школах, формированием личности никто не занимается: абитуриент уже получил аттестат зрелости. На самом деле, в современном, невероятно сложном и изменчивом мире, аттестат, даже с отличием и медалью, — это аттестат незрелости, полуобразованности.

Антоний Сурожский любил повторять рассказ о старом французском крестьянине, который приходил в церковь, сидел там несколько часов, а потом уходил. Его спросили, что он делает. Крестьянин ответил: я смотрю на Него, Он смотрит на меня, и нам обоим хорошо. В нашей стране таких крестьян давно раскулачили. Но в других странах их тоже нет. Юноши, закончив школу, поверили в логику как безупречный путь к истине; логика разрушила дедовские мифы, дававшие жизни высший смысл, и в обмен предложила принципы и правила. Но она не дала чутья, где принципы и правила доходят до абсурда. Она не научила, что во всех делах, касающихся глубин человеческого бытия, принципы, правила, аксиомы, на которые опирается логика, и саму логику надо поверять сердцем.

Одного индейца спросили, что он думает о белых американцах. Индеец ответил: «Они сумасшедшие. Они думают умом, когда надо

думать сердцем». И в самом деле, разве Раскольников в здравом уме? Там, где ум ошибается, сердце говорит ему правду, а он не слушает сердца, он следует своим идеям.

Выступая на конференции в Париже, в 1974 г., Антоний Сурожский советовал христианам поступать иначе. Я не раз цитировал этот абзац, но каждый раз читаю его как бы заново, он так глубок, что не страшно его повторить, понимание здесь не дается сразу. «Действия Христа рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах, нравственных, богословских или иных принципах; но сколь бы они ни были истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье... Мы призваны уйти глубже..., и самая эта глубина позволит нам взглянуться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опыт — результат прошлого, накопленный человеческий опыт. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог».

Формулировка Антония сжато описывает поведение Христа. Христос сказал, что пришел не нарушить, а исполнить закон. Но он закон нарушал, и только однажды объяснил почему: не человек для субботы, а суббота для человека. По большей части Христос не заявлял открыто своего права Господина субботы, а находил какую-нибудь притчу, сбивавшую фарисеев с толку. Ибо опасно говорить профанам, что дух законов не всегда совпадает с буквой. Конфуций, вероятно, по этой же причине полагал, что народ не должен знать законов. Опасна полубразованность, не понимающая, что всякий принцип, всякий закон может стать бессердечным, бесчеловечным, сталкиваясь с бесконечным разнообразием жизни.

В эпоху всеобщего образования и открытости знания невозможно отрицать, что дух и буква закона — разные вещи, но по большей части бюрократия оставляет это различие в забвении. И еще решительнее действует недоучившийся студент. Подобно Раскольникову, он убежден, что его теория безупречна, и раз она диктует убийство, то только трусость мешает убить. Такова философия террора. Террорист, бесспорно, — личность. Он действует в одиночку, а не в толпе, как чернь при погроме. Он убивает в одиночку, трезво, обдуманно. Террор требует убежденности

и мужества. Но это мужество полуобразованности, и только полуобразованность восхищается террором.

А затем старое государство, расшатанное героями-террористами, захватывает партия массового террора. Толпой овладевает вера в гениального вождя, дуче, фюрера, вооруженного однофакторной, упрощенной до предела теорией. Все зло сводится к чему-то одному, и этот фактор строго, планомерно, методически уничтожается, а затем так же методически строится каторга мнимого счастья.

Я рассказывал вам, что в 1936 г. мама спросила меня: Гришенька, неужели *это* — социализм? Ради *этого* люди шли на каторгу, на виселицу? Я поморщился и ответил: конечно, у нас общественная собственность на средства производства. И в тот же момент точка посередине груди, чуть правее сердца, просигналила мне: «фальшь». Люди шли на каторгу ради хорошей жизни. А ее нет как нет.

Это было для меня открытием чакры сердца, как говорят индусы, точки мгновенно откликающейся на подлинность и на фальшь. Мне не понадобилось разбирать теорию, ставить вопрос, почему нам четыре года говорили, что строим фундамент социализма, и вдруг, не дождавшись ни стен, ни крыши, здание оказалось построенным. Или почему Энгельс различал государственную и общественную собственность, а мы пишем эти слова как синонимы, через запятую. Вся политическая экономия социализма сразу рухнула. Весь курс, который я прослушал, оказался полуобразованной болтовней.

Что же такое *подлинная* образованность? Случайно ли корень этого слова — *образ*? Что за образ? Не образ ли и подобие Бога? Не выявление ли того образа — цель образования?

Сравниваю с буддизмом: каждый человек по природе Будда, но не каждый это сознает. Или, по другой сутре: в каждом человеке — зародыш просветленного...

Сравниваю с индуизмом. Цель образования — раскрыть заложенный в глубочайшем слое души Атман, тождественный Брахману. И Уддалака Арунья повторяет своему сыну: То — это ты, Шветакету!

Сравниваю с мусульманским мистицизмом. Путник, проделав трудный путь, просит впустить его в хижину. Кто ты? — спрашивает хозяин из-за запертой двери. — Я, — отвечает путник и слышит ответ: Здесь нет места для двоих. И только после нескольких попыток приходит решимость сказать: Ты пришел к тебе. Тогда голос из глубины говорит «войди».

Все великие религии здесь сходятся. В человеке заложен зародыш высшего образа, и цель образования — выявить его, довести до ясного самосознания. Эта единая цель потеряна в современном образовании.

Как же идти вглубь, к этой цели? Через созерцание. Об этом говорит Мышкин, говорит Антоний Сурожский и св. Силуан.

Томас Мертон, в книге «Новые семена созерцания», сравнивает

созерцание с прикосновением к Богу — или прикосновением Бога к тебе. Научить созерцанию, по его словам, так же невозможно, как научить человека быть ангелом. Но книга его — своего рода рассказ об опыте созерцания, и этот опыт учит — если человек уже сам сделал несколько шагов на этом пути и рвется сделать следующий шаг. Всякий опыт созерцания, захватывая, учит других созерцать, учит углубляться в жизнь — и в самого себя, находить в себе, под поверхностным слоем, по меньшей мере два уровня глубины: внутреннего человека и внутреннейшего.

Внутреннего человека отделил от внешнего ап. Павел. Мистики XIУ—XУ вв., Экхарт и Таулер, увидели еще один уровень, внутреннейший. Я ничего этого не знал, но к поискам внутреннего мира меня толкнула трагедия Шекспира «Юлий Цезарь». Мне стало стыдно, что я попеременно увлекаюсь речью Брута, а потом речью Антония, совсем как римская чернь. Я стал собирать героев литературы, которых любил глубже, чем Брута и Антония, и первым выбрал Гамлета. Потом мне стал помогать Стендаль. В его эготизме я нашел противовес против пропаганды, и многие его герои были мне близки.

Почему бы не ввести в программу старших классов «Юлия Цезаря» и задать вопрос: как подняться выше столкнувшихся демагогов? А потом перейти к «Гамлету», где сталкиваются поверхностность с глубиной, и Гамлет отвечает Розенкранцу и Гильденстерну: «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне». И можно сопоставить истину Полония с истиной, которую ищет Гамлет. Полоний учит Лаэрта спровоцировать собеседника, вывести его из себя, чтобы тот отбросил маску: «И на приманку лжи ты рыбку истины поймаешь». Так и сегодня интервьюер иногда провоцирует человека, чтобы поймать свою рыбку. А Гамлет не ловит рыбок. Он задает самому себе, своей глубине, вопрос: «Быть или не быть?». Есть ли в жизни смысл?

Кришнамурти говорил, что только неправильные вопросы имеют ответ; на правильный вопрос нет ответа. Вопрос Гамлета он назвал бы правильным. Вопрос вел к океану, который нельзя поймать в логическую сеть, можно только погрузиться в океан. Но дальше Гамлет сбивался на анализ — и попадал в тупик. Смысл жизни нельзя познать. Этот вопрос решался любовью, вернее, не решался, а снимался любовью и оказывался решенным без разбора. Гамлет заметался и погиб, не достигнув цели, но никто другой так остро, мучительно не почувствовал вывих нового времени и так тревожно думал — можно ли вправить его. Трагедия «Гамлет» — замечательное столкновение пути в глубину с пошлостью, совершенно замкнутой на своих поверхностных проблемах.

Создание своего внутреннего мира, своего домика, населенного друзьями из разных веков и разных культур, — дело скорее самовоспитания, чем школьного урока. Но все же школа может, по крайней мере, поставить проблемы, ведущие в глубину, создать кружок «мой любимый

герой» и т.п. А дальше углублением кругозора должна заниматься высшая школа, вне зависимости от своего специального направления, вводить в образование книги древних и новых духовных поисков всех великих культур. И пусть большинство студентов проскользнет мимо глубин — кого-то они затронут. И сделан будет шаг к формированию творческого меньшинства.

Очень важен переходный возраст. Я начал с шестнадцати, некоторые начинали раньше, другие позже. Потом, лет с двадцати, в мой внутренний домик стали собираться размышления Тютчева, герои Толстого и Достоевского — и принесли с собой тревогу. Их захватил вопрос Паскаля о месте человека в бесконечности: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломать его. Но этот тростник мыслит, и даже если вся вселенная обрушится на него, она не сможет отнять этого преимущества». Человек и бесконечность здесь резко оторваны друг от друга. Человек замкнут в своей конечности. Бесконечность — мертвая, чуждая ему, обрушивается на мыслящий тростник всей своей тупой силой. У Тютчева явный след Паскаля:

Откуда, как разлад возник,
И почему же в общем хоре Душа
не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник.

Страх Тютчева перед бездной напомнил мне страх, вызванный в 16 лет тангенсоидой, нырнувшей в бесконечность. И вдруг оказалось, что очень умные люди — Тютчев, Толстой, Достоевский — оказались жертвой того же страха. Я решил избавиться от него человечество. Тут Стендаль мне ничем не мог помочь, он об этом просто не думал, а Гамлет топтался вокруг да около. А про амулет Паскаля, зашитый в его камзоле, я узнал гораздо позже. Оказывается, Паскаль переживал в течение двух часов огонь, сжигающий страх. Но в амулете было написано только одно слово «огонь», и правильно можно было понять его, только пережив что-то подобное.

Со всем пылом двадцати лет я стал созерцать чуждую мне темную бездну, в которой я тону. $1 : \bullet = 0$ и $10\,000\,000 : \bullet = 0$, так что все вершины человеческой культуры рушились вместе со мной. Я погрузил свой ум в этот вопрос почти как Силуан в ад. Но сходство — внешнее. Я погружался не в ад, а в модель мира, созданную точной наукой, и вышел при внезапной вспышке света не из ада, а из власти точных наук. Я всего только понял, что точные науки скользят по поверхности вселенной, пронизанной духом, не замечают его.

Но вот что любопытно. Я вам рассказывал, что на фронте воспоминание о том, как я взлетел над страхом мысленной опасности, освободило меня от страха реального ужаса при бомбежке. Я довольно

быстро взлетел и над этим страхом. Однако и массивная бомбежка — не ад. Я иногда смотрел на нее, как в кино.

Адская мука обрушилась на меня много лет спустя, когда на операционном столе умерла Ира Муравьева. Мы совершенно срослись. Я был разрублен пополам и продолжал жить только заботой о пасынках, которых надо было вывести из отчаянья. В конце концов мне это удалось. Я внешне исцелился, но мысли мои упорно кружились вокруг Бога. Я не мог теперь без вечной любви. Но в церковном образе Бога было много чуждого. И я открылся Богу только тогда, когда услышал стихи Зинаиды Миркиной. Вы их, возможно, помните:

Бога ударили по тонкой жиле
Или даже по глазу. По мне...

Этого Бога я сразу принял, в этом образе он и сейчас во мне. Раскрылись двери домика внутреннего человека — в открытого бесконечности внутренней, вечно горящего, не сгорая, как глаза икон, вечно открытого Богу, даже если он неожиданно посетил тебя.

Несколько лет тому назад я слушал в Норвегии Далай-Ламу XIV. Он предупреждал нас, что люди XIX века были ошеломлены событиями XX-го. И мы должны быть готовы встретить события XXI века, которые сегодня кажутся невозможными. Но где опора, чтобы устоять перед невозможным? У людей, живущих на поверхности, этой опоры нет. Невозможное закружит и разметает их, как листья. Опора есть только во внутреннем человеке, в котором образ и подобие Бога горит и светится, — или, если вспомнить другой образ, уже припоминавшийся мне, — подобие залива, неотделимого от океана. Этот океан вечно есть и вечно смывает всю земную суету. И после потопа рождается новая жизнь.

Но никто не знает сроков Апокалипсиса. Разум может взять верх, и конец XXI века будет тогда концом всех войн. Политики, прижатые к стене ростом экологического кризиса, создадут, наконец, скрепя сердце, всемирную федерацию и будут продолжать там свою грызню, но избегая поножовщины, как грызутся уже 700 лет швейцарцы. Люди поглубже начнут искать золотую нить, красную нить, ведущую к Божьему следу, и смена политических одежд уступит место долговому, на десятки и сотни тысяч лет духовному росту, до зародыша просветленного, зародыша сына Божьего, заложенного в каждой душе. И мы сделали только первый шаг к самому себе.

Роман Зинаиды Миркиной

Григорий Соломонович говорил о том, что истинное образование есть познание образа, по которому мы созданы, и воссоздание этого образа.

Высший образ — это образ Бога. Но с тех пор как существует слово «Бог», идут нескончаемые споры о Нем. Людям всегда легче представлять

Его внешним, чем внутренним. Вообще Его обязательно хотят *представлять* себе. Между тем, Он непредставим, т.е. не обнимаем нашим сознанием. Его хотят постигнуть разумом, хотя те, кто испытали Встречу с Богом, хорошо знают, что Он непостижим. И все это сказано в священных текстах. Однако, как писал Силуан, «то, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом». Разум же привык иметь дело не с духом, а с буквой. «Царствие Божие внутри нас» — это часто цитируемая фраза Евангелия. Царство Божие — то есть сам Бог. Он внутри. А не вблизи и не вдали. Нигде во внешнем мире. Иными словами, воплощенного Бога, завершенного, когда-то кем-то где-то обнаруженного, того, — который может все или что-то сделать для нас и *за нас*, — нет.

А есть великая задача *обнаружить* внутреннее (или внутренней- шее), родить в этот мир Бога. Такую задачу выполнил Иисус Христос. Ее выполнили некоторые великие мистики, показав тем самым, что она выполнима для человека. Но выполнить ее должен каждый сам. И если ты сам не сумеешь этого сделать, то никто за тебя не сделает этого.

Это задача труднейшая. И человек всегда предпочитает любые другие задачи — этой. Рисковать жизнью, согласиться на каторжный труд — все представляется нам более легким, чем это. Тут все понятно, видимо: вот то, что мне нужно сделать, вот я.

А если то, что мне нужно сделать, это сам я? Если я сам еще не сделан, не завершен и на мне лежит задача духовного творчества?

От этой задачи люди предпочитают уклоняться в какую угодно сторону, заниматься чем угодно внешним. И Бога видеть внешним существом и вести долгие споры о существовании или несуществовании Его во внешнем мире.

Но речь идет о другом. Вопрос неправильно ставится.

Одного духовного учителя спросили: есть ли жизнь после смерти? Он долго молчал, а потом сказал, что на этот вопрос отвечать не будет. Это неверный вопрос. Правильней было бы спросить — есть ли жизнь *до* смерти?

Если в вас есть вся полнота жизни, если вся ваша глубина пробудилась, вы не будете спрашивать о том, что будет, или о том, что было. Вы уже находитесь в вечности, включающей в себя и прошлое и будущее. Вы встретили Бога.

Что это значит — встретить Бога?

Да нет, не за земным порогом,

А прямо здесь, на этом свете.

Его необходимо встретить.

Виденье? Нет. Оставь надежду

Увидеть лик. Он где-то между Всех

лиц. Меж мною и тобой,

Меж этой высью голубой И всем,

чему отмерен срок.

Он — между слов. Он — между строк.
Его не может видеть глаз.
Он то, что связывает нас.
И если с Ним не будет встречи,
То и дышать нам будет нечем.

Да, Он — между строк, как некий контекст или подтекст всякого текста. Он то, что связывает текст в единое целое и делает его текстом, книгой. Он — дух, который связывает все члены нашего тела и делает тело *живым*. Он — дух, который связывает все, существующее в мире в единое целое. Он то, что делает мир *живым*.

Это таинственное целое невозможно увидеть глазами. Я уже приводил слова Тагора о Боге: «Ты невидим, потому что Ты зрачок моего глаза». Да, увидеть свой глаз и его зрачок можно только отраженным в зеркале. Конечно, нужно развернуть метафору: зрачок моего глаза — не физический зрачок, а то, чем видят суть мира — Сущего. Он глубоко внутри меня. И есть зеркало, в котором я могу Его увидеть. Это — красота мира Божьего, где всё значимо, всё говорит, если душа умеет слушать, всё показывает, если душа умеет видеть.

Мне обо мне никто не скажет.
Никто, нигде и никогда.
Вот так, как тихая вода И этот легкий
пух лебяжий Прозрачных облаков над
ней.
Даль потеряла все границы.
И глубь моя видней, видней...
Моя душа в себя глядится.
Моя душа понять смогла
Всё, что шептала глушь лесная.
Мы о себе совсем не знаем,
Ведь мы не смотрим в зеркала.

Вот такое вглядывание в зеркало и есть созерцание. Мы оба много раз цитируем слова князя Мышкина: «Как это можно видеть дерево и не быть счастливым?». Истинное созерцание — не просто любование миром. Это не взгляд *на* мир и его красоты, а вглядывание *внутрь* красоты, как бы досматриванье мира до его сути. Это огромная внутренняя работа. Для настоящего созерцания требуется полное раскрытие собственной души. Душа, раскрытая настезь, убравшая все поверхностное, плотное, затемняющее глубину, сама становится чистым зеркалом, отражающим красоту, в которой мерцает суть жизни. Это — зеркало в зеркале. В этой

встрече двух зеркал и вспыхивает свет истинного постижения своей души и сути жизни одновременно.

Морского штиля не нарушу.
Как ствол, недвижимая стою.
Я только созерцаю душу
Непостижимую свою.
Мой взгляд притихший ей покорен,
Как пена белая — волне.
Она огромна, точно море,
И — умещается во мне.
И, Боже, как это возможно?
И где разгадка бытия? —
Во мне, мгновенной и ничтожной, —
Конца не знающая я?..

Да, доглядеть собственную душу до последней глубины — значит увидеть внутри нас тот самый высший образ, по которому она создана.

Туман под взглядом солнца таял.
Закат в нем оставлял следы.
И как икона золотая,
Заря гляделась в глаз воды.
И было царствие морское
Вместилищем небесных сил.
И тишина была такою,
Что голос Бога доходил.
И — ни малейшего движенья.
Глубокий мир на землю лег.

И только длилось отраженье:
Заря — в воде и в сердце — Бог.

Что мне хотелось бы сказать напоследок? Наверно, о каких-то практических задачах, которые хоть как-то должны быть поставлены в особенности педагогами (но и не только). Красной нитью в Евангелии проходят простые слова: «Имеющий глаза, да видит, имеющий уши, да слышит». Так вот — учить людей видеть и слышать этот мир глубоко, по-настоящему. А этому нельзя научиться, не научившись бесконечному уважению к тишине. Я бы сказала — благоговению перед тишиной.

«В начале была буря. А потом тишина. И в тишине — Бог». Нельзя говорить о Боге, не умея слушать тишину.

Представьте себе, что мы входим в концертный зал и продолжаем шумно обсуждать свои проблемы. Абсурд. Мы напрасно туда пришли. Не напрасно ли приходим мы в этот мир, если не научаемся замолкать и слушать его?

И шум замолк. И можно вновь следить За
кораблем и медленным прибоем.
И море с морем может говорить,
Душа с душой и Бог с самим собою.
И не прервет ничто Господних дум,
И снова мир стал тихим и великим...
О, знали б вы, что значит этот шум!
О, знали б вы, что губят ваши крики!

Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать.

Ну вот и всё. И сердце полное.
Ведь я у моря. Я у леса.
И как торжественна безмолвная,
Непрерываемая месса.
Ширь придымленная, туманная,
И ей немое сердце вторит.
Моя молитва постоянная Родится, как
волна, из моря.

Сквозь внешнюю тьму к внутреннему свету

День за днем я смотрел на синее небо, синее море и зеленые холмы, медленно покрывавшиеся медным отливом. И вдруг припомнилось то, что сказано в «Дуинских элегиях»: «Каждый ангел ужасен». И объяснение, которое Рильке дал этим словам: «прекрасное — та часть ужасного, которую мы можем вместить».

Это правда. Во всем прекрасном остается след пережитого ужаса — только след, и у каждого свой. Как предчувствие распятия в глазах Сикстинской Мадонны, как память богооставленности в глазах икон. И в Троице Рублева у ангела, который одесную, в решимости, с которой он собирается взять чашу, чувствуется, что он вызывает на бой что-то ужасное, вступает в полосу ужаса. А у ангела, который ошую, — мучительное преодоление исчерпанности. Он только что вырвался из полосы ужаса. Но сама эта полоса — вне пространства иконы. Она подразумевается где-то за изображением.

Это общее правило классического искусства. Оно только намекает на ужасное (особенно в живописи). Хотя в жизни ужасное не ограничивается намеком, оно обрушивается, как камень на голову.

Что такое синее небо? «Покров, наброшенный над бездной» (Тютчев).

Мы воспринимаем слой атмосферы как синеву, и деревья впитывают солнечный свет, процеженный атмосферой; а без этого одеяла, ласково окутавшего Землю, нас оледенит бы холод космической бездны, и цветы, и птицы, и насекомые, и мы сами сразу бы замерзли.

Правда, у того же Тютчева есть стихотворение, в котором нет ничего чуждого, враждебного и все стало нашим, родным:

Тени сизые смешались.
Звук умолкнул, цвет уснул.
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул.
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном.
Час тоски невыразимый.
Все во мне и я во всем...
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Льется вглубь моей души.

«Все во мне и я во всем» — мгновение у Тютчева. Но оно многое уравнивает.

Что-то подобное тютчевскому мгновению я испытал в 20 лет, после трех месяцев вглядывания в мысленную черную бездну. Моя кожа

перестала быть границей моего тела, и все, что я люблю, стало мной, моим — и деревья, и горы, и воздух, которым я дышу, и даже звездное небо над головой... И весь космос стал моим... И зашевелились вторая, странная мысль, — что я сам, всей своей жизнью, участвую в движении светил. Правда, эта вторая мысль очень долго шевелилась, прежде чем нашла свою форму. Мешал материализм. Но, наконец, гораздо, гораздо позже я нашел для нее слова.

Это были метафоры, и лучшая метафора родилась в Индии: капля тождественна океану, но океан не тождествен капле. Океан, как одна из ипостасей Бога (мы вовсе не знаем всех Божьих ипостасей), каким-то краешком в нас входит. Когда мы впускаем в себя Бога. Когда мы открываемся Ему. И тогда Его бесконечность, пусть на миг, становится нашей.

Глядя на синее небо и синее море, я почти увидел, что полоса холодного ужаса, совершенно чуждого мне (в этом и заключался основной ужас, в отчужденности от целостности бытия), — эта полоса не беспредельна, она меньше моей духовной полноты и может быть преодолена. И вспоминая, как после усилий трех месяцев бездна стала прозрачной и пропустила свет, я сегодня чувствую этот свет как Божью любовь. Любовь, движущая звездами, уравнивает инерцию холода и мрака, а наша любовь помогает Богу, и мы вместе удерживаем вселенную (во всей ее целостности), как бы на руках любви.

Эрвин Шредингер, в книге «Что такое жизнь с точки зрения физики» (у нас ее перевели в 1947 г.), назвал жизнь «отрицательной энтропией». На Земле ее хватает, но что для Вселенной вся земная жизнь? Если измерять все небесные тела на мысленных весах, то самое большое число планет, подобных нашей, не перевесит массу звезд и туманностей. Но внутренний мир человека, открывшего ворота бесконечному, не поддается взвешиванию. Он раскрывает какую-то непостижимую силу. Духовный залив раскрывается духовному океану. Что происходит от такой встречи? Находит ли здесь Бог свое прибежище и свой архимедов рычаг, возможность действовать нашими руками, нашим мозгом, нашим духом? И что наша капля дает океану?

Ум может сказать только одно: мир существует. Значит, что-то его поддерживает. Как, каким образом — «волшебники не отвечают». Но мне трудно вынести их молчание. Зачем вся эта лестница эволюции? Только для того, чтобы замерзнуть или сгореть? Или Бог, войдя в живое, доходит до человека, и человек, по Божьему замыслу, — до тождества с Богом? И может быть, как раз для того, чтобы уравновесить бесконечность однообразных масс частиц — качественной бесконечностью индивидуума, личности? И человек духовно растет, чтобы породить каплю любви и этой каплей войти в великое Целое, в великий собор совершенных душ, в незримый синклит. Не ловите меня на противоречиях: синклит совершенных душ и безбрежный океан — это все

ипостаси, временами текучие, временами — кристально твердые...

Опять-таки — как, каким образом — мы не знаем, на эти вопросы волшебники не отвечают, но сердце рождает ответ, когда упорным созерцанием вы пробиваете полосу абсурда, схемы Вселенной без Бога, без моря любви, волны которой создают и омывают планеты, где рождаются Божьи помощники, бесчисленный хор Божьих помощников.

Полосы ужаса — не яма, в которую всё проваливается, а *вызов*, подталкивающий нас в глубину, — или, если хотите, в высоту, — где тьма делается прозрачной и наше собственное сердце светится сквозь нее, сливаясь с бесконечным Божьим светом. В юности я здесь запутался, но Бог посетил меня страшным ударом, дал силу вынести его — и толкнул в глубину, где путник, приходя к хижине, отвечает на вопрос: кто стучится в дверь? — Ты! Ты пришел к тебе!

Классическое искусство только догадывается о внутренней глубине, где свет прорывается сквозь непроницаемую тьму. И ужасное, и прорыв сквозь ужасное — только проблески в царстве красоты. Но были в России два нарушителя: Достоевский и Даниил Андреев. Оба они прошли через мертвый дом, через земной ад, выстрадали свое знание света сквозь мрак и знали, как свет борется с мраком и побеждает мрак, каким бы ни был этот мрак.

Каким бы ни был этот мрак — все равно: космической бездной, ужасавшей Паскаля, а за ним Тютчева, Толстого, затронувшей Достоевского; или мраком бесконечного страдания невинных, потрясавшим еще Иова и многих, многих после него — и в древности, и в Средние века, и в романах Достоевского.

У каждой большой души своя память ужаса. О том, какие ужасы рисовал Достоевский, достаточно много было сказано. Поэтому поговорим о Данииле Андрееве. Я перечитал почти все, что он оставил, еще в самиздате, и вот что мне бросилось в глаза: в раннем творчестве Андреева очень мало следов мрака. Прозрение в брянских лесах, на Не-руссе в 1931 г. — какой-то сноп света. И в «Песне о Монсальвате» Андрееву просто не удалось обрисовать демона Клингзора, захватившего в плен Бургундского короля. Поэма оборвалась сценой погружения королевы Агнесы в созерцание заката, почти слияния с закатом. Это какой-то гимн человеческой душевной красоты и красоты природы, сливающихся в одно целое. Муза раннего Андреева — муза света.

Откуда же взялись чудовища, которыми полны поздние поэмы? Их нащептали тюремные стены. Я прочел в книге Успенского «Тейшт огдапит», что камень из стен тюрьмы несет в себе совершенно другую информацию, чем камень из стен церкви. Я знаю два случая, подтверждающих это правило. Даниил Андреев, со своим тончайшим чувством незримых ходов жизни, десять лет впитывал излучения душ, ставших жертвами сталинских застенков, полных памятью мук и образами своих мучителей. Их голоса звали Андреева так же, как Солженицына и

Шаламова, но из большей глубины. Андреев впитывал в себя «метаисторию» демонических сил, для которых Сталин был только очередным «человекоорудием».

В трактате «Роза мира» описывается, как складывалась мифология Даниила Андреева. Первая ступень — «метаисторическое озарение». Оно мгновенно проносилось, как туманное облако, поражало ужасом и светом и исчезало. Затем Андреев пытался *доглядеть* то, что промелькнуло в его мозгу. Это он называл «метаисторическим созерцанием». Одну ночь за другой он вспоминал то, что промелькнуло, — и дорисовывал его. Память поэта — творческая сила, она не фиксирует, как фотопленка, а преобразует, создает. Образы демонов — поэтическая правда, символ метаисторической реальности. Это образы чудовищной, гиперболической власти, терзающей свои жертвы. В XX в. эта злая воля бушевала не только в России. Но вихрь, захвативший Россию, был одним из самых чудовищных. И он дал Андрееву образы его уицраоров, игв, Велгу, всю прочую нечисть.

Третьей ступенью метаисторического познания было «метаисторическое мышление». Оно создало «Розу мира» как систему, сшитую, как и все системы, белыми нитками.

Лучшее в творчестве Андреева — отдельные картины, с начала до конца увиденные глазом художника. Это некоторые поэмы; из раннего — «Песня о Монсальвате», пусть неоконченная и неотделанная; из тюремного творчества — «Ленинградский апокалипсис», «Симфония городского дня», «Изнанка мира». После выхода из тюрьмы и из Института Сербского (куда его на время поместили) у Андреева осталось менее двух лет, чтобы частью записать, частью отредактировать много сот страниц стихов и прозы. Не все одинаково удалось. Но слабые стихи можно просто отложить в сторону, а трактат «Роза мира» нельзя резать на куски. Приходится читать подряд; хотя в одну книгу вместились три темы, строго говоря, мало связанные друг с другом. Это прежде всего тема Розы мира — идея всемирной федерации, сперва изложенная языком публициста, а затем как бы освященная мистической Розой, каждый лепесток которой — одна из великих религий. Вторая связка — «метаистория» России. Отдельные страницы ее потрясают. Больше всего мне дали фрагменты о нарастании смуты после смерти Ивана Грозного и о психологии раскола. Захватывает раздел о «вестничестве» в русской литературе XIX века. Андреев нашел особое слово для художественной литературы, ставшей одновременно религиозной философией, пророчеством и проповедью. Я думаю, слово «вестничество» удержится в языке. Но историософия России так разрослась, что отодвинула глобальный замысел Розы мира куда-то на второй план.

Подобное случилось и с русской эмиграцией в Париже. Пространство сжалось для нее до одной страны. Даниил Андреев оказался сильнее, Россия взяла его за горло физически, руками палачей. Но никакие

обстоятельства не могли до конца овладеть его вселенским духом. Вторжение новых тем только нарушило пропорции книги.

Особенно пострадала третья связка идей и образов — о размахе душевного роста и падения человека. Точные образы нашлись только в стихотворении «Размах», опять-таки — в эпизодах отечественной истории. При переносе бесконечных возможностей человека во вселенский масштаб творческое воображение слабеет, в ход пошли величины, заимствованные из математической физики, нагромождение многомерных пространств. Искусство в этих пространствах бледнеет, становится аллегорией. Только в одном из первых «миров просветления» возник яркий образ Иуды. Искупив свой грех полутора тысячами лет покаяния, он готовится к великому подвигу, и над островом, где он уединился, стоит *заревое его молитв*. Я подчеркиваю то, что меня поразило: зарево его молитв.

Некоторые страницы, созданные Андреевым, мучительны. Трудно следить, как демоны возмездия оперируют с душой чекиста. Но слушать рассказы, что происходило в лагерях со слабым человеком, попавшим в руки уголовников, как его унижают, до чего его доводят, — тоже нелегко. И нельзя утешиться тем, что это выдумка. Андреев на свой фантастический лад показывает души мучителей. А сами мучения, сам ужас торжествующего демонизма был реальностью XX века. Одна из самых страшных сцен в «Розе мира» не более фантастична, чем разговор Ивана Карамазова с чертом. Сталин спокойно дремлет в своем кресле, а незримые силы накачивают его эликсиром человеческих мук. Очнувшись, от потрясает и поработачает своих пособников демонической энергией. Будь моя на то воля, я включил бы эту сцену в школьные хрестоматии как прививку против рецидивов культа злейшего гения всех времен и народов.

Когда Паскаль замерзал от холода мирового пространства, русские, едва оправившись от ужаса пред Иваном Грозным, уже замирали в предчувствии петровских казней. Обойти эту тему в книге, написанной узником Владимирской тюрьмы, было невозможно. Он вышел на поединок, и свет, лившийся из глубины его души, прорывался сквозь мерзость времени. Он обнажал реальность, подкрашенную продажными историками, он стремился оградить от мерзости человеческие сердца.

Наследие Андреева так значительно, что возник спор, кому оно принадлежит. Говорят, что он вернулся к православию. Но он и не уходил от него, как от лепестка в своей Розе. Однако благословения церкви на свои стихи и прозу он не просил.

Другие считают, что Андреева вдохновили демоны. Но демоны, насколько я их понимаю, стремятся соблазнить, увлечь. Так могут увлечь демоны Лермонтова, Врубеля. Они красивы, поэтичны. Я знал женщину, которая была влюблена и в Ставрогина. Уицраоры, созданные Андреевым, ничего, кроме отвращения и ужаса, не вызывают. Они

гораздо уродливее, чем черти, изображенные на задней стене собора. Демоны вряд ли могли пожелать, чтобы люди увидели их такими гадкими.

Нельзя передать борьбу света с мраком, не изобразив, *с чем* идет борьба; а там уже люди воспринимают тьму в меру своих сил. Некоторых и Достоевский наполняет мраком, и есть родители, которые просили исключить Достоевского из школьных программ. Педагогика аббата, учившего Онегина всему шутя, еще жива. У меня Достоевский вызывает прилив сил, способных победить мрак. Так же воспринимаю я Андреева. Погружение в бездну — неотъемлемая часть круговорота жизни, и Фетида была права, окунув своего сына в Стикс. Не каждый от этого становится Ахиллесом, но каждый обстрелянный солдат проходил сквозь ужас смерти. Потом, сквозь трепет, раскрываются крылья души.

Все, все, что гибелью грозит Для
сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог...

Этот Гимн чуме сочинил светлый гений русской литературы, Александр Сергеевич Пушкин.

Впрочем, заговорив стихами, надо вспомнить другого поэта, влияние которого на позднего Андреева очевидно:

Расшумелись, разгулялись бесы По
России вдоль и поперек.
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северо-восток.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы революции в царях.

В поэме «Изнанка мира» Андреев прямо следует за Волошиным; его демоны собирают в одну бригаду и царей, одержимых своими замыслами, и революционеров, свергавших царей с трона. А бригадиром у них — царь-революционер Петр. Строитель Петербурга строит

крепость Друккарг в преисподнем Антипетербурге. Андреев оставляет судьбы государственников открытыми: те, кто в последней битве перейдут на сторону света, будут спасены.

Хочется напомнить еще раз, что большинство текстов позднего Андреева — первые наброски великого замысла. Этот замысел просвечивает с силой, достойной «Божественной комедии». Андреев нашел краски и для ада, и для чистилища, и для прорыва к свету, к любви, движущей звездами. Я хотел бы кончить стихотворением Зинаиды Александровны.

То тучи, то солнце над ширью великой,
И волны бегут к кораблю.
Я знаю — все может земной наш владыка,
Но ведь не его я люблю.
Он может насрать нам любые несчастья,
Развеять надежды, как дым.
Он властен над миром, но он ведь не властен
Над трепетным сердцем моим.
Я только Твоя, мой незыблемый Боже,
Твоя, — мой безмолвный простор.
Я знаю — князь мира, что хочет, то может,
А Ты не вступаешь с ним в спор.
Любовь с сатанинскою силой не спорит —
Безумному не прекословь! —
Но если исчезнет все небо, все море —
Останется целой любовь.
Да, если исчезнут все формы, все вещи,
Сойдет все живое на нет, —
Любовь уцелеет, и Дух затрепещет,
И снова затеплится свет.
И снова раздастся: «Да будет!» И — буду.
И снова расколется мрак.
Откуда я знаю? Не знаю, откуда,
Но только я знаю, что так.
То тучи, то солнце над ширью великой,
И волны бегут к кораблю.
Землею не правит небесный Владыка.
Но только Его я люблю.

Через страдание и смерть

Григорий Соломонович говорил, что за ласковой чарующей синевой неба открывается черная бездна. И нам предстоит пройти через эту бездну. Для него, как и для Паскаля и, может быть, многих еще, эта бездна разверзлась как дурная, внешняя нам бесконечность. Есть мы — и какая-то чуждая нам, непонятная сила. Мы — песчинки в руках великана, которому мы безразличны. Мы — куклы, марионетки.

Это можно почувствовать, созерцая космическую бездну. А можно ощутить иначе — содрогаясь при осознании бесконечного страдания, как Иван Карамазов; испытывая на себе всю бездонность страдания, как библейский Иов.

Так или иначе встает вопрос о смысле страдания, смысле всей жизни. Если мы действительно марионетки в руках чуждой силы, то жизнь — сплошная бессмыслица, и тогда даже такой праведник, как Иов, может проклясть день, в который родился, и ночь, в которую был зачат.

Но, может быть, можно почувствовать, что мы не марионетки, не песчинки; что сила, давшая нам жизнь, не безразлична к нам, что эта сила любит нас, что она есть сама любовь, что мы можем почувствовать эту любовь и ощутить всю бесконечность не где-то вовне, а внутри себя, в собственном сердце.

Обрыв, смерть, боль, вся черная бездна — это вызов, как уже говорилось здесь. Мы должны ответить на этот вызов открытием в себе глубины, вмещающей бесконечность — бесконечность глубины, где мы можем ощутить себя не только творениями, но и со-творцами этого мира.

Внутри нас есть безграничные возможности. Но поверить в это очень трудно. Мы ходим по земле. У нас опора вовне. Обрести внутреннюю опору, может быть, труднее, чем научиться ходить по воде, как по суху.

Внутреннюю опору находит мистик. Мы уже много раз говорили здесь, что мистик (тайноведец — в переводе) — это вовсе не человек, имеющий отношения с потусторонними явлениями. Мистик — человек, познающий не явления (этого ли, или другого мира), а суть всех явлений. Не образы, а безобразную, не имеющую никакой формы суть.

Образы уже образовались. Значит, они имеют черты, границы. Они не безграничны, они — часть чего-то. Суть целостна. Познание Сути есть познание Целого, того Целого, которое включает в себя нас вместе со всем, что есть живого в мире. В этом Целом мы связаны друг с другом. Хотим мы того или не хотим, мы члены единого, не видимого нам организма.

Ощущение мира как единого живого организма и есть мистическое чувство жизни. Этот таинственный организм никогда не покажется перед глазами — Он больше нас. Он вообще не ощутим внешним органом чувств. Он открыт только столь же таинственной глубине нашего сердца.

Но до неё не так-то просто добраться.

Обычно мы верим нашим пяти чувствам, нам нужны доказательства существования чего-то иного, чем то, что ощутимо этими чувствами. Мы боимся великой тайны, создавшей нас. Даже те, кто подчас ее остро чувствовали, теряют это чувство и испытывают сомнения и страх. Примерно, как пловец, который уже держался на воде, проплыл несколько метров, ищет ногами дно и возвращается к берегу. Человек раздваивается. Он то верит, то не верит. То чувствует, что жизнь — это полная смысла и красоты тайна, то ощущает пустоту, ту же безразличную, безглазую и бессердечную бездну.

Первый пример тому — Тютчев.

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

И он же писал:

Природа — сфинкс, и тем она верней
Своим искусством губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

И всю эту блистающую синеву и зелень, о которой он говорит так вдохновенно, поэт вдруг видит «покровом, наброшенным над бездной».

День — сей сияющий покров. —
Но меркнет день, настала ночь.
Пришла — и с мира рокового Ткань
благодатную покрыва Сорвав,
отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена С своими
страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами.
Вот отчего нам ночь страшна.

Ночь страшна. Бездна — чужая, безразличная к нам, поглощающая нас вместе со всеми нашими восторгами, прозрениями, любовью. Реальной представляется только она — бездна, а все остальное — фантомы, как сказал бы наш друг А.Мелихов.

Тютчев то страстно опровергает это, то вдруг сникнув, сдается неведомой чужой силе. Сдается с мучительной тоской. След этой тоски — даже в одном из самых светлых и глубочайших его стихотворений,

которое уже цитировалось здесь, «Тени сизые смешались». И в этом ощущении как бы полного единства, растворения в мире есть «час тоски невыразимой».

У Д.Андреева, о котором уже говорил Григорий Соломонович и я еще буду говорить, часы слияния с миром совершенно несовместимы с тоской. Это часы блаженства, от которых раскрываются крылья. Душа становится ангелоподобной, легчайшей, прозрачной.

Спускался таинственный час на природу. И
пчелы и птицы и ветер утих,
Как будто сомкнулись прохладные воды И
низкое солнце алеет сквозь них.

Дорога исчезла, но всюду, как вести
Младенческих дней непорочной земли,
Сплетались у ног мириады созвездий,
Качаясь и млея, вблизи и вдали, —
То желтых, как солнце, то белых, как пена, То
нежно подобных морской синеве...
И сами собой преклонялись колена И губы
припали к мягкой траве.
— И не плоть ли Твоя это, Господи,
Эти листья и камни и реки,
Ты, сошедший бесшумною поступью Плотью
мира облечься навеки?
Ведь назвал Ты лозу виноградную Своей
кровью, а хлеб — своим телом.
— Дивно, странно мне. Реки ль вечерние
Изменили течение прохладное,
Через сердце мое текут, мерные,
Точно сок сквозь лозу виноградную.
Вот и соки зеленые, сонные.
Смолы желтые, благоухающие.
Через сердце текут — умиленное.
Умолкающее. воздыхающее.
Благовест!.. Благовест!.. Благовест!..
Точно сердце единое в мире.

Чувство единого сердца в мире — вот основная примета изменённого, мистического сознания. Тютчев близко подходит к состоянию изменённого сознания — преображения, но замирает в страхе. Он делает шаг по направлению к мистическому чувству жизни — и отступает назад. И он ближе к обычному уровню сознания, чем Даниил Андреев. Довериться бесконечности нам, конечным созданиям, — трудно. Так же трудно, как шагнуть в бездну и переплыть, перелететь через нее.

Символ христианства — крест. Много веков христиане носят его на себе, далеко не всегда сознавая, что он означает. Не буду говорить о всех значениях креста. Сейчас подчеркну одно: крест означает готовность вступить в бездну. В бездну страдания и смерти. Вынести страдание и саму смерть и обрести нечто большее, чем эта смертная жизнь.

Что? Воскресение и жизнь вечную. Не буду вдаваться в вопрос — было ли воскресение как явление. Возможно ли оно? Богу всё возможно. Но меня сейчас интересует воскресение не как явление, увиденное глазами, а как нечто произошедшее внутри нас.

Суть воскресения в том, что есть что-то большее, чем любое страдание, более сильное и реальное, чем сама смерть. Существует некая незыблемость, которую можно почувствовать только внутри, глубины сердца — и тогда шагнуть в бездну, к тому, который призывает: «учись падать и держаться ни на чем, как звезды» (М.Энде). Это можно почувствовать только тогда, когда ощутишь в себе самом бесконечность, в которой потонет все внешнее, пугавшее прежде. *Не ты тонешь в черной бездне. Бездна утопает в тебе.*

Открывшееся взгляду ночное небо с мириадами звезд вызывает великий восторг. Мы как бы чувствуем вдруг, что наше сердце измеряется этой бесконечностью. Бесконечность вмещается в нас. Мы соразмерны Ей.

Нет ничего внешнего. Все вместилось внутрь. Вот что означают слова: «Царствие Божие внутри нас». Внутри нас бесконечность — бесконечная любовь, которая объедает и связывает воедино всё. Знал ли Тютчев такую любовь? Не думаю. Он прорывался в небо — к иному чувству жизни, прикасался к тому, что называется твердью небесной, незыблемой реальностью, и задышался там. Он говорит о небе:

О, нет, не нам его судили.
Мы в небе скоро устает,
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

А Даниил Андреев в своем переживании на реке Неруссе действительно побывал на небе, никак не уставая от него, напротив — имея только одно желание — быть там еще и еще — быть там вечно. Это опыт великого созерцания, когда за явленной, видимой красотой мира открывается его невидимая суть.

Это может открыться через огромное преодоленное страдание, а может — через переполняющую душу радость, красоту. Страдание в таком случае придет потом, когда душа уже набрала силу. Предшествующая страданию встреча с Сутью мира поможет вынести любые страдания. Разумеется, не так-то это легко. Сам Христос плакал кровавыми слезами в Гэфсимании и кричал на кресте, но все вынес.

Мы все пройдем через распятые,
Нам всем его не избежать,
Когда расторгнутся объятия И потеряет
сына мать,
Когда возлюбленных утратим,
Когда придет разлуки час.
Мы все пройдем через распятые,
Оно — для каждого из нас.
Не только мать Его, но все мы Поймем,
что значит пустота,
Когда как тяжкий камень немые,
Замрем внезапно у креста.
Пройдут три дня, иль три мгновенья, —
Считай, кому не надоест, —
Лишь тот узнает воскресенье,
Кто вынес неподъемный крест.
На муку ада нет ответа,
На крик Христа ответа нет.
Но тот, кто смог остаться Светом,
Пройдя сквозь ад, — всему ответ.
Всему ответ — огонь священный,
Что в глубине глубин воскрес,
Наперекор природе тленной,
Отчаянью в противовес.

Вот эта возможность вынести всё, весь ад — и не погибнуть, сохранить в себе весь свет внутренний, всю любовь — это и есть воскресение. «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Мы много раз цитировали эти слова Силуана. Но они бездонны. Они означают, что душе человека, нашедшего внутреннюю опору — твердь небесную, — ад не страшен. Ад — страшилка для душ, не достигших истинной реальности — вечности. Ад не реален. Реален только Бог. Что это значит? Ад — это наши собственные излучения, это объективизация нашего субъективного мира.

Когда субъект — наше отдельное, отделённое от мира «я» — исчезает, когда наше «я» сливается с божественным «ты» в одно, ад проваливается в небытие. Его нет. Мы сбылись. *Внутри нас ада нет.* Он остался только вовне — в тех, кто истязает других, не догадываясь, что бьет свою собственную душу, которая не существует отдельно от других. Она таинственным образом связана со всем миром, входит в состав единого целого, не доступного нашему уму, но ощутимого нашим сердцам; или как великое блаженство, когда мы любим это целое; или как мучение, когда мы боремся с ним, отделяемся от него. Когда рука отделяется от тела, тело ранено, рука неживая, а все тело испытывает боль. Здоровье — это единение каждой части с целым.

Да, внутри у человека сбывшегося, реализовавшегося, ада — нет. Человек дошел до того глубочайшего слоя своего, в котором — Царствие Божие. Сам Бог. Он восполнен и имеет все возможности быть совершенно счастливым, если бы не то немаловажное обстоятельство, что он соединен со всем миром и не может быть счастлив один, без всего остального мира. Именно восполненные, сбывшиеся души чувствуют это единение с миром острее других, и потому они, способные излучать свет и счастье, на самом деле самые страдающие.

«Мир во зле лежит», — сказал Иисус. Да, мир находится внутри ада. И душа, вышедшая из этого ада, не подчиняющаяся его законам, добровольно спускается в ад, больше всего на свете желая спасти другие души. В буддизме бодисатва дает клятву не уходить в нирвану, пока остается хоть одна темная, не спасенная душа. В христианстве Христос говорит Петру, желавшему спасти Его от распятия: «Отойти от меня, сатана, не о небесном думаешь, а о земном».

Небо — цельное. Небесное — всеобщее. Если Христос отделится от всех и спасется один — Он уже не будет Христом. Но может ли Он спасти всех? Он ничего не может сделать *за* нас. Он только может быть среди нас, являя собой пример возможности совершенной чистоты, абсолютной любви и совершенной независимости от мирового зла. Эту возможность Он открывает нам всем. Испытывая величайшие муки, Он — больше мук; умирая, Он остается тем, кто больше смерти. И у окружающих Его людей остается выбор: либо увидеть, что тело Его смертно, и решить, что ничего нет сильнее смерти, либо другое. Это другое для тех, кто полюбил Его больше всего на свете: все величие, всю красоту Его Духа можно взять внутрь себя и тем утвердить бессмертие этого Духа.

Мир во зле лежит. И пытаясь вырваться из ада своими средствами, люди придумывают одну иллюзию за другой; вновь и вновь великие идеи построения рая на земле гипнотизируют души. Люди готовы умереть за свои идеи, заодно убивая тысячи и миллионы других. Но есть только одно средство: выйти самому из ада. Дойти до внутреннейшего царства небесного и увидеть извне ад, воистину *увидеть*, что такое ад. Только не имея ни капли ненависти в себе, ты увидишь, что такое ненависть; только вместив всю бесконечность внутрь себя, ты узнаешь, что такое полнота жизни.

Андреевскую королеву Агнесу из «Песни о Монсальвате», как и самого автора этой песни, никогда не зачаруют демоны. Демонам нечем их привлечь, потому что эти души восполнены. Они узнали, что такое целостное чувство жизни, и готовы на любые страдания, только бы не потерять его.

Глаза Даниила Андреева открыты. Демоны истории, обманывавшие, увлекавшие за собой миллионы людей, никогда не увлекут его. Он их видит — эти скрытые силы, корни всего видимого. Они могут маскироваться как угодно. Он не подчиняется им. Он разоблачает их.

Видеть могут только ясные открытые глаза. Если бы мы увидели свою зависть или ревность, как видим кобру, говорил Кришнамурти, мы бросились бы бежать от них, как от кобры. Именно так видит Андреев своих уицраоров, игв, Велгу. Нет, Андреев не демонизирует историю, а зовет людей избавиться от власти демонов. Зовет в ту глубину, где демоны тают, как туманные видения при свете солнца.

Души людей должны освободиться от внешней власти — власти всего внешнего. Это отнюдь не означает, что надо бороться с внешним миром его же средствами. Нет! «Взявший меч от меча и погибнет!» И все-таки «не мир, но меч!». Имеется в виду меч духовный. — Полная бескомпромиссность по отношению ко злу.

«Богу — Божие». И если внешняя власть не затрагивает Божьего, ей можно и нужно отдавать все, что ей полагается. «Кесарю — кесарево». Но если кесарь посягает на Божье, на саму Душу, то истинно Божий человек идет на распятие, выносит тюрьму, выносит все муки и остается собой. Даниил Андреев был одним из таких праведников и мистиков, познавших полноту духовной жизни и полноту страдания. Это был бесконечно сильный человек, вынесший все и оставшийся верным своему внутреннему Господину.

Здесь мне хочется остановиться, чтобы сказать, что понятие всеисилия, всемогущества неоднозначно. Есть внешнее и внутреннее всемогущество. Обычные рассуждения — Бог или не всемогущ, или не добр, если терпит все ужасы мира. Но нельзя мерить Бога нашими внешними мерками. Всемогущество Божье — это не власть *над* внешним миром, а возможность творить этот мир и *всё* выносить от своего же творения. «Царствие Мое не от мира сего» означает, что Божественное «Я» не подчиняет себе этот мир, но существует внутри него и выносит от него всё. Всесильный тот, кто вынесет все муки, всю тяжесть этого мира; *не схождение с креста, а вынесенный крест есть знак всеисилия*. Власть Божья есть не власть над другими, но полнота власти над самим собой. Когда все поверхностные слои нашего «я», все человеческое (физическое и психическое) подчиня-

ется высочайшему и глубочайшему духовному «я». Всесилен тот, кто, согласившись на предельную муку земную, сказал: не моя воля будет, а Твоя.

Вот почему символ христианства крест. Вот почему высший миг христианина (и всякого глубоко верующего) — не торжество победы, а коленопреклонение, только не перед внешней чуждой силой, а перед бесконечно любимым внутреннейшим Господином.

Не пропускайте час молитвы.
Не пропускайте час, когда Царит
недвижная вода И правят медленные
ритмы.
Как будто мир смежает веки,
Внутри глаза его глядят,
И о всеильном человеке Безмолвно
говорит закат.
О нашем тайном, сокровенном,
Живущем в самой глубине —
В центральной точке всей Вселенной И
очень глубоко во мне.
И начинается великий Непрерываемый
рассказ О том, что в мире нет владыки,
Кроме того, который — в нас.
В часы зари золотокрылой,
Немой молитвенной зари,
Стянулись внутрь все наши силы И
мощь восходит изнутри.

Через юность и старость: восемь побед культуры

Человек беззаботно играет только в первые месяцы жизни, потом культура ставит ему задачу: победить стихийную жизнь тела. И первая победа — ночной горшок. В бесписьменном обществе этого символа культуры еще нет. Но есть другие символы, и авторитет старших передает их остальным.

Вторая победа — стойко переносить боль, голод, психическое потрясение. Племенные общества, целостность которых легко охватить одним взглядом, ближе к мудрости, чем мы, и лучше нас решают эту задачу. Дети с первых лет знают, что им предстоит строгий экзамен на зрелость, и все этот экзамен отлично сдают. Цивилизации, выучившись читать и писать, про обряды инициации постепенно забыли. Цивилизованный человек образован, но очень редко умеет держать удар. Суровые испытания редко закаляют его, чаще — создают невротиков.

Фильм «Возвращение» можно рассматривать как попытку напомнить о реликтах инициации, сохранившихся в северных деревнях. Глубокое впечатление, произведенное фильмом, говорит о том, что у многих он вызвал смутное припоминание чего-то утраченного. Но сейчас нет ни предписанных ролей, ни стабильных целей. Далай-Лама XIV говорил о необходимости быть готовым к неожиданным потрясениям, которым была Первая мировая война для людей XIX века (и все последующие войны). Мы обсуждали проблему готовности к потрясающе новому со скандинавским исследователем Кристианом Эгге, опросившим некоторых известных людей, чем заменить обязательную молитву в школе. Я рассказывал, как постепенно обрел опору на чувство вечности. На это у меня ушло двадцать два года, с 1938-го по 1960-й (годы войны, тюрьмы, лагеря, смерти любимой, встречи со стихами о Боге, страдающем вместе со всей страдающей тварью). Как передать это людям, ничего подобного не испытывавшим и не пережившим, не знаю. Текст нашей беседы с Эгге опубликован, но индивидуальный опыт — не педагогическая методика. Это одна из важнейших проблем современной культуры, и, может быть, ее отчасти решит искусство.

Третья победа — сдержанность при порывах полового голода, пока ритуал не снимает запрет. Личность, нашедшая в собственной глубине право вязать и разрешать, приходит к целомудрию любви, во имя любви, — но половой голод приходит раньше, чем созревание личности. Особенно сейчас, когда каждый недоросль считает себя личностью и хорошо изучил свои права. Сексуальная революция — нечто вроде бунта двухлетних детей против ночного горшка, за свободу плевать на родителей, учивших не писать в штаны. Отбросить инструкции и правила, связанные с техникой, невозможно, и бунт против гнета правил направляется туда, где это не грозит смертью и дает приятную разрядку.

Проходит несколько лет, прежде чем удовольствие начинает сменяться оскоминой, СПИДом и угрозой вымирания свободного мира. Повторяется история античности, поверившей, что мудрому не нужен закон, у него есть разум. Выше субботы только мудрость Господина субботы, разума здесь мало.

Четвертая победа — сдержанная страсть в любовном союзе, внимание мужчины к женскому осязанию любви, внимание женщины к мигу, когда страсть делает ее сильным полом, а мужчину слабым, и общая способность чувствовать за другого, думать о другом. Умение создать ритуал любви, довести страсть до музыки осязания, до причастия духу любви, — всегда личная победа. Только немногие встретились в пустыне с Лисом, и не всё Лис объяснил Маленькому принцу.

Церковь боролась с «гнушением браком» у женщин, насильно выданных замуж. Но сейчас перед обществом совсем другая задача. Общество все дальше и дальше уходит от природы. Семья — почти единственный уголок, где люди общаются друг с другом лицом к лицу, без электронных посредников, без социальных масок. Здесь может быть создано облако доверия и нежности, где человек человеку ангел, где легко открыться друг другу и друг через друга — божественной любви. Здесь противовес растущему хаосу сил, развязанных развитием и рвущихся в бездну. Здесь можно понять свою простую задачу: заниматься делом, которое можно полюбить, и предоставить область большой, исторической жизни Богу. Здесь сердце подсказывает разуму, как жить.

Большая, историческая жизнь, созданная человеком, обогнала способность человека понять ее. Мудрецов, спокойно пребывающих в своей мудрости, нет. Сегодня мудрость возможна только как миг духовного взлета, порыв вдохновения, и даже открытость мудрости — только в небольшом кругу. Годы подготовки к зрелости, годы ученья растягиваются, захватывают всю юность, вторгаются в самую зрелость, но век живи, век учись — дураком помрешь. Мужчине не хватает времени создать семью: он пишет диссертацию. Женщине не хватает времени рожать. А плод учения — только специальность, и чем дальше, тем более узкая. Над эту узостью еще черт смеялся, в бреде Ивана Карамазова.

Человек перестал быть придатком к ткацкому станку — и стал придатком к процессу линейного программирования. Ученый — раб своей теории. Он усердно сшивает белыми нитками систему, пробует на опыте — а потом, как Раскольников, мучительно ищет роковую ошибку. Можно считать практически доказанным, что целостность жизни дается только образу, и я думаю, что сам Бог скорее художник, чем часовщик. Тагор сказал о Боге: «О, поэт наивысший!».

Умножение специальных знаний своего рода благо; но в то же время и зло: оно делает целое вещью в себе, недоступной уму. Импрессионисты еще в позапрошлом веке поняли, что образ целого создается через смазывание деталей. Ученые до сих пор не научились вырывать время от

времени час созерцания творящей бездны, из которой только чуть-чуть выглядывают факты. Образ великого вселенского Целого перекликается с образом целостной человеческой любви. Привычка искать истину в точной математической формуле так же естественно ведет к разладу. Я много раз цитировал стихотворение Ахматовой:

...И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Точными методами нельзя научить сердце прислушиваться к сердцу. Привычка обособливать факт от факта привела к обособлению человека от человека. Внедрение точной науки в интимные отношения между людьми стала поражением культуры. Стихотворение Рильке «Одиночество» кончается словами: «И когда тела, не получив ожидаемого, с ненавистью отрываются друг от друга, одиночество хлещет реками». Рильке вышел из этого в созерцание. Сексуальные революционеры, не достигнув единения с космосом через секс, садятся на иглу.

Глубже и глубже делается разрыв между поколениями. Кажется, что старость ничего не может сказать юности. Иногда ей действительно нечего сказать. Однако медленный упадок физических сил может быть плодотворным для духа, открывая место тишине созерцания. В этой тишине рождается все более чистая творческая воля. Пламя вдохновения переходит от синего к белому накалу. И это — пятая победа культуры, победа в слабости. Половину жизни человека ослепляло буйство сил, лезущих через край, вторую половину — прислушивание к своему больному телу (как прислушивался к нему, споря с Достоевским, нарком просвещения Луначарский). Достоевский все-таки прав: больной, старый человек может быть ближе к своей душе. Не зря сложилась поговорка: «пора о душе подумать». И не только о своей душе.

С подлинными победами культуры неразрывны пирровы победы. Высшее образование, как заметил Чехов, развивает все человеческие способности, в том числе глупость, целую плеяду разновидностей глупости, болтовни ума, суеты. Особенно пышно цветет глупость в политике, в планах спасения нации, спасения человечества. Чем громогласнее политические планы, тем легче жертвовать людьми ради великой цели. Лучшая политика — это скромная политика, оставляющая первое место духовным и нравственным сдвигам. Горстка мудрости, еще возможной сегодня, — это сознание призрачности политического величия, понимание политики как будничного ремесла, очень редко достигающего совершенства. И это сознание — было бы шестой победой культуры.

Седьмая победа — завершение долгой борьбы за освобождение от обид, отказ от борьбы за первое место, довольство признанием друзей и равнодушные к электронной болтовне. Завершение, которого немногие

достигают.

Восьмая победа — завершение опытов полета над страхом смерти, чувство неразрывности с духом, веющим в природе, жизнь в созерцании великого Целого, готовность исчезнуть вместе с ветром, срывающим пожелтевшие листья, отдав духу любви все, что смог отдать, пока дышал.

Эрнст Югнер, хорошо известный немцам своими очерками «стальных бурь» Первой мировой войны, прожил больше ста лет. В последние годы он писал, что живет в постоянном соседстве со смертью. Мне кажется, я его понимаю. Это не жизнь смертника, ждущего казни. Нет, как раз напротив. Внимание его направлено к Царству смерти, выступающему из-за тени, отброшенной физическими телами, и ведет к какому-то более тонкому бытию. Чем больше дряхлеет физическое тело, чем больше вещей невозможно увидеть, услышать, попробовать на зуб, тем больше высвечивается что-то, выходящее за противоположность жизни и смерти.

Ребенок не знает царства смерти. Он может увидеть мертвую птичку, но это для него случай, а не рок всего живого, и мертвая вода может быть смыта живой водой. Он легко наделяет бессмертием тех, кого любит, и просит маму или няню дать честное слово, что они никогда не умрут. Подросток знает, что люди смертны, но относит это к чужой, взрослой жизни — ходить на службу и умирать. Только у немногих есть «память смертная», чувство колокола, звонящего по тебе. Масса слышит его лишь тогда, когда умирают самые близкие, и быстро забывает.

Когда меня начал тянуть к себе берег Стикса? Кажется, в юности. Я полюбил стихи Тютчева о всепоглощающей и миротворной бездне, последнюю арию Германна в «Пиковой даме», ирландскую застольную и шотландскую застольную Бетховена и чувствовал напряженность жизни, чокаясь с миледи Смертью. Жизнь на краю, в близком соседстве с гибелью, влекла, как любовь. Не знаю, что больше меня захватывало: «Чудное мгновенье» или Гимн чуме. Как-то особенно притягивала «Последняя любовь» Тютчева и обрывки английского стихотворения, кажется, Шелли, — «если жизнь разлучит, то мы встретимся в смерти, сливая вместе последний вздох». Смерть (deaШ) рифмовалась с дыханием (ЪгеаШ), и в этом последнем вздохе было тождество смерти и бессмертия, выход за рамки всякой двойственности, к которому я потом всю жизнь тянулся. И сегодня я вижу образ этого тождества в утробе ночи, рождающей утро.

Стикс — это метафора, приготовленная традицией, привычный способ выражения. Он не совсем точно передает мое чувство, слишком резко, рационально проводит границу. Я вижу перед собой то нескончаемый поток перемен, то океан, в который моя капля вольется — и исчезнет. Но, исчезая, вольется в вечность, в целостность.

Я не боюсь потонуть. Скорее страшно, что не успею раствориться, когда волны океана будут играть с тем, что от меня осталось, и какая-то волна забросит меня назад, в чье-то лоно, и придется снова начинать с

детского крика и детских искушений, вроде рахат-лукума, соблазнившего Эдмунда в Нарнии. В этой жизни я как-то выбрался к своему призванию. Но если это подлинно *мое* призвание, то, может быть, и в прошлой, и в будущей жизни что-то подобное повторялось и повторится, пусть только как тип, на который время и страна накладывали свой отпечаток, выковывая отдельную личность. И в самом главном, родовом для моего типа, я вновь и вновь буду ждать (но не всегда дождусь) свою обреченную без меня королеву, — стать воздухом, пространством, в котором она сможет дышать, а потом создавать из двух атомов духовную молекулу, узелок духовной культуры. Я не знаю, что на самом деле будет после смерти, я говорю только про образы, вызывающие отклик в сердце.

Оглядываясь на прошлое, я вспомнил, что в буддизме веками шел спор двух путей, будды и бодисатвы. Бодисатва прикасается к нирване, но не уходит в нее, пока остается хоть одна страдающая тварь в мире перемен. Надо отдать себя, свою каплю, океану любви, и надо отдавать свою любовь волне сочувствия и оставлять огонек любви в мире холодной суеты. Выбор совершается глубже уровня сознания. Но безграничная действительность — единство вечного покоя и потока перемен. И в любом повороте жизни и смерти я надеюсь искать и, может быть, найти путь к подлинным глубинам и не сдаваться наплывам, мечтам, сдуваемым ветром.

Часть этой действительности — то, что мое поколение вымерло и жизнь соединяет меня с людьми, родившимися на двадцать, сорок, шестьдесят лет позже. Они соблазняются новыми сладостями, которые меня не волнуют. Но все эти различия на поверхности. На глубине я иногда чувствую близкими тридцатилетних, а на поверхности я и среди своих сверстников был чужим и уходил от соседей во времени — к Гамлету, к героям Стендаля, к Ивану Карамазову, к Кириллову. На советском птичьем дворе их нельзя было встретить. Первый круг друзей сложился, благодаря заботам партии и правительства, из собеседни

ков, подобранных по статье 58—10, часть 1. Но после выхода на волю этот круг постепенно распался. Потом сложился новый круг, смешавший все возрасты, — от моего учителя, Леонида Ефимовича Пинского, до мальчиков, друживших с сыновьями Иры Муравьевой. Я выбрал центр этого круга, остальное притянулось само собой. И то же повторилось, когда солнцем системы стала Зина Миркина. Опять вокруг нее собрались и старшие, и младшие.

Для себя я еще в лагере выбрал второе место. Первым постепенно стало То, не вмещенное ни в слово, ни в личность. Вместе с Зиной мы искали подступы к нему и кое-что нашли. Иногда мне кажется, что теперь только и начинать, расширять свою страну Небывалию. Но так Хокусай в свои 80 лет говорил, что только начинает рисовать.

Мешает дряхление тела. У Акутагавы Рюноске я еще в 30-е годы прочел рассказ «Зубчатые колеса». Какая-то болезнь постепенно лишает ум героя ясности, остался под лучом света только час в день, и от этого наступления тьмы хочется покончить с собой. Мне — не хочется. Хотя в иные дни остается меньше часа ясности и даже ничего не остается. Но память ясности держит, я в нее верю, и она возвращается. Сперва — как пустое лоно, ничего не рождающее. Потом в пустоте, в спокойном созерцании созревает новая мысль, новый парадокс, новый образ — и вокруг этой веточки, брошенной в соляной раствор (как в эссе Стендаля о любви), начинают складываться кристаллы. Достаточно несколько минут расширенного сознания, безграничной действительности, и просыпается слово, и память выдает порывы прошлых лет, к которым хочется примкнуть. Океанская волна смывает отмель, лужица становится заливом великого океана...

Это не мечта. Это реальность. Но реальность «на всю катушку», до последнего поворота. В юности захватывало то одно, то другое. Сейчас осталось одно. Старость — это Рим, который, взамен турусов и колес, не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. И вместе с чувством пропасти рождается ясное сознание; вот оно, *то*, к которому мы идем. То, которое Уддалака Арунья не знал, как назвать, и только твердил своему сыну: То — это ты!

Струя абсолютной подлинности смывает все кляксы неудач, обид. Вместо множества наплывов, между которыми бродит юность, остается один путь: сплачивать оставшиеся силы и не сдаваться распаду, не терять контакта с глубиной, с целостностью бытия. И вспышки юности перекликаются со зрелостью поздних лет.

Безграничная действительность

Григорий Соломонович говорил о восьми победах культуры, которые повторяются в жизни каждого поколения, и о тех задачах, которые каждому человеку предстоит решать. Тема нашей прошлой беседы была по существу о самой трудной из этих задач — о том, как, проходя через внешнюю тьму, выйти к внутреннему свету. Не мечтать, не грезить о светлом будущем, а действительно пройти насквозь тьму и добраться до света, существующего всегда — сейчас, сегодня.

Прошлая беседа, может быть, была несколько перенасыщенной. И мне хотелось бы вернуться к ней и подойти к теме немного иначе. Очень непросто понять, что такое действительность, что в ней господствует — свет или тьма. И, наконец, в чем самое прекрасное? В мечте или в реальности?

Одну свою статью о поэте Борисе Чичибабине я назвала «Трагический поэт и великий мечтатель». Самыми сильными стихами этого поэта, которого я очень люблю, были стихи глубоко трагические. И вместе с тем, вся его душа тянулась к свету. Действительность, окружавшая его, была тяжелой, нередко безобразной. Но была рядом и природа. Белый снег был для него почти откровением. — Священная белизна, которая спускается к нам с неба, давая нам вновь и вновь шанс очиститься до небесной прозрачности.

Шанс дан. Однако он остается лишь шансом, лишь образом прекрасной мечты, которую калечит и убивает страшная действительность. И поэтому, хотя поэт говорит о действительности с огромной силой и глубокой честностью, есть большое желание уйти от нее, спрятаться в мечту, в мир книг о прекрасном: «Мне ад везде. Мне рай у книжных полок». Он с радостью соглашается с Мережковским, который ставит Тургенева выше Толстого и Достоевского, потому что у него ни одна девушка не выходит замуж и снежная белизна души как бы остается не запятнанной жизнью.

Действительность чернит, пятнает мечту. Хороши, божественны только первые дни, может быть, годы влюбленности, которые непременно искажаются грубым естеством и бытом. Но может быть, есть что-то, что исказить невозможно; что-то, что вообще не может пройти? Любовь, которой не страшны никакие испытания? Она есть. Но чтобы найти ее, нужно то, что Рильке называет работой любви. Это очень трудная работа по преобразению очевидной действительности; работа, которая уводит все глубже с поверхности внутрь, от времени к вечному. «Мы живем в этом мире, если любим его», — сказал Тагор. Я бы добавила: любим, если умеем видеть «в яйце орла, в грешнике — святого» (Энтони де Мелло).

Трудное видение. Но, может быть, только такому видению учил нас Христос, говоря свои пронзившие двадцать веков слова: «Прости им,

Отче, ибо не ведают, что творят». Надо ведать. Надо видеть.

Есть другой поэт, хорошо всем знакомый, который любил жизнь бесконечно. Любовь к жизни была его главной силой и главной темой; любовь эта подводила его вплотную к откровению о смысле и тайне жизни. Он не рассуждал о смысле и тайне, он любил. И любовь эта раскрывала и смысл, и тайну. Я говорю о Пастернаке и хочу привести отрывок из стихотворения «Иней».

Глухая пора листопада,
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо,
У страха глаза велики.
Пусть ветер, рябину заняв,
Качает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Ты завтра очнешься от спячки И,
выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки Как
вкопанный будешь стоять.

Как вкопанный. Всё внешнее движение остановилось, пересеченное потрясающей душу красотой.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье О
спящей царевне в гробу.
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: благодарствуй!
Ты больше, чем просят, даешь.

Вот в этом «больше, чем просят, даешь» заключено очень много. Мы заняты собой, мы просим о чем-то, мечтаем — и вдруг, — совсем не в ответ на наши мечты, — что-то другое, но оно оказывается больше всего, о чем мы могли мечтать. Во всяком случае, это так для человека чуткого к красоте мира. Он увидел действительность, которая превзошла все его мечты.

Увидел то, о чем и мечтать не мог — воображения не хватило бы. Хотя при этом он никуда не прятался от ужасов действительности. И случалось — глядел в глаза смерти, может быть, играл в гляделки со смертью.

В стихотворении, которое я считаю самым сильным и самым пре-

красным из всего наследия Пастернака, «Магдалина» ясней и полней, чем где бы то ни было, дано это прохождение сквозь смерть. Бесконечно любящее сердце Магдалины переживает смерть Христа, как свою собственную.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Брошусь на землю у ног распятия,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья Ты
раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

И дальше — то глубочайшее четверостишье, которое мы оба не раз цитировали здесь и которое Бродский просто отрицал, как бессмысленное:

Но пройдут такие трое суток И столкнут
в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток Я до
Воскресенья дорасту.

Один покойный священник, очень хороший человек, был возмущен этими строчками. «Я дорасту, — говорил он с осуждением. — Она дорастет, а не Христос воскреснет».

Я уже говорила, что для меня главное в воскресении не то, что явилось перед глазами; не явление, а суть, всегда невидимая, но в ней-то и находится смысл всего видимого, всех явлений. Возможно ли воскресение, как явление, или нет, — это вопрос не про то. Богу всё возможно. Но надо понять, что Ему *нужно*.

Так вот: суть воскресения внутри, а не вовне. То, что увидят наши глаза, еще ничего не изменит в нас самих. Это может поразить нас, но не преобразить. Преображение наступит тогда, когда Христос воскреснет внутри нас. «Я умер, жив во мне Христос», — сказал апостол Павел. И вот до *этого* воскресения нам надо дорасти.

Так что же такое действительность? Распятие или воскресение? Думаю — и то и другое. Но что распятие действительно есть, это видно и понятно всем. А что воскресение — это тоже действительность, видно

только тем, кто дорос до него. Тем, кто прошел сердцем через распятие и вдруг увидел, что это не конец, что нас ждет еще что-то неведомое, больше, чем мы можем попросить.

Можно пройти через невероятную пустоту, лишиться всего самого дорогого — и встретиться с такой полнотой жизни, о которой мы не могли просить, не могли мечтать.

Я знала женщину, которая работала ассенизатором в лагере, на Воркуте, и вдруг увидела северное сияние. Она застыла, опершись на свою лопату, как Пастернак на углу водокачки, и, обратившись мысленно к Сталину, сказала: «Ты хотел уничтожить меня, раздавить, а я счастлива! Счастлива!». Замечу, что ее дочка, тоже прошедшая через лагерь, не понимала этого. «Нет, я не могла так, как мама, — говорила она. — Мне было только очень плохо». А мама чувствовала, что ей дано больше, чем она может попросить. И случилось это не в уютном Переделкине, а в лагерном аду.

Я уже рассказывала о фильме, где любящий муж говорит любимой жене: «Лучше быть с тобой в аду, чем без тебя в раю». Глубина любви доходит здесь до мистического откровения. Мейстер Экхарт тоже говорит: «Лучше быть с Богом в аду, чем без Него в раю». Так кто же такой Бог и что такое рай? Место отдохновения, где мы можем забыться, отгородиться хоть на время от действительности и помечтать о том, чтобы она стала другой, более доброй к нам, не такой равнодушной? А на самом деле, что ей мы? Ничто.

И вновь у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

«Равнодушная природа! — воскликнул Даниил Андреев. — Бедный Пушкин!»

Он глубоко любил и чтит Пушкина, но хорошо знал то, чего Пушкин не знал, во всяком случае, когда писал эти строки. Природа не равнодушна к нам. В ней есть великая любовь. Однако пушкинские строки ближе к обычному нашему сознанию, чем к мистическим прозрениям Даниила Андреева. Природа, в восприятии большинства, это фон жизни. Один наш друг, живущий в красивых местах, сказал нам: «Декорация у нас хорошая, а главного нет». Декорация? Для какого спектакля? Фон для чего? Для наших страстей, событий, мыслей и мечтаний? А может быть, она — природа, красота ее — совсем не фон, а суть, которая может дать нам гораздо больше, чем мы просим?

Может быть, мы способны расслышать в ней беззвучную весть о чем-то гораздо большем, чем мы сами? Если долго простоять, как вкопанными, где угодно, — где нас застала эта весть — на углу водо-

качки, у окна, в полярном лагере за грязной работой? Мы готовы отдать жизнь за любимых, готовы отдать жизнь за то, что заполняет нашу душу. Что-то есть важнее самой жизни. Что-то есть, без чего жизнь становится бессмысленной и ненужной. Человек очень часто выносит невыносимое, но вот бессмыслицы жизни вынести не может. Есть у Василия Гроссмана в повести «Всё течет» герой — Иов нашего времени, вынесший, кажется, все, что может выпасть на долю человека. Но самыми страшными часами были для него часы беседы с одним умным и, казалось бы, порядочным человеком, который брался доказать ему, что нет в жизни никакого смысла, никакой святости. Допросы у следователя были для Ивана Григорьевича спасением от бесед с этим человеком...

Нас наполняет и держит в жизни что-то, что важнее самой жизни. Что же это? Этого не увидишь глазами, не обнаружишь всеми пятью чувствами. Мы видим только вестников от Этого — красоту мира, открывающуюся глазам.

Но, может быть, это фантом, самообман — и нет ничего? Мы можем делать какие угодно выводы. Нам никто и ничто не подтвердит и не опровергнет наших мыслей. И вот это, не доступное никакой логике, находящееся за гранью всех наших пяти чувств и дающее смысл всей нашей жизни, и обозначается лаконичным словом «Бог».

Есть Он или нет, знает только наша душа. Сам Он во внешнем мире не показывается, ни в чем нас не убеждает и не произносит никаких слов. И честные атеисты вправе сказать: не вижу, значит нет. А верующие люди бывают очень разные. Одни верят, потому что им так внушили. Другие верят в свою мечту, плод воображения, — в кумира. Они создают бога по своему образу и подобию. Это не тот Бог, который создал их, а бог, созданный ими. И третьи, это те, которые имели какой-то опыт Встречи, испытывали дуновение духа творящего.

Встречи бывают разные. Как говорил владыка Антоний Сурожский, далеко не у каждого встретившего было такое грандиозное событие, перевернувшие всю душу, как у апостола Павла. И все-таки есть те, которые так или иначе *знают* Бога.

Я знаю Бога, точно так,
Как лес — свой затаённый мрак,
Как ветка ведаёт свой путь И
знает, как и где свернуть.

Может быть, самые главные слова, сказанные когда-нибудь, это «Царствие Божие — внутри нас». Царствие Божие. — Сам Бог — внутри, а не только вовне. Он внутри нас и мы внутри Него.

Он не плод нашего воображения, не мечта наша; не то, о чем можно спорить — есть Он или нет. *Он тот, Кто есть. Суций. Суть мира. Действительность.* Но не та объективная действительность, которую

можно увидеть, услышать, ощутить пятью чувствами. И не та субъективная действительность, которую каждый творит, как он видит.

Она не объективна, ибо это не объект, отделенный от нас. Она не субъективна, ибо не замыкается ни на каком субъекте, а идет через, сквозь, в такую глубину, которая является одновременно глубиной каждого и всех других. — Глубиной, на которой мы встречаемся, на которой чувствуем себя членами единого живого организма.

Ощущение этой глубины, знание о том, что *есть* такая глубина, есть ощущение Бога, уверенность в Его существовании, Вера (то, до чего надо дорасти). Для истинно верующего есть одна реальность — это не объективная и не субъективная — абсолютная реальность. Это и есть безграничная действительность, о которой говорит Рильке. Все видимое — преходяще. Оно начиналось и кончится. Оно не действительно, ибо не вечно. Но оно все-таки действительно, ибо в нем есть вечное.

Это вечное есть во всем, но на очень большой глубине. Единой глубине для всех и всего живого. Это единство надо обнаружить. Отыскать. Поиск этого единства и есть духовный путь. Бог действительно безграничен. Не ограничивай Его! Не ставь стен! Не говори: Он есть в одном и Его нет в другом. Он — всюду. Но опять-таки — очень глубоко.

У дерева тысячи листьев, веток, корней. Это видно (И корни — раскопай — увидишь). А кто *видел* то, что делает дерево единым? Живым? У нас есть руки, ноги, глаза, уши и внутренние органы. А кто видел душу? Душа внутри всего видимого и принимает всё внутрь себя. Она *всё*. Она за всё ответственна. Ей некуда от себя уйти. Некому жаловаться, потому что вовне никого нет.

Мне некому вернуть билет.
Мне некого проклясть.
И у души отдушин нет,
Куда б излиться власть.
И — никого на стороне.
Никто не виноват.
А я — во всем. И всё — во мне,
Весь рай и целый ад.
И смерть не выход. Нет как нет
Во мне небытия.
Перед собой держать ответ Всю
вечность буду я.

Это отказ от всех утешительных иллюзий. Это предстояние перед Реальностью есть готовность принять распятие.

Ну что же, раз пришло, то заходи
Огромное. Косматое. Лихое.
Мне нужно уместить тебя в груди Со

всем твоим звериным, диким воем,
Чудовищное горе. Время игр Давно
прошло. Померкли небылицы.
В мой дом ворвался разъяренный тигр,
И с этим тигром я должна ужиться.
Выталкивать нельзя. Иначе съест И
ближнего и дальнего соседа —
Всех, кто беспечно лепится окрест И
ничего о нем не хочет ведать.
Не вытолкнуть, но и не продохнуть.
О, если бы судьба сняла излишки!..
Что значит всё вмещающая грудь,
Придется мне узнать не понаслышке.

Да, всевмещающая грудь вмещает распятие. Но только в ней может произойти воскресение.

Я хочу вернуться сейчас к тому, с чего начала, к моему покойному другу — поэту Борису Чичибабину, которого я назвала трагическим поэтом и великим мечтателем. Не у всех хватит сил вынести распятие. И я никогда не брошу камень в того, у кого не хватило на это сил. И, однако, тот, кто хочет дойти до истинной реальности; тот, для кого важнее всего «ничего не поделаешь, вечность» (это цитата из Чичибабина) и кого ведет «ничего не поделаешь, Дух» (из него же), тому — ничего не поделаешь, надо не мечтать о рае, не уходить в мечту от действительности, а доглядеть действительность до вечного, воистину райского пласта. И увидеть в действительности то, что оказывается большим, чем все наши просьбы, все мечты. Только вынесший все муки выдержит взгляд вечности, увидит глубину, в которой рождается и воскресает жизнь.

Наш внутренний господин — суровый господин. И, однако, Он есть сама Любовь. Вмещающее всё сердце узнает великую полноту жизни. Оно проходит свой квадрильон мук и оказывается там, где они стерты жизнетворным дыханием, где сияет смысл всех наших мук.

Истинная действительность, та, которую Рильке назвал безграничной действительностью, настолько же больше всякой мечты, насколько живой человек живет самой прекрасной куклы.

Всемогущее сердце мое,
Бесконечных миров сердцевина.
Ты, наполненное до краев,
Со вселенною всею едино.
О, лесная, великая тишь,
Чудотворная сила безмолвья.
Это ты мое сердце растишь,
Это ты его тайною полнишь.
Омываясь в твоей тишине,
Я прощаюсь со знанием ложным.
Всё, что истинно надобно мне,
То воистину сердцу возможно.

27.XI.2006

Библиография книг Г.С. Померанца

1. Неопубликованное. Мюнхен: Посев. 1972.
2. Сны Земли (статьи о России). Париж: Поиски. 1985; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2004 (серия «Российские Пропилеи»); 3-е изд. — М.; СПб., 2013 (серия «Российские Пропилеи»).
3. Открытость бездне. Этюды о Достоевском. Нью-Йорк: Либерти, 1989.
4. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: Советский писатель, 1990; 2-е, дополненное изд. — М.: РОССПЭН, 2003 (Серия «Российские Пропилеи»). 3-е изд. — Там же, 2013.
5. Собрание себя. М.: ДОК, 1993.
6. «Русское богатство», № 2 (6). Журнал одного автора. М., 1994.
7. Выход из трансa. М.: Юрист, 1995; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2010 (серия «Российские Пропилеи»).
8. Записки гадкого утенка. М.: Московский рабочий, 1995; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2003 (серия «Зерно вечности»).
9. Великие религии мира (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: Рапол, 1995; 2-е изд. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001; 3-е изд. — М.: РОССПЭН, 2006 (серия «НишапИаз»).
10. Страстная односторонность и бесстрашие духа. М.; СПб.: Университетская книга, 1998 (серия «Российские Пропилеи»).
11. Тринитарное мышление и современность (*совместно с М. Курочкиной*). М.: Фантом пресс, 2000.
12. В тени Вавилонской башни (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: РОССПЭН, 2004 (серия «НишапИаз»).
13. Следствие ведет каторжанка (расследование О.Г. Шатуновской убийства Кирова, преступлений Большого террора). М.: Независимое изд-во «Пик», 2004 («Антология выстаивания и преобразования»).
14. Невидимый противовес. Лекции, прочитанные на рубеже веков (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: Независимое изд-во «Пик», 2005 («Антология выстаивания и преобразования»).
15. Дороги духа и зигзаги истории. М.: РОССПЭН, 2008 (серия «Российские Пропилеи»); 2-е изд. — Там же, 2013.

1п тетопат

**Григорий Соломонович
Померанц**

13.03.1918-16.02.2013

Григорий Соломонович Померанц

Некролог

Один из крупнейших мыслителей современности Григорий Соломонович Померанц отошел в вечность вечером 16 февраля 2013 г. на пороге 95-летия после продолжительной и тяжелой болезни. Его мощный интеллект почти до самой кончины противостоял тяжкому недугу — он потерял сознание только за три дня до кончины. До последней минуты рядом с ним была его жена Зинаида Александровна Миркина — известный духовный поэт.

Григория Померанца справедливо называть и культурологом, и писателем, и публицистом, но главное его поприще — философия, выраженная в его трудах — научных исследованиях, книгах, эссе, публицистике, публичных лекциях и цитируемых СМИ высказываниях. Сам он не очень любил, когда его называли философом: «Я не пользуюсь профессиональным философским языком, а стараюсь писать просто, доступно», и наиболее полно к Григорию Померанцу подходит определения «мыслитель» и «мудрец».

Григорий Соломонович Померанц родился 13 марта 1918 г. в Вильно (ныне — Вильнюс). Его отец работал бухгалтером, будучи при этом деятелем Бунда (еврейской социал-демократической организации), за что в сталинские времена был репрессирован. Мать была талантливой драматической актрисой. В 1925 г. семья переехала в Москву. Григорий быстро забыл идиш, на котором продолжали говорить в семье, и польский, необходимый для жизни в Вильно. Его родным языком стал русский, который довольно быстро был освоен им в совершенстве. Позже это вылилось в блестящий стиль научных и литературных трудов Григория Померанца и уникальный язык его устных выступлений, порой импровизированных, а не подготовленных заранее. (В этом можно удостовериться, знакомясь выступлениями Померанца на нашем Портале, чаще всего в рубрике «Мнение», которые, будучи записаны без предварительной договоренности, по телефону, практически не нуждались даже в стилистической правке. Большинство из написанного Григорием Померанцем — это еще и прекрасный образец русской литературы.

В 1935 г. Григорий Померанц поступил на философский факультет знаменитого Института философии, литературы и искусства (ИФЛИ), а после упразднения этого факультета «за ненадобностью» перешел на литературный — на отделение русской литературы. Там его учителями стали Леонид Ефимович Пинский и Владимир Романович Гриб. Закончив ИФЛИ в 1940 г., Померанц начал работать в Тульском педагогическом институте, где до начала Второй мировой войны успел прочесть два курса

лекций.

В 1941 г. Григорий Померанц добровольцем ушел на фронт. В военкомате, поскольку он был «ограниченно годен» по зрению, ему предложили ждать повестки, но он не стал её дожидаться и на фронт попал раньше. В 1942 г. был тяжело ранен, вернулся в строй и оставался всю войну в действующей армии. Пройдя через кровавый кошмар Сталинградской битвы, дошел до предместий Берлина, а День победы встретил где-то в Судетских горах в звании младшего лейтенанта. Во время войны был внештатным литсотрудником, а потом штатным сотрудником двух дивизионных газет, много бывал на передовой. В 1943 г. вступил в ВКП (б). В 1944 г. из-за конфликта с редактором подал рапорт на перевод комсоргом в стрелковый батальон, хотя «знал, что ни один комсорг стрелкового батальона не служил более четырёх месяцев. Дальше — наркомздрав или наркомзем. <...> Статистика не подкачала: бои начались 22 июня, осколок попал в меня 23 октября; ровно четыре месяца и один день. Могло кончиться иначе (один шанс из трёх — смерть)» («Записки гадкого утенка»).

После окончания войны год дождался демобилизации — не был бы он офицером — демобилизовали бы, а вот лейтенанта демобилизовать было трудно. Не дождавшись демобилизации, Померанц стал бомбардировать командование заявлениями, в одном из которых написал, что не считает возможным пропагандировать «Молодую гвардию» А. Фадеева как малохудожественное сочинение. Всё это закончилось исключением из партии с формулировкой «за антипартийные высказывания» и вожденной «гражданкой» с «волчьим билетом». До 1949 г. Григорий Померанц работал на разных мелких должностях: техником в тресте «Союзэнергомонтаж», корректором, продавцом в «Книжной лавке писателей» на Кузнецком мосту. Тут подспела борьба с «безродным космополитизмом», пошли в дело заявления 1946 г. и, как следствие, — арест 30 октября 1949 г., к которому он был готов и морально, и физически: купил футляр для зубной щетки и пришил к шинели новые крепкие карманы. «И когда за мной пришли, страха не было. Оперативники рылись в моих книжках, а я с аппетитом ел яблоко». Так Померанц оказался в 16-й камере тюрьмы на Малой Лубянке. По знаменитой статье УК РСФСР 58-10 получил 5 лет, которые отбывал в Каргопольяге. После смерти Сталина летом 1953 г. попал под амнистию. В Москве жить не разрешили, и три года Г. Померанц преподавал литературу в средней школе казачьей станицы Шкуринская Краснодарского края. В 1956 г. был реабилитирован и вернулся в Москву.

В 1946 г. Григорий Померанц женился на Мирре Зайдман, с которой был знаком до войны и переписывался, находясь в армии. После отправки в Каргопольлаг Мирра под разными предлогами не захотела навещать мужа, и после возвращения Померанца из лагеря их брак распался.

По возвращении в Москву Григорий Померанц устроился на работу

библиографом — сперва в Библиотеку иностранной литературы, а потом в Фундаментальную библиотеку общественных наук АН СССР (ФБОН) (ныне — Институт информации по общественным наукам РАН (ИНИОН)), где и проработал до пенсии. Его первые эссеистские опыты были осуществлены в 1953—60 гг. — «Предмет» (первый вариант «Пережитых абстракций»), «Счастье», «Памяти Иры», «Пух одуванчика», «Язык богов» и др.

Венгерские события 1956 г. и травля Пастернака произвели на Померанца сильное впечатление, вызвав мысли о прямом политическом противостоянии режиму (вплоть до эксперимента с подпольем и участия в вооруженной борьбе, если таковая стихийно начнется). В 1959—60 гг. вокруг Померанца образуется нечто вроде полуподпольного философско-исторического и политэкономического семинара («слегка законспирированного, но без всякой организации»). Среди участников семинара — многие активисты «Маяковки», в частности — Владимир Осипов (Сегодня глава националистического Союза «Христианское возрождение»). Опыт этого философско-политического полуподполья был оценен Померанцем как отрицательный. Между тем, состоявшееся в 1960 г. знакомство с Александром Гинзбургом, Натальей Горбаневской, Юрием Галансковым открывало иную перспективу: неподцензурную деятельность, главное в которой — «совершенная открытость и свобода от страха». Новое настроение было связано с журналом «Синтаксис», со свободным и творческим духом, царившим и среди новых знакомых, и среди художников — «лиано-зовцев», с которыми Померанц общался в это же время.

Начиная с 1962 г., Померанц публикует в научных изданиях статьи по востоковедению и сравнительной культурологии (в центре его интересов — духовная жизнь Индии и Китая), выступает с докладами и лекционными курсами в различных научных учреждениях и высших учебных заведениях. Одновременно он пишет ряд эссе на различные культурно-исторические и социально-политические темы, получившие широкое распространение в самиздате.

Григорий Померанц поддерживает отношения с инакомыслящими различных направлений, участвует в неофициальных научных семинарах. В 1970 г. посещал семинар, собиравшийся на квартире физика Валентина Турчина. Позднее А.Д. Сахаров говорил об этом семинаре в своих «Воспоминаниях»: «Наиболее интересными и глубокими были доклады Григория Померанца — я впервые его тогда узнал и был глубоко потрясен его эрудицией, широтой взглядов и "академичностью" в лучшем смысле этого слова. Основные концепции Померанца...: исключительная ценность культуры, созданной взаимодействием усилий всех наций Востока и Запада на протяжении тысячелетий, необходимость терпимости, компромисса и широты мысли, нищета и убогость диктатуры и тоталитаризма, их историческая бесплодность, убогость и бесплодность

узкого национализма, почвенности».

Первым текстом, который достаточно широко разошелся через самиздат и принес Померанцу известность в интеллигентских и диссидентских кругах, стало его выступление 3 декабря 1965 г. в Институте философии «О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива», посвященное критике «культы личности» Сталина. Позже вместе с эссе «Квадрильон» эти тексты вошли в «Феникс-66» Ю. Галанцова. В 1967—68 гг. оба эссе были перепечатаны за рубежом, в журнале «Грани».

Выступлению в Институте философии предшествовало выступление в Институте истории осенью 1964 г. — первое публичное выступление Г. Померанца. Это была чистейшей воды импровизация — за полчаса до выступления его тезисы Померанц набросал на подвернувшейся под руку каталожной карточке. Резонанс от выступления в Институте философии был заметный, но не вышел за пределы институтских и библиотечных курилок и, как обычно, интеллигентских кухонь. Сам Померанц расценивает это выступление как свою внутреннюю победу, свою внутреннюю раскованность. «Я посмел и сумел сказать вслух, публично то, что все вокруг хотели сказать и не решались. Я переступил через меловой круг, в котором топчутся курицы. <...> Но никакой внешней победы не получилось. Не вышло цепной реакции, каскада речей — с кафедр университетов, с кафедр конференций — примерно о том же. Тем, у кого был ум, не хватило храбрости, тем, у кого была храбрость, не хватило ума. Я выскочил, остановился на линии, тонкой, как лезвие ножа, и удержался на ней. Все удивились» («Записки гадкого утенка»). Речь стала известна многим, но активную поддержку Померанцу оказал только кинорежиссер Михаил Ромм. И, тем не менее, имя Померанца стало достаточно известно.

Примерно в то же время, аргументируя невозможность тихой реабилитации Сталина, Григорий Померанц высказал ещё один афоризм: «Нельзя облачить разоблаченного кумира». В последние годы Померанц признает, что это высказывание оказалось ошибочным. Нынешняя реальность опровергла эту максиму — кумир вновь успешно облачен и «гарцует на белом коне» в сознании весьма большого числа российских граждан всех возрастов, в том числе и молодёжи. Если бы не некоторые технические манипуляции, именно Сталин, а не Александр Невский стал бы победителем популярного телеголосования «Имя Россия». Но и полученное им третье место в официальном подцензурном рейтинге говорит о многом.

В 1972 г. работы Померанца выходят отдельным изданием в Мюнхене («Неопубликованное»). В 1985 г. в Париже в отдельном выпуске журнала «Поиски» выходят «Сны Земли» (статьи о России). В 1989 г. в Нью-Йорке в издательстве «Либерти» выходит «Открытость бездне. Этюды о Достоевском».

В 1976 г. по прямому указанию Ю. Андропова прекращается публикация научных статей Григория Померанца в советских изданиях. В то же время его работы широко распространяются в Самиздате и перепечатываются в зарубежной эмигрантской печати, в т. ч. в журналах «Континент», «Синтаксис», «Страна и мир». Во второй половине 1970-х Померанц близок к редакции самиздатского журнала «Поиски», публикует там свои новые эссе. Все написанное подписывает собственным именем, не прибегая к псевдонимам.

Публицистика и политическое поведение Померанца вызвали усиленное внимание со стороны КГБ. В конце 1984 г. был предупрежден по Указу от 25.12.1972 в связи с публикацией произведений за границей, в одной из которых он прямо критиковал КГБ. 15 мая 1985 г. был произведен обыск в квартире, где Померанц хранил свой архив. Архив был конфискован.

В своих публицистических работах Г. Померанц защищает идеи личной свободы и европейского демократизма, выступает противником идиологов «крови и почвы», новой волны национализма. Последовательное и энергичное отстаивание этой позиции сделало его одним из наиболее заметных оппонентов право-консервативного течения в диссидентстве. Особенное значение имела многолетняя — с 1967 г. — полемика Г.С. Померанца с А.И. Солженицыным («Человек ниоткуда», «Страстная односторонность и бесстрашие духа», «Сон о справедливости возмездия», «Стиль полемики» и др. Померанца; «Образованщина» и др. Солженицына.). А. Солженицын обрушился на плюрализм Померанца, третируя его как беспочвенного советского «образованца»; Померанц резко критиковал «страстную односторонность», дух мстительности и непримиримости у Солженицына, его почвеннический утопизм. Длительное время эта полемика протекала на страницах зарубежных СМИ, поскольку Померанц отказывался от всех предложений о публикации своих полемических материалов на родине до тех пор, пока публицистика Солженицына не стала появляться в отечественных СМИ. Более того, в 90-е годы Померанц дважды выступил в российской печати против хамской полемики с Солженицыным.

Сам Померанц так характеризует свою полемику с Солженицыным: «Как-то покойный Ю.Я. Глазов спросил меня: в чем суть твоего спора с Солженицыным? Я ответил: "Солженицын знает, как надо". "Но это хорошо, — возразил Глазов. — Я тоже знаю, как надо". А я не знаю, как надо (в галичевском понимании этих слов), я отвергаю прямолинейные решения сложных вопросов. В нашем споре сталкиваются два типа сознания. Не этнических! В Израиле полно людей, знающих, как надо, а в России хватало мыслителей, более сложных, чем Солженицын: Бердяев, Федотов, Гершензон, Франк (думаю, что делить веховцев по пункту 5 не стоит). Я продолжаю веховскую критику революционного "так надо", а Солженицын — революционную страстную

прямолинейность, меняя революционный плюс на минус и минус на плюс, но сохраняя структуру революционной мысли» («Догматы полемики»).

Расходясь с почвенниками, Померанц был близок кругу правозащитников. В «Информационном бюллетене» № 1 Комитета защиты Татьяны Великановой (конец 1979), было опубликовано его эссе «Накануне юбилея Молоха» (имеется в виду 100-летие со дня рождения И.В. Сталина). Оно завершилось словами: «наш общий долг — противостоять тени Сталина, которой приносятся в канун столетнего юбилея эти новые жертвы. Еще несколько голов на гекатомбу из 30, 40 или 60 миллионов».

Г. Померанцем были подготовлены две кандидатские диссертации. Одна — до войны о творчестве Достоевского. Её текст был уничтожен на Лубянке после его ареста в 1949 г. «как документ, не относящийся к делу». Вторая — «Некоторые течения религиозного нигилизма». Этот 500-страничный машинописный фолиант в основном посвящен дзэн-буддизму (практически первая в СССР научная работа по этой теме). Диссертация была закончена в 1968 г. и даже вынесена на защиту. Но тут подоспели чешские события, арест участников «демонстрации семерки» на Красной площади и письма в их защиту, одно из которых подписал и Померанц. Защита в Институте востоковедения Академии наук (ИВАН) была сорвана по приказу сверху, якобы ввиду отсутствия кворума в Ученом совете. Один из официальных оппонентов — известный востоковед академик Николай Иосифович Конрад — приехал на защиту с высокой температурой. Уезжая, он наивно сказал, что если кворум всё же соберется, то просит позвонить и он вернётся. Во дворе ИВАНа Вячеслав Всеволодович Иванов возмущенно восклицал: «Им еще будет стыдно за это!». Так получилось, что один из самых образованных и самобытных мыслителей современности не имеет до сих пор ни одного официального научного звания (академик РАЕН не в счёт — кого только нет в списках этой Академии).

В 1956 г. Г. Померанц женился на Ирине Муравьевой (она филолог и литературовед, автор книги «Г.Х. Андерсен» в серии ЖЗЛ, выдержавшей не одно переиздание), но прожил с ней недолго. Она была больна туберкулёзом и умерла на операционном столе 30 октября 1959 г. (опять эта роковая календарная дата — он был арестован в тот же день в 1949 г.). Смерть И. Муравьевой была пережита Г. Померанцем очень тяжело. <...>

В 1960 г. летом, дабы помочь Г. Померанцу преодолеть тяжесть потери, друзья привезли его на дачу к поэту Зинаиде Миркиной послушать её стихи. Стихи Зинаиды Александровны произвели на

Г. Померанца сильнейшее впечатление — чтение по его требованию длилось 12 часов. 28 февраля 1961 г. Григорий Померанц и Зинаида Миркина официально зарегистрировались и прожили в счастливом союзе 52 года. Они счастливо дополняли друг друга, их брак — иллюстрация к платоновскому «Пиру».

Выйдя на пенсию и освободившись от рутины составления библиографических карточек, Григорий Соломонович Померанц полностью отдался интенсивному творчеству, которое прекратилось только с приходом неизлечимого недуга несколько месяцев тому назад. Последняя их совместная лекция с Зинаидой Александровной Миркиной состоялась в апреле 2012 г. Статьи и беседы с ним до недавнего времени регулярно появлялись в бумажных и электронных СМИ, в том числе и на нашем «Портале Сгедо.Ки». Наконец, он и Зинаида Александровна стали появляться на экранах телевизоров. Впервые это произошло в программе А. Гордона «Ночной полёт» в 1998 г., дважды — в «Школе злословия» (это беспрецедентный случай, чтобы кто-то участвовал в этой программе дважды в течение трех месяцев), на телеканале «Культура» вышел документальный фильм «Второй» в программе «Больше чем любовь» с их участием, впоследствии повторенный. Четыре их совместные с З. Миркиной лекции также вышли на телеканале «Культура». Незадолго до 90-летнего юбилея Померанца в Интернете появился общий сайт Г. Померанца и З. Миркиной. Воистину, чтобы без какого-то скандала философу и культурологу стать известным и попасть на экраны ТВ, в России надо жить долго. Но лучше поздно, чем никогда.

И публиковаться на родине Померанц стал позже всех из запрещенных в СССР авторов. Сначала это были статьи в малоизвестном журнале форматом в половину машинописного листа «Век XX и мир», потом в журнале «Искусство кино», «Огоньке», некоторых газетах. Первая книга Григория Померанца на родине «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» вышла в издательстве «Советский писатель» в 1990 г. Сейчас только его книжная библиография насчитывает 15 наименований. Некоторые из этих книг вышли вторым и третьим изданиями. И все это после того, как автору стукнуло 72 года. Причем 11 из этих книг написаны заново, а не представляют собой сборники эссе, написанных ранее. Кроме этого, почти 10 лет Григорий Померанц совместно с Зинаидой Миркиной читали с осени по весну ежемесячные лекции, а еще — участие в конференциях, круглых столах, публикации в СМИ.

Г. Померанц вместе с З. Миркиной много лет были участниками «Морального перевооружения» — международной религиозной организации, основанной в 1938 г. американским религиозным проповедником Фрэнком Бухманом. Это движение пытается реализовать на практике среди своих членов отказ от сомнительных, но «освященных» традиций, житейским опытом поколений и т. п. принципов и обычаев, призывает к утверждению новых отношений между людьми, основанных на высоких моральных ценностях и здравом смысле. Пока позволяли силы, Померанц и Миркина выезжали в швейцарское селение Ко, расположенное в горах над Женевским озером, где принимали участие в семинарах «Морального перевооружения».

Так о чём же всё время писал и говорил Григорий Померанц? Что есть его философия? Что в ней главное, и есть ли оно?

Его философия есть философия религиозная, причём философия всеединства. Она охватывает не частности (эти частности — удел рационального знания, науки), а ищет цельное понимание, универсальный методологический принцип. Охватить цельное знание не под силу никому. Померанц уверен, что это цельное знание нельзя выразить в рациональной форме, и поэтому постоянно обращается к мифо-поэтическому построению своих работ и выступлений. Именно поэтому он отказывается от академического языка и формы профессиональных философов. Его любимый жанр — эссе. Причем эссе поэтическое по своему существу и форме. В нем идёт постоянная переключка веры, поэзии, музыки, живописи — главным образом иконописи или живописи сунской школы. Он часто цитирует Людвиг Витгенштейна: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана, так как она противоречит правилам грамматики». Померанц вообще очень часто цитирует именно мистиков, причем мистиков разных религий.

Г. Померанц так формулирует свое понимание цельности: «Я с юности чувствовал, что образ мира, созданный точными науками, мучительно неполон. Человек в этом мире равен единице, деленной на бесконечность, и вынужден признать себя нулем. <...> В свои 20 лет я три месяца упорно созерцал свое несогласие быть нулем. В конце концов, внутренний свет показал мне возможность решения, но то, что показалось решением, пришлось отвергнуть. Действительное решение лежало вне области точных наук, за которые цеплялся материализм, вне мира бесконечно дробимых величин. Решение было в переживании целостной, не поддающейся делению вечности.

Я пришел к убеждению, что вселенная не сводится к времени, пространству и материи, бесконечно делимых на секунды, века, тысячелетия, на метры, километры, парсеки и т. п. У нее есть другое лицо, целостное во всех своих проявлениях, как океан планеты Солярис, в котором нечего считать. Океан, способный стать для каждого тем, что раскрывает душу (через муку или через блаженство — все равно).

Лет через двадцать после юношеской медитации я внезапно пережил целостную ипостась реальности как внутренний свет, длившийся несколько часов. Этот опыт просыпался, когда я искал спасения от страха или созерцал стихийные иконы в лучах заходящего солнца или иконы, собранные в Третьяковской галерее, или лучшие создания буддийского искусства. Постепенно я понял, что в иконах переплетался образ всемогущей, вечной творческой силы и хрупкого, смертного человека. Это особенно ясно проступает в образах Троицы — рублевской или в деревянной раскрашенной скульптуре, хранимой в Наре, бывшей столице Японии VIII в. Приглядевшись к Рублевскому Спасу, я и в нем разглядел то же самое: Бог-Дух, веющий повсюду, — и человек в своей смертной

оболочке. Вечное и мгновенное переплетается в мистической интуиции». (Лекция 9 октября 2009 г. «По ту сторону чисел»)

Совершив переход «от марксизма к идеализму» («Я начал комментировать Достоевского по Марксу, а закончил толкованием Маркса по Достоевскому»), Померанц пришел к обоснованию религии и глубинной философии как основ человеческого бытия. Отказ от наукообразных и мифологизирующих идеологий, «самостоянье» личности в религии и культуре, путь вглубь себя взамен растворения в массе — таков предложенный Померанцем выход из духовных и политических кризисов современности. «Только новый дух, найденный в собственной глубине, может нас вывести из трясины. И об этом, собственно говоря, идет речь во всех моих книгах».

Для Померанца существование Бога не вызывает ни малейшего сомнения, но Бог понимается им не как некая посторонняя сила, а как чувство Бога в самом себе. «Царствие Божие внутри нас есть». Большинство из того, что говорил и писал Григорий Померанц, относится к поиску ответов на последние вопросы: что есть мы, зачем мы живем на этом свете, что есть жизнь и смерть. В своих выступлениях он никогда грозно не витийствовал, не пророчил, не поучал, не обвинял — он размышлял на глазах у публики и вместе с нею. В этом весь его стиль. Сегодня часто цитируются два высказывания Померанца, причём чаще всего даже без упоминания его авторства (многие авторства даже и не знают — это высшая форма признания), — о стиле полемики, которые он сформулировал как догматы полемики ещё в 1970 г. Первый: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, идущего в бой за святое и право дело... Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца». И второй, когда, по его словам, он сам «упорно, в мучительной борьбе с собой, смахивал с губ эту пену»: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию». Померанц неуклонно старался претворять эти догматы в собственной жизни. «Для Померанца характерно принципиальное неприятие всех видов редуccionизма, одномерных теорий: марксизма, фрейдизма, дарвинизма и прочих идеологий, — пишет о нём игумен Вениамин (Новик). — "Я не верю в правду одного принципа, я верю в правду диалога. Но стиль полемики важнее самого предмета полемики, важнее победы в споре". Судьба правды быть разделенной».

Объективность, по Померанцу, вовсе не синоним истины. Религия — это ориентация к живой вечности. Другое дело, что на социокультурном уровне религии исторически очень искажены. Но в своей глубине они сходятся и говорят об одном: о добре, мире, любви и милосердии. Чтобы пережить и понять это, нужны духовные усилия. Но другого пути нет.

Что есть истина?

Согласно Померанцу, нет готового пути, который гарантированно

ведет к Истине. Но есть пути, которые проходят близко от нее. Чтобы войти в истину, надо свернуть с дороги, самому проложить путь вдоль следа Божия.

Существует зло, которое есть инерция добра. Всё, что становится инерцией, становится злом. Бог — это вечная динамика, это открытость и риск. Инерции опасны для религии. Именно инерция заставила людей думать о будущей жизни вместо того, чтобы воскреснуть в этой. Инерция увела людей от Царствия Божия внутри нас к поискам теплого места за гробом».

Сам Померанц, будучи, безусловно, человеком глубоко верующим, не принадлежит ни к одной конфессии. Он этого и не скрывает. При этом в их совместной с З. Миркиной книге «Великие религии мира» они пишут о каждой из них с глубочайшим уважением. В ответ его с одинаковым уважением и симпатией воспринимают обладатели самых разных мировоззрений и верующие постоянно пикирующихся между собой религий. На первый взгляд, это кажется чем-то удивительным и необычным, и даже «ненормальным», но Померанца без внутреннего отторжения часто воспринимают и буддист, и мусульманин, и христианин, причем независимо от деноминации и уровня собственного фундаментализма.

При этом Померанц принципиальный и последовательный анти-фундаменталист. «Понимание многогранности истины противоречит фундаментализму — иудейскому, христианскому и мусульманскому, но оно не противоречит Христу. Его (Христа) отношение к законам и принципам — скорее индийское, чем иудейское или византийское. Он свято почитал Моисея и смело отступал от него всякий раз, когда буква традиции становилась нравственным абсурдом. Так же относится к традиции и Антоний Сурожский. Его учение о Божьем следе — соль, которую можно выпарить из рассказов о поведении Христа, столкнувшегося с Законом» («Дороги духа и зигзаги истории»).

И в этой же книге проскальзывает чисто протестантское понимание взаимоотношения личности с Богом: «Что такое Ветхий Завет? Завет с народом, с группой народов, священные основы государственного порядка. А Новый Завет — завет с личностью, для которой простая покорность Богу не насыщает сердца, с личностью, ищущей бытия в Боге» («Дороги духа и зигзаги истории»).

Понятие или, вернее, метафора глубины очень часто используется Померанцем. Он часто цитирует митрополита Антония (Блума): «Каждый грех есть, прежде всего, потеря контакта с собственной глубиной». Григорий Соломонович согласен с Нильсом Бором в том, что «поверхностной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, такая же глубокая». В одной из своих работ Г. Померанц пишет: «Каждая мировая религия — колодец в глубину, где горит вечно живой огонь. Но за тысячи прошедших лет колодцы стали самостоятельными святынями,

более важными, чем сама глубина». И в то же время одно из его любимых высказываний: «Глубина каждой из великих религий ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. — Далее он разъясняет — Это не значит, что они тождественны, но, если жить на глубине, то между великими религиями возможен диалог, основанный на том, что Святой Дух отпечатал себя в каждой из великих цивилизаций: христианской, мусульманской, индийской и дальневосточной. В каждой из них по — своему выражена некая высшая точка зрения, иногда она выражена в одних словах, в других. Причем эти формулировки на словах различны».

Выступая против «обрядоверия», Померанц не являлся противником обряда как такового: «Для того, чтобы нечто из опыта вечности передать не только одиночкам, а задеть этим весь народ, нужны особые слова и другие знаки, нужны иконы, обряды, нужна музыка соответствующая. Но откровение по своей природе не все вмещается в слово и знак. Поэтому возникают сразу две опасности. Первая опасность — это буквально понимание слов. Понимание слов, сказанных, допустим, пророком, как всей полноты истины. И вера сводится к тому, чтобы буквально принять сказанное слово. <...> противоположная ересь (я условно пользуюсь здесь этим термином) — это рациональная попытка растолковать слова, в которых как — то передан опыт вечности, опираясь на обыденный здравый смысл. <...> Догму же (в хорошем смысле) то есть правильное понимание, мне кажется очень хорошо выразил схимонах Силуан, живший в конце XIX — начале XX века, умер в 1938 г. "То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом"» («Собирание себя»).

Григорий Померанц всегда был и остается представителем русской культуры. Он никогда, в самые тягостные годы безвременья, не собирался уезжать из России. Его собственная цельность корреспондировала с цельностью русской культуры: «Сила русской культуры — в тяготении к цельности, в порыве, который редко достигал законченной формы. Цельность, к которой тянется русский гений, это цельность вселенская, цельный образ того, что разбросано в национальных ликах Европы (и не только Европы). <...> Как ни отличается русский хаос от европейского порядка, главные задачи современной духовной культуры — одни те же. Мы все ищем новых образов Бога, способных

обновить "ценностей незыблемую скалу" (О. Мандельштам) в нашем знании. И извечное русское стремление из хаоса к целостности может внести здесь свой вклад» («Дороги духа и зигзаги истории»).

Уважительное отношение Г. Померанца к православию видно из ответа на вопрос после одной из лекций. «Принять православие, значит принять не только теорию, но и практику: ходить на литургию, прислушиваться к словам духовного отца, с сердечным вниманием относиться к обрядам и таинствам, наконец, понять молитву и практически молиться. Если серьезно и с некоторым даром к этому отнестись — эти действия раскрывают более глубокие слои души. Символ — единственная возможность писать то, что мы можем пережить, но что — назвать точно нельзя. Это не значит, что высшая реальность нереальна. Она только неопишима. Главное, что толкает людей к религии — это этический кризис, понимание, что безрелигиозная этика упёрлась в угрозу хаоса. И в религии часто ищут опору для практического поведения» («Собирание себя»).

Важная сторона деятельности Григория Померанца, которая остается в тени, — педагогическая. Не только лекции, которые он читал совместно с женой, но и всё, что он писал, несет мощный суггестивный заряд. Эрудиция и память Померанца, не ослабевшие, несмотря на весьма солидные годы, не только подвигали слушателя на собственные размышления, но и просто несли огромное количество информации.

Григория Померанца приходится перечитывать, каждый раз открывая что-то новое, не воспринятое с первого раза. Сегодня найдется немало людей, которые хотели бы назвать себя учениками Григория Соломоновича, для которых его труды стали прямым руководством к образу мышления и поведению в повседневной жизни.

Цитировать Григория Померанца можно долго, и всё будет интересно, глубоко и никогда не банально. Арина Гинзбург, вдова известного диссидента Алика Гинзбурга, так описала впечатление, которое производил Григорий Соломонович: «В доме в этом в те годы бывало очень много людей, ярких, независимых, интересных, но даже на их фоне Григорий Соломонович гляделся какой — то экзотической редкой птицей. В гостях он часто молчал, слушал других, но уж если начинал говорить, то значащим казалось каждое его слово. Встреча с ним вообще была из числа тех встреч, которая определяет твою жизнь на много лет вперед, а по существу — навсегда. Как мне виделось тогда, был он человеком из последних романтиков, душой ранимый и прозрачный. Алик про него когда-то правильно сказал словами поэта — "стакан синевы без стакана"».

Еще в школьном сочинении Григорий Померанц написал, кем он хочет быть: самим собой! Он и оставался самим собой до последнего.

17.02.2013. потвгац.т

Личность без страха и упрека

Около 40 лет назад я встретился с выдающимся, а может быть, и гениальным мыслителем, хотя осознал его величие много позже. В редакцию молодежного журнала «Ровесник», где я работал в 1974 г., вошел далеко не молодой чудаковатого вида человек, одетый так, как будто он собрался в паломничество: за плечами у него был помятый рюкзачок, на ногах старые кеды, седоватые редкие волосы нуждались в расческе. Он вынул из котомки статью, сказал, что спешит на дачный поезд, а с отзывом мы можем не торопиться — «ведь всё равно не напечатаете». Когда он ушел, девушки, работавшие в моем отделе, прыснули со смеху: «Ну и авторы к нам захаживают!» — сказала секретарша.

Я пошел в свой маленький кабинет и на ходу взглянул на первые строки его статьи, думая, что прочту ее потом — в тот день я был занят выпуском очередного номера. Но первый же абзац меня задел так, что оторваться от текста стало невозможно, и я одним духом прочитал всю статью. Да, так в нашем журнале еще никто не писал, — подумал я и вспомнил странный разговор с этим автором по телефону неделю назад. Мне нужно было найти философа или историка, который мог бы написать о героях, то есть о том, как формировалось и веками менялось представление людей о них. Мой отдел специализировался на переводах очерков из популярных иностранных журналов, и в воскресном приложении к Нью-Йорк Таймс меня заинтересовала статья об американских героях. Там, в частности, утверждалось, что после убийства двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга американцы стали бояться возвеличивать своих деятелей, опасаясь очередной трагедии, и в результате подлинных героев в США становилось все меньше и меньше. Статью эту я пересказал на редакционной летучке, и главный редактор Нодия предложил найти «специалиста по героям», который предварил бы ее своими рассуждениями. Я стал искать такого специалиста, советуясь с коллегами и знакомыми, и вот одна наша журналистка вспомнила, что оригинальные идеи о героизме высказывал некто Померанц, выступавший с лекцией в какой-то библиотеке.

В тот же день я позвонил Григорию Соломоновичу Померанцу, узнав его телефон в справочной книге, благо Померанцев там значилось не много. На вопрос, мог бы он написать такую статью, он заметил, что тема эта его давно интересует, но вряд ли мы его статью опубликуем. «Почему же не опубликуем, если хорошо напишете?», — удивился я. Вместо ответа, последовали уклончивые контрпредложения, дескать, нам лучше опубликовать такую статью не под его именем, а под именем его жены Зинаиды Миркиной. Я не сдавался, утверждая, что журналу нужен он. Последовала длинная пауза, а потом он опять затянул свое: «Жаль, но вы

меня не напечатаете».

Статья Померанца, написанная в кратчайший срок, была превосходной и редактировать ее или что-то изменять я посчитал святотатством. Прибавил только подзаголовки и, про себя торжествуя, положил ее на стол главного. Своим сотрудникам я сообщил, потирая руки, что теперь-то номер о героях у нас наверняка на мази.

Спустя неделю меня «вызвали на ковер», то есть я почувствовал, что предстоит выговор, но за что — оставалось только гадать. Нодия редко повышал голос, но в этот раз он просто неистовствовал: «Вы что же меня под монастырь решили подвести, хотите, чтобы меня вместе с вами уволили? Кого вы мне подсунули? Этот ваш Померанц числится в черном списке, его печатают самые антисоветские журналы на Западе!». Я был потрясен и очень расстроен — задуманный мною номер о героях Нодия сгоряча отменил. Тему эту я скоро выкинул из головы, но желание узнать побольше о личности этого запрещенного Григория Померанца у меня осталось надолго.

Одну его статью, отпечатанную под копирку на папиросной бумаге, как это делалось тогда в самиздате, мне удалось прочитать еще в Москве, а всерьез я стал следить за его творчеством уже в Америке, куда эмигрировал в 1981 г. Помню, с какой радостью купил в магазине Камкина, увы, давно прекратившем своё существование, номер журнала «Русское Богатство», издававшегося, начиная с 1876 г. Сейчас этот номер, наверное, — библиографическая редкость. Он был целиком посвящен Григорию Померанцу и открывается его автобиографической повестью «На птичьих правах». Вот первая фраза, поясняющая смысл заглавия: «Я внештатный профессор, эссеист, писатель — в социальной структуре никто». И в самом деле, Померанцу каким-то образом удалось прожить полвека при советской власти отщепенцем, свободным художником, не считаясь с принятыми в СССР жесткими правилами. Удалось, не кривя душой, писать только то, что он хотел. Ему повсюду отказывали, но он относился к этим отказам по-философски: «...Неудачи перестали меня унижать. А потом оказалось, что неудачи — что-то вроде вод Стикса, в которые Фетида окунула своего сына. (Имеется в виду мать Ахилла, окунавшая сына в священные воды, держа за пятку, ставшую «ахиллесовой пятой». — *А.М.*) В этом (во внутреннем настрое) все дело, а не в везенье или невезенье».

Его нисколько не оскорбляло глупо-презрительное отношение к нему советских чиновников. Он, например, с юмором описывает, как один раз решил достать путевку в Коктебель, в Дом творчества писателей, на основании того, что жена его числилась в группке литераторов. При подаче заявления выяснилось, что он забыл принести бумажку о состоянии здоровья. «У нас писатели (с ударением) приносят справки от лечащего врача!» — сказали ему, имея, конечно, в виду «настоящих» писателей, то есть членов Союза советских писателей, а не

из какого-то там группкома. В наше время можно с уверенностью констатировать, что тысячи «идеологически правильных» произведений нескольких тысяч членов ССП не стоят и одной статьи Померанца.

В России его начали печатать только в эпоху Перестройки, когда ему исполнилось 70 (!) лет, хотя во многих странах к тому времени его уже давно считали одним из крупнейших мыслителей современности. Именно мыслителей — Померанц предпочитает это более абстрактное понятие термину «философ», потому что, помимо философии, его труды затрагивают многие другие гуманитарные науки: историю, культурологию, этнографию, социологию, лингвистику, литературу и теологию. Он много писал о поэтах-символистах начала XX века, а символисты, как известно, считали, что прожить яркую, избыточную опасными приключениями жизнь, не менее важно, чем преуспеть в творчестве. Биографии Померанца позавидовал бы любой символист, по ней можно создать увлекательный роман или художественный фильм.

Вот, например, случай из его жизни, который так и просится на экран. Померанц попал в ГУЛАГ уже после войны, которую он прошел как солдат и офицер от Сталинграда до Берлина. Нового зека ведут в баню, где он сталкивается с бандитом, по лагерному сленгу, «ссученным», ибо начальство выделило его за стукачество, назначив надсмотрщиком на карантине. Речь его избытовала грубейшим матом, к которому он так привык, что никак не ожидал услышать вежливую просьбу прекратить ругань. И от кого — от какого-то хилого интеллигента по фамилии Померанц, которую он даже произнести-то не мог. Можете представить себе выражение на его зверском лице, когда он поднял табурет, чтобы расквасить физиономию наглеца. В голом виде Григорий Соломонович выглядел, наверное, как тощий цыпленок перед матерым медведем. Ссученный несколько секунд держал над собой табурет, а Григорий Соломонович, даже не пытаясь защищаться, спокойно смотрел ему прямо в глаза. Уркаган не выдержал этого взгляда и выскочил из бани, ударившись о притолоку.

Почему он не убил Померанца? Наверное, потому же, что и пушкинский Сильвио в рассказе «Выстрел» не мог убить графа, который во время дуэли ел вишни, сплевывая косточки, не обнаруживая и тени страха. Бандит, возможно, впервые увидел зека, абсолютно его не боявшегося. А Померанц и в самом деле избавился от чувства страха на войне, под Сталинградом, после того как пережил жесточайшую бомбежку. Фашистские бомбардировщики, к счастью, летели высоко и не видели одинокого солдата, оказавшегося в открытом поле, то есть не успевшего добежать до окопов оборонявшейся части, но бомбы падали вокруг него без конца с душераздирающим свистом. Юноша — ему было двадцать с небольшим — дрожал от страха, умоляя: «Мама, спаси меня». Внезапно он вспомнил мысль, озарившую его за несколько лет до войны: «если бесконечность — это, по определению, бездна, то меня нет, а если я

есть, то нет бездны». Он стал обдумывать эту метафизическую сентенцию или философствовать и через несколько минут неожиданно почувствовал, что ему больше не страшно. С того момента он уже ничего и никого не боялся, как видно, у подлинных мыслителей для страха просто нет времени.

В начале тридцатых годов, написав школьное сочинение на трафаретную тему «Кем я хочу быть?», Григорий буквально ошарашил учителя по литературе. Вместо того, чтобы, возжелать стать летчиком, стахановцем или полярником, как это делали его одноклассники, он ответил: «Хочу быть самим собой». К счастью, его не выгнали из школы, но наверняка «взяли на заметку», как тогда говорили. А ведь он написал сущую правду: зачем ему желать стать кем-то другим, когда он чувствовал, что Бог дал ему незаурядные таланты и воображение. Уже тогда он осознал, что не хочет быть как все, а стремится развивать свою собственную индивидуальность.

В статьях Померанца я нашел много ответов на вопросы, которые занимали меня очень давно. Вот один пример.

В бытность мою корреспондентом Московского радио мне довелось проводить беседы за круглым столом, в которых участвовали заранее отобранные отличники из специализированных советских школ и юные англичане из частных школ, приезжавшие в Москву как туристы. Монтируя их выступления для молодежной передачи, я обратил внимание на то, что англичане почти каждое второе предложение начинали словами типа — «я думаю, мое мнение, лично я полагаю», в то время как советские школьники в начале любого высказывания говорили: «мы все считаем, мы думаем, наше мнение...».

В статье «О призрачной свободе» Григорий Померанц как раз и пишет о «советском мы», называя его «прокрустовым ложем, в которое нас втискивали». Это был насажденный советской властью менталитет коллективизма, который, по его словам, «выкорчевывает с корнем личностное начало, когда "я — последняя буква алфавита", любая инициатива наказуема, и все равны в своей безличности».

Между тем, рассказывая о своей юности — а его очерки тем и сильны, что любую философскую мысль он пропускает, как бы через фильтр собственной жизни, Померанц пишет: «Интуитивное чувство равновесия подсказывало, что нельзя всё время жить сознанием "мы", "мы", "мы". Что целостность личности требует иногда упора на "я", на свое мнение, на свой нестандартный поступок». Идея, казалось бы, простая, но у Померанца все идеи словно сотканы из противоречий: «Против прокрустова "мы" я не мог не бунтовать и уперся в противоположность, в пустые провалы абстрактного "я" (оторванного от "мы" и "ты")».

Его вывела из этого тупика война, когда он, как все солдаты, стремился к победе любой ценой. Тогда он обрел то, что он называет «фронтное "мы". А в Гулаге наш философ вполне удовлетворился

«антисоветским "мы"» во время ежедневных бесед с такими же, как он, интеллигентными зеками, арестованными фактически за их несовместимость с советской действительностью. И только через многие годы, переживши смерть любимой женщины, а потом вновь влюбившись в свою будущую жену, он пришел к мысли, что «есть какое-то Я-Ты-Мы любви (в самом широком понимании слова "любовь"), которое умнее, глубже каждого из нас и сливается с Божьей любовью. Я чувствую "Я", "Ты", "Мы" не отдельными предметами, а разными углами одного Целого. "Я" неповторимо, неотделимо от меня, я есть Я, и в то же время Я тоскует по своему Ты, по своему Мы, пока не найдет их, и находит самого себя в диалоге с ними...».

Учась в аспирантуре Нью-Йоркского университета (№ТО), я написал статью по лингвистике, в которой обращал внимание на то, как отражается советский менталитет в языке. Например, я отмечал, что английский язык очень «агрессивен» в своей грамматике, в нем почти отсутствуют пассивные конструкции: в каждом предложении, за редкими исключениями, легко выявить деятеля, осуществляющего действие. А вот русский язык изобилует безличными фразами. Вы можете сказать — «его пришли» или «с ним порешили». То есть деятель зачастую не ясен, что придает многим высказываниям своего рода мистический характер. Другими словами, в русском языке важнее действие, которое с вами происходит, а кто инициирует его не суть важно. Между прочим, только по-русски может существовать знаменитая реплика Хлестакова: «Мне сегодня хорошо врётся» — на всех других европейских языках слово «врать» не употребляется как возвратный, непереходный глагол.

Подтверждение и объяснение своей мысли я нашел в статье Померанца «В поисках свободы». Он также останавливается там на пассивных русских конструкциях, включая самые обыденные, такие как «меня зовут», в отличие от «я зовусь», как это принято в западноевропейских языках, и рассматривает этот феномен в связи с проблемой прав человека. Со времен крепостного права русские крестьяне говорили: «мы псковские», «мы новгородские», как бы подчеркивая свою принадлежность к Пскову, Новгороду и т.д., а европеец сказал бы «я — псковичанин или я — новгородец. По аналогии, Померанц рассматривает едва ли не самое важное слово «русский»: «этноним "русский" — такое же имя прилагательное, обозначение принадлежности Руси. Все прочие этнонимы — даже пренебрежительные, бранные — имена существительные. Только русский себя определяет принадлежностью великой империи, со смирением — и с гордостью. Ибо границы империи никогда не могут быть окончательно установлены, они расползаются бесконечно; практически до тех пор, пока империя, захватив слишком много, не начинает разваливаться».

В России гениальные люди обретали славу либо после ранней смерти, либо в конце продолжительной жизни. Корней Иванович Чуковский,

которого мне посчастливилось интервьюировать, говорил: «В России надо жить долго. Тогда что-нибудь получается».

Когда Померанцу исполнилось 90 лет, к нему пришла слава: был создан документальный фильм о нём, его интервьюировали по телевидению. Многие россияне узнали, что среди них живет не только великий математик, бессребреник Григорий Перельман, но и другой Григорий, великий мыслитель Померанц, тоже еврей и тоже бессребреник. Он легко мог бы стать профессором любого престижного западного университета, но предпочел остаться в России, потому что в России, в уединении, в созерцании любимой им природы он нашел себя. Ему чужды почести и деньги. А любоваться природой, слушать музыку, читать любимых поэтов он мог где угодно.

В разряд его любимых поэтов, множество стихов которых он знает наизусть, входит и Зинаида Миркина, его жена. Ни одно ее стихотворение не было напечатано без его одобрения. Если какая-то строчка ему не нравится, Зинаида сочиняет ее заново. У жены тоже есть право вето на произведения Померанца. В таком преклонном возрасте — в этом году, в марте ему исполняется 95 — Григорий Соломонович пишет так же ярко, как и в молодости, рассказывает свои истории прекрасным языком, полным ярких метафор и ассоциаций, без единой запинки. Чтобы убедиться в этом, посмотрите телевизионные передачи о нем и о его жене в «ИШЪе», а также его «журнальный зал» в Гугле, где вы найдете десятки статей, причем многие из них были им написаны в последние пять-десять лет.

Статьи эти затрагивают самые важнейшие для всех нас понятия, такие как любовь, вера, свобода, счастье. Остановимся на последнем, так как, наверное, нет человека, который не стремился бы к счастью. В статье «Подлинное и призрачное счастье» Померанц приводит интереснейшие высказывания философов, писателей и поэтов. Он рассматривает счастье на примерах известных литературных героев, отмечает различные оттенки счастья у одного и того же героя. Так же, как и в статье о свободе, Померанц обращается к лингвистике в поисках глубинного смысла, заложенного в самом слове: «сосчастье, собор всех частей, целостность бытия. В противоположность участи, затиснутости в какую-то часть жизни, как в каземат». Но, пожалуй, самое интересное в этой статье — это его личные ощущения счастья. По его свидетельству, он испытывал счастье в самых непредвиденных обстоятельствах:

«Самое общее во всех случаях счастья, которое я пережил, — это, кажется, творческое состояние. Оно впервые пришло ко мне лет в двадцать, за курсовой работой о Достоевском. Оно, по-моему, приходило и на фронте как чувство полета над страхом. По большей части, поразительная ясность мысли, связанная с чувством такого полета, не находила в себе внешнего выражения, но один раз я несколько часов руководил боем и делал это толково, хотя совершенно не учился тактике. Я думаю, что можно назвать творческим состоянием и любовь... Без вдохновения, без творческого состояния музыка любви не напишется, как не напишется симфония».

В другой автобиографической статье Померанц резюмирует те же мысли так: «Счастье — не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и чтобы оно открылось, нужно было все прошлое, все неудачи, в которых сбывалась душа».

К сожалению, чаще всего люди испытывают не подлинное счастье, а призрачное, скоро преходящее, незаслуженное, то есть тот самый «кошелек на дороге». Это могут быть экстазы, вызванные экспериментами с наркотиками, алкоголем, сексом, подобные «случайной вспышке, оставляющей только тоску по новым вспышкам». И то, что называют «сладкой жизнью» оборачивается иллюзией, убивающей возможность настоящего счастья. Резюмируя свои мысли, Померанц выводит постулаты, которые звучат как напутствия читателям. Вот некоторые из них:

«Счастье творчества — в самом творчестве, даже без признания, без успеха. Счастье любви — в самой любви, даже без взаимности. Способность к этому — часть той тайны, которой обмениваются любящие. Счастье любви, счастье творчества, победы над препятствиями — не кайф, а путь, сквозь боль и труд, как счастье матери».

Стоит прочесть хотя бы одну статью Померанца, чтобы почувствовать добро, которое из нее исходит, желание помочь читателям в понимании важнейших жизненных основ. Самым ценным для этого глубоко религиозного человека, является живая душа человека. В одном из своих произведений он назвал талантливого фотографа «анти-Чичиковым» в том смысле, что он стремится ловить не мертвые, а живые души. Таким «ловцом живых душ» представляется нам и сам Григорий Померанц.

14.02.2013. rotvgaiz.t

Пророк в своем отечестве

Знаю, что он с пристрастием незадолго до этого отсматривал сериал «Жизнь и судьба». Сожалел о пропущенных авторами экранизации страниц романа, посвященных ГУЛАГу..

Наверное, Григорий Соломонович Померанц вольно или невольно примерял коллизии и обстоятельства жизни, запечатленные в книге Василия Гроссмана, на свою жизнь и судьбу.

На войну он ушел добровольцем, был ранен, после победы оказался в лагере, после смерти Сталина учительствовал и философствовал, чтобы под занавес жизни сказать: «Я не знаю, как продолжить историю; как помешать ей обрушиться. Я знаю только, что отдельный человек может много сделать».

Он-то действительно многое сделал. Его главные труды: «Открытость бездне. Встречи с Достоевским», «Лекции по философии», «Огонь и пепел» (совместно с Зинаидой Миркиной, своей супругой и единомышленницей), «Выход из транса», «Великие религии мира» (в соавторстве с Миркиной), «Опыты философии и культурологии», «Страстная односторонность и бесстрастие духа», «Записки гадкого утенка», «Еще одна жизнь». Одна из его последних работ — «Дороги духа и зигзаги истории» датирована 2008 годом — годом, когда автору исполнилось 90 лет.

Мне довелось и лично с ним познакомиться. Случилось это не в России, а в Норвегии, в маленьком городке Молде, где Норвежская академия литературы и свободы слова наградила двух наших соотечественников — философа и эссеиста Григория Померанца и его супругу — поэтессу и переводчицу Зинаиду Миркину премией имени своего национального поэта, Нобелевского лауреата за 1903 год Бьёрн- стьерне Бьёрнсона. Премия была денежной. Сегодня бы его за этот дар обозвали бы «иностранным агентом».

.Стояла осень. В ожидании церемонии лауреаты гуляли по набережной. За ее чертой плескалась Атлантика, взгляд упирался во фиорды. Одинокая фигурка Григория Соломоновича в какой-то момент отделилась от спутников. Фоторепортеры защелкали затворами камер — «картинка» была фотогеничной: согбенная фигура 90-летнего мудреца — во власти пустого, необозримого пространства. Тогда подумалось: драматизм «картинки» обманчив. Перед пространствами он не робел: с ними он не конфликтовал. Его мысль легко обнимала культуры и континенты. Для него границы между религиозными верованиями были прозрачны. Он не признавал над собой Власти ни

Пространства, ни его временщиков. Она была для него слишком поверхностной. Как рыба на воде.

Он признавал Власть Глубины. Глубины Мысли. Именно она самая справедливая и долговременная. Об этом он не устал повторять как в своих трудах, так и в немногочисленных выступлениях по телевизору. В Молде, четыре года назад, он произнес речь, которую на следующий день опубликовала «Российская газета». Сегодня она прозвучала бы особенно своевременно. Она звучит как духовное завещание пророка в своем Отечестве. И нелишне напомнить ее хотя бы фрагментарно.

Так говорил Григорий Померанц:

«...Провести оздоровление России невозможно, если просто закрыть глаза на яды, накопленные историей. Их нельзя вырезать, как опухоль. Но можно их обнажить, осознать и довести до ничтожности их след.

.Удержится ли влечение к православию, возникшее после многолетнего третирования, трудно сказать. Введение Закона Божия в школы может вызвать и нигилизм. Во всяком случае, массовое крещение еще не делает людей действительно православными.

.Достоинство, выйдя за свои рамки, становится злом.

.Воспитание — трудное дело, и совершается оно не только в школе. Молодежь липнет к телевизору, усталый человек включает телевизор — и их забрасывают леденцами пополам с мусором».

«Российская газета». 18.02.2013 г.

Григорий Померанц

Памяти учителя

Завершил земной путь, но не ушел от нас Григорий Соломонович Померанц. Его присутствие в воздухе России с каждым годом будет ощущаться сильнее. К его текстам будут обращаться все больше людей. Но и сама его жизнь — текст особого рода.

Юношей в школе на стандартный вопрос сочинения: «Кем бы ты хотел быть?» — он ответил: «Самим собой», чем вызвал смятение педагогов. Оставаться самим собой в XX веке — значит, заведомо обречь себя на противостояние вселенскому злу, имя которого — тоталитаризм.

В его жизни был фронт, преодоление страха смерти на поле боя, о чем он пишет в пронзительной автобиографической книге «Записки гадкого утенка», ранение под Сталинградом. Вскоре после войны — посадка и сталинские лагеря. Но даже в лагере он был счастлив! Как это возможно? Звездное небо над головой и классическая музыка, которая лилась из громкоговорителей лагерной зоны. Перед ощущением вечности отступали на задний план угрозы блатных, бараки и колючая проволока.

После освобождения и реабилитации до самой пенсии — скромная должность библиотекаря. Но при этом: статьи и книги в там- и самиздате, подписание писем в защиту диссидентов, обыски, угроза новой посадки.

Его кандидатскую диссертацию, разумеется, отклонили к защите. Сегодня, когда количество докторских уже превышает количество кондитерских, об этом даже смешно вспоминать. Но не зря написано от века: «Вначале было слово». Его слова находили отклик во всем мире, включая истерзанное ложью Отечество. Померанца разобрали на цитаты. «Дьявол начинается с пены на губах ангела». «Стиль полемики важнее предмета полемики». Сегодня, когда мы на телеэкранах видим пену у рта оппонентов, обсуждать стиль полемики не приходится.

Кто же такой Григорий Померанц? Философ, культуролог, религиовед? Он мудрец, последний мудрец заката Империи. Человек, осознавший, что все мировые религии сплетаются корнями. Его ответ радетелям самобытности, вопрошавшим, как Россия может внести свой особый вклад в мировую культуру, был афористичен: «Любите Бога и пишите по-русски».

Григорий Соломонович был счастлив в любви. Его союз с замечательным поэтом и сказочницей Зинаидой Александровной Миркиной — настоящее чудо. У всех, кто имел счастье попасть в поле их притяжения, создавалось ощущение, что вместе они — как два клапана одного сердца. На их лекции и семинары в Музее меценатов без всякой рекламы стекались сотни людей. А когда канал «Культура» показал передачи и фильмы с их участием, со всей страны посыпались тысячи писем, которые не оставались без ответа.

Это ложь, что сегодня в России нет моральных авторитетов. Григорий Соломонович был и остается Учителем, при ком стыдно врать, подличать и пресмыкаться. Остается даже после завершения земного пути, ибо, как написала в одном из лучших своих стихотворений Зинаида Миркина: «Душа живет иным законом, обратным всем законам тел».

«Московский комсомолец». 19.02.2013 г.

Небожитель

«Бог есть, Григорий Соломонович?» — спросил я его напоследок, и это был очень правильный вопрос, обращенный к правильному собеседнику. В маленькой квартирке на улице Новаторов в Москве, во всей России да и на целой планете дать на него квалифицированный ответ могли считанные единицы, к числу которых безусловно принадлежал Григорий Померанц. «То, что в нас бессмертно, не исчезнет, — ответил он. — Представьте: человек — зеркальце, которое отражает вечный свет. Зеркальце разобьется, человек умрет. А свет вечен, он никуда не денется. Я отождествляю себя не с зеркальцем, а со светом».

Давно это было, 18 лет назад.

Говорили о многом, но более всего — о старости, ведь он и тогда был уже очень пожилым человеком. Шутка ли — 77 лет. Тема предполагала деликатность, но с первых слов стало ясно, что беседа его нисколько не тяготит. Напротив, предмет разговора чрезвычайно интересовал Григория Соломоновича, который воспринимал свой возраст как «испытание» и ценил старость «не меньше зрелости» и «выше юности», о которой отзывался с некоторым пренебрежением.

Юность его пришлась на годы террора. Зрелость вместила войну и лагерь. Старость (Померанц отсчитывал ее с 50 лет) началась в брежневскую эпоху, под занавес 60-х, и обозначила судьбу. Уникальную судьбу философа, культуролога, эссеиста, который жил, писал, выступал так, словно никакой советской власти не существовало в природе. То есть публиковался в сам- и тамиздате под своим именем, ничего не страшась и принципиально не желая писать с оглядкой на цензуру.

Вообще говоря, это был путь, ведущий в эмиграцию — или снова в лагерь. Путь, которым прошло немало достойнейших людей, и выбор тут зависел не от них, но от власти, которая в годы застоя обычно не возражала против того, чтобы самые знаменитые диссиденты отправлялись на Запад. Померанц выбрал свой путь, неразрывно связанный с его личной философией, в которой созерцательность дзен-буддизма соединялась с вольномыслием русского интеллигента. Он не уехал, а формой противостояния избрал не прямую борьбу с режимом, но жизнь на отшибе, участи Сократа предпочтя судьбу Диогена. Конечно, с поправкой на время, обстоятельства, жизненные привычки, научно-техническую революцию.

Он сам рассказывал об этом, вспоминая, как преодоление метафизического юношеского страха перед «бездной, куда мы все провали

ваемся» помогло ему выстоять под бомбами на войне и в лагере, где он однажды прямо, не опуская взора, взглянул в глаза смерти. Подобно бандиту на зоне, советская власть тоже скоро догадалась, что этот хрупкий человек в очках, погруженный в книги, совсем ее не боится. И еще было нечто в нем, в самой его светлой натуре, в стремлении не победить оппонента в споре, но вступить с ним в диалог, что самым поразительным образом воздействовало на окружающих. «Не трогайте этого небожителя» было сказано не про него, но и к Померанцу подходило идеально.

Небожитель — это ведь не просто чудак, отгородившийся от мира у себя на даче или в малогабаритной квартире на Юго-Западе. Это образ, вызывающий некое особое чувство, которое начальство скрывает за презрительной усмешкой, а люди обыкновенные — не скрывают, просто и бескорыстно восхищаясь. Что это — гордость за человека? Горечь, что сам не таков и никогда таким не станешь? Тоска по недостижимому? Поражающая душу догадка, что, оказывается, жизнь можно прожить и так — не в суетной погоне за успехом и деньгами, а напрямую общаясь с Богом? Он был человеком, буквально излучавшим свет, и тут не было никакой мистики. А просто «зеркальце разобьется» — и далее по тексту, про вечное, негасимое свечение. Произнесенное тихим, чуть взволнованным голосом, который звучит в памяти, когда я пишу эти строки.

«Мне жить не надоело», — говорил он в 77 лет и вспоминал историю японца Дайэцу Тэйтаро Судзуки, одного из крупнейших исследователей дзен-буддизма, который на восьмом десятке, когда началась Вторая мировая война, посчитал, что жизнь его потеряла смысл, и удалился в монастырь. Но война кончилась, к затворнику явился ученик, и в тот миг началась мировая слава Судзуки. Он прожил до 96, увенчанный почестями и славой, и умер, можно сказать, в расцвете творческих сил, рассказывал Померанц. «Вы ему завидуете?» — спросил я Григория Соломоновича. «Еще как!» — воскликнул он и засмеялся. И вдруг заговорил о том, что не хотел бы «пережить себя» и понимает самоубийц.

Если Бог есть, он в эти дни беседует с одним из самых замечательных людей, когда-либо живших на Земле. С человеком, который не только был создан по Его образу и подобию, но и путь земной прошел, не отклоняясь от замысла. С доверчивым мудрецом, который так верил в непрерывность и милосердность бытия, что обмануть его было бы бесчеловечно.

18.02.2013. Грани.Р

у

На глубине бытия

...И потому туман вдали Роднее
нам, чем род и племя, И внятней
голосов земли.

Зинаида Миркина

Ушел из жизни Григорий Померанц, но след, прочерченный им в истории, в культуре, в сердцах нескольких поколений духовно одаренных людей глубок. Я бы сравнил Померанца с мостом, о котором рассказал на Всемирном конгрессе религий в 1936 г. Дайсэцу Судзуки. Англичане предложили выступить мастеру дзен на тему «Высший Духовный Идеал», и Судзуки, смущенный подобной формулировкой, закончил свой доклад притчей. Есть в горах прекрасный мост, но тот, кто не обладает внутренним зрением, его не увидит. Хотя по мосту идут тигры и слоны, мужчины и женщины, бедные и богатые, молодые и старые, возвышенное и самое обыденное. Дальше Судзуки предлагает слушателям самим продолжить перечисление, что мы и сделаем. По мосту шагают эпохи, культуры, религии, которые так часто не понимают друг друга. И все они забывают поблагодарить мост. А тот и не возмущается. Не говорит: «Я — ваш высший духовный идеал». Каменный мост лежит ровно и проходит молчаливо из прошлого, не имеющего начала, в бесконечное будущее.

Будучи духовным лидером не одного поколения свободолобивых людей, Григорий Померанц до семидесяти лет находился в глухой опале, и упоминание его имени было нежелательным. Этот мост уже тогда, в период развитого социализма, мудро соединял Восток и Запад, культуру и религию, временное и вечное. И делал он это так же естественно и просто, как сочетал в себе интеллигентность с интеллектуализмом, глубокую веру с обширными познаниями, свое вечное изгойство с мистическим правом власть имеющего. Словом, нам преподан урок жизни очень долгой и поразительно чистой, трагической и счастливой. Оставлено огромное духовное наследие, в меру которого нам еще предстоит вырасти.

Я поведу речь о двух, быть может, самых важных для Померанца книгах: «Открытость бездне: Встречи с Достоевским» (1990) и «Записки гадкого утенка» (1995). Обладающий цельностью книги сборник работ, посвященных творчеству Достоевского, переиздан три раза (в книгу включены работы, написанные с 1946 по 1999 г.), и мемуарная проза «Записки гадкого утенка» выдержала три издания. На страницах «Встреч с Достоевским» и «Записках» высказано то заветное, к

чему Григорий Соломонович возвращался на протяжении всей своей жизни, и что составляло суть его духовных поисков.

В исследованиях Померанца всегда присутствует личный жест, каждое его суждение окрашено интонацией. Он пишет только о выношенном, выстраданном. Он не стремится соответствовать тому наукообразному языку, который, подобно тяжелым доспехам, стесняют свободу движений. Он смело перебрасывает мостики ассоциаций между школами и традициями, стилями и культурами, национальными образами мира и вероисповеданиями, указывая на странные сближения, наплывы, переключки, но этот риск оправдан, потому что гуманитарий XX века научился устанавливать подобные связи. Утрачена способность к широкому и глубокому охвату не только явлений культуры, но и самой жизни. Там, где специалист конкретной гуманитарной области вдруг осознает, что его компетенция исчерпана, и с достоинством умолкает, Померанц, памятуя о Едином духе, начинает говорить. И этот голос, глубоко прорезающий предмет разговора, чрезвычайно важен для национальной культуры, которая пытается осознать себя как единое целое, имеющее один исток. Что же это за исток и как его назвать? В системе координат Померанца, перед лицом тех созвездий, под которыми он ходил, исток этот именуется Духом Святым. Попытка подобного осознания, подобного собирания безграничного человека, гораздо важнее любых частных и грандиозных систем, кичащихся своими пределами и рубежами.

Михаил Бахтин, занимаясь стилистикой произведений Достоевского, обогатил филологию и культурологию впечатляющим понятий-нотерминологическим аппаратом. Померанц попытался доступным языком ответить себе и нам всего лишь на один вопрос. Насколько герои Достоевского, да и сам Федор Михайлович, ушли от своей божественной природы или приблизились к ней? Погас в них лик Божий или потаенно проступил? И когда именно погас, когда именно проступил. И что в итоге взяло верх? «...Не в идее дело, — скрыто полемизирует Померанц с Бахтиным и явно с самим Достоевским, — а в близости или в оторванности души от Бога»¹. Померанца не может устроить интерпретация романа Достоевского как «роман идей», «роман-трагедия». «Все эти определения схватывают отдельные углы романа и оставляют незатронутым целое». Вслед за Достоевским, взгляды которого эволюционировали, автор «Открытости бездны» приходит к заключению, что личность больше и значительнее любой идеи.

Всё в личности, как замысле Божьем, находится в переключке: самый дальний уголок личности призван ее сердцевиной в общение. И как бы ни был тяжел крест, добровольно возложенный, он никогда не истощит силы человека, потому что крест не только ноша, но и источник сил. Идея же не способна выдержать и своей собственной тяжести. «Любовники мысли» в романах Достоевского сводят счеты с жизнью. Так отламываются от

дерева обледеневшие ветки. Чтобы превратиться в идею, той или иной грандиозной мысли пришлось порвать с источником жизни. Так Адам срывает яблоко с дерева познания. Под ногами идеи, как некой машины, всегда болтаются людские жизни, полные какой-то невнятности, да и сам Бог встает на ее пути. Невнятность нужно немедленно устранить, потому что у идеи мало времени и много дел.

XX век с его титаническими свершениями стал веком доктрин, носители которых собирались осясчастливить полезную часть человечества и избавиться от бесполезной. Таков новейший гуманизм всех тоталитарных режимов. Вот почему гуманистическая идея, порожденная нашим тварным началом, и замысел Божий о нас это не одно и то же. Идея всегда логична, то есть не противоречива в отведенных ей рассудком пределах, а замысел Божий непостижим. Он все время выплескивается за границы нашего разума, однако не порывает с нравственными принципами миропорядка. Замысел Божий о нас не просто охватывает собою весь рой человеческих идей, друг перед другом заносающихся, а проливает свет на тварное начало каждой из них пером то одного, то другого безыдейного творца, гениального безумца, каким и явился Достоевский. Вот почему Померанц говорит о том, что Достоевский начинает идеей, а кончает личностью.

«Таким образом, мы проходим сквозь уровень проблем, идей <...> и прикасаемся к краешку целостной жизни, подлинно "живой жизни"». И единица этой жизни — личность. Теперь старушка снова становится реальнее идеи. Каждая личность раскрывается, как окошко в беспредельную глубину. <...> Все это несколько напоминает дзэн-скую притчу: «Сперва, не зная буддизма, я думал, что гора есть гора. Потом, изучая буддизм, я понял, что гора не есть гора (т. е. что идеи реальнее предметов). Но потом, еще больше углубившись в буддизм, я понял, что гора есть гора». Гора есть гора, а человек есть замысел о нем Бога, таинственный замысел, а не умопостигаемая идея. Идея при своем осуществлении всегда что-то утрачивает, причем непременно самое главное, свой идеально-небесный состав. Замысел же Божий при воплощении не только ничего не теряет, но восполняется сверх меры. Бог проступает через человека, говорит с Ним как с Сыном. И если человек ведом всем своим непостижимым духом, а не каким-то одним наудачу выхваченным желанием или помыслом, то Бог открывает человеку смысл его общей с Ним жизни.

И вот еще одно важное наблюдение Померанца, касающееся «Записок из подполья» как своеобразного рубикона для Достоевского. «После "Записок" он встал над идеями, нашел возможность оценивать идеи не с идейной, а с какой-то надъидейной точки зрения». Другими словами, Достоевский избирает ипостасную модель существования и мышления, раскрывая феномен личности через учение о Троице. «Эвклидовский разум» с его средствами рационального описания и познания мира не

выдерживает напора жизни: звенья бинарных оппозиций рвутся, не в силах ни вместить человека, ни сдержать его.

Размышляя о герое «Бесов» Ставрогине, Померанц пишет: «Трагедия Ставрогина — это трагедия свободной воли, оторвавшейся от своего источника». За раскрепощением души от моральных норм, которое, безусловно, опасно для окружающих, Померанц видит куда как большую опасность — потерю чувства духовной иерархии. Переступивший закон разбойник, раскаивается на кресте: он успевает опомниться, он находит в себе силы отделить высокое от низкого. Обретение чувства духовной иерархии и есть то райское блаженство, о котором так всегда неловко говорить, потому, что в обыденном сознании рай вынесен за опыт наших непосредственных переживаний.

Чувство духовной иерархии и моральная норма далеко не одно и то же. Моральная норма восходит к закону и освящена авторитетом внешней мудрости, мудрости века сего, а духовная иерархия укоренена в любви и распознается сердцем, Божественным безумием. В самой по себе моральной норме нет ничего дурного, худого, но когда она превращается в инструкцию, которой надлежит следовать, не рассуждая и даже бесчувственно, то духовная иерархия становится дымом и призраком, исчезают тончайшие нити, связующие человека с его последней глубиной. Следуя моральной норме (не сделавшись разбойниками и насильниками), мы можем легко уклониться от следа Божьего. Мнение массового человека, его оценка, суд вдруг становятся для нас важнее голоса совести, и совесть, не выдержав последней тишины, в которой с человеком говорит Бог, начинает подпевать расслабленному большинству, сливая свой тонкий голос с голосом хора. Массовый человек, часто соотносимый с толпой, не случайно выбирает душегуба Варраву: Варрава его демон, его бес. Отваживаются на свой одинокий голос немногие. Но нет ничего прочнее этой тонкой и даже как будто бы невидимой нити. И чем она тоньше и смелее, тем больше в ней Бога. Судьба Померанца и стала такой нитью, протянутой сквозь огонь истории, сквозь бездуховный идеализм века.

Только тихое струение мысли мудреца и высокий строй его чувств противостоят металлорежущим и камнедробящим идеям эпохи. Впрочем, с идеями нужно разговаривать на языке идей, но при этом видеть дальше любых доктрин. Это удавалось таким великим отечественным гуманитариям, как Алексей Лосев, Михаил Бахтин, Дмитрий Лихачев, Юрий Лотман, Сергей Аверинцев. К их числу принадлежал и Померанц. Григорий Соломонович говорил с веком, не теряя лица. Именно это больше всего и раздражало власть, а так же тех, кому эта власть была ненавистна. Бульжник из оружия уличной борьбы превратился в оружие борьбы интеллектуальной и нравственной. Голос, зовущий в глубину, казался несвоевременным.

В начале 70-х Померанц ставит вопросы, которые достигнут своей

предельной остроты спустя сорок лет. Он уже тогда искал и находил аргументы для диалога, который не могли себе вообразить даже самые смелые критики режима, напряженного диалога между обществом и церковью, между интеллигенцией и властью, которая заручается поддержкой церковных иерархов. И перекрестком, на котором подобный диалог возможен, по мнению Померанца, является Достоевский. Вот почему встреча с Достоевским и с его Мышкиным необходима нам и сегодня, и завтра. «Мышкин прикоснулся к тайне, которую хранит церковь, без зримой церкви, а потом уже узнал церковь, и идет он не церковным путем, а как бы рядом с церковью. Так тоже можно. И в этом есть свое глубокое обаяние. Хотя это очень трудно», — писал Померанц. И далее: «Мышкин не от церкви, а прямо от Бога, от ангельской красоты мира, вошедшей в большую душу и отразившейся в ней (может быть, именно благодаря молчанию разума) Божьим ликом».

Тот, кто знает Григория Померанца только по самиздату, а затем и по книгам, может сделать вывод, что его общественная деятельность, его служение завершилось вместе с распадом империи, но это не так. До последних дней он вел вместе со своей супругой и единомышленницей Зинаидой Миркиной философско-поэтический семинар в Клубе меценатов. Документальные фильмы, телепередачи, многочисленные интервью с ним, статьи, написанные пером гражданина и мудреца, держали Померанца в поле зрения думающей аудитории. На смену одной стране пришла страна другая, а вот Померанца заменить некем...

Мы задаем вопросы друг другу, мы задаем вопросы Богу, и Бог ставит вопросы перед нами. Померанц и Миркина своим очным и заочным вопрошателям неизменно отвечают, как мне кажется, лишь одно, всегда одно, но разными словами. Последователям Христа, которые пытаются разобраться в себе, в вопросах веры, в каких-то частных житейских вопросах они отвечают так: «Представьте себе, как Христос ответил бы на ваш вопрос, но прежде представьте себе, как Христос задумывается. Проживите вместе с Ним этот миг. Забудьте о словах, о себе, проживите этот миг. Проживите его всем сердцем, и тогда вы получите ответ. Сверх этого мы ничего не можем вам сказать». Возможно, я ошибаюсь, но общий дух ответа, не слова, а именно дух, именно таков. И не об этом ли миге сказано в стихах Зинаиды Миркиной?

Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сошел с лица.

Приверженцу иных мистических учений или человеку последовательно светскому, но охваченному тревогой глубины, они могли бы ответить, по сути, точно так же: «Молчание Христа сродни той тишине, которую боится нарушить Будда, и эта их общая тишина является

родиной библейского пророка, суфийского мудреца, даосского отшельника. Стремитесь разгадать эту вечную общую тишину своим полным сердцем и тогда ответы придут сами. Придут, когда их уже не ждешь. И придут ответы не в виде слов или идей, а как избыток внутренней жизни, который стремишься разделить с другими, и в этом видишь и счастье, и смысл жизни». Не потому ли Померанц пишет: «... все идеи Великого инквизитора, проваливаются в молчание Христа». Нет в мире Достоевского удовлетворительного ответа и на Исповедь Ставрогина, замечает Померанц. «Есть только вера, что Христос мог бы ответить, но самого ответа Достоевский не знал». Мудрец это не тот, кто знает, а тот, кто готов дослушать свое сердце и своего собеседника до конца. Так легко перебить, отвернуться от бездны. И так тяжело дослушать, доглядеть бездну. Нет полных и достаточных ответов, есть открытость бездне. Первый шаг в глубину это шаг к нашей ответственности и человеческой, и читательской. Искусство Достоевского не ведет читателя на помочах, уверен Померанц. «Оно дает нам свободу падать». В кого мы упадем или, как выразился бы Евгений Трубецкой, в кого мы вырастем — в Бога или в зверя², покажет наш опыт прохождения бездны. Свобода отвергнуть Бога это, скорее, призрак свободы, справедливо замечает Померанц. «Если свободное сознание выбирает то, что расколото, оно само себя раскалывает, иссушает источник внутреннего света, любви — и свой собственный источник». Этим и отличается свобода выбора Бога от свободы в Боге.

Свободны в Боге князь Мышкин, Соня Мармеладова, Хромоножка, старцы и послушники Достоевского. И здесь Померанц делает важное наблюдение. Князя Мышкина Достоевский видит изнутри, а старцев и послушников извне. Наверное, поэтому Тихон Задонский, Макарь Долгорукий, Зосима не так убедительны, как Мышкин. Но этот взгляд на князя изнутри делает Мышкина зависимым от страстей, которые и разрушают его пусть не духовно, но физически. И здесь мы подходим, может быть, к самой трудной загадке, над которой бились величайшие умы, но так и не разрешили ее.

Невозможно описать Христа изнутри Христа, хотя придти к Нему возможно только изнутри себя самого. «Бога можно найти только Святым Духом, только изнутри», — напоминает Померанц. В этом-то и загадка, здесь и берет начало тайна. Никому еще не удалось составить психологический портрет Христа, то есть измерить Христа своей поврежденной мерой. Даже Его ученики *не отваживаются* на это. Вот и Достоевскому такое не под силу. Поэтому в Мышкине больше Достоевского, чем Христа, больше человека и человеческой слабости, чем Бога. Однако это по-своему и ценно. В этом есть зерно истины. Через человеческую природу Христа, а вовсе не через Его сверхчеловеческую природу в наше сердце входит Бог. И все же описать Христа изнутри так же невозможно, как заглянуть в каждое сердце и выпытать его последнюю

тайну. При описании, воссоздании внутренних состояний Христа поневоле участвует втянутый во все наши дразги с миром и с самими собой рассудок, а при постижении Христа довольно одного духа, одного досмотренного до конца мига. И духом Достоевский Христа постигает, оказывается побежден Христом, и косноязычно, а ведь по-другому и нельзя, переливает свой опыт в наше сердце. Одна из работ сборника «Открытость бездне» целиком посвящена антикрасноречию Достоевского. «Высшее начало» побеждало Достоевского, и через него побеждает нас», — подводит итог Померанц.

В своей книге он бросает взгляд на творчество Льва Толстого, Даниила Андреева и Гоголя, но только для того, чтобы показать, почему им лишь отчасти дается «таинственное прикосновение мирам иным», а Шекспиру, Сервантесу, Данте и Достоевскому дается в полной мере. Достоверность, с которой живописуются «миры возмездия» Гоголем и Даниилом Андреевым сыграла с ними злую шутку. По мнению Померанца именно писательское мастерство повредило Даниилу Андрееву при создании образов «высших миров». Не поэтому ли Гоголь и вовсе поставил крест на попытке запечатлеть их в слове, когда понял, что создал лишь «оперные декорации» «миров просветления». Толстой же защищается от бездны и парения в бездне, морализмом. Он держится системы ответов, тверди, уроки которой хорошо усвоил, спасаясь от самого себя под родовыми липами. «Мы всегда знаем, что думает Толстой, с каким героем он согласен. А Достоевский оставляет нас в полном недоумении. Он философствует в десятках лиц. <...> И в десятках лиц исповедуется в своих грехах».

Не потому ли в своей книге о Достоевском Померанц позволяет себе ту бесстрашную искренность, которую никогда не перепутать с обескураживающей откровенностью. Сразу после размышления о подполье Аглаи и Настасьи Филипповны, Померанц пишет: «Ко мне способность любить пришла вместе с началом войны и сознанием нависшей смерти (до этого было половое чувство, а способности любить не было). Для *беззаветной* любви, без всякой заботы о своем достоинстве, понадобился еще лагерь (война не смирила гордыни; лагерь смирил). Я не был бы счастлив, если бы не мои несчастья». И это признание сделано в литературоведческой работе, которая требует известного отстранения. Но, может быть, отстраняться-то и не нужно, потому что, взглянув извне, можно и солгать...

Исповедальная интонация для автора «Встреч с Достоевским» органична. Она-то и определяет весь внутренний строй «Записок гадкого утенка», книги, которую принято называть мемуарной прозой. Однако «Записки» это не только мемуарная проза. Это род духовной автобиографии. Это попытка осмысления пережитого, как на душевном, так и на духовном уровнях без намерения четко разделить их, но и с явным указанием на то, что уровни эти тяготеют к разным полюсам

жизни.

Мир Божий гибок и текуч, и он продолжает твориться. Нет таких слов, которыми можно было бы выразить окончательно сокровенную тайну мира, и нет такого языка, на котором можно было бы с последней точностью описать Того, Кто стоит за этой тайной. Но есть глубина, на которой тайна открывается нам, причем открывается не сразу. Об этой глубине и на этой глубине говорят пророки. Через них мы узнаем, и будем узнавать что-то новое о нашем сердце, которому нет предела. Границу имеет только внешняя оболочка человека, связанная с принадлежностью к той или иной социальной общности, национальности, к тому или иному вероисповеданию. Сердцевина же нашего существа распахнута в беспредельность.

Образ гадкого утенка, пасынка империи, тщательно разработанный автором «Записок», позволяет взглянуть на XX век, да и на времена нынешние, глазами всесторонне образованной, деятельной, независимо мыслящей и чувствующей личности. Эта личность размышляет о самой себе не в категориях монолита. Она не бравировает своей причастностью к мощному политическому, общественному или духовному движению, с которым ассоциирует себя большинство. Она размышляет о себе в категориях творения Божьего, что и делает эту личность неотъемлемой частью некоего творческого меньшинства. Но бремя отщепенства и странничества не гнетет ее, а помогает выстоять. Нельзя это бремя предавать, нужно вырасти в его полную меру, чтобы остаться человеком тогда, когда люди монолита, засучив рукава, выкорчевывают все несговорчивое. «Одна пара глаз, раскрывающихся на глубокое, важнее тысячной толпы»³, — не устают повторять Померанц.

Тема «лишних людей», без которой русскую классическую литературу представить уже невозможно, идет параллельно линии прочерченной в культуре и в истории гадкими утятами. Гадкий утенок это ведь еще и собирательный образ группы людей, пробивающейся, как трава сквозь асфальт, в любую эпоху. Гадкие утята в отличие от «лишних людей» не могут себе позволить такой роскоши, как капитуляция. Мол, государственная машина слишком груба и примитивна, чтобы оценить все наши достоинства, а потому мы, лишние люди, отказываемся метать бисер перед свиньями. Сдаться без боя означает для гадких утят струсить, спастись перед людьми «необходимыми». И утята рвутся в бой, лезут на рожон. Христианские добродетели гораздо чаще, чем принято думать, замешены на личной отваге. Трусость, выданная за смирение, такой же самообман, как бездейственность души, рядящаяся в демонические одежды отверженности. Гадкий утенок, не победивший в себе труса и мечтателя-пустоцвета, тут же превращается в самодовольную домашнюю птицу, которая полагает, что она и есть хозяйка жизни. Только когда трус и мечтатель повержены, можно сделать шаг, а то и два шага назад, отведя себе место некоего второго, то есть, умалив свою персону, и тем самым до

конца открыв Богу свое сердце. Образ «второго» гораздо больше говорит о феномене гадкого утенка, чем социальнопсихологический тип именуемый «лишним человеком». И потом «лишние люди» редко поражены в социальных правах, чего не скажешь о гадком утенке, но это уже особый разговор, особая тема, которую автор так же бесстрашно поднимает, как и все остальные темы, сколь бы публичными или интимными они ни были.

Читателя исповеди, а «Записки гадкого утенка» более всего тяготееют к исповедальному слову, не может оставить равнодушным полемический накал в прояснении таких реалий, как народ. Автор «Записок» не только ученый с мировым именем, он — фронтовик, активный участник политической оппозиции, по которому, как и по миллионам его соотечественников, прошелся каток сталинских репрессий. Отсюда и вызов Григория Померанца всем тем, кто старается «выпихнуть» из истории гадких утят. «Я интеллигент, и народ не со мной. Я еврей, и на мне несмываемая вина». Именно так считают «необходимые» государственные люди. Как же разгадывается русской историей XX века загадка «безродного космополита», «беспочвенного интеллигента» на фоне темы диаспоры вообще, и еврейской диаспоры в частности? И существует ли такая загадка? Полагаю, что существует.

Мне чрезвычайно близок образ гадкого утенка, как этнического и социально-культурного чужака, пускающего корни в небо. Он мне понятнее русского эмигранта-сиониста, достигшего Земли обетованной, или отечественного почвенника солженицынского типа. Кризис национальной самоидентификации возник уже на заре новый эры. Будучи Сыном Давидовым, Христос отказывается быть только иудеем. Он пришел ко всем.

Гадкий утенок, пускающий корни в небо, это все тот же прорыв к свободе, которой как бы не отведено места на земле. Вот откуда эпитеты «беспочвенный» и «безродный».

Размышляя о Солженицыне, Померанц пишет: «Ему нужен был миф о народе, в котором таится некая вечная духовная сила, потерянная интеллигенцией». И тут же признается в своей захваченности историей в 60-годы: «И вот я создал миф об интеллигенции, способной обновить общество, поставив в центре свою творческую жизнь, и от этой жизни все может и должно преобразиться...». Трудно сказать, насколько жизнеспособны оказались эти мифы, это не так уж и важно. Важно то, что первый миф был готовым ответом, а второй — мучительно формулируемым вопросом.

На философско-поэтическом семинаре Померанца и Миркиной, который проходил в ноябре 2010 года, Зинаида Александровна, прочитала стихотворение, посвященное Второму Лицу Троицы. Я размышлял над стихом и над ее словами тогда, продолжаю размышлять и сейчас: узнаем ли мы Христа, если Он придет сегодня? И продолжаю думать над словами

Григория Соломоновича, который, отвечая на вопрос о том, существуют ли сегодня такие реалии, как народ и интеллигенция, уточнил значение слова «интеллигенция». Он вел разговор об интеллигенции как о творческом меньшинстве. Удивительно, как близки друг другу затронутые темы и поставленные вопросы.

Мне кажется, что Христос не может явиться народу, хотя у художника Иванова и существует живописное полотно с подобным названием. Христос не может явиться и творческому меньшинству, как назвал сегодняшнюю интеллигенцию Григорий Соломонович. Христос не может явиться даже отдельно взятой личности, хотя, казалось бы, Он приходит именно к личности. Христос может явиться только нашему внутреннему человеку, внутреннейшему человеку, потому что Христос никогда не переставал быть нашим внутренним человеком. И узнаем мы Христа сегодня или нет, зависит только от того, позволим ли мы быть нашему внутреннему человеку. Наш внутренний человек это то, что прочнее любых отвлеченных идей или кровных уз связывает нас друг с другом, не дает нам затеряться в самих себе ни как в народе, ни как в творческом меньшинстве, ни как в личности. Только в этом случае, то есть если мы не отвернемся от тайны внутреннего человека, можно избежать пропасти между народом и творческим меньшинством, между творческим меньшинством и личностью, между личностью и личностью, ведь именно между двумя людьми, порою самыми близкими, разверзается пропасть. Пропасть разверзается тогда, когда людей уже не связывает бездна. Бездна нашего внутреннего человека. «Неужели идти по водам, внутрь, в бездонность своей души?» — вопрошает Зинаида Миркина, одновременно отвечая. Да, только в бездонности нашей души мы встречаемся с Христом и узнаем Его сердцем. И разве не в этой мистической связи людей друг с другом состоит тайна и чудо Божественного Троиинства? «Мы не делимы друг от друга, как ветки одного дерева, — вот евангельская реальность», — говорит Миркина. И разве тайна подлинно личностного бытия может обойти стороной тайну соседней жизни, тайну бьющегося рядом с тобой, и как будто бы даже в тебе самом, сердца. Наиболее полно эта тайна воплощена в образе Христа, который отдает жизнь за бьющееся рядом наше сердце.

«Записки гадкого утенка» — это еще и роман о жизни. О жизни долгой, прожитой без прицела быть описанной, и все-таки удивительно полно и ярко описанной. Каждой страницей автор задает нам вопрос: заботимся ли мы о чистоте и глубине своих впечатлений и воспоминаний? Охвачены ли они светом или погружены в серый липкий туман жизни? От того, как мы поступаем с запечатленными в нашей душе образами, зависит наше отношение к женщине, к ребенку, к Богу. Впечатления и воспоминания — это тот колодец, из которого мы черпаем самих себя. Впечатления, если они глубоки, разгоняют туман смерти.

Кажется, что когда у автора исповеди заканчиваются слова, начинается

звучать его душа, и звучит она в стихах Зинаиды Александровны Миркиной, того человека, которому он обязан своим рождением в слове. «Главные сдвиги еще должны были случиться в жизни. Я чувствовал, что Зина, как саламандра, умеет жить в огне. Я не умел. Я только любил огонь и тянулся к нему. Когда мы сблизились, я сказал: ты нашла себя в том, как пишешь, а я только в том, как живу, как люблю». Однако вскоре произошел и прорыв к слову. Ничто не может сравниться с опытом открывания личности бесконечно тебе близкого и дорогого человека. Когда ты разглядел в нем пламя его божественной природы, начинаешь гореть и сам. Не требуется искать дров для такого костра. Горит все, к чему прикасается твой дух.

Вот, что мне кажется очень важным и о чем следует сказать со всей определенностью. Не только рай не может быть водворен насильственно, многие социальные проектировщики сломали себе на этом зубы, но и ад не может быть водворен насильственно. Даже ад? Да, даже ад. Выбор ада — это акт свободной воли. Только она, наша полная добра воля и может отнять у нас свободу, а больше никто. Ад — это добровольный отказ от свободы и Бога. И не стоит аду приписывать ничего лишнего. Не нужно сластить ад ужасами, к которым наша душа и ее добрая воля непричастны.

Зинаида Миркина написала:

И все. И больше ничего.
А может, большего не надо?
Довольно сердца моего,
Чтобы разрушить планы ада...

Григорий Померанц и Зинаида Миркина подбираются к одной и той же глубине с разных сторон. Путь, прочерченный словом каждого из них, жизнью каждого из них, особый путь, неповторимый, но в тоже время их слова и их жизни настолько перекликаются, что возникает поразительное ощущение искомой красоты человеческих отношений. На это способны только люди, разорвавшие пути «крови и почвы», люди, прошедшие через второе, то есть духовное рождение, заново друг для друга и друг в друге родившиеся. Возможным это стало благодаря чуду — Зинаида Александровна чудом поднырнула под свою болезнь, удержала душу на высоте призвания. Григорий Соломонович чудом уцелел в годы Большого террора, прошел войну, лагерь, пережил личный апокалипсис — уход из жизни Ирины Муравьевой, своей первой большой любви. Но нет ничего возможнее чуда, когда ты устремляешься к истоку своей личности, когда ты выбираешь ту часть самого себя, которой нет износа и смерти. «Наглядевшись в глаза заката, Зина вдруг резко поворачивается и молча требует, чтобы я принял и разделил с ней это напряжение творчества, и я чувствую себя недостойным священником, получившим в руки Святые Дары». Да, наверное, именно так это и происходит — поверх слов, но не

мимо глаз.

Сейчас я коснусь, быть может, одного из самых дискуссионных моментов романа-исповеди. Приведу обширную цитату из «Записок». «Один мой оппонент заметил: "Померанц живет без берегов, а я так не могу. Если я верю в воскресение Христа, то я верю в воскресение Христа, а не во что-то около этого". Как мне объяснить то, что Святой Дух всегда только *около* слов, *около* буквы? Что только сердце познает Бога, а слова *все* лгут. Что мысль, изреченная, — о Боге — есть ложь (или, говоря мягче, только слабое и неточное подобие)? И привязываться к этой лжи, как к истине, к метафорам, за которыми непостижимая и не тождественная никакому слову реальность, — значит изменять глубине?»

Берега, о которых говорил оппонент Померанца, это — священная буква, но всякая буква гораздо меньше духа. Можно сказать и по-другому. Буква священна лишь тогда, когда она знает, что она только буква. Именно берега способны незаметно для нас самих превратиться в ту букву, которая заслонит собою дух. Померанц не пропагандист широких взглядов, он — певец Единого духа.

Все великие религии мира находятся в движении, и нравственные их глубины, нравятся нам это или нет, перекликаются. Воистину, дух веет, где хочет. Именно этот непостижимый Единый дух, по мнению Померанца, выражен у Достоевского в «Сне смешного человека». Глубина созидает, ничего не разрушая. Ей не нужно расчищать место для самой себя, потому что во внутренних небесах человека места хватит всем. Религиозные же войны и человеконенавистнические теории возникают лишь на поверхности вселенских вероисповеданий. Поднырнуть под нетерпимость и ненависть, вывести на чистую воду своего массового человека с его узкой племенной психологией, обнаружить в этом узком человеке его же собственную глубину и есть наша задача. Отход от поверхности и тех бурь, которые терзают ее, это вовсе не отречение от своего хребта или от наказания предков. Промежуточные оценки, оценки порою жесткие, безусловно, нужны. В них ясно сказывается наше отношение к греху как к дремучей силе, которая разлучает человека с его собственной глубиной. Но даже в них, в этих оценках, обязательно должен быть воздух, которым дышит наша жертва-оппонент. Грех осуждается, а не грешник. «Христос был нетерпим к греху — и снисходителен к грешникам. Это смущало, сбивало с толку евреев. Большинство евреев не поняли Христа. Но большинство христиан его так же не понимают» — с горечью замечает Померанц. Словом, мы должны оберегать воздух нашего оппонента от нашего же праведного гнева. «Неистовство — даже в борьбе с дьяволом — насыщает дьявольщины нашей энергией» («Открытость бездны»). Памятны и другие слова Померанца, ставшие уже крылатыми: «Дьявол начинается с пены на губах ангела».

Рассуждая об атеизме, Антоний Сурожский замечает, что «очень

многое в безбожии рождено не отрицанием Бога, Какой Он есть, а Бога, Каким мы Его представляем». И далее: «Если взять историю христианского мира, то можно отшатнуться. Мы так часто — и в нашей отечественной истории, и на Западе — представляли Бога в таком виде, что можно сказать: я не могу признать в Нем свой идеал»⁴.

Между Богом, каков Он есть, и Богом, каким мы Его представляем, пролегал большая пропасть, чем между двумя отдельно взятыми людьми. Но чтобы узнать Бога, Каков Он есть (не станем уходить от этой формулировки), нужно, прежде всего, захотеть узнать и понять другого человека, нужно доглядеть в другом человеке Бога. Доглядеть в другом человеке Бога, в последнюю очередь отдавая себе отчет в том, какой он национальности и вероисповедания. Необходим диалог религиозных мирозерцаний и готовность к диалогу, который не заменят манипуляции мировоззренческими штампами. Нужен разговор. Причем такой разговор, где паузы между репликами (мысль неизреченная) не менее важны, чем слова. Где секунданты не науськивают дуэлянтов друг на друга, как петухов, подливая масло в огонь страстей человеческих. Необходим такой разговор, итогом которого станет проникновенное молчание, а не победа. Вот в какое общение вслед за проповедником и богословом Александром Менем и мыслителем Владимиром Библером с его философией диалога культур призывает нас Померанц. Вот поверх каких барьеров, порою искусственно возведенных рабами буквы, он пытается смотреть. И процесс «становления вселенского духа понимания» — таким видится ему сокровенное движение человека к человеку, а значит, и человека к Богу, не есть утопия или пустые мечтания философа. Это трудно, почти неподъемно, но осуществимо. Гост шестидесятых: «За успех нашего безнадежного дела!» не теряет своей актуальности и сегодня. Хотя наполняется каждым следующим поколением свобододолюбивых людей новым содержанием.

Нам дано почувствовать что-то, что глубже смерти и больше жизни. Нам открывается предельная глубина. Жить на этой глубине, это и значит слышать Бога. Автор «Записок» хочет донести до нас такую, вроде бы простую истину, но одно дело прочитать о ней и забыть, и совсем другое — творчески следовать ей.

Когда мы выдаем свою культурную ограниченность за духовную просветленность, мы поневоле лукавим. Если превратить эту подмену в привычку, то можно далеко уйти от того сияния, которое поманило нас. Можно даже и вовсе потерять из виду те лучи, которые призвали к ответу все наше существо, все наши качества, в том числе и способность критически мыслить. Критике мы подвергаем не святую, а свою поверхностную к ней причастность. Язык Будды, язык Индии мягче, терпимее, отмечает Померанц и, развивая свою мысль, показывает, что категории добра и зла, истины и лжи — дети средиземноморской логики. Не следует ли из этого, что язык Будды и язык Индии нам глубоко чужд?

И что наш культурный горизонт должен ограничиться уровнем палубы, на которой мы, конечно же, чувствуем себя в большей безопасности, чем на вершине мачты? Ответ автора «Записок» на этот вопрос недвусмыслен. Те мирозозерцания, которые обошла стороной религиозная революция, именуемая монотеизмом, не могут быть чужды тому, кто верит в Единого Бога. Зерна трепетного отношения к жизни не только своей, но и чужой, так щедро рассыпаны рукой Творца, что их можно отыскать во всех концах земли. Важно лишь то, что мы хотим найти, что созвучно нашей душе — проявления жертвенности, опыт внутреннего преображения или пещерный страх перед Другим как перед чужим. А от чужого, как известно, следуя логике массового человека, ничего хорошего ждать не приходится.

Конечно, человеческие возможности и время, отпущенное нам, не безграничны. Душой прикипаешь к одному — самому важному, самому главному. И нередко это главное приобретает вполне конкретные очертания. Приходит час, и замираешь у какого-то одного окна, в котором перед внутренними очами и разверзается бездна. Однако не стоит забывать о том, что хотя бездна и одна, да окон много. И не существует греха более страшного, чем гордыня вероисповедания. Она сродни морали подпольщиков, которая нередко оборачивается презрением к племени обывателей. Через этот соблазн проходит любой гадкий утенок (у многих людей фигура Померанца ассоциируется с диссидентским движением), и только истинный странник, мудрец, учитель, каким и стал автор «Записок гадкого утенка», сможет устоять перед этим соблазном. Гордыня — это вирус, который подхватывается замкнутым кружком, а уж кем этот кружок себя считает — тайной сектой или самой многочисленной религией в мире, не имеет большого значения.

Сбывшаяся жизнь больше, чем осуществившаяся мечта. Потому что сбывается не только то, о чем ты просишь, но и то, что предназначено тебе твоею сущью, до конца открытой только Богу. Однако жизни, как и дару свыше — можно и нужно учиться. Тот, кто не обладает силой удержать высший дар, получит что-то другое, что-то сложное и хлопотное, но только не дар.

Не знаю, есть ли во мне та же степень открытости Единому духу, что и в Григории Померанце. Есть готовность к ней, но сознание все еще цепляется за образы зримые, а точнее, за видимую сторону Непостижимого. Говорю это, положив руку на сердце, и не пытаюсь свидетельствовать о том, к чему только приближаюсь.

Конечно, религиозный фундаментализм — крайняя форма нетерпимости, но сколько существует других форм, более цивилизованных, но не менее опасных. Ничто не дает мне права настороженно, а порою и враждебно относиться к Другому лишь на том основании, что без этой опаски и даже брезгливости, я что-то важное утрачу и как бы обману свое сердце. Нет же, не обману! Обману, если подсоблю любви ненавистью,

даже не ненавистью, а рабской привязанностью к привычке самодовольно все мерить на свой аршин. Этот аршин не моя мера, мне лишь дали за него подержаться, чтобы я задарма ощутил свою собственную значимость. Аршин рассыпается в пыль пред лицом Бога.

На семинарах Померанца и Миркиной, а в зале было негде яблоку упасть, с завидной регулярностью ставились два вопроса, которые не дают нам, слушателям, покоя. Как заставить современного человека духовно прозреть? И как прорваться к самому себе? В «Записках гадкого утенка» содержатся ответы на эти простые вечные вопросы. Простые вопросы предполагают простые ответы. Если хочешь сделать людей лучше, начини с самого себя, тогда и их жизнь таинственно и почти без твоего вмешательства изменится. А прорваться к самому себе можно, только поднырнув под смерть. Причем, поднырнув не огромным коллективом пловцов, которые идут на духовный рекорд, а — в одиночку, чтобы, вынырнув, соединиться со всей жизнью, ощутив свою пронзительную связь с каждым ее дыханием. «Вечен не я, вечен присутствующий во мне Бог, вечен Океан света, на миг влившийся в щель моей плоти...» («Записки гадкого утенка») Свет этот не удалось описать ни Марксу, ни Фрейдю. В Океане света тонет и царство истории, в котором XX век отвел человеку роль механизма, и

царство души, понятой поверхностно. Новые времена достойные приемники отшумевшего столетия. Они получили массового человека во всей его красе и продолжают снабжать его проверенным кормом — иллюзиями, страхами и гордыней. Противостоять этому можно только всем собой, на потаенной беспредельной глубине самого себя, где и происходит встреча с Богом.

Духовный путь Григория Померанца и Зинаиды Миркиной — это опыт превозмогания смерти. Творческое меньшинство, как назвал Померанц сегодняшнюю интеллигенцию, должно хотя бы попытаться осознать, насколько этот опыт может нам пригодиться и почерпнуть из него то, что по силам каждому из нас.

Февраль 2013 г.

Примечания

¹ Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: *Померанц Г.С.* Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М.: РОССПЭН, 2003.

² *Трубецкой Е.Н.* Смысл жизни. М.: Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 368.

³ Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: *Померанц Г.С.* Записки гадкого утенка. М.: РОССПЭН, 2003.

⁴ *Антоний, митрополит Сурожский.* Человек перед Богом. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Сурожского», 2010. С. 58.

Музыка сквозь скрип

Памяти Григория Померанца

Мы познакомились с Григорием Соломоновичем Померанцем в мае 1972 года у нашего общего друга, замечательного востоковеда Евгении Владимировны Завадской. Она показала Померанцу мою статью об иронии у Томаса Манна, только что опубликованную в журнале «Вопросы философии». Померанцу статья понравилась.

— Но ирония все-таки ограничивает, — заметил он. — На уровне религиозной проблемы иронии снимаются. Прорыв на этот уровень давался иногда Достоевскому. Томас Манн оставался больше в области культуры.

Соотнесенность с религиозным уровнем определяла его литературные оценки, отношение к разным областям жизни, философским системам. Померанц не принадлежал ни к одной конфессии, не придерживался никаких ритуалов, но я не знаю человека более религиозного, чем он. Религиозно было все его мироощущение.

В одной из недавних его статей я прочел: «Глубинное ядро одной религии ближе к глубинному ядру другой религии, чем к собственной поверхности». Прекрасно, не правда ли? А мне он еще много лет назад как-то сказал:

— Окна у людей могут быть разной формы: квадратные, прямоугольные, круглые. Но свет, который в них льется, для всех один.

В упомянутой статье об иронии у Томаса Манна Померанца среди прочего заинтересовала мысль о том, что человек, ввязавшийся в политику, поневоле вынужден бывает расстаться с иронической позицией. Политика делает всех в каком-то смысле ограниченными, вынуждает принимать однозначные, поневоле упрощенные решения. Для творческого человека благо — разделавшись с политикой, вновь вернуться к иронии.

Как раз в те годы, когда я с ним сблизился, Григорий Соломонович отошел от активной диссидентской деятельности. Отчасти потому, что многое в этом движении оказалось ему чуждо, отчасти потому, что не чувствовал себя Дон Кихотом. «Политическая безнадежность освободила меня от политических задач, — писал он позднее. — Свобода от практической цели сделала семидесятые годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал "Сны земли", писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические наброски, начатые в 60-е годы с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории».

Как-то я увидел на его столе письмо, пришедшее из Италии; ад-

ресовано оно было «профессору Померанцу». Никто за рубежом представить не мог, что обращаются они к рядовому библиографу без всякой ученой степени, не защитившему даже диссертации. В свое время Померанц написал их даже две: одну, еще незаконченную, изъяли при аресте и сожгли, другую защитить не дали. Так он до конца жизни без степени и обошелся. (Не знаю, удосужился ли какой-нибудь университет хотя бы запоздало присвоить ему ее *копот саиша*.)

Он в те годы работал библиографом в Фундаментальной библиотеке Института общественных наук. Мне случалось туда к нему заходить. Померанц реферировал поступавшие в библиотеку книги и статьи на разных языках, писал на них аннотации, давал мне копии. Эта малопrestижная работа открывала ему, однако, возможность знакомиться с мировой мыслью, наращивая незаурядную эрудицию.

Я стал часто бывать у него, в небольшой двухкомнатной квартире на улице Новаторов, где они с женой Зинаидой Александровной Миркиной жили до недавнего времени. О том, что значила всю жизнь для Григория Соломоновича эта женщина, мне вряд ли написать лучше самого Померанца. Ее стихи воспроизводятся во многих его статьях и книгах, не просто подтверждая его мысли — у них общее мироощущение. Впрочем, то, что объединяет этих людей, можно назвать проще: любовью.

— Мы с Гришей живем уже много лет, и наша любовь не только не слабеет, но становится сильнее, — сказала мне однажды Зина (мы все трое с первых же дней знакомства стали называть друг друга по имени). — Те, кто сами этого не испытали, не поверят, что такое возможно.

Однажды я обнаружил, что телефонный аппарат они уносят в другую комнату и прячут там в ящик для белья.

— Вот почему я вечерами не мог к вам дозвониться, — сказал я.

— Да, вечерами мы слушаем музыку, — ответил Гриша. Утром они оба работали, днем ходили гулять в ближний лес.

Мы жили в годы, когда время от времени возобновлялись разговоры о неизбежной, уже близящейся катастрофе. Померанц эти страхи не разделял.

— У меня есть чутье на большие расстояния. Конца в одной отдельно взятой стране не будет. Россия как-то выпутается. Проблема в том, что будет с человечеством в целом.

Он не принимал и утверждений, будто в наше время происходит разрушение личности.

— Личность разрушается всегда, — сказал он мне однажды, — она сохраняется и развивается, только если противостоять потоку. Даже в сравнительно спокойные времена она разрушается, если человек идет по течению.

Может быть, именно постоянная душевная напряженность, готовность

идти против течения, преодолевая внешние обстоятельства, позволила этому человеку, отнюдь не блиставшему здоровьем, дожить до своего возраста.

«Я не хочу, чтобы моим друзьям непрерывно везло, — можно прочесть у него в «Записках гадкого утенка». — Дерево, выросшее под ветром и дождем, лучше оранжерейной пальмы. В нем больше внутреннего напряжения, жизни, красоты».

«Когда видишь Григория Соломоновича Померанца, — написал я в статье к его 90-летию, — слушаешь его тихую точную речь, не так просто себе представить, что этот узкоплечий, небольшого роста, на вид слабый человек провел на фронте всю войну, водил в атаку солдат, был ранен, а после войны прошел через сталинские лагеря, участвовал в правозащитном движении, не раз переживал угрозу нового ареста».

До сравнительно недавнего времени Померанец ездил на велосипеде за продуктами в дачный магазин. Однажды, собираясь приехать ко мне и уточняя по телефону адрес, он спросил, можно ли от метро не ехать ко мне на автобусе, а идти пешком. Я был тронут: ему в тот год исполнилось 67 лет, и он поехал на другой конец города, чтобы продолжить начатый по телефону разговор о моем только что законченном романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Гриша был первым читателем этого романа, который тогда существовал только в рукописи, перепечатать рукопись взялся его сосед. Меня ободрил добрый отзыв Померанца, но запомнились и его оговорки. Ни один мой герой, по его словам, не нашел пути к «высокой жизни», которая возможна даже в наших условиях, даже в провинции. Он подтверждал это рассказами о своих многочисленных корреспондентах из разных городов и даже прочел мне большое, очень умное письмо одной несчастной и незаурядной женщины, которая в духовном одиночестве напряженно ищет чего-то, к чему-то прибивается.

Для него с Зиной очень много значило общение с разными людьми. Оба вели обширную переписку, много выступали. Однажды знакомая библиотечкашша попросила меня помочь: у нее сорвалось чье-то назначенное выступление перед читателями. Я позвонил Померанцу — он с готовностью согласился выступить.

— Вы не любите публичные выступления? — спросил меня. — А для меня они очень важны.

С годами вокруг него и Зины сложилась своего рода община поклонников, слушателей, читателей, просто людей, которым нужны их совет, слово, поддержка. Выступления обоих записывались, записи эти, включая ответы на вопросы, издавались на деньги, собранные почитателями, на такие же пожертвования издавались и другие их книги. Тиражи были, конечно, небольшие.

— Мне телевидения не хватает, — услышал я от Померанца несколько лет назад. Сотрудники одного из каналов рассказали ему, что его 90-летие

на телевидении было велено не отмечать. Довольно скоро, однако, отношение к нему и Зине изменилось, было отснято несколько программ с их участием. Автор одного из газетных откликов заметил, что после появления на экране таких людей, как Померанц, чувствуешь, насколько фальшивы там другие персоны. «Редкий случай подлинности», — писала газета. Это не то же самое, что гениальность. Гениальность дается от природы, подлинность нарабатывается жизнью.

В мае прошлого года я прочел в одной из статей Померанца размышления о гедонизме Запада как об одной из примет его кризиса. Что-то для меня самого в этой теме оставалось неясно. Захотелось позвонить Григорию Соломоновичу, уточнить: как он определит различие между гедонизмом и счастьем?

Трубку взяла Зина, я задал вопрос сначала ей. Она ответила: счастье — это обращенность к другим, связь с другими, связь с миром. Я засомневался: когда молодые люди наслаждаются любовью, объяснишь ли им такими словами, что гедонизм — это еще не счастье?

— А и не надо объяснять, — ответила Зина. — Есть влюбленность, и есть любовь. Это надо чувствовать, знать. Вы не поверите, сколько мы получаем отзывов, какие письма нам пишут. На недавний мой вечер специально приехали люди из других городов.

На этом вечере, в апреле, за месяц до нашего разговора, я был, Померанц мне позвонил, позвал. Зинаида Александровна читала стихи в неизвестном мне прежде Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. Для меня оказалась неожиданной молодость аудитории, я там показался себе едва ли не самым старшим. После чтения я подошел к обоим, спросил Гришу, откуда такое множество молодых. Прежде на таких вечерах было больше моих ровесников.

— А это наш с Зиной семинар, — объяснил он, — мы ведем его уже 16 лет.

Обращенность к другим, связь с другими — так она понимала счастье. Потом трубку взял Гриша, я задал ему тот же вопрос.

— Счастье, — сказал он, — это внутреннее чувство. Гедонизм связан с внешними ощущениями, а счастье внутри.

И стал рассказывать, какое для него счастье: подойти к окну и увидеть рошу, освещенную солнцем. Третий год жизни в новой квартире не оставляло его это чувство счастья.

Я не мог не заметить: а разве в прошлом доме, в панельной пятиэтажке, где у них роши под окном не было, он не мог чувствовать себя счастливым независимо от вида за окном? Что говорить, Гриша сам знал это лучше меня.

«Я был счастлив по дороге на фронт, — можно прочесть в тех же "Записках гадкого утенка", — с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, потому что светило февральское

солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливей, чем в юности. Хотя хватает болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, и счастлив в любви».

Внутреннее чувство, необъяснимое, полноценное чувство жизни, сродни религиозному, — этому опыт Померанца учит, как никакой другой.

Сейчас я извлек из ящика стола пачку писем Померанца. Мне еще предстоит их толком разобрать, распечатать, осмыслить. Гриша не пользовался ни пишущей машинкой, ни тем более компьютером. Почерк его к концу жизни был не всегда разборчив. Я открывал конверт, другой, начинал читать — и зачитывался. Прочитую сейчас без выбора два первых, попавшихся под руку.

В обоих случаях можно лишь предполагать, на какие мои вопросы или замечания он отвечает, копий своих писем я себе не оставлял. В первом речь идет об упомянутой мной, по-видимому, концепции австрийского этолога Конрада Лоренца, который считал агрессию природным свойством всех биологических существ, включая человека. Померанца биологические объяснения человеческих поступков не убеждали.

«Культура может заставить отдать свой хлеб товарищу, не добиваться взаимности силой и т.п., — писал он мне. — В XX веке заговорили о законности агрессии, потому что оболочка культуры растрескалась. От чего именно? Войны расковали зверя, и он почувствовал себя хозяином. Суэта цивилизации отучила заглядывать в собственную глубину, где рождается совесть. (Достоевский писал, что совесть — действие Бога в человеческой душе.) Перестали чувствовать Бога, и зашевелились бесы. А природная агрессивность не в 1914 году родилась и не в XXI веке <...> Теория Лоренца, мне кажется, стоит в ряду с теориями Маркса и Фрейда. Они разматывают одну нитку, а их много» (письмо от 25.01.04).

Его письма всякий раз оказывались небольшими приватными лекциями на темы философии, богословия, литературы, культуры, истории. «Редкая дружеская привилегия», — только и мог я его поблагодарить.

Другое попавшееся под руку письмо возвращает к теме, с которой началось более сорока лет назад наше знакомство: к разговору о религиозном мироощущении, религиозном измерении, соотносении с религиозным уровнем — всему, что определяло отношение Померанца к разным областям жизни, философским системам, явлениям литературы. Отсчет для него начинался с Рублева, с великих религиозных текстов, они всю жизнь оставались для Померанца высшим мерилом. Достоевскому — и тому лишь изредка давался, по его словам, прорыв на этот уровень, Томас Манн оставался в области культуры, то есть на уровне более низком. Это можно сказать о многих его литературных оценках.

«Потерян вкус к трудным книгам, — почел я у Померанца сравни-

тельно недавно, — на первое место попадает то, что не мучает совесть и не тревожит ум. У читателей классики Чехов теснит Толстого и Достоевского».

Не буду сейчас множить цитаты, обсуждать частности. Я как-то пытался в споре объяснить, чего мне не хватает в «чисто» духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой. Можно повторять «Бог» — и это мне ничего не скажет. Но можно заговорить, допустим, о корове или пусть даже о навозе так, что и это будет о Боге. Я тогда не знал индийской легенды о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого». Бог в коровой лепешке — вот это для литературы, это ее сфера. Когда герой Пастернака говорит, что главное для него в Евангелии — не «нравственные изречения и правила», а то, «что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности», — он, в сущности, восхищается литературным элементом в нем.

Сейчас уже не сказать, на какие мои рассуждения отвечал Григорий Соломонович в письме, которое я хочу процитировать; наверно, я затрагивал в них и важную для меня тему художественного воображения.

«Воображение, безусловно, играет свою роль в религиозном *искусстве* и в религиозных *видениях* (например, у Даниила Андреева, и у пророка Даниила, и у автора Апокалипсиса), — писал мне Поме-ранц. — Видение рождается взрывом из непостижимых глубин, но облекается в материал, известный из опыта. Например, *всадники* Апокалипсиса (а не танки). Вообще все религиозные тексты — перевод непостижимого импульса, в свете которого человеческий опыт, запечатленный в сознании пророков, внезапно освещается и до известной степени преобразуется. Но я убежден, что Бог не обладает штатом синхронных переводчиков, которые позволяют беседовать с каждым

на его языке. У Бога какой-то свой способ общения с людьми, по ту сторону воображения (играющего с известными предметами) и текстов, то есть игры со знаками, передающими некий таинственный смысл. Мы не можем разъяснить "Тяжесть и нежность", а где уж до Бога...» (письмо от 08.08.05).

Диалог с Григорием Померанцем стимулировал мысль. Здесь уже упоминался его упрек героям моего романа «Линии судьбы, или Сундук Милашевича»: они, говоря словами Григория Соломоновича, не нашли пути к «высокой жизни». Не приходится сомневаться, что самому Померанцу этот путь был известен, что в состоянии, которого он достиг, не так уж существенна литература — все еще так важная для меня.

И не без смущения вынужден признать, что если Шекспир или Фолкнер остались в мире своих блуждающих, мечущихся героев, их неразрешенных и неразрешимых проблем, я больше хотел бы приблизиться к ним, чем к миру высокого совершенства.

Поздравляя Григория Соломоновича с очередным днем рождения, я написал ему, каким благотворным было для меня многолетнее — уже больше половины моей жизни — дружеское общение с ним. Даже если мы не встречаемся, писал я, он постоянно присутствует в моей жизни.

Померанц мне ответил: «Я чувствую себя обязанным прожить еще несколько лет, чтобы ободрить тех, кто значительно моложе: сколько еще лет впереди!».

Самим своим существованием он ободрял множество людей, знакомых и незнакомых, помогал им держаться, ориентироваться в этой трудной жизни.

Я очень люблю услышанную однажды историю. Гриша летел на конгресс, кажется, русской интеллигенции в Уфу, у самолета что-то случилось с шасси, он стал кружить над аэродромом, вырабатывая горючее на случай аварийной посадки. И рассказчик услышал от совершенно спокойного Померанца: «Жизнь представляется мне скрипучей пластинкой. Некоторые слышат скрип сквозь музыку, другие сквозь скрип слышат музыку».

Это останется.

19.02.2013. СоИа.г

и

Миллион причин для счастья

Памяти Григория Соломоновича Померанца

Если человек умер, это еще не значит, что он жил. Факт рождения — не гарантия жизни. Но и смерть не всегда конец. В случае Григория Померанца смерть точно не конец. Без Померанца нельзя обойтись тому, кто хочет что-то понять в себе и в окружающем мире, который, к счастью или к сожалению, не становится проще. У Григория Померанца можно многому поучиться. Ну хотя бы тому, как быть живым до самой смерти и даже после нее. Я вообще плохо понимаю, как жизнь решается расстаться с такими людьми. Кто же будет ее любить так, как Померанц, понимать, как он, ее тайнопись и, как он, вникать во все ее оттенки? Разве можно отпускать таких людей?

Одно утешает: он многое успел нам поведать, познав самые крутые выражи: войну, ГУЛАГ, ссылку, смерть близкого человека. С нами остались «Записки гадкого утенка», в которых он как на духу «во всем сознался»: и в слабостях своих, и в победах над ними. Редкое свойство Померанца — обращаться к каждому из нас, впускать в свою душу и быть абсолютно искренним. Ни позы, ни нравочений. «Бойся того, кто скажет: "Я знаю, как надо"», — часто повторял Г.С. эти слова Галича. Он знал, как *не надо*. И это уже очень много. Не надо догм, не надо ненависти к инаким, не надо пены у рта, не надо терять надежду. Ведь всегда есть чем жить, и всегда есть причина для счастья. Она есть и сегодня, потому что и сегодня, как в том давнем феврале, когда он шел на фронт с одним сухарем в желудке, светит февральское солнце, и сосны пахнут смолой. Григорий Померанц *не учит* радоваться. Он просто заражает вирусом радости. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» Эти слова Достоевского часто звучали в доме Померанца и Миркиной.

Достоевский — спутник Померанца с 1938 года. Он думал и писал о нем всю жизнь. Он хорошо понимал и «смешного» человека, и «подпольного». Да и как не понимать, если Померанц сам такой. Недаром же он назвал свою автобиографическую повесть «Записки гадкого утенка». О чем бы он ни писал, он всегда пишет о главном в тебе, в себе, в нас. О Достоевском, Толстом, Тютчеве, восточной философии, истории он пишет так же лично, как о своем собственном выстраданном опыте на фронте, в ГУЛАГе, в любви. Именно поэтому нам так необходимо написанное им. А еще потому, что это строки свободного, незашоренного человека, что всегда было и остается редкостью.

В России и впрямь надо жить долго. Авось до чего-нибудь хорошего доживешь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина дожили. Их издали, их узнали и полюбили сотни и сотни людей. К ним тянулись, на их лекции, которые они регулярно читали, приезжали из отдаленных уголков страны. Г. С. успел почувствовать свою нужность.

В их доме часто звучали стихи. Гриша любил строки Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену». Но сам-то он умел жить и во времени, и в вечности, и никогда ни у кого не был в плену. А 13 марта ему исполнится 95 лет. И свет будет, наверное, еще более весенний, чем сегодня. Еще один повод для счастья.

«Новая газета». 20.02.2013.

Между министерством Правды и министерством Любви

Не секрет, что основной задачей, которую выполняла советская философия, была апологетика марксистско-ленинской идеологии. Доктры вероучения преподавались во всех высших учебных заведениях страны, на всех факультетах, и, как Закон Божий, зазубривались студентами с благой целью формирования у них единственно верного и потому передового и всепобеждающего мировоззрения.

В самиздатской литературе 70 —80-х годов прошлого века Г.С. Померанц являлся одним из наиболее популярных авторов. Его статьями зачитывалась оппозиционно настроенная интеллигенция во всех уголках огромной страны: от Риги до Владивостока.

Мое первое знакомство с его творчеством произошло в студенческие годы. Помню, с каким живейшим интересом я прочел, нет, скорее, «проглотил» машинописный текст его диссертации «Некоторые течения восточного религиозного нигилизма». Несколько позже я познакомился и с самим автором. Это произошло в середине 70-х, в Ленинграде, на ежегодной конференции по Ф.М. Достоевскому. Конференции эти проходили в Доме-музее писателя и имели репутацию одного из последних прибежищ вольномыслия, так как туда в течение ряда лет в числе прочих приглашали как Григория Соломоновича, так и других опальных авторов, среди которых был и Лев Копелев.

В зале, как правило, свободных мест хватало, если только речь не шла о докладах Померанца. Тогда, для того чтобы устроиться в зале, нужно было приходить, по крайней мере, за час до выступления. В противном случае свободного места не было не только в зале, но и в примыкающем к нему просторном фойе. Нередко динамики для трансляции даже выставляли на улицу, где перед входом в музей обычно собиралось большое количество молодежи.

Выступления Померанца, посвященные творчеству Достоевского, никогда не носили характера чисто академических исследований, представляющих интерес лишь для узкого круга специалистов. Мысль в них всегда кружила вокруг вечных вопросов, будораживших неравнодушные умы, и для многих была настоящим глотком свежего воздуха в затхлой атмосфере свободной от кислорода действительности.

Прочитанные на этой конференции доклады Г.С. Померанца позднее вошли в изданную вначале в США, а после перестройки и в России, книгу эссе «Открытость бездне». Такое название отнюдь не случайно, оно характеризует не только один из нервов поэтики Достоевского, но и в полной мере может быть отнесено к особенности мироощущения самого

ее автора.

В своих мемуарах «Записки гадкого утенка» Г.С. Померанц вспоминает пережитое им в юности острое чувство осознания с одной стороны, бесконечности мироздания, и с другой — конечности человеческого существования, затерянного в нем. На всю жизнь сохранит он память об этом однажды вспыхнувшем Паскалевым огне, опалившем душу. Следы этого огня позже он будет находить на страницах русской литературы XIX в.: в поэзии Федора Тютчева, в романах Льва Толстого и Федора Достоевского. И у мальчика из еврейской семьи, перебравшейся в 20-е годы из Вильно в Москву, пережитый опыт станет началом того пути в глубину, который окажется решающим фактором в формировании и стиля жизни, и стиля творчества будущего мыслителя. Ибо стиль, как известно, — это человек, и «найти свой стиль, — как подчеркивает сам Померанц, — значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство истины». Это внутреннее зернышко, это свое чувство истины поможет ему остаться самим собой и в огне Второй мировой, и в сталинских лагерях.

Из-под пера Померанца вышло множество эссе и статей широкого тематического спектра: культурологических, философских, литературоведческих, исторических, религиозных. Не только беглый анализ, но даже простое перечисление названий написанных им работ заняло бы достаточно много времени. Поэтому в разговоре о его творчестве для меня важно сконцентрироваться на главном, не увлечься частностями. Эта задача сама по себе не из легких, так как философский инструментарий Померанца не поддается привычной классификации, потому что его философский инструментарий — это сама его личность. Его понятийно-образное мышление носит ассоциативный характер, мысле-образ — его привычный язык. Думать сердцем — его основной жизненный и творческий принцип.

И хотя в своих культурологических статьях Померанц подчас и создает оригинальные научные теории (см., например, «Теория субэкумен и проблемы своеобразия стыковых культур» или «Иконологическое мышление как система и диалог семиотических систем» («Выход из транс»)), сам он не склонен придавать теориям слишком большое значение, сравнивая всякую рациональную теорию с лесами, которые следует убрать, как только строительство закончено. Говоря о месте теории в философских исследованиях, он нередко вспоминает дзэнскую притчу о том, что есть искушение принять палец, указывающий на луну, за саму луну. В своих мемуарах Померанц признается: «Способность живо чувствовать понятия и складывать их в теорию ничуть не чудеснее, чем подбирать и складывать в букет цветы, и я сам не знаю, что выше... А логичная теория вовсе не обязательно истинная теория. Большая часть теорий односторонняя, многие прямо нелепы. Способность мыслить истинно отстоит от способности теоретизировать, как небо от земли. Замечательные мыслители вовсе не теоретизировали, а говорили

притчами и парадоксами»¹.

Померанц описывает два типа ума: один прекрасно ориентируется в частностях и поэтому не рискует заблудиться в трех соснах, но не имеет ни малейшего представления о лесе в целом, другой — плохо разбирается в деталях, и три сосны способны оказаться для него безвыходным лабиринтом, но он обладает чувством целого, видением леса. И эта способность позволяет ему избегать искушения принять один из фрагментов картины за всю картину в целом.

Это целостное видение наделяет исследователя чуткой духовной интуицией, позволяющей находить ответы на самые запутанные вопросы. Есть задачи, которые имеют решение только при выходе на принципиально иной уровень, открывающий еще одно измерение действительности.

В одной восточной притче рассказывается о двух мудрецах, встретившихся на берегу моря. Один из мудрецов начертил на песке линию и попросил другого уменьшить ее, не прикасаясь к ней. Второй мудрец провел рядом свою, более длинную. Он задал больший масштаб, и первая линия оказалась сразу короче, чем представлялось раньше.

Многие из самиздатских эссе Померанца рождались как непосредственный отклик на актуальные проблемы времени. Но в них присутствовало то, что составляет отличительную черту его творческого почерка: удивительная способность видеть во временном глубоко скрытую проекцию Вечного. Сознание Померанца работает как особая призма, постоянно преломляющая конечное в бесконечное, и за любой, самой короткой линией, открывающая весь горизонт бытия — бытия, не мумифицированного научной теорией, но остающегося живым и трепещущим. Подчас Померанца можно упрекнуть в некоторой неточности деталей, но невозможно не признать его умения за деталью всегда увидеть Целое.

«... Передать не частности, а целое; не хворост, а огонь; не идею, а ритм; ритм, в котором шла схватка Якова с ангелом», — в этом видит сам Померанц свою задачу.

Его мышление принципиально адогматично, но совсем не потому, что он разделяет позицию модного нынче релятивизма, а потому что истина для него жива не в букве, а только в духе. Она экзистенциальна по самой своей природе. Он мог бы повторить вслед за Кьеркегором, что истину нельзя познать, в истине можно только быть или не быть. Поэтому же истину невозможно узурпировать даже ее многочисленным провозвестникам. Она — не плод усилий нашего интеллекта, а состояние нашей души. И если вопрос об истине задается Пилатом, то ответа на него нет. Истина не познается, она переживается.

«Я понял, — пишет Померанц, — что каждому из нас даны только осколки истины, и бессмысленно спорить, чей осколок больше. Прав тот,

¹ Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: *Померанц Г.С. Записки гадкого утенка*. М.: РОССПЭН, 2003.

кто понимает свое ничтожество и безграничное превосходство целостной истины над нашими детскими играми в истину».

По характеру мировоззрения и кругу поднимаемых проблем Померанц продолжает духовный поиск и определенные традиции русской религиозной философии Серебряного века. Он и сам как-то отмечал в одной из наших бесед удивительную близость некоторых своих размышлений об исторических судьбах России, вошедших в его книгу «Сны земли», с взглядами Г.П. Федотова, с творчеством которого он познакомился уже после выхода своей книги. Несомненная близость духовных интуиций здесь бросается в глаза.

И все же вряд ли возможно говорить о прямой преемственности творчества Померанца по отношению к философским традициям Серебряного века, в общем остающегося в русле русской православной мысли. Будучи религиозным мыслителем, Померанц придерживается экуменических взглядов, не примыкая ни к одной из конфессий, так как, по его убеждению, «важен не характер верховного образа (символа непостижимой, повергающей в трепет тайны целого, объемлющего и время, и вечность), а то, что такой образ есть. Остальное — иконография. Она по-своему важна, но различия икон не мешают единству веры. А мистическая суть веры во всех высоких религиях одна. Сердца христиан, мусульман, буддистов, индуистов трепещут от одной тайны». По его мысли, отличается лишь метафорика духовного опыта, а не сам опыт.

Сам себя Померанц не склонен относить к какому-либо философскому направлению, и в известной степени это так. Как мыслитель он находит и осуществляет органичный синтез западных и восточных философско-религиозных традиций, традиций Платона, Августина, Паскаля и дзэн-буддийской апофатики, европейского религиозного экзистенциализма и присущей русской философской мысли устремленности к непостижимому, которую отмечал Семен Франк. Лучше всего об особенностях своего творческого пути говорит сам Померанц:

«Я не боюсь потеряться, переступив через рамки вероисповеданий, национальных пристрастий и прочего. Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал: о буддизме или Достоевском... Пол-оборота на Восток стало частью меня самого».

Эти «пол-оборота», по-видимому, лишь обострили заложенный в него природой талант к созерцанию, дар, позволяющий при самых драматических жизненных обстоятельствах не терять высокие духовные ориентиры. Дар внутреннего затихания души, вглядывающейся в вечность. То, что Карл Ясперс именовал обретением «шифра трансцендентного», а Ницше — «той минутой тишины между двумя минутами криков, которую должен уметь находить истинный философ», и которой сегодня так катастрофически не хватает нашей постиндустриальной цивилизации.

Что ж, каждая цивилизация — как полагает Померанц — в конечном

итоге погибает от тех ядов, которые она сама и вырабатывает за время своего существования. Однако Померанц вовсе не рассматривает ситуацию современного кризиса как безнадежную. Выход из нее он видит в возможности достижения определенного духовного равновесия между сверхдинамичным, обращенным к внешнему стилям жизни современной западной цивилизации, и созерцательным, направленным в собственную глубину стилям жизни, веками культивировавшимся на Востоке. Правда, пути осуществления такого синтеза, как всегда, остаются неисповедимыми, ибо в шумном диалоге культур труднее всего бывает расслышать голос самой культуры.

Можно было бы говорить о полной утопичности такого проекта, если бы сам Померанц в своем существовании не достиг бы синтеза, что оставляет надежду и для других. Он сумел, как в свое время греческие мыслители, сделать свою жизнь аргументом своей философии. Стиль его существования и стиль его мышления составляют единое целое. Их объединяет общая экзистенциальная установка: жить, не изменяя собственной глубине.

«В моем уме и чувстве пробегают самые разные наплывы, а где-то внутри есть точка бесстрастия духа, с которой я оцениваю страстные односторонности и поддерживаю одно; не вмешиваясь, созерцаю другое; отвергаю третье... Волны любви, волны ненависти (в полемике) — они все время бьются о берег. Я не пытаюсь превратить душу в бесстрастное озеро, не умерщвляю плоть, не живу в постоянном волевом напряжении (это мешало бы чувствовать и понимать жизнь). Но в точке покоя коренится воля, которая принимает то, что обогащает любовь и не дает ее разрушить... И своеволие страстей надо мной не властно».

Через погружение в глубину личности человек постигает глубину мироздания, то единство микро- и макрокосма, дверь в которое открывается только на уровне того «внутреннейшего человека», о котором говорил Мейстер Экхарт. Чувство нашей открытости и незащищенности перед бездной вызывает трепет души, устремленной к неразрешимому и неизреченному. Из этого трепета и рождается то, что люди называют философией. Все последующее — лишь плод более или менее успешной рационализации этого первоначального опыта.

Попытка как можно более полно донести этот опыт и является основным мотивом творчества Г.С. Померанца. Впрочем, об этом хорошо сказал он сам: «В ответ неразрешимому открывается и углубляется сердце. Я не достиг этой последней глубины. Но меня тянет к ней, и мысли мои вьются и вьются вокруг неразрешимого. Иногда я решал интересные вопросы; но самое главное, что меня только толкает к

бумаге, — круженье вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). Попытка "хоть раз не солгать" там, где всякая мысль есть ложь, все догматы — только подобия, иконы непостижимого».

Кьеркегор упрекал Гегеля в том, что его философия и его образ жизни не имеют между собой ничего общего. На университетской кафедре он находится на короткой ноге с Абсолютом, а в своей повседневной жизни оказывается заурядным бюргером.

Нельзя сказать, что жизнь Померанца избавлена от житейской рутины, его повседневное существование не слишком сильно отличается от образа жизни других российских интеллигентов. Утром несколько часов работы за письменным столом, днем прогулка в соседнем лесу, вечером классическая музыка и чтение любимых стихов, встречи с друзьями. В промежутках — нехитрые хлопоты по хозяйству. Но важна ведь не внешняя фабула, а ее наполнение. Померанцу удалось выстроить свое духовное пространство, в котором не бывает серых будней, вытесненных интенсивностью, постоянным накалом внутренней жизни.

У одного из дзэнских наставников однажды спросили: чем отличается жизнь человека, постигшего истину, от жизни других людей. Наставник отвечал, что практически ничем, все то же самое, но только два сантиметра над землей.

Личность и творчество Г.С. Померанца — убедительное свидетельство того, что открытость бездне, незащищенность души перед метафизической глубиной бытия придают поразительную устойчивость духу и рождают то чувство полноты жизни, которого так не хватает обмельвшему руслу привычного существования.

Пытаясь понять причины того живейшего интереса, которые вызвали тексты Померанца у читателей эпохи самиздата, склонен предположить, что не в последнюю очередь он объяснялся присутствием в них тех духовных ориентиров, которые, казалось, давно уже были преданы забвению господствующей идеологией и стерты в памяти новых поколений. Во времена наступившей «метафизической инфляции» (Ф. Степун). Померанц возвращал потерянное измерение глубины человеческого бытия и те ценности нравственного выбора, которые личность способна сохранить как пространство своей внутренней свободы. Сохранить даже в условиях всевластия министерства Правды и под недремлющим оком министерства Любви. Именно это и давало силы «гадким утятам» выстоять под жестким давлением советского социума.

Девятины по Померанцу

Прошло девять дней со дня кончины Григория Померанца. Для одних он был философом, для других — писателем-эссеистом, для третьих — духовным авторитетом, для меня — дедом. Но чувство большой потери объединило многих людей, которые стали искать, читать, перечитывать книги, эссе и лекции Померанца, объединяя в себе множество его ипостасей. Парадоксально, но оказалось, что число людей, для которых Померанц стал важным и даже очень важным, действительно огромно. СМИ несколько дней говорили о нем. Власть отмолчалась: видимо, мыслитель оказался слишком неформатен, неписываем ни в одну из новых парадигм. В моей жизни он мягко появился в самом начале и шел рядом, доброжелательно поглядывая на меня и давая советы лишь изредка. Многие из них я услышал только сейчас, и мне от этого неловко.

Он не был обычным диссидентом, но не был и лоялистом, хотя и трудился в советском учреждении. Он был философом, но не был «профессором философии». Он много страдал от несвободы, но был внутренне свободным человеком. Его смысл и его роль тянут в апофатику, описываются в парадоксах, это главное, что приходит в голову. Пытаясь смотреть как бы объективно, я теряю, говоря о нем, последнее прибежище объективизма — жесткие научные координаты. Это, наверное, потому, что Григорий Соломонович был тихим голосом совести и учителем свободы. Так с Померанцем было всегда: на каждом новом своем витке он обретал все больше внутренней свободы, все дальше уходя от «злобы дня», от актуальности и в целом, говоря языком средневековой схоластики, от акцидентности. Соответственно и интерес к его фигуре обратно пропорционален этой акцидентности, включенности в активную повестку. Проще говоря, интерес к Померанцу теперь обозначает интерес к вечному.

Время писать интеллектуальную биографию Григория Соломоновича Померанца еще не пришло. Я просто не вижу, как было бы можно это сделать, не подгоняя его под уже существующий формат. Померанца можно назвать и культурологом, и писателем, и публицистом, и философом. Но все эти рамки оказываются для него внешними. Он был мыслителем, и его живая мысль, выраженная в книгах, эссе, публицистике, публичных лекциях и статьях в СМИ, продолжает стилистические традиции русского мыслительства Чаадаева, Вяземского и Достоевского. Устный его жанр, лекции, которые он читал один и совместно с женой — поэтом Зинаидой Александровной Миркиной, сделали это литературное мыслительство несколько более интерактивным, как сейчас говорят, но не изменили ни его функции, ни его смысла.

В 1935 г. Померанц поступил на философский факультет ИФЛИ, а после упразднения этого факультета «за ненадобностью» перешел на отделение русской литературы. Закончив ИФЛИ в 1940 г., Померанц пошел работать в Тульский педагогический институт. В 1941 г. Померанц добровольцем ушел на фронт, был определен внештатным литсотрудником, но пришлось и командовать. В 1942 г. был тяжело (так написано в его военном билете) ранен, раздроблено колено, вернулся в строй, был ранен еще раз (легко) и оставался всю войну в строю. Воевал под Сталинградом, дошел до Берлина, День победы встретил в Судетских горах в звании младшего лейтенанта. Под Сталинградом вступил в ВКП (б), в 1946-м Померанц был исключен из партии с формулировкой «за антипартийные высказывания» и демобилизован с «волчьим билетом». До 1949 г. Померанц работал на разных мелких должностях, ждал ареста и 30 октября 1949 г. был арестован и оказался на Лубянке. По знаменитой статье УК РСФСР 58-10 получил 5 лет, которые отбывал в Каргопольлаге. После смерти Сталина летом 1953 г. попал под амнистию. Три года Померанц преподавал литературу в средней школе казачьей станицы Краснодарского края. В 1956 г. был реабилитирован и вернулся в Москву. Работал библиографом в Библиотеке иностранной литературы, а потом перешел в Фундаментальную библиотеку общественных наук АН СССР (ФБОН, ныне — ИНИОН), где и оставался до пенсии. Внешняя биография на этом заканчивается, пространство жизни фронтовика-лагерника-пенсионера сужается до области духа, но сам дух при этом расширяется до вселенских масштабов. Через такую трансформацию Померанц пришел к внутренней свободе и философскому спокойствию. Немалую роль тут сыграла его спутница Зинаида Миркина.

Писать Померанц начал в конце 1950—60х годов после смерти своей первой жены и моей бабки Ирины Муравьевой («Предмет» — первый вариант «Пережитых абстракций», «Счастье», «Памяти Иры», «Пух одуванчика», «Язык богов» и др.). Затем был опыт первого полуподпольного семинара для молодежи (братья Муравьевы, Котрелев, также — и отдельно — Красин и Осипов). Параллельно — круг старших, частично лагерников — Лесскис, Федоров, Кузьма (Анатолий Бахтырев). Первые публикации в самиздате, за которыми пришла «совершенная открытость и свобода от страха». Померанц взял следующую высоту. Затем — участие в журнале «Синтаксис» и дружба с «барачными» художниками, «лианозовцами». Начиная с 1962 г. Померанц пишет и публикует статьи по востоковедению и сравнительной культурологии (в центре его интересов — духовная жизнь Индии и Китая), выступает с докладами и лекционными курсами на эту тему. В 1965 г. Померанц выступил с докладом о культе личности в истории.

В 1976 г. по решению КГБ прекращается публикация научных статей Померанца, начинается период молчания и тихого разговора. Он ведется в самиздатском журнале «Поиски», под собственным именем, не прибегая к

псевдонимам. Померанц живет под колпаком КГБ, а в 1985 г. в квартире, где он хранил свой архив, проходит обыск. Архив конфискован, часть сочинений пропала. После краха советского режима постепенно Померанц перешел на публикацию книг и статей в газетах и журналах. Публиковаться активно он стал в 1990-х, сперва в журнале «Век XX и мир», потом в «Искусстве кино», «Огоньке», некоторых газетах. Первая книга Григория Померанца на родине «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» вышла в издательстве «Советский писатель» в 1990 г. Его библиография насчитывает около 20 книг, многие вышли вторым и третьим изданиями. В 2000х годах он становится культовой фигурой для небольшого сегмента либеральной интеллигенции, хотя его значение, вообще говоря, куда больше этой группы. И это многие понимают, но объяснить не получается внятно.

Померанц много говорил о свободе, он это хорошо понимал. Большое значение имела многолетняя — с 1967 года — его полемика с А.И. Солженицыным. Интересно, что Померанц отказывался от публикации своей части этого разговора на родине до тех пор, пока публицистика Солженицына не стала появляться в отечественных СМИ, а в 90-е годы, дважды, выступил в российской печати против хамской полемики с Солженицыным. Но осознание национального собирательства по-солженицынски как несвободы, как сужения и даже как «циклизма» было для него решающим. Его философия есть философия религиозная, своего рода философия всеединства. Он считал, что вселенная не сводится к времени, пространству и материи, бесконечно делимых на секунды, века, тысячелетия, на метры, километры. У нее есть другое лицо, целостное во всех своих проявлениях, целостная ипостась реальности, внутренний свет. Для Померанца существование Бога совершенно принципиально. Уйдя в религиозную философию, он, подобно любимому им Достоевскому, выбрал литературную стезю как наиболее соответствующую русскому менталитету.

Религия была тем полем, где мы с ним долго не могли сойтись, ибо я мыслил жестко и конкретно, а он — широко и как бы «над землей». В этом смысле моя вера по-еврейски конкретна, а его — по-восточному широка. В нашей ситуации схлопывания, сминания институционального христианства и перехода к новой форме существования христианской религии, я оказывался все время в арьергарде, он опережал меня. Наверное, так правильно — я не стремлюсь вперед, мне не хватает динамики. Но Померанц определенно был христианином по исповеданию, за пару недель до кончины мы говорили с ним о вере, и он определенно связал свою веру с Троицей и Христом. Два главных

догмата христианства были им пережиты внутренне и приняты на глубине. Но догмата о церкви он не пережил, хотя я бы сказал, что он внутренне видел ту горизонтальную связь, о которой говорил Христос в Евангелии.

Последний наш с ним большой разговор, о котором я хочу вспомнить тут, вращался вокруг того, что русская история и русская мысль порочно линейны, практически все линии ведут в тупик. И из этой линейности они не могут выйти, несмотря на отдельные прорывы: Достоевский, Даниил Андреев...

Г.С. сказал мне: «Каждый раз мы начинаем с нуля. Земля круглая, а мы все время мыслим по прямой. Достижение результата нами ложное, ибо мы все время возвращаемся к точке, с которой начали. Нужно найти направление, в котором мы создадим новые вехи. Оно — не в движении, ибо всякое движение циклично. Мы должны найти направление от покоя». Такое развитие Померанц назвал «от звезды, от света в груди», именно внутреннее собрание может дать выход из порочного круга. Эти немного энигматические «слова мудреца» показывают в некотором смысле итог его философии. Нужно быть готовым постоянно. Нужно быть в покое. Пришейте новые карманы к старой фронтальной шинели, за нами уже идут. Шаги истории слышны на лестнице. Надо выйти из порочного круга, так сказал нам, остающимся, Григорий Померанц, стоя в дверях.

27.2.2013.

oШ.m

p

Умер Григорий Соломонович Померанц. Мир его праху — и вечная память! Я никогда с ним не встречался, но чувствовал его духовно близким человеком. Он легко соединял в себе то, что лишь с огромным трудом и срывами удается соединять в России: погруженность в религиозные корни бытия и открытость светской культуре, всеобилию жизни. Он был не столько философом, сколько мудрецом в самом глубоком смысле этого слова. Он принадлежал к той великой когорте мыслителей, которая родилась с Серебряным веком — но с ним не ушла. По невидимой цепочке она передала свое знание, свой опыт веры и искусство сомнения, свой вопль Иова, свой религиозный и мифопоэтический экзистенциализм — бронзовому и железному веку, нашим дням. Л. Шестов — М. Гершензон — Я. Друскин — Я. Голосовкер — Г. Померанц..

Он был на 9 месяцев старше своего главного оппонента А. Солженицына — и пережил его на 4,5 года. Теперь они высятся над возрастным пространством русской культуры как два патриарха. Один немного не дожил до 90, другой до 95. Все 1970—80-е годы прошли под знаком полемики между ними, между «соборностью» и «плюрализмом», между «единством» и «свободой», и до сих пор эта полемика, подхваченная множеством крупных и мелких перьев, продолжается и определяет судьбы страны. А между тем многое их сближало: и опыт сталинских лагерей, и работа школьным учителем после освобождения, и несгибаемое диссидентство, и понимание веры как основы жизни. Только для Солженицына, как для ветхозаветного пророка, вера была делом национального самосознания и самостроения, а для Померанца, как для русского экзистенциалиста, — индивидуальным поиском в мировом богатстве религий, точкой взаимонахождения личного и универсального. О чем они теперь будут беседовать в загробной тиши?

Далась ему эта бездна

...Бездна как проблема сознания разверзлась перед человечеством в XVII веке, когда выяснилось, что Земля — пылинка в мироздании и мы висим в пустоте, и не на что нам опереться, кроме духа. Блез Паскаль, раздавленный бесконечностью космоса, пережил озарение, в котором сгорел его страх...

... Когда в математических упражнениях 20-летнего Гриши Померанца обнаружила себя бесконечность, бездна разверзлась, и, стертый в ноль метафизическим ужасом, он бросил свой вызов времени и материи. Он повторял про себя: «Если бесконечность есть, то меня нет. А если я есть, то бесконечности нет». Он вертел в уме эти две фразы три месяца подряд, почти не замечая того, что происходило. А было это весной 1938 года, зенит Большого террора. Но он как бы не заметил, когда при нем был арестован отец, в душе все время вертелся гамлетовский вопрос. Наконец внутри что-то вспыхнуло, и во вспышке этого озарения сгорел страх.

... Теперь я. Передо мною бездна этих чертовых бездн. Нет, пленки не жалко, тем более, что уже цифра. Жалко его сил, их не так много и от съемки к съемке все меньше. Он тает на глазах. Он осторожно балансирует словами, как такой мыслительный канатоходец. Зинаида Александровна страшует, она всегда в блестящей форме, но напряжена за двоих. У них удивительный дуэт, неслиянный и нераздельный. Они продумывают тему самым тщательным образом, редактируют друг друга, репетируют накануне. Но откуда-то снова выскакивает бездна.

«Гришенька, это уже записали», — Зинаида Александровна перехватывает мой умоляющий взгляд. — «Раз десять», — приуменьшаю я, чтобы канатоходца не сбить.

Нет, его не собьешь. «Это важно. Понимаете, мы повторяем ключевые вещи, но всегда немного иначе, и контекст другой. Ну, хорошо, начиная ты, — предлагает Григорий Соломонович жене, — я пока подумаю». Пропустив женщину вперед, немного погодя, он начинает ... конечно, с Паскаля, а то и с Галилея, который в XVII веке смастерил свой телескоп и увидел эту великую жуть... Эх она его держит, эта бездна, праматерь его.

Можно сказать, повторы — признак стиля Померанца-Миркиной. В музыке это репетитивность, на ней стоит минимализм. Для поэтов вещь нормальная. Для медитации необходимая. Вся богослужебная практика...

Кстати, я спросила у друга Анатолича про паству семинаров Померанца-Миркиной, — иначе как паства, прихожане, я их и назвать не могу. Из года в год, из месяца в месяц приходят умные люди, чтобы, затаив дыхание, с разных ракурсов опять крутить эту бездну, и про ель, вспыхнувшую после грозы каплями наподобие неопалимой купины, и про

необходимость жить на своей глубине и этой глубиной жить, и про полет над страхом, и про способность подныривать под болезнь, и про то, как, будучи побежденным, быть победителем, и про невозможность видеть дерево и не быть счастливым...

«А что вас удивляет?» — удивился в свою очередь Анатолич. «Ну, это же и в их книгах, и на их сайте почитать можно, не выходя из дома. Все заняты, жизнь темповая». — «Вот именно, бежим, не успеваем, а в церковь заходим — и всё, суетность ушла, время остановилось, вечность».

Да, с церковью правильное сравнение. Эта живая культовая стихия вокруг обожаемых Григория Соломоновича и Зинаиды Александровны витала и росла из года в год. Если во времена @ьно культура произошла из культа, через них шла обратная тропа, от искусства, поэзии — к Духу. На семинары заходили и настоящие священники, приходили к ним в дом, вели долгие беседы. И Григорий Соломонович, и Зинаида Александровна сами, не строго говоря, были священники. Не хиротонисанные, вне церковной организации, из живой невидимой церкви. Вечное фарисейство изрекает вечные правильные слова, на государственных знаменах пишутся лозунги про веротерпимость, на самом деле наблюдается парадокс: жестокая вероНЕтерпимость при полной вероНЕспособности. На фоне все возрастающей жажды. Вот и пишут им со всей страны, приезжают на их семинары в Музей меценатов и, как Отче наш, повторяют это высеченное Померанцем, что все религии на своей глубине ближе друг другу, чем к собственной поверхности, и про Единый свет, проходящий через окна мировых религий, различающихся только по величине, форме и проницаемости. И опять про дерево, и опять про бездну...

Но я, во-первых, повторяться не имею права — режиссер. Функция у меня такая при них, должна время от времени махать полосатой палочкой, стоп, поехали, не туда. Грубая работа, но за пять лет, думаю, привыкли.

А во-вторых, я женщина. В том смысле, что нам, гагарам, недоступно. Высокая метафизика, онтологические интуиции, восхищенность до седьмого неба — не бабское дело. Репетитировать мы, конечно, умеем, но только вслед, вслед. Наверняка есть исключения. Когда в печальный день у гроба Померанца кто-то сказал про Зинаиду Александровну — Божественный поэт, это был не комплемент, не прилагательное. Но сущностное определение источника ее творчества небесной прозрачности и простоты. Все правильно. «Бога ударили по тонкой жиле — по мне». Это ее стихотворение в 60-е стало для Померанца символом веры и любви. «В результате некоторых отрицательных опытов, я понял, или у меня не будет никакой любви, либо только великая любовь, — скажет Померанец в первом нашем фильме. — На худой конец буду одиноким мыслителем». Тогда он пошел за Зиной, как за поводырем. Вслед, вслед. И так бывает, что мужчина за женщиной куда-то в небо. Так они и ходили 52 года, он за ней, она за ним. Неслиянно и нераздельно. Два небесных ди-

тяти. «Мы два глубоких старика. В твоей руке моя рука...» Мне это ее земное ужасно нравится. Я не очень понимаю в поэзии. Я тут при них режиссером.

Первый раз они долго отказывались.

— Нашу жизнь в 39 минут?!

— А можно Вам прислать мой фильм об Алексее Лосеве? 39 минут. Тогда ведь какой философ...

— Лосев — раскрученная фигура. А меня еще надо раскручивать, — козырнул Померанц словечком из области шоу-биза.

В отсутствии предложений от крупных эстрадных продюсеров, вышеупомянутой Анатолич, Евгений Альтшулер, нежный их друг и душеприказчик, пробив по Интернету студию «Фишка-фильм», посоветовал нами не пренебрегать. И они доверились нам с детской открытостью. Они не ставили никаких условий, даже не просили показать им готовый фильм перед эфиром, что редкость. И то сказать, доверяться телевизионщикам опасно, врет наш брат безбожно, то нечаянно, то чаянно. Но беда и в другом, в психологии. «Всяк человек есть ложь», и самый милый герой невольно принимает позу конной статуи, требует себя себе на визу, не нравится себе в чужой трактовке. Результат цензуры — о, поле, поле, усеянное мертвыми костями, подмалевками, фальшивыми нимбами и умильными карикатурами. Но вдруг встречаются Померанц с Миркиной, которые, раскрывшись до сокровенных глубин, дальнейшим не интересуются вовсе.

Разумеется, не влюбиться в них — уже не по текстам, а по жизни, по гостеприимству, хлебосольству, радушию — было невозможно. И камера в них влюбилась, лучшие на свете операторы — Ира Уральская и Саргис Харазян знают толк в человеческой красоте. Детские глаза на изборожденном морщинами лице. Судьба нашего первого фильма «Второй», и эфирная, и фестивальная, сложилась на редкость успешно. А уж как радовались и благодарили сами! Нечаянно выяснилось, что ошибок там я все-таки насажала, какие-то фотографии перепутаны, эпизод какой-то затянут, что-то еще. Но! и тут эта блестящая формулировка Померанца: «Когда схвачен дух целого, ошибки не имеют никакого значения». Не наудивляешься им.

Драма случилась на второй нашей работе. Четыре фильма в общем цикле «Беседа с мудрецами». «Мы вам так доверяли! А вы...» — произнесла Зинаида Александровна и передала трубку Григорию Соломоновичу. Состоялся крупный разговор. Я была готова, так что совесть моя не шевельнулась. Дело в том, что заказчик, канал «Культура», категорически забраковал первый вариант, никто не мог придумать как спасти, найти нерв, чтобы оживить благостные посиделки — это выглядело именно так. Все четыре фильма летели в корзину. В азарте отчаяния мне пришла рискованная идея. Наши мудрецы должны быть включены в бурный диалог со всем миром. Интернет как художественный

прием. Сеть, вот где сегодня весь мир «стенает и мятется». Вовсе не надмирные Помиркины (так по-свойски именовали их в общем кругу, а они очень любили, когда их называли Гриша, Зина, без отчества) держат ответ на два голоса, очень спокойный Гришин и звонкий, взволнованный Зинин, — почему человеку необходимо святое одиночество, в чем смысл страдания, возможно ли в нашем мире жить с ощущением чистой совести, есть ли шансы у нашей цивилизации. И дача большевика Александра Миркина, отца Зинаиды Александровны, сразу перестала быть башней из слоновой кости. И гроза загромычала веселей, и музыка ворвалась агрессивная, и наши разгерметизированные мудрецы стали отвечать на претензии простецов, на наши реальные вопросы — как жить.

Голос из Сети: Рассуждаете о духовном. А чем не духовна простая какая-нибудь работница. Всю жизнь горбатилась на буржуев, вырастила детей, стирала пеленки. У нее нет времени читать духовные жития. Она и так девятая. Она праведница, мученица. Когда ей созерцать?

Померанц: Культура созерцания — это готовность думать не только умом, но и сердцем. Она нужна, чтобы не было государства воров. Меня не интересует жизнь «нового русского», окружившего свое поместье забором с колочей проволокой. Я эту проволоку видел в лагере.

Голос из Сети: Красивые слова. Когда есть нечего, не умом, а жудком думаем.

Померанц: За две с половиной тысячи лет только немногие почувствовали, что они не могут, как большинство, поддаваться волнам агрессии и полового голода. Только немногие открывают в себе власть глубины. И вся трудность — формировать творческое меньшинство, которое способно воссоединиться с духовным океаном, который в нашей культуре мы называем словом «Бог».

Как ругался потом Николай Досталь. Как хвалил Евгений Ямбург. Что называется, равнодушных не было. Кто-то злился на меня — зачем вымышленные приемы, дали бы им просто бесконечно говорить, а мы бы бесконечно слушали. Да, тысячу раз да, а все-таки нет, нет и нет. Был же первый вариант, аутентичный, и как ни странно, он эмоционально не сработал. Его надо было чем-то взорвать.

Померанц: Нет никакой стены между взглядом, обращенным к звездному небу и осязанием любимой. Все может быть освящено одним Духом. Все прочное в человеческих отношениях — переключка двух глубин и выходит за рамки поверхностных впечатлений.

Голос из Сети: Ура Адаму и Еве. Вырем же, если не будем продолжать дело Адама и Евы, за которое их выперли из рая.

Померанц: Первородный грех в другом — в выходе из чувства единства со Вселенной, с Духом Святым, который всюду веет в этой целостности. Грех видеть в мужчине только мужчину, в женщине только женщину. А праведность — видеть во всем образ и подобие Бога.

Голос из Сети: Диетическая мораль. Без женщин жизнь скучна, без

дураков невозможна. Пусть я дурак, но миром движет страсть.

Померанц: Как говорил Горький, на пустом лице и царапина украшение. Вся декадентская литература основана на идеализации варварских страстей. В буржуазном быте мы скучаем. Потому и современная культура падка на остренькое. И этим она может себя погубить. Но если люди начинают воспринимать совместную жизнь как совместный обед — глубина потерялась. Это от недостатков у мужчин. Среди женщин гораздо больше глубоководных.

Знала, что шансов понравиться нашим героям у радикального варианта просто никаких. С этими словами и передала им на суд, в трибунал. Зинаида Александровна потерянным голосом спросила: «И что, "Культура" это принимает? А вам самой какой вариант нравится?» — «Честно — второй. Но решать вам, или это не проходит в эфир вообще, либо с Интернетом». Григорий Соломонович был прям: «Понимаете, это все не наше, это не мы, это не имеет к нам отношения. Мы не пользуемся Интернетом, наш сайт делают наши друзья. Музыка вы знаете, какую мы с Зиночкой слушаем — «Страсти по Матфею», Моцарт, Пярт, Артемов, Губайдуллина. А тексты — это просто какой-то Тришкин кафтан, все надергано из разных статей».

Они были страшно огорчены, и это «мы вам доверяли...» превращало меня в собственных глазах в Иудино отродье.

Вдруг произошло нечто непостижимое. Наутро раздался звонок. Взволнованная Зинаида Александровна своим звенящим девичьим голосом сказала: «Мы не знаем, что с нами случилось, где были наши глаза, где были наши уши. Мы посмотрели еще раз. Нам все очень, очень понравилось. Простите ли вы нас? Мы вас очень обидели».

Сплю я что ли? Так не бывает. Я и не поверила. Ну уж нет, жалость унижает. В ответ уверения в абсолютной искренности. Тогда я пытаюсь вообразить, какая работа произошла в них за ночь. Смирение?

Всеядность? Вот уж не их качества. Представим, у вас есть свое лицо, вы к нему привыкли, вами столько раз восхищались, приходит пластический хирург, срезает уши, нос, меняет все местами, говорит, теперь так модно. Как им могло понравиться?! Позже, когда это дело прошло в эфире, мне самой многое не понравилось, и я согласилась со своими критиками. А Померанц сказал: «Есть люди, которые слушают Моцарта и наслаждаются музыкой, а есть люди, которые слушают Моцарта и слышат, как шипит пластинка. Не стоит обращать внимания на шипение».

Скорее всего, проявилось их поразительное, возможно, главное свойство — открытость жизни. Умение ухватить «дух целого» и плевать на погрешности. Вот почему они никогда не старики. Старики теряют гибкость восприятия, коснеют, закрываются, наглухо задраивают двери, потом окна, потом форточки, люки наконец и ложатся на дно. От размывающих все новизн, конечно, крайне раздражающих, — спасают свои взлелеянные взгляды на порядок в мире. Спасаясь от живой жизни.

Огорченные, раздосадованные, обиженные на этот бардак, они уходят в смерть. По себе знаю. Это не от возраста. Это от правоты. А правда — совсем не то же, что правота, она великодушна.

Что поразило зрителей? Сквозь мутную призму Интернета, сквозь «шипение пластинки», помехи и наводки — проступила особенная ясность их умозрения, чистота. До появления «мудрецов» на экране хотелось верить, но не очень-то верилось в «творческое меньшинство», на которое уповает Померанц, — сила статистически ничтожная, но на аварийный случай самая главная в резерве промысла Господня о мире. Если внимательно присмотреться к истории, все решающие сдвиги происходили как маловероятное, говорит Григорий Соломонович. Например, когда в 1861 г. рассматривался вопрос об освобождении крестьян, большинство в Государственном совете выступало против проекта, но царь присоединился к меньшинству, и крестьяне были освобождены. Как в I веке Новой эры 12 безоружных оборванцев поменяли все настройки мировой души? Провидение не творит заметных чудес, но исподволь отклоняет нас от инерционной логики большинства. Так родились все великие религии мира. И все великое было когда-то маловероятным.

Тогда другое дело. Но сейчас, очень уж расходится с духом времени убывающая величина этой маленькой стиснутой масскультом и прагматикой резервация катакомбной интеллигенции. В мечтании, самовнушении, самозаговаривании хочется согласиться, но что-то в ощущениях не сходится. Мир зазывает в балаган, ставит на инстинкты, разводит на деньги — как ни крути, самая по нашим временам живая сила, управляющая всем и, кажется, всеми. Но вдруг — бац! «Беседы с мудрецами» дают сумасшедший рейтинг, а потом шквал звонков и писем. Вот тебе и ящик! Что это значит? А то, что так называемая «духовная потребность» загнана глубоко внутрь, но не убита, люди не безнадежно развращены мутной баландой «потреблятест-ва». Они лучше, глубже, и жажда высоких истин — хлеб насущный. Только дай. Просто не дают. Или дают не из тех рук. Так совпало, что «Беседы с мудрецами» закончились как раз накануне очередного семинара. И пришло столько новых людей, причем молодых, что Музей меценатов не мог их вместить. Невосшедшие стояли на улице и ждали, чтобы дотронуться до них, убедиться. «Раскрученный» Поме-ранц шел сквозь строй и удивлялся со смехом: «Вот и слава». На 93-м году жизни.

Искусствовед Паола Волкова объяснила так: «Совесть, духовность, вера — все эти слова как-то даже неприличны сегодня, их лучше не трогать. А им — можно. Только им и можно. Высший тип, в конфуцианстве называется "благородный человек". Среди нас они смотрятся как инопланетяне».

У простых людей события так уж события. А тут ни съесть, ни выпить, ни в сервант поставить. Но очень много счастья. В чем же счастье?

Каков послужной список подвигов?

Преодолел ужас бесконечности в 20 лет. Учился в знаменитом ИФЛИ, но не был допущен в аспирантуру. Что за биография — ни степеней, ни должностей, ни зарплат. Пройти всю войну и не сделать из этого культа. Напротив, дойдя до Берлина, он понял, как опасны победы. Реванш насилия, мести, помраченность победителей, животный разгул, стихия... Он выхватил из войны — влюбленные лица солдат после прорыва, балет мессершмидтов странной надмирной жуткой красоты.

А через три года Каргопольлаг. «Быть победителем, будучи побежденным». Зинаида Александровна вспомнила, как три бывших лагерника делились впечатлениями. «В лагере было ужасно», — жаловался один. — «В лагере было трудно», — говорил второй. А третий: «А в нашем лагере было хорошо». Догадаться нетрудно, и Зинаида Александровна смеется: «Это, конечно, был мой будущий муж». Преклонявшийся перед мучениками, он никогда не рисовался и себя в мученики не записывал, говорил, что ему просто повезло, что отсидел он легко. В лагере открыл для себя великую музыку Чайковского.

Все это из области прекрасного. Из ужасного тоже было. Когда умерла от туберкулеза Ира Муравьева, его первая жена, его мучили галлюцинации, под которыми могли расписаться Босх или Гойя.

Но и эта бездна была побеждена озаренностью Зины, всего-то одним сначала ее стихотворением, которое вернуло к жизни.

Только тут стал писать, и как! Слова приходили и кротко ложились на бумагу, как дикие звери приходят к святым и ложатся у их ног. Всех поражает богатство и простота его глубочайших размышлений о самых сложных вещах в мире, в истории, в человеческой душе.

Счастье было гарантировано ему князем Мышкиным. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» Этой способностью любоваться, созерцать, обнаруживая в малом великое Целое. БлагоДАРный человек всегда благоДАТный, и просто не может быть несчастливый. А более благодарных людей, чем Померанц и Миркина, я не встречала.

Жили всегда в бедности, вполне естественной для библиографа и переводчицы стихов, непечатаемых философа и поэтессы, но вовсе этим не тяготились. Вдруг Померанц получил гонорар за первую напечатанную в тамиздате книгу («Открытость бездне»), богатство подвалило вовремя — «огромные» деньги были немедленно отданы сестре Зины, у которой случилась беда. Смогли ей помочь, и как же они были счастливы. С этого момента они перестали быть нищими, деньги стали капать потихоньку. Понятно, что с книг не разживешься. Но появились люди с возможностями, которые знали цену этой драгоценной человеческой породе.

Последняя съемка к новому циклу из четырех фильмов «Открытость бездне Достоевского» была на даче. Тогда весь мир расшумелся по поводу «Пуси райет», и Мадонна на гастролях в Питере расчехлилась пафосно, в

знак протеста показала свои прелести, — после таких защитительных акций и гонителей не потребуется. Григорий Соломонович был уже плох, но позвал нас — хотел обратиться. «Почему люди сегодня так любят раздеваться? Когда мне было несколько месяцев, мама вынесла меня к гостям, и я попикал на стол. Всех это очень умилило. Но когда человек вырастает, такие вещи перестают радовать окружающих. Нужно уметь обнажать душу, а не тело». Григорий Соломонович и Зинаида Александровна вовсе не дистиллированные напитки, они жизнерадостные люди, любят анекдоты и вино и вполне уважительно относятся к естественным инстинктам, когда телесное знает свое место.

Но тело Померанца знало уже и время. Его время истекало, и дух переходил в мерцающий режим. Он вдруг совсем изнемог. Зинаида Александровна имела особую силу. Некоторые священники отчитывают молитвой. Мы стали свидетелями, и камеру не выключили. Зина села напротив на расстоянии руки. И все, и никаких видимых действий. Но невидимое пошло из глаз в глаза и вошло в него, и он стал распрямляться и наполняться силой. «Все? Можешь продолжать?» — спросила она. «Еще немножко», — попросил он. И через минут пять был опять молодцом.

Ну что, Гриша Померанц, поговорим про бездну? Я задрала голову в небо в день похорон на Даниловском кладбище. Вышло солнце,

и на довольно большой скорости неслись странные пухообразные облачка, похожие на прическу Померанца. От этого возникала иллюзия, что я бешено вращаюсь вместе с Землей в той самой бездне, которая воспитала, дала направление и напряжение мысли юноши Померанца. Однажды под камеру, когда опять в разговоре о Достоевском пришла бездна, я спросила:

— Но ведь это для избранных душ. Галилей, Паскаль, Тютчев, Толстой, Достоевский, Померанц — это их момент истины. Но что бездна может дать обывателю? Зачем она нам-то нужна?

— Нужна! Затем, что почти каждый человек в предельных состояниях становится обстрелянным. Простое припоминание этого озарения у меня снимало страх бомбежки. Открыл я это, и всю войну прошел с чувством радости от полета над страхом. Бездна нужна, чтобы преодолевать те отвратительные вещи, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу. Так или иначе, это вырабатывается. «Обстрелянный человек» не боится выступить на выборах против начальства и так далее. Большинство людей способны стать храбрыми.

Я смотрю в ночное небо. Теперь он в отличной компании. Ли Бо жмет ему руку: «Я то же говорил — человек не мал, вселенная не велика». Блез Паскаль прогуливается с ним в том самом камзоле, в который была зашита записка об озарении. Не стоит подходить к Конфуцию с любимыми стихами — он не любит женщин, он скажет, что у всякой женщины мозгов, как у курицы. Но есть умные женщины, — возмутится Померанц. Конфуций тонко улыбнется: «У тех — как у двух куриц». И Гриша по-мальчишески звонко рассмеется.

Февраль 2013 г.

Памяти Г.С. Померанца

28 февраля — день нашей свадьбы. Григорий Соломонович не дожид двенадцать дней до нашего 52-летия. Я в этот день была одна. Была на могиле. Даниловское кладбище изменилось. Там похоронены мои родители, и очень долго кладбище это было тихим, с огромными старыми деревьями, хранившими эту тишину.

Сейчас внизу под уклоном кладбища проходит третье автомобильное кольцо. Деревья зимой голые. Машины видны и слышны. Покой мертвых нарушен. Я стояла у могилы, и мне очень не хватало этого Покоя. Я нашла его в кладбищенской церкви — Храме Святого Духа. К счастью, там было пусто. Мерцали свечи, и стояла тишина. Нет, не стояла — двигалась. Сгушалась. Становилась присутствием самого нужного в жизни. — Присутствием Вечного. И вдруг пришло, нахлынуло понимание того, как трудно этому Вечному пробиться к нам. Как мы не видим, не слышим, не бережем Его, как Оно не защищено.

И зачалось вот такое стихотворение:

В обставшей душу тишине
Великой, строгой,
Вдруг явственно открылось мне,
Что ранить Бога
Так просто! — Выплеском одним,
Рывком мгновенным.
Как малое дитя, раним Творец
Вселенной.
Как тот, сосущий молоко,
Прозрачнокожий.
Ударить Бога так легко —
Слабейший сможет.
Но, Боже, как на свет из тьмы
Трудна дорога!
Ведь стали смертными все мы,
Ударив Бога.

В последней беседе, которая была 14 декабря 2012 года, я говорила о бессмертии как о понятии не количественном (не прекращающееся время жизни), а о качественном. Бессмертие есть качество нашей души. И вот это качество мы утрачиваем, ударяя Бога.

Между тем, физический мир живет по законам борьбы. Все и всё ударяют друг друга, бьют, меряются силой. Это закон. Всё другое представляется невозможным. Именно это привело в ужас двадцатилетнего Гришу, и он начал свою трехмесячную медитацию (хотя слова

этого тогда не знал), о которой столько раз рассказывал и писал. «Если бесконечность (материальная, бездушная. — З.М.) есть, то меня нет. Если я есть, то (такой) бесконечности нет».

Это напряженное вглядывание в сущность мира кончилось проблеском внутреннего света, который и определял всю его жизнь. Да, все бьют друг друга. Да, материальная бесконечность с её законами борьбы и смерти представляется непобедимой. Но он наткнулся сердцем на нечто другое, что пересекло эту дурную бесконечность.

Что же это?

«Если (дурная) бесконечность есть, то меня нет», — вертелась в уме упрямая формула. Но — вспышка внутреннего света пересекла всё внешнее — *я есть!*

Значит эта бесконечная власть материи — дурной сон, а явь, реальность — что-то иное.

Качнулся лист сырого клёна
И тихо дождь зашелестел —
Душа живет иным законом,
Обратным всем законам тел.
В ней нет земного тяготенья
И страха перед вечной тьмой.
Ей все потери — возвращенья
Издадека — к себе самой.
О, эти тихие возвраты!
Листы летят, в глазах ребя,
И все потери, все утраты Есть
обретение себя...

Все потери, все утраты — это бесконечная жертва, которая, однако, является путем в истинную бесконечность — внутреннюю, не количественную, а качественную — вечно рождающую и поддерживающую жизнь. Так вот, можно пожертвовать всем внешним, чтобы открылся внутренний источник, перед которым нужно благоговейно застыть в святом страхе сделать хоть малейшее движение против него — ранить Бога.

Ранить Бога так просто потому, что Он абсолютно ничем не защищён, совершенно открыт. Он безграничен. Значит, никакой стены, никакой защиты у Него нет. Защищённый чем-то, закрытый от чего бы то ни было Бог, уже не Бог. Это кумир, идол, но не таинственная суть нашей жизни, причастию которой мы призваны.

В материальном мире Он не господин. Он не от мира сего.

Царство Его не от мира сего.
Сила Его не от мира сего.
Здесь Ему воздух скуп отпущен.
Нет, не всеильный, не всемогущий.

Здесь — задыханий едкая гарь.
Здесь Он — не царь.
Кто же Он? — Путь, уводящий отсюда.
Не чудотворец — высшее чудо.
Выход в мою и твою высоту.
Насквозь пробитый — прибитый к
кресту. Тот, кто в молчании вынести смог
Тяжесть земли, — наш неведомый Бог.
Назван, описан и снова неведом.
Только тому, кто пройдет Его следом,
Снова предстанет среди пустоты.
— Видишь? Вот я.
— Вижу. Вот Ты.

С Ним можно сделать все, что угодно, ранить, сжечь, распять. Но что будет с самым материальным миром, задавившим собственный источник?

Только душа, которая может пожертвовать всем материальным, чтобы только не ранить Бога, чувствует в себе Жизнь Вечную.

«Я есмь воскресение и жизнь вечная», — сказал Христос. Слова эти остались загадкой для огромного числа христиан и не только христиан. Наверное, так же, как и слова: «Царствие Божие внутри нас».

Большинство над этой загадкой, может быть, и не задумывается, но какое-то упорное меньшинство двадцать веков разгадывает эту загадку.

Гриша любил словосочетание «творческое меньшинство». К этому меньшинству, конечно, принадлежал и сам. Но я имею в виду прежде всего не автора многочисленных книг (таких авторов и более плодovitых, чем он, много), а творческое восприятие жизни, в отличие от жизни потребительской, «блудной», как назвал ее Рильке. У Рильке в его «Записках Мальте-Лауридса Бригге» есть взволнованные размышления о том, как люди слушают музыку. Концертный зал для героя Рильке — место священнодействия, где великий музыкант оплодотворяет наши души звуками. От звуков этих, стремящихся проникнуть в самую глубину существа нашего, мы должны зачать новую жизнь. Но большинство слушающих никакой глубины в себе не открывают. Они лишь наслаждаются звуками, забавляются ими, и это Рильке чувствует как кощунство, блуд.

«Но, Господин мой, — говорит Мальте. — Там, где звуки твои достигают девственного слуха, возлежащего целомудренно, он умрет от блаженства или же познает бесконечное и его оплодотворенный мозг должен будет лопнуть от переизбытка творчества». Таким вот мозгом, готовым лопнуть от переизбытка творчества, и был мозг Григория Соломоновича.

Тут мне хочется вспомнить один разговор, произошедший в 62-м году, примерно через год после нашего соединения. Еще в студенческие годы Григорий Соломонович писал работу о Достоевском, которая поразила любимейших преподавателей тогдашнего ИФЛИ — Пинского и Гриба.

Известно, как Гриб, прочитавший эту работу в 5 часов утра, шел пешком через всю Москву к Пинскому просить Гришу Померанца себе в ученики. Это та самая работа, которая была признана потом антимарксистской, а диссертация, написанная на ее основе, была уничтожена при аресте как материал не относящийся к делу.

Много событий прошло с тех пор — фронт, лагерь, смерть бесконечно любимой первой жены. Писать приходилось мало, урывками. И вот, мы год прожили вместе. Гуляем в Рублевском лесу, и Гриша говорит мне: «Ты нашла себя в том, как ты пишешь, а я — нет, я нашел себя в том, как я живу, как я люблю».

Сказал он это не только без грусти и досады, не просто спокойно, а глубоко радостно, и я подумала, что ничего лучшего он мне еще не говорил.

И вот, точно фея подслушала, — он вдруг стал писать, и писать неудержимо, одно за другим — его оплодотворенный мозг был полон творчества. Это ведь самое главное: дать оплодотворить свой мозг, свое сердце. Остальное — вторично.

Гриша был бесконечно целомудренным человеком. Он не наслаждался красотой мира, красотой искусства, а зачинал от этой красоты. Не наслаждался многообразием форм, не застревал во множестве деталей, а видел Целое, составленное из этих деталей. И это чувство невидимого Целого, составленного из множества видимых частей, может быть, и было главным чувством его жизни. Это и есть истинно религиозное чувство. Мироздание — невидимый (не объятый глазом и умом) организм, где всё связано со всем. Я не осколок, не отдельный атом. Кроме этого малого, осязаемого пятью чувствами «я», есть еще великое «Я», осязаемое глубиной души.

Глубина его души ощущала невидимую связь с каждой былинкой и каждой звездой и уж, конечно, с каждой другой душой. Отсюда — невозможность обидеть, толкнуть, необычайная бережность ко всему окружающему — любовь к ближнему и к Богу как к ближнему. Да, любовь к Богу была не из книг, не от ума. Это было органичное чувство. Почти осязаемое прикосновение души. Та глубинная красота, от которой зачиналось его творчество, вынашивалась в нём и рождалась как великая доброта и великая любовь.

Здесь мне хочется прерваться и сказать несколько слов как бы в ответ нашему другу Марку Харитонову, который написал очень хорошую статью о Григории Соломоновиче. Однако в конце этой статьи есть проблемы, о которых мне хотелось бы поговорить.

«Я прочел в одной из статей Померанца, — пишет Марк, — размышление о гедонизме Запада как об одной из причин его кризиса. Что-то для меня самого в этой теме оставалось неясно, захотелось позвонить Григорию Соломоновичу уточнить: как он определяет различие между гедонизмом и счастьем».

Позвонил. Трубку взяла я и сказала примерно следующее: счастье не может быть замкнуто на двоих. Счастье — это непременно открытость миру, любовь к миру Божьему, которая переполняет тебя и переливается в другого. Когда другой может это принять, разделить с тобой, счастье переходит в любовь, которая, по словам Сент-Экзюпери, не взгляд друг на друга, а вглядывание в одну сторону. Примерно о том же говорил Григорий Соломонович в «Гадком утенке»: «Счастьем хочется поделиться. Счастливый человек близок к сильно развитой личности Достоевского и готов отдать себя всего всем, чтобы и другие были бы такими же счастливыми людьми; я приводил в пример счастливых людей, готовых на жертву. Я сам был на нее готов. Эта готовность никак не мешает счастью, скорее завершает его. Без открытости бездне (смерти, несчастью, добровольной жертве) счастье — карточный домик, готовый рухнуть от одного страха беды. И где поселился страх, там нет счастья». Так вот, счастье не боится страдания, потому что в истинном счастье всегда задействовано всё существо, целостное существо. (Пробуждение чувства целого, может быть, и есть счастье). Гедонизм ищет только наслаждения, избегая всего, что мешает наслаждаться. В наслаждении живет не все существо, а только часть, поверхность существа нашего. Вот почему гедонизм Запада одна из примет его кризиса. Это тот самый блуд, о котором говорил Рильке.

Гриша очень любил работу В.Соловьева «Смысл любви». Грехом в любви Соловьев считает любовь к какой-то части любимого, а не к целому, не ко всей душе. Пока Митя Карамазов любил только какой-то «изгибчик» Грушенькиной ножки, он был рабом страсти, рабом стихии, способным на преступление. Но вот настал момент, когда он полюбил всю душу Грушеньки, и тогда Митя преобразился, стал человеком, готовым взять на себя вину за слезы незнакомого ребенка. Где-то «дитё» плачет, и это заставляет Митю принять страдание. И в то же время преображённая душа его счастлива. Ибо счастье — это любовь, любовь, вбирающая в себя всё, отвечающее за всё, принимающая мир.

«Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Это изречение Силуана очень любил Гриша. Истинно любящая душа не избегает самого страшного, самого ада, а находит в своей глубине силу, превосходящую ад. Гриша нашел эту силу. Эту неисчерпаемость любви.

Самое главное в нем — это умение любить. А это главное умение в жизни. Ничего важнее не знаю. Только человек, умеющий любить, свободен. Все остальные — рабы стихии. Умеющий любить дорос до высоты, где правит Дух, стихиям не подвластный. Или вошел в ту Глубину, где находится царство, которое внутри нас.

Чтобы уточнить, что такое умение любить, еще раз процитирую Рильке: «Плохо живет тем, которых любят. Им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали Любящими! Любящий находится вне опасности».

На первый взгляд парадокс. Но ведь Отелло очень любил Дездемону, а Рогожин — Настасью Филипповну. Но умели ли они любить?

Уметь любить значит причащаться душе Любимого, а не владеть им, как своей собственностью. Чтобы причаститься нужно только одно: чтобы любимый БЫЛ. Истинно любящему ничего не нужно для себя. Нужно только, чтобы любимый — был. Как есть небо, лес, река. Душа любимого переливается в любящего, становится его душой. «Ничего от тебя мне не надо, только будь». Так и любил Гриша.

В такой любви происходит исчезновение своего ограниченного «я» (это) и приобретает настоящее «я», причастное бесконечности.

И тут я снова вернусь к статье Марка Харитонов. В конце этой статьи он говорит о некоторых различиях между собой и Гришей. «Я как-то пытался в споре объяснить, — пишет он, — чего мне не хватает в чисто духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой». Спор был о романе Харитонova «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича». Роман этот Грише, безусловно, нравился и все-таки чего-то ему не хватало в этом романе. (Это тот самый роман, за который Марк получил первую в России премию Букера). Грише хотелось бы, чтобы люди искали пути к тому, что он называл высокой жизнью. «Не приходится сомневаться, — пишет М.Харитонов, — что самому Померанцу этот путь был известен, что в состоянии, которого он достиг, не так уж важна литература — все еще так важная для меня. Не без смущения вынужден признать, — пишет он далее, что если Шекспир или Фолкнер остались в мире своих блуждающих, мечущихся героев, их неразрешенных и неразрешимых проблем, я больше хотел бы приблизиться к ним, чем к миру высокого совершенства».

Оговорюсь сразу — чисто духовная словесность, в которой нет плоти, образа, не устраивает и нас с Гришей. Произведение искусства, будь то литература, живопись, скульптура или музыка должны быть прежде всего воплощением Духа. В искусстве Дух должен обретать плоть, иначе это не искусство. Так что противопоставление чисто духовной словесности и литературы считаю неправильным. Можно сравнивать только литературу с литературой. И литература была для Гриши всю жизнь бесконечно важна. Вопрос может идти только о том, какая именно литература для него стала самой нужной. Гриша считал, что главная цель искусства — воплощение высшего начала.

Бах и Рублев не вне искусства. Это — высшее искусство. Рильке и Тагор не вне искусства. (Не исключение, как говорила Марина Цветаева о Рильке.) Это первопрородцы искусства, того искусства, в котором человек воплощает свое высшее начало. Здесь человек уже не раб стихии. Он нашел внутренний стержень, о который стихия разобьется. Найти такой стержень — наша общая человеческая задача, от которой литература и искусство не только не освобождаются — они призваны возглавлять эту задачу. Это наше общее с Гришей сгедо.

Но, разумеется, всё должно быть органично естественно. К этой высшей задаче ведет длинный и не прямой путь прохождения через все неразрешённые и неразрешимые проблемы. Григорий Соломонович понимал это очень хорошо. И очень не любил спрямленных путей.

В «Записках гадкого утенка» есть глава, которая так и называется «Неразрешимое». А первая его лекция из цикла «Работа любви» имеет название «Возможна ли чистая совесть?». Ответ на этот вопрос очень сложный, он проходит через все блуждания и метания души. Кстати, Гриша очень любил мечущихся и блуждающих героев великой литературы. С отрочества его любимым героем был Гамлет. На всю жизнь стали любимыми герои Достоевского.

И однако самым драгоценным в Достоевском для него было неустанное кружение вокруг вопроса о Боге, о том самом высшем совершенстве, без любви к которому человечество не сможет вступить в истинную жизнь и попросту не выживет.

Достоевский создал, может быть, единственный во всей светской литературе образ святого — живого, ранимого, разъятого на части (можно сказать распятого) и все-таки в глубине своей оставшегося Светом, призывом к неугасимому Свету. Разговоры князя Мышкина о Боге были глубоко целомудренны. Никаких прямых слов, никаких наставлений, ни положительных, ни отрицательных. Это все — не про то. Это мышкинское «не про то» — бесконечно любимые Гришей слова. Его собственные разговоры о Боге были тоже глубоко целомудренны. Он говорил только о том, к чему притронулся сердцем, воплощал эти живые прикосновения. В Спасе Рублева, в музыке Баха он находил тот стержень, держась за который можно было бы выстоять в любых самых страшных обстоятельствах. И требование его к литературе и искусству были высоки. Поэтому я хочу закончить стихотворением, которое он любил:

Гения Создатель судит строго,
Снисхождение напрочь отрубя.
Гениальность — послушанье Богу
Вплоть до отвержения себя
Полного — и никакой досады,
Ни малейшей жалобы судьбе.
Мне себя уже совсем не надо, —
Богу я служу, а не себе.
Все таланты и ума палата —
Лишь дрова для Божьего огня.
Вот тогда-то, только лишь тогда-то
Будет Бог творить через меня.
И не будет никаких сомнений —
Несомненность полнобъятия.
Гений я или совсем не гений —
Безразлично. Действую — не я.

11.03.2013

* * *

Ты глядел в глаза жестокой яви.
Ты не отводил от бездны глаз.
Что же ты сумел противопоставить
Мраку, поглощающему нас?

Этой полной слепоте и глуши,
Этой бездуховности в ответ Ты свою
противопоставил Душу,
Из Ее глубин сверкнувший свет.

Яркий прочерк внутреннего света
Вспыхнул, тьму ночную разрубя. —
Выход есть! Безвыходности нету!
Жизнь без смерти есть внутри тебя.

Может прах вернуться снова к праху,
Но бесспорна огненная весть:
Больше нет в душе ни капли страха, —
Чтоб с тобой ни сделали, — АЗ
ЕСМЬ!

Я люблю тебя с такою силой,
Что способна разорваться грудь.
Ты ушел. Дыханья не хватило.
Значит надо за тобою — в путь.

Но не в те загробные пределы —
Есть дорога дольше и трудней —
Не вослед за погребённым телом —
За Душой любимую твоей.

Мне дано великое задание:
Различить беззвучный зов Творца —
Леса говорящее молчанье,
Всей душой дослушав до конца.

Мне сказали капли дождевые
Вспышкой в скрестившемся огне:
Мёртвых нет. Но только мы, живые,
Живы лишь отчасти. Не вполне.

Это слово бессловесной хвои —
Весть из распахнувшихся небес:
Если я воистину живую Быть сумею,

06.04.2013

значит ты воскрес.

Указатель имен

- Абрамов Ф.А. 276 Абуладзе Т.
278 Аввакум, протопоп 48
Августин Блаженный 20, 53, 54, 80, 84, 88, 96, 127, 142, 194, 227, 250, 265, 301 326
Аверинцев С.С. 8, 19, 20, 34, 53, 88, 92, 96, 188, 267, 271, 300 309 Авторханов А.Г. 154,
177, 200, 218 Адлер А. 128
Акбар (Джелаль-ад-дин) 267
Александр II 257 Алексей
Михайлович 47 Алексей II,
патриарх 241 Аллегри Г. 226
Ал-Халладж 216 Аль-Хамдани
Юсуф 208 Амвросий
Оптинский 82 Аменхотеп IV
см. Эхнатон Амонашвили Ш.А.
100 Ангелус Силезиус 92, 301
Андерс Г. 171 Андерсен Х.К.
296
Андреев Д.Л. 11, 59, 85, 108, 121, 169, 177, 196, 343-347, 350, 351, 354, 365
Андреева Н. 21 Антоний, император 262 Антоний св. 120
Антоний Сурожский (Блум А.), митрополит 8, 17-22, 29, 34, 53, 54, 58, 61, 62, 88-90, 92,
95, 96, 108, 115, 118, 119, 122, 123, 128, 129, 144-148, 150-152, 181, 194, 195, 205, 206,
242, 246, 266, 267, 271, 272, 282, 288, 291, 299, 304, 305-307, 309, 311, 331, 332, 334, 366
Арафат Я. 21, 202, 242 Аристотель 8, 60, 75, 221, 230 Ахматова А.А. 95, 169, 222, 263,
276, 358 Ашока 56
- Багиров Э.И. 165
Багрицкий Э.Г. 87
Бакагин В.В. 139
Бакланова Г. 218
Бальзак О. де 162
Баратынский (Боратынский) Е.А. 101
Басаев Ш. 77, 90, 197, 198, 200, 201 Бах
И.С. 142, 286 Бахман И. 294

Бахрах А.В. 137 Бахтин М.М. 63 Башевис-Зингер И.
313 Бегин М. 21, 202, 242 Бейлис М.11 Беккет С. 5,
149, 221 Белла Р. 211 Белов В.И. 114
Бен Ладен У. 75, 77, 94, 161, 175, 213, 215, 216, 234
Берггольц О.Ф. 276, 277
Бердяев Н.А. 50, 68, 76, 191, 193
Березовский Б.А. 242
Берия Л.П. 155, 165, 197, 200
Бернадот Ф., граф Висборгский 185, 209
Бернар К. 334
Бетховен Л. ван 104, 362
Биллингтон Дж. 199
Бисмарк О. фон 162
Блок А.А. 131
Блум А. см. Антоний Сурожский
Блюменкранц М.А. 50, 55, 58, 59
Блюмкин Я.Г. 107
Боббио Н. 231
Бокль Г.Т. 13
Боннэр Е.Г. 263
Бор Н.Х.Д. 19
Борис Годунов 276
Борис, князь Ростовский 11
Борисов М.В. 164
Брежнев Л.И. 204
Бродский И.А. 175, 364
Бруно Дж. 290
Брут Марк Юний 265
Брянчанинов Игнатий 81, 82
Бубер М. 63, 110, 145, 180, 193, 206, 288, 301
Буданов Ю. 201, 218
Булгаков М.А. 173
Булгаков С.Н. 68
Бунин И.А. 188, 223
Бур-Комаровский Т. 218
Бухарин Н.И. 139, 154, 168, 178, 200
Буш Дж. 44
Бьюкенен П.Д. 132, 181, 182, 298

Вавилов Н.И. 223 Василий Великий 56, 242 Василюк
Ф.Е. 19 Вебер М. 25, 228 Вейцман Х. 188, 190
Великанова Т.М. 225 Венецкая М. 22 Вергилий 322
Вивальди А. 227 Визель Э. 220
Витгенштейн Л. 64 Владимир I Святой 254, 255
Власов А.А. 143, 153, 157 Воге П. 76, 77
Волошин М.А. 107, 108, 279 Вольтер 27
Воробьев Б. 191 Врубель М.А. 346 Вульф А.Н.
172 Вурмбрандт Р. 22, 62, 108 Высоцкий В.С.
175

Гадамер Г.Г. 231, 236, 243, 244
Гайдар Е.Т. 139, 226
Галич А.А. 175
Гамсун К. 279
Гафиз 227

Гейбельс Й. 141, 156
Гегель Г.В.Ф. 52, 75, 107, 199
Герцен А.И. 11, 13, 256
Гершензон М.О. 175
Гессе Г. 213, 239
Гёте И.В. 48, 162, 175, 217
Гидаш А. 131
Гиз Ф. де, герцог 53
Гилель В. 178
Гилельс Э.Г. 104
Гинзбург Е.С. 128
Гитлер А. 13, 75, 89, 94, 143, 153-156, 159, 168, 171, 174-176, 178, 214-216, 219, 235, 243, 263
Глеб, князь Муромский 11 Гоббс Т. 88 Гоголь Н.В. 73, 162 Голиков Ф.И. 155 Голль Ш. де 200, 200 Гомер 180
Гонта И. 11, 174, 191 Гончаров И.А. 116, 159 Горбачев М.С. 64, 139, 196, 200 Горгий 52 Гофман Э.Т.А. 279 Грабарь И.Э. 29 Гранин Д.А. 276 Грачев П.С. 201
Григоренко П.Г. 103, 144, 153, 155, 156, 182
Григорий Богослов 242
Григорий Нисский 61
Григорий Палама 17
Григорьев А.А. 122
Григорьева Н. 274
Григорьянц С. 142
Грин А.С. 279
Гринецкий И.И. 175
Гроссман В.С. 26, 78, 95, 123, 180, 183, 184, 363
Гудериан Х.В. 154, 156 Гук де см. Кольшикина Е.Ф.
Гумилев Л.Н. 15, 32, 35, 64, 139, 203 Гумилев Н.С. 28, 280, 321, 324, 325 Гуссерль Э. 74 Гутенберг И. 12 Гэнро 178

Давид, царь 112, 309 Даладьё Э. 185
Далай-Лама XIV 40, 62, 121, 193, 196, 207, 217, 240, 249, 331, 336, 356
Даль В.И. 258
Даниил Черный 46
Данте Алигьери 162, 232, 271, 295
Даян М. 185
Демидов Г.Г. 221, 223
Демокрит 7, 52
Державин Г.Р. 102
Деррида Ж. 75, 76
Джефферсон Т. 11
Джибран Х. 124, 301
Дзержинский Ф.Э. 154
Дидро Д. 179
Диккенс Ч. 162
Диль Ш. 11
Дионисий 46, 121, 248
Довлатов С.Д. 262
Доминик св. 53, 87
Донн Д. 321
Достоевский Ф.М. 15, 17, 18, 23-25, 28, 30, 31, 47-49, 65-74, 76, 77, 79, 81-83, 85, 86, 91, 93, 94, 97, 99, 102, 103, 105, 116, 122, 124-128, 133, 140, 152, 159, 160, 162, 179, 184, 185, 191, 239, 244, 249, 250, 263, 266, 283, 291, 314, 320, 323, 335, 339, 343, 346, 357, 358, 360, 362 Дохерти Е.Ф. см. Кольшикина Е.Ф.

Друнина Ю.В. 202
Дудаев Д. 197, 201
Дэн Сяопин 139, 141, 154, 168
Дюверже де Оран Ж., аббат Сен-Сиран 11
Дюмезиль Ж. 253, 255
Дюркгейм Э. 15, 23, 115, 251

Евлогий, митрополит 148 Елизавета, св. прп. муч., вел. кн. 184 Ельцын Б.Н. 139, 151,
201, 269 Ермак Тимофеевич 140 Ерофеев Венедикт 132, 149

Железняк М. 11, 174, 191 Жемчужников А.М. 104 Жемчужников В.М. 104
Жемчужников Л.М. 104 Жильсон Э.А. 80, 193 Жириновский В.В. 263 Жорж Санд 93,
133, 162

Жуков Г.К. 155, 158

Заболоцкий Н.А. 106

Зайдман М. 296

Запорожец И.В. 163

Зернов Н.М. (Каллист Уэр) 19, 34

Зиновьев Г.Е. 166

Зощенко М.М. 279

Ибн Араби 216 Иван III 195

Иван IV Грозный 27, 47, 117, 120, 121, 176, 248, 344, 345

Иванов Вяч. Вс. 40

Иероним св. 289

Ильин И.А. 152

Илюшенко В.И. 154, 167

Илюшенко И. 154

Иоанн, апостол 95, 129, 284, 300

Иосиф Волоцкий 87, 144, 149, 151, 248

Ирина св. 11, 53, 87

Ириной Лионский св. 129

Исаева М.Д. 68

Искандер Ф.А. 12

Исраилов Х. (Терлоев) 203

Йомелли Н. 227

Каганович Л.М. 165, 167 Каджая В.Г. 173 Казьмин В. 108

Калигула 238 Кальвин Ж. 192

Кальдерон де ла Барка П. 12, 48, 162

Каляев И.П. 184

Каменев Л.Б. 166

Канарис Ф.В. 153

Кантемир А. 48

Карл V 227

Карл XII 48

Кароль II, король Румынии 54

Касаткина Т.А. 69, 70

Катков М.Н. 172

Кафка Ф. 67

Кейюа Р. 15

Кекуле Ф. 51

Керн А.П. 172

Кёстлер А. 87

Киплинг Р. 240

Киров С.М. 163, 164, 166-169

Кирсанов С.И. 159

Кишин И.А. 100

Клюев Н.А. 223

Ключевский В.О. 47, 265

Кодряну К.З. 54

Козлов Ф.Р. 225
Кольшкена Е.Ф. 107, 124, 133, 138, 193, 194, 246, 301
Кольшкена Э. 107
Коль Г. 44
Комм Д. 131
Кон-Бендит Д.М. 184
Кондорсе Ж.А.Н. 13
Конев И.С. 159
Конрад Н.И. 223, 229
Конфуций (Кун Фуцзы) 37, 42, 55, 56, 58, 193, 211, 259, 332
Копелев Л.З. 173, 224
Корбен А. 62
Коржавин Н.М. 95
Корнель П. 12, 162
Короленко В.Г. 11
Косиор С.В. 167
Кох А. 35
Кошелев К. 262
Криг Х. 100
Кришнамурти 72, 78, 145, 291, 299, 334, 354 Кузьмина-
Караваева Е. см. Мать Мария Кун А. 130, 131 Кун Б.131
Кутын Ю. 277

Лаоцзы 37, 56, 58, 211, 252 Лебедь А.И. 45 Левинас Э. 74-79,
83, 97 Леви-Строс К. 14 Левкипп 7
Лейбин В.М. 30, 31, 35-37, 43, 45
Ленин В.И. 29, 61, 104, 121, 139, 157, 165, 175, 177, 222
Леонардо да Винчи 142
Леонтьев К.Н. 11, 82, 83, 162, 191
Лермонтов М.Ю. 346
Лесков Н.С. 31, 116
Лескис Г.А. 225
Лжедмитрий 192
Лигачев Е.К. 200
Лиссеран Ж. 98
Ломоносов М.В. 27
Лондон Дж. 10
Лукач Г. 132
Луначарский А.В. 358
Лурье С. 218
Льюис К. 294, 329
Любин В.П. 231, 233-245, 272
Люкс Л. 154, 173, 174, 176
Лютер М. 192

Ма Юань 16 Мазус И.А. 191 Майданович Е.Л. 20, 96, 146
Майкельсон А.А. 130, 137
Майков А.Н. 65, 67 Максим-исповедник 6 Маленков
Г.В. 165-167 Мамушин С.М. 164 Мандевиль Б. 10
Мандельштам О.Э. 169, 222, 223, 239, 245, 275, 278
Манхейм К. 260
Маритен Ж. 80, 193
Марк, апостол 95, 147, 300
Маркс К. 54, 104, 179, 214, 233, 234, 270
Маркузе Г. 132, 179

Мартов Л. 61, 139
Масхадов А. 198, 200, 201
Мать Мария (Кузьмина-Караваева Е.) 148, 149
Мачинский Д.А. 25
Маяковский В.В. 73, 184
Мейер Р. 132
Мейерхольд И.В. 296
Мейн Дж. 207, 240, 249, 268
Мейстер Эххарт 60, 80, 89, 147, 248, 250, 301, 321, 327, 334, 365
Мелихов А.М. 60, 125, 179-182, 330, 350 Мелло Э. де 126, 301, 322,
362 Менде Т. 48
Мень Александр, протоиерей 8, 13, 21, 22, 89 Мережковский Д.С.
362 Мертон Ж.-П. 79, 193, 293
Мертон Т. 62, 63, 74, 76, 78-83, 97-99, 127, 138, 145, 147, 150, 206, 216, 218, 237, 291,
292, 301 Мизес Л. фон 139 Микеланджело Буонаротти 142 Микоян А.И. 169 Милош Ч.
129, 238 Милошевич С. 215
Миркина З.А. 53, 58, 92, 100, 101, 108, 110-113, 120, 134-136, 145, 146, 164, 183, 206,
217, 250, 271, 290, 292, 297, 298, 301-304, 309-311, 319-329, 336-340, 348-355, 361-369
Мионов Е.В. 70 Мионов Н.Р. 166 Михаил Федорович 192 Мнишек М. 192 Молотов
В.М. 167 Монтень М. 265, 331 Моцарт В.А. 121, 325 Мраморнов А.П. (епископ
Гермоген) 111 Музиль Р. 123 Муравьев В.И. 54, 132, 280 Муравьева И.И. 230, 280, 294-
297, 336, 361 Муссолини Б. 175, 235 Мышкин Е.И. 100 Мэйдзи 45 Мэнцзы 37, 211

Набоков В.В. 323, 328 Нагарджуна св. 92, 126
Наполеон III 185 Некрасов Н.А. 77, 93 Нерон 54, 174, 238 Неру Д. 259
Николаев Л.В. 163, 166, 167 Николай I, Папа Римский 247 Николай Кузанский 125
Николай II 145 Нил Сорский 149-152 Ницше Ф. 29, 76
Новик Вениамин, игумен 34, 35, 46, 117, 119 Новобранец В.А. 155 Нольте Э. 174-176
Ньютон И. 27, 102, 137

Окуджава Б.Ш. 16 Опанасенко И.Р. 156 Орджоникидзе С. 167, 168 Орсини Ф. 185
Оруэлл Дж. 178

Павел, апостол 19, 20, 29, 34, 88, 92, 109, 113, 145-147, 268, 301, 306, 334, 364, 366
Павел VI, Папа Римский 186
Павлов Д.Г. 155
Палестрина Д.П. да 227
Паниккар Р. 207, 208
Парменид 7, 52
Паскаль Б. 12, 49, 91, 93, 101-103, 266, 289, 335, 343, 345, 348
Пастернак Б.Л. 223, 225, 302, 327, 328, 363-365
Паулос Ф. 140, 141, 171
Петр, апостол 286, 297, 300
Петр I 27, 47, 48, 121, 161, 192, 235, 249, 254, 346
Петр III 48
Петровых М. 290
Пико делла Мирандола Дж. 132
Пимен, патриарх 142
Пинский Л.Е. 107, 126, 296, 361
Пифагор 52, 260
Платон 27, 63, 78, 134
Плеханов Г.В. 139
Пол Пот 176, 216
Полякова А. 277
Померанц Полина Соломоновна (мама) 333

Понтий Пилат 52, 260
Поппер К. 41, 44, 45, 244
Поршнев Б.Ф. 267
Примаков Е.М. 45
Приставкин А.И. 200
Пришвин М.М. 228, 331
Проскуров И.И. 155
Протагор 52
Прунскене К. 224
Псевдодионисий Ареопagit 301
Пуанкаре А. 51
Путин В.В. 162, 198, 218, 242
Пушкин А.С. 27, 48, 77, 102, 118, 172, 175, 319, 325, 346, 365
Пырьев И.А. 124

Рабийя 299 Рабле Ф.132 Раджнеш 146 Радищев А.Н. 48 Разин С.Т.
118 Рамануджа 57 Рамзай 329 Расин Ж. 12, 48, 162 Рафаэль Санги
142, 341
Рейсбрук И. ван (Фламандский Мистик) 129, 130, 301 Рейшауэр Э.
213 Рембранд ван Рейн Х. 68
Рильке Р.М. 28, 101, 210, 216, 284, 301, 308, 310, 322, 326, 341, 358, 362, 367, 368
Ричард I (Львиное Сердце) 14 Рокоссовский К.К. 157, 159 Роллан Р. 285
Рублев А. 18, 25, 26, 33, 46, 98, 99, 115, 119, 142, 248, 281, 341
Руденко Р.А. 166
Рузвельт Ф.Д. 44, 153
Руми Д. 323
Руцкой А.В. 201
Рушди С. 187
Рыбаков Б.А. 267
Рыбалкин Н.Ф. 157
Рыков А.И. 168
Рюноске Акутагава 361

Саади 227
Савченко В. 31
Салтыков-Щедрин М.Е 5
Сальери А. 121, 325
Сандино А.С. 185, 213
Сартр Ж.-П. 149
Сахаров А.Д. 224—226
Свердлов Я.М. 61
Свифт Дж. 195
Святополк I Окаянный 11
Сенека Луций Анней 54
Сенковский О.И. 11
Сент-Экзюпери А. де 10, 41, 291, 357
Серафим Саровский 81, 82
Сервантес Сааведра М. де 17, 25, 116, 162
Сергей Александрович, вел. князь 184
Сидоров, лейтенант 171, 172
Сидорченко, издатель 172, 173
Силезский Вестник 129
Силуан Афонский 73, 85, 86, 89, 120, 121, 146, 334, 336, 352 Симеон Новый Богослов
17
Синявский А.Д. (Терц А.) 23-26, 30, 41, 64, 116, 162 Смоктуновский И.М. 70, 124

Смоляк А. 71 Сократ 52, 260
Солженицын А.И. 67, 77, 170, 172, 173, 223, 257, 278, 343
Соловьев В.С. 15, 159
Соргин Исаак 60, 61
Сорокина С.В. 34, 247
Сорос Дж. 233
Софроний (Сахаров), архимандрит 72, 121
Сталин И.В. 61, 88, 104, 117, 120, 121, 131, 140-143, 152-159, 162, 163, 165-171, 175-179, 197, 200, 202, 216, 218, 220, 221, 224, 247, 262, 266, 277, 343, 345, 365
Стендаль (Анри Бейль) 28, 49, 266, 334, 335, 360, 361
Судзуки Д.Т. 62, 63, 99, 193, 206
Суслов М.А. 164, 165, 167, 169, 225
Сэсю (Тойо Ода И.) 16
Сюньцзы 211

Тагор Р. 98, 164, 259, 283, 309, 327, 358, 362
Тарковский Анд.А. 330
Тарковский Арс.А. 83, 85
Таулер И. 60, 334
Таха М.М. 300
Тейяр де Шарден П. 88
Тертуллиан К.С.Ф. 122
Тиберий 174
Тиллих П. 108, 246, 250
Тимофеев-Ресовский Н.В. 223
Тойнби А. 14, 31, 64, 139, 160, 213, 232
Толстиков В.С. 276
Толстой А.К. 104
Толстой Л.Н. 11, 24, 25, 28, 30, 31, 49, 73, 93, 103, 116, 175, 183, 239, 244, 263, 289, 335, 343, 362 Тредиаковский В.К. 48 Троцкий Л.Д. 154, 175, 225, 226 Трубецкой Н.С. 29, 114, 116, 159 Тургенев И.С. 13, 116, 144, 159, 359 Турка Ф. 210 Турчин В. 51
Туту, архиепископ 288, 331 Тухачевский М.Н. 154, 168
Тютчев Ф.И. 28, 49, 103, 131, 289, 308, 335, 341, 343, 349-351, 359 Уборевич И.П. 168
Уваров С.С. 34
Удалака Арунья 63, 291, 333, 361 Ульянов М.А. 85, 105
Уоллес (секретарь Далай-Ламы XIV) 288, 331 Успенский П.Д. 343

Файбусович Г.М. см. Хазанов Б.
Фаллачи О. 266 Федоров Е.Б. 230 Федоров Н.Ф. 28
Федотов Г.П. 22, 26, 27, 46, 47, 89, 117, 149, 152, 258 Феллини Ф. 132
Фельштинский Ю.Г. 225
Филипп (Колычев Ф.С.), митрополит 21
Фирдоуси А. 227
Фламандский Мистик см. Рейсбрук И. ван Флобер Г. 239
Флоренский П.А. 29, 116, 164, 194
Фонвизина Н.Д. 66, 69, 91, 97
Фотий, патриарх 247
Фрай Н. 13
Франк С.Л. 291
Франс А. 158
Франциск Ассизский 81
Фрейд З. 128, 293
Фромм Э. 269, 270
Фрунзе М.В. 154
Фудель С.И. 68, 69, 82, 97

Фукуяма Ф. 42
Фурцева Е.А. 168
Фурье Ш. 93

Хазанов Б. (Файбусович Г.М.) 233 Хайдеггер М. 35, 74, 75, 126,
236 Хайек Ф.А. 139 Хайям О. 227
Хамдани *см.* Аль-Хамдани Юсуф
Хантингтон С. 16, 17, 27, 31-33, 139, 160, 182, 213, 251, 253, 261
Хмельницкий Б.М. 174, 243, 313
Ходорковский М.Б. 201
Хокусай Кацусика 361
Хомяков А.С. 9, 162
Хрущев Н.С. 163-165, 168, 169, 202, 225 Хрущева Н.П. 169
Хуанен 55

Цвейг С. 79
Цветаева М.И. 105-107, 137, 222, 263, 283, 309
Цезарь Гай Юлий 265, 272
Целмс Г.М. 164
Цинь Шихуанди 26, 55, 176
Цицерон Марк Туллий 246, 265

Чайковский П.И. 230, 249 Чан Кайши 140 Чемберлен Н. 185
Чернышевский Н.Г. 67 Черчилль У. 13, 44, 185, 194, 218
Честертон Г.К. 11 Чехов А.П. 13, 49, 116, 270, 338 Чжуанцзы 211
Чистяков Георгий, священник 17, 35, 46, 254, 255, 272 Чичибабин
Б.А. 362, 368 Чудов М.С. 166

Шаламов В.Т. 173, 220-224, 230, 344

Шан Ян 26
Шанкара-ачарья 57, 92, 250
Шаповал С. 267-270, 272, 272
Шатуновская О.Г. 163-169, 225
Шаумян С. 164, 165
Шверник Н.М. 152, 163, 164, 166, 225
Шветакегу 63
Шеболдаев Б.П. 167-168
Шекспир У. 12, 17, 48, 49, 67, 116, 126, 162, 265, 334, 360
Шелепин А.Н. 166
Шелли П.Б. 359
Шельски Х. 260, 261
Шепилов Д.Т. 167
Шестой патриарх дзэн см. Хуанен
Шиллер Ф. 162
Шмеман Александр, протоиерей 228 Шнитке А.Г. 249
Шопен Ф. 133 Шостакович Д.Д. 249
Шпенглер О. 13-15, 22, 37, 42, 64, 139, 160, 216, 232, 269
Шредингер Э. 342 Штейнер Р. 104, 150 Штауффенберг К.
153

Эгге К. 266, 291, 331, 356
Эйнштейн А. 153
Экхарт см. Мейстер Экхарт
Экштуг С. 264
Энгельс Ф. 336
Энде М.А.Г. 109, 112, 354
Эрлих С. 245, 246, 251-257, 260-264, 267, 272
Эхнатон (Аменхотеп IV) 268

Югнер Э. 359 Юнг К.Г. 129

Яджнявалкья 294 Якир И.Э. 168 Якобсон Р.О. 40 Яковлев
Ю.В. 70 Ямбург Е.А. 227 Янов А.Л. 35 Ясин Е.Г. 227, 228

Содержание

Часть 1. В поисках глобального покрова	5
Часть 2. Заметки о Достоевском	65
Часть 3. Из созерцания.....	98
Часть 4. Сквозь смуту	139
Часть 5. Заметки о глобальном терроре	183
Часть 6. Тяжелые следы.....	220
Часть 7. Интервью	231
Приложения	
В два голоса. Лекции, прочитанные в 2005—2006 гг.	274
Библиография книг Г.С. Померанца.....	370
<i>In memoriam. Григорий Соломонович Померанц (13.03.1918—16.02.2013)</i>	
<i>Владимир Ойвин. Григорий Соломонович Померанц. Некролог...</i>	373
<i>Азарий Мессерер. Личность без страха и упрека</i>	385
<i>Юрий Богомолов. Пророк в своем отечестве.....</i>	392
<i>Евгений Ямбург. Григорий Померанц. Памяти учителя.....</i>	394
<i>Илья Мильштейн. Небожитель</i>	396
<i>Роман Перельштейн. На глубине бытия</i>	398
<i>Марк Харитонов. Музыка сквозь скрип.</i>	
Памяти Григория Померанца	414
<i>Лариса Миллер. Миллион причин для счастья.</i>	
Памяти Григория Соломоновича Померанца	421
<i>Михаил Блюменкранц. Между министерством Правды</i>	
<i>и министерством Любви</i>	423
<i>Алексей Муравьев. Деянины по Померанцу</i>	429
<i>Михаил Эпштейн</i>	433
<i>Ирина Васильева. Далась ему эта бездна.....</i>	434
<i>Зинаида Миркина. Памяти Г.С. Померанца.....</i>	443
<i>Указатель имен. Составитель И.И.Ремезова.....</i>	451

Научное издание

Померанц Григорий Соломонович
Дороги духа и зигзаги истории

Корректоры: Н.С. Сотникова, Г.Э. Великовская
Компьютерная верстка: В.Д. Лавреников
Оформление: Ю.В. Балабанов

По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
е-тай: ишт\$а@уапйех.ги, иг'бук@таЦ.ги.
Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, продажа в России и странах СНГ
ООО «Издательство «Академический проект»:
111399, Москва, ул. Мартеновская д.3
Тел. (495) 305-37-02, е-тай т&@арго\$ес1.ги, БИр://арго\$ес1.ги

Комплектование библиотек, оптовая продажа в Санкт-Петербурге
ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (812)640-08-71, е-тай: икш\$а1@'й'e81саЦ.пе1
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495)915-32-84, е-тай: икт\$а-т@ЦЪй.ги

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Книжный окоп»
В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84

Розничная продажа в Москве:
м'й'й'.по1а'Бепе.ги (495) 745-15-36

Подписано в печать 22.04.2013
Гарнитура №№1опТТ. Формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29. Уч.-изд. л. 29
Тираж 1000 экз. (Первый завод 300 экз.) Заказ №

Отпечатано на цифровой струйной печатной машине ОСЕ
на базе «Чеховского Печатного Двора»
Московская область, Чехов г., ул. Полиграфистов, 1